

Гайто ГАЗДАНОВ

ГАЙТО ГАЗДАНОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ПЯТИ ТОМАХ

Том второй

РОМАН
РАССКАЗЫ
ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПРОЗА

Москва
ЭЛЛИС ЛАК
2009

УДК 882
ББК 84(2Рос-Рус)6-4
Г 13

Издание осуществлено при финансовой поддержке:
Главы Республики Северная Осетия–Алания
Таймураза Дзамбековича Мамсурова,

Художественного руководителя–директора,
главного дирижера Государственного
академического Мариинского театра
Валерия Абисаловича Гергиева

Под общей редакцией *Т.Н. Красавченко*

Составление, подготовка текста
Л. Диенеша (США), Т.Н. Красавченко,
С.С. Никоненко, Ф.Х. Хадоновой
Комментарии
Л. Диенеша, С.С. Никоненко, Л.В. Сыроватко

Художник *В.М. Мельников*

ISBN 978-5-902152-71-2
ISBN 978-5-902152-73-6 (Т. 2)

НОЧНЫЕ ДОРОГИ

Посвящается моей жене

Несколько дней тому назад во время работы, глубокой ночью, на совершенно безлюдной в эти часы площади св. Августина, я увидел маленькую тележку, типа тех, в которых обычно ездят инвалиды. Это была трехколесная тележка, устроенная как передвижное кресло; впереди торчало нечто вроде руля, который нужно было раскачивать, чтобы привести в движение цепь, соединенную с задними колесами. Тележка с удивительной медленностью, как во сне, обогнула круг светящихся многоугольников и стала подниматься по бульвару Османн. Я приблизился, чтобы лучше ее рассмотреть; в ней сидела закутанная необыкновенно маленькая старушка; видно было только ссохшееся, темное лицо, уже почти нечеловеческое, и худенькая рука такого же цвета, с трудом двигавшая руль. Я видел уже неоднократно людей, похожих на нее, но всегда днем. Куда могла ехать ночью эта старушка, почему она оказалась здесь, какая могла быть причина этого ночного переезда, кто и где мог ее ждать?

Я смотрел ей вслед, почти задыхаясь от сожаления, сознания совершенной непоправимости и острого любопытства, похожего на физическое ощущение жажды. Я, конечно, не узнал о ней решительно ничего. Но вид этого удаляющегося инвалидного кресла и медленный его скрип, отчетливо слышный в неподвижном и холодном воздухе этой ночи, вдруг пробудил во мне то ненасытное стремление непременно узнать и попытаться понять многие чужие мне жизни, которое в последние годы почти не оставляло меня. Оно всегда было бесплодно, так как у меня не было времени, чтобы посвятить себя этому. Но сожаление, которое я испытывал от сознания этой невозможности, проходит через всю мою жизнь. Позже, когда я думал об этом, мне начинало казаться, что это любопытство было, в сущности, непонятным влечением, потому что оно упиралось в почти непреодолимые препятствия, про-

исходившие в одинаковой степени от материальных условий и от природных недостатков моего ума и еще оттого, что всякому сколько-нибудь отвлеченному постижению мне мешало чувственное и бурное ощущение собственного существования. Кроме того, я упорно не мог понять страстей или увлечений, которые мне лично были чужды; мне, например, приходилось каждый раз делать над собой большое усилие, чтобы не считать всякого человека, с беззащитной и слепой страстью проигрывающего или пропивающего все свои деньги, просто глупцом, не заслуживающим ни сочувствия, ни сожаления, – потому что, в силу случайности, я не выносил алкоголя и смертельно скучал за картами. Так же я не понимал донжуанов, переходящих всю жизнь из одних объятий в другие, – но это по другой причине, которой я долго не подозревал, пока у меня не хватило мужества продумать это до конца, и тогда я убедился, что это была зависть, тем более удивительная, что во всем остальном я был совершенно лишен этого чувства. Возможно, что и в других случаях, если бы произошло какое-то неуловимое изменение, оказалось бы, что те страсти, которых я не понимал, тоже стали бы мне доступны, и я также подвергся бы их разрушительному действию, и на меня с таким же сожалением смотрели бы другие, чуждые этим страстям люди. И то, что я их не испытывал, было, быть может, всего лишь проявлением инстинкта самосохранения, более сильного во мне, по-видимому, чем в тех моих знакомых, которые проигрывали свои жалкие заработки на скачках или пропивали их в бесчисленных кафе.

Но бескорыстному моему любопытству ко всему, что окружало меня и что мне с дикарской настойчивостью хотелось понять до конца, мешал, помимо всего остального, недостаток свободного времени, происходивший в свою очередь оттого, что я всегда жил в глубокой нищете и заботы о пропитании поглощали все мое внимание. Однако это же обстоятельство дало мне относительное богатство поверхностных впечатлений, какого у меня не было бы, если бы моя жизнь протекала в иных условиях. У меня не было предвзятого отношения к тому, что я видел, я старался избегать обобщений и выводов:

но, помимо моего желания, вышло так, что два чувства овладевают мною сильнее всего, когда я думаю об этом – презрение и жалость. Сейчас, вспоминая этот печальный опыт, я полагаю, что я, может быть, ошибался и эти чувства были напрасны. Но их существование в течение долгих лет не могло быть ничем преодолено, и оно теперь так же непоправимо, как непоправима смерть, и я не мог бы от них отказаться; это было бы такой же душевной трусостью, как если бы я отказался от сознания того, что глубоко во мне жила несомненная и непонятная жажда убийства, полное презрение к чужой собственности и готовность к измене и разврату. И привычка оперировать воображаемыми, никогда не происходившими, по-видимому, в силу множества случайностей – вещами, сделала для меня эти возможности более реальными, чем если бы они происходили в действительности; и все они обладали особенной соблазнительностью, несвойственной другим вещам. Нередко, возвращаясь домой после ночной работы по мертвым парижским улицам, я подробно представлял себе убийство, все, что ему предшествовало, все разговоры, оттенки интонаций, выражение глаз – и действующими лицами этих воображаемых диалогов могли оказаться мои случайные знакомые, или почему-либо запомнившиеся прохожие, или, наконец, я сам в качестве убийцы. В конце таких размышлений я приходил обычно к одному и тому же полуощущению-полувыводу, это была смесь досады и сожаления по поводу того, что на мою долю выпал такой неутешительный и ненужный опыт; и что в силу нелепой случайности мне пришлось стать шофером такси. Все или почти все, что было прекрасного в мире, стало для меня точно наглухо закрыто – и я остался один, с упорным желанием не быть все же захлестнутым той бесконечной и безотрадной человеческой мерзостью, в ежедневном соприкосновении с которой состояла моя работа. Она была почти сплошной, в ней редко было место чему-нибудь положительному, и никакая гражданская война не могла сравниться по своей отвратительности и отсутствию чего-нибудь хорошего с этим мирным, в конце концов, существованием. Конечно, это объяснялось еще и тем, что

население ночного Парижа резко отличалось от дневного и состояло из нескольких категорий людей, по своей природе и профессии чаще всего уже заранее обреченных. Но кроме того, в отношении этих людей к шоферу всегда отсутствовали сдерживающие причины – не все ли равно, что подумает обо мне человек, которого я больше никогда не увижу и который никому из моих знакомых не может об этом рассказать? Таким образом, я видел моих случайных клиентов такими, какими они были в действительности, а не такими, какими они хотели казаться, – и это соприкосновение с ними, почти всякий раз, показывало их с дурной стороны. При самом беспристрастном отношении ко всем, я не мог не заметить, что разница между ними была всегда невелика, и в этом оскорбительном уравнении женщина в бальном туалете, живущая на avenue Henri Martin, немногим отличалась от ее менее удачливой сестры, ходившей по тротуару, как часовой, от одного угла до другого; и люди почтенного вида на Passy и Auteuil[1] так же униженно торговались с шофером, как выпивший рабочий с rue de Belleville; и доверять никому из них было нельзя, я в этом неоднократно убеждался.

Я помню, как в начале шоферской работы я остановился однажды у тротуара, привлеченный стонами довольно приличной дамы лет тридцати пяти с распухшим лицом, она стояла, прислонившись к тротуарной тумбе, стонала и делала мне знаки; когда я подъехал, она попросила меня прерывающимся голосом отвезти ее в госпиталь; у нее была сломана нога. Я поднял ее и уложил в автомобиль; но когда мы приехали, она отказалась мне платить и заявила вышедшему человеку в белом халате, что я своим автомобилем сбил ее и что, падая, она сломала ногу. И я не только не получил денег, но еще и рисковал быть обвиненным в том, что называется невольным убийством. К счастью, человек в белом халате отнесся к ее словам скептически, и я поспешил уехать. И впоследствии, когда мне делали знаки люди, стоящие над чьим-нибудь распростертым на тротуаре телом, я только сильнее нажимал на акселератор и проезжал, никогда не останавлива-

[1] Названия аристократических районов Парижа.

ясь. Человек в прекрасном костюме, вышедший из гостиницы Клэридж, которого я отвез на Лионский вокзал, дал мне сто франков, у меня не было сдачи; он сказал, что разменяет их внутри, ушел – и больше не вернулся; это был почтенный, седой человек с хорошей сигарой, напоминавшей по виду директора банка, и очень возможно, что действительно директор банка.

Однажды, после очередной клиентки, в два часа ночи, я осветил автомобиль и увидел, что на сиденье лежит женская гребенка с вправленными в нее бриллиантами, по всей вероятности фальшивыми, но вид у нее был, во всяком случае, роскошный; мне было лень слезать, я решил, что возьму эту гребенку позже. В это время меня остановила дама – это было на одной из авеню возле Champs de Mars – в собольем sortie de bal[1]; она поехала на авеню Foch; после ее ухода я вспомнил о гребенке и посмотрел через плечо. Гребенки не было, дама в sortie de bal украла ее так же, как это сделала бы горничная или проститутка.

Я думал об этом и о многих других вещах почти всегда в одни и те же утренние часы. Зимой было еще темно, летом светло в это время и никого уже не было на улицах; очень редко встречались рабочие – безмолвные фигуры, которые проходили и исчезали. Я почти не смотрел на них, так как знал наизусть их внешний облик, как знал кварталы, где они живут, и другие, где они никогда не бывают. Париж разделен на несколько неподвижных зон; я помню, что один из старых рабочих – я был вместе с ним на бумажной фабрике возле бульвара de la Gare – сказал мне, что за сорок лет пребывания в Париже он не был на Елисейских полях, потому что, объяснил он, он там никогда не работал. В этом городе еще была жива, – в бедных кварталах, – далекая психология, чуть ли не четырнадцатого столетия, рядом с современностью, не смешиваясь и почти не сталкиваясь с ней. И я думал иногда, разъезжая и попадая в такие места, о существовании которых я не подозревал, что там до сих пор происходит медленное умирание средневековья. Но мне редко уда-

[1] вечерняя накидка, палантин (*фр.*).

валось сосредоточиться на одной мысли в течение более или менее продолжительного времени, и после очередного поворота руля узкая улица исчезала и начиналось широкое авеню, застроенное домами со стеклянными дверьми и лифтами. Эта беглость впечатлений нередко утомляла внимание, и я предпочитал закрывать глаза и не думать ни о чем. Никакое впечатление, никакое очарование не могло быть длительным при этой работе – и только потом я старался вспомнить и разобрать то, что мне удалось увидеть за очередную ночную поездку, из подробностей того необыкновенного мира, который характерен для ночного Парижа. Всегда, каждую ночь, я встречал нескольких сумасшедших; это были чаще всего люди, находящиеся на пороге сумасшедшего дома или больницы, алкоголики и бродяги. В Париже много тысяч таких людей. Я заранее знал, что на такой-то улице будет проходить такой-то сумасшедший, а в другом квартале будет другой. Узнать о них что-либо было чрезвычайно трудно, так как то, что они говорили, бывало обычно совершенно бессвязно. Иногда, впрочем, это удавалось.

Я помню, что одно время меня особенно интересовал маленький, невзрачный человек с усиками, довольно чисто одетый, похожий по виду на рабочего и которого я видел примерно каждую неделю или каждые две недели, около двух часов ночи, всегда в одном и том же месте на avenue de Versailles, на углу, напротив моста Гренель. Он обычно стоял на мостовой, возле тротуара, грозил кому-то кулаками и бормотал едва слышно ругательства. Я мог только разобрать, как он шептал: сволочь!.. сволочь!.. Я знал его много лет – всегда в одни и те же часы, всегда на одном и том же месте. Я заговорил наконец с ним, и после долгих расспросов мне удалось выяснить его историю. Он был по профессии плотник, жил где-то возле Версаля, в двенадцати километрах от Парижа, и мог приезжать сюда поэтому только раз в неделю, в субботу. Шесть лет тому назад он вечером повздорил с хозяином кафе, которое находилось напротив, и хозяин ударил его по физиономии. Он ушел и с тех пор затаил против него смертельную нена-

висть. Каждую субботу он приезжал вечером в Париж; и так как он очень боялся этого ударившего его человека, то он ждал, пока закроется его кафе, пил, набираясь храбрости, в соседних «бистро» один стакан за другим, и когда, наконец, его враг закрывал свое заведение, тогда он приходил к этому месту, грозил незримому хозяину кулаком и шепотом бормотал ругательства; но он был так напуган, что никогда не осмеливался говорить полным голосом. Всю неделю, работая в Версале, он с нетерпением ждал субботы, потом одевался по-праздничному и ехал в Париж, чтобы ночью, на пустынной улице, произносить свои едва слышные оскорбления и грозить в направлении кафе. Он оставался на авеню Версаль до рассвета – и потом уходил по направлению к порт Сен-Клу, время от времени останавливаясь, оборачиваясь и помахивая маленьким, сухим кулаком. Я зашел потом в кафе, которое держал его обидчик, застал там пышную рыжую женщину за прилавком, которая пожаловалась на дела, как всегда. Я спросил ее, давно ли она держит это кафе, оказалось, что три года, она переехала сюда после смерти его прежнего владельца, который умер от апоплексического удара.

Около четырех часов утра я обычно ехал выпить стакан молока в большое кафе против одного из вокзалов, где знал всех решительно, начиная от хозяйки, старой дамы, с трудом жевавшей сандвич вставными зубами, до маленькой пожилой женщины в черном, которая не расставалась с большой клеенчатой сумкой для провизии, она постоянно таскала ее с собой; ей было лет пятьдесят. Она обычно тихо сидела в углу, и я недоумевал, что она здесь делает в эти часы: она была всегда одна. Я спросил об этом у хозяйки: хозяйка ответила, что эта женщина работает, как другие. В первое время такие вещи удивляли меня, но потом я узнал, что даже очень пожилые и неряшливые женщины имеют свою клиентуру и нередко зарабатывают не хуже других. В эти же часы появлялась смертельно пьяная, худая старуха с беззубым ртом, которая входила в кафе и кричала: «Ни черта! – и потом, когда нужно было платить за стакан белого вина, которое она пила, она неизменно

удивлялась и говорила гарсону: – Нет, ты перегибаешь. – У меня создалось впечатление, что других слов она вообще не знала, во всяком случае, она никогда их не произносила. Когда она приближалась к кафе, кто-нибудь, оборачиваясь, говорил: – Вот идет Ничерта. – Но однажды я застал ее в разговоре с каким-то мертвецки пьяным оборванцем, который крепко держался двумя руками за стойку и покачивался. Она говорила ему – такими неожиданными в ее устах – словами: – Я тебе клянусь, Роже, что это правда. Я тебя любила. Но когда ты в таком состоянии... – И потом, прервав этот монолог, она снова закричала: ни черта! Затем она исчезла в один прекрасный день, в последний раз прокричав – ни черта! – и больше никогда не появлялась; несколько месяцев спустя, заинтересовавшись ее отсутствием, я узнал, что она умерла.

Раза два в неделю в это кафе являлся человек в берете, с трубкой, которого называли m-r Мартини, потому что он всегда заказывал мартини, это происходило обычно в одиннадцатом часу вечера. Но в два часа ночи он был уже совершенно пьян, поил всех, кто хотел, и в три часа, истратив деньги – обычно около двухсот франков, – он начинал просить хозяйку отпустить ему еще один мартини в кредит. Тогда его обычно выводили из кафе. Он возвращался, его снова выводили, и потом гарсоны просто не пускали его. Он возмущался, пожимал покатыми плечами и говорил:

– Я нахожу, что это смешно. Смешно. Смешно. Все, что я могу сказать.

Он был преподавателем греческого, латинского, немецкого, испанского и английского языков, жил за городом, у него была жена и шесть душ детей. В два часа ночи он излагал философские теории своим слушателям, обычно сутенерам или бродягам, и ожесточенно с ними спорил; они смеялись над ним, помню, что они особенно хохотали, когда он наизусть читал им шиллеровскую «Перчатку» по-немецки, их забавляло, конечно, не содержание, о котором они не могли догадаться, а то, как смешно звучит немецкий язык. Я несколько раз отводил его в сто-

рону и предлагал ему ехать домой, но он неизменно отказывался, и все мои доводы не оказывали на него никакого действия; он был, в сущности, доволен собой и, к моему удивлению, очень горд, что у него шесть человек детей. Однажды, когда он был еще наполовину трезв, у меня был с ним разговор; он упрекал меня в буржуазной морали, и я, рассердившись, закричал ему:

– Разве вы не понимаете, черт возьми, что вы кончите больничной койкой и белой горячкой и ничто вас от этого уже не может удержать?

– Вы не постигаете сущности галльской философии, – отвечал он.

– Что? – сказал я с изумлением.

– Да, – повторил он, набивая трубку, – жизнь дана для удовольствия.

Только тогда я заметил, что он пьянее, чем мне показалось сначала; оказалось, что в этот день он явился часом раньше, чем всегда, чего я не мог учесть.

С годами его сопротивляемость алкоголю уменьшилась, так же, как его ресурсы, его вообще перестали пускать в кафе; и в последний раз, когда я его видел, гарсоны и сутенеры стравливали его с каким-то бродягой, стремясь вызвать между ними драку, потом их толкнули обоих, они упали, и m-r Мартини покатился по тротуару, затем на мостовую, где и остался лежать некоторое время, – под зимним дождем, в жидкой ледяной грязи.

– Это, если мне не изменяет память, вы называете галльской философией, – сказал я, поднимая его.

– Смешно. Смешно. Очень смешно – все, что я могу сказать, – повторил он, как попугай.

Я усадил его за столик.

– У него нет денег, – сказал мне гарсон.

– Если бы только это! – ответил я.

M-r Мартини вдруг протрезвился.

– В каждом случае алкоголизма есть какое-то основание, – сказал он неожиданно.

– Может быть, может быть, – рассеянно ответил я. – Но вы, например, отчего вы пьете?

– От огорчения, – сказал он. – Моя жена презирает меня, она научила моих детей презирать меня, и единственный смысл моего существования для них это, что я даю им деньги. Я не могу этого вынести и вечером ухожу из дому. Я знаю, что все потеряно.

Я смотрел на его залитый грязью костюм, ссадины на лице, сиротливые, маленькие глаза под беретом.

– Я думаю, что уже ничего нельзя сделать, – сказал я.

Я знал в этом кафе всех женщин, проводивших там долгие часы. Среди них бывали самые разнообразные типы, но они сохраняли свою индивидуальность только в начале карьеры, затем, через несколько месяцев, усвоив профессию, становились совершенно похожими на всех других. Большинство было из горничных, – но бывали исключения – продавщицы, стенографистки, довольно редко кухарки и даже одна бывшая владелица небольшого гастрономического магазина, историю которой знали все: она застраховала его на крупную сумму, потом подожгла, и так неловко, что страховое общество отказалось ей заплатить; в результате магазин сгорел, а денег она не получила. И тогда они с мужем решили, что она будет пока что работать именно таким образом, а потом они опять что-нибудь откроют. Это была довольно красивая женщина лет тридцати; но ремесло это настолько захватило ее, что уже через год разговоры о том, что она опять откроет магазин, совершенно прекратились, тем более что она нашла постоянного клиента, почтенного и обеспеченного человека, который делал ей подарки и считал своей второй женой; он выходил с ней в субботу и в среду вечером, два раза в неделю, и потому в эти дни она не работала. Моей постоянной соседкой по стойке была Сюзанна, маленькая и густо раскрашенная белокурая женщина, очень склонная к особенно роскошным платьям, браслетам и кольцам; один передний зуб в верхней челюсти она сделала себе золотым, и это так нравилось ей, что она поминутно смотрелась в свое маленькое зеркальце, по-собачьи поднимая верхнюю губу.

– Красиво все-таки, – сказала она однажды, обратившись ко мне, – не правда ли?

– Я нахожу, что глупее не бывает, – сказал я.

С тех пор она стала относиться ко мне с некоторой враждебностью и изредка задевала меня. Особенное ее презрение выказывало то, что я пил всегда молоко.

– Ты все молоко пьешь, – сказала она мне дня через три, – не хочешь ли моего?

Она очень любила перемены, иногда пропадала на несколько ночей – это значило, что она работала в другом районе, потом, однажды, исчезла на целый месяц, и когда я спросил гарсона, не знает ли он, что с ней стало, он ответил, что она устроилась на постоянное место. Он сказал иначе, именно, что у нее теперь постоянное положение, – и оказалось, что она поступила в самый большой публичный дом Монпарнаса. Но она и там не удержалась, ей нигде не сиделось. Она была еще очень молода, ей было двадцать два или двадцать три года.

За кассой, каждую ночь, с восьми часов вечера до шести часов утра, сидела сама хозяйка этого кафе, которое стоило несколько миллионов. В течение тридцати лет она спала днем и работала ночью; днем ее заменял муж, почтенный старик в хорошем костюме. У них не было детей, не было даже, кажется, близких родственников, и всю свою жизнь они посвятили этому кафе, как другие посвящают ее благотворительности, или служению Богу, или государственной карьере; никуда не ездили, никогда не отдыхали. Впрочем, однажды хозяйка не работала около двух месяцев – у нее была язва желудка, она пролежала это время в кровати. У нее давно было очень крупное состояние, но оставить работу она не могла. По внешнему виду она походила на любезную ведьму. Я разговаривал с ней несколько раз, и она рассердилась на меня однажды, когда я ей сказал, что ее жизнь, в сущности, так же загублена, как жизнь m-r Мартини. – Как вы можете меня сравнивать с этим алкоголиком? – и я вспомнил, с некоторым опозданием, что людей, способных понимать сколько-нибудь беспристрастное суждение, особенно касающееся их лично, существует ничтожнейшее меньшинство, может быть, один на сто. Самой мадам Дюваль ее жизнь казалась законченной и полной определенного

смысла – и в какой-то степени это было верно, она была действительно законченной и даже совершенной по своей полной бесполезности. Теперь предпринимать что бы то ни было было уже слишком поздно. Но она никогда не согласилась бы с этим. – Вот, мадам, когда вы умрете... – хотел я сказать, но удержался, решив, что из-за отвлеченного, в сущности, вопроса не стоит портить с ней отношений. И я сказал, что, может быть, я ошибаюсь и что мне так кажется потому, что сам я чувствовал бы себя неспособным к такому тридцатилетнему подвигу. Она смягчилась и ответила, что, конечно, далеко не всякий может это сделать, но что зато она теперь уверена в одном: конец своей жизни она проживет спокойно – так, как будто теперешний ее возраст, ее последние шестьдесят три года были не концом, а началом ее жизни. Я мог ей многое возразить и на это, но промолчал.

Позднее я понял, что она ни в какой степени не была исключением, ее пример был чрезвычайно характерен; я знал миллионеров с грязными руками, трудившихся по шестнадцати часов в день, старых шоферов, у которых были доходные дома и земли и которые, несмотря на одышку, изжогу, геморрой и вообще почти отчаянное состояние здоровья, – все же продолжали работать из-за лишних тридцати франков в день; и если бы их чистый заработок опустился до двух франков, они все равно работали бы до тех пор, пока в один прекрасный день не могли бы встать с кровати, и это был бы их кратковременный отдых перед смертью. Один из гарсонов этого кафе был тоже замечателен: это был счастливый человек. Я узнал это однажды, во время короткого философского разговора, который начал какой-то пожилой мужчина неопределенного вида, кажется, бывший шофер. Он заговорил о лотерее и сказал, что она похожа на Солнце; как Солнце вращается вокруг Земли, так крутится колесо лотереи.

– Солнце не вращается вокруг Земли, – сказал я ему, – это не точно; и лотерея не похожа на Солнце.

– Солнце не вращается вокруг Земли? – спросил он иронически. – А кто тебе это сказал?

Он говорил совершенно серьезно; тогда я его спросил, грамотен ли он вообще, и он обиделся на меня и все пытался узнать, откуда у меня могут быть более достоверные сведения о небесной механике. Авторитета ученых он не признавал и уверял, что они знают не больше нас. Тут в разговор вмешался гарсон, который сказал, что все это не важно, а важно, чтобы человек был счастлив.

– Я никогда таких людей не видел, – сказал я.

И тогда он с некоторой торжественностью в голосе ответил, что мне, наконец, предоставляется эта возможность, потому что в данную минуту я вижу счастливого человека.

– Как? – сказал я с изумлением. – Вы считаете себя совершенно счастливым человеком?

Он объяснил мне, что это именно так: оказывается, у него всегда была мечта – работать и зарабатывать на жизнь – и она осуществлена: он совершенно счастлив. Я внимательно на него посмотрел: он стоял в своем синем переднике, с засученными рукавами, за влажной цинковой стойкой; сбоку слышался голос Мартини, – смешно, смешно, смешно, – справа кто-то хрипло говорил: – Я тебе говорю, что это мой брат, понимаешь? – Рядом с моим собеседником, который был убежден во вращении Солнца вокруг Земли, толстая женщина – белки ее глаз были покрыты густой сетью красных жилок – объясняла своему покровителю, что она не может работать в этом районе: – Не нахожу и не нахожу. – И в центре всего этого стоял гарсон Мишель; и желтое его лицо было действительно счастливо. – Ну, милый мой, поздравляю, – сказал я ему.

И уже уехав оттуда, я все вспоминал его слова: «У меня всегда была одна мечта, всегда: зарабатывать на жизнь». Это было еще более печально, пожалуй, чем Мартини, или мадам Дюваль, или толстая Марсель, которая не находила клиентов на Монпарнасе; и ее дела были действительно плохи, пока какой-то догадливый человек не сказал ей, что ее красота несомненно будет оценена в другом районе, с менее рафинированной клиентурой, именно на Центральном рынке; и она действительно стала рабо-

Заказ № 3236

тать там; через полгода я видел ее в одном кафе бульвара Севастополь, она еще больше раздобрела и была гораздо лучше одета. Я рассказал о счастливом гарсоне одному из моих алкогольных собеседников, которого прозвище было Платон – за склонность к философии: это был еще не старый человек, проводивший каждую ночь в этом кафе, у стойки, за очередным стаканом белого вина. Подобно Мартини, он окончил университет, жил одно время в Англии, был женат на красавице, был отцом прекрасного мальчика и обеспеченным человеком; я не знаю, как и почему все это очень быстро отошло в прошлое, но он оставил семью, родственники от него отказались, и он остался один. Это был милый и вежливый человек; он был довольно образован, он знал два иностранных языка, литературу и в свое время готовил даже философскую тезу, не помню точно какую, чуть ли не о Бёме; и только в последнее время память его стала сдавать и губительные последствия алкоголя начали сказываться на нем достаточно явственно – чего не было в первые годы нашего знакомства. Жил он на очень незначительную сумму денег, которые ему тайком давала его мать, – и этого хватало только на один сандвич в день и белое вино.

– А ваша квартира? – спросил я как-то.

Он пожал плечами и ответил, что он за нее вообще не платит и что, когда хозяин пригрозил ему репрессиями, Платон ответил, что если тот что-нибудь против него предпримет, то он подожжет шнурок от патрона с динамитом и взорвет дом и таким образом, в некотором роде, пойдет навстречу требованиям хозяина, – который жил там же, – потому что после этого ему уже никогда не придется заботиться о какой бы то ни было квартирной плате какого бы то ни было из своих жильцов. Платон рассказывал это тихим голосом, совершенно спокойно, но с такой непоколебимой искренностью и уверенностью, что я ни на минуту не усомнился в его готовности это сделать. Самым странным, однако, мне казалось, что Платон имел архаические, но очень твердые убеждения государственного порядка, все должно было основываться, по

его словам, на трех принципах: религия, семейный очаг, король. – А алкоголизм? – спросил я, не удержавшись. Он совершенно спокойно ответил, что это второстепенная и даже необязательная подробность. – Вот вы, например, не пьете, – сказал он, – но это мне не мешает вас рассматривать как нормального человека; конечно, жаль, что вы не француз, но это не ваша вина. – К счастливому гарсону он отнесся скептически и сказал, что к таким примитивным существам неприложимы наши представления о счастье; но он допускал, что по-своему гарсон мог быть счастлив, – как собака, или птица, или обезьяна, или носорог, – под утро Платон начинал говорить вещи несуразные; это был удивительный по своему неожиданному спокойствию бред, но понятия его путались, он сравнивал Гамлета с Пуанкаре и Вертера с тогдашним министром финансов, который был толстым стариком, идеально далеким от какого бы то ни было сходства с Вертером, в каком бы то ни было отношении. Я знал наружность этого министра, потому что как-то стоял со своим автомобилем в очереди у Сената, в котором происходило ночное заседание, и все мои товарищи надеялись, что будут развозить сенаторов; был уже пятый час утра. Но в последнюю минуту во двор Сената въехало несколько автобусов, на которых сенаторы отбыли домой. Когда последний автобус с надписью «цена проезда 3 франка» уже отходил, из двора Сената вышел министр финансов и, увидя отходящий автобус, побежал за ним сколько было сил; я не мог удержаться от смеха, но мои товарищи ругали его последними словами за скупость. С той ночи я хорошо запомнил – я видел его тогда совсем вблизи – его фигуру, живот, одышку, расстегнутую шубу, в которой он был тогда, и беспокойно-тупое выражение его лица.

Я разговаривал с Платоном о счастливом гарсоне в ночь с субботы на воскресенье. Это бывала самая беспокойная ночь в неделю; в кафе появлялись совершенно неожиданные посетители, большинство было пьяных. Унылый старик, с седыми усами, пел срывающимся голосом бретонские песни; двое бродяг спорили по поводу какого-то прошлогоднего, насколько я понял, инцидента;

одна из постоянных посетительниц кафе, женщина удивительной некрасивости, с плоским, лягушачьим лицом, но считавшаяся хорошей работницей, говорила, приблизившись вплотную к пятидесятилетнему человеку с Почетным легионом, – ее кто-то напоил в эту ночь: – Ты должен же меня понять, ты должен же меня понять, – и слушавший ее совершенно посторонний мужчина, особенного типа энергичного пьяницы, наконец, не выдержал и сказал: – Нечего тут понимать, ты просто стерва и больше ничего. – Какой-то худощавый пожилой человек с выражением неподдельной тревоги в глазах пробился сквозь толпу и стал просить мадам Дюваль, чтобы она разрешила ему вскарабкаться наверх, по одной из колонн кафе, – только до потолка и обратно, – вы видите, мадам, я совершенно корректен. Только один раз, мадам, только раз... – и плотный метрдотель вывел его из кафе и предложил ему, уже на улице, попробовать влезть на фонарный столб. Снаружи, вдоль запотевших стекол кафе, время от времени, проходили два полицейских, – как тень отца Гамлета, – сказал я Платону. Потом в туманном и холодном рассвете субботние посетители кафе исчезали; мутно горели фонари над тротуарами, на поворотах скользкой мостовой шуршали шины редких автомобилей.

– Каждое утро я благодарю Господа, – сказал Платон, с которым мы вышли из кафе, – за то, что Он создал мир, в котором мы живем.

– И вы уверены, что Он действительно хорошо сделал?

– Я убежден в этом совершенно, как бы я ни был несчастен и пьян, – сказал он со своим всегдашним спокойствием.

Я проводил его до угла avenue de Maine, по дороге он говорил о Тулуз-Лотреке и Жераре де Нервале, и я сразу представил себе ужасную смерть Нерваля, маленькую и тихую уличку возле Шатлэ, и висящее его тело, и эту, явно выдуманную чьей-то чудовищной фантазией, черную шляпу на голове повешенного.

Я имел возможность проводить иногда несколько часов этом кафе, потому что ставил автомобиль у вокзала,

в ожидании первого поезда, который приходил в половине шестого утра; и от двух часов ночи до этого поезда, когда другие шоферы играли в карты или спали в машинах, я предпочитал уходить в кафе или гулять, если была хорошая погода, только это вынужденное бездействие дало мне возможность ближе познакомиться со всеми клиентами этого кафе. Оно было почти всегда вознаграждено; каждую ночь я уходил оттуда все более и более отравленным – и мне понадобилось все-таки несколько лет для того, чтобы впервые подумать о всех этих ночных жителях как о живой человеческой падали, – раньше я был лучшего мнения о людях и, несомненно, сохранил бы много идиллических представлений, которые теперь навсегда недоступны для меня, как если бы зловонный яд выжег во мне ту часть души, которая была предназначена для них. И эта мрачная поэзия человеческого падения, в которой я раньше находил своеобразное и трагическое очарование, перестала для меня существовать, и я полагаю теперь, что ее возникновение было основано на незнании и ошибке, которая оказалась такой непоправимой для Жерара де Нерваля, упомянутого Платоном в нашем утреннем разговоре. И люди, создавшие ее и которых тянуло туда, как их тянет смерть, лишены даже того утешения, что, умирая, они видели вещи такими, какими они были действительно и какими они их описали; их заблуждение было столь же несомненно, сколь несомненно было, что влюбленный в бывшую владелицу гастрономического магазина почтенный человек, с которым она выходила по средам и субботам, был неправ, считая ее своей второй женой.

И, может быть, следовало позавидовать двум клиентам Сюзанны, которых я однажды видел; оба были хорошо одеты и, по-видимому, состоятельны, и оба вошли в кафе, одинаково улыбаясь и одинаково опираясь на белые палки; они были слепые. Сюзанна подсела к ним, и я со стороны смотрел на них троих и представлял себе, как должен для них из темноты звучать голос и смех Сюзанны. Затем они ушли втроем в гостиницу, расположенную напротив, и Сюзанна их бережно, – потому что это были клиенты, – переводила через площадь. Через час они вернулись; сле-

пые еще остались сидеть за столиком, а Сюзанна подошла к стойке и стала рядом со мной.

– Все молоко? – спросила она.

– Они не могли оценить твою красоту, – сказал я, не отвечая, – и подумать, что они даже твоего золотого зуба не видели.

– Это верно, – ответила она и вдруг с неожиданным и детским любопытством в глазах сказала, что они ее, конечно, не могли видеть, но зато ощупали всю и что ей было щекотно. Проходя мимо них, я остановился на секунду; на их розовых лицах была та беззащитная и особенная улыбка, которая характерна только для слепых.

Как и в прежние периоды моей жизни, в Париже мне удавалось лишь изредка и на короткое время увидеть то, в чем я был вынужден жить, со стороны, так, как если бы я сам не участвовал в этих событиях. Это было, как воспоминания о некоторых пейзажах, результатом какого-то зрительного постижения, которое потом уже навсегда оставалось в моей памяти; и как воспоминание о запахе, оно было окружено целым миром других вещей, сопутствовавших его появлению. Оно возникало обычно, не выходя из длинного ряда предыдущих видений, только прибавляясь к нему, и отсюда появлялась возможность сравнения различных и последовательных жизней, которые мне пришлось вести и которые казались мне далекими и печальными, независимо от того, происходило ли это теперь или много лет тому назад. И тогда трагическая нелепость моего существования представала передо мной с такой очевидностью, что только в эти минуты я отчетливо понимал вещи, о которых человек не должен никогда думать, потому что за ними идет отчаяние, сумасшедший дом или смерть. Но, как это ни странно, за такими мыслями никогда не следовала идея самоубийства, которой я был совершенно чужд, всегда, даже в самые страшные моменты моей жизни; и я знал, что ее не нужно было смешивать с тем постоянным и жгучим желанием каждый раз, когда из туннеля к платформе подходил поезд метро, – отделиться на секунду от твердого, каменного края перрона и броситься под поезд – таким же движе-

нием, каким с трамплина купальни я бросался в воду. Но вот прошли тысячи поездов, и каждый раз, когда я спускаюсь на платформу метро, я испытываю нелепое желание улыбнуться и сказать самому себе – здравствуйте, – в интонации которого были бы одновременно и насмешка, и уверенность в том, что все остальные поезда метрополитена так же пройдут мимо меня, как предыдущие. Это чувство – тянет сделать одно и на этот раз действительно последнее движение – я знал давно; оно же охватывало меня, когда я ехал на автомобиле вдоль хрупких перил моста через Сену и думал; еще немного нажать на акселератор, резко повернуть руль – и все кончено. И я поворачивал руль на несколько дюймов и тотчас же выправлял его, и автомобиль, дернувшись в сторону перил, выпрямлялся и продолжал свой прежний безопасный путь. А в тот раз – знойную и черную ночь в Константинополе, – когда мне грозила действительная опасность падения с шестого этажа, этого чувства у меня не было, а было непреодолимое желание спастись во что бы то ни стало. Я попал тогда в отчаянное положение. Был громадный пожар в азиатской стороне города, и из моего окна на четвертом этаже я видел только густое, красное зарево; дом, в котором я жил, находился на Пера, в центре европейского квартала. Я решил подняться на крышу и довольно легко добрался туда с глухой каменной площадки, окруженной с четырех сторон стенками, высота которых доходила мне до уровня глаз. Я выбрался оттуда на черепичную, почти плоскую крышу и пошел по ней в том направлении, откуда, по моим расчетам, должен был быть хорошо виден пожар. Зарево действительно стало несколько ярче, и в нем стал проступать черный фон, но все-таки даже самого пламени нельзя было увидеть. Постояв минут десять, я пошел обратно. Была совершенно туманная ночь, не было ни звезд, ни луны, я шел наугад и не думал, что могу ошибиться. Наконец я дошел до края площадки и стал спускаться, спиной вперед. Когда край крыши был на уровне моих глаз, я вытянул носки ног; но пола под ними не было. Это меня удивило, я опустился ниже, потом, наконец, повис на вытянутых руках, держась пальцами за чере-

пицу, но пола опять не достал. Тогда я повернул с усилием голову вбок и посмотрел вниз: очень далеко, в страшной, как мне показалось, глубине тускло горел фонарь над мостовой; а я висел над задней, глухой и совершенно ровной стеной дома, над шестиэтажной пропастью. Рубашка на мне с неправдоподобной быстротой стала влажной. Я держался за черепицу – мне сразу показалось, что она скользит и сползает, – одними пальцами и не мог рассчитывать ни на чью помощь. В первую секунду я испытал необыкновенный ужас. Затем я стал подниматься наверх. Перед этим в Греции, с одним из моих товарищей, я тренировался, чтобы поступить в цирк акробатом, и то, что для среднего человека было бы невозможным, мне было сравнительно нетрудно. Прижимаясь к стене лицом и грудью, я подтянул тело наверх, захватил черепицу уже на сгиб сначала правой, затем левой кисти, потом медленно, без того ритмического и почти необходимого толчка, который делается в гимнастических упражнениях, но которым здесь я не мог рисковать, так как секундная потеря равновесия грозила мне падением, я поднял локоть правой руки и сразу поднялся на несколько сантиметров – все остальное было уже легко; но я еще отполз по крыше некоторое расстояние, чтобы удалиться от края. Потом я без труда нашел площадку и спустился к себе в комнату: из зеркала на меня глядело мое лицо, искаженное, запачканное известкой, с совершенно чужими глазами. Это все было много лет тому назад, но я помню этот взгляд сверху на тусклый фонарь, над неровными камнями мостовой – один из тех вечных пейзажей утопающего в глубокой ночи города, которые потом я столько раз видел в Париже. И в минуты редких и внезапных просветлений мне начинало казаться совершенно необъяснимым, почему я ночью проезжаю на автомобиле по этому громадному и чужому городу, который должен был бы пролететь и скрыться, как поезд, но который я все не мог проехать, – точно спишь, и силишься, и не можешь проснуться. Это было почти такое же мучительное ощущение, как невозможность избавиться от груза воспоминаний; в противоположность большинству моих знакомых, я почти ничего не забывал из

того, что видел и чувствовал; и множество вещей и людей, из которых теперь уже некоторых давно не было в живых, загромождали мои представления. Я запоминал навсегда однажды увиденное лицо женщины, помнил свои ощущения и мысли чуть ли не за каждый день на протяжении многих лет, и единственное, что я забывал с легкостью, были математические формулы, содержание некоторых, давно прочитанных книг и учебников. Но людей я помнил всех и всегда, хотя громадное большинство их не играло в моей жизни важной роли.

И когда я думал о том, как нелепо сложилась моя жизнь за границей, передо мной тотчас же вставало первое время моего пребывания в Париже, когда я работал на разгрузке барж в Сен-Дэни и жил в бараке с поляками; это был преступный сброд, прошедший через несколько тюрем и попавший, наконец, туда, в Сен-Дэни, куда человека мог загнать только голод и полная невозможность найти какую-либо другую работу. Никто из них не знал по-французски, так же как не знали этого языка и другие – двое русских, приехавших с немецких шахт, один беглый испанец, несколько португальцев и маленький итальянец с нежным лицом и белыми руками, тоже неизвестно почему попавший из Милана во Францию, – мои товарищи по работе. Когда мы выстроились утром, пришел директор, полный мужчина с заплывшими глазами под золотым пенсне; он осмотрел нас и потом сказал шефу, который его сопровождал:

– Это просто беглые каторжники.

Но никто из них не понял этой фразы, и они все искательно и выжидательно улыбались. Все поляки были страстными игроками в карты и после работы до поздней ночи играли между собой на последние деньги; затем неизменно оказывалось, что кто-то из них уличен в передергивании, кто-то другой – в краже, и между ними начиналась дикая драка, и я просыпался от того, что на меня падало чье-то тело; и в решительный момент я всегда видел, как с крайней койки поднимался испанец; он торопливо одевался и уходил на час или два; он ничего не понимал из того, что говорилось, но, по-видимому, долгий жизнен-

ный опыт научил его, что в критические минуты предпочтительнее находиться подальше. И когда все утихало, в дверь просовывалась его узкая голова, он возвращался и снова ложился спать. Я выдержал две недели этой жизни; рядом со мной жил русский, спокойный и атлетический мужчина, относившийся ко всему решительно, даже к своей собственной судьбе, с совершенным безразличием. Он был настолько силен физически, что восьмичасовое таскание шестипудовых мешков его не утомляло; и когда я после первого дня работы лежал в совершенном бессилии на своей койке, то, засыпая, я услышал, как он сочувственно пробормотал: – замотался парнишка. Иногда он пел низким голосом песни собственного сочинения и вовсе неожиданного содержания. Любимая его песня начиналась так: «Настрою я лиру на...» – следовало непристойное ругательство.

Был конец ноября, по утрам уже был иней; во время работы становилось жарко, но потом я начинал мерзнуть; к тому же нередко шли длительные дожди, и я, в конце концов, однажды утром не встал на работу, сказавшись больным, проспал до одиннадцати часов и затем ушел, унося с собой небольшой чемоданчик, в котором помещалось все мое имущество. День был солнечный и теплый – и даже ужасная нищета безотраднейшего Сен-Дэни показалась мне в тот раз менее резкой. Мне вскоре, однако, пришлось вернуться туда, на этот раз в депо северных железных дорог Франции, куда я поступил мыть паровозы. Когда мне сказали впервые «мыть паровозы», я был удивлен, я не знал, что их моют; потом выяснилось, что эта работа заключалась в промывании внутренних труб паровоза, на которых образовывались отложения. Эта работа была нетрудная, но неприятная; она происходила в открытом помещении, зимой вода была ледяная, и после первого же часа я обычно промокал с головы до ног, как если бы попал под проливной дождь; и в январские и февральские дни нельзя было не мерзнуть от этого; к концу рабочего дня у меня начинали стучать зубы. Я согревался только в бараке, который был значительно чище на этот раз и всегда жарко натоплен. Он был населен исключительно

русскими; среди них я узнал одного моего старого знакомого, которого я в прежние времена встречал в Севастополе, это был партизанский атаман, человек довольно незаурядный. В давние времена он был мастером на Обуховском, кажется, заводе в России, затем, в гражданскую войну, сформировал в Сибири, куда он попал неизвестно почему, партизанский отряд. В одном из очередных столкновений отряд был разбит частями красной армии и Макс – его звали Макс – был взят в плен. Ему удалось, однако, бежать, и он пешком добрался из Сибири в Крым. Теперь я встретил его в этом депо, – он был тогда высоким стариком с бритой головой и черными улыбающимися глазами. Не зная почти ни слова по-французски, он получал в час примерно столько, сколько я получал в день, и когда я его спросил о причине такого жалованья, он ответил, что французы вообще о работе не имеют представления и что их мастера никуда не годятся, а он, Макс, профессиональный русский мастер, – это вроде как ихний главный инженер. Он рассказывал, что, когда он поступал, его подвергли разным испытаниям и после этого, не споря, назначили ему максимальный оклад; он не имел определенной работы, его звали всюду, где что-нибудь не ладилось. Он починял электричество, вытачивал на станке какие-то сломанные части машин, производил необходимые расчеты и в общем работал не спеша и презрительно поплевывая на пол. Он был страстным любителем поэзии; я узнал это однажды вечером, когда он мне сказал с сокрушением:

– Вот смотрю я на тебя, и мне грустно становится, какая теперь молодежь сволочная пошла. Я на тебя две недели уже смотрю. Ты б хоть раз книжку какую в руки взял. А ты как вечер, так и залился в город, а приходишь ночью, что это за жизнь?

И он стал рассказывать мне, что когда был молодым, то очень много читал и всем интересовался. Потом он меня спросил, имею ли я какое-нибудь представление о литературе и читал ли я когда-нибудь стихи. Услышав мой ответ, он обрадовался, даже приподнялся с койки и сказал, что завтра вечером, в субботу, он поведет меня в

одно место и там мы поговорим о поэзии. На следующий вечер мы пошли в маленькое кафе, у входа он сказал мне, показывая на хозяйку:

– Поговори с ней по-французски, закажи красного вина. Пусть она почувствует, что мы тоже можем по-французски.

Я заказал бутылку вина, он покачал головой и сказал:

– Люблю, когда наши по-французски говорят, и где ты только научился?

Потом он спросил меня, знаю ли таких поэтов – он назвал десяток имен. Я кивал головой. Он прочел вслух несколько стихотворений, у него была хорошая память; он читал стихи, закрыв глаза и покачиваясь, с необыкновенным чувством, но так, как их читают обычно актеры, то есть забывая о ритме и подчеркивая только смысловую последовательность. Затем он сказал, что прочтет сейчас самое любимое свое стихотворение; он закрыл глаза, лицо его побледнело, и он начал изменившимся голосом:

К позорной казни присужденный,
лежит в цепях венгерский граф...

Как все простые и душевно наивные люди, он очень любил внешнюю роскошь описаний; судьба русского крестьянина трогала его меньше, чем участь венгерского графа или австрийского барона. Мне часто приходилось наблюдать эту удивительную склонность людей к совершенно чуждому им миру, роскошь которого навсегда поразила их воображение.

В те времена я имел о Париже очень приблизительное представление и вид этого города ночью неизменно поражал меня, как декорации гигантского и почти безмолвного спектакля, – длинные линии фонарей на уходящих бульварах, мертвые их отблески на неподвижной поверхности канала St. Martin, едва слышное лепетание листьев на каштанах, синие искры на рельсах метро там, где оно проходит над улицами, а не под землей. Теперь, когда я знаю Париж лучше, чем любой город моей родины, мне нужно сделать над собой большое усилие, чтобы вновь

увидеть этот его почти исчезнувший, почти потерянный облик. Но зато вид его предместий остался таким же; и я не знаю ничего более унылого и пронзительно печального, чем рабочие предместья Парижа, где, кажется, в самом воздухе стелется вековая, безвыходная нищета, где жили и умерли целые поколения людей, жизнь которых по будничной своей безотрадности не может сравниться ни с чем, – разве только с окрестностями Bd Sébastopol, где столетиями стоит запах гнили и где каждый дом пропитан этим невыносимым зловонием. Постоянное мое любопытство тянуло меня к этим местам, и я неоднократно обходил все те кварталы Парижа, в которых живет эта ужасная беднота и эта человеческая падаль; я проходил по средневековой узкой уличке, соединяющей Севастопольский бульвар с улицей St. Martin, где днем под стеклянным навесом убогой гостиницы горел фонарь и на пороге стояла проститутка с лиловым лицом и облезшим мехом вокруг шеи; я бывал на площади Мобер, где собирались искатели окурков и бродяги со всего города, поминутно почесывавшие немытое тело, видневшееся сквозь неправдоподобно грязную рубаху; я бывал возле Ménilmontant, Belleville, Porte de Clignancourt, и у меня сжималось сердце от жалости и отвращения. Но я никогда не знал бы много из того, что знаю, и половины чего достаточно, чтобы отравить навсегда несколько человеческих жизней, если бы мне не пришлось сделаться шофером такси. До этого, однако, я был рабочим, потом студентом, потом служащим, потом занимался преподаванием русского и французского языков, и тóлько после того, как выяснилась для меня совершенная несущественность этих занятий, я сдал экзамен на знание парижских улиц и управление автомобилем и получил необходимые бумаги.

Работа на фабрике оказалась для меня невозможной не потому, что была особенно изнурительной; я был совершенно здоров и почти не знал физической усталости, особенно после моего стажа в Сен-Дэни. Но я не мог выдержать этого постоянного заключения в мастерской, я чувствовал себя как в тюрьме и искренне недоумевал: как могут люди всю жизнь, десятки лет жить в таких усло-

виях? Правда, этому предшествовали, чаще всего, целые поколения их предков, всегда занимавшихся физическим трудом, – и никогда, ни у одного из профессиональных рабочих я не замечал протеста против этого невыносимого существования; все их возмущение чаще всего сводилось к тому, что они считали свой труд недостаточно оплачиваемым, но против принципа этого труда они не восставали, эта мысль никогда не приходила им в голову. Я еще не знал в те времена, что разные люди, которых мне приходится встречать, отделены друг от друга почти непереходимыми расстояниями; и, живя в одном городе и одной стране, говоря на почти одинаковых языках, так же далеки друг от друга, как эскимос и австралиец. Я помню, мне никак не удавалось объяснить моим товарищам по работе, что я поступаю в университет, они не могли этого понять.

– Чему же ты будешь учиться? – Я отвечал, подробно перечисляя предметы, которые меня интересовали. – Ты знаешь, ведь это трудно, нужно знать много особенных слов, – говорили они. Потом один из них, наконец, заявил, что это невозможно; чтобы поступить в университет, нужно окончить среднее учебное заведение, лицей, в котором могут учиться только богатые люди. Я сказал, что у меня есть нужный аттестат. Они недоверчиво качали головами, и одна работница мне посоветовала бросить эти никому не нужные вещи, она говорила, что это не для нас, рабочих, – и уговаривала меня не рисковать, а остаться здесь, где, по ее словам, лет через десять я мог бы стать мастером или начальником группы рабочих. – Десять лет! – сказал я. – Да я десять раз умру за это время. – Ты плохо кончишь, – сказала она мне напоследок.

Несмотря на то, однако, что я был совершенно чужд этим моим товарищам по работе – фрезеровщикам, сверлильщикам, слесарям, – у меня с ними были прекрасные отношения, и в чисто человеческом смысле они были, во всяком случае, не хуже, а часто даже лучше, чем представители других профессий, с которыми мне пришлось сталкиваться, и, во всяком случае, честнее. Меня поражало, мне не могло не импонировать то веселое мужество, с которым они жили. Я знал, что то, что мне казалось каторж-

ным лишением свободы, было для них нормальным состоянием, в их глазах мир был иначе устроен, чем в моих; у них соответственно этому были изменены все реакции на него, как это бывает с третьим или четвертым поколением дрессированных животных, – и как это, конечно, было бы со мной, если бы я работал на фабрике пятнадцать или двадцать лет. Но вне зависимости от того, чем объяснялась их веселость, насмешливость и беззаботность, – эти качества сами по себе были настолько хороши, что я не мог не поддаться их своеобразной привлекательности. Резкую разницу, которая была между ними и мной и которая невольно подчеркивала несуразность моего положения, мою неуместность на фабрике, я старался сглаживать, как мог, чтобы не привлекать постоянного внимания соседей, и через некоторое время я научился понимать и употреблять термины арго и стал одеваться так же, как они. И вот тем, что я по внешнему облику начал совершенно походить на рабочего, я навлек на себя презрительное неудовольствие одного из моих соседей, высокого чернобородого человека, приходившего в мастерскую в своем синем штатском костюме с университетским значком. Он был русский, кончивший юридический факультет в Праге. Костюм его лоснился и был неправдоподобно неприличен, в бороде всегда застревали железные стружки так же, как в его спутанных волосах. У него было худое скуластое лицо с большими глазами; он вообще был похож на один из портретов Достоевского, который, кстати сказать, был его любимым автором. Рабочие и особенно работницы издевались над ним; расстраивали установку его сверлильного станка, прицепляли ему сзади на спину бумажные хвостики, говорили ему, что его вызывает начальник мастерской, который и не думал этого делать. Он плохо знал по-французски и многого не понимал из насмешек его товарищей по работе. Но относился он ко всему этому с совершенно стоическим презрением, и только иногда, по его глазам, было видно, как тяжело ему это. Мне было жаль его, я несколько раз вмешивался и объяснял, что стыдно издеваться над человеком, который не в состоянии ответить. Но они, с детской жестокостью, через некоторое

время снова начинали свои приставания. Во время таких споров он обычно стоял в стороне, молчал, и только глаза его, вообще очень выразительные, следили за всеми нами. Со мной он никогда не разговаривал. Но потом, однажды, он подошел ко мне и спросил, правда ли, что я русский, и, узнав это, сказал:

– И вам не стыдно?

– Чего же я должен стыдиться? – спросил я с недоумением.

И он объяснил мне, что позор мой – он так и сказал: – позор – заключается в том, что меня нельзя никак отличить от рабочего.

– Вы так же одеваетесь, как они, носите такие же шарфы, такую же кепку, словом, у вас такой же хулиганский и пролетарский вид, как у них.

– Вы меня извините, – сказал я, – но ведь лучше иметь рабочее платье и переодеваться, чем ходить в нецелесообразном костюме, у которого, может быть, есть то достоинство, что он сразу отличает вас от других рабочих, но ведь это все, вот уже полгода, один и тот же костюм, и он, мягко говоря, успел очень запачкаться. Это мне кажется недостатком.

– Судя по вашей манере говорить, вы человек интеллигентный, – сказал он, – как же вы не понимаете, что все это не важно, а важно сохранить человеческую сущность.

– Я не считаю, что чистый костюм является для этого таким препятствием.

Но он произнес целую речь о том, что «бытие определяет сознание» и что против этого надо протестовать всеми силами. Рабочих он не считал за людей и безгранично презирал. Потом он сказал, что революция у него отняла все, но что у него осталось нечто, бесконечно более ценное и недоступное тем, кто сидит теперь в его доме, в Петербурге, – Блок, Анненский, Достоевский, «Война и мир». Никакие возражения не могли его поколебать, и я на них не настаивал; я понимал, как мне казалось, что это было действительно единственное его богатство и, кроме этого, у него решительно ничего не было на свете. И несмотря на то, что он не был способен понять некоторые эле-

ментарнейшие вещи, я не мог не почувствовать невольного уважения к этому человеку, видевшему только одну сторону мира; все-таки то, что он так любил, заслуживало и отречения и жертв. Зато он был совершенно чужд общих сожалений, характерных для таких же бывших людей, как он, которые я слышал и читал тысячу раз и которые, главным образом, сводились ко вздохам о потерянном житейском благополучии самого мелкого свойства.

В этой же мастерской, недалеко от меня, работал еще один русский, которого я знал раньше, так как одно время учился вместе с ним. Он был старше меня на несколько лет. Я никогда не мог выяснить ни его происхождения, ни условий, в которых он рос в России, потому что рассказы его об этом были абсолютно невероятны, – и походили на описания светской роскоши в дешевых бульварных книжках. Я помнил только, что у его родителей были какие-то совершенно чудовищные, по его описанию, люстры и повар-француз. По-русски, однако, он говорил с малороссийским акцентом, и отвлеченные понятия никогда не фигурировали в его разговоре. За границей в фабричных условиях он был как рыба в воде и совершенно не страдал от них, для него скорее университет был бы трагедией. С рабочими он легче дружил и сходился, чем другие, хотя почти не говорил по-французски. Работал он хорошо, был вынослив, и то, что он делал на фабрике, его живо интересовало. Он отличался еще исключительной бережливостью и анекдотической скупостью, питался только бульоном, хлебом и салом, которое он купил сразу в большом количестве за ничтожную цену, потому что, объяснял он, оно сверху было немножко испорчено, и все откладывал деньги. Потом он купил прекрасные, дорогие часы на руку, – но они стояли всю неделю, он заводил их только в субботу и воскресенье, говоря, что иначе механизм изнашивается. Жизнь его была чрезвычайно проста – всю неделю он работал, возвращаясь с фабрики, тотчас ложился спать, в субботу же шел сначала в баню, затем в публичный дом. Та культура, с которой ему пришлось соприкоснуться во время учения, прошла для него совершенно бесследно; и никогда ни один отвлеченный вопрос не занимал его вни-

мания. И долгое время мне казалось, что всю его жизнь, все его мысли, побуждения и чувства можно было свести, как в алгебре, к двум-трем основным формулам – остальное было бесполезной и расточительной роскошью. Я не мог предвидеть беспощадной мести, которую ему готовила эта самая ненужная культура и отвлеченные понятия; мне всегда казалось, что против них у него был природный и непобедимый иммунитет.

Но он был одним из первых людей в моей жизни, о существовании которых я мог иметь окончательное суждение, потому что в течение нескольких лет я встречал его время от времени, видел изменения, происходившие с ним, и особенно удивительные за последние два года; и главное, все остановилось в ту минуту, когда достигло сильнейшего напряжения. В нем было все, что необходимо для счастливой жизни, и прежде всего инстинктивная и полная приспособляемость к тем условиям, в которых ему пришлось жить: он искренно полагал, что существует очень неплохо, что та ничтожная сумма денег, которая у него отложена – и которая каждый месяц увеличивается в той же убогой пропорции – есть некоторый капитал, что два костюма особенного, подчеркнуто модного и тугого покроя, характерного для плохих портных из бедных кварталов Парижа, – это значит, что он хорошо одет, что очередная прибавка жалованья – 15 или 20 сантимов в час – увеличивает его «экономический потенциал» – словом, для оценки своего собственного положения он пользовался критериями рабочей среды, в которой жил, а о критериях общего порядка не подозревал, – я думаю, впрочем, что слово «критерий» не фигурировало в числе тех, которые он знал. В самое первое время в Париже, разговаривая с ним, еще можно было представить себе, что этот человек чему-то учился, но уже года через два от этого ничего не осталось; он забыл это так, казалось бы, глубоко и непоправимо, точно этого никогда не существовало. Как большинство простых людей, попавших в иностранную среду, он избегал говорить по-русски, и если бы не акцент и ошибки в глаголах, временах и родах, его речь можно было бы принять за речь французского крестьянина. Он

ушел с завода, где мы работали вместе, и несколько месяцев спустя я видел его в вагоне метро: на красноватых его руках, которые я хорошо знал – с утолщениями к концам пальцев и закругляющимися ногтями, – были перчатки нежно-желтого цвета, а на голове был котелок. Фамилия его была Федорченко, и это его очень огорчало, так как, по его словам, французам было трудно ее произносить, и всем своим новым знакомым он представлялся как m-r Федор. В нем в сильнейшей степени была развита та же черта, которую я неоднократно наблюдал у многих русских, для которых все, что существовало прежде, и что, в конце концов, определило их судьбу, перестало существовать и заменилось той убогой иностранной действительностью, в которой они, в силу, чаще всего, плохого знания французского языка и отсутствия критического чувства именно по отношению к этой среде, видели теперь чуть ли не идеал своего существования. Это было, как мне казалось, когда я думал обо всех этих людях, – среди них бывали прокуроры, адвокаты, доктора, – проявлением многообразнейшего инстинкта самосохранения, вызвавшего постепенную атрофию некоторых способностей, ставших не только ненужными, но даже вредными для той жизни, которую эти люди теперь вели, – и прежде всего, способности критического суждения и той известной интеллектуальной роскоши, к которой они привыкли в прежнее время и которая в теперешних обстоятельствах была бы неуместна и невозможна. Я разговаривал как-то об этом с одним из моих товарищей, и он вдруг сказал, прерывая меня:

– Ты помнишь книгу Уэллса, которую мы читали много лет тому назад – «Остров доктора Моро»? Ты помнишь, как животные, обращенные в людей, после того как из-за какой-то катастрофы доктор Моро потерял над ними власть, – ты помнишь, с какой быстротой они забывали человеческие слова и возвращались к прежнему состоянию?

– Это унизительное сравнение, – сказал я, – это чудовищное преувеличение, я не могу с тобой согласиться.

Но позже, после того как мне пришлось видеть множество примеров этого душевного и умственного обнища-

ния, я думал, что мой товарищ был, может быть, более прав, чем мне казалось сначала. Превращения, которые происходили с людьми под влиянием перемены условий, бывали настолько разительны, что вначале я отказывался им верить. У меня получалось впечатление, что я живу в гигантской лаборатории, где происходит экспериментирование форм человеческого существования, где судьба насмешливо превращает красавиц в старух, богатых в нищих, почтенных людей в профессиональных попрошаек, – и делает это с удивительным, невероятным совершенством. Я как сквозь сон вспоминал и узнавал этих людей: в пьяном старике с седыми усами и мутным взглядом, которого я встретил в маленьком кафе одного из парижских пригородов, куда случайно попал, – он хлопал своего соседа, пожилого французского рабочего, который особенным, характерным для французского простонародья движением открывал вкось рот с прилипшим к нижней губе, насквозь промокшим коротким окурком, – и говорил, с сильным акцентом: мы их на-ду-ли! – и потом вдруг выпрямлялся и умолкал, и мутный его взгляд начинал внезапно грустить, и он говорил – еще стакан белого, – и из разговора я понял наконец, что было предметом и этого восторга, и этой выпивки: их группе рабочих удалось сдать бракованный материал и получить за него деньги; – в этом человеке я узнал свирепого, усатого генерала, которого помнил по России, высокомерного и жестокого начальника. Его собутыльник ушел, он остался один, заказал себе неуверенным голосом и размашистым жестом и потом уставился на меня, время от времени вздрагивая и дергая головой. – Что вы на меня смотрите? – закричал он мне с раздражением. – Не пожалела вас судьба, однако, – сказал я по-русски. Он рассердился, заплатил и в пьяном и немом бешенстве вышел из кафе, не взглянув в мою сторону. Потом я узнал от моих знакомых, что, по их сведениям, генерал этот получил какое-то прекрасное место не то в Аргентине, не то в Бразилии и уехал туда уже очень давно; кажется, он преподает баллистику или еще что-то в этом роде в тамошней военной академии. Мне сказали, что он уехал лет восемь тому назад, что он оттуда никому

не пишет. Этот отъезд, однако, он обставил с исключительной расточительностью, устроил банкет, все пили шампанское и поздравили его с тем, что вот, наконец, он получил место по заслугам и что в будущей России, конечно... – Это он себе похороны устраивал, – сказал я, – вот почему эта поминальная роскошь. Бразилия, Аргентина! а в самом деле, сырая рабочая гостиница в шести километрах от Парижа, заводская сирена, красное вино, ежедневное хождение на фабрику, боль в ревматических суставах, перерождение печени, – по счастливому медицинскому выражению, – и никакой Бразилии, никакой Аргентины, никакой, конечно, будущей России и ни одного утешения с той самой минуты, когда дымным осенним вечером нагруженный до отказа пароход вышел в бурное море, оставляя навсегда берега побежденного Крыма. И, в силу непонятной для меня ассоциации, каждый раз, когда я думал об этом генерале, я вспоминал застывшую в моем воображении маленькую нищую старушку, которую я видел в Севастополе и которая пела слабым голосом невнятную мелодию; она стояла всегда на одном и том же углу, и я хорошо ее знал и привык к ней. Я остановился однажды, чтобы разобрать наконец, что она поет. Слабым старческим голосом она тянула нараспев:

Мой миленький дружок,
Любезный пастушок...

Это было на Приморском бульваре, была прекрасная погода, под вечер, за морем садилось солнце, на рейде стоял английский крейсер «Мальборо». Я на секунду закрыл глаза и быстро пошел дальше. Никакая прочитанная книга, никакой результат длительного изучения не могли бы обладать такой ужасной убедительностью, как этот жалобный, умирающий в солнечном и юном великолепии отклик давно умолкнувшей и исчезнувшей эпохи. И мое воображение рисовало мне картины, относящиеся к молодости этой женщины, создало вокруг нее целый мир, неверный, расплывчатый, но бесконечно очаровательный и от которого теперь не осталось ничего, кроме этой наивной мелодии, похожей на тихую музыку из могилы, на

кладбище, в летний день, в тишине, прерываемой только звенящим жужжанием насекомых.

* * *

Мне было тогда шестнадцать лет, но уже в те времена я знал чувство, которое потом неоднократно стесняло меня, – как если бы мне становилось трудно дышать, – стыд за то, что я молод, здоров и сыт, а они стары, больны и голодны, и в этом невольном сопоставлении есть нечто бесконечно тягостное. Это же чувство охватывало меня, когда видел калек, горбунов, больных и нищих. Но я испытывал подлинные страдания, когда они кривлялись и паясничали, чтобы рассмешить народ и заработать еще несколько копеек. И только в Париже, на ночных его улицах, я увидел нищих, которые не вызывали сожаления; и сколько я ни старался себе внушить, что нельзя же это так оставить и нельзя дойти до такой степени очерствения, что их вид у тебя не вызывает ничего, кроме отвращения, – я не мог ничего с собой поделать. Я никогда не мог забыть, как однажды поздно ночью ко мне подошла женщина, одетая в черные лохмотья, с грязно-седыми, нечесаными волосами; она приблизилась вплотную ко мне, так, что я почувствовал тот сложный и тяжелый запах, который исходил от нее, и что-то пробормотала, чего я не разобрал; я вынул монету ей, но она отказалась и продолжала бормотать. – Что же тебе нужно? – сказал я. – Ты идешь со мной? – спросила она, собираясь взять меня под руку. – Что? – сказал я с изумлением. – Ты с ума сошла? – Она отступила на шаг и более отчетливо ответила, что найдутся другие, лучше меня, – и исчезла. Был туман в ту зимнюю ночь, я проходил мимо Центрального рынка, где гремели грузовики, ржали лошади и где над всем плыл запах гниющих овощей и особого оттенка нечистотных миазмов, который характерен для этого квартала Парижа. Меня неоднократно охватывало отчаяние, – как, в силу какой социальной несправедливости, было возможно существование этих людей? Но потом я убедился, что это была целая общественная категория, такой же законно существующий класс, как класс коммерсантов,

как сословие адвокатов, как корпорация служащих. Их принадлежность к этому миру далеко не всегда определялась возрастом, среди них были молодые люди; и там была своеобразная иерархия и переходы от одной степени бедности к другой; и на моих глазах, например, еще не старая, но очень некрасивая женщина, бродившая обычно по пустынным улицам ночного Passy, постепенно сделала непредвиденную карьеру, объяснявшуюся, однако, одним неожиданным случаем, который она охотно рассказывала: это была болезнь печени, доктор ей запретил пить, и она с тех пор вела действительно трезвый образ жизни; и в трезвом состоянии она вдруг поняла, что, вместо нищенства, она может заняться проституцией. До тех пор эта мысль никогда не приходила ей в голову. Но это было неожиданное озарение, громадной, исключительной для нее важности, нечто вроде того счастливого стечения обстоятельств и случайности, которому человечество обязано, быть может, возникновением нескольких религий, многих философских систем и изобретений. И я видел, как она стала все лучше и лучше одеваться, и в день ее окончательного апофеоза она ехала ночью в такси, тесно обнявшись с каким-то молодым человеком чрезвычайно приличного вида; и в ту часть секунды, когда их автомобиль проезжал мимо фонаря и внутренность его осветилась, я успел заметить котелок молодого человека, лежавший на сиденье, и лисий мех вокруг шеи этой женщины, и ее напудренное лицо с не изменявшимся, по-видимому, ни в каких обстоятельствах выражением холодной тупости, которое я давно знал. Я успел это все увидеть потому, что долгие годы шоферского ночного ремесла, требующего постоянного зрительного напряжения и быстроты взгляда, необходимых для того, чтобы не налететь на другую машину или успеть заметить автомобиль, неожиданно выезжающий из-за угла, – развил эту быстроту зрительного впечатления во мне, так же как во всех моих товарищах по работе, до размеров необычных для среднего человека и характерных для гонщиков, боксеров, лыжников, акробатов и спортсменов. Этот зрительный рефлекс действовал иногда с механической и бездушной точностью и был совершенно бессознателен: мне случалось ехать довольно

быстро, задумавшись о чем-нибудь и не глядя по сторонам; потом, без того, чтобы что-либо произошло, я сильно нажимал на тормоз, машина останавливалась – и тогда, перерезывая ей путь, быстро проезжал другой автомобиль, который я, оказывается, видел, не отдавая себе в этом отчета, не думая об этом и в сущности не зная, что я его вижу. Совершенно так же, повернув голову вправо или влево, – если приходилось пересекать большую улицу, – я сбоку видел, что делают клиенты, и однажды, я помню, ощутил неприятный холод в спине, потому что мой пассажир, сильно выпивший человек, типа рабочего, в растерзанном костюме, сидя сзади меня, все перекладывал из одной руки в другую два крупнокалиберных револьвера, которые, однако, как это выяснилось позже, предназначались не для меня, так как он нормальнейшим образом расплатился и ушел неверной походкой. Я был совершенно убежден, что вез убийцу, и на следующий день с любопытством искал в вечерних газетах сообщения о новом преступлении, – но не нашел; по-видимому, он отложил его. Но я почти убежден, что он совершил его; есть люди, у которых на лице написана их судьба, и его лицо было именно таким. Совершенно так же в лице Федорченко, на толстой лоснящейся и красноватой физиономии, лишенной всякой одухотворенности, было что-то страшное, в чем я никогда не мог дать себе отчета; но мне всегда бывало неуютно, когда я находился рядом с этим человеком, хотя мне лично с его стороны ничего не могло грозить ни в какой степени. И все-таки каждый раз, когда я его видел, мне становилось не по себе, это было похоже на то чувство, которое я испытывал бы, глядя, как человек срывается с крыши и летит вниз или падает в решетку лифта.

С тех пор, когда я работал вместе с ним на заводе, я на некоторое время потерял его из виду. Но однажды, в морозный февральский вечер, поставив автомобиль на стоянке и собираясь слезть, чтобы идти в кафе – это происходило на бульваре Pasteur, – я увидел его; он шел, оборачиваясь по сторонам и неся в руке маленький черный чемоданчик. Он был одет по-праздничному, на голове его был котелок, но вид у него был растерянный. Увидя меня,

он почему-то обрадовался и сказал, что у него ко мне дело, потом не удержался и спросил, как я нахожу его костюм и пальто.

– Очень хорошо, – сказал я, – прекрасно. Только галстук не надо завязывать таким маленьким узелком, это так бабушки в России носовые платки завязывают, чтобы не забыть, и потом, не следует носить, по-моему, туфли с лакированными носами. А в общем, конечно, великолепно. В чем дело?

Он рассказал мне, что возвращается с Монпарнаса и огорчен своей неудачей. Оказывается, он давно уже заметил там – в определенные часы, вечером, – какую-то даму в мехах, приходившую в кафе с прекрасным ангорским котом. Сам Федорченко был к кошкам равнодушен; но его невеста, как он сказал, очень любила эту породу, и он думал, что доставит ей удовольствие, если принесет в подарок ангорского кота. Он решил его украсть. С этой целью он отправился в кафе, захватил с собой чемоданчик, который он продолжал держать в руке, рассказывая мне все это, – воспользовался минутой, когда дама вышла на короткое время, посадил кота в чемодан и ушел. Он потратил на подготовку этого плана много дней, все ходил в кафе, смотрел на часы, пил пиво и выжидал случая, когда дама выйдет и на террасе не будет других посетителей. Дама, к счастью, всегда предпочитала террасу; и хотя за стеклянными ширмами стояла печка и было тепло, большинство посетителей сидело обычно внутри; однако несколько человек всегда оставалось на террасе. Сегодняшний вечер был особенно удачным, так как там, кроме дамы и Федорченко, сидела только одна пара влюбленных; влюбленные целовались и не обращали внимания на то, что происходило вокруг. Таким образом, выполнение плана прошло очень хорошо. К несчастью, по дороге чемоданчик расстегнулся, – как он сказал, – и кот, который до этого все держался внутри, выскочил и бросился бежать с необыкновенной, по словам Федорченко, быстротой. Федорченко долго ловил его, но не мог поймать. – Удрал-таки, сукин сын, – сказал он с внезапным озлоблением, – что вы скажете?

– Кот, конечно, дрянь, – сказал я, – но вот я не очень уверен, стоило ли его воровать? Вы могли попасть в грязную историю.

Федорченко махнул рукой и потом сказал с отчаянием в голосе, что ради своей невесты он готов на все и что другого способа достать кота не было; кот стоит бешеных денег, а он, Федорченко, не миллионер. Дело же его заключалось в том, что он попросил меня отвезти его на улицу Риволи, где жила невеста. Мы приехали туда, и я остановился, когда он мне сказал – вот сюда, – на углу узенького, как коридор, переулка, выходящего с одной стороны на набережную, с другой на Риволи, в центре квартала св. Павла, одного из самых бедных и грязных в Париже. Переулок этот был известен тем, что на нем находился огромный и очень дешевый публичный дом, и теперь, в этот вечерний час, там было большое движение, туда шли или оттуда выходили солдаты, арабы, рабочие.

– Вот тут за углом, недалеко, – сказал Федорченко. И он объяснил мне, что здесь у его невесты служба.

– Что же она делает? – спросил я. Он ответил, что у нее здесь специальная работа. Я покачал головой и попрощался с ним; и его котелок – единственный на этой улице, где преобладали кепки, – скрылся за углом. История с невестой казалась мне странной и в известной мере чем-то похожей на историю с монпарнасским котом. Но всякий раз, когда я думал о Федорченко, я точно натыкался на стену – в нем не было, казалось, ни одного недостатка, он был почти совершенен в том смысле, что все, что мешает человеку в жизни, в нем отсутствовало в идеальной степени, – огорчения, печаль, сомнения, моральные предрассудки, мысли об этом ему никогда не приходили в голову. И я не мог себе представить, какая женщина, если это только не было несчастное и забитое существо, живущее впроголодь, могла решиться соединить свою судьбу с этой тупой и душевно беззвучной жизнью.

* * *

Поздней ночью, после того как была окончена собственно вечерняя работа, я часто приезжал в районы,

прилегавшие к площади Этуаль. Я любил эти кварталы больше других за их ночное безмолвие, за строгое однообразие их высоких домов, за те каменные пропасти между ними, которые изредка попадались на этих улицах и которые я видел, проезжая. И вот ночью того дня, когда я отвозил Федорченко к его невесте, едучи по авеню Ваграм, я увидел издали высокую женскую фигуру в меховой шубе, стоявшую на краю тротуара. Я замедлил ход, она сделала мне знак, и я остановил автомобиль. Она подошла совсем близко, посмотрела на меня, и на ее лице было поразившее меня выражение неожиданности и удивления. Потом она сказала мне:

– Дэдэ, как ты стал шофером?

Я смотрел на нее, не понимая. Ей по виду можно было дать около пятидесяти лет, но на увядшем, напудренном лице были очень большие черные глаза со сдержанно-нежным выражением, и фигура ее сохранила еще, по инерции, какой-то неповторимо юный размах, и я подумал, что, наверное, много лет тому назад эта женщина была очень хороша. Но я не понимал, почему она обратилась ко мне, назвав меня чужим именем. Это не могло быть одним из приемов завлечения клиента, – и ее голос и ее выражение были слишком естественны для этого.

– Мадам, – сказал я, – это ошибка.

– Почему ты не хочешь узнавать меня? – продолжала она медленным голосом. – Я никогда тебе не сделала зла.

– Несомненно, – сказал я, – несомненно, – хотя бы по той причине, что я никогда не имел удовольствия вас видеть.

– Тебе не стыдно, Дэдэ?

– Но уверяю вас...

– Ты хочешь сказать, что ты не Дэдэ-кровельщик?

– Дэдэ-кровельщик? – сказал я с изумлением. – Нет, я не только не Дэдэ-кровельщик, но я даже никогда не слышал этого прозвища.

– Слезай с автомобиля, – сказала она.

– Зачем?

– Слезай, я тебя прошу.

Я пожал плечами и слез. Она стояла против меня и рассматривала меня в упор. Я не мог не чувствовать всей нелепости этой сцены, но терпеливо стоял и ждал.

– Да, – наконец сказала она, – он был, пожалуй, чуть выше. Но какое поразительное сходство!

– Видите ли что, мадам, – сказал я, садясь опять за руль, – чтобы вас окончательно убедить, я вам должен сказать, что я не только не Дэдэ, но что я не француз, я – русский.

Но она не поверила мне. – Я могу тебе сказать, что я японка, – сказала она, – это будет так же неубедительно. Я хорошо знаю русских, я их видела очень много, и настоящих русских – графов, баронов и князей, а не несчастных шоферов такси, они все хорошо говорили по-французски, но у всех был акцент или иностранные интонации, которых у тебя нет.

Она говорила мне «ты», я продолжал говорить ей «вы», у меня не поворачивался язык ответить так же, она была вдвое старше меня.

– Это ничего не доказывает, – сказал я. – Но скажите мне, пожалуйста, кто был этот Дэдэ?

– Это был один из моих любовников, – сказала она со вздохом. Она сказала «amant de cœur»[1], это непереводимо на русский язык.

– Это очень лестно, – сказал я, не удержав улыбки, – но это был не я.

У нее на глазах стояли слезы, она дрожала от холода. Потом она обратилась ко мне с предложением последовать за ней, мне стало ее жаль, я отрицательно покачал головой.

– У меня не было ни одного клиента сегодня, – сказала она, – я замерзла, я не могла даже выпить кофе.

На углу светилось одинокое кафе. Я предложил ей заплатить за то, что она выпьет и съест.

– И ты ничего от меня не потребуешь?

Я поспешил сказать, что нет, я решительно ничего не потребую от нее.

[1] любовник, друг сердца (*фр.*).

– Я начинаю верить, что ты действительно русский, – сказала она. – Но ты меня не узнаешь?

– Нет, – ответил я, – я никогда вас не видел.

– Меня зовут Жанна Ральди, – сказала она. Я тщетно напрягал свою память, но ничего не мог найти.

– Это имя мне ничего не говорит, – сказал я.

Она спросила, сколько мне лет, я ответил.

– Да, – сказала она задумчиво, – может быть, ты прав, твое поколение меня уже не знало. Ты никогда не слышал обо мне? Я была любовницей герцога Орлеанского и короля Греции, я была в Испании, Америке, Англии и России, у меня был замок в Виль д'Аврэ, двадцать миллионов франков и дом на rue Rennequin.

И только когда она сказала – rue Rennequin, – сразу вспомнил все. Я очень хорошо знал название этой улицы, я впервые услышал его еще в России, много лет тому назад. Я сразу увидел перед собой глухую станцию, запасные пути, занесенные рельсы, трупы лошадей, из которых собаки с крякающим звуком вырывали внутренности, скудный свет железнодорожных фонарей, в котором вился и сыпался мелкий снег, – в морозном и единственном в мире воздухе моей родины. В те времена – это был последний год гражданской войны – вечерами в наш вагон приходил пожилой штатский человек, князь Нербатов, любивший, по его словам, молодежь и долго рассказывавший нам о Париже. Он был стар, беден и несчастен, на нем было заношенное платье, и от него всегда шел точно легкий запах падали. Я вспомнил его слезящиеся от мороза маленькие глаза, густую седую щетину и красноватые руки, которые дрожали, когда он брал папиросу и подносил к ней танцующий в его пальцах огонек спички. Мы кормили его, давали ему деньги и слушали его рассказы. Этот человек всю свою жизнь посвятил женщинам; он провел долгие годы в Париже, интересовался искусством, любил хорошие книги, хорошие сигары, хорошие обеды; театры, скачки, премьеры, ложи, цветы – это всегда фигурировало в его воспоминаниях. Он был по-своему не глупый человек, понимавший, в частности, то, что он назы-

вал «женской пронзительностью», но испорченный той видимостью культуры, в ценности которой он никогда не сомневался. Он восхищался «Орленком» и «Дамой с камелиями», был недалек от того, чтобы сравнивать Оффенбаха с Шубертом, с удовольствием читал малограмотные светские романы; он не был плох сам по себе, он был жертвой своих денег и не был виноват в том, что никогда в жизни не сталкивался с людьми, в представлении которых культура не носила того опереточного характера, который он невольно придавал ей.

Он был русским boulevardier[1] давнишнего Парижа, Парижа начала столетия; но главным теперь было то, что в те времена дни его были сочтены; у него был туберкулез, он тяжело кашлял, задыхался и багровел, не мог сказать во время этих припадков ни слова, и в покрывавшихся слезами его глазах в эти минуты было совершенное отчаяние. Помимо туберкулеза, он был болен цингой, – словом, он почти умирал на наших глазах, – не физически, так как особенно резкого ухудшения его здоровья не происходило, – а во времени; было ясно, что если мы могли говорить о том, что будет через пять лет, то в его устах такая речь была бы бессмысленна, – и он это знал так же хорошо, как и мы. Он оживлялся после водки, – и обычно тогда начинал свои рассказы. Но о чем бы он ни говорил, он всегда возвращался к своим любовным воспоминаниям и в конце вечера всегда сбивался на единственную тему, которая, по-видимому, потрясла его навсегда; и если случалось, что он особенно много выпил, он начинал плакать, вспоминая об этом. Это был рассказ о женщине, имени которой я не помнил и которая жила в Париже на улице Ренекэн. У него с ней был длинный роман, и он сообщал, без тени стыда, неприличнейшие и подробные его обстоятельства и нередко горько плакал, вспоминая именно эти нецензурные детали. Женщина, которую он описывал, казалась бы совершенной богиней, если бы не было этих подробностей, и обладала, по его словам, и необыкновенной, непобедимой очаровательностью, и исключитель-

[1] завсегдатаем Больших бульваров (*фр.*).

ным умом и вкусом, и вообще всеми решительно достоинствами, за исключением добродетели. Я вспомнил, что он рассказывал о ее карьере, – и именно о герцоге Орлеанском, короле, банкирах, министрах, этих ее «мимолетных капризах», как он говорил; он очень любил эти выражения, и было удивительно, что личные его – и нередко подлинные – несчастья и переживания укладывались именно в такие невыразительные и ничему живому не соответствующие слова; но он был весь проникнут этой словесной дребеденью; он так же говорил по-французски, – на том старомодном и смешном языке, который был характерен для начала столетия. И все же, несмотря на явную пристрастность и преувеличенность его описаний, у нас тогда не возникало сомнений, что это была действительно замечательная женщина; и, может быть, этому впечатлению способствовало еще и то, что была лютая зима, гражданская война, глубокая глушь ледяной России и та далекая и блестящая в его наивном представлении жизнь в Париже, которой мы никогда не знали, вдруг приобретала и для нас соблазнительность призрачного и невозможного великолепия. Мы расстались с князем, потому что нас спешно перебрасывали на другое место, и я успел зайти к нему попрощаться в маленький и грязный домишко, где он жил; он лежал на кровати, задыхаясь от кашля, в комнате стоял тяжелый запах, окна были заперты, топилась докрасна раскаленная печь. Я принес ему на прощание мешок угля, водку и консервы, пожал его дрожащую, горячую руку – он был совсем плох, – пожелал выздоровления; он прохрипел в ответ – умирать остаюсь, прощайте, – и я ушел с тяжелым сердцем. Я никогда потом не возвращался в эти места России и никогда не видел ни одного человека, который мог бы мне сказать, как и когда умер князь, потому что в том, что он умер вскоре после нашего отъезда, не могло быть никаких сомнений. Но воспоминание о нем навсегда было связано у меня с тем опереточным и вздорным миром, который он так любил наивной своей душой и рассказ о котором не вызывал бы ничего, кроме невольного презрения и насмешки, если бы он весь

не находился в тени трагического и неприличного силуэта этой женщины.

Стоя рядом с ней в кафе – она пила вторую чашку шоколада и ела сандвич, – я пристально смотрел на нее. Она ела сандвич, отрывая длинными и очень чистыми – я обратил на это внимание – пальцами маленькие куски, которые ей трудно было жевать, так как во рту у нее не хватало зубов. Теперь в свете ламп было видно, что ей значительно больше пятидесяти лет, ей, верно, было за шестьдесят. Я долго смотрел на нее, и вдруг я увидел себя – сухоньким стариком с морщинистой, желтой кожей, с дряблым телом и тоненькими мускулами, которые будут неспособны ни к какому усилию. Была глубокая ночь, за окном кафе вился мелкий и редкий снег. Мне стало холодно и очень неприятно. Но я сделал над собой усилие и сказал:

– Извините меня за нескромность. Но каким образом вышло, что, имея такое состояние, вы все-таки теперь вот, когда вам следовало бы мирно жить в удобном и теплом доме и читать книги, если это вас интересует, вместо этого...

Она пожала плечами и ответила, что это длинная история, что ее погубили наркотики, что ее обкрадывали все и что она не могла остановиться, хотя знала, чем все это должно кончиться. Она говорила со мной на таком чистом и прекрасном французском языке, который мне приходилось слышать очень редко и который придавал некоторую убедительность рассказам о ее прошлом великолепии. Теперь она жила в глубокой нищете, в одной из холодных комнат старого дома, находившегося на той же самой улице, где у нее когда-то был особняк. Она рассказывала мне, что в течение долгих лет ей принадлежал – во второй, менее блистательной половине ее жизни – один из лучших домов свиданий в Париже.

– Да, да, – рассеянно сказал я, – все то же самое.

Кафе уже закрывалось. Я расплатился, и мы вышли на улицу. Она все время дрожала от холода, и слезы опять мгновенно показались на ее глазах.

– Идите домой, – сказал я, – вы простудитесь, тогда будет еще хуже.

Она отрицательно качала головой и отказывалась, говоря, что не заработала ни одного франка. Мне было очень жаль ее, я дал ей немного денег и отвез ее домой.

– Спасибо, мой милый, – сказала она, стоя уже на тротуаре, перед дверью своего дома. – Я думаю, что ты не совсем нормален, и я верю теперь, что ты русский. Если ты будешь еще в этих местах, ты всегда найдешь меня здесь. Я буду рада тебя видеть, мы поговорим.

Я вернулся туда через несколько дней в тот же поздний час и издали увидел ее фигуру. На этот раз мы долго говорили с ней; и впоследствии я неоднократно проводил целые часы в этих разговорах. Она была действительно по-настоящему умна – особенным, снисходительным и ленивым умом, в котором совершенно отсутствовало озлобление или резкое осуждение, и это казалось вначале удивительным. У нее была прекрасная память. Я спросил ее однажды, помнит ли она князя Нербатова. Она вдруг засмеялась совсем особенно, так, что если бы я только слышал этот смех, а не видел бы ее, я бы думал, что это смеется молодая женщина, – и сказала:

– Маленький русский князь с лорнетом, который жил на авеню Виктор Гюго? Ты знал его? Где? В России?

Я кивнул головой. Она задумалась, вспоминая, по-видимому, это далекое время.

– Он был неплохой человек, он мне предложил ехать с ним в Россию и все рассказывал о своих имениях. Но он был не очень умен и очень сентиментален.

– Я думаю, как все boulevardiers.

– Большинство, – сказала она с улыбкой. – Не абсолютно все, но большинство. Это была особенная порода людей.

– Да, да, знаю, – сказал я, – дурной вкус и сентиментальность дурного вкуса, и адюльтерные вздохи, и теперь – зловонная старость после долгой жизни, которая похожа на идиотскую мелодраму даже без извинения трагической развязки.

– Странно, – сказала она, не отвечая, – удивительное соединение: у тебя доброе сердце и такая явная душевная грубость. Нет, твое поколение не лучше. Ты говоришь –

дурной вкус. Но ведь вкус – это эпоха, и то, что сейчас дурной вкус, не было таким раньше. Ты должен это знать, мой милый.

После того как я увидел Ральди первый раз и она приняла меня за Дэдэ-кровельщика, – несмотря на упоминание рю Ренекэн, – ее история казалась мне невероятной, и я спрашивал о ней у старых шоферов, и в частности одного из них, который тридцать лет работал ночью. Оказалось, что ее действительно знали все.

– Она была неплохая девка, – сказал он мне, – и совсем не зазнавалась. И сколько было этой сволочи из аристократов, которые ее содержали! Как же мне ее не знать? Ты только ее спроси, помнит ли она шофера Рене, она тебе сама скажет. Почему ты меня о ней спрашиваешь, она к тебе пристала на улице? Какое несчастье! И думать об этом жалко. Они все так кончают, они порченые.

Мне было жаль Ральди, у меня не хватало жестокости говорить с ней так, как мне хотелось, то есть со всей откровенностью. Но все же я расспрашивал ее, она рассказывала мне свою жизнь, которая вся состояла из грубейших ошибок и непонятных увлечений, что казалось удивительно при ее необычном, особенно для женщин ее круга, уме. Я сказал ей это, она ответила, что страсть сильнее всего. Я не удержался и еще раз пристально посмотрел на нее, на это морщинистое и старое лицо с удивительными и нежными глазами.

– Тебя удивляет, что я говорю о страсти? – сказала она, угадав мою мысль. – Четверть века тому назад, когда я произносила это слово, оно производило другое впечатление, чем теперь.

У нее была своя философия – снисходительная и примирительная, она не очень высоко ценила людей, но считала их недостатки естественными. Когда она сказала это мне, я заметил, что весь огромный ее опыт касался в сущности только одной категории людей, действительно ничтожной, людей, которые посещают полусвет, – жеманная глупость этого выражения всегда раздражала меня, – дома свиданий, специальные ночные кабаре, содержат актерок и танцовщиц и в которых нет ничего, кроме

душевной и физической дряблости и все того же, всепобеждающего дурного вкуса. Она слушала то, что я говорил, смотря на меня насмешливо-нежным своим взглядом.

– Ты бы хотел все это уничтожить? взорвать?

– Нет, но если бы это исчезло, об этом не стоило бы жалеть.

Она покачала головой и сказала, не переставая улыбаться, что это не есть особенная категория людей.

– Что же это такое?

– Известная степень благосостояния, и если бы ты его постиг, ты, даже ты, наверное, был бы таким же, как они.

– Никогда, – сказал я.

– Я бы надеялась на это, – ответила она, – но я бы не ручалась.

Однажды она сказала мне:

– Тебе не кажется нелепым, что ты шофер такси, ты не думаешь, что эта работа тебе не подходит?

Я ответил, что выбора у меня не было. И тогда она предложила мне свои услуги, чтобы поблагодарить меня, как она сказала, за человеческое отношение к ней. – Я устрою твою жизнь иначе, ты еще очень молод и, кажется, здоров. – Я, недоумевая, смотрел на нее. Она объяснила мне, что у нее большие знакомства, что есть женщины, в конце концов, нестарые, сорок два, сорок три года, француженки или англичанки... Я сидел с ней в кафе и хохотал как сумасшедший, не будучи в силах остановиться. Потом со слезами смеха я поблагодарил ее.

– Что? ты находишь это невозможным? Но ведь это лучше, чем сидеть за рулем твоего автомобиля. У тебя так сильны предрассудки?

В тот вечер, когда происходил этот разговор, я не работал; я был в кинематографе на бульварах, потом, гуляя по Парижу, дошел до Этуаль и, вспомнив о Ральди, спустился на авеню Ваграм и встретил ее. Была весенняя, светлая и прозрачная ночь. Мы сидели на террасе; по тротуару мимо нас проходили редкие прохожие. Из глубины кафе тихо дребезжала граммофонная пластинка; певица с высоким и идеально лишенным мелодичности голосом,

так что было даже удивительно, как у нее все-таки получается какой-то мотив, пела уже вышедшую тогда из моды песенку «Раньше я смеялась над любовью». И сквозь этот мотив я внезапно ощутил вдруг рядом с собой чье-то неожиданное присутствие. Я повернул голову и увидел, в двух шагах от себя, на тротуаре, Платона, моего всегдашнего собеседника, Бог знает как очутившегося в этом далеком от его квартала районе. Но еще больше, чем его появление, меня удивил его вид. Он был в смокинге; и всегда небрежное его лицо было свежевыбрито, отчего совершенно изменилось и приобрело печальную важность, и я подумал, что ее несомненная чистая очевидность, должно быть, была вообще характерна для него, но скрывалась обычно густой щетиной. Он поздоровался со мной и низко поклонился Ральди, сняв шляпу отвыкшей от этого движения рукой. Я пригласил его сесть за столик и собрался заказать ему, как всегда, белого вина, но он остановил меня и спросил пива.

– Вы положительно хотите заставить меня пройти все возможные степени удивления, дорогой друг, – сказал я. – Как вы попали в эти края и чем объясняется ваш смокинг, которым вы, насколько я знаю, не злоупотребляете? Мадам Ральди, разрешите вам представить моего друга Платона.

Платон был так же печален и учтив, как всегда. Он спросил Ральди, не беспокоит ли ее дым, закурил сигару и объяснил, что был на премьере одной пьесы, решил пешком вернуться домой и вот, гуляя в этом районе Парижа, где он не бывал много лет, он случайно увидел меня и остановился. Ральди спросила его, нравится ли ему эта часть Парижа, он ответил, что он к ней равнодушен, он предпочитает левый берег Парижа, узкие улицы, выходящие на набережную Конти, остров святого Людовика, бульвар Сен-Жермен, улицу Мазарин, вообще кварталы, сохранившие ту архаическую прелесть, которой нет в больших и центральных районах правого берега. Ральди заговорила о других городах, и тут тоже сказалась разница их вкусов в том, что касалось, например, Лондона, Мадрида или Рима.

– Человек, – сказал Платон, – который стал бы утверждать, что внешний облик всякого города есть живая иллюстрация его последовательной культуры, в сущности был бы прав, но эта теория отличается трудностью приложения, отсутствием очевидности; эти изменения обнаруживаются только в результате тщательного наблюдения и сопоставлений; на первый взгляд это незаметно.

Ральди не была вполне согласна с ним; Платон заговорил об индивидуальном восприятии, затем речь перешла на театр, который он очень любил. Когда я сказал, что предпочитаю кинематограф, и Платон и Ральди посмотрели на меня с неодобрением.

– Как ты можешь даже сравнивать эти вещи? – сказала Ральди.

– Не кажется ли вам, мой друг, – сказал Платон, – что некоторая склонность к парадоксам, которую я замечал у вас и раньше, на этот раз увлекает вас на опасный путь?

Был поздний час, прохожих становилось все меньше, и на ярко освещенной террасе кафе, окруженной бледнеющим и удаляющимся светом тротуарных фонарей, который, в свою очередь, смешивался с лунными лучами, мы остались одни, остальные уже ушли, – и я подумал об удивительной неправдоподобности этого разговора, участниками которого были проститутка, алкоголик и ночной шофер. Но и Ральди, и Платон продолжали говорить с прежней непринужденностью, и та последняя степень социального падения, в которой мы все находились, давно стала для них привычной и естественной, и, может быть, в этом презрительном примирении с ней, вернее, в готовности к этому примирению и заключалась одна из главных причин их теперешнего состояния. Мы расстались с Ральди – Платон опять поклонился и снял шляпу – и по пустым улицам пошли пешком на Монпарнас, недалеко от которого мы оба жили.

– Вы слышали когда-нибудь о Ральди? – спросил я Платона.

– Да, конечно, – сказал он.

– И вы не поразились, увидя ее в таком состоянии?

На его неподвижном обычно лице появилась улыбка. Он был совершенно трезв, и его разговор очень выигрывал от этого в связности и логичности, хотя тот абстрактный и книжный его характер, к которому трудно было привыкнуть, был еще более подчеркнут, чем всегда. Со стороны получалось впечатление, что он читает наизусть отрывки из ненаписанного трактата, – именно эта отвлеченность его речи создала ему в кафе, где его собеседники были чаще всего простые люди, репутацию сумасшедшего.

– Сравнительный метод, – сказал он, – во взгляде на различные состояния одного и того же человека в разные периоды его жизни есть один из важнейших элементов, почти непогрешимый критерий практического суждения. Если мы умеем удержаться от неизбежно напрашивающихся легких эффектов, имеющих свою бесспорную ценность в литературе, но абсолютно недопустимых в построениях бескорыстного суждения, то результаты такого исследования почти всегда бывают плодотворны.

– Легкий эффект в данном случае – это, конечно, «величие и упадок».

– Легкий – и неправильный. Потому что в теперешнем состоянии Ральди, которую следует считать замечательной женщиной, – есть соединение тех элементов, которые обусловили ее великолепное и бессмысленное, с практической точки зрения, существование.

Мы спускались по авеню Марсо, и я продолжал с наслаждением шагать в эту прозрачную, безмолвную и светлую ночь. Париж спал глубоким сном в этот час; и проходя мимо неплотно затворенных ставен одной из квартир на первом этаже, мы услышали чей-то явственный храп, со вздохами и очень короткими паузами. – Я предполагаю, что это консьерж, – сказал Платон. По другой стороне улицы, навстречу нам, неверной и заплетающейся походкой прошел бедно одетый и совершенно пьяный человек. Его появление тотчас же вызвало у меня такую явную, такую неотразимую ассоциацию, что я не успел овладеть собой и спросил, хотя понимал, что этого не следует делать:

– Платон, отчего вы пьете?

Он сделал несколько шагов, не отвечая, потом сказал:

– Вот и в данном случае большинством людей эта проблема решается неправильно. Истина, печальность которой я не собираюсь отрицать, заключается в следующем: мы алкоголики не потому, что мы пьем, нет; мы пьем оттого, что мы алкоголики.

Но меня уже охватило раскаяние, и я не хотел продолжать этот разговор, который я считал тягостным для Платона, хотя впоследствии я понял, что это было неверно; он был тягостен для меня, Платон же давно ушел из того мира мгновенных и сильных сожалений, в котором я задыхался всю мою жизнь.

– Мы говорили о Ральди, – сказал он. – Чем объясняется ее удивительная карьера? Каким образом простая французская девушка из Тулона, говорившая с сильным южным акцентом, следов которого вы тщетно стали бы искать в ее теперешней речи, могла стать на некоторое время одной из самых блестящих женщин Парижа и почему ее благосклонности добивались очень богатые и титулованные люди, которые дрались из-за нее на дуэли?

– Я очень низкого мнения о вкусе этих людей, Платон, – сказал я. – Тот факт, что ее выбрал сначала герцог, потом король, потом геморроидальный сенатор, мне ни в какой степени не кажется убедительным. Вы знаете так же хорошо, как и я, что это могли быть люди, эстетическое чувство которых было не более изощренным, чем эстетическое чувство крестьянина или мастерового.

– Я этого не отрицаю априорно. Но количество людей, которые стремились к обладанию этой женщиной, независимо от того, были они титулованы или нет, готовность рисковать своей жизнью или даже временной потерей здоровья ради ее расчетливой и, в сущности, спорной и призрачной любви – одно это количество говорит о том, что она была непохожа на других женщин полусвета. Итак, в чем был секрет ее удивительного и несомненного очарования?

– Я думаю, что мы никогда не узнаем этого, Платон. Те люди, которые – я делаю лестное и, наверное, непра-

вильное предположение о них – могли нам рассказать об этом, либо умерли, либо впали в старческий идиотизм. Мы с вами этого не знали; я отдаю должное аналитической гибкости вашего ума и его беспристрастности, но я считаю, что решение этой задачи было потеряно лет тридцать тому назад и теперь оно не существует.

– Я очень далек от картезианских идей, – сказал Платон, – я считаю, что они принесли большой вред нашей мысли. Возможность полного и ясного ответа на сложный вопрос кажется осуществимой только для ограниченного воображения, это был основной недостаток Декарта. Но в некоторых случаях важнейший и определяющий все аспект вопроса кажется мне несомненным. Именно так обстоит вопрос с Ральди. Она всегда знала, что она погибла, – она видела неизбежное приближение того состояния, в котором мы с вами покинули ее час тому назад, она знала это всегда, и вот это печальное понимание некоторых последних вещей, понимание, которое не могло не отразиться на всей ее жизни, на каждом выражении ее глаз, на каждой интонации ее удивительного голоса и, наверное, на каждом ее объятии, – оно в основном и определило ее несравненное очарование.

– Да, мне кажется, я понимаю, – сказал я. И я подумал, что сейчас, в эту минуту, Ральди, наверное, спит в своей маленькой комнатке на влажно-теплых от ее тела простынях, представил себе на подушке тихий и сухой шелест волос, когда она во сне поворачивает голову, смертельно и давно усталые мускулы ее обезображенного возрастом лица, ее жалобно отвисающую нижнюю губу над редкими желто-черными зубами. И я тотчас же опять вспомнил бедного князя и пьяный его лепет: «Она лежала в кровати, в нежно-голубой рубашке, я стоял на коленях перед кроватью, и она гладила мне голову вот так», – он проводил по потной лысине, перерезанной сизыми жилами, своей надушенной рукой.

– Платон, это невозможно, – сказал я почти в исступлении, – обстоятельства складываются так, что всюду, куда бы я ни попал, я вижу всегда умирание и разруше-

ние, и, оттого что я не могу этого забыть, вся жизнь моя отравлена этим.

Я впервые говорил Платону об этих вещах, которыми я обычно ни с кем не делился; я, может быть, не сказал бы этого, если бы Платон, – так же как Ральди, – не пребывал бы в том небытии, сохранившем призрачный и обманчивый облик подлинной жизни, где умолчания и расчет уже давно не имели смысла. Но длительная привычка ко лжи, которой была пропитана вся моя жизнь, лжи о том, что я, в сущности, довольно благополучно существую и ничего никогда не принимаю трагически, оказалась сильнее всего, и я перевел разговор на другое, не дав времени Платону ответить. Я непременно хотел узнать, чем объяснялось это неожиданное и недолгое – в этом я не сомневался – возвращение Платона в тот исчезнувший Париж, к которому он когда-то принадлежал – вечерний город смокингов, премьер и так называемых приличных людей. Это было, как и следовало ожидать, случайностью: один знакомый Платона, обокравший виллу в Нейи и завернувший в прекрасную, по словам Платона, скатерть костюмы, серебро, меховую шубу и еще несколько разнообразных предметов, – знакомый, состоявший под сильным подозрением полиции и стесненный в своих действиях, – раздал все эти вещи случайным людям – и на долю Платона пришлись смокинг и бритва с большим запасом ножей. Я спросил, профессиональный ли это вор. Платон пожал плечами и ответил, что это совершенно приличный человек из хорошей семьи, только недавно начавший свою карьеру – в результате неудачно сложившейся жизни.

– Какое, в сущности, имеет значение, профессиональный ли это вор? – сказал Платон. – Я не совсем понял причину вашего вопроса, я хочу сказать, побудительную причину?

Я объяснил ему, что поведение этого человека содержало в себе два необычных элемента – отсутствие личной, непреодолимой жадности, во-первых, и известную гибкость расчета, во-вторых; если б он продал это за гроши скупщику краденого, против него были бы улики; пред-

положение же о том, что он просто роздал вещи, имело шансы вообще не возникнуть у тех, кому было поручено следствие. Поэтому я подумал, что знакомый Платона не принадлежит к категории профессиональных воров – его поступки для этого одновременно слишком умны и слишком бескорыстны. Я неоднократно сталкивался с профессиональными ворами, среди них находились неплохие люди и верные товарищи, но отличительным признаком их всех, почти без исключения, был неподвижный в тупой ум, вернее, очень односторонний; они могли проявить некоторую изобретательность в начале предприятия, но потом вели себя с полным отсутствием личной фантазии в использовании краденого или трате денег так, точно были персонажами одной и той же, очень глупо написанной, пьесы.

– Даже в том случае, – сказал я, – если использование краденого и носит вовсе неожиданный характер, отсутствие элементарной гибкости воображения губит этих людей.

И я напомнил ему историю молодоженов, кажется, крестьянского происхождения, которые убили богатого старика, взяли деньги, около полутораста тысяч франков, и через три дня после этого приобрели в собственность гастрономический магазин, в котором собирались делать карьеру честных коммерсантов; и агенты полиции, войдя туда, нашли его, в белом переднике, за прилавком, и ее, с только что конченной у парикмахера прической, – на высоком стуле, за кассой этого магазина.

– Я полагаю, что это были бы прекрасные коммерсанты, – сказал Платон.

– Очень может быть.

Мы дошли до Монпарнаса и поравнялись с кафе, где обычно Платон проводил свои ночи. Он остановился и пригласил меня выпить с ним что-нибудь.

– Нет, спасибо, дорогой друг, я пойду домой, – сказал я. – Может быть, во мне тоже дремлет любитель театральных эффектов: я хотел бы, чтобы к воспоминанию об этом вечере и о нашей с вами прогулке не прибавились бы некоторые моменты, которые нарушают цельность впечат-

ления. Если бы я был автором, я бы их не допустил; будучи только вашим спутником и собеседником, я предпочитаю расстаться с вами. Спокойной ночи.

Я навсегда запомнил эту прозрачную, весеннюю ночь, начинавшийся рассвет, этот неуверенный и чем-то великодушный жест Платона, снявшего свою черную шляпу, и бритое, печальное его лицо над белой рубашкой и смокингом, которые я видел тогда на нем в первый и последний раз, потому что потом, когда я встретился с ним снова, через несколько дней, ни смокинга, ни шляпы, ни крахмальной рубашки уже не существовало, потому что они были, конечно, проданы на следующий же вечер.

Я работал в то время в небольшом гараже, который находился на глухой улице, недалеко от Bd de la Gare, и вдоль которой с одной стороны тянулась глухая, темно-серая стена сахарной фабрики, с другой – жалкие одноэтажные дома, где люди жили в условиях семнадцатого столетия, – я неоднократно видел сквозь мутные стекла их окон желтый свет керосиновых ламп; летом на балюстрадах развешивалось мокрое белье, с крупными, видными за десяток метров заплатами; по утрам у дверей этих домов играли бедно одетые ребятишки, необыкновенно многочисленные; и когда они бегали, то был слышен быстрый звук их цокающих ботинок с гвоздями. Я выезжал в восемь или девять часов вечера и до полночи возил по городу случайных людей; и только в полночь Париж совершенно стихал и во всем городе оставалось несколько оживленных перекрестков, как оазисы в каменной ночной пустыне – Монпарнас, Монмартр, некоторые места Больших бульваров – то, что называлось ночным Парижем.

Однажды, в десятом часу вечера, меня остановил седенький, чистенький старичок, оказавшийся, как я узнал впоследствии, нотариусом маленького города, в тридцати километрах от Парижа, и с ласковой, старческой улыбкой сказал, что намерен меня нанять на несколько часов, так как сегодня приехал в Париж и собирается сделать то, что называется «Tournée des Grands Ducs»[1]. Он

[1] «Турне по великогерцогскому маршруту» (*фр.*).

тотчас же вытащил бумажник и при мне посчитал деньги; у него было одиннадцать билетов по тысяче франков, несколько сотенных бумажек и еще какая-то мелочь.

– Ну, теперь едем, – сказал он. И мы поехали. Он знал наизусть все адреса дорогих публичных домов и кабаре, я его возил в эти места, и каждый раз он выходил из очередного заведения все менее и менее уверенной походкой, и речь его постепенно теряла свою внятность. Я был свидетелем того, как его беспощадно обкрадывали все, начиная от людей, отворявших ему дверцу автомобиля, которым он имел неосторожность дать крупный билет: они долго и нудно пересчитывали ему сдачу, он терпеливо стоял и смотрел на деньги мутными глазами – и в результате ему оставляли каких-нибудь двадцать франков мелочью, – и кончая горничными и самыми случайными субъектами, с которыми он сталкивался и которые немедленно становились его спутниками и посредниками, хлопали его по плечу и вместе с голыми женщинами, внутри этих учреждений, все время громко смеялись. Это было правило хорошего тона, которое я давно знал и происхождение которого, я думаю, нужно было искать во всей той рекламной литературе, которая обслуживала эту область промышленности и где визиты в публичные дома и другие учреждения такого же типа раз навсегда было принято считать выражением жизнерадостности, веселья и того самого знаменитого «галльского веселья», которое меньше всего вязалось с этой смертельно унылой порнографией. Во всяком случае, девушки и их разнообразнейшие сотрудники по ремеслу неизменно следовали этому своеобразному этикету и хохотали от всякой реплики; и иногда, сквозь сизый туман табачного дыма, мне начинало казаться, что старичок сидит, окруженный чревовещателями и чревовещательницами. Он, однако, по-видимому, находил это все естественным – во всяком случае, вначале, пока не опьянел совершенно. Но у него хватило до конца судорожного усилия воли, чтобы продолжать это, давно потерявшее смысл, путешествие; хотя в его глазах первоначальная старческая ласковость исчезла и сменилась особенным выражением беспомощной тревоги, он все же выходил, втискивался

в автомобиль, падал на сиденье и, собравшись с силами, произносил еще одно название улицы и номер дома. Галстук его давно и непоправимо был набоку, рубашка была расстегнута, шляпу он где-то забыл, и седая его голова беспомощно и равномерно ерзала по спинке сиденья. Все это кончилось в шестом часу утра, когда он уже не мог ничего произнести, кроме отрывистого звука «а-а», – я понял, что он еще хотел ехать на Halles, несмотря на смертельную усталость и полное непонимание всего, что с ним происходило. Я спросил его, где он живет, он посмотрел на меня чужими и пьяными жалобными глазами и не мог ничего ответить. Мне не хотелось его отвозить в комиссариат, я подъехал к первому полицейскому и, объяснив ему, в чем дело, сказал, что надо бы выяснить, где живет старик, и доставить его домой. Мы вдвоем с полицейским подняли его легкое тело, вынули из его кармана бумажник и там нашли его визитную карточку и адрес парижской гостиницы, в которой он остановился. Денег у него оставалось совсем немного – около двухсот франков; я думаю, он истратил тысяч семь, остальные у него украли. Мы привезли его в гостиницу, вынесли его из автомобиля и сдали у входа служащим; полицейский заплатил мне его деньгами, и я уехал. В последнюю минуту старичок открыл непонимающие глаза и опять сказал: – а-а, – но уже совсем умирающим голосом.

– Что он там рассказывает? – спросил полицейский.

– Как это ни кажется невероятным, он хочет ехать на Halles, – сказал я.

– Он бы лучше поехал на Пер-Лашез, – сердито сказал полицейский, и мы расстались; светило солнце, было около семи часов утра.

Я шел домой и все думал, зачем было нужно этому старому человеку, у которого, наверное, давно были взрослые внуки, так бессмысленно тратить деньги и с такой непонятной, мертвой настойчивостью тащиться из одного публичного дома в другой, хотя уже после первых двух визитов хозяйка такого особняка, куда мы приехали, пропустив его вперед, сказала мне с сожалением:

– Ну, этот женщину не возьмет. Так, что-нибудь выпьет, и больше ничего.

– Откуда ты знаешь? – спросил я.

– Мне знать не надо, я вижу, – сказала она, – у него и так вид усталый. Кроме того, в его возрасте, брат... Ты уж мне поверь, я всяких видала.

Я имел возможность оценить безошибочность ее взгляда, старик действительно ограничился двумя бокалами шампанского, – о чем мне сообщила горничная, – хотя, уже сидя в автомобиле, он сказал мне:

– Вы знаете, женщины здесь ничего себе. В частности та, которую я себе выбрал.

И я подумал, что он жил годами все в одном и том же своем маленьком городке, составлял нотариальные акты – все одни и те же: «в конторе нотариуса...», «с законной подписью...», «тысяча девятьсот...», – и тайком от семьи и близких знакомых лелеял убогую и наивную иллюзию, что он, в сущности, блестящий кутила и любитель женщин, и вот ради этой иллюзии, которая придавала всей его жизни тайный смысл, он уезжал в Париж, «по делам», и здесь уже не мог ни в чем отступить от того поведения, которое было бы характерно именно для этого, нигде, кроме его бедного воображения, не существующего, кутилы и развратника. А за это он платил такой дорогой ценой.

Я потом видел неоднократно людей, которые после ночного кутежа были приблизительно в таком же состоянии, женщины столь же часто, как и мужчины. Но в бесконечном разнообразии людей, с которыми мне приходилось иметь дело, всегда находились неожиданные и непредвиденные оттенки поведения, хотя и цели их поездок и развлечения их были одинаковыми. У меня был клиент, англичанин, человек очень делового и озабоченного вида, который остановил меня на Елисейских полях и спросил по-английски – он, по-видимому, не думал, что может быть непонятым, – знаю ли я место, где есть красивые женщины, и после моего утвердительного ответа сел в автомобиль и сказал – едем. Мы приехали туда, он попросил меня подождать, вышел оттуда буквально через десять минут и поехал в гостиницу, находящуюся в двух

шагах оттуда. Все, вместе взятое, заняло не больше двадцати пяти минут. Потом он расплатился со мной и ушел, улыбнувшись в последнюю минуту особенной, неподвижной улыбкой и сказав мне единственное, по-видимому, французское слово, которое он знал – merci[1]. Был голландец, поезд которого отходил с вокзала без десяти минут десять и который приехал в публичный дом в начале десятого часа и попросил меня вызвать его, если он не вернется без двадцати десять, так как, сказал он, он может увлечься и пропустить поезд. Без двадцати десять его не было, я пошел его искать. В синеватом табачном тумане, освещенные многочисленными яркими лампами, ходили и сидели голые женщины и разнообразные посетители; толстая и очень накрашенная дама в черном сверкающем платье быстро направилась навстречу мне – и когда она шла, то громадное и жирное ее тело мелко тряслось на ходу. Она начала было говорить о том, как она рада меня видеть, но я прервал ее и объяснил, зачем я пришел, после чего ее лицо с мгновенной быстротой изменилось и потускнело, и она ответила:

– Что я могу сделать? У меня тридцать две комнаты, из них двадцать восемь заняты. Не могу же я идти туда за твоим клиентом? А потом, в конце концов, если он пропустит свой поезд, – тебе-то что?

Но когда я спустился вниз, голландец уже ждал меня, он пришел за несколько секунд до моего возвращения.

Каждую ночь мне приходилось сталкиваться с проститутками и их клиентами, и я не мог к этому привыкнуть. Мне все это казалось совершенно непостижимым, хотя я прекрасно понимал, что мои представления о женщинах этого рода существенно отличались от представлений их клиентов, и разница была в том, что я действительно их знал, так как со мной они говорили, как со своим человеком, и особенно любили сравнивать свое ремесло с моим. «Занимаемся одним и тем же ремеслом» – это была их любимая фраза. Под утро, когда я, кончив работу, ехал

[1] спасибо (*фр.*).

в гараж, я нередко подвозил этих женщин, тоже возвращавшихся домой после ночной работы, и они неизменно предлагали всегда одну и ту же плату за это. Я сажал их обычно в глубь автомобиля, а не рядом с собой, так как все они были очень надушены крепкими дешевыми духами, чем-то вроде едкого раствора плохого мыла, и от их соседства у меня во рту появлялся дурнотный вкус.

* * *

Я возвращался домой обычно в пятом или шестом часу утра, по неузнаваемым пустым и сонным улицам. Иногда я проезжал через Центральный рынок – и, я помню, меня особенно поразило, когда я впервые увидел людей, запряженных в небольшие тележки, в которых они везли провизию; я смотрел на обветренные лица и на особенные их глаза, точно подернутые прозрачной и непроницаемой пленкой, характерной для людей, не привыкших мыслить, – такие глаза были у большинства проституток – и думал, что, наверное, то же, вечно непрозрачное, выражение глаз у китайских кули, такие же лица были у римских рабов – и в сущности, почти такие же условия существования. Вся история человеческой культуры для них не существовала никогда, – как не существовала история вообще, смена политических режимов, кровавое соперничество идей, расцвет христианства, распространение письменности. Тысячи лет тому назад их темные предки существовали почти так же, как они, и так же работали, и так же не знали истории людей, живших до них, – и все всегда было приблизительно то же самое. И они все были приблизительно одинаковы – рабочие-арабы, познанские крестьяне, приезжающие во Францию по контрактам, – и вот эти рабы на Центральном рынке; все великолепие культуры, сокровища музеев, библиотек и консерваторий, тот условный и торжественный мир, который связывает людей, причастных ему и живущих за десятки тысяч километров друг от друга, эти имена – Джордано Бруно, Галилей, Леонардо да Винчи, Микеланджело, Моцарт, Толстой, Бах, Бальзак – все это были напрасные усилия человеческого гения – и вот прошли тысячи и сотни лет

цивилизации, и снова, на рассвете зимнего или летнего дня, запряженный системой ремней тот же вечный раб везет свою повозку. После того как я прожил несколько лет среди различных категорий таких людей, и в частности, после ужасного фабричного стажа, позже, в университете, когда я слушал лекции профессоров и читал книги, необходимые для курса социологии, который я сдавал, меня удивляло глубочайшее, неправдоподобное несоответствие их содержания с тем, о чем в них шла речь. Все, без исключения, теоретики социальных и экономических систем – мне это казалось очевидным – имели очень особенное представление о так называемом пролетариате, который был предметом их изучения; они все рассуждали так, как если бы они сами – с их привычкой к культурной жизни, с их интеллигентскими требованиями – ставили себя в положение рабочего; и путь пролетариата представлялся им неизбежно чем-то вроде обратного их пути к самим себе. Но мои разговоры по этому поводу обычно не приводили ни к чему – и убедили меня лишний раз, что большинство людей не способно к тому титаническому усилию над собой, которое необходимо, чтобы постараться понять человека чужой среды, чужого происхождения и которого мозг устроен иначе, чем они привыкли себе его представлять. К тому же я заметил, что люди очень определенных профессий, и в частности ученые и профессора, привыкшие десятки лет оперировать одними и теми же условными понятиями, которые нередко существовали только в их воображении, допускали какие-то изменения лишь в пределах этого круга понятий и органически не выносили мысли, что к этому может прибавиться – и все изменить – нечто новое, непредвиденное или не замеченное ими. Я знал одного старичка-экономиста, сторонника классических и архаических концепций; он был милый человек, часами играл со своими маленькими внуками, очень хорошо относился к молодежи, но был совершенно непримирим в понимании экономической структуры общества, которая, как ему казалось, управлялась всегда одними и теми же основными законами и в его изложении отдаленно напоминала грамматику какого-то несуще-

ствующего языка. Одним из этих законов был, по его мнению, злополучный закон спроса и предложения; и сколько я ни приводил ему примеров бесчисленного нарушения его, старик никак не хотел признать, что этот закон может подвергнуться сомнению – и наконец сказал мне с совершенным отчаянием и чуть ли не слезами в голосе:

– Поймите, мой юный друг, что я не могу с этим согласиться. Это бы значило зачеркнуть сорок лет моей научной работы.

В других случаях упорство в защите и проповедовании явно несостоятельных идей объяснялось более сложными, хотя, я полагаю, тоже соображениями чаще всего личного самолюбия и непогрешимости; хотя беспристрастному человеку становилось с самого начала очевидно, что речь может идти только о печальном недоразумении, труды такого-то продолжали считаться заслуживающими внимания и что-то помогающими понять в той или иной области науки, несмотря на явную их абсурдность и искусственность или даже признаки начинающегося безумия, как в книгах Огюста Конта или Штирнера и еще нескольких людей, писателей, мыслителей, поэтов, – и почти всегда в этих вспышках безумия было нечто похожее на иные формы человеческого представления, наверное, соответствующие какой-то в самом деле существующей действительности, о которой мы просто не догадывались.

Мне приходилось сталкиваться и с другими случаями, отчасти похожими на эти, только несколько менее трагическими, но почти столь же досадными, по их несомненной нелепости. В зимние месяцы, обычно глубокой осенью, в субботу, когда я останавливался на av. de Versailles против моста Гренель, я в тишине этих безмолвных часов слышал издалека торопливые шаги и стук палки по тротуару – и когда человек, производивший этот шум, проходил под ближайшим фонарем, я сразу узнавал его. Он возвращался к себе – он жил несколькими домами ниже – после партии в бридж. Если он бывал в выигрыше, он напевал тихим и фальшивым голосом старинную русскую песню, всегда одну и ту же, и шляпа его была немного сдвинута на затылок; если он проигрывал, то шел молча и шляпа

прямо сидела на его голове. Этого человека много лет тому назад знала вся Россия, судьба которой формально находилась в его руках, – и я повсюду видел его бесчисленные портреты; десятки тысяч людей слушали его речи, и каждое слово его повторялось, как если бы возвещало какую-то новую евангельскую истину. Теперь он жил, как и другие, в эмиграции, в Париже. Я встречался с ним несколько раз; это был почти культурный человек, не лишенный чувства юмора, но награжденный болезненным непониманием самых элементарных политических истин; в этом смысле он напоминал тех особенно неудачных учеников, которые есть в каждом классе любого учебного заведения и для которых простейшая алгебраическая задача представляется чем-то совершенно неразрешимым, в силу их врожденной неспособности к математике. Было непостижимо, однако, зачем он с таким непонятным ожесточением и нередко рискуя собственной жизнью, занимался деятельностью, к которой был так же неспособен, как неспособен человек, вовсе лишенный музыкального слуха, быть скрипачом или композитором. Но он посвятил этому все свое существование; и хотя его политическое прошлое не заключало в себе ничего, кроме чудовищно непоправимых ошибок, вдобавок идеально очевидных, ничто не могло его заставить сойти с этой дороги; и лишенный каких бы то ни было возможностей действовать теперь, он все же занимался чем-то вроде судорожного суррогата политики и издавал небольшой журнал, в котором писали его прежние сотрудники по давно умершей партии, – столь же убежденные защитники архаических и несоответствующих никакой действительности теорий.

И все-таки этот человек был счастливее других; в том огромном и безотрадном мире, который составляли его соотечественники, долгие годы влачившие все одну и ту же непоправимую печаль, всюду, куда их забросила их нелегкая и трагическая судьба, – на парижских или лондонских улицах, в провинциальных городах Болгарии или Сербии, на набережных Сан-Франциско или Мельбурна, в Индии, Китае или Норвегии – он, один из немногих, жил в счастливом неведении о том, что все, ради чего он

столько лет вел бескорыстное существование, почти отказавшись от личной жизни, и что он неправильно понимал и прежде, много лет тому назад, – так же давно перестало существовать, как народный гнев после реформ Петра или упрямое безумие русских раскольников; и он продолжал хранить свою верность тем воображаемым и вздорным идеям, в которых было убеждено несколько сот человек из двух миллиардов людей, населяющих земной шар. Я слышал несколько раз его речи; меня поражало в них соединение беззащитной политической поэзии и очень торжественного архаизма, не лишенного некоторой, чисто фонетической, убедительности.

В силу удивительного стечения разнообразных обстоятельств, я одновременно вынужден был вести несколько различных жизней и встречаться с людьми, резко отличавшимися друг от друга, во всем, начиная от языков, на которых они говорили, и кончая непроходимой разницей в том, что составляло смысл их существования; с одной стороны, это были мои ночные клиенты и клиентки, с другой – те, кого Платон, несомненно, причислил бы к приличным людям. Иногда – это происходило чаще всего после того, как я слушал музыку, – у меня, как прежде, в далекие российские времена, все смешивалось в моем представлении и в беззвучном пространстве, наполнявшем мое воображение, сквозь немые мотивы и длинную галерею человеческих лиц, похожую на двигающиеся и исчезающие лица бесконечно струящегося экрана, в котором появлялись и пропадали то высохшая и сморщенная физиономия старухи на инвалидной тележке, то наполовину мертвое лицо Ральди с нежными глазами, то спокойно-печальное выражение Платона, то пьяная уродливость субботних посетителей кафе, то эта непрозрачная пленка под густыми и длинными, коричнево-черными ресницами проституток, то, наконец, красновато-лоснящийся облик Федорченко, с которым судьба меня сводила чаще, чем я этого хотел бы, и заставила меня быть свидетелем всей истории его жизни, недолгой и, в сущности, исключительно жестокой.

После того как я отвез его к невесте, я встретил его через месяц. Потому, что у него никогда не было друзей,

и оттого, что он испытывал потребность рассказать кому-нибудь о своих чувствах и мыслях, он пригласил меня в кафе, заказал кофе и, без того чтобы я задал ему какой-нибудь вопрос, стал рассказывать о своей любви. В это время он переживал самый бурный период своего романа. Он не умел рассказывать о своих чувствах, и, несмотря на несомненную искренность всего, что он говорил, это звучало почти фальшиво. Я заметил, что это происходило оттого, что он употреблял все время одни и те же жалко-торжественные выражения – «я люблю, и я любим», «мое сердце бьется в груди, как птица» и так далее. Он произносил все эти фразы вдобавок со своим обычным украинским акцентом и время от времени переходил на ломаный французский язык, особенно если передавал разговоры с невестой. И все же, несмотря на это, в том, что он говорил, была какая-то, отнюдь не смешная, беззащитность. Было очевидно, что, если бы женщина, которую он описывал в очень преувеличенных тонах, захотела бы его обмануть, ей это было бы нетрудно сделать. Степень его влюбленности можно было предполагать и тогда, когда он решился украсть для нее кота; но теперь это становилось совершенно очевидно. В этом не было ничего возвышенного, за исключением выражений, которые он употреблял; но было несомненно, что страсть охватила его сильнее, чем можно было думать. Я считал его неспособным на это; это была моя первая ошибка по отношению к нему; во второй своей ошибке я убедился значительно позже, несколько лет спустя, в тот день, когда стал свидетелем его неожиданного и необыкновенного конца.

Он познакомился со своей невестой два месяца тому назад, в кафе; она произвела на него такое сильное впечатление, что он весь вечер чувствовал себя нехорошо, – что казалось особенно удивительным при его несокрушимом здоровье, – и вокруг себя слышал точно отдаленный звон, как он сказал, и все плыло перед ним, как в тумане. Он много говорил – он сам не понимал, что именно, – потом проводил ее домой и условился с ней о свидании через три дня. Утром, начав работать на своей машине, в мастерской, где он служил, он вдруг увидел перед собой ее чер-

ные глаза, засмотрелся и сильно поранил себе руку. Свидание было назначено в Булонском лесу. Был декабрь, дул холодный ветер; он гулял с ней два часа, по твердому окаменевшему песку пустынных аллей, среди обнаженных и черных деревьев, вдоль леденеющих берегов озер, – пока, наконец, она не пожаловалась, что ей холодно, – и тогда он повел ее в кинематограф на Елисейских полях, где они видели фильм, который он плохо помнил, так как все время держал ее руку. Выйдя оттуда, они сначала пошли в кафе, затем в гостиницу. Он плохо видел все, что происходило, он говорил только, что ее глаза в эти минуты были еще чернее и необыкновеннее, чем всегда.

Я слушал его рассказ и время от времени взглядывал на него. Иногда, когда он делал короткие паузы – ему все было жарко, он пил третий или четвертый стакан пива, – в его собственных, маленьких и всегда казавшихся чуть-чуть опухшими, глазах было особенное, тревожно-туманное выражение, которого я до сих пор никогда не замечал, точно с ним случилось что-то, к чему он совершенно не был подготовлен и против чего не было никаких средств защиты. Потом он вдруг сказал, с простодушной откровенностью, что эта женщина жила на средства двух или трех довольно богатых и пожилых покровителей, но что теперь, после того как она стала его невестой, с этим покончено, – и вот, совсем недавно, она поступила горничной; в ближайшее время, тотчас же после свадьбы, они поселятся вместе; у него есть немного денег, у нее есть немного денег, он будет работать, она будет заниматься хозяйством, и тогда начнется новая жизнь. Он сказал, что готов принести в жертву, как он выразился, этой любви все, что до сих пор казалось ему важным в его жизни: своих друзей, свою семью, свою родину. Самое страшное было, однако, то, что ни о какой жертве не могло быть речи, так как друзей у него не было, о своей семье он давно забыл, а слово «родина» я впервые услышал от него только теперь; он никогда о ней не говорил и, я полагаю, не думал. Но даже и ему, как оказалось, было нужно это праздное представление о жертве, по-видимому, чтобы бессознательно

подчеркнуть всю значительность того, что теперь происходило.

Я чувствовал все время стеснение, слушая его рассказ, в котором точно не хватало воздуха; я испытывал неловкость за Федорченко, точно я в чем-то был ответственен за него, за это его физическое томление, о котором я не мог думать без невольного отвращения. Горели белые круглые лампы над головой, струился бледно-серый дым от папирос. Я закрыл на секунду глаза и вдруг увидел берег моря в летний день, дрожащий, горячий воздух над галькой и огромное солнце на голубом небе.

Федорченко долго жал мне руку. Вспотевшее лицо его лоснилось от удовольствия, он искренно благодарил меня – он сам не знал, собственно, за что. Он сказал – за то, что вы все так хорошо понимаете, – хотя я не произнес ни слова за все время. Он энергично протестовал, когда я хотел расплатиться, позвал гарсона, шутил с ним, дал ему необыкновенно щедро на чай и ушел особенно легкой, несвойственной ему походкой, сделав мне в воздухе несколько порхающих движений рукой, что тоже совершенно не вязалось с обычной тяжеловатой, крестьянской медлительностью. Он вышел из кафе так, как он никогда не выходил – походкой балетного танцора, с оперной и неестественной легкостью, на которую я не мог не обратить внимания.

И через два часа после этого свидания, поужинав дома и покинув с сожалением мою комнату, мой стол и диван, я снова сидел за рулем своей машины и медленно ехал по городу, оставив на несколько вечерних и ночных часов то, в чем я обычно жил – воспоминания, мысли, мечты, любимые книги, последние впечатления вчерашнего дня, последний разговор о том, что мне в тот период моей жизни казалось самым важным. Я знал по долгому опыту, что работать с какой-нибудь пользой можно было, только забыв обо всем этом и превратившись в профессионального шофера. Я давно привык к этому ежедневному актерскому усилию и, я думаю, только ему был обязан тем, что, несмотря на годы шоферского ремесла, еще сохранил какой-то, чуть заметно слабеющий интерес к

тому, что, в сущности, было незаконным и ненормальным нарушением моих чисто профессиональных интересов. В первое время я еще пытался брать с собой книги для чтения, но потом решительно отказался от этого; они слишком мешали мне, создавая недопустимую двойственность бытия, совершенно неприемлемую в этих условиях. Я забывал об этом обязательном превращении только тогда, когда терял самообладание, но это случалось чрезвычайно редко. Иногда, если я бывал в хорошем настроении, мне начинало даже казаться, что все, в сущности, не так печально и что несколько часов ночной работы, которые мне дают возможность каким-то образом существовать, отнимают у меня меньше времени, чем отняла бы любая служба. Тогда я был готов простить моим пассажирам все, что вызывало во мне в обычное время отвращение или презрение.

В тот вечер, я помню, моим первым клиентом был старенький аббат с очень морщинистым лицом и маленькими глазами. Я увидел его издалека и сначала принял за акушерку, потому что он держал в руках небольшой чемоданчик, точно похожий на те, какие носят акушерки; ветер раздувал его широкую рясу, он придерживал ее одной рукой, как это сделала бы женщина. Только подъехав ближе, я убедился в своей ошибке. Он ехал на вокзал d'Orsay. Там он вылез, расплатился и дал мне пятьдесят сантимов на чай. Я не мог не улыбнуться и сказал:

– Итак, отец мой, Церковь, стало быть, напрасно учила вас щедрости? Представьте себе, что на вашем месте был бы, например, святой Франциск. Думаете ли вы, что он дал бы мне только пятьдесят сантимов?

Старик улыбнулся и покачал головой, но ответил немедленно, точно эта реплика давно была приготовлена им:

– Нет, сын мой, нет. Если бы святому Франциску нужно было бы на вокзал, он не брал бы такси, он пошел бы пешком.

– Вы правы, отец мой, – сказал я, не удерживая смеха, – мне остается только пожелать вам счастливого путешествия.

Я часто потом вспоминал старика аббата не потому, что его ответ свидетельствовал о находчивости, а оттого, что он весь был чрезвычайно характерен, с его маленькими глазами и мелкими старушечьими морщинами, – он точно сошел с резной гравюры, сохранив каким-то чудом одновременно и ее неподвижность и ее особенную деревянную ласковость, которая так редка у обыкновенных и живых людей. Он появился на очень короткое время и исчез, но его появление сразу вызвало во мне множество почти забытых представлений о давно прошедших временах; тех самых представлений, которые я так любил и которым ничто или почти ничто не соответствовало во множестве свирепых или печальных вещей, среди которых протекала моя жизнь. Я сохранил иное, тягостное и отвратительно-смешное воспоминание о другом аббате, который, по странной случайности, попался мне несколько дней спустя. Ему могло быть сорок, сорок пять лет, он сел в автомобиль и сказал – поезжайте прямо, – потом обратился ко мне и спросил своим профессионально-задушевным голосом, не знаю ли я некоторых улиц Парижа, где у него могла бы быть встреча?

– Встреча? – спросил я. – Какого рода встреча, отец мой? – Он был явно смущен тем, что я невольно подчеркивал его сан, называя его отец мой, и потом, с видимым усилием над собой, объяснил, что он имеет в виду встречу с женщиной. Я продолжал делать вид, что не понимаю.

– Объяснитесь, отец мой, – сказал я, – я боюсь вас неправильно понять.

Он сконфуженно молчал, ему было жарко, он снял свою черную шляпу и вытер вспотевший лоб.

– Женщину, – пробормотал он в совершенном смущении, – вы знаете, из тех, которые гуляют по улицам. – Я привез его на улицу, которая кольцом окружает площадь Этуаль, и остановил автомобиль против женского силуэта на краю тротуара.

– Не будете ли вы добры, если вы считаете это возможным, спросить мадемуазель, согласна ли она?..

Еще до того, как выйти из автомобиля, я узнал ее. Ее звали Рене-ругательница, я был давно с ней знаком.

Несколько дней тому назад она рассказывала мне, что потеряла зонтик, который стоит четыреста франков, я был в дурном настроении тогда и ответил ей, что, по-моему, она вместе с зонтиком не стоит такой суммы.

– Тебе представляется случай заработать на зонтик, – сказал я ей, – с тобой хочет поговорить мой клиент, очень милый аббат.

– Шутишь? – недоверчиво сказала она, потом все же села в автомобиль, в мы поехали в Булонский лес, по аллеям которого кружили около сорока минут; затем аббат поехал на Лионский вокзал и покинул Париж, увозя с собой воспоминание об этой встрече; я не знаю, не пришлось ли ему вспомнить о ней в более грустных обстоятельствах, так как женщина эта была давно больна сифилисом, как большинство ее подруг по ремеслу. Я узнал это случайно, так как она становилась откровенной после того, как, кончив работу, выходила из ночного кафе на Терн, чтобы ехать домой; она всегда была очень навеселе в это время и говорила без умолку. В трезвом состоянии она отличалась на редкость сварливым характером, у нее вечно были всевозможные неприятные истории, драки с другими женщинами, скандалы с клиентами; то она жаловалась полицейскому, что она стала жертвой насилия, и совала равнодушному рыжему гиганту в форме чью-то измятую визитную карточку, уверяя, что именно этот человек ее чуть ли не пытал; в другой раз я видел шумное ее путешествие в комиссариат в сопровождении двух полицейских и худенького пожилого человека, который только что провел с ней несколько часов в номере гостиницы, спешившего за ними дробной походкой и говорившего высоким, надтреснутым голосом, что эта самая тварь обокрала его.

– Четыре тысячи франков, – кричал он, оборачиваясь по сторонам и обращаясь к толпе любопытных, которая на некотором расстоянии следовала за ними, – я небогатый человек, господа, у меня дети, которых я должен кормить!

Денег, конечно, не нашли, так как она успела кому-то передать их.

И вот именно эта женщина однажды сказала мне, что пять минут тому назад рядом с ней арестовали

какого-то иностранца, который не говорил по-французски и только повторял все время, обращаясь к полицейским, какое-то слово, что-то вроде «опода». Я повторил про себя два или три раза это слово и вдруг понял, что это, наверное, было – «господа» и что в комиссариат попал мой соотечественник. Я поехал туда, чтобы предложить свои услуги в качестве переводчика и, если можно, выяснить это недоразумение. Но когда я подъехал к комиссариату, то этот человек, бумаги которого оказались в порядке и которого по ошибке приняли за кого-то другого, уже выходил. Я соскочил с автомобиля, подошел к нему – и тотчас его узнал, несмотря на то, что не видел его около десяти лет. Я знал его еще по гражданской войне в России, он служил в той же части, что и я. Его звали Аристарх Александрович Куликов. В те годы он был чиновником военного времени, затем уехал за границу, и я больше его не видал. Мне говорили, что он был шахтером в Болгарии, потом работал на металлургическом заводе, но уже давно о нем не было никаких сведений. Он тоже узнал меня и очень обрадовался. В ближайшем кафе он рассказал мне все, что он делал за эти годы, и из разговора выяснилось, что подлинное его призвание – быть хозяином ресторана; и как раз на днях, по его словам, он собирался открывать ресторан в Биянкуре, рабочем предместье Парижа, в непосредственной близости от заводов Рено. Он усиленно приглашал меня приехать. Я обещал, но все как-то не получалось до тех пор, пока однажды я не встретил его снова, в метро, и поразился его парадному виду, котелку необыкновенной круглости и добротности, черному, роскошному пальто и шелковому белому шарфу вокруг шеи.

– Что же ты не приезжаешь? – громко сказал он мне, даже не поздоровавшись. – Вот хочешь, едем со мной сейчас в ресторан, поужинаем.

Я согласился; дорогой он предупредил меня, что мы с ним будем обедать вдвоем за отдельным столиком, так как весь ресторан сдан на сегодняшний вечер собранию казаков, не то уральских, не то терских, не то донских, – я этого так и не выяснил. Был осенний вечер с мелким дождем; мы

долго шагали с Аристархом Александровичем по лужам разных размеров, пока не добрались до большого пустыря, на котором стояло полукаменное-полудеревянное здание, похожее на барак и оказавшееся его рестораном. Внутри было тихо, вокруг тоже стояла тишина, рабочие уже спали в это время, и было слышно, как капли дождя стучали по доскам. Мы вошли; в ресторане был занят только один, очень длинный и большой стол, уставленный множеством бутылок, и за этим столом сидело человек тридцать казаков, все коротко остриженные, все в одинаковых синих костюмах, сшитых, по-видимому, у одного и того же портного, все в белых крахмальных воротничках, резко выделявшихся на красноватых, крепких шеях. Они пили красное вино и хором пели песни, из которых мне запомнилась одна, особенно жалобная:

И друг друга мы больше не увидим,
Не придется нам встретиться вновь.

– Пьют они здорово, – почти шепотом сказал мне Аристарх Александрович, – видишь, образ человеческий теряют. А с другой стороны – разве можно за это русских людей обвинять?

Он покачал головой и потом вдруг спросил меня:

– А ты все так же не пьешь, как в России?

– Все так же.

– Это хорошо, – сказал он с внезапным одобрением и похлопал меня по плечу. – Это замечательно, что не пьешь. Не дай Бог, начнешь пить – пропадешь.

Мы долго еще сидели с ним и разговаривали. Казаки ушли, мы остались вдвоем. Посередине громадной комнаты тихо гудела печь, дождь все так же стучал по доскам и, слушая его однообразный шум и забытый звук капель по дереву, я с необыкновенной ясностью вспомнил дождливые осенние вечера в России, влажные, утопающие в брызжущей тьме поля, поезда, далекий, раскачивающийся в черном воздухе фонарь сцепщика, ночной, протяжный гудок паровоза. Была глубокая ночь, когда я уходил.

– Денег тебе не надо? – спрашивал Аристарх Александрович. – Ты скажи, дорогуша, не стесняйся. Возьми прямо такси, поезжай домой, не пешком же идти в такую погоду. Тут у нас на стоянке один шофер стоит, русский, он раньше дьяконом был во Владимирской губернии. Я на нем всегда езжу.

Но когда я однажды, почти полгода спустя, случайно попал в Биянкур и хотел зайти в ресторан Аристарха Александровича, то меня постигла непонятная неудача: я не мог его найти. И хотя у меня было впечатление, что я узнавал дорогу и даже добрался до того пустыря, на котором он стоял, – ресторана там не было. И так как бесследное исчезновение целого большого здания представлялось мне невозможным, то я решил, что просто ошибся и забыл место. У меня не было времени, которое я мог бы посвятить длительным поискам Аристарха Александровича, – и я уехал в Париж, надеясь, что в следующий раз буду более удачлив. Мне, однако, не переставало казаться, что ресторан был именно на этом пустыре, который теперь, в начале весны, печально зеленел уже чахлой своей травой и где валялись то там, то сям какие-то бесформенные обломки. Несколько дней спустя во встречном поезде метро я увидел Аристарха Александровича; это продолжалось две-три секунды, но я с удивлением заметил, что на нем был поношенный пиджачок, истрепанная кепка и зеленый шарф вокруг шеи. Аристарх Александрович меня не видел. Но я не мог ошибиться, это был именно он. Еще через два месяца после этого я получил от него открытку, что он приезжает в город и будет в таком-то часу, в таком-то кафе и был бы рад меня видеть. Я застал его там – в прекрасном сером костюме, в соломенной шляпе и сверкающих желтых башмаках; он был доволен и говорил, что на дела жаловаться не приходится. Я ему рассказал о чудесном исчезновении ресторана, он посмеялся над тем, как я плохо ориентируюсь, и напомнил, что еще в России меня одного никогда не отправляли на разведку, так как боялись, что я заблужусь. Мне все-таки показалось, что он немного смутился, – правда, на очень короткое время.

И только несколько позже я узнал, чем объяснялось и это сказочное исчезновение ресторана, и эти неожиданные переодевания Аристарха Александровича. Мне рассказали это люди, которые давно и хорошо знали его.

Он был прекрасным хозяином и очень хорошим организатором. Работая на заводе или в шахте, он долгими месяцами копил деньги. Потом, располагая известной суммой личных денег, взяв взаймы у товарищей все, что они могли дать, и пустив в ход свои кредитные возможности, он открывал ресторан и сразу же начинал зарабатывать. Он выплачивал долги, начинал богатеть, покупал дорогие костюмы, жил в хорошей квартире, и все шло в таком благополучии несколько месяцев, иногда почти год, вплоть до того дня, когда, выпив однажды лишнее, он вдруг впадал в неожиданное благотворительное исступление. Стоя посередине своего ресторана, с растрепанными волосами и съехавшим галстуком, он кричал:

– Пей, ребята, ешь, пей в мою голову! Мы же русские, братцы, если мы друг другу не будем помогать, кто нам поможет? Все бесплатно, ребята, помните Аристарха Александровича Куликова, в случае чего, пожалейте!

К нему шли валом знакомые, полузнакомые и вовсе незнакомые люди, и недели две в его ресторане стоял шум и крик с утра до вечера. Друзья его в это время старались унести то, что было можно, – деньги, костюмы и даже посуду, зная, что конец всему близок, и надеясь хоть что-нибудь спасти. Но если кто-либо из них попадался Аристарху Александровичу, он приходил в бешенство, кричал, что его обкрадывают, и отбирал уносимую вещь. Потом, в один прекрасный день, все стихало, ресторан закрывался, поставщики не получали денег – и похудевший, изменившийся и притихший Аристарх Александрович исчезал. Он снова поступал на завод, долго и упорно работал, опять выплачивал долги, униженно благодарил тех, кто уносил и сохранял его вещи, – и через некоторое время снова открывал ресторан. И тот факт, что я нашел незастроенный пустырь, объяснялся вовсе не моей неспособностью ориентироваться, а тем, что ресторан, действительно

находившийся там и принадлежавший Аристарху Александровичу, был снесен на слом и продан до последней промокшей доски за долги.

* * *

Проходили зимние парижские месяцы, наступала весна, ночи были прохладные, но днем и вечером иногда было тепло. В один из таких вечеров я снова встретил Ральди. Она сидела на террасе своего кафе и, казалось, еще состарилась и одряхлела. По она была не одна. Рядом с ней, положив одна на другую безукоризненной формы ноги – юбка не покрывала колен, – сидела молодая женщина лет двадцати – двадцати двух. Она была настолько хороша собой, что когда я ее увидел, мне на секунду стало трудно дышать; особенно замечательны были ее красные, казавшиеся необыкновенно сочными губы, длинные синие глаза и прекрасные зубы – она улыбалась, говоря с Ральди, в ту минуту, когда я ее увидел.

– Вот моя подружка, – сказала Ральди, здороваясь со мной, – скажи мне, как ты ее находишь?

И только тогда, посмотрев внимательно на эту красавицу, я заметил в ее глазах ту же полупрозрачную пленку, тот же налет животной глупости, который я так хорошо знал и который был характерен почти для всех женщин ее ремесла. Но она была настолько прекрасна, буквально прекрасна собой, что нужен был весь мой долгий опыт и весь запас моей заранее готовой к любому разочарованию печали, чтобы заметить эту единственную, почти невидимую подробность ее выражения, этот единственный ее полуфизический, полудушевный недостаток.

– Очень хороша, – сказал я Ральди. Она посмотрела на меня пристально и сказала:

– Ты никогда не хотел пойти со мной, в конце концов это понятно. Но я надеюсь, что ты не откажешься провести время с моей подругой? Ты знаешь, что это тебе ничего не будет стоить.

Я отрицательно покачал головой. – Чем больше я тебя узнаю, тем больше убеждаюсь, что ты просто ненорма-

лен, – со вздохом сказала Ральди. – Расскажи мне, как ты живешь, я давно тебя не видела.

Но я смотрел, не отрываясь, на Алису – ее звали Алисой. Я ее увидел через четверть часа в комнате Ральди совершенно голой – она переодевалась при мне. Я никогда не мог представить себе такого изумительного совершенства. У нее были твердые, далеко отстоящие друг от друга груди, чуть суживающийся и с волшебной незаметностью расширяющийся живот, сверкающая кожа и длинные ноги идеальной формы; через несколько секунд мне стало казаться, что это прекрасное тело начинает струиться и плыть перед моими глазами.

– Постой так, – сказала Ральди, – я хочу, чтоб он как следует видел тебя совсем голую.

Когда я ушел, прошло много минут, пока я вернулся к своему обычному состоянию; я стоял у своей машины, собираясь сесть за руль, и все не садился: я видел перед собой это тело и лицо, эту сверкающую, непостижимую красоту. И долго потом, когда я вспоминал об этом, у меня каждый раз на секунду захватывало дыхание.

– Она настолько хороша, – сказал я Ральди, разговаривая с ней через несколько дней после этого, – что один ее вид стоит состояния.

Ральди улыбнулась, – как всегда, полунежно, полунасмешливо, – и потом сказала, что без нее, Ральди, Алиса навсегда осталась бы тротуарной женщиной, но что она сделает из нее даму полусвета. Она прибавила, что ей многого не хватало для этой карьеры, и прежде всего ума и понимания.

– Вы думаете? – сказал я. – Мне кажется, что одна ее наружность...

– Красивых женщин очень много, – ответила Ральди, – но только одна из тысячи чего-нибудь достигает, ты никогда не думал об этом? Одной красоты недостаточно. Ты не согласен со мной?

– Да, да, – сказал я. – Мне только немного жаль Алису. Вы полагаете, что стоит тратить весь ваш опыт и все ваше понимание, чтобы сделать из этой красавицы

даму полусвета, как вы говорите? Вы считаете, что она не заслуживает лучшего?

– В этом я не сомневаюсь, – ответила Ральди, – я только не уверена, что она заслуживает этого. Но если мне это удастся, она не забудет меня, у меня будет теплая комната и немного денег, чтобы я могла прожить, не работая до конца моих дней. Потому что всем, что у нее будет, она будет обязана мне.

И в этом состояла ошибка Ральди. Она усердно занималась своей протеже, учила ее английскому языку, объясняла ей, как нужно держать вилку и нож, что нужно говорить, как следует отвечать и как себя вести. Она даже позвала меня несколько раз, чтобы я присутствовал на этих уроках, и просила меня объяснить Алисе некоторые вещи, в которых была нетверда сама. По ее просьбе я доставал книги, которые Алиса должна была прочесть: «Liaisons dangereuses»[1], Боккаччио, Флобера. Я пожимал плечами и послушно соглашался – я не мог почти ни в чем отказать этой старой и удивительной женщине, хотя все это мне казалось и лишним, и в какой-то степени неблаговидным с моей стороны.

– Вы заставляете меня играть совершенно несвойственную мне роль, – говорил я Ральди, – я, в сущности, не знаю, зачем я все это делаю.

– Ты это делаешь, – спокойно сказала она мне, – потому что тебе меня жаль, это очень просто, мой милый. – Вы даете ей Флобера, она едва умеет читать, что она может понять в этом? – Она не поймет, но будет знать, это очень полезно.

Я выразил предположение, что, как только Алиса достигнет каких-нибудь материальных успехов, она бросит Ральди и Ральди опять останется одна.

– Возможно, – сказала старуха, – и это было бы, конечно, грустно. Это будет значить, что она не поняла самого главного, потому что без моих советов она никогда не сделает карьеры. Она должна это знать.

[1] «Опасные связи» (*фр.*).

Алиса продолжала «работать», но не очень много, только чтобы как-нибудь обеспечить себе и Ральди комнату и пропитание. Ральди при мне объяснила ей, как нужно будет себя вести потом, когда она будет иметь дело не с обыкновенными уличными клиентами, а с теми, которыми начнется ее карьера дамы полусвета. «Никогда не иди в гостиницу в первый же день знакомства, – говорила Ральди. – Не говори "нет". Говори – да, мой милый, – и поступай потом как найдешь нужным. Но непременно говори: да, мой милый».

Мы сидели с Алисой и слушали ее наставления; она держала какую-то книгу на коленях, на носу ее были очки, и она была похожа на старую, добрую учительницу из маленького провинциального города: три тысячи населения, церковь, кюре, мэрия, лес в двух километрах, приземистые дубы, под которыми трюфели, осенью грибы и дожди, в центре города витрина фотографа, где выставлены голые маленькие дети на бархатных диванах и застывшие, деревянные новобрачные в непривычно парадных костюмах. – Никогда не раздевайся сама. – Потом следовали подробнейшие и настолько бесстыдные объяснения, что мне становилось неловко; но Алиса слушала Ральди, прямо глядя на нее своими спокойными, прекрасными глазами, сквозь полупрозрачную пленку на зрачках.

И в один прекрасный день она исчезла, – ушла и не вернулась. Я узнал об этом только месяц спустя, так как мне все как-то не приходилось попадать в этот район. Помню летний вечер под мелким дождем и согнувшуюся фигуру Ральди, которая стояла под навесом кафе. Она невесело улыбнулась, увидя меня. Мы пили с ней кофе, ей было холодно, она куталась в дрянное мужское пальто. Она сказала мне, что Алиса ушла ровно четыре недели тому назад. Я не знал, что можно было бы сказать ей в утешение, и молчал некоторое время; на террасе становилось действительно прохладно, мелкий дождь прыгал и струился перед моими глазами. Наконец я сказал:

– В вашей жизни было столько превратностей. Одной больше, одной меньше...

– Нет, нет, – ответила она. – Это последняя. У меня больше ничего нет.

И на ее глазах опять появились слезы. Все это было так же непоправимо, как многое, что я видел в своей жизни, как эта свинцовая непрозрачность глаз у умирающих, как мое последнее свидание с князем Нербатовым, пронесшим сквозь всю жизнь свою рыдающую и неутолимую любовь к этой самой Ральди, этой старой женщине в мужском потертом пальто, которая сидела против меня перед своим остывшим кофе.

– Все можно перенести, – сказала она, не глядя на меня и опустив голову, – а потом, когда сил больше нет, ничего уже не переносишь. Тогда остается околевать. В конце концов, то, что она сделала, естественно.

Я спросил Ральди, – неужели среди всех ее многочисленных покровителей не осталось в живых никого, кто мог бы ей платить какую-нибудь незначительную сумму денег, которая бы позволила ей существовать. Она отрицательно покачала головой и тотчас назвала несколько очень известных политических имен. – Они все, как Алиса, – сказала она. Я вспомнил эти имена и то, что карьера каждого из этих людей состояла из многочисленных политических измен, ренегатства, угодливости и воровства, и понял, почему Ральди не на кого рассчитывать. И я вспомнил, как она говорила мне:

– Если бы я когда-нибудь написала свои мемуары, люди узнали бы много интересных вещей и поняли бы всю неправильность многих оценок.

Но она не могла писать, ее ревматические пальцы плохо повиновались ей.

Я знал, что рано или поздно я встречу Алису: ночной Париж, Париж кабаре, кафе и домов свиданий не так велик, как обычно думают, и каждую ночь в этом печальном пространстве я проезжал, из одних мест в другие, около сотни километров. Но я увидел ее случайно, в один из вечеров, когда я не работал, через витрину большого кафе на бульварах; на ней были прекрасный костюм и шляпа, тяжелое сверкающее ожерелье на шее; чернобурая лисица небрежно висела на ее плече. Мне казалось, что все сидевшие в кафе смотрели на нее, женщины с

ненавистью, мужчины с сожалением и завистью. Я направился к ее столику.

– Здравствуй, – сказала она, протягивая мне руку в перчатке, – выпей что-нибудь со мной. – И через секунду, понизив голос, она спросила:

– Я тебе нравлюсь в таком виде?

– Я предпочитаю тебя голой, – громко сказал я. Два или три человека обернулись.

– Ты с ума сошел? – зашептала она.

Но у меня был припадок бешенства, – таких за всю мою жизнь было два или три. И я, слушая себя со стороны, заметил, что говорю с ней на том уличном французском языке, который в обычное время вызывал у меня только насмешку.

– Пива, – сказал я гарсону. – Ты просто стерва, Алиса, понимаешь, стерва, ты слышишь, стерва.

У нее в глазах промелькнул испуг: я говорил с ней, наклонившись над столиком и вплотную приблизившись к ее прекрасному, незабываемому лицу.

– Если ты пришел, чтобы крыть меня последними словами...

Оркестр в кафе – скрипка, виолончель, рояль – играл давно знакомый, ласковый мотив, названия которого я не знал, но который я слышал много раз в разных странах, в разных обстоятельствах и в разном исполнении. И всегда, когда вновь эти звуки доходили до моего слуха, всякий раз за этот промежуток времени проходило много событий и несчастий и каждый раз это было точно музыкальным сопоставлением, результаты которого были заранее известны – и их смысл резко противоречил этой безупречной и непогрешимой в своей ласковости мелодии. Было несколько редких секунд в моей жизни, когда я испытывал почти физическое ощущение, которое я не мог сравнить или смешать с другим и которое я не мог бы назвать иначе, как ощущением уходящего – сейчас, сию минуту, уходящего – времени. Так было и в вечер моего свидания с Алисой; я слушал эту музыку и, не отрываясь, смотрел в ее лицо и чувствовал, как мне казалось, сквозь эту мелодию медленный, далекий шум, и все роилось и текло перед

моими глазами. Мне надо было сделать усилие, чтобы вернуться к своему нормальному состоянию; и тогда я вдруг почувствовал усталость. Я поднял голову и сказал:

– Ты ожидала, что я буду говорить тебе комплименты?

Алиса сразу услышала по моему тону, что опасность, которой она, по-видимому, боялась, миновала. Она положила свою руку на мою и заговорила обычным голосом, в котором я всегда находил что-то липкое и мягкое. Она пыталась оправдываться; она сказала, что хочет жить своей собственной жизнью, что не желает зависеть от Ральди, что она кормила старуху много месяцев и ничем ей, в сущности, не обязана.

– Я тебе сказал, что ты стерва, – сказал я ей, уже почти не чувствуя раздражения. – Но кроме всего, то, что ты делаешь, просто глупо. Ты думаешь, что без Ральди ты чего-нибудь достигнешь?

– Ты за меня не беспокойся.

– Мне твоя судьба безразлична. Но ты навсегда останешься тем, что ты есть, то есть просто, – я сказал слово, которое точно выражало то, что я думал. – На каких клиентов ты можешь рассчитывать? На мелких коммерсантов с брюшком, которые будут считать каждые сто франков?

– В это кафе может прийти кто угодно.

– Да, но если это будет какой-нибудь замечательный человек, ты можешь его соблазнить, но ты его не сумеешь удержать. Ты знаешь жизнь Ральди?

– Да. Она, наверное, была красивее меня.

– Нет, быть красивее тебя невозможно, – сказал я, не удержавшись.

– Ах, ты это понимаешь?

Я пожал плечами. Оказалось, что мой отказ тогда, когда Ральди мне предложила это, смутил Алису, и она не могла этого забыть. Она считала даже, что это было плохим предзнаменованием для ее начинающейся карьеры: если я не захотел, то могли быть и другие.

Я еще долго говорил с ней, но мне не удалось убедить ее в необходимости вернуться к Ральди или, во всяком случае, помочь ей. Было четверть двенадцатого, когда я рас-

стался с ней; я не хотел пропустить ночной сеанс кинематографа, начинавшийся через пятнадцать минут.

– До свиданья, – сказал я ей. – Когда ты будешь околевать на больничной койке, позови меня. Я приду и повторю тебе последний раз, что ты действовала, как стерва и дура.

И, уходя, я представил себе небритое лицо Платона, и хмурые его глаза, и то, как он сказал бы мне:

– Один из аспектов общеэтической проблемы...

Но я не говорил с ним об Алисе, и в тот раз, когда я снова встретил его, речь шла о совсем других и вовсе неожиданных для меня вещах.

В этом ночном Париже я чувствовал себя путешественником, попавшим в чуждую ему стихию; и во всем громадном городе было два или три места, как освещенные островки в темном пространстве, – куда я приезжал каждую ночь, примерно в одни и те же часы; и, входя в свое кафе, я казался самому себе похожим на гребца небольшой лодки, которая после долгой качки на волнах причалила, наконец, к маленькой пристани – и вот я выхожу из нее и вместо моря и портового кабачка вижу освещенный тротуар и запотевшие стекла кафе против заснувшего вокзала и колеса моего автомобиля, затянутые тормозами.

– Здравствуйте, месье, – говорила мне хозяйка. – Молока?

И всегда на одном и том же месте в светло-сером, очень запачканном плаще – зимой и летом – у правого края стойки, недалеко от кассы, стоял Платон, перед вечным стаканом белого вина. Он приветствовал меня с неизменной любезностью, но без какой бы то ни было экспансивности, которая вообще была чужда его меланхолическому и спокойному характеру; только он не всякий раз узнавал меня, хотя мы встречались с ним каждую ночь в течение нескольких лет подряд; это зависело от того, сколько он выпил. Он вообще в последнее время мало и неохотно разговаривал; и, стоя в людном кафе, за своим стаканом, он не замечал ничего окружающего – в своем почти безвозвратном пьяном забытьи. Хозяйка мне с удивлением рассказывала о нем, что, когда однажды в кафе проис-

ходил шумный арест одного сутенера и убийцы, бежавшего с каторги и вернувшегося именно туда, где все его знали и куда ему ни в коем случае нельзя было возвращаться, – но своеобразное тщеславие и провинциальная глупость, характерные для людей его круга, побудили его совершить этот бессмысленный поступок, чтобы предстать во всем своем сутенерском великолепии (светло-серая кепка, двухцветные ботинки на высоких каблуках) перед несколькими испуганными проститутками и почтительными товарищами, – в тот вечер была стрельба и свалка, и потом полицейские уволокли со свирепой торопливостью этого человека, – лицо его было окровавлено, кепка потеряна, костюм залит кровью, – Платон, находившийся тут же, молча смотрел на все это неподвижными глазами и даже не шевельнулся.

Я предпочитал дни, когда у него было очень мало денег, на два или три стакана вина; тогда он был почти совершенно трезв и с ним можно было говорить. Я любил в нем полную бескорыстность его суждений и то, что его собственная судьба и вообще вещи непосредственные оставляли его совершенно равнодушным. Он оживлялся только тогда, когда речь шла либо о новых безразличных для него людях, либо об абстрактных вопросах. Он, впрочем, далеко не всегда был одинакового мнения об одном и том же; он объяснял это тем, что суждения человека о каком-либо предмете тесно связаны с множеством физиологических и психологических факторов, совокупность которых чрезвычайно трудно учесть и уж вовсе невозможно предвидеть – за исключением тех случаев, когда обсуждаемый вопрос, по своей примитивности, может быть сравнен с вопросом материального порядка, – но даже и здесь царствовал, по его словам, закон относительности. Людей он, впрочем, так же низко расценивал, как Ральди, всех решительно, причем ни чины, ни положение, ни репутация человека не играли в его глазах никакой роли; и я рад был однажды услышать от него, что в его представлении средний преступник, имеющий в своем прошлом два или три уголовных дела, не очень отличается от среднего депутата или министра и в сфере бескорыстного суждения, как он гово-

рил, – в своеобразной его социальной иерархии, они стоят на одном и том же уровне; – и я был рад это услышать, так как разделял совершенно этот взгляд. Я увидел Платона на следующую ночь после свидания с Алисой – и, войдя в кафе, сразу заметил, что у него мало денег, так как он был почти трезв. Я предложил ему стакан белого вина, и по тому, с какой быстротой он согласился, было видно, что он долго стоял в кафе, не имея возможности заплатить еще полтора франка, которых у него не было. Он отпил немного вина и затем сказал, между прочим:

– Вы знаете, у нас новость: Сюзанна выходит замуж.

– Сюзанна с золотым зубом?

– Сюзанна с золотым зубом.

И он повторил несколько раз, глядя прямо перед собой в дымное пространство:

– Сюзанна с золотым зубом, Сюзанна с золотым зубом, Сюзанна с золотым зубом выходит замуж, с золотым зубом, Сюзанна.

Потом он сказал эту же фразу, тоже скороговоркой, по-английски и замолчал на некоторое время. Я высказал удивление по поводу того, что такая женщина, как Сюзанна, для которой юридические формальности в этого рода вещах всегда казались совершенно лишними, считает нужным выходить замуж.

– Вы себе представляете, – сказал я Платону, – белую фату вокруг этого девственного лица с золотым передним зубом?

Платон смотрел в это время прищуренным глазом на свой стакан с вином. Потом он коротко ответил:

– Представляю. Не забывайте, что эти люди глубоко буржуазны по своей натуре. Они неудачники в буржуазности, я с этим согласен, но они чрезвычайно буржуазны. Вспомните ваших убийц, открывших гастрономическую торговлю чуть ли не на следующий день после преступления. Можно совершить убийство не только из мести или для того, чтобы уничтожить тирана и чем-то помочь – заплатив собственной жизнью – достижению общечеловеческого идеала или более рациональной системы распределения богатства. Можно убить ради другого идеала – гастрономической торговли, или мясной, или кафе.

– И на этом основании Сюзанна, которая провела много часов в гостиницах и прошла через несколько тысяч человек, – эта самая Сюзанна выходит замуж. Согласитесь, мой дорогой друг, что если это так, то все наши этические представления, о которых вы так любите говорить...

Но в это время до нас донесся голос Сюзанны, которая только что вошла в кафе. Она была очень навеселе и громко отвечала человеку, который вошел вслед за ней:

– Я тебе сказала, что я сегодня не работаю!

Платон все так же, прищурив глаза, смотрел перед собой.

– Вот наша невеста во всей ее славе, – сказал он. Между Сюзанной и худощавым человеком лет тридцати, довольно бедно одетым, который вошел за ней в кафе, происходило нечто вроде борьбы. Сюзанна вырывалась от него, поток ее ругательств не останавливался; он же, напротив, вполголоса ее о чем-то уговаривал, не выпуская рукава ее пальто.

– Я сказала нет, – сказала она, наконец, глядя ему в лицо неподвижными пьяными глазами. И только в эту минуту он, по-видимому, понял, что отказ ее был категорический. Тогда он быстро, неожиданно высоким голосом крикнул ей вдруг – стерва! – и спешно вышел из кафе.

– Вот еще, – сказала Сюзанна, тяжело дыша и остановившись у стойки. – Вот еще!.. Если женщина не хочет работать черт знает как, то ее называют стервой! Разве это справедливо? – сказала она с пьяной угрозой в голосе. Глаза ее искали лица, на котором она могла бы остановиться. Она посмотрела сначала на Платона, но его выражение было настолько мертвенно-безразличным и далеким, что ее глаза только скользнули по нему – и потом остановились на мне.

– А, это ты? – сказала она своим медленным и пьяным голосом. – Вкусное сегодня молоко?

Я не ответил, она отвернулась. Пальто ее было распахнуто, узкое платье обтягивало ее невысокую фигуру, и я, в первый раз за все время, заметил, вздрогнув от невольного отвращения, что в ней все же была какая-то животно-женственная прелесть.

– Вы все... – сказала Сюзанна. – Я больше не б..., я выхожу замуж. Я, может, выпила стаканчик...

– Ты плохо считала, – сказал чей-то мужской голос с другого конца стойки, – ты, может, выпила два или больше.

– Вы помните, Платон, – сказал я, – какие слова приписывал Сократу ваш блистательный предшественник? «Вся жизнь философа есть длительная подготовка к смерти»... Я не могу удержаться от одного и того же, неизменного представления: кровать, простыни, умирание, дурной запах агонизирующего человека и полная невозможность сделать так, чтобы это было иначе.

– Сократ говорил не об этом, – сказал Платон. – Если вы не забыли «Федона»...

– И у меня будет магазин, – говорил пьяный голос Сюзанны. – И потом, я люблю этого человека, я без него жить не могу.

Она ни к кому не обращалась в частности и говорила в дымное пространство, в котором терялись и глохли ее слова о любви. Я подумал о Ральди, которая говорила мне, что женщины типа Сюзанны так же любят, как другие; но это унизительное уравнение я всегда понимал только теоретически, я никогда не мог почувствовать и поверить до конца, что это так.

Платон перевел разговор на другую тему, точно ему было неприятно думать о Сюзанне именно теперь. Только несколько часов спустя, когда я еще раз, по пути домой, заехал в это кафе, – было уже утро, все ушли, он один неподвижно стоял у стойки, рядом с хозяйкой, которая время от времени опускала голову на грудь и засыпала на минуту легким старческим сном и, мгновенно пробуждаясь, зевала и быстро бормотала: – Ах, Боже мой, – он мне рассказал, что Сюзанна выходит замуж за иностранца, русского казака. Через несколько дней она сообщила мне об этом сама, на рассвете осенней, холодной ночи, в шестом часу утра, когда я увидел ее одну, за столиком в кафе. Лицо у нее было утомленное, под глазами были синие круги. – У тебя усталый вид, – сказал я, проходя мимо нее, – тебе надо отдохнуть. – Она кивнула головой и заговорила со мной;

я стоял, не присаживаясь, возле ее столика. – Это правда, что ты выходишь замуж? – Да, правда. – Она сказала, что ей двадцать три года, что у ее матери в этом возрасте было уже четверо детей, что она хочет жить, как все остальные; но что сейчас она занята больше, чем обычно, так как через две недели свадьба. Жених ее не знал, как она работает; ею руководило желание принести в дом, как она говорила, возможно больше денег, поэтому она не щадила сил, и в те дни, когда она не встречалась с женихом, она выходила на улицу в четыре часа дня и возвращалась домой в пятом часу утра – этим и объяснялся ее крайне усталый вид, поразивший меня. Потом она описала мне своего жениха и показала его карточку, которую она носила в сумке – и эта сумка была всегда с ней, во всех комнатах, куда она поднималась с клиентами; и от соприкосновения с кредитными билетами, которыми ей платили, фотография постепенно тускнела и серела. На ней был изображен молодой, сияющий человек, и выражение его лица, благодаря какой-то особенной игре ретуши, имело веселое и, вместе с тем, деревянно-благородное выражение:

– Вот оно что! – сказал я, не удержавшись: я узнал Федорченко.

– Ты его знаешь? – спросила Сюзанна. – Ты ему ничего не расскажешь обо мне? Потому что он не знает, понимаешь?

– Он думает, что ты девственница?

– Нет, но ты понимаешь, не надо ему говорить.

– Хорошо, обещаю. И если я вас встречу вместе, – ты со мной незнакома, условлено, – сказал я.

Свадьбе предшествовало усиленное лечение – так как Сюзанна незадолго до этого заразилась от какого-то мерзавца, как она говорила, – приготовления, письма родным, и в торжественный день, за длинным столом, в одном из наемных салонов небогатого квартала, где она сняла квартиру, – сидели ее родственники, приехавшие за сотни километров из деревни и привезшие с собой воскресные костюмы и обветренные, крестьянские неподвижные лица. У Федорченко не было ни родственников, ни близких друзей, но он пригласил одного пожилого и очень бла-

говидного русского, по фамилии Васильев. После нескольких стаканов вина он, не теряя приличия и лишь изредка порывисто вздрагивая от особенной, беззвучной икоты, начинал рассказывать тихим, конфиденциальным голосом, что большевики давно подсылали ему эмиссаров, именно эмиссаров, – так что со стороны получалось впечатление, что к нему, время от времени, приезжает почтительная делегация людей в мундирах, особенного, эмиссарского покроя, – но что он непоколебим. Он объяснял это с одинаковой легкостью по-русски или по-французски, нюхал, с видом знатока, дрянное вино и сохранял во всех обстоятельствах благородный и скромно-значительный вид. Этому вздорному человеку, с начинавшимся уже в те времена медленным безумием, предстояло сыграть в жизни Федорченко очень значительную роль.

Кроме Васильева, со стороны жениха на свадьбе не было никого; Сюзанна сразу же объяснила своим родственникам, что ее муж иностранец, что семья его осталась на родине, что он решил создать новую семью здесь, в Париже. Впрочем, все эти подробности потеряли всякое значение после того, как было выпито много вина и Федорченко начал целоваться с присутствующими. Еще через час началось пение, Федорченко взобрался на стул и стал дирижировать, Сюзанна кричала пронзительным голосом, – и среди всего этого шума только один Васильев, смертельно пьяный, сохранял свой торжественно-приличный вид; но и он уже был в таком состоянии, что не мог произнести ни одной связной фразы, хотя и пытался рассказывать очень тихим голосом все о тех же эмиссарах. Я невольно присутствовал на этом банкете, потому что, проезжая ночью по улице, увидал несколько такси, ожидающих у освещенного подъезда выхода приглашенных. Я стал в очередь, не зная, что это за приглашенные, товарищи мне сказали, что это свадьба, и я, вместе с одним из них, поднялся наверх посмотреть, много ли было народу. Остановившись у входной двери, я увидел Сюзанну, возле которой одновременно с двух сторон вилась настоящая белая фата, Федорченко в смокинге, взятом напрокат у еврейского портного на rue du Temple, – у смокинга были

короткие рукава и до удивительности узкие лацканы – и родственников Сюзанны, которые были похожи на внезапно, в силу алкогольного чуда, оживших резных, из дерева, крестьян, одетых в городское платье. Федорченко дошел до того, что кричал Васильеву по-русски:

– Держись, матрос, держись! – и бледный и пьяный Васильев с достоинством утвердительно кивал головой. Сюзанна не переставала смеяться и визжать, они с Федорченко многократно целовались, отчего по всему ее лицу размазался кармин, которым в начале вечера были густо смазаны ее губы. – Вот это свадьба! – одобрительно сказал шофер, вместе с которым мы смотрели на банкет. Уже под утро банкет кончился, приглашенных развезли по домам – и со следующего дня для Федорченко началась новая жизнь.

Они поселились с Сюзанной в одном из новых домов, в только что отстроенном квартале Парижа; здание было сделано из звонкого железобетона, который пропускал все звуки со всех сторон, в нем был лифт, поднимавшийся наверх упорными толчками, стеклянные тюльпаны вокруг электрических ламп и ванные комнаты до смешного маленьких размеров. На деньги, которые были у Федорченко и Сюзанны, они открыли небольшую мастерскую для краски и чистки всевозможных материй. На вывеске было написано золотыми лепными буквами одинакового размера «СЮЗИ», с росчерком, который шел от конца слова к началу ровной деревянной чертой. Сюзанна принимала заказы, Федорченко развозил платья и другие вещи клиентам. Он говорил теперь о дороговизне материалов, о стоимости краски, о трудностях работы, о том, что он, в качестве коммерсанта этого квартала, должен поддерживать известные цены. Он говорил еще о том, как ему было трудно выбиться в люди; и те часы, которые он купил еще в первый год своего пребывания во Франции и которые тогда заводил только по воскресеньям, он стал заводить каждый день. С той же удивительной приспособляемостью, которая была в нем, когда он, работая по десять часов в день на заводе, считал, что очень неплохо живет, – он вошел в свою новую роль; он завел себе удочки,

ходил с ними на Сену, ездил каждое воскресенье за город вместе с быстро полневшей Сюзанной – и превратился бы бесследно и безвозвратно в среднего французского коммерсанта, если бы этому не помешали неожиданные причины, которые возникли много лет тому назад, с тех пор были давно забыты и, казалось бы, потеряли какую бы то ни было силу.

Я видел Федорченко неоднократно в этот период его жизни; я встретил его однажды, в субботу, под вечер возле Porte d'Auteuil; он шел с Сюзанной, и каждый из них нес на плече стул. Провожаемые удивленными взглядами прохожих, они шагали безмолвно, не замечая, казалось, ничего вокруг себя, был неподвижный и довольно жаркий летний вечер, солнце уже начинало садиться. Поздоровавшись с ними, я спросил Федорченко, зачем он несет стул, не переезжает ли он на другую квартиру. Он ответил, что нет, он просто идет подышать свежим воздухом в Булонский лес. – А стулья зачем? – Он похлопал меня по плечу и снисходительно объяснил, – сказав приблизительно, что я не умею жить, – что стулья для того, чтобы сидеть в лесу, так как, если сесть на стул, который там сдается, то надо платить 35 сантимов. Сюзанна, которая после замужества стала мне говорить «вы» и разговаривать со мной, как с малознакомым человеком, но, впрочем, довольно вежливо, улыбнувшись и сверкнув золотым зубом, подтвердила, что это идея ее мужа и что она ее находит очень хорошей. Попрощавшись с ними, я долго смотрел им вслед; они уходили по прямой улице, все удаляясь от меня, и над их головами темнели в воздухе слегка изогнутые ножки стульев, и на большом расстоянии их можно было принять за двух невысоких рогатых животных неизвестной породы.

Сюзанна, выйдя замуж, должна была отказаться от всех своих прежних знакомств; у Федорченко друзей вообще никогда не было, и поэтому они прожили некоторое время вдвоем, до того, пока у них не стал бывать Васильев, которого Федорченко как-то пригласил и который после первого же визита сделался у них своим человеком. Он поселился недалеко от них, сняв себе маленькую комнату в гостинице, и бывал у Федорченко ежедневно;

он являлся неизменно с двумя бутылками вина, которые они выпивали втроем за ужином, и долгими вечерами развивал перед Федорченко и Сюзанной свои сложные политические и философские теории. Вся его жизнь имела смысл лишь постольку, поскольку она носила характер ежедневной и беспрестанной борьбы с темными силами, первой из которых он считал большевизм. Он рассказывал Федорченко и Сюзанне сумбурные легенды, почерпнутые им, по его словам, из Талмуда, он знал наизусть фантастическую систему очень жестоких правил, которые руководят жизнью мирового еврейства, – и так как он был наивным человеком, то он твердо верил всякому вздору, который он когда-либо слышал или прочел. Его ограниченным умственным способностям мешала еще, помимо всего, феноменальная память, которой бесконечные сведения загромождали его голову. Он знал историю всех политических убийств, о которых он рассказывал с особенным удовольствием, точно так же, как причины этих убийств, биографии преступников, фамилии судебных следователей, их семейную жизнь, клички тюремных сторожей, этапы сибирских поселений и любовные приключения защитников, – словом, в его голове был целый неподвижный и зловещий мир, весь пропитанный террором и кровью. При этом он никогда в своей жизни не принимал активного участия ни в одном политическом деле и не причинил никому зла; но вся многолетняя работа его воображения и памяти заключала в себе, как анатомический театр или музей ужасов, бесконечную серию преступлений, изуверств и убийств. Медленное и заразительное его сумасшествие начало в те времена становиться заметным. Сюзанна боялась этого безобидного человека инстинктивно и бессознательно, как собаки боятся грозы, ей бывало не по себе в его присутствии, но она не смела ничего говорить из-за мужа, который с жадностью слушал рассказы Васильева и лицо его багровело и наливалось кровью. У Васильева уже появились в те времена первые признаки мании преследования; он знал, по его словам, что за ним следили, иногда являлся в кепке и сером пальто – вместо синего пальто и шляпы, которые носил обыкновенно, – боясь, чтобы его

не узнали; он бывал на всех политических собраниях, сидел в углу, никогда не выступал, так как присутствовал там, как он говорил, инкогнито. – Есть люди, которые дорого бы заплатили, чтобы узнать, кто я такой, – говорил он Федорченко. Словом, наступало то время в его жизни, когда, наконец, вся эта последовательность убийств, которую он столько лет носил в себе, весь этот безмолвный ужас его воображения должны были мгновенно всплыть и появиться перед ним во всем своем неотразимом многообразии, и это могло повести только к одному – альфа и омега всей этой трагической серии – к смерти. Но он был еще на полдороге к ней.

Федорченко не верил всему решительно, что рассказывал ему его новый друг – не потому, что мог бы противопоставить этому какие-нибудь иные данные, а оттого, что этого не допускала его природная крестьянская недоверчивость. Он вообще плохо представлял себе такие поступки человека, которые не вызваны соблазном личной выгоды; во всяком бескорыстном действии он искал непременно простейших побудительных причин, и когда не находил их, то становился в тупик. До этих пор он вообще не думал о вещах, которые его непосредственно не касались, и поэтому его жизнь была так легка, так лишена каких бы то ни было осложнений. Единственное, что могло бы его сделать несчастным, это если бы Сюзанна не согласилась с ним жить. Но вот, в силу счастливой случайности, вышло так, что из тысяч мужчин, которые прошли через жизнь Сюзанны, и пяти или шести ее настоящих любовников Федорченко оказался именно тем, который был ей нужен. Она настолько подчинилась ему, что в его присутствии невольно начала говорить с неправильностями и теми особенными нефранцузскими интонациями, которые были для него характерны, – и лишь расставшись с ним, опять приобретала обычный для ее нормальной речи уличнопарижский оттенок, оттенок бульвара Менильмонтан, и Бельвиль, и рю де ла Гэтэ, и рабочих предместий Парижа, к которому примешивалась ее личная, овернская тяжеловесность языка. Итак, с этой стороны Федорченко не могло ожидать никакое разочарование. Еще более благополучно складывалась его жизнь в материальном смысле.

Я встретил его однажды ночью, в кафе; он был, казалось, совершенно пьян, особенным, свирепым охмелением. Он пригласил меня к стойке и сразу начал говорить, путая русские слова с французскими, о том, как ему трудно жить в этом мире, dans cette monde[1]; он до конца не научился отличать во французском языке мужской род от женского.

– Пьете вы много, вот что, – сказал я ему в ответ.

– Вы меня тоже не понимаете. Поймите, – сказал он, повысив голос и ударив кулаком по стойке, – все, что я люблю в этом мире, это вот там – и он уставился в потолок. Я невольно поднял голову и увидел слегка закопченную известку, лепные вазы и круглые электрические лампы.

– Вот эта безмятежность ночного неба, – сказал Федорченко, – вот к чему у меня душа тянется. А люди! я их презираю.

Он продолжал говорить, сумбурно перескакивая с одного предмета на другой; вспомнил почему-то, что в гимназии все к нему относились с насмешкой, вспомнил даже прозвище «граф Федорченко», которое ему кто-то дал, и сказал:

– И вот я не желаю им мстить. Мне ничего не надо, только безмятежность. – Потом он начал настаивать, чтобы я его отвез домой, и, когда мы остановились у его подъезда, он пригласил меня подняться наверх, выпить чаю.

– Какой там к черту чай, – сказал я, – пятый час утра. Идите спать.

– Идем, идем, – бормотал он с пьяным восторгом, дергая меня за рукав. – Идите спать, – повторил я.

Он вдруг махнул рукой и прислонился к стене. Я сделал два шага по направлению к автомобилю и остановился. В светлеющей тишине начинавшегося рассвета было слышно, как он всхлипывал и бормотал слова, которых я не мог разобрать, единственное, что я понял, это было слово «зачем», которое он произнес несколько раз. Я пожал плечами и уехал.

Несколько месяцев спустя, когда я шел по улице, я вдруг почувствовал на своем плече чью-то тяжелую руку.

[1] «В этом мире» – с местоимением, поставленным в женском роде (*искаж. фр.*).

Я обернулся и увидел Федорченко. Он был один, был очень аккуратно одет и совершенно трезв; но меня поразило выражение его глаз, в которых точно застыл далекий испуг или нечто очень похожее на это.

– Я давно хотел с вами поговорить, – сказал он, не здороваясь. – Зайдемте в кафе, если хотите.

Это было на Елисейских полях, под вечер. Мимо нас густым валом шла толпа гуляющих людей. Мы сели на террасе.

– Вот, скажите, пожалуйста, – начал Федорченко, – я хочу задать вам один вопрос. Вы не можете мне объяснить, зачем мы живем?

Я с удивлением посмотрел на него. На его лице было задумчивое выражение, чрезвычайно для него неестественное, настолько неожиданное и нелепое, что оно мне показалось столь же необыкновенным, как если бы я вдруг увидел усы на физиономии женщины. Но это было лишено даже самой отдаленной комичности, было совсем не смешно, и мне стало не по себе. Я подумал, что не хотел бы остаться с этим человеком вдвоем, и невольно оглянулся; все столики вокруг нас были заняты, рядом с нами какой-то очень хорошо одетый пожилой мужчина, с чуть-чуть съехавшим налево париком, рассказывал двум дамам, как будто только что снятым с витрины модного магазина и даже сидевшим в манекенно-искусственных позах, как он с кем-то разговаривал. – Представьте себе, – говорю я ему, – мой бедный друг... Он мне говорит, – но позвольте... Я отвечаю: послушайте...

– Не знаю, – сказал я, – одни для одного, другие для другого, а в общем, я думаю, неизвестно зачем.

– Значит, не хотите мне сказать?

– Милый мой, я об этом знаю столько же, сколько вы.

Он сидел против меня с нахмуренным и напряженным лицом.

– Вот люди живут, – сказал он с усилием, – и вы, например, живете. А скажите мне, пожалуйста, к какой точке вы идете? Или к какой точке я иду? Или, может, мы идем назад и только этого не знаем?

– Очень возможно, – ответил я, чтобы что-нибудь сказать. – Но вообще, мне кажется, не следует себе ломать голову над этим.

– А что ж тогда делать? Это так оставить нельзя.

– Слушайте, – сказал я с нетерпением. – Жили же вы, черт возьми, до этого совершенно нормально, работали, питались, спали, теперь вот женились. Что вам еще нужно? Философию вы бросьте, она нам не по карману, понимаете?

– Васильев говорит, – сказал Федорченко и оглянулся по сторонам, – что...

– У Васильева скоро начнется белая горячка, – сказал я, – его слова нельзя принимать всерьез.

– Но раз он что-то думает, значит, то, что он думает, существует?

Я пожал плечами. Федорченко замолчал, обмяк и уставился неподвижно в пол. Я расплатился с гарсоном и попрощался с ним.

– А? Что? – сказал он, поднимая голову. – Да, да, до свидания. Извините, если побеспокоил.

Я шел и думал о том, что теперешнее состояние Федорченко объяснялось, по-видимому, в первую очередь ежедневным влиянием Васильева. Это была, во всяком случае, внешняя причина неожиданного пробуждения в нем какого-то совершенно ему до сих пор не свойственного интереса к отвлеченным вещам. Он не мог верить тому, что рассказывал Васильев; и все, что говорил ему этот пьяный и сумасшедший человек о борьбе темного начала со светлым и о любимых своих убийствах, он воспринял по-своему; в нем вдруг возникли сомнения в правильности того бессознательного представления о мире, в котором он жил до сих пор. Он не умел этого объяснить; непривычка и неспособность разбираться в отвлеченных понятиях не позволили бы ему рассказать о том, что в нем происходило. – Как опухоль в душе, – говорил он потом. Но по мере того, как выяснялась полная невозможность для него найти ответ на эти сомнения, необходимость этого ответа становилась все повелительнее. Он не был способен ни к какому компромиссу или построению иллюзорной и уте-

шительной теории, которая позволила бы ему считать, что ответ найден, он не мог ее создать. Вместе с тем, она была нужна ему как воздух, и он смутно понимал, что с той минуты, когда у него возникли первые сомнения, перед ним появилась угроза его личной безопасности. Он был похож на человека с завязанными глазами, который идет по узкой доске без перил, соединяющей крыши двух многоэтажных домов, идет спокойно, не думая ни о чем, – и вдруг повязка спадает с его глаз, и он видит рядом с собой чуть-чуть голубоватое, качающееся пространство и едва ощутимое стремление вниз – справа и слева, – как две воздушные реки по бокам.

Через несколько дней я получил от него письменное приглашение прийти обедать, и хотя я понимал ненужность этого визита, я все же пошел, подчинившись обычному моему любопытству ко всему, что меня не касалось. Они сидели за столом – Васильев и Федорченко. Сюзанна отворила мне дверь и встретила меня с такой неожиданной радостью, что я не удержался и спросил ее, пока мы были в передней:

– Что с тобой? Ты, может быть, принимаешь меня за клиента?

– Кто-то, кого я знаю, – бормотала она, не слушая меня, – и который не сумасшедший, какое счастье!

В столовой на камине стояли часы, вделанные в мрамор и показывавшие половину десятого, хотя было восемь, и рядом с часами лежала мраморная пантера густо-зеленого цвета; над ней, на стене, в золоченой раме – большая фотография, изображающая Федорченко и Сюзанну в день свадьбы; они стояли в середине снимка, окруженные закругляющимися контурами ретуши, похожими на края фотографических облаков. Большой стол был утвержден на одной ножке, сделанной в форме опрокинутого и усеченного конуса, – что очень стесняло Васильева, который прятал своя длинные ноги под стул. На стенах было еще несколько олеографий с голыми красавицами розово-белого цвета.

Васильев поздоровался со мной, сохраняя свой значительный вид. Мой приход прервал на минуту его речь, но он тотчас же ее возобновил. Иногда он закидывал голову назад, и тогда становились видны желтоватые белки его глаз, закатывающиеся, как у мертвеца. Он рассказывал об очередном заговоре против какого-то правительства в Сибири, во время революции, сообщая по привычке точнейшие данные капитан Рязанского полка, высокий блондин, красавец, с незапятнанным послужным списком; его отец, происходивший из духовной среды, Орловской губернии, преподаватель математики в старших классах сначала такого-то реального училища, потом... и т.д. Рассказав это по-русски, он тотчас же переводил все на французский язык для Сюзанны, которая никогда в жизни не слышала ни о существовании Рязанского полка, ни о преподавателе математики, ни об Орловской губернии, ни о каком бы то ни было русском правительстве в Сибири. Васильев говорил, точно читал по книге, и даже сохранял повествовательный стиль, характерный для исторических романов с большим тиражом:

– Заговорщики собрались в условленном месте. Ровно без четверти одиннадцать раздался стук в дверь и в комнату быстрыми шагами вошел капитан Р. – Господа, – сказал он, – время действия наступило. Наши люди готовы.

И сейчас же переводил это для Сюзанны.

– Раздался шум отодвигаемых стульев...

Я внимательно смотрел на этого сумасшедшего человека. Он то закрывал, то открывал глаза и рассказывал монотонным голосом, изменявшимся в тех местах, где была вводная речь. По-французски он говорил очень чисто и точно, с небольшим акцентом, с некоторой излишней медлительностью интонаций, и вел рассказ обычно в прошедшем совершенном. Федорченко напряженно слушал его. Сюзанна ерзала на стуле и смотрела на меня отчаянными глазами. Она воспользовалась минутой, когда Васильев повернулся к ее мужу, чтобы прошептать мне:

– Я больше не могу! не могу!

Но остановить Васильева было невозможно. Я несколько раз прерывал его и начинал разговор о другом; он

умолкал, но пользовался первой паузой, чтобы возобновить свой бесконечный рассказ, который должен был кончиться с его смертью. Я ушел поздно вечером. Мы вышли вместе с Васильевым, который поднял воротник пальто и надвинул шляпу на лоб. Я не мог не улыбнуться:

– В таком виде вы похожи на героя из романа плаща и шпаги, – сказал я ему.

– Вы бы не шутили, – ответил он, – если бы знали, какой опасности я подвергаюсь ежедневно.

Я знал эту фразу. Я знал, что никакие убеждения на этого человека не подействуют, но все-таки сказал, что, по-моему, его опасения напрасны, что, не причиняя никому вреда, не занимаясь политической деятельностью и не будучи видным революционером или контрреволюционером, он вряд ли рискует больше, чем всякий другой смертный. Он терпеливо выслушал меня. Мы уже дошли до гостиницы, в которой он жил. Начинал накрапывать дождь.

– Эмиссары, – сказал он, – которые...

И я ощутил непреодолимую тоску. Я стоял недалеко от освещенного подъезда его гостиницы и смотрел на беспрерывно теперь струившийся дождь, а он держал меня за рукав и все говорил об эмиссарах, о контрразведке, о смерти какого-то великого князя в Москве, об одном из помощников Савинкова, о преследовавшем его, Васильева, левантинце, смуглом человеке с черной бородой, которого он последовательно видел в Москве, Орле, Ростове, Севастополе, Константинополе, Афинах, Вене, Базеле, Женеве и Париже. Наконец мне удалось поймать его влажную от постоянной внутренней дрожи руку, пожать ее и, извинившись, уйти, – и я дал себе слово в дальнейшем избегать встреч с ним и с Федорченко и забыть, если возможно, об их существовании.

Но через две недели после этого, утром, когда я еще был в постели, раздался резкий звонок. Я надел купальный халат и туфли и пошел отворять дверь. Я думал, что это один из обычных стрелков, которые приходят просить деньги, ссылаясь на безработицу и расстроенное здоровье, и уходят, получив два франка; я знал, что мой адрес и моя

фамилия фигурировали на одном из последних мест того таинственного списка неотказывающих, который ходил по рукам большинства стрелков. Он существовал во множестве вариантов; некоторые адреса, преимущественно богатых и щедрых людей, стоили очень дорого, другие дешевле, иные просто сообщались, в виде дружеской услуги. О том, что я занимал одно из последних мест, я узнал от старого, добродушного пьяницы, который становился словоохотлив после первого стакана вина.

– Вас недорого можно купить, – сказал он мне с оттенком снисхождения в голосе, – ну, франков за пять, а под пьяную руку и вовсе за три. Мы, милый человек, знаем, что у вас самих денег нет. И зачем вы этой сволочи их даете? – Я ответил ему, пожав плечами, что два франка, которые я обычно даю, меня не разорят и что если человек идет просить милостыню, то надо полагать, что он это делает не для удовольствия. – Какое же удовольствие, это верно, – сказал он, – а все-таки всем без разбору давать – это не дело. Молоды вы, милый человек, вот что. – И он ушел, взяв у меня два франка.

Натыкаясь со сна на стены – я лег, как всегда, в седьмом часу утра, теперь же было не больше девяти, – я подошел к двери, приготовил монету, отворил и увидел Сюзанну.

– Ты один? – спросила она, не здороваясь. – Я хочу с тобой поговорить.

Она вошла в комнату, осмотрела ее, потом села в кресло и закурила папиросу.

– Чей это портрет? – спросила она. – Это твоя любовница? Красивая.

Мне хотелось спать.

– Ты пришла, чтоб меня расспрашивать о портрете? – сказал я.

– Нет, нет, – ответила она, и голос ее вдруг изменился. – Я пришла просить совета у тебя. Я не могу больше выдержать.

– Мне нет дела до этого, – сказал я. – Меня это не касается, и, кроме того, я хочу спать. Приходи вечером.

– Нет, нет, – сказала она с испугом, – Ты меня так давно знаешь, ты должен меня выслушать.

– Знаю я тебя давно, конечно, – сказал я. – Знаю и ценю за твою добродетель.

– Выслушай меня, – повторила Сюзанна, и впервые за все время мне послышалась в ее голосе какая-то человеческая интонация. – Ты знаешь, что я была счастлива.

– Не рассказывай мне твою жизнь, я без этого обойдусь.

– Послушай, ты знаешь, что я только бедная женщина, не получившая образования, такого, как этот старый сумасшедший, которого я, в конце концов, убью и который разбил мое счастье.

– Если тебя беспокоит его образованность, тут ничего не поделаешь.

– Нет, слушай, я тебе расскажу. – И она начала рассказывать мне, как все произошло, точно. Я прерывал ее несколько раз в тех местах, где она говорила умиленным и слегка дребезжащим голосом о своем счастье – были счастливы, устроены, своя квартира, своя мебель – я вспомнил зеленую мраморную пантеру и розовых красавиц на стенах. Все шло, по словам Сюзанны, как нельзя лучше, на материальное положение тоже нельзя было жаловаться, тем более что она, тайком от мужа, работала два вечера в неделю, но, конечно, далеко и от своего района, и от тех мест, где ее знали раньше. Муж ее обожал, она обожала мужа. – Ладно, ладно, – сказал я. Так было до тех пор, пока не появился Васильев. Он пришел однажды вечером в гости, поужинал и принялся за свой обычный монолог, который продолжался до поздней ночи. С тех пор он стал приходить каждый день. Сначала это раздражало Сюзанну только потому, что был лишний человек за столом.

– Пропустишь лишнего клиента, – сказал я, пожав плечами, – и наверстаешь расход.

Сюзанна ничего не понимала в его рассказах, которые он неумолимо переводил ей на французский язык. – Убийства без конца, – говорила она с отчаянием, – потом имена, которых я не знаю, и разные идеи.

Из ее рассказа было видно, что бесконечные убийства, о которых всегда говорил Васильев, были не един-

ственной темой его речей, он приводил всевозможные рассуждения и цитаты из Ницше, фамилию которого Сюзанна даже запомнила; она спросила меня, слышал ли я о человеке, которого зовут «Ниш», кажется, это какой-то немец. Я кивнул головой. Она долго терпела все, и в частности то, что теперь внимание ее мужа было всецело поглощено Васильевым и его рассуждениями, а о ней, Сюзанне, он совсем перестал думать. – Он даже больше не спит со мной, – сказала она. Когда она, наконец, попыталась заговорить с ним об этом, он пришел в необыкновенную ярость и стал кричать, что она ничего не понимает, что есть вещи, которые важнее для него, чем ее любовь и личное счастье. Тогда она испугалась.

Это продолжалось уже несколько месяцев и стало совершенно невыносимо с недавнего времени, после того – Сюзанна была взволнована, говоря об этом, глаза ее расширились от ужаса – как украли какого-то русского генерала. – Ты читал об этом? Зачем его украли? – Я ответил, что не знаю. Оказывается, после этого Федорченко и Васильев купили себе револьверы, – ты понимаешь, – сказала Сюзанна, – это же, конечно, я за шпалеры заплатила, – почти не выходили из дому и все пили красное вино и разговаривали. Иногда они оба исчезали куда-то глубокой ночью, и Федорченко возвращался поздно утром, с мутными глазами и желтым лицом. Но о главном Сюзанна не могла рассказать сколько-нибудь связно. Из ее слов и по тому, как она оборачивалась по сторонам, когда говорила об этом – сидя в моей комнате, где мы были вдвоем и где никто не мог нас слышать, – было очевидно, что она жила в состоянии непонятного, животного страха все эти последние дни. Не понимая ничего в этой зловещей метафизике террора и смерти, о которой рассуждал Васильев, она инстинктивно чувствовала надвигающуюся катастрофу, и нечто, почти похожее на предсмертное томление, не оставляло ее.

– Я задыхаюсь в этом, – говорила она, – я схожу с ума.

Она сидела в кресле, губа ее дрожала над золотым зубом, слезы стояли на глазах, – она вытирала уголки

глаз, открывая рот и оттягивая нижнюю челюсть. Я подумал о том, что ее существование проходило теперь в этой действительно невыносимой атмосфере, в этой философии убийства и смерти с цитатами из Ницше и историей террористических заговоров, посмотрел на ее ровный и юный лоб без морщин и на заплаканные глаза – и вдруг ощутил к ней внезапную жалость.

– Было бы, может быть, лучше, чтобы ты не оставляла стойки твоего кафе и чтобы ты ничего не знала ни о русском генерале, ни о «Ниш», как ты его называешь, хотя его имя произносится иначе. Но теперь что же ты хочешь, чтобы я сделал?

Она стала просить меня, чтобы я попытался воздействовать на Федорченко, сказал бы ему, что так жить нельзя, и объяснил, что она, Сюзанна, не получила образования и не может ответить на те вопросы, которые он ей постоянно задает – зачем мы живем? что такое завтра? почему люди занимаются искусством? что такое музыка? Только на последний вопрос она как-то ответила – музыка, это когда играют, – и после этого он рассердился и два дня не разговаривал с ней и ходил обедать в русский ресторан, где она тоже была несколько раз и где никто не разговаривал по-французски. То, что какие-то люди вообще говорят на других языках, было для Сюзанны не то что бы непостижимо, но так неестественно, что она никак не могла свыкнуться с этой мыслью, ей все казалось, что это чуть ли не притворство. Она совершенно серьезно сомневалась в том, что на других языках можно действительно выразить все решительно. «Ну, что можно сказать друг другу по-русски?» Не говори глупостей; это еще сложнее, чем генералы, которых похищают.

Это происходило через несколько недель после того, как в Париже исчез известный русский генерал, занимавший во время гражданской войны крупную должность в белой армии, на юге России, и стоявший во главе тех людей, разбросанных по всему миру, которые представляли из себя разрозненные остатки этой армии. Большинство их зарабатывало на жизнь тяжелым физическим трудом, они были объединены в союз, начальником

которого был исчезнувший генерал. Газеты приводили самые неправдоподобные и противоречивые рассказы о том, как именно произошло похищение; левая пресса излагала версию, согласно которой генерал был схвачен и увезен членами правой террористической организации, правая обвиняла коммунистов, один из полупорнографических журналов предположил даже, что это неожиданное исчезновение объяснялось причинами сентиментального порядка; полиция печатала многозначительные сообщения обо всем, и из этого количества и этого разнообразия полицейских сведений было нетрудно вывести заключение, что похитителей генерала ей найти не удастся. Как обыкновенно бывает, в связи с этой сенсационной историей появилось множество разоблачений и обвинений, начались доносы и письма в редакцию, на страницах газет и журналов разные люди излагали свои личные соображения по поводу генерала, причем некоторые пользовались неожиданной возможностью печатного высказывания, чтобы сообщать автобиографические признания, нередко мемуарного характера, – и во всем этом не было никакой возможности разобраться.

По словам Сюзанны, Васильев необыкновенно интересовался всем, что касалось исчезновения генерала, он сидел часами у окна ее квартиры и записывал в маленькую тетрадку номера проезжавших автомобилей; он читал множество газет, где статьи о генерале были обведены красным карандашом, а на полях и в середине текста стояли вопросительные и восклицательные знаки, после каждой статьи было написано «ложь», а перед фамилией автора были нарисованы две или три звездочки. Наконец, однажды вечером, он сказал Сюзанне, затворив дверь и приблизившись к ней вплотную, что он знает тайну исчезновения генерала, но что эта тайна умрет вместе с ним и что если Сюзанна будет иметь неосторожность заикнуться кому-нибудь об этом, то он, Васильев, не ручается за ее жизнь.

– У нас как-никак республика, – сказала Сюзанна, потому что она часто слышала эту фразу, когда речь шла о политике. Но Васильев ответил, что это не играет роли,

и привел пример генерала. Он тоже думал, что живет в республике.

Она с ужасом рассказала это мужу, и он подтвердил, что все действительно так и что он с этим примирился.

Исчезнувший генерал и то, что находилось в связи с ним, – подозрения, доносы, статьи, полицейское следствие и все более явственное присутствие чьей-то незримой смерти, здесь, среди этой мебели, рядом с мраморной пантерой и голыми красавицами, граничило с началом общего безумия; и призрак генерала стал преследовать Сюзанну.

– Убийства, убийства, убийства, – я только это и слышу, ты понимаешь, – говорила она. И вместе с тем она не могла и не хотела уйти оттуда, бросить свое дело и оставить мужа. – Что делать, что делать? – повторяла она.

– Скажи, что ты больна, и уезжай в деревню на месяц.

– Я не могу оставить дело.

– Тогда не задавай мне вопросов и не спрашивай, что делать.

Она сидела в моем кресле и хрустела пальцами.

– Если ты уедешь, – сказал я, – то у тебя есть шансы дожить до старости и умереть от артериосклероза, к которому у тебя есть склонность.

– Не говори мне о смерти! – закричала она. Крик ее перешел в вопль, я зажал ей рот. Она захватила зубами свою руку, быстро сползла с кресла – при этом юбка ее поднялась почти до пояса – и стала кататься по полу, не переставая кричать; и крики ее прерывались всхлипываниями. Я поднял ее и положил на диван; она потеряла сознание, я вынужден был выплеснуть ей в лицо целый стакан холодной воды. Тогда она пришла в себя и посмотрела на меня дикими глазами.

– Ты меня извинишь? – сказала она робким голосом. – Я постараюсь последовать твоему совету. Но до этого ты можешь прийти к нам, чтобы поговорить с моим мужем?

Я категорически отказался. Я испытывал нечто вроде непонятного и острого любопытства ко всему этому

нелепому и трагическому недоразумению, но одновременно с любопытством во мне поднималось столь же непонятное и столь же необоснованное отвращение, так, точно я должен был войти в помещение, воздух которого отравлен невыносимым запахом тления. Сюзанна, наконец, ушла, сказав, что постарается уехать в деревню, но не знает, удастся ли это ей.

– Не рассчитывай на меня, – сказал я ей на прощанье.

Но в течение некоторого времени я не мог от нее избавиться. Она приходила ко мне в самые неожиданные часы и подолгу оставалась в моей комнате, иногда даже не разговаривая, просто для того, чтобы провести время с нормальным человеком. Я никогда не мог добиться от нее, почему она выбрала именно меня. Однажды она пришла и рассказала мне о долгом разговоре, который у нее был с Васильевым. Он ей сообщил, что уже много недель тому назад он знал, что за ним ведется слежка. Он ссылался на не оставляющие никаких сомнений статьи в газетах, на некоторые признаки, которые могло заметить только его изощренное внимание – поведение углового полицейского, непонятные и ежедневные отлучки булочницы, находившейся в постоянной телефонной связи с лицами, которых он не мог назвать, и т.д. Он прибавил, что имеет дело с очень могущественной организацией, которая не жалеет денег и которая все это время нащупывала его присутствие, – как многочисленные прожекторы нащупывают скрытое неприятельское укрепление. По его словам, эта таинственная организация не щадила ни труда, ни золота – он твердо знал, что работу своих агентов она оплачивает именно в золоте – и ей удалось, наконец, окружить его, казалось бы, со всех сторон. Одного, однако, эти люди не знали: именно, что ему, Васильеву, был известен каждый их шаг.

– Вы понимаете, – сказал он Сюзанне, которая с тоской и тревогой слушала его спокойный бред, – у них все: автомобили, сыщики, многочисленные агенты, гарантированная подкупленной полицией безопасность, сколько угодно денег, радио, телеграф, все бесчисленные средства,

которыми может обладать современная государственная организация. У меня нет ничего, я нищий русский эмигрант. Но я обладаю тем, чего они не могут учесть и с чем они не могут бороться: интуицией и беспощадной логикой выводов.

У Сюзанны была прекрасная память, и она повторяла то, что ей говорил Васильев, почти наизусть; и было странно слышать, что она говорила о беспощадной логике выводов и об интуиции. Она закрывала глаза, когда произносила эти слова, как человек, делающий умозрительное усилие. Разговор происходил в четыре часа дня, солнце светило через окно, и на бледном лице Сюзанны, под глазами, были видны маленькие, черноватые веера ее ресниц.

– Ты не находишь, что все это действительно нелепо? – сказал я, больше рассуждая вслух, чем обращаясь к Сюзанне. – Зачем было нужно, чтобы три человека – один старый алкоголик, другой, которого природа не предназначила для мышления, и ты, которая была бедной девушкой, ходившей по тротуару, – чтобы всех вас сейчас губила непогрешимая память и сумасшествие Васильева и тень Ницше, которого ты называешь Нищ?

Васильев сказал Сюзанне, что преследующая его организация рассчитала все самые отдаленные возможности, самые невероятные случайности – и они решили, что Васильев от них уйти не может. Но, отдавая должное их искусству, он все же имел право считать себя выше их, так как, по его словам, он обладал той мгновенной гибкостью воображения, которая опрокидывает самые лучшие расчеты и носит в себе начала некоей, как он выразился, смертельной гениальности. В его рассуждениях была все-таки некоторая зловещая убедительность; и если бы предположить, что эта мифическая организация, занявшая последнее свободное место в его перегруженном убийствами воображении, существовала бы на самом деле, то – как показали факты – ей действительно не удалось бы наложить на него руку. Поздним вечером того дня, когда он разговаривал с Сюзанной об ошибочном расчете его преследователей, он вышел из дому, где жил Федорченко, повернул за

угол и исчез. Была туманная, мартовская ночь. Сюзанна видела, как Васильев уходил, – и с испугом заметила, что он переложил из заднего кармана брюк в боковой карман пиджака свой большой револьвер, с которым в последнее время не расставался. Как каждый вечер, он был готов ко всему. Он шел своей обычной, твердоватой походкой, – которая напоминала, по словам Сюзанны, движения автомата, – куря сигару, заложив левую руку в карман пальто, а правую в тот боковой карман пиджака, где лежал револьвер. Таким Сюзанна видела его в последний раз.

Он не явился на следующий вечер ни к Федорченко, ни к себе домой. Прошел еще день – его не было. Я внимательно читал хронику происшествий в газетах, надеясь найти что-либо о Васильеве; но за эти два дня не произошло ничего необыкновенного, если не считать того, что прошлой ночью на одном из мостов через Сену был смертельно ранен тремя револьверными выстрелами французский коммерсант Дюбуа, возвращавшийся с дружеского обеда к себе домой, в Auteuil; он умер через несколько часов в госпитале, после него осталась жена и двое детей. Убийце удалось скрыться, но полиция напала на его след, как это было официально заявлено в газетах. Я не мог придать значения этому случайному убийству. Единственное, что мне показалось подозрительным, – это, что не было ограбления и что, с другой стороны, полицейское следствие не могло найти, несмотря на многочисленные допросы всех или почти всех, кто знал убитого, никакого мотива преступления. Убитый коммерсант был семейный человек, мягкого, по-видимому, характера; у него не было ни любовной драмы, ни политических взглядов, ни даже врагов. Одним словом, убийство его представлялось непостижимым. Впрочем, как это было неоднократно доказано уголовной хроникой, – достаточно было предположить, что, во-первых, убийца вообще неизвестен полиции, то есть не является профессиональным преступником, во-вторых, констатировать отсутствие внешних и очевидных причин убийства и, в-третьих, убедиться, что ближайшие друзья и знакомые убитого не знают лично этого убийцы, чтобы сделать неизбежный вывод: при таких условиях всякое

полицейское следствие должно было бы упереться в тупик и не имело бы никаких или почти никаких шансов найти преступника. И я был склонен думать, что это одна из многочисленных трагедий, о которой мы никогда ничего не узнаем, кроме того, что был коммерсант Дюбуа, живший там-то, и что теперь его нет, так как он был убит неизвестным человеком по неизвестным причинам. Смерть его представляла для меня только случайный интерес, так как казалась связанной не с непосредственной корыстью или местью, а с какими-то другими причинами, более возвышенного, или менее низменного, или, во всяком случае, не совсем обыкновенного характера. Но на следующее утро я купил другую газету, где была напечатана фотография убитого; и я сидел и смотрел почти с ужасом на это лицо, потому что теперь я наверное знал, как все произошло: убитый был плотным человеком с большой черной бородой. Сюзанна сказала мне, что Васильев ушел в двенадцать часов ночи, преступление было совершено около двух часов, то есть через полчаса после его ухода; мраморные часы Сюзанны отставали ровно на полтора часа. Дюбуа – в газетах приводилась его биография – никогда не выезжал из Франции. Размышляя об его судьбе, я все возвращался к этому нелепому стечению случайностей: если бы он не носил бороды, он, конечно, остался бы жив, – так как мне представлялось несомненным, что Васильев принял его за своего воображаемого и постоянного преследователя, злополучного левантинца, именно того смуглого человека с бородой, о котором он рассказывал мне вечером, когда мы вместе с ним уходили от Федорченко. Но сам Васильев скрылся бесследно. Было очевидно, однако, что он боялся не французской полиции, которая едва знала об его существовании и, конечно, не могла подозревать его в чем бы то ни было. Через несколько дней его судьба стала известна: его труп был вытащен из Сены, и вскрытие, не обнаружившее на теле никаких признаков насилия, убедило власти в том, что речь могла идти только о самоубийстве. Васильев нашел способ обмануть своих столь же многочисленных, сколь воображаемых врагов; это и было – сначала три револьверных выстрела в левантинца, потом прыжок

с моста в ледяную воду Сены – тем проявлением смертельной гениальности, о котором он говорил, той последней вспышкой интуиции, которая так безошибочно довела его от истории террористических заговоров и рассуждений о Ницше до парижского моста через Сену, в эту мартовскую, туманную и прохладную ночь.

В тот день, когда я прочел сообщение о смерти Васильева, я поспешил одеться, чтобы уйти из дому как можно раньше; но Сюзанна все же успела прибежать ко мне. Не здороваясь, не спрашивая ни о чем и держа в руках газету, она закричала: – Он умер! Он умер! – Потом, передохнув, она спросила меня: – Ты уже знаешь?

– Да, да, – сказал я. – Я думаю теперь о том, что будет дальше.

– Федор говорит, что его убили, что этого нельзя так оставить. Он вне себя, он не спит уже вторую ночь. Я тебя умоляю, пойди, поговори с ним.

– Оставь меня в покое, – сказал я. – Я этого не собираюсь делать. Мне все это совершенно безразлично, вся эта история. Я тут ни при чем. Если я буду принимать близко к сердцу все несчастья, которые я вижу, это вообще никогда не кончится.

– Только ты можешь спасти меня.

– Ты преувеличиваешь, я тут ничего не могу сделать.

– Я сделаю все, что ты хочешь, – сказала Сюзанна. – Все, ты понимаешь? Хочешь денег? Я дам тебе денег. Хочешь другое? Я тебе дам это.

– Я хочу только одного, – сказал я с раздражением. – Я хочу, чтобы ты оставила меня в покое. Мне уже поперек горла стоят твои сумасшедшие и генералы, которых похищают. Это меня не касается. Почему ты так цепляешься за меня?

Она села в кресло. Я посмотрел на нее, она была бледнее, чем обыкновенно. Она откинула голову назад и закрыла глаза; руки ее повисли по бокам кресла.

– Трюк с обмороком мне известен, Сюзанна, ты знаешь? – сказал я.

– Нет, нет, это не то, – пробормотала она едва слышно, – нет, это более значительно.

– Что еще?

– Я думаю, – прошептала она и вздохнула, – что я жду ребенка.

Мне удалось не без труда уклониться от визита к Федорченко; я по-прежнему советовал Сюзанне уехать в деревню. И когда, наконец, она ушла, я вздохнул свободно и, немного погодя, вышел на улицу. Был весенний блистательный день, в прозрачном воздухе стояла дрожащая прохлада, – и я с наслаждением подумал, что можно забыть обо всей этой навязчивой трагедии и вспомнить о иных вещах, которые были далеки от меня и прекрасны, и чем дальше, тем прекраснее, чем прекраснее, тем дальше.

На следующую ночь я рассказал Платону историю Васильева. Он слушал со своим обычным, высокомерно-небрежным видом, с тем своим «защитным» выражением лица, которое становилось все постояннее и характернее, по мере того как его социальное и денежное положение делалось безнадежнее. В то время как у большинства людей, имевших несчастье находиться в затянувшемся бедственном положении, лица приобретали неприятную развязность, часто переходящую в угодливость, лицо Платона следовало совершенно противоположному принципу. Но любезность его оставалась прежней. Он был одним из тех пяти или шести человек – за всю мою жизнь, – с которыми я мог подолгу разговаривать, и, во всяком случае, единственным французом, не казавшимся мне идеально чуждым и далеким собеседником. Не знаю, было ли бы это так, если бы я с ним познакомился в пору его благополучного существования. Но теперь, пережив множество неудач и дойдя до глубокого несчастья и нищеты, он приобрел ту гибкость души и понимания, которую можно, пожалуй, сравнить с какой-то особенной личной одаренностью человека, как талант художника или дар композитора. Как большинство по-настоящему думающих людей, он был сильнее в отрицательных суждениях, нежели в положительных. Если только речь не шла о политической программе, он склонен был сомневаться – как он не раз говорил мне это – в подлинном существовании каких бы то ни было схем и построений, претендующих на извест-

ную стройность и законченность, искусственность которых ему почти всегда казалась очевидной. В том же, что касалось политики, его принципы – религия, семейный очаг, король – были так беспомощно наивны, что казалось удивительным, как Платон мог утверждать это. Он, впрочем, никогда не защищал своих взглядов на этот вопрос и говорил о нем в извиняющемся тоне, точно сам чувствовал, что совершал какую-то неловкость. Когда я ему рассказал, как жил и умер Васильев, и выразил уверенность, что убийцей французского коммерсанта был именно он, – Платон с сомнением покачал головой.

– Ваша теория о том, каким путем он дошел до смерти, – сказал он, – имеет, быть может, основания, это, в конце концов, довольно вероятно. Но что касается убийства, то ваше предположение представляется мне более спорным.

– Однако обстоятельства или, вернее, совпадения...

– Я не утверждаю категорически, что это произошло иначе, – сказал Платон. – Но можно ли быть в этом уверенным? Васильев мог проходить по другому мосту; Васильев мог броситься в воду не непременно с моста; и судя по тому, как вы его описываете, это был человек в какой-то мере медлительный и для которого прыжок, вообще говоря, не характерен, а характерно, скорее, сползание или скольжение.

– Вы говорите об этом так, как если бы речь шла о балетной фигуре.

– Да, – спокойно ответил Платон, – пластика не есть прерогатива эстрады или сцены. Разложите на ряд последовательных движений жизнь данного субъекта; вы увидите, что ему свойственны именно те, а не иные фигуры. Вот вы, например, волочите ноги, когда идете, – это происходит от того, что вы думаете на ходу. Ваши движения становятся легкими, только когда вы бежите или делаете гимнастику. Если бы вы пытались размышлять в такие минуты, вы были бы очень плохим спортсменом. Мне легче представить себе Васильева, который медленно спускается по берегу и входит в воду.

– Кто же в таком случае убил Дюбуа?

– Что мы знаем о жизни Дюбуа? – сказал Платон, пожав плечами. – Ничего, кроме самых обыкновенных фактов в их самой обыкновенной последовательности. У него могли быть знакомства, о которых никто не подозревал, могла быть драма, оставшаяся неизвестной; наконец, – и хотя это кажется наименее вероятным, но это не абсолютно недопустимо, – по мосту в эту ночь мог проходить другой сумасшедший. Вы, как ночной шофер, должны знать, что в Париже их чрезвычайно много.

Мне казалась особенно подчеркнутой вся нелепость этой трагедии, жертвой которой стала Сюзанна, но Платон не согласился со мной и тут. По его мнению, один факт, что Сюзанна была проституткой, оставлял широкое поле для самых разных и трагических предположений об ее судьбе.

– В отправном пункте мы видим уже аномалию, – сказал он. – Почему вы хотите, чтобы остальное было естественно?

– Да, конечно. Но все-таки – Сюзанна, исчезновение русского генерала и Ницше? Что может быть нелепее?

– Если бы мы не были ежедневными свидетелями самых нелогичных и неожиданных на первый взгляд соединений, – жизнь свелась бы к алгебре. Ницше? – сказал он вдруг, точно задавая вопрос самому себе. – Он был плохой философ, конечно, и человек до наивности примитивный. Но в одном вы правы, он был все-таки менее примитивен, чем Сюзанна.

– А Федорченко с его вопросом о том, зачем мы живем и что такое завтра?

– Это признаки душевной агонии, – сказал Платон. – Стакан белого, пожалуйста. Да, такие же признаки агонии, как ослабевающая деятельность сердца или резкое понижение температуры.

В это время кто-то тронул меня за плечо. Я обернулся и увидел незнакомого человека, который спросил, я ли шофер такси, стоящего перед кафе.

– Желаю вам спокойной ночи, дорогой друг, – сказал я Платону. – Мы еще вернемся к этому вопросу, если вы ничего не имеете против.

Платон пожал мне руку, мы вышли с моим клиентом, который ехал на бульвар Барбес. Он оказался журналистом, у него было насмешливое лицо с маленькими, быстрыми глазами. Сев рядом со мной и сказав мне адрес, он спросил, когда автомобиль двинулся:

– Можно узнать, простите за нескромность, о чем именно вы собирались говорить с вашим собеседником?

– О Ницше, – коротко сказал я.

– Вы поссорились с вашими родственниками?

– Я? Нет, я никогда с ними не ссорился.

– Почему же вы ездите на такси?

– Я предпочел бы ездить на «Роллс-Ройсе», но я, к сожалению, лишен этой возможности.

– Хорошо, хорошо, я не настаиваю.

И когда мы подъезжали к тому месту, где он должен был слезать, он вдруг спросил:

– Вы, может быть, иностранец?

– Нет, – сказал я, – я родился на улице Беллевиль, у моего отца там мясная, в 42-м номере, вы ее, может быть, знаете?

– Нет, – ответил он.

И ушел, покачивая головой. Я спустился вниз по бульвару Барбес, потом поехал дальше, к площади Республики. В темном воздухе, одни за другими, появлялись и исчезали круглые фонари, в далеком небе были видны звезды, на стекле передо мной, как в детском оптическом приборе, сверкали и струились то приближающиеся, то удаляющиеся огоньки автомобилей, и танцующие световые линии их отражались в прозрачном, черно-синем фоне. По мере того как проходило время, мне нужно было делать над собой все большее и большее усилие, чтобы заметить, хотя бы на минуту, красоту ночного сочетания светящихся линий, или ровной перспективы бульвара, или, наконец, темно-зеленые, резко освещающиеся автомобильными фарами и мгновенно пропадающие во тьме ветви и листья Булонского леса, на повороте черной аллеи. Париж медленно увядал в моих глазах; это было похоже на то, как если бы я начал постепенно слепнуть и количество вещей, которые я видел, стало бы мало-помалу

сокращаться, – вплоть до той минуты, когда наступила бы полная мгла. Это ослепление, однако, внезапно исчезало в мои свободные дни, когда я не работал и ходил пешком по Парижу; тогда он казался мне другим, и те же повороты улиц и скошенные углы домов, которые я знал наизусть, представали предо мной в ином виде, в котором была непривычная каменная прелесть. Даже тогда, когда я сам брал такси и сидел внутри автомобиля, а не за рулем, все представлялось мне другим, и я долго не мог привыкнуть к мысли, что тот или иной аспект Парижа зависит, в конце концов, от таких незначительных изменений и что весь этот городской мир преображается от того, что произошли какие-то незначительные перемещения, не превышающие полутора метров в длину или нескольких сантиметров в вышину.

Эта мысль влекла за собой ее логическое и бесспорное продолжение: существование гигантского количества людей и невероятный факт, что вся эта искусственная и несправедливая система угнетения, рабства и нищеты, эти рикши, эти труженики на рисовых плантациях, шахтеры на ртутных и серных копях, миллионы рабов и десятки миллионов рабочих, – могла продолжаться сравнительно спокойно много лет, и громадные фабрики и роскошные кварталы городов не взлетали в воздух, – весь этот хрупкий и случайный, но, в своем случайном равновесии, постоянный порядок был тоже основан, в конце концов, на бессознательном использовании все того же закона бесконечных изменений в размерах нескольких сантиметров пространства, определяющих всю жизнь огромных человеческих масс. Но я старался не останавливаться на этом; это казалось мне непостижимым почти в такой же степени, как давно, в гимназические годы, представление о бесконечности. И неоднократно мне хотелось, разом, в один короткий день, забыть все, что мне пришлось видеть, испытать и узнать, – для того, чтобы исчезло это тягостное видение мира и заменилось бы каким-либо сверкающим и гармоническим представлением, чем-то вроде сложной и стройной симфонии счастливого человечества, или, в крайнем случае, той наивной схемой, в которую верили

многие – и среди них были по-своему умные люди – это идиллическое и убогое построение безнадежного социализма.

Встречаясь с самыми разными людьми, я нередко завидовал их простодушным убеждениям; большинство из них имели определенные взгляды на все – политику, роль культуры, искусство. Меня изумляли речи профессиональных политических ораторов, которые чаще всего были наивными и невежественными людьми и так же твердо верили в свои программы, как мой старичок-профессор – в несуществующие законы той условной науки, которую он преподавал всю жизнь. Все они мне напоминали одного пожилого француза, шофера, которого я видал почти каждую ночь на стоянке. Он начал свою карьеру в очень давние времена, когда автомобилей было чрезвычайно мало – он правил тогда лошадью. Ездить как следует на машине он так и не научился до конца, он никогда не превышал своей постоянной скорости – тридцати километров в час. Несмотря на трудную жизнь, которую он прожил, он сохранил любовь к чтению и философствованию – и в его представлении все вопросы решались исключительно просто. Он огорчался оттого, что люди так злы и живут в постоянной вражде друг с другом; все это происходило, по его мнению, потому, что эксплуатация земной площади была нерациональна. – Если бы это от меня зависело, – говорил он, – я бы сказал людям: вы хотите работать? Езжайте в Сибирь, в Аргентину, там вас ждет девственная земля, которой хватит на всех. Что может быть проще? – Все другие соображения – национальность, язык, наследственность, соотношение промышленности и земледелия – он считал вещами второстепенными. – Все это выдумали капиталисты, чтобы нас угнетать, – говорил он мне. – Ты этого не понимаешь, так как ты молод; а вот когда поездишь тридцать восемь лет, как я, тогда тебе все станет ясно. – По его словам, получалось, что та нехитрая политическая мудрость, которой он достиг, объяснялась именно этим долгим конно-автомобильным стажем; и если бы предположить, что каждый государственный деятель был бы обязан его проделать, то надо полагать, что все

шло бы гораздо лучше, чем теперь. В общем, в его представлении рисовалась туманная и прекрасная земледельческая республика, управляемая преимущественно пожилыми людьми, и предпочтительно шоферами. Тогда были бы изменены и законы и соотношение корпораций и профессиональные тряпичники не ненавидели бы его лютой ненавистью за то, что он, не принадлежа к их синдикату, не мог себе отказать в удовольствии – по дороге ранним утром домой, после ночной работы, – тщательно обыскивать те мусорные ящики, которые почему-либо привлекли его внимание. – Ты видишь, как несправедливо устроено государство, – говорил он, – как неравномерно распределены привилегии. Он имеет право рыться в мусорных ящиках, так как он профессиональный тряпичник, а я не имею, потому что я шофер. Разве это хорошо? Если бы я был в правительстве, я бы разрешил это всем профессиям без исключения.

И так же, или почти так же, как в его представлении, все сложнейшие человеческие проблемы сводились, в сущности, к удовлетворению его личных желаний, – он был любитель-огородник, любитель-тряпичник, даже любитель-архитектор, потому что он сам построил себе дом из консервных ящиков, обломков кирпичей и досок, кусков железа и жести, – и он говорил: ты видишь, не надо пренебрежительно относиться к отбросам, я из них сделал себе дом, – и действительно, его жилище медленно строилось и возникало, вырастая из мусорных ящиков, и если бы их не существовало, то и дома тоже не было бы, – так же, стало быть, большинство теоретиков этих проблем тоже строили их воображаемый будущий мир, как и он, из такого же случайного и несовершенного материала.

* * *

Из всех дней недели самым неприятным и самым выгодным днем была суббота. Зимой я проводил целые ночи в очередях такси у ярко освещенных подъездов, – где происходили балы. Одновременно с шоферами туда сходились другие люди, которые там тоже зарабатывали на жизнь, но несколько иным образом: кисло пахну-

щие, небритые оборванцы, открывавшие автомобильные дверцы, цветочница с тремя или четырьмя букетами фиалок, которые она пыталась продавать выходящим с дамами мужчинам, человек в рабочем костюме, деловито предлагающий помощь, чтобы пустить застывший мотор в ход. На русских балах, кроме того, неизменно присутствовало несколько русских «стрелков», которых мы знали всех; среди них выделялся рыжебородый мужчина, всегда начинавший работу с мрачным видом. Но получив несколько франков и выпив два-три стакана вина в ближайшем кафе, он приходил в хорошее настроение, крутил головой, приплясывал на морозе и громко говорил: «Эх, Москва в Париж попала! – и устремлялся к выходящим с бала почти крича: – Не пожалейте франка, ваше благородие! ей-Богу, бывший студент петербургского университета!»

И когда мне самому приходилось несколько раз выходить из таких же освещенных подъездов, поздней ночью, и я смотрел на стоящие автомобили и узнавал шоферов, с которыми работал вчера и буду работать завтра, мне становилось неловко, – так, точно я нарушал профессиональную этику и занимал не то место, которое мне полагалось.

Все чаще и чаще, по мере того как продолжалась моя шоферская работа, я замечал, насколько каждая категория людей представляла из себя замкнутый, раз навсегда определенный мир. Характернее всего это было для парижских бездомных и для сутенеров. Я до конца не мог привыкнуть к тому смешанному ощущению любопытства, отвращения и сочувствия, которое возбуждали во мне эти люди. В них, конечно, было нечто общее, несмотря на то, что бездомные сохраняли вид средневековых бродяг, а сутенеры были одеты очень тщательно. То, что носили бродяги, отличалось прежде всего удивительной бесформенностью, – было трудно разобрать, где кончалось пальто и начинался пиджак и какого цвета была некогда материя, превратившаяся в лоснящиеся лохмотья. У них были, однако, свои представления о том, как надо одеваться, я даже не уверен, не следовали ли они – в некоторых случаях – своеобразной моде, которая была так очевидна у

сутенеров. Я видел старика нищего, который был до слез огорчен потерей своей шляпы и жаловался мне: – Совершенно черная шляпа, прекрасная шляпа! Что мне теперь делать? – И казалось, он страдал именно оттого, что не соблюден какой-то этикет, что он теперь не в порядке и что он чувствует себя, приблизительно, как человек, который в пиджаке, в то время как на нем должен быть смокинг.

Среди них попадались разные люди; в большинстве своем они были мрачны, и я редко видел смеющихся или улыбающихся бродяг. Но их мрачность вовсе не происходила от того, что они понимали, насколько ужасно их положение. От этого они не страдали совершенно, возможности сравнительного суждения у них не было: слово «мир», – если бы оно возникло в их представлении, – не заключало бы в себе ничего, выходящего за рамки их собственного существования. Мрачность была им свойственна так же, как свирепость свойственна хищным животным, как быстрота движений свойственна некоторым грызунам. Но совершенно так же, как альбиносы в зоологии, между ними бывали и веселые субъекты.

Я стоял как-то ночью, зимой, на площади Трокадеро, было очень тихо, – и вдруг со стороны авеню Клебэр до меня донесся громкий и хриплый голос, который пел знаменитую арию из «Фауста». Это оказался старый бродяга; он подошел к моему автомобилю и попросил у меня папиросу. Я спросил его, откуда он знает оперные мотивы и почему он их поет. Он объяснил, что выбрал именно эту арию, так как она, по его мнению, производит впечатление на полицейских. – Когда слышат, что ты это поешь, сразу думают – это не простой человек, раз он знает оперу. – Он мне даже изложил в нескольких словах свою философию: – Не надо ничего принимать близко к сердцу, плевать на все, остальное тогда идет само собой. – Я спросил его, давно ли он бродяжничает, – он ответил, что тридцать лет. – И ты еще не умер? – Нет, он не знал никаких заболеваний, он даже никогда не простуживался, хотя ночи проводил обычно на незаконченных постройках или на ступеньках метро, – спал на досках или на каменном полу зимой и летом и давно забыл, что такое кровать. Он работал когда-то в

одной из роскошных гостиниц Парижа, разливая вино в погребе, а потом спился и стал бродяжничать и теперь, на склоне лет, находил, что так гораздо лучше.

Я встречал беспечных бродяг, но знал и других, которые копили деньги. Я видел одного зловонного старика, который мрачно бормотал за стойкой кафе, что ему нечем платить и что гарсон его обкрадывает, – потому что он не хотел менять тысячефранковый билет; он носил с собой свое состояние, четырнадцать тысяч франков. Я не знаю, что в его жизни было более случайно – то, что он был бродягой, или то, что он не был банкиром. Он был одет так же, как все бродяги, так же питался отбросами, которые подбирал на Центральном рынке, и так же спал на ступеньках метро. Но я думаю, что корпорация ростовщиков или акционеров потеряла в нем ценного члена их общества.

Многие из них даже не просили милостыни, другие протягивали руку, жалуясь, что им нечем кормить больную жену и многочисленных детей. Один из таких – прозвище его было почему-то «Тюрбиго» – показывал всем фотографию младенца, вырезанную из газеты, и кричал: – Посмотрите, господа, мой последний новорожденный, его мать не может ему купить молока. Посмотрите, господа, какой он красивенький! На молоко для ребенка, господа! – Он взял эту фотографию из вечерней газеты, из рубрики «Конкурс самых красивых малюток».

Тюрбиго было больше шестидесяти лет, он, конечно, никогда не был женат. Вообще, самые обыкновенные понятия были неприложимы к бродягам: женитьба, квартира, служба, политические взгляды. Было всегда трудно узнать, откуда, собственно, они появились, из какой среды, из какого города, и что предопределило их бесконечно печальную судьбу. Они, казалось, никогда не существовали иначе и как будто так и появились на свет, чтобы медленно влачиться по ночным улицам Парижа, на дрожащих ногах, в этом длительном путешествии, которое вело их неизменно к тюремной больнице или к анатомическому театру. Зачем и кому были нужны эти тысячи существований в клоаках? Платон мне как-то сказал, что бродяги полезны как «диалектический материал», как цитаты

из Библии и урок для человеческого тщеславия: они могли бы быть такими, как мы, мы можем стать такими, как они, и для этого достаточно одной незначительной случайности или «оттенка общественной пигментации». Но в этом вопросе он явно не мог быть беспристрастным.

И все-таки, несмотря на трагическое, животное небытие, в котором пребывали бродяги, они казались мне достойными гражданами вселенной по сравнению с сутенерами. Они, во всяком случае, заслуживали хотя бы теоретического сожаления, и в них не было какого-то морального сифилиса, характерного для сутенеров. Я никогда не мог привыкнуть к тому, что видел каждую ночь, к этим бедным женщинам, так особенно одетым, и к их спутникам, которые ждали их в кафе, обсуждали между собой программу завтрашней скачки и сравнительные достоинства той или иной лошади. Они все были одеты по моде, с особенным шиком, убогим и хамским одновременно. Я слушал их разговоры – друг с другом и с этими женщинами. Им было, впрочем, свойственно стремление к буржуазности – иметь свою обстановку, уезжать на лето – и они жили в особенном, прокаженном мире, куда не проникал никто, кроме них. Некоторые из них, более удачливые, чем другие, и которые не исчезли навсегда либо на каторге, либо в темном сведении счетов, богатели и становились почтенными людьми. Тогда они открывали, через подставных лиц, публичный дом или кабаре. Но это случалось чрезвычайно редко. Собственно, то, что их губило, это желание разбогатеть; не довольствуясь доходами, которые им доставляли женщины, они были склонны к другому виду деятельности, к кражам и к грабежу, и именно на этом пути их ждали опасности. До тех пор пока они ограничивались чисто сутенерской «работой», их не трогали. Но когда они покушались в такой недозволенной форме на священное право собственности, они сталкивались с полицейскими инспекторами, государственной магистратурой и всем тем огромным защитительным аппаратом, который ограждал имущественное благополучие или иллюзию имущественного благополучия – своих граждан.

– Не будем углублять этот вопрос, – сказал мне Платон все в том же разговоре. – Они стремятся к обогащению, это их право, это даже их гражданский долг. Но выбор средств для достижения этого у них очень ограниченный. Не можете же вы, в конце концов, требовать от них, чтобы они писали симфонии или занимались скульптурой? И они же не министры, как вы знаете.

Он отпил глоток вина и прибавил:

– То есть, пока что не министры, мы, может быть, еще дойдем и до этого, так как мир вообще сошел с ума, отказавшись от единственной возможности спасения.

– Какой именно, дорогой друг?

– Король, семья, родина, – сказал Платон.

– Ах, да, конечно, – сказал я, – я чуть было не забыл об этом.

* * *

Почти с такой же регулярностью, с какой я приезжал в кафе против вокзала, я бывал каждую ночь на одной из шоферских стоянок в Пасси. Впервые я попал туда потому, что меня привлек ожесточенный спор двух шоферов, они размахивали руками, кричали и вообще находились в таком возбуждении, что казалось, драка была неизбежна. Я остановил автомобиль и, подходя к ним, еще издали услышал:

– Позвольте...

– Не могу позволить: русская судебная реформа является...

Я подошел ближе, и мне пришлось присутствовать при длительной дискуссии; клиентов, к счастью, не было, и я узнал много интересного. Спор не отличался последовательностью; после судебной реформы шли декабристы, после декабристов – суждения о Тевтонском ордене, после Тевтонского ордена – славянофилы и русская историософия, затем – Аттила, его роль, его культурный уровень, и потом, наконец, современная английская литература, на которой этот диалог был прерван, так как подошли клиенты и шофер, защищавший судебную реформу, повез их – за шестнадцать франков – из Пасси на порт д'Орлеан.

Впоследствии я познакомился с ним ближе – так же, как с обычными его собеседниками той же стоянки. Я искренне жалел этого человека. В России он готовился к профессуре, во время войны работал в министерстве иностранных дел, так как знал несколько иностранных языков, и всю свою жизнь, до отъезда за границу, учился. У него была прекрасная память и исключительные, почти энциклопедические познания. Но он настолько привык оперировать понятиями иного порядка, нежели те, с которыми ему теперь приходилось иметь дело, что никогда так и не мог принять деятельного участия в жизни, которую вел, и не мог усвоить многие нехитрые особенности шоферского ремесла. Он так свыкся с этими понятиями – категорические императивы, этика и культура, последовательность дипломатических отношений, иерархия ценностей, социальная структура, генезис, синтез, эволюция правовых норм, – что все, находившееся вне этих вопросов, для него почти не существовало и, во всяком случае, не имело никакого значения. Он ездил на автомобиле, как и другие его товарищи по несчастью, русские интеллигенты, и оставался совершенно чужд этому делу, которого он, в сущности, не понимал и в котором участвовал только механически. После долгих разговоров с ним я заметил, что ему был свойственен недостаток, характерный для большинства людей, награжденных слишком сильной памятью: количество его знаний перегружало его, ему было трудно делать логические или исторические построения, так как он имел дело с огромным числом данных, нередко одинаково бесспорных и в то же время противоречивых. Он все же справлялся и с этим; и каждое его суждение представляло из себя некий умственный tour de force[1], потому что должно было преодолеть предварительное сопротивление множества противоречий и исключающих друг друга положений.

Если бы это происходило в первые годы моего пребывания во Франции, мне бы, наверное, показалось удивительным, что такие люди, как он, не могут найти ничего лучшего, чем ремесло шофера такси. Но знакомству с этим

[1] Очень трудное упражнение (*фр.*).

человеком предшествовало несколько лет моего пребывания в Париже, работа на фабрике, служба в конторе, годы учения в университете, – и теперь я этому не удивлялся и считал это совершенно естественным. Во-первых, он был иностранцем, во-вторых, из его огромной культуры нельзя было извлечь никакой непосредственной, коммерческой выгоды, в-третьих, я знал давно и хорошо, что ценности именно культурного порядка, если только их нельзя немедленно эксплуатировать, не имели никакого значения. Отсюда происходило то невольное и несправедливое отношение к Франции, которое я замечал у большинства таких людей; в лучшем случае, это было пренебрежение и насмешка. Оно казалось мне совершенно понятным; оно в значительной степени объяснялось тем, что эти люди не проводили различия между всей страной, – которой они не знали, – и отвратительной поверхностью ночного Парижа, которую они знали слишком хорошо. Помимо всего, беспристрастности их суждения мешало еще то, что они были шоферами такси, – и, стало быть, за год или за два работы они видели столько человеческой мерзости, что ее хватило бы на десяток жизней. Это, пожалуй, было самое печальное и самое непоправимое в их ремесле. Некоторые из них, однако, находили в себе достаточно сил, чтобы сопротивляться влиянию среды и их теперешних условий существования; они занимались всевозможными отвлеченными работами или историческими изысканиями и постепенно привыкли к такой ненормальной жизни, в которой была значительная доля бескорыстного и, быть может, ненужного героизма. Но таких было ничтожное меньшинство, один на сто; остальные спивались или делались профессиональными шоферами. Та стоянка в Пасси, куда я попал, заинтересовавшись угрожающими жестами спорящих людей, состояла почти исключительно из шоферов этого необыкновенного рода; и, слушая их разговоры, я узнал многое, чего не успел в свое время прочесть или услышать.

– Мы знаем, – говорил мне один из них, именно тот, который спорил о судебной реформе, – что мир, в котором мы жили, продолжает существовать только в нашем воображении. Наша личная жизнь кончена; и вот, дотягивая

последние годы, мы не хотим впасть в то состояние, в котором находится современная Европа. Эта Европа, в своих интеллектуальных проявлениях, напоминает мне знаете что? – агонию Мопассана, когда он поедал свои испражнения. В этом – смысл теперешнего состояния Европы. Не мы ответственны за это. Но пусть нас не упрекают за отсутствие у нас современных интересов; мы предпочитаем сохранить наш архаический облик и превратиться в живые иероглифы.

Затем он заговорил о смене культур. Я слушал его и смотрел на очень характерное его лицо – широкое русское лицо, – покрытое двухдневной щетиной, и на его шею, уже подернувшуюся морщинами, и почти не слыша того, что он говорил, представил его себе за большим письменным столом, в кабинете полуказенного-полунаучного вида, в котором он вел бы переговоры о каких-нибудь деталях соглашения или очередной реформы. Я так ясно себе представил это, что когда я сделал над собой усилие и увидел, как все происходило в действительности, мне вдруг показалось дико, что он одет в потрепанный, лоснящийся пиджак, что он сидит за рулем давно покосившегося – как скверно построенный домишко – автомобиля; ночь, тишина, высокие здания богатого квартала, и за затворенными ставнями – мирный сон людей, их населяющих и принадлежащих к той самой «невежественной буржуазии», к которой этот нищий человек чувствовал такое неподдельное презрение.

А он продолжал читать мне лекцию о современной Европе, о причинах военных поражений России в девятнадцатом столетии, о тоталитарных системах, про которые, между прочим, сказал:

– Мы унаследовали известную последовательность культур, вы сами знаете какую. И теперь нам предлагают, после шестого века до Рождества Христова, после христианства, Возрождения, немецкой философии и девятнадцатого столетия, – нам предлагают добровольно отказаться от всего этого, радикально поглупеть, забыть все, что мы знаем, и спуститься до уровня малограмотного подмастерья. С другой стороны, конечно, послевоенная Европа представляет из себя зрелище настолько омерзительное...

И в это время к нам подошел пьяный безработный, который стал уговаривать моего собеседника отвезти его за пять франков куда-то в далекое предместье. Он долго хныкал, жаловался на тяжелую жизнь, говорил, что бедствует пятый год, так как болен и не способен к труду, говорил, что его жена тоже больна и что у них шестеро малолетних детей. Комментатор судебной реформы начал было объяснять ему на вежливом французском языке, что, во-первых, он не может везти его за пять франков, во-вторых, что если он действительно болен, то не должен иметь детей. Он приводил в доказательство своих слов совершенно неопровержимые доводы и был недалек от общих рассуждений о мальтузианстве, но я прервал его и сказал по-русски, что он напрасно теряет время. Безработный посмотрел на меня с пьяным любопытством.

– Слушайте, – сказал я, – во-первых, из ста шансов девяносто, что он врет. Затем, даже если все, что он говорит, правда, то и тут вы ничего ему не докажете, это так же бессмысленно, как советовать ему читать Аристотеля. – После этого я посоветовал безработному «убираться к дьяволу».

Мой собеседник покачал головой и сказал:

– Как вы, интеллигентный человек, можете так разговаривать?

Я пожал плечами и ответил ему, в свое оправдание, что с каждым следовало, по-моему, говорить его языком, иначе он вас не поймет. – Вспомните анекдот о Гамлете, – сказал я ему. Он не знал его; тогда я рассказал, как командир какого-то полка, решив развивать своих подчиненных, выписал приличную труппу актеров, которая исполнила перед полком знаменитую пьесу Шекспира. Солдатам пьеса чрезвычайно понравилась: хохот стоял в зале с начала до конца.

– Какая злостная ерунда! – сказал он. – Какая несправедливая клевета!

В ту же ночь, через час после этого разговора, я увидел Платона, который мне показался особенно мрачным. В ответ на мой вопрос об этом он сказал, что его давно, еще в юношестве, поразил «Доктор Джекил и мистер Гайд», и по мере того как проходит время, он забывает о докторе,

и скоро, надо полагать, наступит такая минута, когда в нем останется только мистер Гайд. Именно эти размышления его и огорчили. Чтобы утешить его, я заметил, что, по-моему, он, вообще говоря, не агрессивно отрицателен и что, с общественной точки зрения, он вполне безопасен.

– Я не могу вполне разделять вашу уверенность, – ответил Платон. – Вы знаете, что я, по всей вероятности, кончу сумасшествием; и кто может поручиться, что форма моего безумия будет неопасной? Я могу поджечь дом или убить кого-нибудь, хотя в настоящий момент, например, полагаю, что подобное желание лишено в одинаковой степени и интереса, и соблазнительности.

Вернувшись домой, после нескольких часов мертвого сна, я просыпался днем, выкуривал в кровати папиросу, сразу вставал и начинал делать гимнастику, преодолевая сильнейшее желание остаться в постели еще несколько минут. Я знал, что после трудных упражнений, которые выворачивали мои суставы, после получасового непрерывного напряжения мускулов и холодного душа, смывавшего пот с моего тела, – я знал, что после всего этого я буду находиться в таком состоянии, что для моих тягостных и бесплодных размышлении уже не останется места и я пойду либо в купальню, либо на дневной сеанс кинематографа или возьму с полки одну из книг и буду ее читать и стану на несколько часов послушным спутником давно знакомых героев. Но те дни, когда я все-таки оставался в постели и не вставал тотчас же, были самыми мрачными днями моей жизни, потому что я не переставал ощущать присутствие того ночного мира, в котором проходила моя работа, и не переставал думать о нем; с годами мне становилось все труднее и труднее отделаться от него и совершать этот обратный переход к другой жизни, которую, несмотря ни на что, я ежедневно пытался создать себе. За многие годы допарижской кочевой действительности я привык к тому, что все часто менялось – условия существования, города и страны. Под конец мне стало казаться, что в этом, собственно, механическом, но постоянном перемещении есть какой-то личный смысл, – и что я сам остановлю это путешествие, когда почувствую уста-

лость или вдруг увижу, что прекраснее того, в чем я живу сейчас, в данный период времени, нет ничего. И вот в Париже это остановилось, помимо и против моего желания. Я ничего не мог сделать, это было время неизменных неудач во всем, что я предпринимал, так же как в моей душевной жизни. В силу какого невероятного стечения обстоятельств мои юношеские блуждания – зима, Россия, огромное красное солнце над снегом, Кавказ, Босфор, Диккенс, Гауптман, Эдгар По, Офелия, Медный Всадник, Леди Гамильтон, трехдюймовая пушка, в панораме которой прошло столько городских стен и рощ, где стояли неприятельские батареи, и, наконец, ужасное месиво человеческих лиц – тот полк, который шел на наш бронепоезд в безумной кавалерийской атаке, – месиво этих лиц, которое я вижу перед собой вот уже много лет; Шекспир, Великий Инквизитор, смерть князя Андрея, Будапешт и мосты над Дунаем, Вена, Севастополь, Ницца, пожары в Галате, выстрелы, море, города и беззвучно струящееся время – это невозвратное и безмолвное движение, которое я уловил последний раз именно тогда, в кафе на бульварах, под музыку случайного оркестра, глядя на туманное в ту минуту и неповторимо прекрасное лицо Алисы, – в силу какого невероятного стечения обстоятельств все это множество чужих и великолепных существований, весь этот бесконечный мир, в котором я прожил столько далеких и чудесных жизней, свелся к тому, что я очутился здесь, в Париже, за рулем автомобиля, в безнадежном сплетении улиц, на мостовых враждебного города, среди проституток и пьяниц, мутно возникающих передо мной сквозь легкий и всюду преследующий меня запах тления? Но вопрос о моей личной судьбе не был ни единственным, ни даже самым важным. Мне все чаще и чаще начинало казаться, что та беззвучная симфония мира, которая сопровождала мою жизнь, нечто трудно определимое, но всегда существующее и меняющееся, огромная и сложная система понятий, представлений, образов, двигающаяся сквозь воображаемые пространства, – что она звучала все слабее и слабее и вот-вот должна была умолкнуть. Я ощущал, думая об этом, почти физическое ожидание того трагиче-

ского и неизвестного молчания, которое должно было прийти на смену этому громадному и медленно умиравшему движению. Может быть, думал я, эта мысль преследовала меня потому, что я столько раз видел агонию близких мне людей и все они умирали на моих глазах; и, в силу жестокой аномалии моей памяти, последние их минуты почти всегда возникали передо мной, когда я оставался один и имел несчастье не быть чем-либо занятым. Мне особенно тягостно, мне невыносимо тягостно было воспоминание о смерти одной из самых близких мне женщин. Ей было двадцать пять лет. После нескольких месяцев мучительной болезни она задохнулась, выпив немного воды, и бессильные ее легкие не могли вытолкнуть этот последний глоток из дыхательного горла. Голый до пояса, стоя на коленях над ее умирающим телом, я делал ей искусственное дыхание, но ничто уже не могло ей помочь, и я отошел, когда доктор, тронув меня за плечо, сказал, чтобы я оставил ее. Я стоял у ее кровати, тяжело дыша после долгих усилий и отчаянно глядя в ее чудовищные, открытые глаза, с этой беспощадной свинцовой пленкой, значение которой я так хорошо знал. Я думал тогда, что отдал бы все за возможность чуда, за возможность дать этому телу немного моей крови, моих бесполезных мускулов, моего дыхания. Слезы текли по моим щекам и попадали мне в рот; я неподвижно простоял так, пока она не умерла, потом я вошел в соседнюю комнату, лег лицом вниз на диван – и мгновенно заснул, потому что за последние месяцы я ни разу не спал больше полутора часов подряд. Я проснулся с сознанием того, что это было предательство с моей стороны, мне все казалось, что я покинул ее в самую страшную, последнюю минуту, а она думала всегда, что может рассчитывать на меня до конца. И мне никогда не удалось никого спасти и удержать на краю этого смертельного пространства, холодную близость которого я ощущал столько раз. И вот почему, просыпаясь каждый день, я торопился тотчас соскочить с постели и начинал делать гимнастику. Но до сих пор, всякий раз, когда я остаюсь совершенно один и со мной нет ни книги, которая меня защищает, ни женщины, к которой я обращаюсь, ни, наконец, этих ровных

листов бумаги, на которых я пишу, я, не оборачиваясь и не шевелясь, чувствую рядом с собой – может быть, у двери, может быть, дальше – призрак чьей-то чужой и неотвратимой смерти.

* * *

Я вспомнил, что давно не видал Ральди, – с того самого дня, когда она рассказала мне об уходе Алисы. Ища ее, я проезжал несколько раз по той части авеню Ваграм, где она всегда бывала, но пять или шесть вечеров подряд ее не было. Я встретил ее там, где совершенно не ожидал, – на площади Клиши, в пятом часу утра. Она стояла – в своем мужском, совсем теперь потрепанном пальто, в мягких комнатных туфлях – у входа в большое кафе, низко опустив тяжелую голову и глядя на тротуар. Когда я остановил автомобиль против нее, она подняла на меня свои усталые и нежные, как всегда, глаза.

– Здравствуй, мой милый, тебя послало Провидение, – сказала она. Она ждала, оказывается, первого метро, чтобы вернуться домой, и не могла войти в кафе, так как у нее не было денег.

– Идемте, идемте, – сказал я, – мы поговорим в кафе.

Она кивнула головой. Когда мы сидела за столиком, ей несколько раз почти становилось дурно, она клала руку на сердце и переставала есть. После этого, тяжело отдышавшись, она приходила в себя.

– Что с вами? – спросил я.

Она ответила, что у нее усталое сердце, что она двое суток провела дома, так как ей трудно было встать, только вчера вечером вышла на работу – и, конечно, напрасно. Она не хотела возвращаться домой пешком, хотя это было совсем недалеко; но она боялась не дойти. Полночи она простояла здесь, ей было очень нехорошо, она чувствовала себя как в бреду; перед ней мутно горели огни и двигались люди в неверных и качающихся очертаниях. Когда она сказала мне, что сыта, я отвез ее домой и помог ей подняться на третий этаж; она вошла в свою комнату и, не раздеваясь, в пальто, легла на кровать.

– Ложитесь как следует, разденьтесь, – сказал я.

– Нет, нет, ничего, я отдохну немного. Я разденусь потом.

Голова ее лежала на высокой подушке; в утреннем свете, на белом полотне резко выделялось ее лицо, одновременно желтое и бледное.

– Вам следовало бы лечь в больницу, – сказал я. – Хотите, я это устрою? Я позвоню по телефону...

– Нет, нет, я не хочу в больницу.

– Но там вам будет лучше.

Она продолжала отказываться.

– Пойми меня, – сказала она, – там я буду больная номер такой-то, как все. Я не такая, как все. – Она приподняла голову с подушки. – Я все же Ральди. Да, та самая Ральди, с брильянтами, и поклонниками, и большим состоянием. Я знаю, что от всего этого ничего не осталось и что я просто старая женщина, умирающая оттого, что сердце не выдержало слишком большого количества наркоза, которое я ему дала. Ты понимаешь? Но все-таки я Ральди. Я умру одна.

Я молчал, сцепив пальцы, сидя на единственном стуле ее комнаты, который скрипел и покачивался.

– Не думай, что я совсем собираюсь умирать, – сказала она. – Я, может быть, еще останусь жива и на этот раз. Такие припадки у меня уже бывали; правда, мне никогда не было так плохо.

Я уехал, оставил ей денег и обещал вернуться на днях. В течение суток я все вспоминал о ней и думал, что, может быть, опоздаю. Но я ошибся. Когда я пришел к ней через день, я застал ее по-прежнему в кровати, но глаза ее были светлее, чем прошлый раз, и она жаловалась только на слабость. Теперь я рассмотрел как следует ее комнату, которую видел впервые в тот день, когда Алиса, переодевавшаяся в моем присутствии, стояла передо мной голая, во всем жестоком великолепии своего прекрасного тела. Я увидел теперь отчетливо блеклые фотографии Ральди, снятые в эпоху ее расцвета, снимок с гербом города Ниццы в жемчугах, с рисунком масляными красками, изображавшим казино на сваях, с надписью «Ниццский карнавал, первый приз» и датой: один из первых годов нашего столетия. И рядом с неувядшим – несмотря на свою долгую жизнь – атласом была большая фотография: экипаж,

убранный белыми цветами, декоративные белые лошади и в экипаже, во весь рост, улыбающаяся красавица с венком на голове: Ральди – такая, какой она была тогда, в начале двадцатого века.

– Я храню это, – сказала она, – тебе это должно показаться смешно, – потому что это был лучший год моего существования.

Потом она посмотрела мне в лицо так пристально и внимательно, что мне стало неловко, и я отвел взгляд, боясь, чтобы она не поняла того, что было, наверное, в моих глазах и чего ей не нужно было понимать.

– Ты женат?

– Нет.

– У тебя есть любовница?

– Да.

– Ты ее очень любишь?

– Да.

– А она тебя?

– Нет.

Я сделал над собой усилие, улыбнулся и сказал:

– Зачем вы меня об этом спрашиваете? Этот диалог похож на упражнение из учебника французского языка.

– Нет, я спрашиваю потому, что хочу понять одну вещь; может быть, если я буду знать о тебе больше, чем знаю теперь, это поможет мне. Мне кажется даже, что я начинаю понимать.

– Но что именно?

– У меня было много любовников, – сказала она, не отвечая, и глаза ее наполнились слезами. – Они все обязаны мне тем, что если бы не я, они бы никогда не знали, ни что такое счастье, ни что такое наслаждение. И вот, в эти дни, может быть, последние дни моей жизни, никто из них не вспомнит обо мне, я одна, – и только ты, который опоздал на четверть столетия и который мне ничем не обязан, – ты сидишь у моей кровати, рядом со мной. Если бы ты знал, как я была хороша и как я умела любить! Но ты никогда этого не узнаешь.

Я слушал ее и думал, что, несмотря на свой несомненный ум и громадный опыт, она представляла себе

только одну возможность счастья, именно ту, которую она продавала и раздавала всю свою долгую жизнь и к которой остальное было лишь случайным дополнением. И даже теперь, в самом конце ее существования, когда давно одрябли и утратили гибкость мускулы ее тела, и смертельный холод уже начал медленно подниматься к ее сердцу, по вертикальной линии, от земли, – она жаловалась, что у нее ледяные ноги, которых она не может согреть, – даже теперь этот юношеский разгон давно угасшего, сильнейшего чувственного мироощущения доходил до нее последним, умирающим всплеском. Это могло быть правильным или неправильным пониманием; но потому, что Ральди именно теперь говорила об этом, было очевидно, что с возможностью такого понимания нельзя было спорить, это была ее огромная и длительная сила, так напрасно, так небрежно растраченная ею. И я вновь увидел весеннюю, прозрачную ночь, в которую мы возвращались с Платоном на Монпарнас, и вспомнил то, что он говорил тогда о Ральди.

– Теперь я знаю, – сказала она, – мне кажется, я знаю, почему ты здесь и именно ты. Это оттого, что ты несчастлив в любви, мой милый. Ты можешь дать больше, чем от тебя требуют. И вот то, что остается, ты приносишь мне.

Она протянула руку к ночному столику и взяла стакан воды. Но пальцы ее так сильно дрожали, что она не могла поднести его ко рту. Я стал поить ее с ложки и наклонился над ней. В сырой тишине ее комнаты я услышал тогда хриплое ее дыхание и глухое бульканье жидкости в ее горле. Именно в ту минуту я ощутил с необыкновенной явственностью, что близкая ее смерть неизбежна. Это было очевидно, конечно, и раньше; но чтобы это перестало быть пониманием и сделалось чувством, нужны были зачем-то эти секунды жестокой тишины, это хрипение в ее легких, это бульканье воды.

Когда я уходил, сказав ей, что вернусь завтра, она попросила меня повернуть выключатель небольшого аппарата радио, который стоял на комоде. Она сказала, что это ее единственное развлечение, и объяснила, что аппа-

рат ей подарил молодой электротехник, живший некоторое время в их доме. Я включил радио; и когда я прощался, в комнате Ральди высокий мужской голос, звучавший очень тихо и чисто, пел по-итальянски арию «La force del destino»[1]. Уже были сумерки, очертания предметов теряли свою резкую определенность, уже стали не видны мелкие волны ниццского атласа; на снимке Ральди, в цветочном экипаже, тускнели и темнели эти бесконечные соединения белого цвета и было трудно отличить закругление гигантского венка от поворота картинной лошадиной шеи. Сквозь высокое и узкое окно, напоминавшее по своей форме одну из составных частей церковного витража, была еще видна глухая стена с разноцветными кирпичными заплатами и кусок неба, ограниченный неправильными линиями домов различной высоты, в котором неподвижно стояла все сильнее и сильнее темнеющая синева.

– До завтра, мой миленький, – сказала Ральди, – мне теперь гораздо лучше.

Среди моих друзей был молодой и очень талантливый доктор, к которому я обратился с просьбой осмотреть Ральди. Я рассказал ему в нескольких словах ее историю и описал, как мог, ее болезнь. На следующее утро, в его автомобиле, мы поехали к ней. Когда мы поднялись по лестнице и остановились на секунду у двери, до нас донеслась музыка из радиоаппарата. Я постучал, ответа не последовало. Тогда я отворил дверь, и мы вошли.

Ральди лежала на кровати во всей своей страшной, последней неподвижности. Рядом с ней, на ночном столике, лежал опрокинутый и разбившийся стакан, из которого вытекла вода. Мертвые открытые глаза ее, с закатившимися зрачками, смотрели в потолок, отвисала нижняя челюсть, повисшая в смертельном вздохе. Из аппарата продолжала струиться мелодия, и бесполезное ее очарование не могло ничем нарушить непоправимой тишины комнаты; солнце слабо светило через высокое и узкое окно, похожее на витраж. Я долго смотрел на Ральди; и сквозь тяжелую печаль, которую я испытывал, я заметил все-

[1] «Власть судьбы» (*ит.*).

таки, что белое, полное лицо ее почти не изменилось, и то, что ему придавало необыкновенно страшный и мертвый вид, это было исчезновение нежных ее глаз, вместо которых, с каменной и тупой неподвижностью, слепые белки ее были видны во всю их ширину. Я закрыл ее лицо простыней, и мы вышли, стараясь не шуметь, как всегда ходят люди в комнате умершего человека. Спустившись вниз, доктор зашел к консьержке и сказал ей, что Ральди умерла.

– Не может быть! – ответила консьержка и, набросив на себя пальто, куда-то убежала; вода из кастрюли, стоявшей на огне, в кухне, рядом с ее комнатой, кипела и переливалась, пока не залила с шипением пламя.

Доктор довез меня до дому, мы молчали всю дорогу. Потом я поднялся к себе. Деревянная ставня была приспущена, в комнате было светло лишь наполовину. Я сел в кресло, закурил папиросу, – и тогда вдруг та мелодия, которая звучала в комнате умершей Ральди и струилась в сыром воздухе, рядом с ее трупом, возникла передо мной. Я услышал в ней шум воды и крики птиц, увидел отступающую тень, двигавшуюся вслед за солнцем, блестящую росу на зеленой траве и легкий пар над деревьями, весь тот утренний мир, дожить до которого у нее не хватило последнего запаса воздуха в легких. Это было «Утро» Грига.

Через несколько дней, в вечерней газете, которую я купил, мне бросился в глаза заголовок:

«Жанна Ральди, которая была в свое время одной из королев Парижа, была найдена вчера мертвой в номере грошовой гостиницы».

Это было неверно: дом, в котором она жила, не был гостиницей. Но это не имело значения. В статье рассказывалась история ее жизни – и я прочел там обо всем, что она говорила мне; там даже фигурировал Дэдэ-кровельщик. Там описывалось начало ее карьеры, ее приемы в ville d'Avray – и опять эти князья, сенаторы, банкиры, потом принадлежавший ей дом свиданий, затем арест ее по обвинению в торговле наркотиками – о нем она никогда мне не говорила; не потому, я думаю, что считала нужным

это скрывать, а оттого, что не придавала этому значения, – потом постепенное и медленное ее увядание, тротуары авеню Ваграм, того самого авеню Ваграм, по которому она некогда проезжала в своем экипаже, и, наконец, не менее классическая, традиционно эффектная смерть в нищете, словом, готовый и благодарный сюжет для бульварного романа. И, прочтя статью, я подумал, что Ральди заслужила лучшего. Ее несчастье заключалось в том, что она попала в среду усталых и невежественных развратников, из которых каждый стремился жить, как герой модной книги, – и в убожестве этой грошовой эстетики и этой среды у нее не было никаких других возможностей. И кроме того, конечно, в ней самой, как говорил об этом Платон, жило всегда то разрушительное тяготение к несчастью, то постоянное сознание своей обреченности, которое создавало ее несравненное, трагическое очарование. И я вспомнил ее слова:

– Но я не такая, как все. Я все-таки Ральди. И я умру одна.

Она умерла одна, ранним летним утром или, может быть, в легкую и прозрачную ночь, в часы, предшествующие рассвету. И вместе с ней исчез целый мир, который она создала, – покушения на самоубийства, дуэли без смертельного исхода, несколько плохих стихотворений, голубая, прозрачная ее рубашка, в которой она лежала, когда князь Нербатов плакал, стоя на коленях перед ее кроватью, неувядающий атлас ниццского карнавала, как шагреневая кожа, не тронутая ни одним желанием, и еще, пожалуй, единственное, чего ей удалось достигнуть в своей жизни, – то далекое и медленно слабеющее, как уходящая музыка, сожаление, которое испытали все, кто знал ее печальную и незабываемую близость.

* * *

Одной из причин моего постоянного и тщетного раздражения было то, что, будучи вынужден жить именно так, как я жил, я не мог позволить себе роскоши предаваться каким бы то ни было чувствам, не мог читать столько, сколько мне хотелось, не мог посвятить нужного

количества времени тому или иному предмету, интересующему меня в данный момент. С целью успеть сделать то, что мне казалось наиболее необходимым, я выгадывал время на сне, – и в течение многих лет я спал пять часов в сутки и иногда меньше. К этому можно было привыкнуть; но раз в две или три недели я просыпался в обычное время, потом решал не подниматься и вставал лишь на следующий день – и спал таким образом от шестнадцати до двадцати часов подряд тяжелым сном без пробуждения. Так было всегда, когда мне приходилось работать, и в этом была раздражающая нелепость, с которой я не мог примириться. Большинство моих товарищей по ремеслу не испытывали никакой потребности в свободном времени, наоборот, досуги тяготили их. Я видел таких же людей на фабриках и в различных кругах, с которыми мне приходилось сталкиваться; некоторые из них просто не находили себе места в дни отдыха. Я знал Пьера, старого рабочего, на одной из первых фабрик, где мне пришлось служить; он жил очень далеко, в восьми или девяти километрах от Парижа, и каждый день вставал в четыре часа утра, чтобы вовремя попасть на работу, именно к семи. Он служил на этой фабрике тридцать лет. В понедельник утром он являлся первым, с сияющим лицом и неизменно жаловался, что смертельно проскучал вчера весь день. Самое удивительное было, однако, то, что он, как большинство старых французских рабочих, почти ничего не делал, – ходил из мастерской в мастерскую, разговаривал и подолгу крутил папиросы своими пальцами, с которых ничто не могло смыть многолетней металлической грязи; скрутив одну папиросу, клал ее себе за ухо, скрутив вторую – за другое, и только третью закуривал, оттого, по-видимому, что у него больше не было ушей. Вообще, люди, давно и прочно устроившиеся на службу, обычно получали жалованье совершенно даром, – и к этому сводилась цель каждого из них. Это было понятно: прежде чем добиться более или менее хорошего места, им приходилось работать много лет, и когда они, наконец, добивались его, то ни их возраст, ни их силы не позволяли им сколько-нибудь утомительных усилий. Но чем меньше

они трудились, тем больше они говорили об этом. Когда я приехал во Францию, меня поразили два слова, которые я слышал чаще всего и решительно всюду: работа, усталость – в различных вариациях. Но те, которые действительно работали и действительно уставали, произносили их реже всего.

Когда я служил на различных фабриках, вся моя жизнь состояла в ожидании гудка сирены, возвещающего конец рабочего дня, и я мало интересовался тем, что делалось вокруг меня. И все-таки я не мог не заметить, насколько плохо и нерационально был распределен труд на любой фабрике, как много времени терялось зря и какие огромные суммы денег ежедневно переплачивались сотням людей, которые ничего или почти ничего не делали. Но это следовало все-таки считать идеальной организацией по сравнению с тем громадным полугосударственным учреждением, занимавшимся экспедицией книг, газет и журналов во все города Франции и во все страны мира, – куда я поступил значительно позже. Я работал там три месяца в конторе – и за всю мою жизнь это было наиболее бесполезно потерянное время.

Когда я пришел туда, мне отвели лакированный столик, за которым я должен был сидеть, и через час томительного ожидания меня вызвал мой непосредственный начальник, пожилой маленький человек с черной бородой, восковым лицом и желтыми белками глаз.

– Я сразу же доверяю вам довольно важную работу, – сказал он, – вот, пожалуйста, по этим тетрадкам составьте список наших представителей в Константинополе и его окрестностях.

Я переписал эти фамилии, их было ровно сорок. Но когда я часа через два принес ему этот список, он посмотрел на меня так, точно увидел перед собой сумасшедшего.

– Вы хотите сказать, что вы составили этот список? То есть, другими словами, что поручение, которое я вам дал, выполнено?

– Да.

– Но поймите же, что этого не может быть! – закричал он. – Вы понимаете, не может быть! Здесь работы на неделю, молодой человек. Идите, идите.

Я пожал плечами и вернулся к своему столу. Служащие смотрели на меня с сочувствием. Я опять углубился в список: Арабаджи, Аврикидес... Я просидел над ним до вечера, перечитывая эти турецкие и греческие фамилии, от повторения которых у меня начинало звенеть в ушах. Когда я уходил, мой начальник похлопал меня по плечу и спросил:

– Ну, как, работа идет?

– Идет, – ответил я. И на следующее утро я снова сидел над этим списком. Я изучал наизусть расположение запятых и точек, я подчеркнул фамилии и имена, и когда, часов в одиннадцать дня, я снова принес этот список шефу, он опять посмотрел на меня укоризненными глазами:

– Вы хотите сказать, наверное, что ваш список готов?

– Да, совершенно готов.

– Прекрасно, – сказал он и улыбнулся, причем его лицо приняло несвойственное ему выражение, одновременно озабоченное и хитрое.

– Прекрасно. Итак, вот вам следующая задача: посмотрите внимательно и проверьте, пожалуйста, не вкрались ли какие-нибудь ошибки в этот список. Посмотрите как следует, не торопитесь, я заметил, что вы слишком нервно работаете. Эх, молодость!

И я ушел в совершенном отчаянии. Арабаджи, Аврикидес... Я сидел над этим бесконечным списком, читал в сотый раз адреса предприятий, закрывал глаза и видел перед собой Константинополь: Пера, Галата, Стамбул, Бешиктаж, Нишантаж, Босфор, звенящие трамваи, вечерние огни кораблей над заливом, площадь Баязет, Таксим, мечети, кладбища, дома с деревянными решетками, ветер с моря, ночь, огромные звезды на небе. Я работал над этим списком пять недель. Каждое утро я поднимался со смертельной тоской, я давно знал его наизусть, как восточную молитву из какой-то абсурдной Шехеразады: Арабаджи, Аврикидес, Баранопуло, Бакрибей... Наконец, в начале шестой недели константинопольского списка, шеф снова вызвал меня и сказал, что эту работу, хотя она уже почти готова, надо отложить, с тем чтобы через некоторое время ее окончательно проверить, а пока что он мне дает другое поручение.

– Вот вам досье нашего амстердамского представителя, – сказал он. – Он чем-то недоволен и все пишет протестующие письма вот уже седьмой месяц подряд. Выясните, пожалуйста, в чем дело.

Дело было чрезвычайно простое. Восемь месяцев тому назад амстердамский представитель прислал в Париж, на адрес нашего учреждения, пятьсот франков, прося выслать ему соответствующее количество особенных открыток, которые я знал, – он указывал серию и номер: на открытках были сняты в разных положениях совершенно голые женщины с одним лишь очевидным недочетом, объяснявшимся, однако, не физической ненормальностью, а цензурными требованиями – на всех этих телах не было ни одного волоска, существование волос считалось допустимым только на голове у снимающихся женщин. Экспедиция отправила ему этих открыток только на триста франков. И вот в течение долгих месяцев этот человек требовал, чтобы ему или вернули двести франков или прислали бы товара на эту сумму. Первые письма были написаны с казенной коммерческой вежливостью, не очень гладким французским языком – и к каждому из них был приложен ответ одного и того же, неменяющегося содержания:

«Милостивый государь, мы сообщаем вам о получении вашего письма от такого-то числа. В ответ на просьбу, которую вы излагаете в нем, дирекция счастлива известить вас, что она принята во внимание и что те меры, которые влечет за собой ее исполнение, доставят вам, как мы на это надеемся, полное удовлетворение».

Амстердамский представитель, однако, по мере того как проходило время, писал все более и более энергичные письма, в которых уже не оставалось ничего ни коммерческого, ни казенного. «Нарушение элементарных принципов порядочности, – писал он с восклицательными знаками, – которое позволяет себе фирма с мировым именем, совершенно возмутительно. Я хочу надеяться, что какие-то безответственные негодяи, с провокационной целью, затягивают этот конфликт, который мало-помалу превращается в свинство». Но в ответ на все его воскли-

цательные знаки дирекция невозмутимо перепечатывала текст своего первого письма:

«Милостивый государь, мы сообщаем вам о получении вашего письма от такого-то числа. В ответ на просьбу, которую вы излагаете в нем, дирекция счастлива известить вас, что она принята во внимание и что те меры, которые влечет за собой ее исполнение, доставят вам, как мы на это надеемся, полное удовлетворение».

Амстердамский представитель отвечал:

«Господа, я не могу отделаться от впечатления, что фирма с мировым именем наняла какого-то бесстыдного попугая, который научился писать и который отвечает на мои письма. Поймите же, господа, что все происходящее есть позор для французского престижа за границей, и в частности в Нидерландах, где я не могу долее скрывать от моих многочисленных друзей, что я стал жертвой столь же необъяснимого, сколь явного воровства».

«Милостивый государь, – отвечала фирма, – мы сообщаем вам о получении вашего письма от такого-то числа. В ответ на просьбу, которую вы излагаете в нем...»

В досье не хватало одного письма, именно первого, которое я хотел прочесть для очистки совести. Мне сказали, что оно находится в архивах, откуда его следует взять. Архивы хранились в трехэтажном стеклянном здании, находившемся против моего окна, в нескольких десятках метров. Я отправился туда, там стояла мертвая тишина; и после того, как я прокричал несколько раз – есть здесь кто-нибудь? – до меня, из пыльной этой тишины, донесся шаркающий звук медленных шагов, и по железной лестничке, которая вилась между высокими полками, спустился маленький старичок, точно появившийся из немецкой сказки.

– Не стоило так кричать, – сказал он мне тихим, но строгим голосом, – я, слава Богу, не глухой. Но вы, по-видимому, не отдаете себе отчета в том, что человек может быть занят своей работой.

– Я прошу у вас прощения, – ответил я. – Но дело в том, что мне нужен один документ, и я пришел его взять, с вашего разрешения.

Старичок сдвинул очки на лоб, подошел ближе ко мне и очень внимательно осмотрел меня.

– То есть вы, может быть, думаете, что я достану сейчас же этот документ и вручу его вам?

– Я именно так себе это представлял.

– Вот как! – сказал он с изумлением и возмущением. – Нет, полюбуйтесь на это, пожалуйста! Вы думаете, что я их так и раздаю – направо и налево?

– Позвольте, – сказал я, – здесь, по-видимому, какое-то недоразумение.

– Я того же мнения, молодой человек.

– Вы заведуете архивами?

– Тридцать два года, мосье. Когда я начинал эту работу, вас еще не было на свете.

– Очень хорошо. Мне нужен документ, я вам скажу, какой именно. Вы можете мне его выдать?

– Нет.

– Как нет? Зачем же тогда существуют архивы?

Он еще раз на меня посмотрел и спросил, давно ли я здесь служу. Я ответил. Тогда он покачал головой и объяснил, что я должен написать ему письмо, послать его по внутренней почте и только потом получить ответ и документ, – в том случае, если архивы сочтут возможным это сделать.

– Помилуйте, – сказал я, – сколько же это займет времени?

– От двух до четырех дней.

– Послушайте, я работаю вон там, – я показал ему мое окно. – Зачем же мне заниматься корреспонденцией?

Но он опять покачал головой и ответил, что я бы лучше сделал, если бы не пытался нарушать правил этой фирмы, которые начались, по его словам, до моего рождения и будут существовать после моей смерти. Потом он прибавил, что больше меня не удерживает, поднялся по своей железной лестнице и исчез, как маленький старый волшебник.

Вернувшись в свое бюро, я сказал шефу, что старик-архивариус просто выжил из ума, и рассказал ему о результатах моего визита.

Заказ № 3236

– Он прав, он совершенно прав, – сказал шеф. – Напишите ему письмо, и затем вы мне скажете, удалось ли вам выяснить это дело с нашим амстердамским представителем.

– Дело очень просто, – начал я, но он меня прервал и заметил, не без некоторой нравоучительности в голосе, что следует избегать преждевременных суждений: быть может, в первом письме есть данные, которые...

Первое письмо, полученное через три дня – по внутренней почте, – отличалось от всех остальных только вежливостью. Я сказал шефу, в чем дело, и выразил удивление, что такая совершенно очевидная ерунда могла тянуться столько времени.

– Ему нужно либо двести франков, либо товара на эту сумму.

– Я так и думал. – Он произнес это без малейшей иронии в интонации. – Да, у меня было такое же впечатление.

– Так почему же вы не приняли никаких мер?

– Знаете, пока он не обращается в суд... А сумма эта нами получена, это увеличивает доход фирмы.

– Да ведь у фирмы миллионные обороты, что ей двести франков?

– Миллионы составляются из франков, молодой человек. Во всяком случае, вы хорошо разобрались в этом деле, благодарю вас.

Мне хотелось протереть глаза.

– Теперь вы, пожалуйста, проверьте окончательно константинопольский список.

Больше в этом учреждении я не сделал ничего. Был, правда, проект доверить мне классификацию каких-то документов, и мой шеф прочел мне даже целую лекцию о принципах классификации документов, но дальше дело не пошло.

Я заметил, что я не был исключением среди других служащих. В том бюро, где я работал, их было четырнадцать, – но со всем этим мог бы легко справиться один человек, – и у него оставалось бы еще свободное время. Каким образом это анекдотическое учреждение могло

существовать и зарабатывать огромные деньги, я не понимал, настолько все было неправильно и нелепо. Я помню, однажды в бюро вошел молодой человек и сказал, что привез образцы товара.

– Принесите их наверх.

– Они у меня на грузовике.

– На грузовике? Почему? – спросил я. Товар мог быть только одного рода – почтовые открытки; и чтобы доставить их образцы, совсем не нужен был целый грузовик. Я спустился с ним: внизу, у ворот, действительно стоял автомобиль, на котором была тщательно упакована целая гора металлической мебели.

– Что это такое? – спросил я с удивлением.

– Образцы товара.

– Какого товара?

– Металлической мебели.

– Кто вам его заказывал?

– Не знаю. Заказ был сделан по телефону.

Тогда я пошел в нижнее бюро и выяснил, что по телефону разговаривал почтенный служащий, видный и пожилой мужчина, кавалер ордена Почетного легиона, который был очень туг на ухо, но не хотел никак в этом сознаться даже самому себе и, чтобы, так сказать, подтвердить несостоятельность подобного предположения, часто подходил к телефону. Так случилось и на этот раз. Его сослуживцы мне сообщили, что это не впервые, что однажды им принесли колбасы из гастрономического магазина, в другой раз электрические лампы и вот теперь металлическую мебель.

– Но как же это возможно? Ведь этот человек – одно разорение.

– Это очень уважаемый человек, он отличился во время войны.

И вот, десятки лет, такие идеально невежественные и идеально беспечные люди вели это дело, старели, выслуживали пенсии и умирали. В моем отделении была особенная путаница еще и потому, что служащим приходилось иметь дело с иностранными фамилиями, они не знали

ни одного языка, кроме своего, и каждое нефранцузское слово было для них неудобочитаемо и почти непроизносимо. Когда я, чтобы оторваться от смертельной константинопольской скуки, несколько раз помогал им, они удивлялись, что я читал, не давясь, немецкие, или английские, или болгарские фамилии, им все это казалось непостижимым. Я объяснял им, что я иностранец и долго жил за границей, тогда они перестали удивляться и начинали находить это совершенно естественным.

В один прекрасный день я получил месячное жалованье, ушел – и больше никогда не вернулся в это учреждение. Оно вчинило мне иск, обратилось в суд и послало туда своего профессионального ходатая, очень типичного сутягу в черном костюме, который кричал перед носом тихого старичка, мирового судьи, что общество этого так не оставит, что я ушел без предупреждения, что оно требует с меня уплаты тысячи франков и судебных издержек, что мое поведение возмутительно и он отказывается его квалифицировать. Я пожал плечами и ответил, что кричать, во всяком случае, не стоит, и что если он считает, будто этот крик может на меня подействовать, то это заблуждение, и что если фирма возлагает большие надежды на мою тысячу франков, то это очевиднейшая иллюзия. Так как я, уходя, сослался на болезнь – нервное переутомление, – то старичок судья предложил мне отправиться к судебному врачу на освидетельствование. Я согласился – и еще через полтора месяца получил вызов к доктору, куда я явился и долго ждал в пустынной приемной; на столе лежали прошлогодние номера Иллюстраций и «Orientales» Гюго, которые я от скуки начал читать. Наконец пришел доктор; он с удивлением на меня посмотрел и спросил, в чем дело. Я объяснил. Доктор тоже был старый человек, – как мой шеф, как архивариус, как судья, – и я еще раз подумал, что во Франции все сколько-нибудь прочные и спокойные должности заняты очень пожилыми людьми.

– Как ваша фамилия?

Я ответил.

– Подождите здесь.

И он ушел. Я снова открыл «Orientales» и продолжал читать. Прошло около сорока минут. Потом он опять бесшумно вошел и сказал:

– Извините, пожалуйста, как, вы сказали, ваша фамилия, какая-то иностранная, кажется?

Я повторил.

– Хорошо, подождите, пожалуйста.

Прошел еще час, я выкурил три папиросы, прочел несколько статей в Иллюстрациях и опять взялся было за «Orientales», когда он вошел наконец, в третий раз и объявил, что будет меня осматривать. Но тут он вспомнил, что не захватил с собой полотенца, вышел за полотенцем и пропал еще минут на десять. Вернувшись в приемную, он предложил мне следовать за ним, и мы прошли в его кабинет, на столе которого лежала развернутая книга; я посмотрел мельком на нее и прочел одну строку: «Граф, как мы помним, ел за столом мало».

Это был «Граф Монте-Кристо» – и я понял тогда, почему доктор так долго отсутствовал: он читал эту книгу, от которой, по-видимому, не мог оторваться.

Он меня выслушивал, вздыхал и затем спросил:

– На что вы жалуетесь?

– Ни на что, – ответил я. – Я пришел сюда по вашему вызову, меня направил к вам мировой судья для освидетельствования, так что это визит не личного, а судебного порядка, понимаете, доктор?

– А, – сказал он, – это другое дело. Извините, пожалуйста, я опять забыл, как ваша фамилия.

У меня вдруг появилось желание сделать трагическую паузу, подойти к нему вплотную и сказать значительным шепотом: Эдмонд Дантес.

Но я удержался.

– Осмотр кончен, можете идти.

– Благодарю вас, доктор. Можно узнать результат освидетельствования?

– Нет, месье; но он будет сообщен мировому судье.

Он был действительно сообщен, и, когда я потом был у судьи, я увидел в его руке листок с неразборчивыми сло-

вами против каждой графы, единственное, что я мог прочесть, было: «общее состояние – превосходное».

Профессиональный сутяга торжествовал; и этот праздный его восторг ничем нельзя было нарушить, хотя я ему сказал, что результат освидетельствования – только подробность, лишенная значения и которая ничего не изменит. Время проходило, судебная процедура шла своим чередом; я получил вызов в суд, но в тот день проспал и там не был. Потом я начал получать письма от судебного пристава, в которых неуклюжим юридическим языком мне объяснялось, что он уполномочен получить с меня такую-то сумму, кажется, около полутора тысяч франков, и мне предлагалось заплатить ее – сначала в восьмидневный, затем в трехдневный, затем в двухдневный срок; последнее письмо предупреждало меня, что завтра утром на мое имущество будет наложен арест. Но у меня не было никакого имущества, я жил в гостинице, сутками не бывал дома, – и я никогда так и не узнал, был ли наложен хотя бы символический арест на это имущество, существовавшее только в предположениях французской юстиции.

* * *

Об этом времени, об этой службе с константинопольским списком представителей и амстердамским корреспондентом, у меня осталось еще другое воспоминание: все эти три месяца, каждый день мне смертельно хотелось спать. Я снимал тогда комнату – по нелепой случайности – в еврейском районе, на севере Парижа, возле улицы Маркадэ, обедал в разных ресторанах и почти ежедневно бывал в Латинском квартале, где жила женщина, одно присутствие которой мне могло в те времена заменить весь мир. Я возвращался домой ночным автобусом, в четвертом часу утра, вставал в семь и ехал на службу; и после завтрака, когда я приходил в свое бюро, все звенело и качалось передо мной, и я оживал только к вечеру. Иногда я ловил себя на том, что ничего не слышу и не понимаю из всего, что происходило кругом; и однажды, в ночь с субботы на воскресенье, когда я шел пешком через Париж,

я два или три раза заснул на ходу и просыпался, лишь пройдя несколько шагов, как солдат на длинном ночном переходе. Это было время бесконечного душевного томления, наверное, неповторимого в моей жизни, и те места, где я тогда бывал, я вижу отчетливо и ясно перед собой, как только моя мысль возвращается к этому периоду: бульвар Араго и густые его деревья, закрывающие круглые фонари, Фонтенебло и Marli le Roi, куда я ездил по воскресеньям, ночные кабаре и музыкальные волны этих вздорных романсов и мелодий, в которых я находил безнадежную и печальную очаровательность; она существовала, я думаю, не сама по себе, а возникала потому, что был третий или четвертый час утра, и рядом со мной – эти незабываемые, далекие глаза на утомленном ночью и музыкой лице.

И все-таки это время, несмотря на хроническое недосыпание и службу в бюро, было, в общем, чрезвычайно благотворно для меня, в том смысле, что все было сосредоточено тогда в одной идее, идее личного и иллюзорного счастья, и остальной мир перестал существовать. Тогда это было полнее и сильнее всего; это продолжалось и позже, еще много лет, но потом этому мешала работа, которой я должен был уделять слишком много времени, и целый ряд мелких неудач, но все-таки долго еще то, что я видел, узнавал и наблюдал, казалось мне неотчетливым и мутным, так как было заслонено слишком бурной личной жизнью, настолько эгоистической и непрерывной, что я, конечно, не сумел увидеть и понять и десятой части того, что понял бы и узнал, если бы не эта душевная загроможденность и занятость. Это было благотворно для меня, потому что позже, когда – в силу многочисленных и сложных причин – выяснилась несомненная несостоятельность моего длительного и напрасного ожидания и почти стеклянная хрупкость всего, на что я рассчитывал, когда я начал приходить в себя, я увидел мир не таким, каким он мне казался раньше; он точно медленно выступал из темноты. Это было похоже на то, как если бы я вернулся после долгого отсутствия в страну, которая неузнаваемо изменилась за это время.

До тех пор мне много раз приходилось начинать жизнь сначала, это объяснялось необыкновенными обстоятельствами, в которых я очутился, – как и все мое поколение – гражданская война и поражение, революции, отъезды, путешествия в пароходных трюмах или на палубах, чужие страны, слишком часто меняющиеся условия, одним словом, нечто резко противоположное тому, что я привык себе – давным-давно, точно в прочитанной книге, – представлять: старый дом, с одним и тем же крыльцом и той же входной дверью, теми же комнатами, той же мебелью, теми же полками библиотеки, деревьями, которые, как архивы моего бюро, существовали до моего рождения и будут продолжать расти после моей смерти, и лермонтовский дуб над спокойной моей могилой, снег зимой, зелень летом, дождь осенью, легкий ветер российского, незабываемого апреля месяца; много книг, прочитанных много раз, возвращения из путешествий и это медленное очарование семейной хроники, одно могучее и длительное дыхание, слабеющее по мере того, как будет замедляться моя жизнь, терять звучность голос, постепенно закостеневать усталые суставы, седеть волосы, хуже видеть глаза, до тех пор, пока в один прекрасный день, оглянувшись на секунду, я увижу себя точно похожим на моего деда, в теплую весеннюю погоду сидящим на скамейке, под деревом, в шубе и в очках, и буду знать, что годы мои сочтены и прислушиваться к шуму листьев, чтобы запомнить его еще раз навсегда, и чтобы не забыть его, умирая. Тогда, – если бы это было так, – я бы знал и понял бы, наверное, гораздо больше того, что знал и понял теперь, и я бы смотрел на мир спокойными и внимательными глазами. Теперь, вдали от моей родины, от возможности какого бы то ни было спокойного понимания, я был бы обречен на медленное и постепенное ослепление, на уменьшение интереса ко всему, что меня непосредственно не касается, и изменения, которые происходили бы, были бы, наверное, незначительны – ряд мелких ухудшений, и больше ничего. Но после этого душевного томления, после того как я прожил много времени вне каких бы то ни было соображений, кроме соображений личных, тем более всеобъемлющих и

сильных, чем более они были узки, после этого – я вновь начал видеть и слышать то, что происходило вокруг меня, и оно показалось мне иным, чем раньше.

Я думал тогда, что все мои мысли по поводу жизни, которую я наблюдал, и все мои суждения о ней объяснялись в очень значительной степени, именно шоферской работой, пребыванием с другой стороны событий, всегда наименее привлекательной. Но было невозможно предположить, что все это были только случайности, только отступления от каких-то правил. И мне казалось, что та жизнь, которую вели мои ночные клиенты, не имела ни в чем никаких оправданий. На языке людей, живших этим, все это называлось работой. Но во Франции все называется работой: педерастия, сводничество, гадание, похороны, собирание окурков, труды Пастеровского института, лекции в Сорбонне, концерты и литература, музыка и торговля молочными продуктами. Когда я однажды привез пассажиров в знаменитый публичный дом на улице Блондель – его адрес знали тысячи людей во всех концах мира, в Мельбурне и в Сан-Франциско, в Москве и в Рио-де-Жанейро, в Токио и в Вашингтоне, – я увидел человека, который продавал порнографические открытки и которого я, конечно, знал, как знал большинство ночных профессионалов Парижа.

– Идут дела? – спросил я. Он с возмущением ответил: – Нет, старик, нет, не могут они идти. Вчера арестовали, позавчера арестовали, третьего дня арестовали. Это же не работа!

Я никогда не останавливался на Монмартре; там у каждого кабачка были свои шоферы, нечто вроде небольшого клана; они не допускали никакой конкуренции. Кроме того, этот вид работы был особенно скучен и противен. Я вообще предпочитал отдаленные кварталы города, где не было длинных стоянок такси. Легче всего было работать в богатых и тихих районах Парижа, где было меньше автомобилей, чем в центре. По субботам там появлялась особая категория клиентов; это были почтенные и пожилые люди, сопровождавшие молодых и красивых женщин до автомобиля; это обычно происходило поздно, в третьем-

четвертом часу утра. – Шофер, вы отвезете мадемуазель на бульвар Араго, № 34. До свидания, моя дорогая. Значит, до среды, не так ли? – Да, я позвоню тебе в контору. – Прекрасно. Будь умницей, спи хорошо. – Спокойной ночи. – И как только автомобиль трогался, изменившийся женский голос говорил отрывисто:

– Пигаль.

Иногда это бывало Бланш или Монпарнас. Именно на Монпарнасе – после одного из таких путешествий – меня как-то остановили двое, мужчина и женщина, вышедшие из частного дома на rue St. Beuve, – я хорошо знал этот дом. На женщине, прекрасно одетой и очень молодой, лица не было; достаточно было одного взгляда, чтобы понять, что она впервые была ночью в доме свиданий, со своим первым, вероятно, любовником. У нее дрожали руки, мигали глаза, она часто дышала. Попрощавшись со своим спутником, она дала мне адрес: ее квартира была на одной из набережных Сены. Приехав туда, она от волнения никак не могла достать из сумки своими прыгающими пальцами денег; наконец, она вытащила десять франков, но тут я, в свою очередь, не находил мелочи. – Скорее, скорее! – истерически сказала она. – Скорей, Боже мой, что это такое, поторопитесь же!

Я посмотрел на нее и ответил:

– Не нервничайте, мадам, слишком поздно. То, что непоправимо, все равно уже произошло.

– Мерзавец! – закричала она со слезами в голосе и убежала, не дожидаясь сдачи.

Ночью Париж был наводнен этими людьми, находящимися в состоянии сексуального ража. Нередко, в автомобиле, на ходу, они вели себя, как в номере гостиницы. Однажды я вез с какого-то бала молодую высокую женщину в прекрасной меховой шубе; ее сопровождал человек, которому на вид было лет семьдесят. Он остановил меня перед одним из домов бульвара Осман, – и так как они не выходили и не разговаривали и так как, с другой стороны, я не предполагал, что этот кандидат на Пер-Лашез способен вести себя сколько-нибудь непристойно, то я обернулся, чтобы узнать, в чем же дело. Она лежала

на сиденье, платье ее было поднято до пояса, и по блистательной, белой коже ее ляжки медленно двигалась вверх его красно-сизая старческая рука со вздутыми жилами и узловатыми от ревматизма пальцами.

Меня неоднократно поражало отношение шоферов к пассажирам из Auteuil и Пасси; питая к ним нечто вроде классовой неприязни, они бессознательно и молча признавали их воображаемое превосходство. У меня было с ними несколько разговоров на эту тему. Я стоял как-то, ожидая театрального разъезда, вместе с товарищами; мы знали, что будет много клиентов, это всегда легко определить по большему или меньшему количеству частных автомобилей, ожидающих своих владельцев. Шла «Arlésienne», я сказал, что удивительно, как такая пьеса привлекает столько народу. Старый шофер, к которому я обратился, ответил мне:

– Слушай, старик. Это не такие люди, как мы. Ты этой пьесы не можешь понять, и я тоже. Для этого, старик, надо быть образованным. Там, может, есть такие слова, которых ты никогда не слышал. Для тебя это все ерунда. Они – другое дело, мы никогда не будем такими, как они. Тут нечего себе ломать голову.

Другой, грузный человек лет пятидесяти, с которым я несколько раз встречался на стоянках, сказал мне:

– Вот говорят: русские, русские. А я их жалею, понимаешь? Я тебе скажу, почему. Такие, как наш брат, работают с детства. Я, например, начал, когда мне было четырнадцать лет, и ты тоже, наверное. А русских я знаю. Ты их видишь и смотришь на них, как на всех остальных, и не понимаешь, насколько они несчастны. Они, брат, были адвокатами, докторами, офицерами, имели слуг и все, что полагается богатым людям, и вот теперь они ездят на такси, как ты или я. Это, брат, тяжело. Я думаю, что для этого надо иметь мужество. Я, брат, знаю, что говорю.

И он рассказал мне, что его жена до войны служила горничной у какого-то русского в Париже и что теперь он встретил этого же русского, который работает шофером. – Вот это, милый мой, катастрофа!

И этому простому и великодушному человеку никогда не приходило в голову, что и он имел бы право жить не хуже, чем они, или, во всяком случае, стремиться к этому. Но ни он, ни его товарищи не задумывались над такими вопросами. Я нигде не имел возможности так близко видеть резкую социальную разницу между людьми и, главное, такого полного примирения со своей участью, я никак не мог к этому привыкнуть. Я чувствовал, что, проживи я здесь еще пятьдесят лет, это ничего не изменит. Я помню, какими дикими глазами смотрели на меня клиенты, когда я им отвечал нормальнейшим, по моим представлениям, образом; из-за своей манеры разговаривать с ними я несколько раз попадал в комиссариат, но, к счастью, все кончалось благополучно.

Эти недоразумения, – которых у меня было множество, – начались с того, что один мой пассажир, ехавший на вокзал с двумя огромными чемоданами, – он был доктор по профессии, как это потом выяснилось, – заявил, что счетчик показывает слишком много. Я ему ответил, что он ошибается и что к сумме, которую показывает счетчик, надо прибавить еще два франка, по одному с каждого чемодана. Он поднял скандал и стал кричать, что это воровство и что двух франков он уж, во всяком случае, ни при каких обстоятельствах не заплатит.

– Это воровство! – кричал доктор. – Вы не получите ни одного сантима из этих двух франков.

– Хорошо, – сказал я, – вы хотите, чтобы я вам их подарил? Я даю два франка первому нищему, когда он просит у меня милостыни. Тем более я не вижу, почему я отказал бы вам в такой сумме. Но для этого вы должны ее у меня попросить, как это делают нищие.

Он смотрел на меня изумленными глазами и, наконец, сказал, что тут недоразумение, что он доктор – именно тогда я это узнал – и что я ничего не понимаю.

– Вы доктор, – ответил я, – но у вас психология нищего, это парадоксально, но это бывает.

– Нет, нет, – сказал он растерянно, заплатил деньги и ушел, оборачиваясь. Один из полицейских, присутствовавший при этом разговоре – на тот случай, если бы дело

приняло скандальный оборот, – посмотрел на меня и спросил:

– Скажите, пожалуйста, вы случайно не сумасшедший?

– Не думаю, – сказал я. – Во всяком случае меньше, чем мои клиенты.

Потом был случай еще с одним человеком, у которого было пять чемоданов и которого я привез на авеню Виктора Гюго рано утром. Он вышел из автомобиля и сказал мне так, точно это была естественнейшая вещь:

– Отнесите теперь эти чемоданы на пятый этаж.

Он даже не дал себе труда прибавить «пожалуйста» или «будьте добры», и в его голосе не было оттенка ни сомнения, ни просьбы.

– Послушайте, голубчик, – сказал я; он повернулся как ужаленный. – Я надеюсь, что у вас руки не парализованы?

– Нет, почему?

– Я просто не вижу, почему бы я вдруг стал носить ваши чемоданы на пятый или вообще на какой бы то ни было этаж. Если бы мне нужно было переменить колесо, неужели вы думаете, что я обратился бы к вам и попросил бы вас сделать это вместо меня? Нет, не правда ли?

Он посмотрел на меня и потом спросил:

– Вы иностранец?

– Нет, – ответил я.

И всякий раз, когда возникали недоразумения такого рода, все улаживалось, как только выяснялось, что я русский; а это узнавалось немедленно, мне было достаточно передать свои бумаги полицейскому. Недоразумения эти не имели последствий потому, что я не совершал, в сущности, никакого проступка и люди, жаловавшиеся на меня в полицию, действовали так, не для защиты своих интересов, а исключительно оттого, что были задеты их прочные взгляды на то, какими должны быть отношения между разными категориями граждан. С пассажирами попроще – рабочими, мелкими коммерсантами, торговками – у меня никогда не бывало подобных разговоров, они обращались ко мне как к равному и если спорили, то

спорили как с равным. Но клиенты в вечерних костюмах из тех кварталов Парижа, где были дорогие квартиры, могли иногда вызвать припадок бешенства у самого спокойного человека, – вроде дамы, которую я вез однажды на авеню Фош и которая, проехав несколько сот метров, застучала зонтиком в стекло, отделявшее ее сиденье от моего, и закричала:

– Мы едем не на похороны, я надеюсь? Побыстрее, пожалуйста.

Обычно в таких случаях я нажимал изо всех сил на тормоз и говорил:

– Если это вам не нравится, слезайте и берите другую машину.

Но в тот день я был в особенно дурном настроении. Я надавил на акселератор и повел автомобиль настолько быстро, насколько это было вообще возможно. Мы обгоняли другие машины, проскакивали перекрестки, чуть не въехали в автобус; она кричала, что это самоубийство, что я сошел с ума, но я не обращал на ее крики никакого внимания. Наконец, доехав до авеню Фош, я замедлил ход.

– Вы сумасшедший! – кричала она. – Вы хотели меня убить! Я подам на вас жалобу!

– Вам нужно было бы лечиться, мадам, – сказал я, – мне кажется, что состояние вашей нервной системы не может не внушать некоторого беспокойства. Хотите, я укажу вам адрес клиники?

– Что это за комедия? – она была возмущена до последней степени. – Вы, может быть, не знаете, кто я такая?

– Этого я действительно не знаю.

– Я жена... – она назвала фамилию известного адвоката.

– Очень хорошо. Но почему вы рассчитываете, что это должно произвести на меня какое-то впечатление?

– Как, вы не знаете фамилии моего мужа?

– Слышал как будто, он, кажется, адвокат?

– Да, во всяком случае, не шофер такси.

– Я полагаю, мадам, что из этих двух профессий – профессия шофера, пожалуй, честнее.

– А, вы революционер! – сказала она. Несмотря на неприятный оборот, который сразу же принял разговор, она не уходила и не платила мне; счетчик продолжал идти. – Я ненавижу эту породу людей.

– Потому что вы, вероятно, ничего не знаете ни о революционерах, ни о социальных и экономических вопросах, – сказал я. – Заметьте, что я очень далек от намерения поставить вам это в упрек. Но имейте, по крайней мере, такт не говорить о вещах, о которых вы не имеете представления.

– Никогда в жизни никто со мной так не разговаривал, – сказала она. – Какая удивительная наглость!

– Это очень просто, мадам, – ответил я. – Все, кого вы знаете, стремятся сохранить либо ваше знакомство, либо вашу дружбу, либо вашу благосклонность. Мне все это совершенно безразлично, через несколько минут я уеду и я надеюсь, что больше никогда вас не увижу. Почему же, – принимая во внимание эти условия, – я стал бы говорить не то, что думаю?

– И вы думаете, что я просто невежда и дура?

– Я бы не настаивал на последнем определении; но мне трудно было бы от вас скрыть, что первое мне кажется соответствующим действительности.

– Хорошо, – сказала она. – Пока что я вам заплачу и дам даже чаевые.

– Вы можете их оставить себе, мадам, я вам их дарю.

– Нет, нет, вы их заслужили, хотя бы за ваш очаровательный разговор.

– Я в восторге, мадам, что он вам понравился.

И тогда она задала мне последний вопрос:

– Скажите, пожалуйста, вы не иностранец?

– Нет, мадам, – ответил я. – Я родился в доме № 42, на улице де Бельвиль, у моего отца там мясная, вы, может быть, ее случайно знаете?

Думая об этом времени, я часто вспоминал те рисунки, которые представляют вертикальный разрез мотора или машины. Благодаря неисчислимым случайностям, в которые входили с равным правом и исторические события, и соображения географического порядка, и все-

возможные мелочи, – их нельзя было ни учесть, ни предвидеть, ни даже представить себе вероятность их возникновения, – вышло так, что моя жизнь проходила одновременно в нескольких областях, не имевших никакого соприкосновения друг с другом. Нередко, на протяжении одной и той же недели, мне приходилось присутствовать на литературном и философском диспуте, разговаривать вечером в кафе с бывшим министром иностранных дел одного из балканских государств, рассказывавшим дипломатические анекдоты, обедать в русском ресторане с бывшими людьми, превратившимися в рабочих или шоферов, – и, с другой стороны, попадать в кварталы, заселенные мрачной парижской нищетой, беседовать с русскими «стрелками» или французскими бродягами, от которых следовало держаться на некотором отдалении, так как они все издавали резкий и кислый запах и он был так же неизбежен и постоянен, как мускусная вонь известных пород животных; возить проституток, жаловавшихся на плохие заработки, стоять за цинковой стойкой, рядом с поминутно сменявшимися сутенерами, моими знакомыми по Монпарнасу, и, наконец, сидеть часами, в глубоком и мягком кресле, в квартире в Пасси и слышать, как женский голос – я знал его много лет и никогда не забывал ни одной его интонации – говорил:

– Напомните мне эту фразу, которую вы недавно цитировали, это, кажется, из Рильке, о чувстве. Чувства – это единственная область, которую вы немного знаете, в остальном вы слепы и глухи.

А на следующую ночь, когда я остановился со своим автомобилем на улице Риволи и закрыл глаза, вспоминая этот разговор и воскрешая в памяти каждый звук этого голоса, – ко мне подошел оборванный негр, попросил папироску, закурил ее и сказал:

– И подумать только, что я, который раздавал папиросы пакетами, вынужден теперь просить одну папиросу у вас. – И тотчас же, повернув голову направо, прибавил: – Она опять здесь, стерва!

Мимо нас проходила по тротуару сильно прихрамывающая женщина.

– Посмотрите, – сказал негр с презрением, – это называется женщина!

– В чем ты ее упрекаешь?

– Это алкоголичка, месье, вот в чем я ее упрекаю; ее надо упрекнуть в пьянстве, вот что я ей ставлю в упрек. – И он закричал ей вслед: – Ты опять пьяна?

– Кусок грязного негра, – ответила она.

– Что? Ты хочешь, чтобы я тебе морду набил?

Он кричал с очень свирепой интонацией, но не двигался с места, и когда оборачивался ко мне, то смотрел ленивым взглядом своих черных глаз с желтоватыми белками.

– Вы знаете, как здесь работают?

– Нет, старик, не знаю.

– Так вот, месье, здесь нет гостиниц. Такой здесь квартал. Есть Ритц и Мерис, но это для королей и герцогов, снять комнату там нельзя.

– И что же?

– Так работать приходится на скамейках Тюильри. Клиент садится на скамейку, а женщина садится на него верхом.

– А?

– Да, так здесь работают. Так вот эта стерва была такая пьяная вчера ночью... Ее клиент сидел и ждал ее, а она никак не могла сесть сверху как следует. Было просто стыдно смотреть на это, месье, – женщина в таком состоянии, что она не могла даже делать свою работу.

* * *

Иногда, раз в несколько лет, среди этого каменного пейзажа бывали вечера и ночи, полные того тревожного весеннего очарования, которое я почти забыл с тех пор, что уехал из России, и которому соответствовала особенная, прозрачная печаль моих чувств, так резко отличная от моей постоянной густой тоски, смешанной с отвращением. Все менялось тогда, точно перенастроенный рояль, и вместо грубых и сильных чувств, которые мучили меня обычно, – неутоленное и длительное желание, от которого тяжелели и наливались кровью мускулы, или слепая

страсть, в которой я не узнавал своего лица, когда мой взгляд падал в эти минуты на зеркало, или непобедимое, непрекращающееся сожаление оттого, что все не так, как должно было бы быть, и еще это постоянное ощущение рядом с собой чьей-то чужой смерти, – и я входил, не зная, как и почему, в иной мир, легкий и стеклянный, где все было звонко и далеко и где я, наконец, дышал этим удивительным весенним воздухом, от полного отсутствия которого я бы, кажется, задохнулся. И в такие дни и вечера я с особенной силой ощущал те вещи, которые всегда смутно сознавал и о которых очень редко думал, – именно, что мне трудно было дышать, как почти всем нам, в этом европейском воздухе, где не было ни ледяной чистоты зимы, ни бесконечных запахов и звуков северной весны, ни огромных пространств моей родины.

Но зато здесь, в Париже, существовали десятки русских магазинов и ресторанов. В магазинах продавались русские продукты, в ресторанах были русские блюда: блины, голубцы, пельмени, бесконечный борщ. За много лет парижской жизни я перебывал в большинстве этих ресторанов и помнил в лицо гарсонов и кельнерш, которые путешествовали из одного квартала в другой; иногда они сами становились хозяевами и открывали ресторан, в день открытия пили шампанское и давали объявление в русской газете:

«Петр Васильевич Сидоров имеет честь уведомить дорогих друзей и клиентов, что им открыт собственный ресторан “Петушок” на такой-то улице. Шеф кухни – Василий Иванович Комаров. Большая артистическая программа. Ежедневные выступления любимца публики Саши Семенова. Большой выбор закусок. Дежурное блюдо. Сегодня: расстегаи. Завтра: поросенок в сметане».

Я закрывал глаза и представлял себе неподвижные, железно-стеклянные цветы на столиках, маленькие лампы с абажурами. Петра Васильевича Сидорова, очень аккуратно одетого, глаза его жены с классической поволокой, – оркестр и любимца публики, Сашу Семенова, грузного, лысеющего мужчину с густым, хрипловатым баритоном и плешью, тщательно прикрытой немногими волосами; он пел, выдвигая руки вперед угловатыми и не-

уверенными жестами в наиболее патетических местах, и говорил близким друзьям, уже под утро, перед закрытием ресторана, что он сторонник итальянской школы, и друзья соглашались и тоже верили этой итальянской школе, хотя прекрасно знали, что Саша Семенов был в свое время штаб-ротмистром конной батареи и никакого отношения к итальянской школе иметь не мог, но питал большую слабость к женскому полу и был героем многочисленных романов. Все, что он пел, всегда звучало одинаково минорно, независимо от слов, и в голосе его дрожала густая и, как говорили его поклонницы, незримая слеза. С годами он полнел и лысел, становился тяжелее на подъем, но голос его не слабел и не менялся, несмотря на многолетнюю привычку к вину. Сам он говорил иногда – не тот, конечно, голос, разве у меня так звучал голос в двадцать втором году? – но это было неверно; я слышал его тогда, и пел он совершенно так же, как теперь. Всюду, где бы он ни был – в любом городе Европы, в балканских столицах, в Шанхае или в Америке, – он видел все одно и то же, несмотря на разницу стран: ресторанные стены, оркестр, эстрада, те же слова тех же романсов, та же музыка, тот же шницель по-венски, та же водка; менялись только женские лица, да выражения глаз, да волосы, да голоса, да тела. Он сам неоднократно говорил, что если подумать о его жизни, то получается впечатление, что он едет все время в каюте какого-то корабля, мимо разных берегов и разных стран; они меняются, а в каюте и на корабле – все остается прежним. И он жаловался на монотонность своего существования, – обычно сильно выпив и говоря об этом почти плачущим голосом, – и друзья его пожимали плечами и потом в разговорах между собой не могли не заметить, что вот, дескать, до чего допился человек: видел столько стран, пел в стольких городах, а жалуется на монотонность существования. Но прав был все-таки Саша Семенов, а не они. У него была необыкновенная память на лица, но, как и все или почти все его способности, она проявлялась только после того, что он выпивал уже значительное количество водки; в трезвом состоянии он был всегда вял и не способен ни к какому умственному усилию. О его памяти я мог

судить потому, что однажды, в пятом часу утра, мы остались вдвоем в ресторане – женщина, которую я сопровождал, и я, – он подсел к нам и спросил меня, не бывал ли я в таком-то году, в таком-то месте, в Константинополе, в сопровождении таких-то и таких-то людей. Он точно помнил их физиономии, их костюмы, их вид. Это меня поразило, я ему ответил; он сразу сделался словоохотлив, и когда я его спросил, почему он выбрал именно ресторанную карьеру, он сказал с внезапной откровенностью и искренностью:

– Потому что для другой карьеры нет данных. Были бы, не пел бы я в ресторане. Вот смотрите, не придет же никому в голову представить себе Шаляпина в кабаре. А Сашку Семенова так же нельзя себе представить на концертной эстраде или в опере. Я ведь, батенька, в пении и музыке партизан.

В нем, как и во многих русских людях, был, однако, совершенно искренний надрыв, та чистая и бескорыстная печаль, которую было бы уместно предположить у поэта или философа и которая казалась неожиданной и в какой-то мере незаконной у бывшего ротмистра, ставшего кабаретным певцом. Поразительность этого заключалась в том, что чувство это было несомненно высшего порядка, и ему должны были бы соответствовать другие, столь же возвышенные представления, которых у Саши, конечно, не было. Это в каком-то смысле было так же удивительно, как если бы простой фермер или дворник вдруг оказался бы любителем Рембрандта, Бетховена или Шекспира. Но это не было ни случайным, ни временным; и у многих простых русских людей я замечал именно этот вид душевной роскоши, сравнительно редкий в Европе вообще. В этих русских было от природы заложено некое этическое начало, естественно предшествующее возникновению творческой культуры, возможности которой казались почти совершенно заглушенными здесь, на Западе.

Разговаривая как-то с моим постоянным собеседником, Платоном, я сказал, что в этом смысле мне все здесь казалось так же неблагополучно, как в музыке или пении, в терминологии которого меня поражало выра-

жение «chanteur à voix»[1], непереводимое на язык русских понятий. Платон долго говорил тогда о гибельном влиянии Декарта, которого он искренно презирал, о том, что французской поэзии вне Бодлера не существует. «А Рембо, а Франсуа Виллон, а Ронсар?» Но Рембо, по его мнению, был только начинавшийся опыт, значительность Виллона и Ронсара он отвергал, – и в этом разговоре я с удивлением выяснил, что Платон отрицательно относился почти ко всему, что считалось выражением французского гения. Он с пренебрежением говорил о Гюго и Флобере, о Монтене и Ламартине, о Ларошфуко и Вольтере, ума которого он, впрочем, не оспаривал. Единственные, кого он признавал, были Стендаль, Бальзак и Бодлер и еще какой-то человек, который, по его словам, был головой выше их всех – он назвал мне его фамилию, и я ее не запомнил; я только твердо знаю, что ни до, ни после этого я ее нигде не слышал. Когда я ему сказал, что меня удивляет его мнение о французской культуре, он пожал плечами и ответил, что это выражение – анахронизм и никакой французской культуры нет, по крайней мере, в настоящее время; до войны четырнадцатого года ее последние остатки еще влачили жалкое существование, но теперь? – было бы нелепо ее искать в той среде, из которой состоит привилегированный класс Франции и которая представляет собой невежественную сволочь.

В том, что говорил Платон, была некоторая частичная убедительность, объяснявшаяся, во-первых, его личными диалектическими способностями, во-вторых, еще одной причиной: в безвозвратном его падении мир действительно представлялся ему мрачнее, чем другим людям, у которых не было столь же повелительных побуждений быть пессимистами. Это отражалось на всех суждениях Платона, независимо от того, шла ли речь о футболе – он, в частности, хорошо знал этот вопрос, так как, учась в Англии, был два года голкипером университетской команды – о философии, промышленности или земледелии. В общем, постоянная его защитная позиция своди-

[1] певец с голосом (*фр.*).

лась к тому, что мир, из которого он ушел, не заслуживает сожаления. Такова была, я думаю, побудительная причина его критики; но помимо этого, в ней была, конечно, еще часть той объективной истины, без которой все его безнадежные высказывания казались бы совершенно необоснованными.

Сашку Семенова я слышал потом еще много раз. По субботам, от семи до девяти часов, он пел в том маленьком ресторане, где я обычно обедал, – и где знал всех посетителей, хозяйку, кельнерш и все биографии и даже степени богатства этих людей в прежние, далекие времена, в дореволюционной России. Большинство их были миллионеры, помещики и кутилы и почти все принадлежали к аристократическим кругам общества; это тоже был защитный, но только утешительный рефлекс, в сущности совершенно безобидный, так как все, что они рассказывали, было идеально неправдоподобно и не могло ввести в заблуждение даже самого наивного человека. Моими постоянными соседями по столу были два русских шофера, уже немолодые и чрезвычайно занятые люди, Иван Петрович и Иван Николаевич, и, разговаривая с ними, я удивлялся той бесполезной трате энергии, которая была характерна для них обоих. Иван Петрович был организатором политических партий. У него было человек пятнадцать близких его друзей, которые составляли ядро организации, постоянно менявшей названия, но, в сущности, одной и той же. В объединительных предлогах фантазия Ивана Петровича была неутомима. Он последовательно возглавлял то «союз младших офицеров уланских полков», то «комитет спасения России» – без каких бы то ни было уточнений, – то «объединение бывших воспитанников северных кадетских корпусов», то «братство инженерных частей», то «координированное общество машинной тяги западного фронта». Он вырабатывал устав, который обсуждался в учредительном комитете, делал смету расходов, определял сумму ежемесячных взносов и затем ехал в префектуру – зарегистрировать новое общество. После этого устраивались доклады, собеседования и лекции: «Современное положение Европы», «Современное положение России», «Россия

и Европа», «Экономический фактор в современной политике» и так далее. Еще через некоторое время, в обеденный час, в ресторан приходил давний друг Ивана Петровича, его бывший соратник по армии и товарищ по военному училищу, маленький, худенький человек с незначительным лицом. Он садился за наш столик, заказывал чашку кофе и говорил:

– Иван Петрович, я пришел объясниться. Как член контрольной комиссии я не могу тебе не сказать, от имени всех моих коллег, что ты превышаешь свои полномочия. Ты знаешь, что это недопустимо.

Начинался долгий спор, после которого в партии Ивана Петровича образовывалась отколовшаяся фракция. Отколовшаяся фракция рассылала всем членам объединения объяснительные листки, напечатанные на пишущей машинке, где излагались в очень возвышенном стиле причины конфликта, давно уже, по словам составителей листков, назревавшего, но находившегося в латентном состоянии. Партия распадалась. Тогда Иван Петрович принимался за личные переговоры с каждым ее членом в отдельности, и после этих совещаний снова собирался учредительный комитет, вырабатывался устав, и все начиналось сначала. Иван Петрович был всегда плохо одет и мало зарабатывал, так как большую часть времени посвящал этому своеобразному политическому perpetuum mobile[1]. Мне за столом он объяснял все пружины политического механизма, принципы пропаганды и даже тайну успеха; но я, в общем, очень мало о нем знал, так как, кроме этого, он ни о чем другом не говорил и только один раз вскользь сказал, что считает Гоголя хорошим писателем.

Иван Николаевич не занимался политикой в собственном смысле слова, но был одержим очень странной административной манией. Его жизнь заключалась в том, что он вступал во всевозможные акционерные общества, организованные, конечно, русскими эмигрантами, бывал на всех собраниях, голосовал, воздерживался, объяснял, требовал объяснений, становился сам акционером и делался, наконец, членом правления. На этом конча-

[1] вечному движению (*лат.*).

лась положительная часть его программы, после которой, с неизбежной и неумолимой последовательностью, начиналась вторая, отрицательная. Он вдруг выяснял, или ему вдруг начинало казаться, что он стал жертвой какой-то жульнической комбинации, точно так же, как и большинство членов этого акционерного общества. Период подозрений сменялся периодом уверенности, Иван Николаевич уходил из правления, демонстративно переставал являться на собрания и обращался к адвокату с тем, чтобы возбуждать процесс против правления общества. Обо всех, кто фигурировал в числе людей, которых он привлекал к ответственности, он собирал всюду, где мог, всевозможные справки и для каждого из них составлял досье. Потом он садился за работу: делал выводы, сопоставления, вырезал из газет статьи и писал десятки длиннейших сочинений, которые затем печатал на машинке и в переплетенном виде передавал адвокату. Большинство тех, против кого он вел процесс, представляли из себя – если бы о них судить по его досье – чрезвычайно опасный элемент как в моральном, так и в политическом смысле. И когда, после долгой процедуры, суд их оправдывал, Иван Николаевич намекал, что здесь была уплачена крупная взятка. Но за время процесса он успевал опять стать членом правления другого общества. Он бывал в хороших отношениях с людьми до тех пор, пока эти отношения не переходили в деловые; тогда он начинал готовиться к процессу. Ему очень туго жилось, хотя он усердно работал; но его разоряли бесконечные судебные издержки, дружеские векселя, которые он подписывал, неоплаченные чеки и расходы, сопряженные с собиранием справок. Вне этого он был услужливым и любезным человеком, у него был только один досадный недостаток: когда в ресторане заводился граммофон с усилителем, он не мог удержаться, чтобы не подпевать, причем ухитрялся делать это даже во время еды, – что производило всегда странное впечатление, к которому я никак не мог привыкнуть.

Жизнь этих людей была посвящена, в сущности, почти одинаковым целям; во всяком случае, их деятельность была совершенно бесплодна. Я неоднократно думал,

слушая их разговоры, что именно из таких, как они, вербуются, вероятно, политические кадры, государственные деятели, советники; единственное, что отличало их от этой категории, это их неудачливость и затем, конечно, бескорыстность. Но их слепая и непонятная любовь к этой вздорной и ненужной работе, которую не могли поколебать никакие неудачи, выражавшая, несомненно, в смешной форме чистую и неутомимую жажду деятельности, заслуживала, конечно, лучшей участи. Меня особенно поразили, в начале моего знакомства с Иваном Петровичем и Иваном Николаевичем, то остервенение и та страстность, с которой они спорили при мне о зависимости между государством и частной собственностью и о возможности правительственного контроля над капиталом.

– Я не могу допустить этого незаконного вмешательства, – говорил Иван Петрович, – никогда, Иван Николаевич, вы слышите, никогда. Если нужно, мы будем защищать наши права с оружием в руках.

– Я, как государственно мыслящий человек, – сказал Иван Николаевич, – считаю и буду считать, что благо коллектива бесконечно выше и важнее прав индивидуума. Вы захватили Бог знает какими путями колоссальные суммы денег, и вы пользуетесь ими, зачем? – Иван Николаевич понизил голос и сказал почти шепотом: – Чтобы осуществлять вашу преступную личную власть и ваше пагубное влияние, которое погубит, быть может, тысячи жизней.

– Простите, но я вношу в вашу государственную казну колоссальные налоги, – сказал Иван Петрович. – Простите, но вы заставляете меня платить триста тысяч франков за автомобиль иностранной марки, который стоит сто восемьдесят тысяч; сто двадцать тысяч вы зарабатываете на мне. Простите за напоминание, но вы меня обкрадываете на всем, начиная от бензина и кончая почтовыми марками. Я повторяю: если нужно, мы будем защищать наши права с оружием в руках, и кровь этих баррикад будет на вашей совести.

Они сидели друг против друга, за столиком этого маленького ресторана, после обеда, стоившего каждому из них около восьми франков, оба плохо одетые, в потрепан-

ных пиджаках, в рубашках не первой свежести, в штанах с трагической бахромой внизу, и спорили о государстве, гражданами которого они не состояли, о деньгах, которых у них не было, об оружии, которого у них не было, о правах, которых они не имели, и о баррикадах, которых они не построили бы. И, в конце концов, почти все посетители этого ресторана жили так же, как Иван Петрович или Иван Николаевич, в воображаемых мирах, и чего бы речь ни коснулась, прошлого и будущего, у них были готовые представления об этом, мечтательные и нелепые и всегда идеально далекие от действительности. Это были бесконечные и никогда не существовавшие имения, сорок человек за столом, великолепие прежней жизни, французские повара, гувернантки, поездки в Париж или, опять-таки воображаемые, права в воображаемой будущей России или вообще почти бесформенные полунадежды, полуощущения – вот приеду и прямо скажу: ребята, теперь довольно. Я против вас зла не питаю... Европа, в которой они жили, их совершенно не интересовала, они не знали, что в ней происходит: и лучшие из них становились мечтателями, избегавшими думать о действительности, так как она им мешала; худшие, то есть те, у кого воображение было меньше развито, говорили о своей жизни со слезами в голосе и постепенно спивались. И были, наконец, немногие, преуспевавшие в том, что они делали, так называемые здравомыслящие люди в европейском смысле слова, но они были наименее интересными и наименее русскими и о них мечтатели говорили обычно с презрением и завистью. Разница между этими русскими, попавшими сюда, и европейцами вообще, французами в особенности, заключалась в том, что русские существовали в бесформенном и хаотическом, часто меняющемся мире, который они чуть ли не ежедневно строили и создавали, в то время как европейцы жили в мире реальном и действительном, давно установившемся и приобретшем мертвенную и трагическую неподвижность, неподвижность умирания или смерти. Это объяснялось не только тем, что мечтатели были деклассированными людьми, добровольно покидавшими действительность, которая их не удовлетворяла: в этом была еще

чисто славянская готовность в любое утро, в любой день, в любой час своего существования отказаться от всего и все начать снова, так, точно этому ничто не предшествовало, – та варварская свобода мышления, которая показалась бы оскорбительной каждому европейцу. Даже любовь мечтателей к прошлому, к прежней прекрасной жизни в прежней прекрасной России, тоже была обязана своим возникновением вольному движению фантазии, так как то, что они описывали с бескорыстным и искренним умилением, существовало, чаще всего, только в их воображении.

А из усилителя радио густо и безостановочно струились минорные мелодии, и я с удивлением замечал, что дурные, плохо срифмованные и глупые слова романсов почти никогда не раздражали меня, они терялись в музыке, как нечистоты в широкой реке. И, уходя из ресторана, я всегда почему-то вспоминал пожилую бретонку с сиплым голосом и сизо-красным лицом, которая аккуратно, через два дня в третий, приходила во двор того дома, где я жил, и пела деревянные французские мотивы. Некоторые из них я знал наизусть, и там попадались удивительные слова:

Мы встретились, и трепет был в сердцах,
Чело теснили пламенные грезы
С похожею улыбкой на устах,
Со сладким вздохом первых обещаний...
Вы прошли и оставили в моем сердце
Глубокий след, требующий счастья.

Она всегда была аккуратно и чисто одета, даже заплаты на ее платье были тщательно пришиты и выстираны. У нее был плохой слух и до невозможности хриплый голос; и все-таки в неверном ее пении и в глупом подборе этих заезженных слов, рассказывавших о трагических идиллиях, и в неизменном эффекте соединения ее седых волос с сизо-красным лицом было что-то, вызывавшее одновременно и сожаление и интерес. Все это возбуждало во мне какое-то странное и пристальное чувство, трудноопределимое и не похожее ни на одно из тех, которые я испытал раньше или о которых я когда-либо слышал или читал. Она была деловито добросовестна; входила во

двор, останавливалась, начинала петь, никогда не улыбаясь и не делая никаких жестов. Она напоминала деревянную поющую статую; спев три или четыре романса, она подбирала деньги, говорила – merci, Messieurs – Dames[1] – и уходила, унося свою идеально неподвижную, негнущуюся фигуру и не поворачивая головы.

Я жил тогда в доме, который бросался в глаза прохожим, так как он был выстроен в мавританском стиле, что казалось, по меньшей мере, неожиданным в Париже; но таково было желание его хозяина, толстого и старого еврея из разбогатевших подрядчиков, имевшего во всех областях искусства свой собственный строго определенный вкус. В архитектуре его прельщал почему-то мавританский стиль. Я снимал комнату в частной квартире у молодой, довольно красивой женщины, которая вела крайне рассеянный образ жизни. Меня поразило, в первое время моего пребывания там, то, что у нее все валилось из рук несколько дней подряд: она разбила салатник, несколько тарелок, две чашки, блюдечко и три стакана. Каждый раз, после звона разбитой посуды, я слышал, как она произносила тихим голосом всегда одно и то же слово – сволочь! Я только потом узнал, чем объяснялось это количество вещей, которые падали из ее рук, она сама сказала мне об этом. Меня заинтересовал этот вопрос оттого, что такие несчастья случались с ней тричетыре дня в месяц, остальное время она ничего не разбивала. Она объяснила мне, что это совпадает с ее ежемесячными недомоганиями, это было, по ее словам, так же неизбежно, как головная боль или усталость. У меня, собственно, не было особенных причин подолгу с ней разговаривать; но после нескольких визитов ко мне Сюзанны она однажды постучала в мою дверь, вошла и стала подробно излагать мне, почему мое поведение и то, что я принимаю у себя женщин, ей не нравится. Она находила, что это вообще нехорошо, что, кроме того, мой выбор кажется ей, по меньшей мере, странным и что так поступать не следует. Ее страсть объяснять была совершенно неисчерпаема. Она составляла себе о человеке свое собственное

[1] благодарю, дамы и господа (*фр.*).

представление, вполне определенное, по которому выходило, что он должен жить именно так, а не иначе, любить именно то, а не другое, заниматься тем, а не другим, и так до конца, вплоть до манеры одеваться и выбора галстуков. И как только выяснялось, что человек, о котором шла речь и который нередко даже не подозревал, что у нее есть по этому поводу какое-то мнение, делает не то, что он должен был бы, как ей казалось, делать, или одевается не так, как следует, это вызывало у нее в лучшем случае раздражение, в худшем – бешенство. Я был невольным свидетелем нескольких ее романов и слышал разговоры, которые она вела со своими любовниками, и это всегда было нелепо и дико. Один из них был доктор по женским болезням, и я как-то, проснувшись ночью и закурив папиросу, услышал сквозь тонкую стенку их диалог.

– Пойми меня, Сережа, – говорил ее голос, – я не хочу тебя обидеть.

– Я понимаю, – сказал голос доктора.

– Вот ты видишь статуэтку женщины, сделанную из бронзы. Что это, по-твоему, такое?

– Статуэтка женщины?

– Ведь правда, что это не носорог, не сфинкс и не лошадь?

– Правда, – сказал доктор. Он был вообще человек скорее меланхолического типа, очень приличный, тихий и вежливый. Он отвечал ей ровным голосом, заранее соглашаясь со всем, что она говорила.

– Ну, вот. А ты доктор по женским болезням.

– Да.

– И в этом заключается твоя ошибка.

Кто-то из них повернулся на диване, под ним щелкнула и зазвенела пружина, и сквозь голос моей хозяйки я слышал еще несколько секунд этот стихающий звон.

– Почему?

– Ты должен быть хирургом.

– Почему я должен быть именно хирургом? Меня к этому совсем не тянет.

– Ну, как же ты этого не видишь, – сказала она с раздражением, – как ты этого не понимаешь? Ты должен быть хирургом, это ясно совершенно.

– Ну, Леночка, это же фантазии.

– Нет, милый мой, ты думаешь, это хорошо, что к тебе ежедневно приходят женщины, садятся на твое отвратительное кресло и показывают тебе свои прелести? Что в этом хорошего, я тебя спрашиваю?

– Но это же работа, Леночка.

– Как ты этого не понимаешь?

– Тише, Леночка, ты разбудишь соседа.

– Это животное? – сказала она. – Он спит, как мешок. Ты знаешь, он засыпает с горящей папиросой во рту, он мне прожег две простыни, слава Богу, что пожара не было. Но вернемся к началу нашего разговора.

– Я ничего против не имею, – ответил доктор.

Произошло движение, опять раздался звон пружин, и через несколько секунд ее смеющийся и раздраженный голос сказал:

– Подожди, я должна тебе объяснить. Тебе следует быть хирургом. Ай, больно!

Потом я заснул, докурив папиросу, и больше ничего не слышал.

С ней случилась вскоре после этого очень странная вещь: она исчезла. Проходили дни и недели, она не возвращалась. Через некоторое время начали являться разные люди – агент общества швейных машин, агент страхового общества, представитель магазина мебели, принесший два неоплаченных векселя, потом булочница, потом управляющий домом; все они приходили чаще всего утром, когда я спал. Я вставал, надевал пижаму, отворял им дверь и объяснял в одних и тех же выражениях, что все это меня не касается. Я прожил так около трех месяцев, совершенно один, в чужой, собственно, квартире и, наконец, уехал оттуда, потому что постоянные визиты всевозможных агентов и объяснения становились невыносимы; и когда я перестал отворять им по утрам, они начали приходить после обеда.

Я встретил ее через два года, на юге, на берегу моря. Она сидела, наполовину зарывшись в песок, в купальном костюме и пристально смотрела вдаль. Едва я успел с ней поздороваться, она, не отвечая мне, сказала с раздражением:

– Я ему объясняла, что нельзя так далеко заплывать, все может случиться – и тогда в каком глупейшем положении я окажусь, вы понимаете?

Я посмотрел туда, куда смотрела она: далеко в море то показывалась, то скрывалась голова плывущего человека. – Да ведь вы ничего не знаете. Вы мне должны деньги за комнату.

И она рассказала, что внезапно вышла замуж и уехала на юг; то есть, вернее, сначала уехала на юг, потом вышла замуж, а квартиру она бросила потому, что там ничего ценного не было.

– После того, что мы потеряли в России, вы понимаете... И не смотрите на меня такими дикими глазами. И зачем вы носите на голове этот идиотский чепчик, вы, может быть, думаете, что это красиво?

– Вы вышли замуж за хирурга?

– Почему непременно за хирурга?

– Не знаю, мне почему-то казалось, что за хирурга.

– У вас ветер в голове, мой милый. Вы продолжаете вести такую же беспутную жизнь?

Я не успел ответить, она вбежала в воду, нырнула и поплыла по направлению к мужской голове, которая приближалась к берегу. Я лег на песок, закрыл глаза и пролежал так минут десять. Когда я их открыл, ее не было.

Я не знаю, встречу ли я ее еще когда-нибудь, и если встречу, то где? Иногда в моем воображении возникают смутные очертания какого-то дома в неопределенном стиле, доносится чуть слышный звон пружин под ее телом, я вижу грустные тени ее кредиторов и печальные лица ее любовников. Она пересекла мою жизнь – в стремительном и абсурдном движении – и опять ушла в тот вздорный свой мир, который пролетел мимо меня, как отрывок чьего-то длительного и непонятно-смешного сумасшествия.

* * *

Я часто думал, что в жизни, которую мне пришлось вести, самой главной и неизменной особенностью – всегда и всюду – была неверность дальнейшего, его неизбежная неизвестность. Точно так же, как в других странах, где я

был то бродягой, то солдатом, то гимназистом, то невольным путешественником, я никогда не знал, что со мной случится и окажусь ли я, в результате всех чудовищных смещений, которых я был свидетелем и участником, – в Турции или в Америке, во Франции или в Персии, – так же и здесь, в Париже, несмотря на монотонность одной и той же работы, я каждый день испытывал такое ощущение, какое испытывал бы, следя за ручьем, теряющимся в песках. В течение долгих ночных лет через мое существование проходили люди, вместе с которыми я проезжал известное пространство, иногда большое, иногда маленькое, и тем самым случайный пассажир становился моим спутником на короткое время; и в минуты этой поездки нам обоим в одинаковой степени угрожала или не угрожала очередная автомобильная катастрофа и, в конце концов, могло бы случиться, что я и мой неизвестный спутник или моя неизвестная спутница лежали бы на одной и той же мостовой парижской улицы, с переломанными ребрами и замирающим дыханием – и в эту секунду было бы нечто, что соединило бы нас в одинаковой судьбе сильнее, чем самое длительное знакомство или родство. Но поездки кончались благополучно, и все эти мои клиенты терялись в темноте; у каждого из них была своя, неизвестная мне жизнь, которую я пересекал вслепую, за несколько минут нашего совместного путешествия. Так было всегда – и поэтому судьба людей, которую мне было дано узнать до конца, так невольно и властно притягивала меня, даже в тех случаях, когда она сама по себе не могла бы, казалось, вызвать у меня никакого личного интереса. В том огромном и безмолвном движении, увлекавшем меня, точно в клубящейся мгле, ежедневно рождающегося и умирающего мира, в котором, конечно, не было понятий о начале и конце, как не было представления о смысле и направлении, – и могучий, неостанавливающийся и неприятный мне ритм которого я бессильно ощущал, – всякая жизнь, укладывавшаяся в какие-то привычные и условно неправильные схемы – завязка, развитие, конец – остро интересовала меня, и всякое событие, имевшее отношение к этим вещам, навсегда запечатлевалось в моей памяти, одновременно с часом дня или ночи, когда оно происходило, запа-

хом воздуха, лицами людей, окружавших меня, сидевших в кафе или проходивших по улице. И над этими вещами, в том виде, в каком они оставались во мне, время было бессильно, и это было, пожалуй, единственное, что мне удавалось удержать из беспрестанно исчезающего, движущегося мира, который все увеличивался, по мере того как проходило время, и в бездонных пространствах которого гибли целые страны и города и почти бесчисленное количество людей, которых я больше не увижу.

Я думал обо всем этом, когда увидел однажды днем, весной, в одном из центральных кварталов Парижа, страшное лицо человека, которое я знал, – и его появление именно здесь удивило меня. Это был большой и толстый мужчина, страдавший жестокой формой водянки; голова его представляла из себя огромный, точно налитый желтоватой жидкостью шар, лицо было настолько опухшим, что черты его как-то терялись, глаза казались крохотными, и он походил больше на чудовище из тяжелого сна, чем на живого человека. Я видел его несколько лет подряд, он всегда проходил по улице Сен-Жак, недалеко от русской библиотеки, в Латинском квартале, где я жил. И вдруг я встретил его на тихой улице, параллельной Большим бульварам и почти пустынной в дневные часы. Я остановился и посмотрел ему вслед, в сотый раз внутренне и непонятно страдал за него, за его тяжелую и, по-видимому, доставлявшую ему мучения походку. Когда он, наконец, скрылся за углом и я пошел дальше, то первой женщиной, которую я увидел перед собой, оказалась Алиса.

Она шла по тротуару прямо на меня, очень хорошо одетая, сильно накрашенная, ведя на натянутом ремешке вычурно и безобразно остриженную собаку средних размеров. Алиса была так же прекрасна издалека, как обычно, но мне показалось, что в ее походке не было прежней великолепной гибкости, которую я знал. Когда я приблизился к ней вплотную, я заметил, что глаза ее как будто несколько потускнели; но все это, я думаю, было бы неуловимо для человека, который раньше не знал и не помнил ее, как я.

– Здравствуй, Алиса, – сказал я.

– Здравствуй, миленький, – ответила она своим медленным голосом с коротким звуковым оживлением в нем,

для нее обычно нехарактерным. – Искренне рада тебя видеть. Что ты поделываешь? Я так давно тебя не видала.

– У меня все по-прежнему, – сказал я. – Что-нибудь выпьешь?

Мы вошли с ней в кафе.

– Твою собаку зовут Боби? – спросил я.

– Да, я его назвала так, но теперь его зовут Дик.

И она объяснила мне, что назвала собаку Боби, но тот, кто его подарил, настаивает на имени Дик.

– Хорошо, пускай будет Дик, не все ли мне равно?

– Что ты делаешь?

– Я теперь артистка.

– Артистка? – сказал я с изумлением. – Скажи пожалуйста, в какой области?

– Я в мюзик-холле, – она произносила: «музик-аль».

– Что же ты там делаешь?

– Немного танцую.

– Голая?

– Нет, как ты можешь думать?.. Носятся такие маленькие штучки на...

– Да, я понимаю. Хорошо зарабатываешь?

– О, дело не в этом, артисты – люди почти бескорыстные, что там...

– Да. А старик – что он делает?

– Не знаю, какие-то коммерческие предприятия.

– Расскажи мне, что с тобой случилось с того времени, когда мы расстались, – сказал я. – Ты знаешь, что меня интересует все, что тебя касается.

Она рассказала. Вначале она довольствовалась случайными клиентами, которых она выбирала, потом переменила несколько постоянных – более или менее постоянных – покровителей. Она объясняла эти перемены тем, что ни один из ее покровителей ей не нравился, но мне показалось, что это неправда.

– Скажи мне правду, – сказал я. – Ты знаешь, что мне ты все можешь сказать, это редкий для тебя случай быть откровенной.

– Хорошо, – сказала она. – Так вот, я не хочу от тебя это скрывать. Это вызывает у меня отвращение.

– Что «это»?

– Спать с мужчиной. Меня это совершенно не интересует.

– А твой старик?

– Это другое дело. Я тебе объясню.

И она рассказала, что ее теперешний покровитель – пожилой и больной человек: – Ему многого не нужно, и потом, он не совсем нормальный.

– Как ненормальный? Почему?

Она сидела, положив локти на стол, прямо глядя на меня своими прекрасными, спокойными глазами, и говорила о том, как ее «друг» впадает каждый раз, когда ее видит, в бессильное и тихое исступление.

– Он всегда говорит: какая греза! Ты – королева грез. Ты понимаешь – он за эти грезы деньгами платит. И потом еще говорит «томление», и потом «опьянение обладанием» и всякую другую хреновину. Но насчет результатов – это другое дело, удается один раз из четырех.

– По крайней мере, он нетребователен.

– Это да, – с оживлением сказала Алиса, – я за это его и ценю. Если бы он был, как другие, это было бы ненадолго.

Она жила теперь в хорошей квартире недалеко от бульвара Инвалидов, у нее были кое-какие деньги, иногда она ездила за город со своим покровителем на автомобиле, и вообще, казалось бы, у нее было все, чтобы чувствовать себя счастливой. Но она не была счастлива, ее ничто не интересовало. Она пыталась читать, как она мне сказала, – и я вспомнил Флобера, которого я приносил Ральди для нее, – но книги ей казались скучными. – Как длинно! Как длинно! – говорила она. – Он мне описывает, как мужчина встретил женщину и как они любили друг друга, потом он с ней спит, и это тянется триста страниц. Ну, а дальше что? И он говорит, что воздух был прозрачный, и что на ней было платье с цветком, и что она ему говорила, и они вспоминают целую кучу разных вещей. В конце концов, она спит с другим, а он терзается, как это там написано, а потом едет путешествовать, встречает ее опять через три года, и она понимает, что никого никогда

не любила, кроме него. Ну, скажи, пожалуйста, разве это не злоупотребление доверием?

– Это он тебе дал книгу?

– Да, конечно. Но он дохнет от удовольствия, читая это.

Она рассказывала мне о своей жизни, и, по мере того как она говорила, мне начинало казаться, что в ее судьбе есть несомненный и последовательный смысл. В те времена, когда я впервые увидел ее у Ральди, Ральди сумела возбудить в ней – по-видимому, рассказами о своем прежнем великолепии – желание новой и роскошной жизни, и это было, я полагаю, самое сильное чувство, когда-либо появлявшееся у Алисы. Поэтому она бросила Ральди, и ей тогда действительно хотелось хорошей квартиры, автомобиля, платьев и мехов. Но это желание было случайно и нехарактерно для нее; у нее вообще не было желаний.

– Я бы хотела спокойно лежать, и чтобы никто мне не надоедал с опьянением и томлением и еще чем-нибудь.

Казалось, творческое усилие, которое вызвало из небытия ее существование, создало это совершенное тело и прекрасное лицо – и исчерпало себя, и на долю Алисы, кроме этого, не выпало ничего: ни желаний, ни страстей, ни даже намерений. То, что в других вызывало волнение, или нетерпеливое ожидание, или жажду, ее оставляло равнодушной. Книги, развлечения, кинематограф – все это только утомляло ее. Это ее спокойное отвращение ко всему, что могло бы ее интересовать, заставило мне сказать ей:

– Получается впечатление, что ты просто падаль, Алиса, ты меня извинишь, если я, может быть, немного преувеличиваю. Есть ли у тебя кто-нибудь?

– Но ты же знаешь – старик.

– Нет, другой, которого ты любишь, без которого не можешь жить?

– Никого я не люблю, только этого мне не хватало, – сказала она, – у меня есть дружок, но я с ним не сплю, это ни меня, ни его не интересует.

– Тебя – понятно, но его? Это ненормально.

– Нет, для него это нормально. Он музыкант, он так хорошо играет на рояле! Он только педераст, это его

работа. Так что, ты понимаешь, женщины для него... Но мне он очень нравится, он страшно милый.

– Странный друг! – сказал я. – Впрочем, если он тебе подходит...

– О, да. Ему ничего от меня не нужно, он играет разные мотивы, нам так хорошо с ним вдвоем.

– Ты знаешь, что Ральди умерла? – спросил я без перехода.

Ее спокойное, прекрасное лицо осталось неподвижным.

– Да, была даже статья в газете, я ее прочла.

– И это не произвело на тебя никакого впечатления?

– Она была старая.

– Да, ты, например, до этого возраста не доживешь.

Она вдруг сморщилась, глаза ее – в первый раз за все это время – изменили свое выражение.

– Что с тобой?

– Я плохо себя чувствую, – сказала она, глядя в сторону. – Ты ничего не заметил?

– Да, мне показалось, что...

– Я провела три месяца в санатории, – сказала она, – из-за легких. Я быстро устаю, у меня нет сил.

– Ну и что же?

– Так вот, я не знаю, как это кончится.

– Но это же ясно.

– Ах, нет, я не хочу, не хочу, ты понимаешь? Я еще не начинала жить.

– Тебе так хочется жить? Для чего? Для твоего старика, или маленького педераста, или, может быть, для чтения и музыки?

Она молчала.

– Ты помнишь, – сказал я почти шепотом, с внезапно охватившей меня злобой, – вечер в кафе, когда я с тобой говорил о Ральди? Если все-таки в твоей судьбе какая-то справедливость, Алиса, ты не находишь? Я видел, как она умирала, она была одна, и у нее не было ни копейки. Это тебе следовало быть рядом с ней. Но ты никогда не зашла ее повидать, насколько я знаю.

Она закрыла лицо руками, и я вдруг заметил, что у нее влажные от слез пальцы.

И тогда мне стало ее жаль – с такой же внезапностью, с какой несколько секунд тому назад я ощутил злобу. Я почувствовал позднее раскаяние: в самом деле, что можно было требовать от Алисы, от этой бедной красавицы с пленкой идиотизма в прекрасных глазах, и от убогого ее существования между старым и сентиментальным дураком, который ей говорил такие же убогие слова об опьянении и томлении, и ее другом, пассивным педерастом, маленьким музыкантом? Мне стало стыдно своего раздражения, я взял одну из ее горячих рук и сказал:

– Извини меня, милая, я жалею, что сказал тебе это.

– Ты жалел ее, меня ты никогда не жалел. Со мной ты всегда был жесток. Вспомни только, что ты мне говорил каждый раз.

– Ты этого не забыла?

– Нет, потому что это нанесло мне глубокую рану.

– Ну, это уже литература. Главное – не плачь.

Но она продолжала тихо плакать. Черные от риммеля слезы пачкали ее щеки, она осторожно вытирала их платком, тщательно придавливая уголки глаз.

– Не огорчайся, Алиса. Брось свою лавочку, не работай, побольше ешь, это пройдет, это не так страшно.

– Ты думаешь?

– Я в этом уверен.

Я уходил и думал: как Ральди могла так ошибиться? В Алисе не было ничего, кроме ее изумительного физического совершенства, никаких данных, чтобы стать дамой полусвета, которую Ральди хотела из нее сделать: ни ума, ни желаний, ни честолюбия, ни даже того животного, теплого очарования, которое характерно для всех женщин, имеющих успех. Ее необыкновенная красота действовала прежде всего на эстетическое восприятие – и именно поэтому у меня захватило дыхание, когда я увидел ее голой. Но в этом теле, несмотря на все его внешнее совершенство, была непонятная и холодная усталость, та самая усталость, которой не было у Ральди даже в последние дни ее жизни. Мне казалось, после этого свидания с Алисой, что ее будущее предопределено уже сейчас и что от него не следует ожидать ничего хорошего. Но я ошибся

во времени, как ошибался почти всегда, – может быть, потому, что мое собственное существование проходило в каком-то ином пространстве, ритм которого не соответствовал внешним обстоятельствам; и в этом сравнительно спокойном и бесконечно длительном бреду было чрезвычайно мало вещей, имевших одинаковое значение, одинаковую ценность, одинаковую протяженность во времени, словом, некоторую аналогию с тем, что происходило вне меня.

И вот – снова ночь, и парижские улицы, Монмартр, Монпарнас, Большие бульвары, Елисейские поля и, время от времени, мрачные и картинные кварталы окраин или нищих центров города. Я проезжал в ту ночь, около часу, по бульвару Огюста Бланки; на тротуаре невысокий человек в кепке бил по лицу женщину, которую я не успел рассмотреть. Она кричала и рыдала на всю улицу. Я знал, что не надо и нельзя в это вмешиваться и что мое заступничество было бы неуместно и бесполезно. Но я не мог на это смотреть, меня начала давить тупая и вялая тоска и желание остановить этого человека, по всей видимости, сутенера, и я испытывал еще невыносимое отвращение, почти похожее на позывы к рвоте. Я затормозил автомобиль, слез и направился к этому месту. Но я не успел ничего сделать. Откуда-то быстро подошел высокий, хорошо одетый мужчина без шляпы; он оттолкнул субъекта в кепке и сказал с американским акцентом:

– Вам не стыдно, животное? Женщин не бьют.

– Что? – угрожающе сказал субъект в кепке. – Не может быть! Тебе тоже захотелось получить по морде?

Он поднял правую руку, но в ту же короткую часть секунды человек с американским акцентом ударил его в нижнюю челюсть. Я видел это вблизи и мог оценить удар, исключительной, безошибочной удачности, почти профессиональной: вся тяжесть тела была брошена вперед в необыкновенно быстром движении, которое начиналось от ступни левой ноги, проходило по диагонали через бедро и грудь и заканчивалось стремительным и незаметным выпрямлением правой руки, сжатой в кулак. Субъект в кепке как-то особенно всхлипнул и упал, ударившись со

всего размаха головой о тротуар. Изо рта у него текла кровь, он остался неподвижно лежать. И тогда женщина, которую он только что перед этим бил, набросилась на американца и визгливо закричала:

– Ты раскровенил моего... Посмотрите на него, он, может быть, умер! Сволочь!

Он удивленно на нее посмотрел, пожал плечами и пошел прочь своей быстрой и гибкой походкой. Она бежала за ним и кричала, уже совершенно захлебываясь от слез и бешенства:

– Сволочь! Сволочь! Сволочь! Убийца!

Я стоял недалеко от фонаря. Она опустилась на колени перед субъектом в кепке, продолжавшим лежать с мертвой неподвижностью, и говорила рыдающим голосом, в котором я с удивлением расслышал нечто похожее на животную и булькающую нежность:

– Бебер, ты меня слышишь? Бебер, мой миленький Бебер!

И в эту секунду из темноты выехали на велосипедах два медлительных полицейских.

Я сел в автомобиль и поехал дальше, и мне вспомнились слова Ральди:

– Да, мой милый, это любовь. Ты этого, может быть, никогда не поймешь. Но это любовь.

Это был субботний вечер. Шоферы становились в очереди у балов, и возле гостиницы «Лютеция» я заметил одного из них, вид которого давно заинтересовал меня: это был маленький старичок с огромными седыми усами. Он был настолько карикатурен, что я не мог удержаться от улыбки всякий раз, когда его видел. И вот теперь я впервые заговорил с ним. Судя по его твердому акценту, он был из окрестностей Гренобля. Он односложно отвечал, когда речь касалась чисто профессиональных вопросов, но внезапно оживился при упоминании об аэропланной выставке, которая кончилась несколько дней тому назад.

– Да, да, – небрежно сказал он, – у них есть коекакие достижения, но все это пустяки. Они не занимаются самым главным.

– Чем именно?

Мы стояли с ним вдвоем, остальные шоферы в стороне рассказывали друг другу о своих клиентах. Был четвертый час утра, фонари освещали пустынный тротуар; старичок стоял против меня, – маленький, худенький, с громадными усами, которые подошли бы какому-нибудь гренадеру начала прошлого столетия, и с чрезвычайно важным и решительным выражением лица, которое меня поразило.

– Самое главное, – сказал он, – это что каждый человек может и должен летать.

Я молча смотрел на него. Он повторил:

– Да, месье. Может и должен.

– Должен, может быть, – сказал я, – хотя я и в этом, по правде говоря, не уверен. Но не может, вот в чем дело.

– Да, месье, может. Я уже давно работаю над этим, и рано или поздно я полечу, и вы это увидите.

И он рассказал мне, что изобрел особое приспособление, какую-то систему крыльев и передач, но что семья его, конечно, не понимает значения его дела и поэтому ему приходится трудиться в очень неблагоприятных условиях.

– Они не дают мне места, у меня нет мастерской, – сказал он, – и я вынужден работать в уборной, это очень неудобно. Во-первых, меня часто прерывают, во-вторых, помещение слишком небольшое и низкое, надо стоять в совсем особенной позе – и после некоторого времени у меня начинает болеть спина и зад. Полет состоит из трех фаз. Первая такая, – и он, не двигаясь с места, взмахнул несколько раз руками. – Это подъем в воздух. Вторая так, – он сделал несколько таких же движений, только более плавных и медленных. – И третья, это то, что в аэропланной технике называется скольжением на крыле. Вот так.

И он наклонился налево, вытянув во всю длину обе руки так, что они образовывали одну линию, и вдруг, подпрыгивая, мелкими и быстрыми шажками, побежал прочь от меня по тротуару. Одна рука его почти касалась земли, голова была прижата к плечу. Это было так неожиданно и так комично, что я стоял и смеялся до слез, не будучи в

силах удержаться. Он вернулся ко мне после своего полета и сердито сказал:

– Вы ничего не понимаете, вы просто глупы.

Но я даже не мог отвечать ему, слезы текли из моих глаз. Я долго потом вспоминал его маленькую старческую фигурку, наклоненную набок, с двумя параллельными линиями, пересекающими под прямым углом этот наклон, – линией рук и линией седых усов. Он был тихий и безобидный сумасшедший, мне о нем рассказывали его товарищи по гаражу. Среди шоферов, как во всякой сколько-нибудь многочисленной корпорации, попадались самые разнообразные типы, в частности сумасшедшие или начинавшие сходить с ума: особенности этой профессии, постоянное нервное напряжение, зависимость заработка от очень случайных обстоятельств, которые никак нельзя было учесть, – все способствовало тому, что душевное спокойствие этих людей подвергалось испытаниям, которых нередко не выдерживало. Многие шоферы просто представляли опасность для пассажиров, это были алкоголики или больные, уже тронутые началом общего паралича, у которых система рефлексов теряла необходимую гибкость. Я знал даже одного прокаженного шофера, Бог весть как заболевшего этой редкой болезнью; все лицо его было оклеено огромными пластырями, как забор пустыря рваными афишами; он вдобавок был еще очень беден и очень плохо одет, так что, когда я его увидел в первый раз на улице – он шел в гараж, за автомобилем – я принял его за нищего. Потом я познакомился с ним, он был озлобленный человек и коммунист по убеждениям, – хотя, подобно большинству этих людей, не имел никакого понятия о государственных или экономических системах.

В этом ночном Париже я чувствовал себя каждый день, во время работы, приблизительно как трезвый среди пьяных. Вся его жизнь была мне чужда и не вызывала у меня ничего, кроме отвращения или сожаления, все эти любители ночных кабачков или специальных заведений, эти своеобразные влюбленные, по терминологии Ральди, похожие своим бесстыдством на обезьян зоологического сада, – от всего этого, как говорил один из моих коллег по

шоферскому ремеслу, специалист по греческой философии и неутомимый комментатор Аристотель, с души воротило. Уйти от этого было нельзя; и об этих годах моей жизни у меня осталось впечатление, что я провел их в огромном и апокалиптически смрадном лабиринте. Но, как это ни странно, я не прошел сквозь все это без того, чтобы не связать – случайно и косвенно – свое существование с другими существованиями, как я прошел через фабрики, контору и университет.

И вот, неожиданным и маловероятным образом, моя жизнь оказалась сплетенной с тремя женщинами, Ральди, Сюзанной и Алисой. Знакомство с Ральди возникло из ее ошибки, может быть, потому, что ей изменила зрительная память, или потому, что я действительно имел незавидное и нелестное достоинство походить на какого-то давно исчезнувшего мерзавца, этого злополучного Дэдэ. Но Сюзанна и Алиса, обе питали ко мне нечто вроде непонятного доверия, которое было чрезвычайно трудно объяснить чем бы то ни было, кроме явного заблуждения, даже не умственного, а душевного. И хотя ни той, ни другой я никогда не сказал – так как мне незачем было притворяться и быть неискренним – ни одного даже просто вежливого слова, они обе рассказывали мне все, что им приходило в голову и что им казалось важным; и хотя я отвечал им с неизменной резкостью и ничем не мог и не стремился им помочь, они вновь, с непонятной настойчивостью, обращались ко мне. Может быть, впрочем, частичным объяснением этой их настойчивости было то, что меня явно не интересовала их покупная близость и что я не принадлежал к среде, в которой они жили. Во всяком случае, месяца через два после свидания с Алисой, уже летом, я получил от нее письмо, пересланное мне из моего гаража. Я был сначала удивлен, так как она не знала даже моей фамилии. Все, однако, объяснилось просто: она заметила номер и серийные буквы моего автомобиля, спросила другого ночного шофера, откуда эта машина, получила адрес гаража и написала: «шоферу автомобиля номер такой-то». Письмо было составлено правильно и без орфографических ошибок, я сразу предположил, что его сочинял ее друг, маленький педераст – так оно и оказалось.

«Мой дорогой, – писала Алиса, – я очень хотела бы тебя видеть, я была бы признательна тебе, если бы ты как-нибудь ко мне зашел, – следовал ее адрес, – все равно когда, днем или ночью. Я не выхожу из комнаты и чувствую себя довольно плохо. Я хотела бы с тобой поговорить. Я надеюсь, что ты придешь ко мне, это твой маленький долг за все те неприятные вещи, которые ты всегда мне говорил и за которые я тебя вовсе не упрекаю. Итак, я тебя жду?

Сердечно твоя Алиса Фише».

В прежнее время я не обратил бы внимания ни на это письмо, ни на это приглашение. Но после того, как Ральди умерла, значение этой смерти, этого безвозвратного ее исчезновения было настолько велико, что в нем растворялись все другие соображения, – и после этого не все ли равно, в сущности, было, хорошо или не хорошо вела себя Алиса в том мире, которого больше нет и который умер в ту самую секунду, когда остановилось сердце Ральди? Я чувствовал душевную усталость, думая об этом, но во мне уже не оставалось раздражения против Алисы. Я приехал к ней в десятом часу вечера. У нее была небольшая квартира, чистенькая и прилично обставленная, без особенно резких следов дурного вкуса. Всюду стояли цветы – в передней, в столовой, в ее комнате. Когда я пришел, Алиса лежала в кровати.

– Почему ты мне писала? – спросил я.

Она не знала, что ответить, и несколько раз повернула голову на подушке.

– Я хотела тебе сказать... я хотела тебе сказать...

– Что?

– Вот... что я теперь жалею.

– О чем ты жалеешь?

– Что я так поступила.

– Что ты мне написала?

– Да нет, ты же прекрасно понимаешь. Я говорю о Ральди.

– Слишком поздно, Алиса. Ральди умерла.

Она заплакала, по-детски морща все лицо.

– Я бы хотела, чтобы ты ко мне приходил время от времени.

– Откровенно говоря, зачем?

– Не знаю. Ты понимаешь, я ведь совсем одна. У меня никого нет на всем свете, вот только маленький музыкант, но ведь он же не человек, он, как я.

Она сбивчиво объясняла мне, почему она меня вызвала. В небольшом и бедном запасе чувств, которым она обладала, – и в котором не было ни любви, ни страсти, ни ненависти, ни даже гнева или сильного сожаления, – существовали все-таки какие-то отдаленные намеки на интерес к тому, что ее непосредственно не касалось и не задевало. Она сказала мне, что все, кого она встречала, хотели от нее, в том или ином виде, только одного, всегда одного и того же. Природа и в этом смысле не пощадила ее, лишив ее всякого темперамента.

– Для меня спать с мужчиной, все равно с каким, это наказание. Если бы ты знал, как это противно! А тебя это не интересует, ты не хочешь со мной спать. И потом, когда ты меня не ругаешь, ты говоришь вещи, которых я никогда от других не слышу. Ральди мне всегда говорила, что ты не такой, как другие шоферы. Это правда, что ты получил образование?

Мне было неловко, и мне было жаль ее.

– Я бы очень хотела, чтобы ты приходил. Я у тебя ничего, кроме этого, не прошу. Ты будешь сидеть там, где сидишь сейчас, в этом кресле, и будешь со мной разговаривать, если тебе захочется. Ты будешь говорить, о чем ты думаешь. И ты скажешь мне, почему я такая дура. Хочешь? Прости меня за беспокойство, которое я тебе причиняю.

И вот, после этого разговора, примерно раз в месяц, я приезжал к Алисе. Иногда я сидел и молчал, иногда рассказывал ей всякие истории, упрощая их и переделывая их так, как я бы их переделывал для больной девочки двенадцати – тринадцати лет. И все-таки она многого не понимала.

– И подумать, что Ральди читала с тобой Флобера! – говорил я.

– Она считала, что это полезно, – ответила Алиса. – Я этого не думала, но не смела ей сказать.

Она медленно поправлялась и через некоторое время уже начала выходить на улицу. Но здоровье не вернулось к ней в полной мере; она ни на что, собственно, не жаловалась и чувствовала себя в общем неплохо, но быстро уставала, ела без особенного аппетита, но очень крепко спала.

– Ты собираешься вернуться в мюзик-холл? – спросил я ее как-то.

– Нет, – сказала она, – это мне больше не нужно.

И, конечно, мюзик-холл ее тоже никогда не интересовал, он дал ей возможность познакомиться с ее покровителем, и на этом его роль была кончена. В конце концов, Алиса была довольна своей жизнью: квартирой, покровителем, произносившим надоевшие ей, но в его устах совершенно безобидные слова об опьянении и томлении, его нетребовательностью, мелодиями маленького педераста и тем, что могла ничего не делать и лежать сколько угодно. Она понемногу откладывала деньги и экономила на всем, только цветы у нее были всегда прекрасные и в большом количестве; но, как это оказалось, их присылал каждый день все тот же неутомимый в смысле постоянных забот о ней – и по-своему трогательный – «друг».

– Я знаю, что он меня не бросит, – говорила Алиса, – ты понимаешь, ему пятьдесят девять лет, в таком возрасте за девками не бегают. Я за него спокойна.

Несмотря на болезнь, ее красота не потускнела, стала как будто чуть-чуть прозрачнее, и теперь сделалось еще очевиднее, что в ней совершенно отсутствовала та живая и теплая прелесть, которая возбуждает чувственное влечение к женщине. И было, в конце концов, понятно, что ее наиболее близким другом стал маленький музыкант, в котором так же отсутствовало мужское начало, как в ней отсутствовало женское. Я сидел как-то у нее вечером ранней осенью, в кресле, перед открытым окном; она, как всегда, лежала на диване, положив под голову руки, аппарат радио чуть слышно – она не любила громкой музыки – играл какую-то невнятную мелодию. Во всем, от этой музыки до слабеющего запаха цветов, до самого воздуха ее квартиры, было нечто усыпляющее, хотелось дремать, ослабив все мускулы тела; я сидел и чув-

ствовал, как то, что обычно волновало или сильно занимало меня, постепенно таяло и исчезало, и не оставалось ничего, кроме этой непонятной, почти болезненно сладкой дремоты. И я вспомнил еще раз, как весной, два года тому назад, в комнате Ральди, с этим высоким и узким окном, я видел Алису голой и прекрасное ее тело в солнечных пятнах. Из этой красавицы Ральди хотела сделать даму полусвета. Я понимал теперь, как мне казалось, почему она занялась подготовкой Алисы к этой своеобразной карьере и зачем ей все это было нужно. Это был последний мираж Ральди и еще, быть может, бессознательная жажда бессмертия, в которой она, конечно, не отдавала себе отчета. Ее жизнь, ее блистательные возможности – вне которых она не представляла себе смысла своего существования – все было кончено, потому что она состарилась и против этого не было никаких средств. Но весь громадный запас ее чувственного и душевного богатства – следы которого оставались только в ее огромных и нежных глазах – еще не стал мертвым грузом, умерли лишь возможности его применения. И вот это, ненужное ей теперь, богатство она хотела передать Алисе, в которой оно должно было продолжаться, – эти слезы, волнения, дуэли, объятия, стихи и готовность отдать все за ослепительное счастье, которого, в конце концов, никогда не существовало. И то, что, несмотря на весь свой несравненный опыт, она так ошиблась в Алисе, доказывало только, что она была ослеплена этим своим желанием в такой степени, что не сумела увидеть самого главного и самого характерного для Алисы – именно того странного, неожиданного в ней отсутствия жизни, которое было не менее непоправимо, чем возраст и морщины Ральди, и которого не могло заменить ни знание английского языка, ни чтение Флобера, ни тысячи каких бы то ни было советов.

Я сидел в кресле Алисы, почти засыпая и сравнивая сквозь одолевшую меня дремоту, горячий и солнечный день нашей первой встречи и тихий вечер, сейчас, теперь, в эту минуту. Между ними было зыбкое и медленное пространство двух лет, – как песок, беззвучно засыпающий все, – холмы и рвы, поля и побережье. От этого моя мысль

незаметно перешла к морю, к лесу, к реке, ко всем этим бесчисленным запахам, к этим гибким раскачиваниям веток, к этому медленному полету листьев, – к тому, чего я так долго был лишен в Париже. Это были вещи, к отсутствию которых я никогда не мог привыкнуть, как я не мог привыкнуть к выражению глаз у большинства людей, с которыми мне приходилось чаще всего встречаться. Видя лица коммерсантов, служащих, чиновников и даже рабочих, я находил в них то, чего не замечал раньше, когда был моложе, какое-то идеальное и естественное отсутствие отвлеченной мысли, какую-то удивительную и успокаивающую тусклость взгляда. Потом, присмотревшись, я начал думать, что это спокойное отсутствие мышления объяснялось, по-видимому, последовательностью нескольких поколений, вся жизнь которых заключалась в почти сознательном стремлении к добровольному душевному убожеству, к «здравому смыслу» и неприятию сомнений, к боязни новой идеи, той боязни, которая была одинаково сильна у среднего лавочника и у молодого университетского профессора. Я никогда не мог забыть этого выражения тяжелых и спокойных глаз – у хозяйки гостиницы, в которой я жил, в Латинском квартале. Она рассказывала мне о благородстве двух ее постоянных жильцов, старичка и старушки; они вложили свое состояние в какие-то акции, которые потеряли ценность, и, узнав это, они оба застрелились.

– Подумайте только, месье, – говорила она, – они были настолько добры и любезны по отношению ко мне, что они это сделали – то есть покончили с собой – не у меня в гостинице, а здесь, за углом, у моего соседа. Они не хотели ни пачкать комнат кровью, – ведь я недавно положила новый ковер, месье, вы знаете, сколько теперь стоят новые ковры? совершенно новый, мне его как раз накануне доставили, – ни причинять мне неприятности с полицией. И вот они умерли так же, как они жили, благородно, месье, да, благородно. – И слезы струились из ее глаз. И я подумал, как страшна была эта двойная смерть, оказавшаяся, однако, бессильной перед любовью к порядку и нежеланием доставить неприятность своей хозяйке и одновременно сделать ей действительно последнее одолжение,

повредив репутации ее конкурента. Я не мог еще привыкнуть к тому, что все вокруг меня судорожно цеплялось за деньги, которые они откладывали даже не для достижения какой-нибудь цели, а просто потому, что так вообще было нужно. И эта наивная, нищенская психология была одинаково сильна в самых разных людях. Даже сутенеры и проститутки, даже профессиональные воры, даже самые отчаянные из них и близкие к сумасшествию, даже коммунисты и анархисты, которых мне приходилось видеть, никогда не сомневались ни на минуту в том, что право собственности есть священнейшее из прав.

– Бедный Прудон! – сказал как-то Платон, когда я поделился с ним своими мыслями. Он в последнее время еще как-то сдал, еще ниже опускал усталую голову над стойкой, еще запачканнее стал его плащ, еще быстрее он пьянел, еще чаще он погружался в мертвое молчание, из которого его ничто не могло вывести. Он изредка разговаривал только со мной, с трудом узнавая меня сквозь постоянный и почти непрозрачный туман, который, казалось, окружал его. И по мере того как углублялось это его состояние и неизбежно приближался тот день, когда его длительная трагедия должна была закончиться какой-то развязкой, мир в его глазах – и прежде всего Франция – разваливался и погибал и ритм этого крушения почти в точности соответствовал, я полагаю, быстроте собственной гибели Платона, стремительной кривой его падения. Каждый раз, за то время, в течение которого я с ним не разговаривал, в промежутках многодневных или многонедельных пауз, происходила очередная катастрофа в его суждениях: то исчезала философия, то живопись, то поэзия, то скульптура. – Карпо был, в сущности, довольно жалкий человек. Паскаль был просто больной, вы это знаете так же хорошо, как я; и что значит, скажите, пожалуйста, весь этот бред об Иисусе Христе? и что значит эта фраза, почти страшная по своей банальности, вы знаете, знаменитая фраза – мы умрем в одиночестве? А стул на краю бездны, который он видел? А это глупейшее «вечное безмолвие бесконечных пространств»? – что нам до этого безмолвия, скажите на милость? Клинический случай? – да. Материал

для анализа в области буйных помешательств? – да. Но только не философия и не наука, будем же, наконец, говорить серьезно. – И последним исчезновением, совпавшим с этими днями, днями Алисы, предшествовавшими новому несчастью, которого мне опять пришлось стать свидетели, – было исчезновение музыки. – Но, мой бедный друг, у нас никогда не было музыки. Да и что бы мы с ней стали делать? Мы ее не слышим, она нам так же не нужна, как пещерному человеку не были нужны картины Ренессанса. У нас есть Тино Росси, вот наша музыка!

Мне было тяжело слушать то, что говорил Платон; он был одним из немногих людей, судьба которых мне не была безразлична. Я поэтому иногда эгоистически уклонялся от разговоров с ним и ограничивался поклоном. Каждый раз я следил за всеми его движениями с тягостным вниманием. Он отвечал мнё со своей постоянной вежливостью и произносил несколько слов; во всем моем ночном Париже он был единственным человеком, говорившим на прекрасном французском языке, – он и Ральди. Но Ральди уже умерла, а он еще был жив.

И помимо всего, в его судьбе было нечто поучительное для меня лично – в той мере, в какой вообще судьба одного человека может заключать в себе нечто полезное для другого, некоторые данные абсурдной на первый взгляд и, может быть, действительно иллюзорной аналогии. Со времени наших первых с ним разговоров – сколько вещей изменилось или исчезло в том ограниченном мире, где проходила моя жизнь? И тогда же я вспомнил давнее свое опасение, основанное на длительном и печальном опыте и сущность которого сводилась к мысли, что, быть может, этот зловещий и убогий Париж, пересеченный бесконечными ночными дорогами, был только продолжением моего почти всегдашнего полубредового состояния, куда странным и непонятным образом были вкраплены действительно живые и существующие куски, окруженные, однако, мертвой архитектурой во тьме, музыкой, глохнущей в диком и непрозрачном пространстве, и теми человеческими масками, неверность и призрачность которых была, наверное, очевидна всем, кроме меня. Соот-

ветственно этому, я невольно вел двойное существование; когда я ехал по знакомым улицам, мне достаточно было на секунду ослабить внимание, как передо мной начинали возвышаться неведомые дома, неизвестные углы и их резкие каменные повороты, и вдруг становилось ясно, что я пересекаю мертвый ночной город, которого никогда не видел. И только в следующую секунду, когда внимание вновь схватывало ускользающую и колеблющуюся, как тряпка на ветру, полосу сознания, – я замечал, что нахожусь на бульваре Распай и въезжаю в улицу Ренн, где знаю все магазины, все дома и, кажется, всех людей, которые там живут. И так же абсурдно, так же двойственно было то, что я сидел за рулем автомобиля, в серой кепке, с папиросой в углу рта и разговаривал на арго со всевозможной ночной сволочью, среди которой у меня были друзья и собеседники, о клиентах, о трудных делах, о хозяевах, о профессиональных интересах, или с пьяными пассажирами или сомнительными субъектами, перевозившими в моей машине явно краденые вещи, – и вернувшись домой, автоматически и мгновенно начинал жить в ином мире, где не было ни одного из тех представлений, из которых состояла моя ненастоящая, ночная и чужая жизнь.

Каждый раз, когда мне удавалось сосредоточить мое внимание на каком-либо вопросе, интересовавшем меня в данное время, я замечал странную вещь: чем дольше это продолжалось, тем больше я погружался в нечто, вроде смертельного спокойствия или медленной и воображаемой агонии. Я думаю, так должны себя чувствовать умирающие в те предпоследние минуты, когда физические их страдания почему-либо прекратились, но внешний мир со всеми его интересами, вопросами и ощущениями уже перестал существовать для них. Мне кажется, что именно тогда их глаза приобретают ту особенную, свинцовую непрозрачность, в значении которой нельзя ошибиться и которую я видел много раз; может быть, это происходит потому, что их тускнеющие зрачки уже не отражают ничего живого, как внезапно потемневшее, ослепшее зеркало. Обычно, когда я бывал в таком состоянии, я лежал в

своей комнате, на диване; и мне казалось, что если бы произошел пожар, я бы не двинулся с места. Это было тем удивительнее, что ни малейшее физическое недомогание не сопровождало это, я вообще не знал никаких болезней; но я думаю, что, когда я буду умирать, – если я буду в сознании, – я вряд ли узнаю что-нибудь новое, и уже теперь, мне кажется, я мог бы описать свою смерть – этот постепенно стихающий шум жизни, это медленное исчезновение цветов, красок, запахов и представлений, это холодное и неумолимое отчуждение всего, что я любил и чего больше не люблю и не знаю. И оттого, что это состояние было мне так знакомо, происходили, надо полагать, все вещи, которые были противоречивы, но одинаково характерны для моей жизни: сравнительное равнодушие к собственной судьбе, отсутствие зависти и честолюбивых стремлений и, наряду с этим, – бурное, чувственное существование и глубокая печаль потому, что каждое чувство неповторимо и возвратное его, столь же могучее, казалось бы, движение находит меня уже иным и иначе действует, чем это было год или десять лет, или десять дней, или десять часов тому назад.

Иногда, после такого очередного припадка, я впадал в почти мертвенное душевное состояние, и тогда я нередко сутками лежал у себя в комнате, не выходя из нее, ничего не видя и ничем не интересуясь; потом я погружался в глубокий, каменный сон и, проснувшись, снова начинал жить, как раньше.

И вот в один из таких дней ко мне опять пришла Сюзанна. Я сравнительно давно ее не видал – с тех пор примерно, когда неожиданная смерть Васильева, которой она была искренно рада, внесла некоторое успокоение в ее существование. Она даже как будто немного поправилась и пополнела; но насколько я мог рассмотреть в полутьме – ставни моего окна были спущены, – в ее глазах стояло прежнее, дикое и взволнованное выражение. Я только начинал приходить в себя после длительной душевной прострации – и мне нужно было некоторое время, чтобы опять вспомнить всю эту историю Сюзанны, Федорченко и Васильева. Но даже когда я с усилием воли заставил себя

вернуться к ней, мне продолжало казаться, что все это не заслуживает сколько-нибудь пристального внимания.

– Что еще?

– Это опять начинается, – сказала Сюзанна.

Она села на кресло и стала жаловаться, что Федорченко опять оставляет ее одну по целым дням, а нередко и по ночам, что он снова не похож на себя, много пьет, проводит время в кафе и часто ходит – она проследила это – в русский ночной ресторан на Монпарнасе.

– Оставь его в покое, – сказал я, – не думай, что я могу что-либо сделать. Ты его, по-видимому, больше не интересуешь, тут ничего не поделаешь.

– Если бы ты знал, как он обожал меня до тех пор, пока на мое несчастье не появился этот сумасшедший.

– Ну да, обожание кончилось.

– Это потому, что он болен.

– Чем?

– Все тем самым.

– Но с тех пор генералов не похищали, насколько я знаю.

– Генерал – это только подробность, – с воодушевлением сказала она, – это только подробность – генерал.

– Подробность или нет, но ты опять начинаешь те же самые глупости.

– Это твой гимназический товарищ, ты должен что-то сделать.

– Что, например?

– Поговори с ним, объясни ему.

– Я не священник.

– Не бросай меня так – на произвол судьбы, – сказала она, всхлипывая. – Я бедная женщина, у меня никого нет. К кому же мне обращаться?

Было ясно, что она возлагала на меня какие-то совершенно фантастические и несбыточные надежды, это почти переходило в манию. Я пожал плечами и обещал ей поговорить с Федорченко, и после этого она ушла, неожиданно и напрасно успокоившись.

Мне не пришлось его долго искать, я встретил его в ту же ночь на Монпарнасе. Я поразился тому, как он похудел; лицо его приобрело постоянно тревожное и напряжен-

ное выражение. Глаза у него блестели, и я не знал, следовало ли это объяснить действием алкоголя или другой, более серьезной причиной. Когда мы сели с ним за столик пустого ночного кафе, то после первых же его слов – как давно, во время разговора с Васильевым – я почувствовал, что теперь все потеряно и ничто не может его остановить. Он начал с того, что спел своим низким голосом – у него был плохой слух, он фальшивил – два цыганских романса. Равнодушно удивленная физиономия гарсона заглянула в зал, где мы сидели, но Федорченко ее не заметил. Потом он сказал:

– Сегодня живем, завтра умираем, не так ли? Помните, как мы пели, когда кончали гимназию, как это? да, nos habebit humus... и еще – nemini parcetur[1].

Я подумал, – из какой глубины дошли до него эти слова забытой песни на чужом языке, которых, если бы он продолжал жить так, как жил раньше, он не вспомнил бы до смерти. Он говорил теперь по-русски, не вставляя французских слов, и это тоже было тревожным признаком; до сих пор он избегал русского языка.

В кафе, как всегда, стоял глухой гул особенных, ночных голосов, которые так отличны от дневных. Несколько этих звуков отдаленно напомнили мне те обрывки разговоров и фраз, которые слышатся в темноте, когда поезд останавливается ночью на каком-нибудь полустанке; и вот из свежей полевой тьмы раздаются слова, которыми обмениваются железнодорожные служащие, и их необычные незабываемые интонации. Мы сидели в зале моего кафе, и, хотя стойка была отделена от нас перегородкой, я ясно видел ее перед собой: мадам Дюваль со вставными зубами, неподвижная фигура Платона за стаканом белого вина, желтое лицо гарсона, который был счастлив, так как он зарабатывал себе на жизнь, и рядом с ними эти тупые и медленные движения тщательно одетых сутенеров и проституток, которые приходили сюда, как животные к водопою. Федорченко молчал, подперев руками голову. Потом он сказал одно слово:

– Тяжело.

---

[1] нас поглотит прах... не исключая никого (*лат.*).

– Почему?

Он поднял на меня свои тревожные глаза – и мне показалось на секунду, что на меня смотрит какой-то другой человек, которого я никогда не знал и который не имел ничего общего с Федорченко.

– Я все думаю о том же, – сказал он, – о том самом, помните, о чем я вам говорил на Елисейских полях. Вы тогда не хотели мне отвечать.

– А, помню. Но я думаю, что на эти вопросы ответов не существует, а может быть, не существует и вопросов.

– Хорошо, – сказал он. – Вот вы открываете, скажем, магазин. Вы знаете, зачем вы это делаете: чтобы заработать деньги и прожить. Правда?

– Да.

– Теперь другое. Вы живете – это же сложнее, чем торговать в магазине, и более важно. Правда?

– Правда.

– Зачем вы это делаете?

Я пожал плечами.

– Если владелец магазина находит, что торговать не стоит и что деньги вообще ерунда, – то он магазин закроет, а сам уедет, допустим, рыбу ловить. А если вы не знаете, зачем вы живете, что тогда делать? Что делать? – повторил он. – Ну, хорошо, вот я напиваюсь каждые два дня и тогда ничего не понимаю. Но это же не выход из положения.

– Плохой выход, во всяком случае.

– Я хочу знать, я хочу, чтобы вы мне объяснили. Во-первых: зачем я существую на свете? Во-вторых: что будет со мной, когда я умру, и если ничего не будет, то на кой черт все остальное?

– Что именно?

– Все: государство, науки, политика, Сюзанна, коммерция, музыка – особенно музыка. И зачем небо над головой? и зачем вообще все? Ведь не может быть, чтобы все было зря?

– Я не знаю, что вам ответить.

– А зачем погиб Васильев? Я все время думаю об этом.

– Это, конечно, катастрофа. Но не забывайте, что он был сумасшедшим.

– Вы думаете?

– Уверен.

– Да, но если нет Бога, государства, науки и так далее, то это значит, что сумасшедших тоже нет.

Меня удивляло не только то, что он говорил об этих вещах, но и то, как именно он говорил. До сих пор его разговор касался исключительно вопросов материальных, и вот впервые та гибельная абстракция, перенести которой он был не в состоянии, вдруг овладела его вниманием. Она проникла в него, отравляя его незащищенное сознание, и победить это было в тысячу раз труднее, чем голод, или болезнь, или непосильный физический труд. Он все сидел, не поднимая головы, потом опять заговорил медленным и низким голосом:

– Я недавно перечитывал Евангелие.

Я кивнул головой.

– Там мне запомнилось одно место.

– Какое?

– «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные и Аз упокою вы». Значит, ответ на все где-то есть.

Он опять посмотрел на меня, и мне снова показалось, что я встречаю взгляд каких-то человеческих глаз, которых я до этой ночи не видел. Это впечатление было так сильно и явно, что мне стало не по себе. Это было похоже на ощущение, которое я мог бы испытать, если бы вдруг увидел призрак или медленно поднимающегося из гроба мертвеца. В ту же минуту мне стало ясно, что этот человек был обречен не менее безвозвратно, чем Васильев, потому что с такими глазами нельзя было продолжать жить по-прежнему – коммерческое предприятие, Сюзанна, поездки за город по субботам. Мне показалось, что в кафе наступила мгновенная тишина, хотя я продолжал слышать гул голосов у стойки; и было бы естественно, чтобы это состояние разразилось какой-то катастрофой. Но ничего, конечно, не случилось, я старался поддерживать этот тягостный разговор и все больше убеждался, что человек, который сидел против меня, потерял всякое сходство с Федорченко, которого я так давно и хорошо знал.

Он говорил о вещах, которые в прежнее время никогда не могли бы ему прийти в голову. Вопросы, от которых он не мог отделаться и ответы на которые ему казались настолько необходимыми, что без них не стоило жить, – все эти вопросы были мне знакомы очень давно; и так как я медленно и постепенно привыкал к их трагической неразрешимости, во мне выработалось нечто вроде иммунитета против них. Федорченко же был беззащитен. Мне казалось, что я присутствую при каком-то жестоком и воображаемом опыте, что я вижу тщетную борьбу организма с быстро распространяющейся болезнью, которой он не в силах одолеть. Это было так тягостно, что пребывание вдвоем с этим человеком становилось почти невыносимо.

Расставшись с ним и идя домой, я думал: что можно было сделать? Было ясно, что вернуть Федорченко в его прежнее состояние могло бы только чудо, он был похож на человека, падающего с отвесной стены, – и, подумав это, я вспомнил Платона и разговор о стуле над бездной.

Через некоторое время я пошел в то ночное русское кабаре, где часто бывал Федорченко и о котором мне рассказывала Сюзанна. В моей жизни было несколько вещей, которым я никогда не мог сопротивляться: это были некоторые книги – я не был способен оторваться от них, если они попадали в мои руки, – это было женское лицо, которое много лет неизменно – где бы я ни жил и как бы я ни жил – появлялось передо мной, едва я закрывал глаза, это были, еще непреодолимо притягивающие меня, море и снег; и это было, наконец, ночное пение, гитара или оркестр, кафе или кабаре, и пронзительно печальные звуковые ухабы цыганской песни или русского жалобного романса. Я знал наизусть эти, нередко нелепые и смешные, сочетания слов, невозможные ни в одном сколько-нибудь терпимом стихотворении, эти, неприемлемые почти для любого вкуса, разлуки, мечты, очарования, цепи, расставания, цветы, поля, слезы и сожаления; но сквозь эти слова струилась славянская и непобедимая в своей музыкальной убедительности печаль, без которой мир не был бы таким, каким я себе его создал. Это было своеобразное и безвыходное очарование,

которое бесконечно шло точно по звучной музыкальной спирали, и с каждым новым кругом проходило мимо тех же чувств, которые были задеты раньше и которые словно стремились, в мучительной и бесплодной попытке, следовать за удаляющейся, медленно улетающей мелодией. Нечто похожее, мне казалось, было в тех тонких деревьях, которые гнулись по ветру и все точно пытались лететь за ним, – когда бывает буря и когда все, что не создано неподвижным, уносится непреодолимым движением воздуха. В этом было еще напоминание об ином, исчезнувшем мире, о конце прошлого и начале нынешнего столетия, когда время шло так медленно и когда история одного, в сущности, незначительного чувства могла наполнить всю жизнь. Это было еще видение далеких вещей: летние поля и сады под луной, запах цветов и скошенного сена, сине-белое сверкание звонкого, как стекло, снега, ямщики, лошади, дуги, колокольчики и звуковые тени, доносившие до нас эти чужие воспоминания о людях, которые давно умерли и которых мы никогда не знали. Но главное, после этой музыки наступали минуты особенного, чувственного бессилия и беспредметного исступления, не похожего ни на что другое. После этого можно было совершить поступок, которого не следовало совершать, сказать слова, которых не нужно было говорить, и сделать какую-то неудержимо соблазнительную и непоправимую ошибку.

Кабаре, в которое я пришел, было таким же, как многие другие русские кабаре, отличавшиеся только большей или меньшей роскошью – или бедностью – отделки. Здесь был такой же оркестр – скрипач, виолончелист, пианист, – такие же гарсоны с бритыми и меланхолическими лицами, такая же небольшая эстрада, поставленная вкось, точно немного съехавшая со своего обычного места. Там было два певца и две певицы, все со звучными фамилиями, но главной была Катя Орлова, уже немолодая, накрашенная женщина в черном, трагическом, очень открытом платье, – и за первым столиком, с одиннадцати часов вечера до пяти часов утра, сидел широкоплечий, плотный

человек в смокинге и черепаховых очках, голландец, ее теперешний любовник, с неизменной бутылкой шампанского. Я случайно знал эту женщину, у нее была бурная и легкая жизнь; она удивила меня тем, что, когда я с ней познакомился и разговорился, – цитировала стихи Анненского и Рильке и вообще знала много вещей, о которых кабаретная певица обыкновенно не имеет представления. Она была пьяна в то утро, прозрачно откровенна и доверчива и рассказывала мне о своей жизни – о гимназии, о Петербурге, Флоренции, Дрездене, о довоенном Париже, о пансионе в Англии, где она училась, и о многом другом. Она была некрасива, только глаза ее были очень хороши; у нее был низкий и небольшой голос, которым она владела с инстинктивным и безошибочным даром, никогда ни у кого не учась. Она потом забыла и то раннее утро, когда мы с ней познакомились – это было в кафе, после ночного ресторана, нас было не меньше десяти человек, – и стихи, которые она мне читала, и мое лицо, и никогда не узнавала меня во время моих посещений очередного кабаре, где она выступала.

В ней было нечто вроде необъяснимого и, как это иногда бывает, почти электрического очарования, и я помню, что однажды незнакомый и совершенно пьяный человек сказал мне о ней вещь, которая поразила меня своей случайной точностью, именно, что когда она начинает петь, то получается впечатление, будто включен ток. Позже я узнал, что он был инженер, специалист по электричеству и что он был далек от желания ее как-то особенно определить, а просто воспользовался наиболее привычным для него термином.

Если бы нужно было в одном слове сказать, о чем всегда пела Катя – во всех ее романсах и на всех языках, – то трудно было бы найти что-либо, что подходило бы более точно, чем слово «сожаление». Я думаю, что в этом заключался для нее весь ее личный опыт, как у большинства людей, которые достаточно развиты и умны, чтобы понимать отвлеченные вещи, но в которых нет силы для

создавания новых чувственных систем, – силы, нередко свойственной другим, более примитивным. Во всяком случае, это был всегдашний смысл Катиных песен, ее «ключ», как выразился один мой знакомый, говоря о ней. И это было – в последовательности душевных катастроф – то, чего не мог не понять Федорченко, постоянный ее слушатель. И вот постепенно, в силу странной и непобедимой случайности, каждый раз, через ночь он погружался в этот минорный, звуковой туман и начинал невольно переживать потерю всех тех вещей, о которых пела Катя и которых у него никогда не было, так как он никогда не знал ни этих троек на снегу, ни аллей старого сада, ни потерянной любви, ничего из всего этого печального и вздорного мира. Я видел, как он сидел, тяжело подперев голову рукой и глядя неподвижными глазами на эстраду и черное платье Кати.

Все это – неразрешимые вопросы и всегда готовая цыганская тоска не могли бы, быть может, сами по себе, произвести на него такого гибельного действия, если бы они не были частью того стремительного и очень широкого душевного недуга, жертвой которого он стал и смысл которого мне казался ясен, как мне казалось ясно, почему разговоры о проблемах с Федорченко вызывали у меня только чувство неловкости. Это было результатом его чудовищного душевного опоздания. Те вещи, с которыми наше сознание – мое и большинства моих товарищей и современников – вошло в соприкосновение очень давно, когда мы только научились думать и потом неизменно продолжали свое непрекращающееся, медлительное действие, потерявшее первоначальную остроту и болезненность и ставшее почти привычкой, – эти вещи возникли для него теперь, после того, как он прожил целую жизнь, в которой они никогда не играли никакой роли. И вот теперь это явилось во всей его трагической и неизбежной сложности. Он походил на сорокалетнего, полного человека, никогда не знавшего физических усилий, которого вдруг

заставили проделывать акробатические упражнения, доступные шестнадцатилетнему юноше; и от этого у него рвались мускулы, трещали кости, растягивались сухожилия, болели суставы, давно потерявшие гибкость, стучало сердце, не выдерживавшее такого напряжения.

И первая из этих вещей было начинавшееся понимание чувств, которых он сам не испытал, и участие в чужих и далеких жизнях, вообще та работа воображения, которой он раньше никогда не знал. Он стал читать книги, он интересовался судьбой их героев так, точно это было тесно связано с его личной участью. Этот человек, отличавшийся несокрушимым крестьянским здоровьем и не имевший понятия ни о недомоганиях, ни о хотя бы секундной потере сознания, ни о том состоянии между действительностью и воображением, которое знают почти все люди, занимающиеся искусством, – теперь начал существовать точно в постоянном душевном бреду, где смешивались воспоминания о теориях и смерти Васильева, содержание впервые прочитанных книг и вопросы, все те же самые вопросы, без возможности найти на них ответ. Это было для него особенно невыносимо, потому что по своей природе он принадлежал к той категории людей, для которой, в лучшем случае, логические построения являются максимумом их умственных достижений и для которой существование иррациональных вещей недопустимо.

За последний год он увидел и воспринял больше, чем за всю свою жизнь. Чем больше я думал об этом, тем больше меня поражало удивительное и случайное сходство его теперешнего состояния с чисто физиологическими явлениями, отчеты о которых я читал в медицинских книгах – все та же отчаянная и заранее обреченная на неудачу борьба организма с неумолимо распространяющимся адом. И по мере того, как проходило время, все очевиднее становилось явное и трагическое расхождение судьбы Федорченко с путем, по которому она должна была бы идти. Это было тем более ясно, что его предприятие

процветало и приносило ему доход, увеличивавшийся с каждым месяцем. Было, наконец, еще одно, законное завершение этой жизни, – то, о чем мне впервые сказала Сюзанна, когда она была у меня и с ней случился обморок: она была беременна. Она подурнела и изменилась, и ее детски-преступное лицо приобрело нехарактерную для него серьезность, и сквозь все краски, которые она на него накладывала, вдруг стали проступать человеческие черты, как на старинной картине, после первой попытки реставрации выступают неожиданные подробности, проявляющие ее прежний, скрытый до тех пор, смысл. – Мне теперь говорят «мадам», – говорила она мне, – и уступают мне место, и мои клиентки дают мне советы и спрашивают, как я себя чувствую.

Но Федорченко уже ничто не могло остановить. Мне казалось, что, если бы он уехал на другой конец света, изменил бы совершенно свою жизнь и забыл бы о том, что с ним происходило, – все равно, весь этот страшный мир, этот воздух, в котором он задыхался, все равно вернулся бы к нему.

Помню особенно, как я долго смотрел на него, придя однажды в кабаре, – он не знал о моем присутствии. Он сидел, закрыв глаза, закинув назад голову на жилистой шее, и я тогда заметил, что его лицо было способно бледнеть, – до сих пор оно всегда было красноватым. И в этой темноте – он ни разу не открыл глаз – сквозь музыкальный туман до него доносился низкий голос Кати, певший о сожалении и расставании и о потерянных возможностях счастья, – и опять Россия, почти неведомая и далекая Россия, и все тот же снег, и ямщики, и бубенчики. Мне представилась тогда, среди этой цыганской, поющей и плачущей тоски, непоправимая ошибочность такой жизни и всего, что происходило; и вместе с тем это была одна из тех ошибок, после которых прежнее существование, счастливое и спокойное, навсегда теряет свою, казалось бы, законную и заслуженную привлекательность. Это была ошибка безвозвратная; тот, кто ее совершал и понимал сейчас весь

этот легкий и хрупкий мираж, не мог уже обрести того, что этому предшествовало.

Все это время судьба Федорченко, – хотя я относился к нему всегда с совершенным, казалось бы, равнодушием, – сильно занимала меня, у меня было впечатление, что я присутствую при его душевной агонии, не будучи в состоянии ему помочь чем бы то ни было. Я долго искал объяснения этого невольного и неожиданного моего сочувствия к нему. Я думаю, что все-таки оно возникло оттого, что Федорченко, в эти последние месяцы его жизни, в силу стремительной и смертельной своей эволюции, приблизился к тому типу людей, который всегда интересовал меня и с которым до сих пор он не имел ничего общего. Все это время я не мог отделаться от ощущения, что и я, каким-то косвенным и незаконным образом, участвую в его несчастье. Это было результатом одной моей злополучной особенности: я невольно приучил свою фантазию к слишком усиленной и напряженной работе, – и, раз начавшись, эта работа продолжалась, и я не всегда мог ее остановить. И так же, как мне казалось, я понимал Платона, следуя за ним, насколько это было мне доступно, во всех его рассуждениях и в его заблуждениях, углубленных постоянным опьянением, так же, как с необъяснимым и напряженным вниманием я почти что переживал, восстанавливая чуть ли не каждую мелочь в воображении, бурную жизнь Ральди или существование Алисы, – так теперь я был окружен тем воздухом, в котором задыхался и умирал Федорченко.

Рассуждая логически, мне не было никакого дела до всех этих людей; но, как всегда, меня волновала чужая и далекая печаль, как меня преследовал призрак чужой смерти – всю мою жизнь. Я почти не принадлежал себе в такое время, именно тогда, когда это становилось особенно сосредоточенно и когда какая-нибудь цепь событий подходила к своему концу. Личная моя судьба сложилась так, что мне неоднократно приходилось присутствовать при неизменно трагических развязках, это повторя-

лось столько раз и в таких различных обстоятельствах, что я стал казаться себе в какой-то степени похожим на агента из бюро похоронных процессий. В результате этого длительного опыта я пришел к тому выводу – он лишний раз подтверждался сейчас примером Федорченки, – что мой обычный взгляд на людей и их душевный облик был почти всегда неправильным, и это выяснялось в последние месяцы, или недели, или годы их жизни. Я задавал себе тогда вопрос: что было вернее – мое постоянное представление об этом человеке или об этой женщине или то совершенное изменение его, которое происходило потом? Так было и с Федорченко. Он прожил свою жизнь, и все считали его – имея на это достаточные, казалось бы, основания – тупым и ограниченным человеком, которого не интересовало ничто, кроме вещей материального порядка. И вот теперь он умирал, забыв совершенно о своих доходах и своем предприятии, и как он одет, и когда будет воскресенье, и искренно мучаясь над тем самым душевным и отвлеченным миром, которого все его прежнее существование было отрицанием.

* * *

Я особенно хорошо помню это лето. Особенность его заключается в том, что, когда я вспоминаю другие периоды моей жизни, прошлое медленно возникает передо мной; но когда я вспоминаю душные июнь, июль и август того года, все стремительно и одновременно появляется сразу, как непостижимо сложное целое, соединяющее в себе разнородные и непохожие вещи, и хаотичность этого неправдоподобного соединения остается неизменной и всегда одной и той же. Я вижу маленькую и тихую улицу в Париже, на которой я жил, и деревянный, трещавший, многостворчатый ставень моего окна, пятна солнца на мостовой, вижу уличных певцов, ежедневно туда приходивших, слышу их дребезжащие, неверные голоса, чувствую тяжелый, каменный зной Парижа, вижу в дымном и жарком небе,

на соседнем доме из красного кирпича, круговую террасу и там лонгшез, в котором сидела женщина в темно-красном халате – я никогда не мог рассмотреть ее лица – и читала книгу; последние недели в городе, перед отъездом на юг, воскресенья и воскресные толпы людей, ночные повороты, смещающиеся в побежденной тьме фонари и лепет автомобильных шин на затихших торцах и камнях, усталые ночные лица моих пассажиров в тревожные, предрассветные часы – и еще особенную, ни на что не похожую тоску, не исчезающую и не поддающуюся забвению. Я помню звук дождя о деревянный ставень в те ранние часы утра, когда я возвращался с работы и ложился спать; он вызывал во мне воспоминания и ощущения такой глубины, что сколько я ни искал в своей памяти, я не мог найти времени в моей жизни, когда бы этот звук не являлся бы для меня чем-то столь же знакомым, как ощущение моего лежащего тела. И теперь я прислушивался к дождю, как десять и двадцать лет тому назад, и тогда я смутно ощущал мою бессознательную животную связь с бесконечно далекими предками, с которыми у меня не осталось никакого сходства, кроме этих нескольких, чисто физических повторений, каждое из которых, однако, несло в себе идею почти что бессмертия.

В эти дни и недели происходили последние события в жизни Федорченко. Они развивались настолько явственно и определенно, их ход был так заранее предрешен, что со стороны казалось – ничего не могло быть проще, как уклониться от них. Другими словами, стоило Федорченко бросить ненужную и беспомощную философию и просто заняться своими делами, чтобы всякая мысль о какой-либо опасности показалась бы вздорной и ни на чем не основанной. Но в развитии этой душевной катастрофы было нечто, похожее на направление динамитного взрыва, – направление наибольшего сопротивления.

Я почти не встречал его в последние дни его жизни. Два или три раза я заметил его в кабаре, где пела Катя,

и мне показалось уже тогда, что в его лице была восторженная отчужденность от всего происходящего, это было самое отвлеченное лицо, которое я когда-либо видел, это была неправдоподобная абстракция Федорченки. Сколько я ни пытался понять, что именно, какие именно физические признаки создавали это впечатление, я вынужден был возвращаться к одному и тому же выводу, – это было так же неуловимо, как несомненно. Я узнал потом, что он много писал в последнее время, и все по-русски, об этом мне сказала Сюзанна. Но бумаг этих найти не удалось.

То, что случилось тогда и чего я был свидетелем, долго не доходило до моего сознания, хотя я помнил все подробности этих событий. Но мне как-то не думалось об этом; и всякий раз, когда я пытался восстановить этот день, у меня в памяти всплывал то какой-нибудь мотив, то недавно виденный фильм, то особенная интонация женского голоса, которую я слышал на улице, – но не это. И только недели две спустя, на юге, на берегу моря, однажды утром, я отчетливо и ясно вспомнил все.

Я лежал на берегу, передо мной было море, особенно гладкое в тот безветренный день, и к нему вплотную подходили красные, раскаленные сосны; воздух прозрачно дрожал над поверхностью пляжа, кричали цикады, по недалекой дороге изредка проезжали автомобили. Все, что было в моей жизни до этой минуты, казалось мне чрезвычайно далеким, почти не существовавшим, не оставалось ничего, кроме этого моря, этого, как всегда безоблачного и далекого неба. Я перевернулся со спины на живот и увидел обрывок газеты, который кто-то бросил здесь. Это был старый номер «Пари-Суар», смятый, порванный и наполовину втоптанный в песок, так что мне видны были только крупные буквы заголовка: «Странная история»...

И когда я прочел эти слова, передо мной сразу встал, с той мгновенностью, которая характернее всего для воспоминаний, связанных с каким-нибудь запахом, – последний день, которым закончились наиболее важные события в жизни Федорченки.

Это был дождливый и душный день, я проснулся с тем же ощущением беспричинной и непреодолимой тоски, с каким заснул, взглянул на портрет женщины, висевший на стене – и так интересовавший Сюзанну, – и долго смотрел на это лицо, которое казалось мне в то утро далеким и чужим, хотя я знал все его выражения, и все движения этих губ, и все изменения этих глаз; но в тот день даже это почти перестало существовать для меня. Я только что кончил одеваться, когда раздался звонок и вошла Сюзанна. Выражение ее лица было такое же тревожное и беспомощное, как все это время. Она была на последнем месяце беременности, ее живот сильно выдавался, физиономия ее стянулась и потускнела.

– Не очень ты хороша, моя милая, – сказал я. – Еще что-нибудь случилось, или ты просто пришла мне надоедать, как всегда?

– Я пришла тебе надоедать, как ты говоришь. Идем ко мне, мы вместе позавтракаем. Я не могу оставаться одна.

– А твой муж?

– Он спит, он вернулся только утром. Я не знаю, где он был.

Я пошел с ней. Я бы этого не сделал, если бы находился в своем нормальном состоянии, но тогда мне было все равно, куда идти и что делать. Она несколько оживилась, мы разговаривали о том, когда и как все это кончится. Сюзанна сказала мне, что после смерти Васильева она надеялась, что все станет по-прежнему, но улучшения не произошло. Она чувствовала все больше и больше с каждым днем, что человек, за которого она вышла замуж, уже не существует, вместо него – другой, еще сохраняющий физическое сходство с первым, но которого она не знает и не понимает. Она сказала это иначе.

– Я его не узнаю, иногда я думаю, что этого человека я никогда не видела. Знаешь?

– Так ты говоришь, что ты его не узнаешь? – я машинально повторил ее фразу, думая о другом. Мне казалось тогда, что я думал о другом; лежа на берегу моря, я легко

восстановил свою тогдашнюю мысль, это было лицо Федорченки в кабаре и его удивительная, смертельная отвлеченность, – в сущности, то же самое, о чем говорила Сюзанна.

– Пойду-ка я его разбужу, – сказала она, вставая и направляясь к затворенной двери в его комнату. – Ты его увидишь, и ты сам мне скажешь, тот же ли это человек.

– Тот же самый, – ответил я, – только он в другом состоянии, вот и все.

Она потянула к себе дверь, дверь не поддавалась.

– Вот! – с удивлением сказала она. – Что же это такое?

Она потянула сильнее, упершись одной рукой в стену, у меня было впечатление, что к двери, с той стороны, привязан какой-то груз. Наконец она с трудом отворилась – и в ту же секунду Сюзанна закричала таким животным и диким криком, что я вскочил со стула и бросился к ней.

На коротком и узком ремешке, туго обмотанном вокруг дверной ручки, полувисело, полусидело скорченное тело Федорченки. Ремешок глубоко врезался в его шею, лицо его было лиловато-багровым, и мертвые, открытые глаза прямо и слепо смотрели перед собой.

По лестнице уже поднимались люди, они стали звонить и стучаться в квартиру; я отворил им. Сюзанна, не переставая кричать, билась в судорогах на диване. Через некоторое время появились полицейские, потом пришли фельдшерицы в белом, которые увезли Сюзанну: у нее начались роды. Я должен был давать объяснения по поводу моего присутствия здесь. Консьерж рассказывал полицейскому инспектору, что жилец вернулся домой в шестом часу утра. Врач, присланный из комиссариата, заявил, что смерть произошла несколько часов тому назад. Мне удалось уйти только к вечеру. На дворе, не переставая, шел тот же душный и теплый дождь.

На следующее утро я поехал в больницу, где лежала Сюзанна. Она очень изменилась за одну ночь, на ее лице было необычное для нее – и новое для меня – выражение

почти торжественного спокойствия. Она была неузнаваема, как будто она поняла какие-то необыкновенно значительные вещи, которых, конечно, не узнала бы никогда, если бы им не предшествовала эта непонятная трагедия и если бы не было этого трупа, так неловко и тяжело повисшего на ее двери. Волосы ее были аккуратно причесаны, золотой зуб блестел из-под приподнятой верхней губы.

– У меня мальчик, – сказала она. – Какая драма, не правда ли? По крайней мере, теперь можно сказать, что все кончено.

– Да, кончено, – повторил я.

Дня через два я рассказал это Платону, как я рассказывал ему о многом, чего был свидетелем или участником. Он был очень пьян в тот вечер, я провожал его домой, и мы прошли таким образом больше половины расстояния, отделявшего наше кафе от маленькой улички, на которой он жил. По дороге он говорил, что действительно все кончено и что Сюзанна не подозревает, насколько она права. Перед тем как попрощаться, мы остановились на минуту под фонарем. Он прямо посмотрел мне в лицо своими мутными и неподвижными глазами, потом вдруг схватил мою руку, крепко ее сжал – это с ним случилось в первый раз за все время и сказал:

– Я не понимаю, как вы все это выносите, будучи непьющим человеком. Вам надо пить, уверяю вас, иначе вы погибнете; и когда наступит ваш собственный конец, он будет еще трагичнее, чем все, что вы мне рассказываете.

Я расстался с ним на avenue du Maine. Он уходил и делал короткие жесты правой рукой, я представлял себе, что он должен был повторять: надо пить, надо пить, надо пить, надо пить, иначе этого нельзя вынести.

И, возвращаясь домой на рассвете этого дня, я думал о ночных дорогах, и о смутно тревожном смысле всех этих последних лет, о смерти Ральди и Васильева, об Алисе, о Сюзанне, о Федорченко, о Платоне, о том немом и могучем воздушном течении, которое пересекало мой путь сквозь

этот зловещий и фантастический Париж, – и которое несло с собой нелепые и чуждые мне трагедии, и понял, что в дальнейшем я увижу все иными глазами; и как бы мне ни пришлось жить и что бы ни сулила судьба, всегда позади меня, как сожженный и мертвый мир, как темные развалины рухнувших зданий, будет стоять неподвижным и безмолвным напоминанием этот чужой город далекой и чужой страны.



РАССКАЗЫ

МЭТР РАЙ

Мэтр Рай, француз, блондин с черными глазами и резким квадратным лицом, агент Sûreté Générale[1], был послан из Парижа в Москву по одному важному политическому делу. В те времена, о которых идет речь, ему было около тридцати лет; он давно уже окончил Парижский университет по юридическому факультету и около восьми лет занимался исключительно политическими предприятиями, приносившими большой доход и позволявшими ему, не имея личного состояния, жить довольно широко. Он пользовался репутацией одного из лучших агентов Франции; и слово «мэтр», которым его называли и на которое он имел право благодаря своему юридическому образованию, принимало довольно часто иной, более почтительный смысл: мэтр Рай действительно был головой выше всех своих коллег. Ему предстояла прекрасная карьера. Помимо чисто профессиональной ловкости, необходимой людям его ремесла, он был одарен многими другими способностями. Он бегло говорил на нескольких языках, понимал с полуслова то, что другим приходилось объяснять, никогда не срывался в своих опасных делах и был еще награжден необыкновенной удачей во всем, за что он брался. Говорили, что тень счастья следует за ним повсюду.

Он был ниже среднего роста, но очень силен; и целые годы постоянной физической тренировки и напряженных умственных усилий сделали из него почти непогрешимый человеческий механизм. Нервная система мэтра была в идеальном порядке: даже частые бессонные ночи нисколько не повлияли на нее. Он легко переносил путешествия какой угодно длительности, засыпал в любом

[1] Главное управление сыскной полиции (*фр.*).

положении, никогда не тяготился скукой бесконечных поездок и не знал, что такое морская болезнь. Оттого, что он был молод и очень здоров, и еще, пожалуй, из-за постоянных усилий воображения, направленных на разрешение опасных, но чисто практических задач, – отвлеченные идеи не привлекали к себе его интересов. Запас его сведений в том, что выходило за пределы его обязанностей – в этике, в философии, в искусстве, – был, однако, достаточно велик, чтобы позволить ему, если бы к тому представилась необходимость, построить и защитить какую-либо систему идей; но такой необходимости не представлялось – и знания мэтра оставались в этой области инертными и неподвижными. Мэтр Рай не допускал мысли о том, что, если бы они пришли в движение, это повлекло бы за собой катастрофу: в той душевной среде, которой был окружен мэтр Рай, не должно было происходить ничего, что не могло бы быть предвидено с большей или меньшей приблизительностью.

Но вот, однако, садясь на пароход, идущий из Марселя в Константинополь, мэтр вдруг ощутил незнакомое ему до сих пор чувство непонятного раздражения и ничем необъяснимой тревоги. Его никто не провожал: семьи у него не было, и он считал лишним посвящать кого бы то ни было в свои планы. Только одна фигура в кепке и порванном пиджаке, с лицом, на котором синела под левым глазом декоративная опухоль, – появилась на пристани в последний момент и сейчас же исчезла, встретив взгляд мэтра. Это был человек, которого упрямые и глупые чиновники низшего персонала Sûreté Générale неизменно посылали каждый раз, чтобы проверить, действительно ли мэтр Рай уезжает. Однажды, после своего возвращения из очередной поездки, мэтр пришел к начальнику бюро, заведовавшему филерами, и, особенно спокойно и холодно смеясь, сказал, что считает его дураком. Начальник бюро смолчал, так как очень боялся, что мэтр Рай, употребив свое влияние, добьется его увольнения. Но мэтр ничего такого не сделал – и начальник филеров, каждый раз боясь пуще прежнего, опять посылал следить за мэтром, потому что считал это своим служебным долгом.

Было довольно холодно; начинало темнеть. Обрывки бумаги, обломки досок и блестящие масляные пятна танцевали на грязных волнах. Пароход давно уже стоял на рейде, и мэтр Рай рассеянно глядел перед собой и видел зажигавшиеся невдалеке огни пристани и черные лодки, привязанные к берегу. Потом он обошел несколько раз палубу и, дождавшись первых движений винта, сразу взбившего пену, спустился вниз.

Пассажиров было немного: католический патер, высокий худощавый мужчина лет сорока пяти, большой любитель анекдотов, юноша-грек с быстрыми движениями и вороватыми глазами и боксер тяжелого веса, грузный гигант из Буэнос-Айреса; боксер все не мог забыть о своем недавнем поражении и в четвертый раз рассказывал о том, что арбитр был далек от беспристрастности. Он говорил по-английски; патер слушал его с видимым удовольствием, но иногда в неподходящих местах начинал смеяться и опять умолкал под тяжелым взглядом боксера. Взяв под руку мэтра, он сказал:

– Представьте себе, что этот рассказ меня нисколько не утомляет. Благодарение Господу! Я не понимаю по-английски.

Мэтр Рай вежливо улыбнулся одними губами.

Кроме патера, грека и боксера, на пароходе ехала еще высокая женщина в синем платье, одесская актриса, с гордым и неспокойным лицом; по пятам за ней ходил коротконогий русский, судя по всему, коммерсант: напряженное выражение его физиономии свидетельствовало о постоянной готовности немедленно сделать все, что она захочет. Мэтр Рай посмотрел на актрису и почувствовал зависть к русскому. – Très bien, la petite?[1] – вдруг сказал голос сзади него. Мэтр обернулся и увидел улыбающееся лицо патера.

Мэтр Рай сел в кресло, закурил трубку и сделал усилие, чтобы забыть о том тревожном и пронзительном чувстве, которое он начал испытывать так недавно и которое можно было бы сравнить с предчувствием несчастья, если бы это не случилось с мэтром в первый раз за всю

[1] – Все в порядке, малыш? (*фр.*)

его жизнь. Но, несмотря на некоторую рассеянность, мэтр по привычке успел заметить те мелкие подробности, которые казались более всего характерными при поверхностном осмотре пассажиров: толстый бумажник русского – коммерсант переложил его из одного кармана в другой, ища какую-то газетную вырезку, – бегающие глаза грека, сложную сеть красных жилок на лице патера и заштопанные локти на прекрасном костюме боксера. – Денег у него немного, – подумал мэтр. – Впрочем, возможно, что это его дорожный костюм и он просто человек экономный. – Вряд ли, – ответил себе мэтр и тут впервые заметил, что пароход начало качать. – Вряд ли: для этого он недостаточно сообразителен.

Уже стали не видны огни Марселя. Мэтр сидел с полузакрытыми глазами; у него слегка шумело в голове, хотя он ничего не пил. На спутников он больше не смотрел; но несколько раньше его внимание было привлечено актрисой и боксером: боксером – потому, что тот был прекрасным образцом атлетической фигуры, актрисой же оттого, что воспоминание о ней заставило мэтра на секунду потянуться и привести в движение и напрячь мускулы своего тела. И вдруг мэтру стало казаться, что уже не в первый раз он едет на этом пароходе и видит этих людей, и точно давным-давно он так же ехал по морю и испытывал ту же странную тоску, и что потом он долго пробыл в забытьи и темноте, и когда опять открыл глаза, то уже забыл обо всем. Пароход качало все сильнее. У актрисы сразу же началась морская болезнь: ее спутник с испуганным взглядом побежал зачем-то в каюту. Тело актрисы сводило, кожа на ее лице посерела. Мэтр отвел от нее глаза и увидел боксера, которого громадная фигура согнулась пополам: боксер кряхтел и вращал головой. Взгляд патера, устремленный вверх, показался мэтру удивительно бессмысленным. Юноша-грек, не страдавший от качки, похлопывал патера по спине; патер поворачивался, чтобы указать греку на все неприличие его поведения, но только смотрел, и вздыхал, и не мог произнести ни слова.

Мэтр Рай пошел в свою каюту. Было около одиннадцати часов вечера. Мэтр ощущал в горле неприятный при-

вкус от съеденных за ужином макарон, которые экономный повар приготовил, должно быть, на несвежем масле. Мэтр лег на койку и закрыл глаза, думая, что тотчас же уснет, как всегда. Это, однако, ему не удалось. Качка продолжала усиливаться: каюта опускалась и выпрямлялась – то справа налево, то сверху вниз. Ныряя и поднимаясь на своей койке, мэтр Рай следил движение неровных теней на полу, которые мерно ходили за вздрагивающей и вращающейся лампой. Неприятный вкус макарон все усиливался, усиливался также легкий звон в ушах и голове. – Я болен, – в первый раз подумал Рай. Ему показалось, что дверь каюты медленно открывается. Он посмотрел внимательнее; дверь была неподвижна. Но зато в кресле мэтра сидел неизвестно как и когда вошедший в каюту боксер. – Что вам нужно? – спросил мэтр. Но боксер ничего не ответил; и мэтр решил оставить его в покое. – Только как он сюда попал? – удивился мэтр и тотчас же забыл об этом вопросе. Пароход качало по-прежнему. Мэтр Рай глядел на боксера и с каждым взмахом койки, казалось, приближался к нему; но кресло неизменно повторяло движение койки и оставалось недосягаемым. Тяжелый шум моря смешивался со звоном в ушах, и когда мэтр Рай попробовал заговорить вслух, он не услышал собственного голоса. Мэтр замолчал; он продолжал пребывать в непривычном ему мире каких-то образов и звуков; его не переставала пугать их тревожная несущественность.

– Боксер, – с усилием подумал мэтр, и койка медленно полетела к креслу. – Боксер путешествует и зарабатывает деньги кулаками. Потом вернется в свой Буэнос-Айрес и узнает какую-нибудь гадость: например, что у его жены есть любовник. Это, наверное, неприятно.

Пароход бросало из стороны в сторону. Мэтр, уставив неподвижные глаза на боксера, продолжал думать:

– Да, а потом эти прекрасные мускулы станут дряблыми и ни одна женщина... Он не мог вспомнить, что – «ни одна женщина». – Да, ни одна женщина не захочет ему принадлежать... Если он, конечно, не заплатит. А потом и женщин не будет нужно. И останется смерть и воспоминания.

И удивительно и неожиданно мэтр Рай вспомнил юношу-итальянца. Это было тогда, когда мэтр жил в Милане и благодаря его усилиям итальянская полиция раскрыла заговор анархистов. Юноша, о котором вспомнил мэтр, был одним из деятельных членов партии и ближайшим товарищем Рая. На очной ставке, узнав, что мэтр – француз и провокатор, он закричал ему в лицо:

– On te rappelera ça un jour!

– Vous êtes un comédien[1], – ответил тогда мэтр.

– Теперь он сидит в тюрьме, – думал мэтр. –Конечно, комедиант я, а не он. А когда он выйдет из тюрьмы и встретится со мной?.. Я не боюсь его. Но что я ему отвечу? Я болен, – опомнившись, сказал мэтр.

Волнение сразу стихло. Прежняя ясность мысли на некоторое время вернулась к мэтру. – Все пустяки, – сказал он, – это просто редкая разновидность морской болезни. – Но заснуть он все-таки не мог и долго ворочался на койке. Старая детская песенка вдруг всплыла в его памяти, и он тотчас же вспомнил и ее простой мотив:

Quand j'étais petit
Je n'étais pas grand,
J'allais à l'école
Comme les petits enfants[2].

Мэтр улыбнулся от удовольствия, что вспомнил мотив, и стал потихоньку петь и думал, что вот этот детский мотив и есть самое лучшее, что было в его жизни. – Все остальное, – с улыбкой говорил себе он, – все дела, деньги, женщины и рестораны – все это грязно и ненужно. А это хорошо:

Quand j'étais petit
Je n'étais pas grant...

Он посмотрел на кресло и увидел, что боксера нет. Тем лучше. И тотчас же стукнула и открылась дверь и в каюту вошла русская актриса: на ней были легкий капот

---

[1] – Однажды тебе это припомнят! – Вы – комедиант (*фр.*).

[2] Когда был я маленьким,
Не был я большим,
И ходил я в школу,
Как все малыши (*фр.*)

и ночные туфли. Но мэтр Рай, улыбаясь, взглянул на нее, увидел ее едва прикрытое томительное тело – и остался лежать. – Monsieur, – сказала актриса, и мэтр вежливо и задумчиво улыбнулся, почти не слушая ее. – Monsieur, – исступленно повторила она, – voulez vous tromper mon amant avec moi?[1]

Мэтру захотелось смеяться. – Разве она может понять, – думал он с веселым лицом, – что это совсем ненужно и неважно?

– Non, madame, – сказал он, едва удерживаясь от смеха, – non, madame, je n'en ai aucune envie[2].

Тотчас же вслед за этим актриса вышла вон, хлопнув дверью, – и мэтр Рай перестал смеяться. – Что я сделал? – сказал он; и вся ужасная бессмысленность его поступка стала ему ясна. – Я отказался? Два дня тому назад я заплатил бы ей большие деньги. Я болен! – закричал он. – Я болен! Я болен!

Он суетливо заерзал на койке; сильная головная боль мешала ему думать. Он вытянулся и, наконец, заснул.

Пароход подходил к Константинополю. Над светлой водой Босфора летали бессчисленные белые пятна чаек, похожих издали на перистые и движущиеся облака, которые рассыпались при соприкосновении с морем и затем опять возникали, колеблясь в прозрачном воздухе. Все пассажиры вышли на палубу, и грек, стоявший рядом с боксером, объяснял ему:

– Вот это Пера, вот это Галата, вот это Стамбул.

Они проезжали вдоль берега; белые и желтые виллы выходили из воды, блестели вышки минаретов: солнце ярко светило, и было тепло. С пристани доносился сплошной и резкий крик, маленькие тяжелые лодки, в которых турки гребли, стоя спиной к корме и глубоко погружая весла, пересекали Босфор во всех направлениях. На мосту, соединяющем Стамбул с европейской частью города, толпилось множество народа, и мэтр вспомнил, что, когда он в первый раз подъезжал к Константинополю

[1] – Месье... вы не хотели бы обмануть со мной моего любовника? (*фр.*)

[2] – Нет, мадам... нет, мадам, у меня нет никакого желания (*фр.*).

и увидел это скопление людей в одном месте, ему показалось, будто произошла катастрофа. Пароход между тем шел все медленнее и, наконец, остановился на рейде; его тотчас же окружили лодки. Перевозчики, перебивая друг друга, предлагали свои лодки, и мэтр услышал высокий, но явственно мужской голос, кричавший по-русски:

– Нет, я не поеду! Он нас утопит!

Лодка, однако, уже отплыла, и турок греб с презрительным хладнокровием, не обращая никакого внимания на крики своего пассажира; в заливе было довольно сильное волнение. Католический патер долго торговался, но, наконец, тоже сговорился и сидел в лодке, углубившись в красный молитвенник.

Мэтр Рай нанял перевозчика, не торгуясь. Турок, удивленный его щедростью, греб с остервенением и через некоторое время перегнал обе лодки, выехавшие раньше. Мэтр поклонился актрисе, которая в ответ презрительно повела плечами. Зато ее спутник встал во весь рост, широко и приветливо улыбнулся мэтру, но тотчас же упал, не удержавшись на ногах.

Два дня, которые мэтр Рай прожил в Константинополе, он провел все в той же непонятной тоске и тревоге. По ночам он скверно спал и видел необыкновенные сны: реки, покрытые льдом, чрезвычайно похожим на гофрированную бумагу, аббата, ехавшего почему-то на велосипеде, и юношу-анархиста, который приближался к нему и говорил:

– Il y a quelque chose qui ne marche pas, mon cher maître?[1]

Мэтр просыпался, выкуривал полтрубки и снова засыпал. Уже под утро он пробудился в четвертый или пятый раз. – Мне надо пройтись по улице, мне необходим свежий воздух, – смутно подумал он. Он оделся и вышел из гостиницы. Было очень рано; маленькие худые старички несли тяжелые корзины с мясом и зеленью; турки, про-

[1] – Существует ли что-нибудь, что не движется, дорогой мэтр? (*фр.*)

дававшие бублики, медленно двигались в легком утреннем тумане. Где-то неподалеку кричал невидимый осел. Мэтр пошел по Пера, направляясь к Галатской лестнице; несколько невыспавшихся матросов попались ему на глаза. Вдруг он увидел нечто очень странное; высокий дом, мимо которого он проходил, стал медленно и бесшумно наклоняться; фигура русской актрисы показалась на третьем этаже и двигалась в воздухе вниз, держась за раму окна. Мэтр остановился – и услышал хриплый голос боксера, который сказал тоном дружеского предупреждения:

– Осторожней, дорогой мэтр, вам может не поздоровиться от таких путешествий.

Мэтр обернулся. В эту минуту раздался сильный треск, мягкие руки женщины обняли мэтра, и темная стена дома внезапно остановилась над его головой.

Потом стало понемногу светать, предметы сделались виднее, и мэтр Рай убедился, что он находится в постели, в номере своей гостиницы. За кофе, разговорившись со своим соседом, читавшим «Le Matin» и ожесточенно бранившим французскую юстицию, которая делает возможным постоянное оправдание «ревнивых и огнестрельных дам», как он выразился, мэтр забыл о своем сне. Он узнал, что первое судно, идущее в Севастополь, должно отплыть только утром следующего дня, – и поэтому вечером, когда стемнело, он отправился гулять по городу, отказавшись от услуг проводника, которые ему усиленно предлагали.

Он прошелся по Пера, увидел, что ничего нового на ней не появилось, и решил пойти в ту часть города, которой не знал. Он выбрал наудачу одну из маленьких улочек, идущих вправо от Пера, вниз, долго шагал по ней, пересек большое турецкое кладбище с покривившимися мраморными столбиками памятников, и очутился в Касим-Паше. Он забирался все дальше и дальше вглубь, несколько раз сворачивал, не заботясь о том, куда его приведет дорога, – и когда захотел вернуться, то напрасно проблуждал полчаса и вернулся на то место, где уже был и куда вовсе не собирался возвращаться. Он побродил некоторое время по пустым узким улицам, между деревянными домами с

решетками на окнах и понял, что без посторонней помощи ему будет трудно выбраться из этого лабиринта. Кругом стояла тьма: один жалкий керосиновый фонарь освещал сухие камни на неровной мостовой и слой серой пыли, лежащий на крыльце ближайшего дома. Мэтр постоял минут десять: никого не было. Потом прошел высокий худой турок в чалме, который ничего не ответил, когда мэтр спросил его, не может ли он указать дорогу на Пера. Когда мэтр, рассердившись, попытался приблизиться к турку, тот вдруг пустился бежать. Сознавая всю нелепость погони, мэтр все-таки побежал за ним и, конечно, догнал бы его; но турок вскочил в какую-то подворотню, и мэтр остался на улице. Пожав плечами и выругав всех турок на свете, мэтр принялся идти с ожесточенной быстротой и старался только не сбиваться с раз взятого направления. Через полчаса он уже был на Галате в маленьком ресторанчике; хозяин-грек возбужденно спорил с каким-то экзотическим матросом, наряженным в венгерку; в углу старик слепой играл на бандуре и мальчик поводырь смирно сидел рядом с ним, подложив под себя загорелые, обнаженные до колен ноги, покрытые золотым пушком. Черноволосая девушка в красной кофте и серой клетчатой юбке подсела к мэтру и сказала как бы между прочим: – I love you, darling[1].

Мэтр посмотрел на нее и ничего не ответил.

– Я люблю вас, дорогой земляк, – проговорила она по-русски.

Мэтр опять промолчал. Но девушка не смутилась. Она приложила руки к сердцу, хрустнула пальцами и произнесла, совершенно правильно выговаривая по-французски:

– Je vous aime, mon chéri.

– J'aurai voulu vous répondre de la même façon[2], – резко сказал, наконец, мэтр. Но девушка не поняла его ответа, так как знала по-французски только одну фразу. Она начала ругаться, смешивая турецкие, еврейские и

[1] – Я люблю вас, дорогой (*англ.*).

[2] – Я люблю вас, мой дорогой. – Я хотел бы вам ответить тем же (*фр.*).

греческие слова, и мэтр дал ей лиру, чтобы она замолчала. Он получил за это липкий поцелуй: она обняла его, в глазах его потемнело, и он вспомнил свой последний сон. – Почему со мной случается только то, что я уже знаю? – пробормотал он и поднялся со своего места; грек-хозяин, улыбаясь и приводя в движение всю кожу своего лица, проводил его до дверей. Мэтр пошел в свою гостиницу, не обращая внимания ни на что и не видя, как горят огни на Босфоре, как вьется виноград на старинных стенах, как белеют в темном воздухе недалекие здания Нишатанж'а и какими приземистыми и маленькими кажутся каменные орлы на здании германского посольства.

Через день мэтр был в Севастополе.

Он курил, сидя на скамье Приморского бульвара. Рядом с ним сидел Смирнов, один из российских агентов Sûreté Générale, довольно известный в своих кругах, очень энергичный и живой человек – и вдобавок старый товарищ мэтра по Сорбонне. Смирнов быстро говорил мэтру, все время для шутки вставляя в свою речь сложные времена: il avait fallu que je lui donnasse quelque chose[1], – о том, что, по его мнению, следует сделать.

– Я очень рад, что это поручили тебе: ведь у тебя есть счастье; а без счастья там ничего не сделаешь. Этого негодяя с собаками не сыщешь. Мне предложили это дело, но я отказался: меня узнают там сразу же, хотя бы я надел турецкие штаны и черкеску. Но я должен тебя предупредить, что ты будешь иметь дело с серьезными людьми.

Он сделал паузу.

– Ils n'ont pas froid aux yeux[2], – сказал он, продолжая думать о тех людях, с которыми предстояло встретиться мэтру.— Но, в сущности, ведь только в опасности есть соблазн и удовольствие.

Мэтр не сразу ответил. – Ты находишь, что я не прав? – спросил Смирнов.

Перед их глазами стояло несколько деревьев; за деревьями виднелось блестящее и гладкое море. Вдалеке из синей воды вставали очертания Михайловской крепо-

---

[1] ему следовало что-то дать (*фр.*).

[2] – Это крутые парни (*фр.*)

сти; свинцовые горы громоздились справа. Было как-то очень пусто; дул ветер, в городе звонили колокола; и сверкание моря, и мрачные отблески лиловой глины на берегу, и тяжелые звуки колокола, и неподвижный солнечный воздух непонятно почему, но явственно для мэтра, подчеркивали его страшное бессилие и одиночество. Та тоска, которая в начале путешествия охватила только одну часть его сознания, теперь окончательно овладела им.

– Что? Да, конечно, – сказал он рассеянно. – Только все это бесполезно и бессмысленно.

– Что бессмысленно? – не понял Смирнов. Мэтр Рай удивился, как Смирнов не понял такой простой и очевидной мысли о том, что и политические дела, и соблазн опасности – пустячные и глупые вещи. Но он не хотел ни спорить, ни делиться своими чувствами со Смирновым.

– Да, ты, конечно, прав, – сказал он. – Я говорю, что терять время в ожидании чаще всего бесполезно. – Мэтр сделал усилие, чтобы привести это неубедительное объяснение.

– Ожидание всегда кончается, – ответил Смирнов. – Но я не рассказал еще всего, что нужно. – И Смирнов долго говорил мэтру о людях, чье знакомство могло бы оказаться мэтру полезным. Этими людьми были – m-r Jean, русский рантье, как назвал его Смирнов, m-me Rose, хозяйка одного частного учреждения в Москве, очень милая женщина и к тому же парижанка, и студент Коро: этот только на случай драки, так как он очень силен. – Ну, и, конечно, тот главный, от встречи с которым зависит успех твоей миссии. – И он описал молодого человека двадцати трех лет, кутилу и игрока, ловкого, осторожного и опасного противника. Мэтр, казалось, внимательно следил за быстрой французской речью Смирнова, но на самом деле почти не слушал его. Он думал о совершенно посторонних предметах: его заинтересовало, женат ли Смирнов, есть ли у него привязанности, любил ли он кого-нибудь. Эти необычные для мэтра мысли удивляли его самого. – Что такое Смирнов? – спрашивал он себя. – Человек, который всю жизнь занимается разными делами и, в сущности, не

знает, зачем он это делает, – да ему и не нужно это знать, пожалуй. Зачем? Хотя, в конце концов, это глупо.

Кончив разговор, Смирнов первым поднялся со скамейки. – Ну, всего хорошего, – сказал он мэтру. – Bonne chance[1]. – И ушел. Мэтр остался сидеть; он закурил, бросил спичку на землю и смотрел с усиленным и необъяснимым вниманием, как догорал огонек ее на красноватом песке аллеи.

В Севастополе было тепло, в Москве было холодно; стоял ноябрь месяц, и мэтр Рай ходил в шубе. Он очень скоро нашел m-r Jean, оказавшегося необыкновенно любезным человеком из породы мышиных жеребчиков; несмотря на свои в буквальном смысле слова преклонные годы, он был удивительно бодр, ходил вприпрыжку, посмеивался, хихикал, щипал горничных и все говорил о девочках и о выпивке в хорошей студенческой компании. Полагая, что мэтр Рай не понимает по-русски, он в первый же день сказал хозяину ресторана в присутствии мэтра, с которым ужинал:

– Это француз; можете со счетом не стесняться. О процентах мы поговорим потом.

Хозяин понимающе улыбнулся. – Все-таки не слишком усердствуйте, – вдруг холодно сказал мэтр по-русски. – Excusez moi, – пробормотал m-r Jean, – c'était une erreur. Je croyais que vous n'entendiez pas le russe[2], – прибавил он с деланным простодушием. – Не беспокойтесь, – ответил мэтр, пожав плечами, – я вас не стану упрекать, – и мэтр рассмеялся: мысль о том, что m-r Jean может обидеться, показалась ему особенно забавной.

Глубокое безразличие мэтра не помешало ему сразу оценить этого человека, – еще до случая в ресторане. Мэтр разговаривал с ним односложно; m-r Jean лебезил и посмеивался. Он, однако, водил мэтра по Москве, показал ему несколько мест, где бывает молодой человек, из-за которого приехал мэтр, и, наконец, сообщил адрес учреждения.

---

[1] – Удачи (*фр.*).

[2] – Извините меня... это ошибка. Я думал, что вы не понимаете по-русски (*фр.*).

– Вы мне больше не нужны, – сказал ему мэтр на третий день. M-r Jean обрадовался, но сделал печальное лицо. – Постойте, куда же вы? – сказал мэтр с внезапным озлоблением, видя, что m-r Jean собирается уходить. – Вот, – он протянул деньги, – возьмите за труды и выпейте с девочками в студенческой компании. – M-r Jean улыбнулся и сделал ногами сложное па. – Все танцуете? – презрительно сморщившись, сказал мэтр. – Не понимаю вас, вам сто лет, а вы прыгаете. Собачья старость, – еще пренебрежительнее проговорил он. – Скоро помирать; да вы и на небо пойдете вприпрыжку. Ну, идите. – M-r Jean исчез.

Несколько вечеров подряд мэтр бесплодно потратил на розыски. Его охватило отвращение ко всему, что он делал, и он стал думать, что самым честным было бы отказаться от поручения и уехать домой. – Надо отдохнуть, – думал мэтр. – Надо отдохнуть. – И он решил, что если и после визита к m-me Rose ничего не изменится, то он завтра же уложит вещи и уедет. Пусть это поручат Смирнову. И в тот же вечер, надев черный костюм, он отправился в учреждение к m-me Rose.

Он явился слишком рано; никого еще не было. Он вошел в большую и длинную комнату, освещенную громадной лампой с красным абажуром; вдоль стен были расставлены мягкие стулья. Тапер с унылым еврейским лицом играл на рояле минорные мелодии. Стилем салона была тихая скорбь: печальные красавицы в черных платьях с такими гигантскими розами в руках, что розы больше походили на подсолнечники, были развешаны по стенам; на громадной картине «Нюренбергский палач» был изображен раздетый до пояса мужчина с непонятно томными глазами, заносивший топор над головой юноши, до странности напоминавшего Шиллера; юношу обнимала пышногрудая девушка; жирные слезы были нарисованы на ее щеках. Мэтр Рай удивился; салон к m-me Rose был просто публичным домом.

– Elle va fort quand même[1], – подумал он.

Салон понемногу наполнялся посетителями. Казалось, что сюда приходят с кладбища или с панихиды: дамы грустно улыбались и не выпускали из рук платков.

[1] – Все-таки она далеко пошла (*фр.*).

– Drôle de p...[1] – сказал себе мэтр: он начинал недоумевать.

Наконец из боковой двери вышла женщина лет тридцати в сильно декольтированном платье: это была m-me Rose. Мэтр сразу узнал ее: два года тому назад в Париже она была арестована за шантаж одного крупного коммерсанта. Ее хорошо знали все посетители веселых мест Монмартра. Ее называли l'Hirondelle[2]. Она вела достаточно легкомысленный образ жизни: танцевала в голом виде там, где это было возможно и допустимо, занималась сделками довольно специального характера и очень свободно смотрела на многие вещи. Она тоже помнила мэтра, который однажды предсказал ей смерть в нищете и все венерические болезни. Она подошла к нему и, вздернув его подбородок указательным пальцем с лакированным ногтем, высокомерно сказала:

– А, ты тоже здесь? Ты видишь? J'ai fait du chemin, moi[3]. Ты помнишь, что ты мне предсказывал?

– Да, в том, что касается нищеты, я, по-видимому, ошибся, – ответил мэтр.

– Méchant![4]

Она поговорила с ним несколько минут и отошла.

Мэтр остался один. Он очень неважно себя чувствовал в этой толпе русских, странных и смешных людей, с накрашенными женщинами, медленно танцевавшими вальс в красном свете лампы с абажуром. Пианист играл, бледнея от усталости и огорчения; сверкающая кожа Hirondelle несколько раз промелькнула перед глазами мэтра. Того молодого человека, из-за которого он пришел сюда, не было. Мэтр просидел на одном месте весь вечер. Затем, стряхнув с себя унылое оцепенение и решив, что завтра он отправит в Париж телеграмму с отказом от своей миссии, он вышел на улицу. В ледяных лужах блестели огни. У фонарного столба стоял человек в шубе, совершенно пьяный. Он плакал и пел, умолкал и снова,

---

[1] – Забавно... (*фр.*)

[2] Ласточка (*фр.*).

[3] Я сделала карьеру (*фр.*).

[4] – Злюка! (*фр.*)

всхлипывая, начинал: «Утро туманное, утро седое...» Мэтр постоял рядом с ним и пошел дальше. Легкий туман, похожий на туман того константинопольского утра, когда ему снился падающий дом, начал тихо звенеть в его ушах. – Болен, – привычно сказал себе мэтр, но на этот раз не удивился и не испугался.

Внезапно в двух шагах от себя он увидел широкоплечего человека, загородившего ему дорогу. – Позвольте пройти, – сказал мэтр; и в эту секунду он услышал голос актрисы, с которой он ехал на пароходе. – Это он! – закричала она. Мэтру вдруг стало холодно и безразлично. Три человека набросились на него. Отбиваясь левой рукой и ногами, правой он достал револьвер и, уже стреляя в нападавшего яростнее других, узнал в нем юношу, фотография которого ему была вручена еще в Париже. Но было слишком поздно; выстрел уже гремел и катился по стенам домов и по тротуару. Сейчас же после этого на голову мэтра обрушилась рука с кастетом. Скользнув глазами по бледному лицу актрисы, мэтр Рай потерял сознание.

Он пришел в себя только через три дня. Он лежал на кровати в незнакомой комнате. Протянув с усилием руку к ночному столику, он нащупал листок бумаги. Это была телеграмма из Парижа: «Appris récompense félicitations congé trois mois revenez Bernard»[1].

С громадным трудом он вспомнил, что с ним произошло. Безумное позднее сожаление охватило его: он точно наяву увидел и ледяные лужи, и актрису, и пьяницу, певшего «Утро туманное...», и юношу, на которого был направлен его револьвер. Всю свою жизнь, изменившуюся и непохожую на ту, какую он вел до сих пор, он вспоминал поездку в Москву. И в своем дневнике он написал несколько неожиданных строк об одной разновидности морской болезни, о печальной бессмысленности путешествий и о заплаканных лицах проституток Москвы.

---

[1] «Прими поздравления награда три месяца отпуска ждем Бернар» (*фр.*).

ВЕЛИКИЙ МУЗЫКАНТ

Некоторые случайные обстоятельства моей личной жизни сложились так, что в результате их соединения во мне произошла особенная, но вначале чисто чувственная перемена, которая в дальнейшем отразилась, однако, и на внешнем образе моего существования и привела меня к тому, что я стал предпочитать ночь дню и дневной свет сделался мне неприятен. Это произошло примерно на пятый год моего пребывания в Париже. Объяснение этому, достаточно, впрочем, условное на первый взгляд, но казавшееся мне наиболее вероятным, заключалось в том, что с некоторого времени – начало его относилось именно к данному периоду моей жизни – у меня уже не оставалось никаких иллюзий и ни одного из тех сильных убеждений, которые являются для большинства чем-то столь же необходимым, как пища или вода; все, кого мне приходилось знать, верили во что-нибудь, были твердо убеждены в том, что есть вещи, которые хороши или дурны сами по себе, – что есть, кроме этого, еще нечто туманное и труднопостижимое, но несомненное и почему-то существующее для них, – и каждый определял его сообразно со своими более или менее развитыми умственными способностями: для одних это была религия, для других – географическое и неутолимое, как мираж, представление о родной стране, для третьих – необходимость общественной работы, для четвертых – неверные и чудесные фигуры карт, от которых зависело богатство или разорение, для пятых – густое, счастливое существование с законно любимой женщиной. Это были люди, одаренные силой приспособляемости к новым условиям жизни; и она была в них настолько несомненна, что вытравляла те душевные способности, нормальное действие которых могло бы в чем-нибудь помешать ее нелепой целесообразности, – она, в частности, заставляла этих

людей, попавших теперь в довольно плохое положение, – это чаще всего бывали эмигранты, – забывать о прежних временах и о том, что некогда их желания были совсем другими и гораздо более нескромными; а в тех случаях, когда дар воспоминания все же сохранялся, он становился видоизмененным и приобретал характер безобидных и приятных мыслей о прежних, счастливых годах – мыслей, соединенных с некоторым сладким сожалением о прошлом – в сущности, тоже доставлявшим скорее удовольствие, чем боль. Я видел случаи необычайного забвения и перерождения людей: я знал одного партизанского атамана, неукротимого, свирепого и властного человека, в руках которого несколько лет тому назад в России была судьба тысяч человеческих жизней; люди боялись одного его взгляда и бежали от его гнева: провинившиеся в чем-нибудь партизаны его отряда предпочитали побег, долгое блуждание по лесам и угрозу голодной смерти его суду. Я встретил его в Париже, в вагоне метрополитена, где он, протискиваясь к выходу, говорил слабым голосом – со своим невероятным, сибирским акцентом: – Pardon, monsieur, s'il vous plaît, monsieur[1], – и, как-то особенно согнув свою высокую фигуру, боком вылезал на платформу. Я окликнул его и, поговорив с ним несколько минут, узнал, что он работает слесарем на каком-то заводе, что к иностранцам плохо относятся, но что он скоро надеется получить прибавку, что «ребята» – он имел в виду рабочих-французов – его не обижают и что жаловаться ему не приходится. У него был немного растерянный, но, в общем, почти довольный вид. Он попрощался со мной, дав мне свою визитную карточку – Koutcherow, ajusteur[2], – и просил заходить: жил он где-то в рабочем предместье, аккуратнейшим образом платил за комнату и боялся громко говорить после десяти часов вечера. Я смотрел, как он уходил, следил за ним с труднопередаваемым чувством, точно видел перед собой воплощение страшнейшей душевной катастрофы, и тотчас же вспомнил – маленький город южной России и его, атамана; он ехал по улице на громадной, тяжелой лошади,

[1] – Извините, месье, пожалуйста, месье (*фр.*).

[2] Кучеров, слесарь-сборщик (*фр.*).

скакавшей по мостовой с грохотом, в котором слышались особенные звуки соскальзывающих по камням подков, – вспомнил атамановские револьверы, плеть, бомбы, его ярко-красную черкеску и радостно-исступленный крик: «Даешь!..», – сопровождаемый ругательствами – с богом, и какой-то «юбкой богоматери», и архангелами, и апостолами. Я повертел в руках визитную карточку – Koutcherow, ajusteur – и бросил ее вниз, на рельсы метрополитена.

Я видел еще множество других людей, с которыми произошли столь же разрушительные изменения, – и разговаривал как-то раз с русской женщиной в глухом притоне недалеко от рю де ля Шапелль, которая произносила нараспев – милаай! – и пила стаканами отвратительную смесь, похожую по виду на настойку нафталина, но почему-то зеленого цвета, – и после третьего стакана, взглянув на меня сквозь туман, отразившийся в ее чуть-чуть косивших глазах, сказала немного удивленным голосом: – Эх, милай, а я ведь в Харькове епархиальное училище кончила. – Я помню, что тогда это мне почему-то показалось смешным, – и я засмеялся, – и она тоже, обрадовавшись тому, что привела собеседника в хорошее настроение и что теперь, надо полагать, он не станет от нее требовать чего-нибудь унизительного или неприятного. Я заплатил за то, что она пила, и ушел, оставив ее в компании неизвестного молодого человека с туго накрахмаленным воротничком, багровой шеей и невероятным, лилово-красным шрамом, пересекавшим его неровное и темное лицо по диагонали, во всю длину, от бровей до губ. – Постой, земляк, – кричала она, – погоди, милай!

Я не мог бы сказать, что какая-либо из подобных встреч произвела на меня особенно сильное впечатление; но чем больше я видел, тем глубже и вернее, как мне казалось, понимал все несовершенство тех наивных и утешительных мыслей, которые я раньше так любил и которые сопровождали мою жизнь такое долгое, такое счастливое время. Не было, в сущности, в узнаваемых мною вещах ничего нового: но несчастье заключалось в том, что когда мои чувства, развитие которых было искусственно задержано голодом, войной и мечтами, могли, наконец, обрести необходимую гибкость для восприятия бесчисленного

множества наслаждений – от звука, от запаха, от зрительного впечатления, – то в это время все, что было непосредственно прекрасного в моей жизни, уже кончилось, и позади остались горы с белыми вершинами и сверкающая, далекая, темно-зеленая листва деревьев, растущих в глубоких кавказских расщелинах и оврагах, синие и розовые лучи на вечернем свежем снегу и пустынный запах водорослей, прибиваемых морем к песчаному берегу, – и вместо всего этого я видел иные вещи, которые, наверное, не заметил бы и о которых не думал бы, если бы был очень счастлив или очень богат. Мне начало казаться, что то, что я раньше считал единственно ценным и важным узнать, – несет в себе всегда начало нового разложения; и вместо того чтобы ошибаться, зная, что все скверно, видя все в неумолимо дневном освещении – может быть, лучше смотреть на это иными глазами, сквозь преодолеваемую темноту или заведомо неверный электрический свет. И мне вдруг хотелось спать днем, я вставал все позже, возвращался домой глубокой ночью – и, наконец, после нескольких недель такой жизни стал уже регулярно ложиться утром и вставать вечером. Так началось то время моей жизни, когда произошло мое знакомство сначала с Алексеем Андреевичем Шуваловым, потом с Великим музыкантом. Этому предшествовало еще одно небольшое событие, которое, казалось бы, не должно было задержать мое внимание даже на короткое время – настолько оно было незначительно, – но которое, вместе с тем, сразу окрасило все, что случилось потом, всю ту длинную цепь вещей и впечатлений, которых я стал свидетелем или участником. Я даже думал одно время, что бывают такие случаи, когда события могут измениться и пойти хорошо, – если до сих пор шли дурно – или дурно, если шли хорошо, – и это происходит иногда от одного желания или чувства постороннего человека; это стало бы возможным, если бы люди, участвующие в этих событиях, дошли до той минуты, когда все их силы – сколь бы значительны они ни были – исчерпаны и все останавливается и стоит неподвижно, как лист в воздухе, – падающий лист, который зацепился за ветку и висит, не колыхаясь, и достаточно малейшего движения воздуха, чтобы он оторвался и продолжал бы вправо и

влево свой неверный и случайный полет. Так было бы и с целым рядом происшествий, изменить которые могло одно случайное желание и даже впечатление. Это была первая мысль, пришедшая мне в голову, когда я вспоминал то, что случилось затем, – и искал того начала, которое, как мне казалось, должно было быть во всем. Потом я стал полагать, что, может быть, вступив в то утро в полосу определенных вещей, я уже не мог из нее выйти – и происходившие в этой полосе явления должны были носить более или менее однородный характер, и это походило на то, как если бы я очутился в какой-нибудь стране, которой географические и атмосферные условия резко отличались бы от условий других стран и были бы такими, какими должны быть именно в этой стране – и нигде в другом месте.

Было туманное и зимнее время, был ранний час – что-то около половины шестого утра. Я совершал свою обычную бесцельную прогулку по городу и только что вступил на авеню Елисейских полей, в том месте, где растет много деревьев по сторонам улицы и где еще не начинаются громадные дома. Было настолько пустынно, что я сразу же заметил группу из четырех или пяти человек, стоявшую неподалеку и окружавшую одну из скамеек. Я подошел ближе и спросил у полицейского, в чем дело. – Самоубийца, – коротко ответил он. Я приблизился к скамейке и увидел лежавшего на ней человека со свисающей вниз головой, раскинутыми руками, пальцы которых были сжаты в кулаки, и ногами, показавшимися мне необычайно длинными. Это был алжирец, одетый со специальным и своеобразным шиком, с которым одеваются парижские сутенеры и который тогда, в то утро, был особенно оскорбителен. На трупе были лакированные ботинки с высокими каблуками с привинченными круглыми резинками и замшевым верхом светло-серого цвета, завязанный каким-то особенным, сутенерским узлом яркий шарф, пиджак с разлетающимися полами, розовато-красный платочек, выглядывающий из кармана, и очень голубые выставленные напоказ подтяжки. Самоубийца лежал без пальто, но, судя по слишком легкой его одежде, следовало предположить, что пальто с него кто-нибудь успел снять,

так как было маловероятно, чтобы он вышел зимой так налегке, это могло бы случиться, только если бы он жил совсем неподалеку от Елисейских полей, – что было бы вовсе неправдоподобно: парижские сутенеры не живут в этом квартале. Я посмотрел на самоубийцу и хотел тотчас же уйти, но меня удержало то бессознательное и бесплодное любопытство, которое давно, еще в России, заставляло меня блуждать после сражения целыми часами по зимним полям, покрытым исковерканными пулеметами, брошенными винтовками и убитыми солдатами, лежавшими в самых странных положениях, – или ходить вдоль железнодорожного полотна – над ним возвышались столбы с повешенными – один из повешенных, помню, издали поразил меня своим необычайно маленьким ростом, я думал сначала, что это ребенок, но, подойдя вплотную, увидел старого человека с распухшим лицом; обе ноги этого человека были отрезаны и снизу была видна истертая и покоробившаяся на морозе коричнево-черная кожа его седалища, на котором он ползал до тех пор, пока его не повесили; – и это же любопытство удерживало меня подле застрелившегося алжирца. Была, однако, существенная разница в моих тогдашних и теперешних впечатлениях: тогда подобные зрелища не вызывали у меня никаких физических ощущений, – я видел в те времена сотни трупов, – теперь же я чувствовал приступы тошноты. Это было мне знакомо – потому что после войны, где мне часто приходилось жить в недостаточно комфортабельных условиях, у меня развилась необычайная брезгливость, ранее мне вовсе несвойственная в такой болезненной степени и доводившая меня теперь, в Париже, почти до рвоты, когда мне случалось видеть такие вещи, которых прежде я просто не заметил бы. Через несколько минут приехал автомобиль и увез алжирца. Когда его втискивали – буквально втискивали внутрь, – голова его особенно глухо стукнулась о подножку автомобиля: полицейским, наконец, удалось протащить сквозь открытую дверцу его скорченное тело, подогнув с неестественной резкостью эти длинные ноги в сутенерских башмаках; и тогда одна из рук алжирца разжалась, и я увидел его ладонь, кожа которой была светлее, чем кожа поверхности руки, как это бывает у негров и у обезьян.

Мне подумалось тогда, что это было последнее движение его мускулов – и это впечатление было не только у меня; стоявший рядом рабочий сказал: – Он точно выпустил что-то из рук.

– Зачем умер этот человек? – спрашивал я себя. – Что могло заставить его застрелиться? Бесчестие, печаль, разочарование? Но разве он, сутенер, мог знать что-нибудь о существовании хоть одного из этих чувств? Или, может быть, им овладела свирепая и слепая страсть к женщине, как это иногда бывает среди них, и довела его до мысли о самоубийстве, которая была слишком роскошна для него, чтобы он мог долго бороться с ее соблазном? – Но эти мысли не могли долго занимать меня, и впечатление от смерти алжирца было менее сильно, чем другие, и не могло, например, сравниться с тем ужасным стеснением дыхания, которое я испытал однажды, увидев, как грузовик переехал собаку. И все это утро с оседающим парижским туманом, медленно погружающимся в пустынную зимнюю землю – точно опускающимся туда под грузом моих личных чувств, которые редели и исчезали, как он, тотчас же заменяясь другими, – это утро надолго осталось во мне, и уже прошли три недели с того дня, а передо мной все стояло это медленное и неотступное видение, которое становилось тем томительнее и сильнее, чем настойчивее иные, новые вещи представлялись моему вниманию. Давно уже я стал страдать отсутствием того отбора своих впечатлений, который необходим для спокойной жизни, давно уже все, что я видел, в равной степени занимало меня: так ночью, проходя по парижским улицам, я подолгу глядел на громадных крыс, пробегающих по тротуарам, на разнообразно одетых прохожих и представлял себе весь этот ряд биологически разных явлений – от инстинктивного существования грызуна, роющегося в отбросах, покрытого жиром и грязью и глядевшего на меня испуганными и злыми глазами, – до судьбы людей, проезжающих в дорогих автомобилях; и гибель крысы или смерть артистки – кажется, тогда я думал о недавно отравившейся Клод Франс, – казались мне событиями одного порядка – если я не наблюдал их непосредственно и если они, таким

образом, не пробуждали во мне личных воспоминаний или ассоциаций, от которых зависела большая или меньшая значительность того или иного события. Я, впрочем, ко многому оставался чувствителен, и однажды, под утро, я долго шел по Севастопольскому бульвару за громадной и толстой проституткой, женщиной невероятных размеров, ночным чудовищем Центрального рынка, – обладавшей самыми прекрасными глазами, которые я видел за всю свою жизнь во всех городах и странах, где я был, и которые сразу напомнили мне мое детство и мои последние слезы, – мне было тогда восемь лет, – и вот, после долгого времени, на двадцать пятом году своей жизни, в зимнем рассвете, на улице чужого и далекого города я вдруг увидел то, чего не смогли бы воскресить никакие усилия моей памяти. Я следил за девочками одиннадцати и двенадцати лет, продававшими свое тело опасливо озиравшимся мужчинам; я слушал речь нищих и воров, сплошь состоявшую из нецензурных слов; и я помню, что один раз, очнувшись на секунду и вернувшись в какие-то иные, мои края, я заметил, что сижу на скамейке рядом со старой женщиной, показывавшей мне свою грудь – всю в шрамах от порезов ножа – и ужасные раны на ногах, о которых она долго рассказывала мне – с бормотаньем, бессмысленными угрозами и жалобами на какого-то Роберта. В ту же ночь полусомнамбулическое мое странствование привело меня к невероятному кафе возле площади Мобер, куда я вошел, чтобы выпить чашку шоколада, – не имея никакого представления о том, что это за кафе. Я открыл дверь, и у первого человека, которого я увидел, не было половины лица, вторая часть его была точно отрублена, и на кроваво-красной, сверкающей коже белели и синели следы хирургических швов. У этого человека был остаток рта, непостижимо помещавшийся на левой щеке, был один глаз со смутным выражением какого-то непонятного мне чувства – и два небольших черных отверстия вместо носа. Он стоял у стойки, около самой двери, и говорил хозяину плачущим и странно гудящим голосом: – Arrose moi le café! Arrose le, je t'en prie! Je te paye demain. Arrose moi le café![1] –

[1] – Налей мне кофе! Налей, прошу тебя! Я заплачу завтра. Налей мне кофе! (*фр.*)

но хозяин свирепо молчал. Кафе было полно, на длинных скамьях за столами сидели люди настолько неправдоподобные, что я не поверил бы в возможность их существования, если бы не видел их собственными глазами. Один из них кричал мне: m-r! m-r! – и все порывался дойти до меня из глубины зала, но не мог сделать двух шагов и падал со странной неподвижностью тела, совершенно не сгибаясь и даже не протягивая вперед рук, чтобы смягчить падение; он падал во всю длину и неизменно ударялся давно уже окровавленным лицом о каменный пол. Никто из его соседей не сделал ничего, чтобы ему помочь, никто даже не смотрел в его сторону – и он опять вставал, делал шаг и падал, с глухим звуком – грудью и лицом на землю. Вокруг сидели и полулежали женщины и старые и молодые люди в лохмотьях – похожие на измученных животных. – En fourriere![1] – кричал чей-то голос. – En fourriere! – Я не притронулся к своему шоколаду, вышел из кафе – полицейские, стоявшие на ближайшем углу и видевшие, как закрылась за мной дверь, тотчас же спросили у меня бумаги, которые они мне вернули, взглянув на меня с удивлением, относившимся, по-видимому, к тому, как я, не будучи ни бродягой, ни нищим, ни выпущенным из тюрьмы после отбытия наказания вором, мог попасть в эти места. Вернувшись домой, я долго лежал в горячей ванне.

На следующий вечер я был в гостях у молодой французской писательницы, которая показывала мне одну из книг Кокто в редком издании с трогательной надписью – и которая говорила мне о романтическом восприятии всего, что она знала, читала и видела: и в неизменно декоративных ее представлениях появлялись и проходили то мертвые волны Красного моря, то классические пейзажи Греции, где умирал Байрон, то заснувшая тишина ночной Севильи, то цветущие долины Богемии. Я слушал и вспоминал ночных обитателей рынков и думал о том, как бесплодно я прожил на свете и как все мои ничтожные и случайные знания настолько малы и бесполезны, что я не могу извлечь из них ни одной успокоительной мысли, ни одного чувства, которое хоть на время усыпило бы меня и

[1] – На живодерню! (*фр.*)

Заказ № 3236

дало бы мне иллюзию простой и верной жизни – с точными правилами о том, как надо действовать и что надо думать. Я хотел ей сказать, что смерть Байрона прекрасна, что его жизнь интереснее его стихов; но глаза толстой женщины с Севастопольского бульвара еще несравненно прекраснее и в некотором смысле нужнее, чем мертвое великолепие английского поэта. Но я ничего не сказал, я смотрел перед собой и видел, как все взвивалось в воздухе и исчезало и из пустоты не появлялся никто. И со всей силой желания, на которую я был способен, я хотел увидеть возникающие в воображаемом пространстве, поглощавшем сейчас мое зрение, – романтические призраки, являвшиеся мне раньше, – но вместо этого передо мной был низкий диван, книга Кокто, лампа с синим абажуром – и эта женская голова с детским лицом и белыми волосами, похожими на прекрасную и легкую пену.

И вот эта ночная жизнь мало-помалу стала для меня совершенно привычной, заменила мне прежнее, дневное существование, и через некоторое время я всецело погрузился в нее. В ней было нечто искусственное и ненастоящее, и все, что происходило, совершалось в ином воздухе и воспринималось иначе, чем если бы это случалось днем, – да я думаю, что, пожалуй, днем это вообще не могло бы случиться. Я приписывал это сначала своим собственным измененным представлениям, но потом стал думать, что ночью вообще люди живут не так, как днем, они находятся в полупрозрачном забвении, бессознательном, но несомненном, и говорят о вещах, о которых молчали бы днем – точно опьянев от неизвестных и незримых паров разлитого в воздухе, почти ядовитого напитка. И так же, как на пароходе, в открытом море люди совершают несвойственные им поступки и говорят то, что не могло бы быть сказано, если бы не было синеватой воды и неба и если бы тяжелая земля не была уже далека – так и здесь, в этой длительной ночи были иные законы, иные слова; неправильные поступки, неверные воспоминания и обманчивые представления о том, чего, может быть, даже не существует вовсе. Я знаю, что все случившееся в те времена, вся история Великого музыканта и обстоятельства,

сопровождавшие ее, не могли произойти утром или после обеда – это были ночные вещи, скорее похожие на ошибки воображения, чем на действительность, – или на воспоминания, видоизменяющие все и придающие ему ту определенную окраску и тот вид, которых оно не могло иметь на самом деле.

Правда, и в этой жизни были люди, случайно попавшие сюда из дневного света и потому казавшиеся особенно неуместными. Одним из них был некий m-r Энжель; мне пришлось совершенно неожиданно для себя познакомиться с ним в ночном кафе, в котором я постоянно бывал и которое было как бы островом в ночном море – таким оно казалось мне тогда. Это было большое кафе, отделка которого, будучи, строго говоря, лишенной очень определенного стиля, все же не походила ни на что другое, и отличность ее от других отделок объяснялась – как я это заметил потом – обилием прямых линий и острых углов и еще тем, что громадные лампы потолков были устроены в форме нескольких параллельных плоскостей из матового стекла; и в том случае, когда эти плоскости образовывали с потолком характерные для кафе острые углы, – они походили на несколько крыльев, и направление их было почти таким же наклонным, какими бывают первые движения птиц, поднимающихся с земли. У меня это вызывало странную зрительную иллюзию – и фантастическая убедительность этих линий была такова, что они производили впечатление только что прекратившегося движения; казалось, что, если бы я вошел на минуту раньше, я бы увидел эти лампы летящими по воздуху и еще не ставшими неподвижными. Может быть, впрочем, это представлялось мне так еще и потому, что образ существа со множеством крыльев сильнее пленял мою фантазию, чем ее пленило бы какое-нибудь совершенное, но реальное изображение; с некоторого времени самые прекрасные вещи, самые убедительные в своей точности стали мне казаться почти отталкивающими, так как приводили меня к одним и тем же тягостным мыслям обо всем том, что я назвал бы наивно-гармоническим видением мира.

Я не сразу отдал себе отчет в том, как устроено это кафе, так как долгое время главное мое внимание было поглощено железной музыкой невидимого звукового аппарата, ни на минуту не прекращавшейся. Он играл самые разные вещи, и переходы от одних к другим походили то на тяжелые воздушные перебои, то на ту неопределенную, лишенную резко мелодического характера музыку, которую я слышал всякий раз, когда силился вспомнить мотив, которого я не знал наизусть, но который был мне все-таки знаком. Звуки этого аппарата, не казавшиеся мне вначале замечательными, создавали, тем не менее, совершенно особенную атмосферу кафе, в которой лица начинали казаться матовыми, движения – плавными и самые невероятные вещи – естественными; и иногда все погружалось в гулкое оцепенение – и только время от времени разрезалось извне точно освещавшими все на секунду, вспыхивающими, как свет прожектора издалека, резкими гудками автомобилей, доносившимися с улицы.

Впервые я обратил внимание на m-r Энжеля потому, что прислуга обращалась с ним чрезвычайно почтительно и бережно, метрдотель подолгу не отходил от его столика и весь вообще m-r Энжель был окружен необычайным и чуть ли не физически осязаемым почетом – и надо сказать, что внешний его вид должен был внушать доверие – он был прекрасно одет. M-r Энжель носил с собой пять платков – один для протирания монокля, – под которым его глаз приобретал, впрочем, иногда, как мне казалось, почти страдальческое выражение, совершенно несвойственное m-r Энжелю, – один на всякий случай, два – в карманах брюк и еще один – в качестве pochette[1]. Кроме этого, у m-r Энжеля были трость, театральный бинокль, перчатки, спички в серебряной коробке, зажигалка, портсигар, два мундштука – один для папирос, второй для сигар, – трубка, какой-то особенный предмет, похожий на небольшой молоток, – для набивания трубки, – зубочистка в золотой оправе, часы на руке, хронометр в жилетном кармане – удивительный хронометр, указывающий часы, минуты, секунды, месяцы, дни и года и только что не пред-

[1] платок в нагрудном кармане (*фр.*).

сказывающий погоду, – портмоне, бумажник, серия шелковых футляров – для мундштуков и перочинного ножа, который открывался со всех сторон и во всех направлениях и мог служить чем угодно – от охотничьего кинжала до напильника для ногтей и ножниц различных размеров. И наконец, во внутреннем кармане пиджака у m-r Энжеля находился большой и продолговатый футляр, несколько походивший на колчан для стрел – и в котором m-r Энжель держал два stylo[1] и три карандаша. Я сначала не знал, что m-r Энжель – сенатор и бывший министр; я не узнал его – потому что часто видел его портреты в газетах, совершенно не похожие на него и изображавшие его лицо с непостижимой неправильностью. Я познакомился с m-r Энжелем через Алексея Андреевича Шувалова, с которым тогда встречался почти каждый вечер: m-r Энжель приходил в это кафе именно для того, чтобы поговорить с людьми, находящимися вне обычного круга его отношений, ограниченного крупными промышленниками, известными адвокатами и политическими деятелями, не считая артисток, балерин и певиц, встречи с которыми носили частный характер, как это говорил сам m-r Энжель.

Самой поразительной и совершенно необъяснимой мне казалась большая слава, которой пользовался m-r Энжель, считавшийся одновременно и украшением адвокатского сословия, и гордостью парламентаризма, и носителем ясности и проницательности ума и многих других качеств. Сколь ни сомнительна была ценность этих качеств сама по себе – в том смысле, в каком ее понимали люди, писавшие о m-r Энжеле, – ни одно из них просто не было доступно для m-r Энжеля; помимо отсутствия в нем каких бы то ни было дарований, он находился на той первоначальной ступени культуры, когда сложные понятия еще неизвестны человеку – как непонятны тригонометрические формулы тому, кто знает только четыре правила арифметики. Но m-r Энжелю была свойственна особенная и наивная радость по поводу того, что он ощущал для самого себя возможность ошибочно им представляемого

[1] ручка (*фр.*).

абстрактного мышления, понятие о котором было у m-r Энжеля весьма своеобразным: всякая высказываемая им мысль, не касавшаяся самых непосредственных вещей и потому носившая непривычный и даже несколько тревожный характер, казалась ему преодолением какой-то новой философской сущности. М-r Энжель говорил чаще всего общими местами – но это не казалось бесцветным; в то время как другие, более его культурные люди всегда несколько стеснялись, повторяя давно известные истины, и сопровождали их извинительными комментариями, – m-r Энжель высказывал их с громадным пафосом – и суждение, например, о том, что государство должно быть расчетливым, – искренне считал своим собственным достижением, и выходило так, что без него, m-r Энжеля, мир ничего не знал бы об этом. Чудовищная невежественность m-r Энжеля, имевшего крайне смутные сведения даже в той области, которая составляла предмет его деятельности – политике, – только способствовала развитию этого безобидного самодовольства, настолько свойственного m-r Энжелю, что его нельзя было себе представить лишенным этого состояния. Меня поразил первый же разговор m-r Энжеля, который мне пришлось услышать.

– В своей речи в Авиньоне, – говорил m-r Энжель,— перед многотысячной аудиторией я открыто сказал: да, вопреки тому, что вам хотят внушить безответственные лидеры крайних партий, я продолжаю утверждать, что главная сила нации – в спокойствии и работе. Мне много аплодировали, так как я бессознательно выразил мнение всей страны.

– Но ведь это анекдот, – сказал я вполголоса Алексею Андреевичу, – этот человек смеется над нами.

– Нисколько, – ответил Алексей Андреевич.

– Главное мое достоинство... – продолжал m-r Энжель. – Это просто ужасно, – шепотом сказал я Алексею Андреевичу, – неужели этот человек мог быть министром? – Шувалов улыбнулся. – ...это смелость всегда прямо говорить то, что я думаю.

– Вот единственная ваша фраза, в которой вы захотели скрыть от нас истину, – ответил Шувалов, не переста-

вая улыбаться; Алексей Андреевич полагал, как он это мне заметил потом, что в последней своей фразе m-r Энжель действительно погрешил против истины, так как среди немногочисленных его возможностей возможность думать отсутствовала вовсе. Но m-r Энжель смеялся и продолжал говорить. Он вообще и всегда был весел, ему нравилось все – и то, что он сенатор и кандидат в министры, и то, что с его мнением считаются в палате, и то, что гарсоны так услужливы и метрдотель до крайности любезен, и, наконец, то, что он, m-r Энжель, юн и богат. Он даже однажды, говоря об одной своей недавней ошибке, вызванной очередным увлечением, сказал: – Ну, знаете, мы, молодежь, всегда немного пересаливаем; – m-r Энжелю было сорок шесть лет. – Да, конечно, молодежь... – совершенно спокойно подтвердил Шувалов, – и в ту же секунду я услышал рядом с собой почти беззвучное всхлипывание и увидел, что это смеется постоянный спутник m-r Энжеля, вернее, не самого m-r Энжеля, а его любовницы, – Франсуа Терье, знаменитый писатель, автор «Джиоконды», «Смерти моего соседа» и еще нескольких книг, тираж которых достигал почти фантастических цифр. Именно по поводу Франсуа Терье у меня возник однажды спор с Алексеем Андреевичем, который защищал его от моей несправедливой, как он говорил, критики.

Книги Терье были хорошо написаны, критики неизменно называли их блестящими, в них даже было несколько идей. Но несчастье Франсуа заключалось в том, что, будучи чрезвычайно культурным человеком и прочтя много книг, он уже никогда не мог освободиться от их тяжести; на десяти страницах его «Джиоконды» я нашел несколько мест, очень похожих на почти аналогичные по содержанию места известных французских писателей, но Франсуа никто не обвинил в плагиате; у него была не очень хорошая память, он не сразу вспоминал, что читал, и был убежден, что все мысли, высказываемые им, – его собственные; он забывал, что они были прочитаны им раньше; возникнув вторично в ряде идей, существенно непохожих на тот воспринимательный ряд, в котором он увидел их впервые, они производили впечатление чего-то

совершенно нового. Этим невольным заимствованиям способствовало еще одно обстоятельство: Франсуа прекрасно знал английский и немецкий языки – и иногда, говоря в своей книге о каком-нибудь явлении, он находил для него прекрасные определения, звучавшие с необычайной убедительностью и свежестью и совершенно нехарактерные для собственного стиля Франсуа, талант которого, казалось, все обогащается: но печальная сущность этого внезапного расцвета слов, которые вдруг вырастали на страницах его романов чудесно и неожиданно – точно мгновенно поднимающиеся из земли колосья пшеницы, вызванные к жизни летаргическими глазами факира, – заключалась в том, что это были английские мысли, которые Франсуа услышал по-французски, забыв в экстатическом ослеплении, что его услужливый ум успел их перевести с одного языка на другой – незаметно для самого Франсуа. И эти же случайности определяли собой тот беспорядочный и смешанный характер, который носили отступления Франсуа: и общее впечатление от них походило на впечатление человека, зашедшего в лавку brocanteur[1] и увидевшего там самые разные предметы – начиная от шпаг времен Наполеона и кончая сломанным аппаратом радио. Нельзя было бы, однако, утверждать, что у Франсуа отсутствовал свой взгляд на вещи – он существовал: но это было худшее в произведениях Франсуа. Франсуа был прекрасным комментатором, но у него не было творческого дара: и собственный его стиль состоял в своеобразной смеси особенного, чисто французского сентиментализма с любовью к поверхностной парадоксальности. Я спорил об этом с Алексеем Андреевичем и в доказательство привел на память цитату из последнего романа Франсуа – которая казалась мне особенно для него характерной.

Спор происходил, как всегда, в кафе, музыка доходила до меня смягченной и измененной, потому что я думал в ту минуту о других, немузыкальных вещах, – и все же она, как всегда, звучала каким-то непостижимым напоминанием. – Всякое совершенство заключает в себе идею гибели, – сказал Шувалов, и мне показалось, что это

[1] старьевщика (*фр.*).

начало его возражения пришло к нему из иных краев – где не могло быть спора о литературе. Но движение уже началось, Алексей Андреевич заговорил, и слова его, принявшие сначала такой нервный характер, стали постепенно возвращаться к подлинному своему сюжету – и уже секунду спустя он говорил так, точно этим рассуждениям ничто не предшествовало, точно не было ни напоминания, ни музыки и точно фраза о совершенстве и гибели не была сказана иным тоном и не появилась, как источник синего света, перенесенный из далекой страны, над которой он был, в нашу обычную, скучную и неправильную жизнь. – Конечно, никакая гибель Франсуа не угрожает. Он развил способности, данные ему природой, до необыкновенных размеров; правда, способности у него средние. Но ведь так бывает всегда – и в искусстве низшие организмы обладают чрезвычайной степенью приспособляемости.

Алексей Андреевич долго говорил о Франсуа, и защита его не переставала носить этот странный, почти издевательский характер. Я знал, однако, что этому впечатлению не следовало поддаваться: Алексей Андреевич действительно принимал Франсуа таким, каким он был, и никогда не стал бы резко его порицать – потому что существование искусства Франсуа было ему безразлично, как все остальное. Я был убежден, что, если бы Франсуа впал в нищету или умирал бы от неизлечимой и мучительной болезни, это не заставило бы Алексея Андреевича, говоря о нем, хоть немного изменить голос и задуматься на минуту и попытаться рассматривать Франсуа Терье иначе, чем низший организм в искусстве, жизнь которого представляется Алексею Андреевичу в известном смысле целесообразной и правильной, насколько вещи вообще могут быть целесообразны и правильны и насколько бесспорны эти понятия – то есть очень относительно.

– И я думаю... – сказал Алексей Андреевич и замолчал, оборвав фразу. Когда я взглянул на него, стараясь найти в выражении его лица причину этой внезапной остановки, мне показалось, что неподвижные зрачки Алексея Андреевича внезапно расширились и потом так же сразу сузились. Я не был, однако, уверен в том, что ясно видел

это, тем более, что такая быстрая перемена была вовсе не свойственна Алексею Андреевичу. Не смотря на меня, он тронул меня за руку.

– Вот идет Великий музыкант, – сказал он не то с насмешкой, не то с удивлением. В кафе входил, ведя под руку даму в манто с прекрасным белым меховым воротником, высокий человек, очень хорошо одетый, с сильно напудренным лицом и узкими глазами, которые он щурил, как-то особенно медленно поворачивая голову на тонкой и длинной, почти немужской шее. Он весь был очень длинный и узкий, и я сразу же подумал, что этот человек должен обладать необыкновенной гибкостью тела.

– Великий музыкант, – повторил Алексей Андреевич.

– Кто он такой? – спросил я.

Алексей Андреевич в нескольких словах рассказал мне то, что он знал о Великом музыканте, которого звали Ромуальд Карелли. – Звучно, – сказал я. По словам самого Карелли, он происходил из очень знатного рода, – что казалось, однако, чрезвычайно сомнительным – незнание некоторых обязательных в таких случаях вещей тотчас же бросалось в глаза всякому внимательному человеку после недолгого разговора с Великим музыкантом. Подозрительное совершенство, с которым Ромуальд Карелли говорил на южнорусском языке, заставило меня даже высказать предположение, что родина Великого музыканта не Рим, не Милан, не Генуя, а скорее Купянск, или Харьков, или анекдотический Конотоп. Во всяком случае, точных сведений о происхождении Ромуальда не было ни у кого. Было характерно, что все познакомились с ним недавно – когда у него кончился тот период жизни, который предшествовал его появлению в Париже и в котором, наверное, было много интересного. Дама, с которой он пришел, была актрисой; и когда Алексей Андреевич назвал мне ее фамилию, я вспомнил о той полускандальной известности, которой она пользовалась несколько лет тому назад. Она была близка к одному крупному американскому финансисту, скоропостижно умершему в обстоятельствах, несколько похожих на те, в которых умер генерал Скобе-

лев; американец оставил ей половину своего состояния. После его смерти она три года провела в монастыре, затем вновь появилась, дала несколько спектаклей и потом окончательно отказалась от сцены, уйдя всецело в «личную жизнь», как писали о ней газеты.

– Это средняя женщина с некоторым темпераментом, – говорил Алексей Андреевич, – свойственным ее возрасту; ей, как вы могли заметить, несколько больше, чем двадцать лет. Она немного болтает по-английски, у нее дурной вкус в искусстве; Ромуальд ей стоит около десяти тысяч в месяц, не считая, конечно, стола, автомобиля и других мелких расходов.

– И вы считаете, что она не переплачивает?

– Нет, не переплачивает, – уверенно ответил Шувалов. – Ромуальд человек необыкновенный.

Мне пришлось потом встречаться с Ромуальдом довольно часто и видеть его вблизи; он всегда казался сначала немного утомленным и как будто невыспавшимся. Я думаю, это впечатление объяснялось тем, что пудра, употребляемая Ромуальдом в неумеренном количестве, и легкий грим, без которого он не обходился, – действительно несколько утомили кожу его лица, и она приобретала оттенок свежести только тогда, когда Ромуальд начинал оживляться. После первого же разговора с ним я убедился, что подходить к нему с обычными требованиями – как к другим – нельзя, – и неспроста же Алексей Андреевич назвал его Великим музыкантом. Ромуальд дурно говорил по-французски и совсем плохо по-английски; он не был вообще образованным человеком, не очень точно знал разницу между Бенвенуто Челлини и Боттичелли – что ужаснуло однажды Франсуа Терье, которому подобные вещи казались чуть ли не личным оскорблением, – и вообще, в этом смысле был чрезвычайно уязвим. На первый взгляд могло показаться, что Великий музыкант и одет, пожалуй, небрежно, – но такое суждение было бы ошибочно: искусство носить костюмы, несколько отступающие от общепринятого образца, но все же сохраняющие основные принципы моды, – было прекрасно известно Ромуальду. Как и следовало ожидать, он не обладал никакими музыкаль-

ными способностями и был абсолютно лишен слуха; этому, впрочем, я не удивился, так как знал, что Алексей Андреевич не употребил бы выражения «Великий музыкант», если бы речь шла о пении или игре на скрипке.

Мое представление о Ромуальде существенно изменилось после того, как я провел с ним и с Алексеем Андреевичем несколько вечеров в обществе различных женщин. Это случилось после одного из разговоров с Шуваловым, когда я сказал, что Ромуальд, конечно, человек интересный, но что замечательного в нем нет, по-моему, ничего – и музыкальная его тайна остается мне недоступной.

– Вы видели его в непривычной обстановке, – ответил Шувалов. – Я покажу вам его в более благоприятном свете.

Все продолжало происходить в том же кафе. Три вечера мы с Алексеем Андреевичем сидели и молчали, в то время как Ромуальд разговаривал с женщинами, которых пригласил Алексей Андреевич. В первый вечер это была одна, во второй вечер – другая, в третий – третья. И тогда я понял, почему Шувалов назвал Ромуальда Великим музыкантом.

Когда Ромуальд после нескольких минут обычного разговора начинал оживляться и краска щек, выступавшая сквозь пудру, делала его лицо почти по-юношески застенчивым, он весь менялся; особенно часто менялись выражения его узких глаз, то полузакрытых, то прямо глядящих в глаза собеседницы. Но самые изумительные изменения происходили с его голосом. Некоторые его ноты, чрезвычайно тихие, но чистые и явственные, приходили как будто со стороны, – точно чье-то очень далекое и непреодолимое желание доносило их до слуха женщины. Другие интонации его, помимо слов, которые он произносил, одним характером своей тональности вдруг воскрешали перед глазами слушательницы те картины давно прошедшего времени, которые казались забытыми; и вообще все, что говорил Ромуальд, почти не имело значения, а звучал и оставался в памяти только его голос, рассказывающий странным и прекрасным языком какую-то чудесную мелодию, о которой можно было мечтать, но в которую нельзя поверить, не услышав этого голоса. Мне приходи-

лось и раньше обращать внимание на то, что некоторые разговоры звучат, растут, развиваются и умирают вне их смыслового содержания; но то бывало случайно и сравнительно редко и всегда под влиянием одного какого-нибудь сильного чувства, это происходило непроизвольно – и я не видал человека, который сумел бы захватить власть над этой невесомой и неуловимой музыкой. Ромуальд обладал ею – и владел ею в совершенстве. Алексей Андреевич с усмешкой заметил мне, что, конечно, несколько разных знакомых Ромуальда никогда не сумеют сказать, какой у него голос – высокий или низкий, хриплый или чистый, – потому что в нем слышались самые различные звуки. Это ни в коем случае нельзя было бы назвать способностью имитации; нет, казалось, что, если бы я услышал какую-нибудь музыку, которая мне особенно понравилась бы, или шум, который бы меня поразил, – я, может быть, узнал бы в них голос Ромуальда. Женщины, интуитивное восприятие которых мне кажется совершенным по сравнению с грубоватым и тупым восприятием мужчин, – бывали целиком поглощены голосом Ромуальда – и это не считал удивительным даже Алексей Андреевич. И после того, как на третий вечер Ромуальд сказал своей собеседнице: – Я хотел бы пригласить вас, и покинуть это мертвое кафе, и уехать с вами на берег Амазонки, – я, несмотря на сомнительную и наивную соблазнительность этой фразы, услышал в ней такое печальное напоминание о невозможности – что оценил лишний раз критические таланты Алексея Андреевича, впервые сказавшего о Ромуальде – «Великий музыкант», – и когда разговор кончился и мы встали, чтобы уходить, я подумал, что спутница Ромуальда, которую я видел с ним в вечер его появления в кафе, – конечно, не переплатила, так как этот необыкновенный дар стоил, несомненно, больших денег.

Была, как всегда, глубокая ночь; мы расстались с Ромуальдом и вышли на улицу. Дойдя до угла бульваров Распай и Монпарнас, я вспомнил, как по приезде своем в Париж я часто приходил сюда и смотрел на незнакомые, широкие улицы; и оттого, что я не знал, куда они идут и где кончаются, от этого недостатка чисто практических

сведений у меня создавалось такое чувство, точно я стою перед чем-то неизвестным: и сотни различных мыслей о парижских жизнях представлялись мне – в том туманном и чудесном виде, к которому тогда было привычно мое воображение. Для того, чтобы сохранить нетронутым впечатление от какого-нибудь большого города, в нем нужно провести лишь несколько коротких вечеров и дней. Прожив в Париже несколько лет, вспоминая Константинополь, в котором я тоже провел много времени, я лишний раз убедился в том, что есть две возможности восприятия в каждую данную минуту моей жизни – одна мгновенная и искусственная, подготовленная воображением, другая – основанная на знании и изучении; и я не научился предпочитать первую, хотя она была легка и прекрасна – и, в конце концов, не более ошибочна, чем вторая; да, кроме того, и второе представление начинало приобретать интерес только после того, как, узнав и изучив все, что было возможно, я опять начинал искать в нем иной смысл и иной облик, который был мне дорог и близок, но далек от подлинного – как воздушная панорама города, которую я возводил над подлинными каменными зданиями, над настоящей мостовой, как гигантские картины, ежеминутно возникающие в фантазии. Все это казалось мне таким сильным и необходимым, что, если бы я мог, я отдал бы тысячи человеческих жизней за возможность очутиться хоть раз в год, хоть на малое время на этой воображаемой дороге в несуществующие края, которые могут быть изображены на картинах, написаны в нескольких книгах, которые могут звучать в воздухе, но которых никогда не существовало. Думая это, я вспоминал, что видел, как живут люди в разных странах, слышал, что они говорят, знал, что они любят, – и все это было скучно и отвратительно и только иногда немного смешно. До тех пор, покуда люди оставались в стороне, – когда они проходили или проезжали по улице, пока я видел их в театре или на пароходе, – они жили так, как мне хотелось; но едва только узнавал их ближе, все изменялось, и иногда мне начинало казаться, что тот или иной человек просто потерял себя и забыл, что ему следует знать, говорить и думать, и во вторичном своем превращении стал не то рус-

ским парикмахером, сохранившим смуглое лицо и – турецкую феску, не то глупым и фальшивым актером, одетым в форму французского офицера. Особенно поразительны и грустны были результаты знакомства с женщинами; но в женщинах, по крайней мере, оставалось очарование – если женщина была красивой; у мужчин же не было даже этого. – Мы живем как будто бы на корабле, – сказал мне однажды Алексей Андреевич, когда я с ним поделился такими мыслями, – и ведем искусственное существование. Большинство живет иначе – и оно счастливо. Вы хотите, чтобы консьерж читал Стендаля, а кучер интересовался Микеланджело? – как этого хотелось бы Франсуа? Это ненужно и невозможно.

– Невозможно – пожалуй, но почему ненужно? – Ничего хорошего из этого не вышло бы. – Знаете, – сказал я, – это мне напоминает один военный анекдот: кто-то рассказывал, что в прежние времена в некоторых военных училищах было принято сажать в карцер всякого юнкера, на лице которого появилось бы задумчивое выражение. Начальство якобы рассуждало так: что хорошего может подумать юнкер?

– Почему? Существовал же какой-то генерал, который в свое время, наверное, был юнкером – и которому принадлежал один довольно любопытный проект – результат задумчивости. Проект заключался в том, что вслед за армией в поход надо отправлять женщин, больных сифилисом в третьей стадии, которая, как известно, незаразительна. С другой стороны, согласитесь, что и этим женщинам тоже никакая зараза не страшна – что уж там плакать по волосам, когда нет головы.

– Хорошо. А все-таки мы на корабле?

– На корабле, вне всякого сомнения. Кстати, вы ничего не читали о m-r Энжеле?

– Нет. Что-нибудь случилось?

– Да, кажется, нашему бедному другу приходится плохо.

На следующую ночь в кафе явился один Франсуа Терье: ни m-r Энжеля, ни его любовницы не было. Франсуа сиял: он пришел в таком ярком галстуке, что я сразу же предположил нечто ненормальное: только сильное воз-

буждение могло заставить Франсуа Терье, такого приличного человека, надеть этот галстук. – Расскажите нам, что с вами случилось? – спросил Шувалов. – Я чувствую, что произошло нечто необыкновенное.

– Mes enfants[1], – сказал Франсуа и остановился от волнения. – Mes enfants, мне кажется, что все идет к лучшему.

И Франсуа рассказал, что карьера m-r Энжеля, по-видимому, близится к концу: один банк опротестовал его векселя, одно автомобильное общество начинает против него процесс за злоупотребление доверием, кроме того, его проект о реформе внутреннего управления очень плохо принят комиссией палаты.

– И все это так внезапно?

– Это должно было случиться, рано или поздно.

– И Франсуа прибавил, что m-r Энжель в гневе и кричал: «Я им покажу, с кем они имеют дело! Я один из самых значительных людей в республике!»

Франсуа торжествовал потому, что надеялся на благосклонность любовницы m-r Энжеля, которого она теперь, наверное, оставит – чтобы перейти к Франсуа. – Впрочем, – сказал он нам почти недоброжелательно, – когда имеешь дело с вашими соотечественницами, ни в чем нельзя быть уверенным.

Только тогда я узнал, что дама, приходившая в кафе с m-r Энжелем, была русская: Франсуа даже сказал нам ее имя и отчество, сразу без всякого труда произнеся эти трудные слова; я подумал, что он, по-видимому, говорит их довольно часто: Елена Владимировна.

Я много раз видел Елену Владимировну. Ей было лет двадцать шесть – двадцать семь, она носила черные шелковые платья и шляпу, по бокам которой спускались два птичьих крыла, доходя почти до половины щек. У нее были чрезвычайно тонкие брови, большой и тяжелый рот и такое строгое выражение медленных глаз средней величины, которое должно было делать мысль о возможности обладания этой женщиной – особенно сильной. И было в ней еще что-то, чего я никак не мог себе объяснить, –

[1] – Ребята (*фр.*).

может быть, какое-нибудь одно движение или скрытое за этими строгими глазами почти бессознательное желание, – что-то, чего она сама, может быть, не знала; но это необъяснимое было так бегло и, вместе с тем, так сильно, что это можно было бы сравнить, пожалуй, только с тем ощущением, которое я испытывал, когда видел пролетевший мимо меня и скрывшийся поезд. Елена Владимировна не была красавицей, хотя иногда казалась очень хороша; но в ней была неумолимая женственность, сразу ломающая сопротивление нелюбви или антипатии, – она уничтожила, например, обычную иронию Франсуа; его несколько насмешливое отношение к женщинам исчезло бесследно, и он уже не мог позволить себе ни одной из своих скептических фраз, которые он очень любил прежде, которые отчасти были причиной его успеха у многих и о которых теперь он не мог подумать без возмущения. Я давно знал эту власть. В России у нас часто бывали две женщины – мать и дочь, которые жили, окруженные услугами и постоянной помощью людей, бесповоротно им подчинившихся и не получавших взамен своих ежедневных забот о том, чтобы доставить им все необходимое, решительно ничего. Мать звали Александрой Васильевной, дочь Екатериной Алексеевной: они были помещицы; в то время, когда я их знал, матери было сорок, а дочери восемнадцать лет. Это происходило уже после революции, когда у них не осталось денег для жизни и они переселились на окраину города, в маленькую и плохую квартиру. Обе были чрезвычайно высокомерны и недоступны – особенно Александра Васильевна – и избегали знакомств; но когда я спросил как-то Александру Васильевну, на какие средства они с Катей будут жить – ведь у нее не осталось ни имущества, ни денег, – она ответила с усмешкой:

– Ты еще молод, голубчик. Всегда найдутся люди, которые сделают все, что мне будет нужно, если я только этого захочу, если я только посмотрю на них. Ты этого не поймешь, – сказала она, подняв пальцами мой подбородок и заглянув мне в глаза, – и мне стало тяжело и душно от ее взгляда, – когда тебе будет двадцать пять лет, ты об этом

никого не спросишь. Так-то, голубчик. А уж обо мне не беспокойся.

– А Катя?

– И Катя из такого же теста. А ты слишком любопытный; вот и глаза у тебя нехорошие. Берегись, мой мальчик, – а впрочем, и ты таким будешь.

На меня этот разговор произвел странное впечатление. Но через месяц у Александры Васильевны была новая квартира, реквизированная в центре города, и много муки, и мясо, и уголь, и сахар, и все, что ей было нужно; и это доставали ей люди, рисковавшие чуть ли не собственной жизнью за растраты и незаконные поступки, – а она не хотела их знать и едва удостаивала разговором. Когда она ходила по улицам – в опасное ночное время, – за ней всюду на известном расстоянии следовало два или три человека, вооруженных револьверами, снабженных пропусками и ничего не боявшихся. Однажды она засиделась у нас до двух часов ночи и ее стали уговаривать не идти домой, потому что это было действительно опасно: каждую ночь происходили грабежи и убийства.

– Нет, уж я пойду, – сказала она, – разве что шальная пуля из-за угла убьет, ну так ведь это будет судьба. А то – какая же опасность?

Она вышла на улицу, сделала несколько шагов – и увидела двух человек, идущих за нею и охраняющих ее: они простояли весь морозный вечер у подъезда нашего дома и, наверное, стояли бы всю ночь, если бы она осталась у нас. Я проводил ее до угла; прощаясь и протянув мне свою белую и неизъяснимо нежную руку, она сказала с улыбкой – после того, как я взглянул на ее немых спутников:

– Их тоже пожалеть нужно, наверное, замерзли. Эх, вы!

– И это всегда так было, всю вашу жизнь, Александра Васильевна? – спросил я.

– Везде и всегда. Я, голубчик, шестнадцатилетней девчонкой из дому в Париж сбежала без денег и два года там прожила, а потом в Вене жила и в Лондоне – и везде то же самое. Plus ça change, plus ça reste la même chose[1], –

[1] Чем больше все меняется, тем больше все остается тем же самым (*фр.*).

сказала она, улыбаясь и, по-видимому, вспоминая что-то. – Ну, иди спать, а то мама сердиться будет. Иди, мой мальчик, иди, мой миленький. – И я, уходя, подумал: зачем ей сорок лет, а мне всего пятнадцать?

Ее дочь была такой же – хотя и не знала многого из того, что знала Александра Васильевна. Но и ей с неуклюжей и неловкой любезностью присылали в полуголодное, трудное время – свежие цветы зимой, и окорока, и головы сахара, и ее выхода из парадного ждали с таким же нетерпением другие люди – молчаливые и преданные, как псы, – и в этой их безвозвратной подчиненности было нечто тяжелое и неизбежное, как судьба или смерть, – и столь же унизительное.

Время шло, проходили медленные ночи в Париже, Алексей Андреевич пространно рассуждал об искусстве и музыке, Франсуа приходил со своим теперь уж неизменно торжественным видом, иногда вдалеке я видел высокую фигуру Великого музыканта; раз или два сквозь ночной дым я заметил глаза Елены Владимировны, – а m-r Энжель все не появлялся. – Les affaires, messieurs, les affaires[1], – насмешливо говорил Франсуа. – Одно из значительнейших лиц в республике... – И вдруг, совершенно неожиданно, m-r Энжель вошел и сел далеко от нас за отдельный столик. Мы с Алексеем Андреевичем подошли к нему.

Он был неузнаваем, он обрюзг и точно одряхлел: я увидел два жирных пятна на его костюме; платки, зубочистка, нож в футляре, стило и хронометр – все было в совершенном беспорядке и лежало не в тех карманах, где следовало; а трость свою m-r Энжель, по-видимому, где-то забыл; это было не менее красноречиво, чем яркий галстук Франсуа. – Вы читали инсинуации этой газетки? – спросил он нас, протянув нам номер официального издания, менее всего могущего быть названным «газеткой». В пространной и сдержанной статье было изложено несколько, в общем, бесспорных положений, для иллюстрации которых приводился пример сенатора и бывшего министра, – имени его газета не хотела называть. Наряду с фактиче-

[1] – Дела, господа, дела (*фр.*).

скими и совершенно неопровержимыми данными в газете глухо говорилось о некоторых знакомствах с иностранцами или иностранками – в статье было благоразумно написано с мнимой безличностью: «de certaines connaissances étrangerès»[1], – о поздних увлечениях; затем шли размышления философского порядка, прекрасная цитата в стихах и еще несколько слов о том, что правосудие должно быть снисходительно к людям, которые уже наказаны потерей общественного доверия и перед которыми многие двери заперлись навсегда.

Положение m-r Энжеля было отчаянное. Ни одна редакция не принимала его опровержений: его заставляли ждать в приемной – чего раньше никто не осмелился бы сделать, – говорили ему несколько небрежно-утешительных слов – и ничего не печатали. Процессы шли ускоренным порядком, откуда-то появились новые неоплаченные векселя, новые чеки, выданные на несуществующие текущие счета; уже администраторы банков говорили m-r Энжелю – mon cher monsieur – и даже: écoutez, mon cher monsieur[2]; уже метрдотель стал менее почтителен, и наступил день, когда Франсуа Терье сказал задушевным голосом; обращаясь в пространство над головой m-r Энжеля:

– Mon pauvre ami...[3]

И m-r Энжель, на глазах которого я увидел легкие старческие слезы, поднялся из-за стола и вышел вон, потрясая рукой в воздухе – как Silvain в Comédie Française – и сказав – со своей ораторской интонацией, которую он по ошибке употребил и здесь: – Oh, traîtres qui vous etes![4] – и это было театрально, и нехорошо, и жалко, и печально.

Елена Владимировна переехала в гостиницу: всюду ее сопровождал Франсуа, успевший выпустить новую книгу и чуть ли не ежедневно печатавший интервью; и все было бы хорошо и нормально – если бы не существовало Великого музыканта и если бы в освещенном кругу этих людей не появился бы еще один человек, которого я случайно знал – его звали Борис Сверлов, – и которого я

[1] «некоторые знакомые иностранцы» (*фр.*).

[2] милейший... послушайте, милейший (*фр.*).

[3] – Мой бедный друг... (*фр.*)

[4] – О вы, предатель! (*фр.*)

тотчас же назвал «джеттаторе»[1]: – Чтобы предупредить вас, Алексей Андреевич, – сказал я Шувалову, – а то бы вы дали ему прозвище раньше меня.

Я сказал, что случайно знал этого человека; но знал я его довольно давно. Мое знакомство с ним произошло в не совсем обычных обстоятельствах. Я потерял на улице свои часы-браслет, российский подарок моей бабушки, и заявил об этом через три дня в комиссариат; мне вернули часы, сказав, что их нашел некий m-r Sverlov, и сообщили его адрес. Я тотчас же написал ему открытку – в которой благодарил его. В ответ я получил письмо; в конверт было вложено по ошибке два мелко исписанных по-французски листка, начинавшихся словами: «Renée, mon petit!...»[2] Я отослал письмо обратно; я не знал ни его страшного значения, ни всей силы чувства, которое было вложено в эти два листка. Конечно, я не мог прочесть письмо, адресованное не мне; но я должен был бы почувствовать, что дело обстоит не просто – и что в этом письме есть гнев и печаль сильного человека и предчувствие смерти близкого существа. Я на этом примере мог лишний раз убедиться, насколько я был лишен той душевной чувствительности, которая у известных людей – я знал таких людей – точно предшествует событиям и заставляет их бессознательно, но почти всегда верно, определять значительность тога или иного факта, случающегося с ними. Для таких людей письмо, в результате которого совершатся известные и имеющие для них значение вещи, не похоже на письмо обыкновенное. Я очень хорошо понимал теоретически, что письмо, после которого должна наступить чья-нибудь смерть, по природе своей отличается от письма с поздравлением: но, взяв оба эти письма в руку, я не мог бы узнать, которое из них какое, – и остался бы глух к языку предметов, не увидел и не понял бы, что с той или иной вещью произошли неуловимые, но несомненные изменения оттого, что ее держал в своих пальцах умирающий или близкий к сумасшествию человек. Я знал одного литературного критика, который рассказывал мне, как он, снимая дом во Флоренции, отказался от выгодных

[1] прощелыга (*ит., жарг.*).

[2] «Рене, малыш...» (*фр.*)

условий контракта только потому, что посмотрел на руки владельца дома и они произвели на него томительное и ужасное впечатление, настолько сильное, что никакие убеждения не могли на него подействовать; и он отказался и ушел. Через несколько дней хозяин этого дома был арестован и выяснилось, что он убийца-маньяк и что на его совести несколько жертв, которых он задушил этими руками. А я бы, наверное, никогда не увидел этого. Это было тем более странно, что я не был уравновешенным и спокойным человеком и всегда очень страдал от беспрепятственных душевных потрясений.

Я всегда переходил от радости к отчаянию – в самых неподходящих обстоятельствах; и у меня создалось такое впечатление, что с самого начала в моей психологической жизни произошла какая-то резкая ошибка во времени и потому все случается не тогда, когда следует. Как часто мне приходилось делать необыкновенные усилия, чтобы не рассмеяться в ту минуту, когда смех показался бы оскорблением или просто результатом душевной ненормальности; и какие мрачные, почти физически тяжелые предчувствия одолевали меня иногда – в то время как все было хорошо и благополучно. И всегда меня вел в этом точно какой-то фальшивый магнит или испорченный компас, и я попадал не туда, куда надобно, и не тогда, когда нужно.

Отправив по почте письмо Сверлова, я забыл о нем; потом я уже не мог отделаться от впечатления, что, когда я его держал и читал эти слова – «Renée, mon petit!..», – я чувствовал в этом чью-то боль, – но это было неверно; память моя отчетливо сохранила то утро, когда я получил письмо от Сверлова; я пожал плечами, допил свой кофе и отнес письмо на почту. – Странная, однако же, рассеянность, – сказал я себе.

И вот утром следующего дня, когда я лежал в кровати, в комнату постучались. Я сказал: войдите, – и вошел широкоплечий человек, только что выбритый, только что причесанный, только что надевший новый костюм, новое пальто и новую шляпу. Он был некрасив, глаза его имели напряженное выражение, смягчавшееся, если он улыбался; руки были небольшие, с длинными пальцами.

– Я имею удовольствие видеть?.. – он назвал мою фамилию.

– К вашим услугам. Садитесь, пожалуйста.

– Нет, благодарю вас. Я только хотел спросить, не располагаете ли вы вашим временем сегодня вечером, часов в девять?

– Конечно.

– В таком случае не могли ли бы вы прийти в какое-нибудь кафе – или куда вам понравится. Я должен вам сказать несколько вещей; вас они ни к чему не обяжут, для меня имеют большое значение.

Я согласился; вечером мы встретились. Он спросил меня, читал ли я письмо, которое получил по ошибке. Я очень удивился и сказал, что прочел только обращение.

– Я так и думал, я так и думал, – поспешно проговорил он. – Видите ли, я никогда так не раскаивался в том, что ошибся адресом.

– Почему?

– Извините меня, – сказал он; лицо его так побагровело, что я боялся, не станет ли ему дурно. Глаза стали необычайно страшными, и казалось одну секунду, что произойдет что-нибудь ужасное, какая-либо катастрофа; я видел такое выражение однажды у обезумевшего от гнева матроса в одной бильярдной в России; и я вспомнил в эту минуту быстрые звуки выстрелов из револьвера, который тогда держал этот матрос, грохот, общее смятение, женский крик и нестройный шум – конец всей этой истории, в результате которой было убито и ранено несколько человек. Но Сверлов закрыл глаза и опустил голову; и когда я опять взглянул на него, он был спокоен. Много позже он рассказал мне все: это письмо было адресовано одной женщине, и она не успела его прочесть – и никогда не узнала его содержания; она умерла от неудачной операции аппендицита. Но я узнал это потом; а в тот вечер поведение Сверлова показалось мне необъяснимым. Он ничего мне больше не сказал, попрощался и быстро ушел. Я встретил его случайно, месяц спустя, и тогда только говорил с ним в первый раз.

– Вы служите где-нибудь? работаете? – спросил я.

Он удивился.

– Нет, что вы. Разве я похож на рабочего или служащего?

– На рабочего, конечно, нет. Но на служащего – почему же? Вы могли бы служить в банке, например. – Нет, нет. Я бы тогда застрелился. – Даже вот как? – Непременно. – Многим ваш ответ показался бы странным.

Сверлов засмеялся.

– Кому – «многим»? Это тем, что работают? Но ведь это же люди или, вообще говоря, некомпетентные, или погибшие. Некоторые из них были способны это понять до того, как усвоили профессиональную психологию, – это адвокаты, врачи, инженеры, ставшие шоферами или сверлильщиками. А люди, которые всю жизнь работали – именно в этом смысле, – просто лишены известной части сознания, она у них атрофирована. Да и вы о них рассуждать не можете, так как ровно ничего общего у вас с ними нет. Ну-ка поговорите с французским рабочим.

– Я говорил, – сказал я, – я сам был рабочим.

– Ну и что же?

– Они считали меня ненормальным.

– Вот видите. Но это вообще плохой сюжет для разговора.

– Вы предпочитаете разговор об орхидеях?

– Нет, не непременно орхидеи.

– Блок? Толстой? Музыка?

– Это может показаться непростительным. Но вы знаете, на все эти вопросы я бы ответил положительно, хотя вы пропустили самое главное.

– Что же именно?

Мимо террасы кафе, где мы сидели, медленно проехал пустой «ролс-ройс» с японцем-шофером. Лицо Сверлова изменилось.

– Женщин, – быстро сказал он.

Я немного удивился: Сверлов меньше всего походил на Дон-Жуана. Но, познакомившись с ним ближе, я увидел, что он говорил правду; женщины всецело владели его воображением – даже тогда, когда он этого не хотел. – Бывают такие минуты, – говорил он, – когда человек решительно ни о чем не думает; ну, если он, скажем, лежит на пляже или сидит в парке и смотрит на деревья, не видя их; и тогда в его сознании пустота. Но если я всматриваюсь в пустоту, я вижу женщину – даже не лицо и не тело, а женщину вообще.

– А не думаете ли вы, – сказал я – что в этой пустоте нет женщины; но как только ваше воображение начинает работать, то первый образ, который оно создает, это образ женщины? – Нет, ведь пустота не настоящая, она кажется пустотой только потому, что ваше внимание временно парализовано; но достаточно ему пробудиться – и оно констатирует то, что видит. – А знаете ли вы такое чувство, – спросил я, – вот мимо вас проходит женщина, просто на улице или в кафе, – и вам сразу становится бесконечно жаль чего-то, что промелькнуло и исчезло; что эта женщина унесла с собой большую часть вашего личного, чувственного богатства – и этой части вы уже никогда не вернете?

– Je n'en sais que trop[1], – сказал Сверлов. – Я иногда думаю: что сделать? Застрелиться? Уехать в Африку? Но ведь я увезу с собой все, я от этого не отделаюсь.

– Если собрать все нарушения нормальных человеческих представлений общего характера и затем результаты этого опыта воплотить в живом человеке, то получится ваш джеттаторе, – сказал Алексей Андреевич после знакомства со Сверловым.

Сверлов действительно жил и мучился иначе, чем другие люди. Он был чрезвычайно беден – хотя, взглянув на него, никто бы этого не подумал, так как Борис Аркадьевич – его звали Борис Аркадьевич. – Хорошее у вас отчество, идиллическое, – сказал я ему как-то. – Да, но мне оно плохо подходит – ответил он; – всегда носил самые дорогие костюмы; да и жил он в одном из новых домов возле Champs de Mars в небольшой, но прекрасно обставленной квартире – с коврами, хорошей мебелью, роялем, креслами и картинами; и при всем этом в квартире после тщательнейшего обыска нельзя было бы найти даже пяти франков. Бывало так, что Борис Аркадьевич ничего не ел по два, по три дня; но каждое утро он тратил полтора часа на свой туалет, брился, принимал ванну, долго делал гимнастику и потом с беззаботным видом выходил на улицу, держа в руке – с несколько нарочитой церемонностью – перчатки и квадратную трость; и только когда он проходил мимо гастрономических магазинов, его ноги на секунду становились мягкими, а в глазах темнело.

[1] – Я знаю об этом слишком много (*фр.*).

Я не видел человека, которого наружность так не соответствовала бы его душевным качествам. Бориса Аркадьевича нередко принимали за профессионального боксера; однажды, когда мы зашли на ярмарке в маленькую палатку, где были расставлены различного рода силомеры и Борис Аркадьевич без усилий выжимал максимум того, что могла показать стрелка, со всех сторон говорили: ну, это профессиональный атлет, c'est un professionel![1] Его одежда вводила в заблуждение многих людей, которые на улице обращались к нему с просьбой о помощи, – а у бедного Бориса Аркадьевича с утра ничего во рту не было. Один мой знакомый, считавший себя физиономистом (– Какой он физиономист? он дурак, а не физиономист, – сказал с раздражением Борис Аркадьевич), – заметил после того, как увидел Сверлова: – Вот человек, у которого никогда не было никаких сомнений и никаких страданий. Теперь такие редко встречаются; на каждом лице я вижу следы потрясений.

Мне показались несколько нелепыми его выражения; о «следах потрясений» он говорил так, точно это были какие-нибудь геологические наслоения. Физиономист, однако, был виноват только в том, что его знания – достаточно обширные в своей – впрочем, сомнительной – области – не шли дальше констатирования того, что известное лицо подходит к такому-то типу, который в свою очередь делится на две категории, причем вторая из них наиболее характерна для людей уравновешенных и не терзаемых душевными волнениями. Физиономист добросовестно осмотрел Бориса Аркадьевича и с точки зрения своей нетрудной науки был совершенно прав. Когда я ему сказал, что, в общем, он ошибается, он ответил, что, значит, в лице Бориса Аркадьевича есть какая-то неправильность. – Раз неправильность, то о чем же тут говорить, – сказал он; и, удовлетворившись этим объяснением, он стал избегать встреч со Сверловым и даже иногда, встречая его, нарочно отворачивался, так как Борис Аркадьевич невольно напоминал ему о неудачном его определении – а причина неудачи крылась все в той же неправильности, которую его неподвижное знание не могло предвидеть.

[1] профессионал! (*фр.*)

Вместе с тем, Борис Аркадьевич не знал ни спокойствия, ни радости; и если бы мне нужно было выбрать из всех определений чувств – таких условных и которых удачность или неудачность зависит чаще всего от простого звукового совпадения или от душевного состояния человека, которому об этом говорят или который об этом читает, – и я знал одну женщину, считавшую «Братьев Карамазовых» эротической и вовсе не мрачной книгой – потому что она прочла ее во время своего свадебного путешествия, – те определения, которые подходили бы к главным чувствам Бориса Аркадьевича, я остановился бы, пожалуй, на том, что это были тоска, и ненависть, и еще смертельное томление, приходившее к Борису Аркадьевичу, когда он просыпался, и покидавшее его, когда он засыпал. Он рассказывал мне, что впервые испытал его еще в детстве. – Все кажется, – говорил он, – что кто-то идет следом за вами и вы даже где-то его видели; и нет никого, и только страшная тишина и вы один.

Я долго не знал, что делает Борис Аркадьевич со своим обширным досугом. Читать он не любил – вернее, перечитывал по несколько раз все одни и те же книги. – Вы литературы не любите? – спросил я его. – Очень люблю. – Но не любите читать? – Некоторые книги я охотно читаю, – ответил Сверлов. – Потом, что такое литература? Пятьдесят книг? Я их прочел. – Следовательно, Борис Аркадьевич тратил время не на чтение.

Он действительно ничего не делал. Вставал поздно, выходил на улицу в час дня, возвращался в четыре, до вечера лежал на диване, затем шел в кафе или кинематограф. Когда кто-то спросил его, не тяготит ли его такая жизнь, он удивился и ответил, что лучшей жизни ему не нужно. – Лучшей в каком смысле? – В смысле приятного времяпрепровождения, – резко сказал Сверлов и оборвал разговор. Ему вообще были свойственны резкость, отрывистые ответы и отсутствие той усыпительной и монотонной, но приятной мягкости голоса, которой отличаются французские intellectuels[1] и некоторые русские любители деликатных и продолжительных дискуссий. Это объяснялось, как мне кажется, тем, что всякий или почти всякий

[1] интеллектуалы (*фр.*).

образ общения с окружающими был Борису Аркадьевичу непривычен и неприятен. Он знал из книг и потому, что его учили и воспитывали, все правила, которыми руководствуются люди, вступая друг с другом в хотя бы кратковременные и условные, хотя бы чисто словесные отношения, – но они неизменно оставались для него отвлеченной и нелюбимой наукой. – Я с каждым человеком говорю точно на иностранном языке, – заметил он. Это было довольно верное определение того характера речи, который неизбежно появлялся у Бориса Аркадьевича при встрече с каждым новым человеком; и тогда Борис Аркадьевич действительно начинал походить на иностранца, который хорошо знает чужой язык и правильно говорит – но говорит с усилием и некоторой бессознательной неохотой и враждебностью.

Он обладал несомненным юмором – но резким и недоброжелательным; суждения его носили почти всегда категорический характер. Ему было двадцать восемь лет.

Его появление в обществе Великого музыканта, Елены Владимировны и Франсуа Терье произошло следующим образом. Он сидел за соседним столиком; гарсон кафе в ответ на восклицание – Garçon, un café![1] – сделал рукой пренебрежительный жест – подождете, дескать. Лицо Бориса Аркадьевича стало белым от бешенства – и в эту минуту его увидела Елена Владимировна.

– Посмотрите, Франсуа, – сказала она, обратившись к Терье с невольным испугом, – какое страшное лицо. – Борис Аркадьевич застучал палкой по столу и стучал до тех пор, пока к нему не подошел гарсон. – Faites venir le maître d'hôtel, – сказал Сверлов. Когда подошел метрдотель, Сверлов сказал: – Je commande un café. Expliquez au garçon qu'il ne faut pas faire des gestes aux clients au lieu de réponse. On n'est pas dans un petit café de la Villette ici, je l'espére[2].

Кофе тотчас же был принесен, и Борис Аркадьевич замолчал, хотя в его глазах еще продолжала стоять тень

---

[1] – Гарсон, кофе! (*фр.*)

[2] – Позовите метрдотеля... Я заказал кофе. Объясните лакею, что нечего делать жесты вместо ответа. Здесь, я полагаю, не кабачок на Виллет (*фр.*) – *Пер. автора*.

того страшного выражения, которое испугало Елену Владимировну.

– Интересное лицо, – сказал Алексей Андреевич.

В эти минуты Борис Аркадьевич увидел меня и поклонился издалека.

– Вы его знаете? – спросил меня Франсуа.

– Знаю. Это очень милый молодой человек с мягким характером.

– En effet?[1] – сказала Елена Владимировна, которая казалась погруженной в разговор с Алексеем Андреевичем.

– Если хотите, я его вам представлю.

И Борис Аркадьевич попал таким образом в этот круг людей – и в то ограниченное ночное пространство, в котором были глаза Елены Владимировны и голос Великого музыканта, и мелодический шум незримого оркестра; и на краю моих представлений об этом – смуглое лицо застрелившегося сутенера и липкие и отвратительные лица нищих с Севастопольского бульвара.

Борис Аркадьевич быстро узнал все отношения, связывавшие между собой этот круг людей; он сразу возненавидел Ромуальда, он был недоброжелателен к Франсуа, которого обидел тем, что сказал, что не читает новых писателей, а французов в особенности; и, встретясь глазами с Еленой Владимировной, он особенно пристально потом смотрел на какой-нибудь незначительный предмет, находившийся перед ним, – точно изучал его. Он был необычайно скрытен; и только случайно я узнал, что нередко Борис Аркадьевич шел по пятам за Еленой Владимировной и Франсуа – и сопровождал их всюду, без того, чтобы подходить к ним. Я имел возможность убедиться в этом три раза. Я знал, что Франсуа играет на скачках и ездит в Longchamps и Auteuil вместе с Еленой Владимировной; и однажды за разговором Сверлов мимоходом сказал, что не так давно на скаковом поле в St. Cloud он встретил знакомого, которого считал умершим.

– Вы любите скачки, Борис Аркадьевич?

---

[1] – В самом деле? (*фр.*)

– Терпеть не могу, – сказал Сверлов. – Ваш друг, кажется, очень любит развлечения, – заметила мне Елена Владимировна.

– Кто же их не любит? Все любят.

– Вы меня не понимаете. Он всегда на Монмартре. Я там была четыре раза за последние две недели – и каждый раз встречала его.

– Да, он, кажется, любит Монмартр, – сказал я.

Как-то вечером, решив отправиться в кинематограф и не найдя нигде подходящей программы, я пошел от скуки посмотреть revue «Oh, oh, dansons à Paris!»[1] в маленьком театре Монпарнаса, – где было шесть girls[2], одна певица с недовольным лицом и три актера, из которых самый высокий был директором труппы, владельцем театра, режиссером, автором и премьером; оркестр был ужасный, декорации тоже, – публика была в кепках, а на сцене говорили и пели вещи, рассчитанные на невзыскательную парижскую публику окраин и небогатых кварталов. Я невольно вспомнил Россию, лето, провинциальные города и фарсы, разыгрывавшиеся в местных театрах, – впрочем, там все это было лучше. – Средний французский актер может сравниться по своему душевному убожеству только с негром, самоедом или зулусом – с той разницей, что те все же естественнее, – сказал как-то Борис Аркадьевич. – А в «Comédie Française» вы не были? – продолжал он. – Я попал туда однажды на длиннейшую трагедию Корнеля, которая сама по себе была чрезвычайно дурна – и это еще усугублялось вовсе невероятной игрой актеров; они делали однообразные движения, вытягивая и отдергивая руки, стонали на сцене и говорили с такими интонациями, которые, по их наивному мнению, должны были сделать их речь похожей на речь римлян, но которые мне лично показались бы наиболее характерными в устах идиота или сумасшедшего. – Резкость суждения Бориса Аркадьевича, всегда несколько задевавшая меня, на этот раз показалась мне оправдываемой.

Итак, я пришел в этот маленький театр, сел на свое место и вдруг увидел Елену Владимировну и Франсуа,

---

[1] ревю «О, о, потанцуем в Париже!» (*фр.*).

[2] *Букв.*: девушек. *Здесь*: танцовщиц (*англ.*).

смеявшегося беспрестанно, – я слышал, как он сказал: – Non, mais c'est fantastique[1], – и недалеко от них – Бориса Аркадьевича. Борис Аркадьевич был в смокинге, производившем необыкновенно странное впечатление: его соседи сидели в расстегнутых рубахах и в ночных туфлях; он, Елена Владимировна и Франсуа все время видели на себе равнодушно-любопытные взгляды публики, – а певица, исполняя какой-то романс, протянула руки со сцены по направлению к Борису Аркадьевичу и прямо взглянула на него, отчего его лицо сразу же задергалось; и он отвернулся, посмотрев предварительно наверх с безнадежным видом – как он это делал всегда, если в его присутствии говорили глупости или совершали поступок, который он считал неправильным. Я вышел из театра за минуту до конца спектакля; и, закуривая на улице папиросу, я видел, как вслед за Еленой Владимировной и Франсуа двинулся Борис Аркадьевич, – и все они свернули в маленькую улицу – по пути к квартире Франсуа.

Я пришел в кафе: оркестр играл механическую свою жалобу, рассекавшую воздух, как минорные, звучные ракеты, полет которых внезапно прекращался, чтобы возвратиться туда, откуда он выходил, и снова быть брошенным в воздух, прозвучать, преодолевая сопротивление металлической среды, и опять сразу умолкнуть; но за умолкавшими его ракетами все шли другие, и все дрожало и звенело, то превращаясь опять в неподвижную прозрачную массу, то снова насыщаясь этими музыкальными и лирическими полетами. В этом было печальное исступление, которое мне казалось опасным, как сумасшествие или смерть, – и от которого все же я не мог бы отказаться, как от разрушительного и сладостного наркоза. Это было то состояние, которое так безошибочно можно было отличить от всех других и которое Алексей Андреевич называл состоянием последних мыслей. – Все известно, – думал я, – все неверно и обманчиво; то, что я знаю, – ничтожно и печально – и почему бы я стал предполагать, что в остальном, чего я не знаю и наверное не буду знать, есть еще какие-то возможности?

---

[1] – Да нет, это фантастично (*фр.*).

– Есть искусство, – насмешливо говорил Шувалов. – Но вот мы проходим искусство, оно ведь только приближение к чему-то, – и что потом?

– А потом – «самая красивая девушка не может дать больше того, что она имеет» – как говорит Великий музыкант.

Я тоже часто слышал от Ромуальда эту фразу.

– Эту мысль невозможно вынести, – говорил Борис Аркадьевич. – Поймите одно: вот вы видите блистательную красавицу с нежным лицом и хрустальными глазами.

– Заметно, что вы не читаете новых авторов, – сказал Алексей Андреевич, – а то бы вы знали, что так говорить нельзя.

– И вы знаете, – продолжал, не слушая его, Сверлов, – что она так же принадлежит мужчине, как все остальные, – у нее те же движения, то же прерывистое дыхание и те же туманные глаза, что у других. Elle est comme toutes les autres[1]. – И Борис Аркадьевич закрыл лицо руками.

– А вы сентиментальны, – сказал Шувалов. – Я хочу вас утешить: m-r Энжелю еще хуже, чем вам.

– Это неверно.

– Верно. Вы все-таки погибаете с некоторым великолепием, в вас есть что-то карфагенское. А m-r Энжель лишен этих декоративных утешений; он прост, как дверь, и непосредственен – и у него ничего не осталось.

Конец m-r Энжеля был действительно нехорош. Все было плохо прежде всего потому, что m-r Энжель искренне не понимал, почему все так изменили к нему свое отношение. Он не совершил ни одного поступка, который чем-нибудь был бы не похож на все, что он делал всегда; и сам он не изменился. Он оставался таким же оратором, он по-прежнему говорил, что только труд и созидание могут обеспечить государству экономическую будущность; но его слова, вызывавшие раньше энтузиазм, теперь потеряли вдруг всякую убедительность. Всю жизнь m-r Энжель подписывал какие-то векселя и бумаги, и этим заведовал его секретарь – и никогда ничего плохого не получалось. Всю жизнь он составлял проекты реформ местного значе-

[1] Она – как все женщины (*фр.*).

ния, которые были не хуже и не лучше других; всю жизнь он говорил женщинам: – Ma petite vous êtes charmante comme tout[1], – и ему не приходила мысль, что это можно еще сказать иначе, – он просто не понял, когда Елена Владимировна ответила ему: – Вы просто скучны. – Он долго повторял эту фразу: «Вы просто скучны». – Но чего же она хочет? – с недоумением думал m-r Энжель.

Потом он начал сердиться: эти люди просто перестали понимать самые обыкновенные вещи. Но опять-таки они не могли же сговориться?

Он потерял аппетит, он похудел. Он стал неряшлив и небрежен: вдруг сказался его возраст. Встретя его в кафе, я вспомнил, как видел одного знаменитого русского писателя – сначала на литературном вечере, в электрическом освещении; у него было надменное и почти молодое лицо, он был в бархатной шляпе и плаще и был по-своему очень хорош. Второй раз я столкнулся с ним утром, в книжном магазине, куда он пришел по делам: под глазами его были мешки, на щеках серебряная щетина; он постарел на тридцать лет – и, когда он уходил, я обратил внимание на его осторожную старческую походку. – Il est fini[2], – сказала моя спутница.

Если бы m-r Энжель мог понять, что с ним произошло, и мог бы задуматься над этим, то для него началась бы новая – последняя – жизнь. Но он был «прост, как дверь» – и все считал, что это временно, что это недоразумение, – и все еще в редких своих разговорах повторял то, что говорил раньше. Я видел его еще раз, через год после его падения; это был неряшливый старик с сердитым лицом; он был в потертом костюме и стоптанных башмаках. Я поклонился ему, он узнал меня, какая-то тень пробежала, по его лицу, и он отвернулся. Но мне даже не стало его жаль; он был уже так далек от меня и так мне чужд, как почти все люди, с которыми я был близок в моей жизни и которые потом переставали существовать для меня, как будто бы они умерли – хотя они были живы и даже нисколько не изменились. Но я путешествовал, они же оставались на своих местах; я успевал в период разлуки погрузиться

---

[1] – Малышка, вы совершенно очаровательны (*фр.*).

[2] – Его песенка спета (*фр.*).

Заказ № 3236

словно бы в напряженный сон и увидеть вещи бесконечно измененными – и проснуться, став уже старше на какое-то пространство времени и расстояния, – а их я видел все там же, и только иногда и чрезвычайно редко мне удавалось проследить в их глазах что-то похожее на то невыносимое страдание от неподвижности, которое есть у деревьев, жаждущих движения, как человек – бессмертия.

Алексей Андреевич давно говорил мне, что я недооцениваю таланты Великого музыканта; он так настойчиво это повторял, что я стал искать в его словах тот скрытый смысл, о котором он не хотел прямо говорить. Единственное, что я мог предположить, это что Елена Владимировна может стать очередной жертвой Ромуальда. Но это казалось мне невозможным. Конечно, Великий музыкант был в некотором смысле почти неотразим, но все же он был «альфонс» и уже по одному этому был, казалось, заранее осужден. Как я ни старался, я не мог подавить в себе невольного презрения к нему, это было даже не презрение, а нечто похожее на физическое отвращение. Кроме того, для Елены Владимировны, привыкшей к обществу Франсуа, который, в конце концов, был несомненно и умен, и даже, в сущности, талантлив, – Ромуальд должен был казаться человеком низшего порядка. Я не знал, что одно движение Великого музыканта, – когда Елена Владимировна почувствовала на своей коже – она была в открытом платье, Ромуальд шел рядом с ней – его мягкие и сильные пальцы, – одно это движение будет значить для нее больше, чем блистательное и бесплодное красноречие Франсуа с его «Джиокондой» и множеством умных и верно понятых вещей. Но как только я понял, что это возможно, я знал уже, что произойдет катастрофа, – и я видел перед собой то выражение глаз Бориса Аркадьевича, которое заставило Елену Владимировну сказать Терье: – Посмотрите, Франсуа, какое страшное лицо.

То, о чем не хотел говорить Шувалов – и что мне казалось только неверным предположением, – то, в результате чего Алексей Андреевич сказал Франсуа – poor Yorik![1] – совершенно так же, как Франсуа в свое время сказал

[1] – бедный Йорик! (*англ.*)

m-r Энжелю – mon pauvre ami[1], – то есть уход Елены Владимировны к Великому музыканту, – произошло в вечер концерта Шаляпина, на котором были мы все – но сидели в разных местах. Мы с Шуваловым были на балконе. Было множество народа, и громадный зал Плейель был полон разными людьми – начиная от первых рядов партера, где сидели мужчины в смокингах и фраках и дамы в вечерних туалетах, до последних рядов верхнего яруса, заполненных русскими фабричными рабочими – в однообразных синих костюмах, – рабочими с покрасневшими от крахмальных воротничков шеями и разбухшими пальцами. Рядом со мной сидел Лабик, самый знаменитый и модный из молодых французских композиторов. Он был одет в смокинг и белый жилет; и на его пухлом желтоватом лице было то презрительное выражение, делавшее его похожим на старого неудачника-актера, которое я знал давно и которое не покидало Лабика почти никогда; он сам считал, что оно делает его интересным, и такое заблуждение его вовсе не казалось мне удивительным, так как, будучи действительно талантливым композитором и чувствительным к музыке человеком, в остальном Лабик был ограничен, и круг его эстетических понятий, выходивших из области музыки, отличался некоторой узостью. И, может быть, отчасти сознавая это – так как музыкально-душевные его способности иногда на короткое время могли превратиться в иные качества, необходимые для обычного интуитивного понимания, – он был «снобом» и даже педерастом: но не по физиологической потребности, а все из того же снобизма, несколько наивно им воспринятого. Была в нем еще одна черта, характерная для его ограниченности: он считал, что в мире царит латинский гений, – и, независимо от того, в какой степени это было правильно или неправильно, это его мнение всегда вызывало чувство неловкости у окружающих: Лабик был француз и как француз должен был высказывать другие взгляды – что было бы приличнее. Но Лабик этого не понимал.

Он сидел, откинувшись в своем кресле и подняв брови «усталым движением», как написал о нем один поэт,

[1] мой бедный друг (*фр.*).

которого Лабик очень ценил, и Лабику особенно нравилось именно это выражение «усталое движение поднятых бровей», – осматривал своих соседей и, встретившись глазами с Шуваловым, наклонился вежливо и медленно, и создалось такое впечатление, что он бережно относится к каждому своему жесту, будь это поклон, или доставание папиросы из золотого портсигара, или еще что-нибудь. Рядом с ним находилась одна из его поклонниц, которой чрезвычайно льстило его соседство и которая поэтому нарочито громко и нарочито небрежно произносила все время: – Mais oui, mon cher ami, mais oui, mon cher ami[1], – и нарочито не смотрела по сторонам, хотя знала, что на нее оглядываются; но «mon cher ami» она не переставала повторять и однажды это сказала после паузы, когда Лабик решительно ничего ей не говорил и ни с каким вопросом к ней не обращался; она сказала это по инерции, не будучи в силах отказать себе в удовольствии еще раз таким образом подчеркнуть свою близость с Лабиком.

– Заметили ли вы, насколько она непосредственна? – спросил меня Шувалов, не поворачивая головы.

– Да, очень проста, – сказал я.

Между тем внизу, на эстраде, уже заиграл пианист; он играл минут пятнадцать или двадцать, его слушали из вежливости и даже аплодировали ему. Но вот он кончил, и на эстраду широкими шагами вышел Шаляпин; тотчас же раздались аплодисменты, показавшиеся особенно оглушительными после тех, которыми зал только что наградил аккомпаниатора. Шаляпин остановился у рояля: на лице его было несколько задумчивое выражение; потом он стал напевать что-то про себя и слегка размахивать пальцами в такт тому, что он напевал; в зале стояла необыкновенная тишина, и тысячи людей с напряженным вниманием следили за каждым движением громадного человека на эстраде, погрузившегося в свою собственную музыкальную задумчивость, значение которой было так очевидно для всех, что никому в голову не могла прийти мысль ни о том, какой уверенностью должен обладать певец, чтобы так вести себя перед самой лучшей аудиторией мира, ни о том, что этого не позволил бы себе никто, кроме Шаля-

[1] – О да, мой дорогой друг, да, мой дорогой друг (*фр.*).

пина. Он сказал что-то аккомпаниатору, подошел ближе к рампе и сказал по-французски с русским акцентом:

– Numéro cent quarante trois[1].

Тишина стала еще более ощутительной – и в ней тихо прозвучали первые ноты аккомпанемента, как первые капли дождя, упавшие на неподвижную поверхность воды, – и тотчас вслед за ними раздался голос Шаляпина. Несколько человек привстали со своих мест, не замечая этого. Как только Шаляпин начал петь, смутный страх и ожидание, томившие меня, исчезли: он пел именно так, как это было невозможно, и ни на минуту его единственный в мире голос не сходил с высот недостижимости – и мне сразу стало ясно, что до этого момента самые прекрасные тайны на земле были мне неизвестны и недоступны; я видел и слышал их сейчас, и они казались тем более исступленно-невозможными, что Шаляпин должен был кончить концерт, и после этого уже ничто не могло вновь вернуть мне способность этого созерцания и этого состояния души, которая вдруг потеряла все, что ей раньше принадлежало; и опустевшие пространства воспоминания и мысли наполнялись необычными звуками, отделявшимися от высокой черной фигуры на эстраде. После «Пророка» Шаляпин пел «Двух гренадеров»; и в голосе его, создававшем такой музыкальный мир, о котором, может быть, композитор и не мог, и не смел мечтать, слышались другие голоса и вещи, проходившие вне музыки. Рядом с собой я слышал, точно сквозь туман, странный шум, на который не обратил внимания. Но после того, как Шаляпин пропел:

...И встанет к тебе Император... –

сразу наполнив зал словно медленным звуковым океаном, – я обернулся и увидел, что Лабик плакал, держа в руке у лица шелковый платок, фыркая и всхлипывая и забывая вытирать слезы; и презрительное выражение его лица, сменилось выражением бессилия и умиленности, которые странно меняли его. И в глазах Алексея Андреевича я – в первый раз за все время – уловил переливавшуюся в них и исчезавшую тень сожаления; это было

[1] – Номер сто сорок третий (*фр.*).

так непривычно и странно, что я не мог себе этого объяснить. Такое бессилие воображения было мне знакомо: оно бывало, главным образом, тогда, когда я следил за движением мысли на лице моего собеседника – потом видел неожиданное выражение, останавливавшееся на нем, – и не мог уже идти дальше: дóлжно ли было объяснить это тем, что мысль моего собеседника, постепенно сгущавшаяся и перебиравшаяся сначала легкими и тонкими, потом все более плотными ощущениями, наконец, совершенно поглощалась чувством, иррациональная природа которого оставалась мне недоступной, – этого я не знал. Но лицо Шувалова было настолько неподвижно, что невольно напоминало маску. – В конце концов, это понятно, – думал я. – Чем культурнее человек, тем он неподвижнее, тем глубже и вернее он знает, что чувства его все равно не могут найти внешнего выражения; и он поэтому присужден к той своеобразной немоте лица и рук, какой отличался Алексей Андреевич.

Он медленно поднялся со своего места, за ним встал я. Концерт уже кончился, но публика еще не расходилась, хлопала и кричала. Мы вышли из здания Плейель: автомобили загромождали улицу – все двигалось в струящемся от сильного ветра свете фонарей: автомобиль, в котором мы ехали, с трудом выбрался из улицы Faubourg St. Honoré.

Мы первыми приехали в кафе; вслед за нами явился Сверлов – но ни Великого музыканта, ни Франсуа, ни Елены Владимировны не было.

– Странно, что их нет, – сказал Сверлов. Никто ему не ответил. Прошло несколько минут; в них уже появилась смутная тревога. Она была почти неуловима, она, может быть, была ошибочна, как неверное предчувствие, но она все-таки существовала.

– Странно, что их нет, – повторил Борис Аркадьевич.

– Мне это не кажется странным, – ответил Шувалов.

– Почему?

– Потому, – сказал Шувалов нарочито, как мне показалось, рассеянным голосом, – что сегодня утром Елена Владимировна окончательно покинула Франсуа Терье и ушла к Ромуальду Карелли, Великому музыканту.

– А, – как будто издалека сказал Сверлов.

Мне кажется, именно в вечер после концерта Шаляпина я с особенной силой понял и почувствовал, что отныне все эти люди – Елена Владимировна, Франсуа, Ромуальд, Алексей Андреевич и Сверлов – связаны между собой такой тесной связью, судьба их так сплетена, что разрешить это могла бы только катастрофа. Я не мог представить себе, какой внешний вид примут дальнейшие события и что именно произойдет: но неизбежность важного и трагического случая была несомненной, хотя никаких неопровержимых оснований для этого как будто бы не было. Так бывало иногда в двойном сне: мне снилось, например, что я попадаю в руки разбойников и человек со знакомым мне железным лицом приказывает меня убить. Тотчас же я думаю: но все это неправда, все это во сне, – и человек с железным лицом, отвечая на мою мысль, говорит: нет, ты видишь, это продолжается, значит, это не сон; шутить здесь не приходится. И я просыпался во второй раз. Так было и тогда: я слушал речь Шувалова и видел лицо Бориса Аркадьевича и говорил себе: нет, этого не может быть; вот мы мирно сидим на бульваре Монпарнас и пьем кофе, и все мы, в сущности, неплохие люди; и зачем предполагать такие мрачные вещи? Но чувство, бывшее во мне, оказалось сильнее этих рассуждений; на музыкальных волнах незримого оркестра вдруг появилась курчавая голова алжирца-сутенера, застрелившегося несколько месяцев тому назад – как голова Иоанна на блюде Саломеи; только музыка могла создать во мне такой искусственный образ – музыка или звуковое воспоминание о голосе Великого музыканта; и все это точно подтверждало мое предчувствие и не давало ему успокоиться. Это продолжалось до тех пор, пока я не уловил вдруг знакомый мне мотив – которого я долго ждал, так как при первых его звуках я успокоился, как бы вернувшись от неведомых и опасных ощущений – к любимой своей мысли – о море и о больших расстояниях. – Хорошо, – думал я, – даже если все это произойдет, то пусть будет так: все уйдет, исчезнет и изменится – но я останусь опять – с морем, и музыкой, и таким большим, холодным и снежным пространством, при мысли о котором у меня захватывает дух.

Это была успокоительная мысль, появлявшаяся всякий раз, когда слишком напряженное чувство требовало отдыха, – так бывало во всех трудных обстоятельствах и после чьей-нибудь смерти, например; и казалось странно, что такая почти бессодержательная мысль могла меня отвлекать и заполнять мое воображение на многие часы. Я помню, как умер один из самых близких мне людей, – и я не знал, о чем мне думать и где найти во всем громадном количестве, во всей вселенной вещей, которые я мог себе представить, – хоть одно небольшое место, куда не достигла бы мысль об этой смерти; и тогда я впервые стал думать о море, музыке и расстоянии – и это успокоило меня; раньше же я искал утешения в вещах личных и близких мне и потому непосредственно отразивших в себе мое чувство – а нужно было думать о больших и чуждых лично мне, о почти отвлеченных понятиях. Потом я неоднократно вспоминал об этом; и в силу привычки теперь эта мысль появлялась во мне, всплывая из глубины воспоминания и успокаивая меня.

На следующий день я должен был уехать из Парижа; я получил телеграмму, вызывавшую меня за границу по очень важному делу.

Я вернулся в Париж глубокой зимой, в феврале месяце. Вечером в кафе, – как этого и следовало ожидать, – я встретил Шувалова, который рассказал мне, что события приняли чрезвычайно плохой оборот.

– Почему? – спросил я.

– Я не говорю о Франсуа, который медленно и верно спивается, – сказал Алексей Андреевич. – Вы помните его слова о Елене Владимировне: «Elle a traversé mon existence, je suis coupé en deux et au fond je suis fini»[1]. Итак, мы не говорим о Франсуа, который, между прочим, написал новую книгу «Казанова в Элладе». Но вот Елена Владимировна имеет все основания быть недовольной своей судьбой.

– Великий музыкант ее не любит?

[1] «Она пересекла мою жизнь, я разрезан на две части, в сущности, я конченый человек» (*фр.*).

– Любит или не любит, это другой вопрос. Но он ее бьет.

– Что? – сказал я, не поверив своим ушам.

Вместе с тем, это была совершенная правда. Ромуальд Карелли должен был изменить свой образ жизни, должен был отказаться от автомобиля и известной роскоши и жить только на скромные деньги, которые Елена Владимировна с трудом зарабатывала уроками, переводами и даже шитьем. Иногда ей помогал Франсуа. Великий музыкант не умел и не хотел работать. Будучи деспотическим по натуре и, в сущности, чрезвычайно примитивным человеком – с характерной для сутенера психологией, он не мог вести себя иначе; и неудовольствие от того, что у него мало денег, он выражал тем, что бил Елену Владимировну. Она приходила в кафе изредка, в старом платье и смешном и немодном манто, – чтобы попросить немного денег у Франсуа; глаза у нее были покрасневшие, лицо опухшее, – может быть, от болезни, может быть, от ударов.

– Как? Елена Владимировна? Гордая красавица?

– Гордая красавица, – спокойно подтвердил Шувалов.

– Это непостижимо. Почему же она его не бросит?

– Я не хотел бы прибегать к точным определениям. Я думаю, не хочет и не может.

– Надо на нее воздействовать.

– Думаю, что это бесполезно.

– Но это не может так продолжаться.

– Да, Борис Аркадьевич тоже так думает. Сегодня вечером у него, кажется, будет объяснение с Великим музыкантом. Если хотите, пойдемте со мной. Наверное, Борис Аркадьевич уже будет там.

– Да, конечно.

Мы вышли из кафе в половине первого ночи – и направились к квартире Елены Владимировны, у подъезда которой должна была произойти встреча Великого музыканта с Борисом Аркадьевичем. Вернее, Борис Аркадьевич решил стоять у дверей дома и ждать возвращения Великого музыканта – тот приходил домой к часу ночи, примерно, – с тем, чтобы указать ему, как это формулиро-

вал Шувалов, на совершенно очевидную некорректность его поведения по отношению к Елене Владимировне.

– Сомнительно, чтобы он два часа ждал на морозе исключительно для удовольствия произнести эту вежливую фразу, – не удержавшись, сказал я. – Возможно, что он выберет другое эквивалентное выражение, – ответил Шувалов, особенно подчеркивая слово «эквивалентное».

В этот час на улицах было пустынно; только где-то далеко завизжали за углом тормоза автомобиля, и все снова стихло. Было очень холодно, я поднял воротник своей шубы.

– Нам далеко? – спросил я Шувалова.

– Нет, не очень, – ответил он. И мы продолжали идти.

Если бы все это происходило в иных обстоятельствах, я бы, наверное, заговорил бы о чем-нибудь с Алексеем Андреевичем. Но в те минуты смертельная тоска так владела мной, что я не мог сказать ни одного слова, мне казалось, что оно прозвучало бы лишне и ненужно, – точно бы с другой стороны уже совершившегося события, – и что его не следовало произносить. Я только хотел, чтобы все кончилось как можно скорее. Но мы шли минут десять; а мне они показались целым часом. Наконец Шувалов остановился. Я увидел перед собой узкую улицу, освещенную одним фонарем и соединявшую rue de Vaugirard, где мы стояли, с площадью St. Sulpice. Почти тотчас же, шагах в пятидесяти от нас, я увидел широкую фигуру Бориса Аркадьевича. Он стоял в своем туго застегнутом пальто, в мягкой шляпе, с тростью в руке.

Впоследствии, вспоминая все, я думал, что в тот момент Сверлов действительно был похож на «джеттаторе» – этот неподвижный, немой силуэт в неверном зеленоватом свете фонаря, на углу пустынной и узкой зимней улицы. Но тогда я об этом не думал.

Мы простояли в молчании добрых полчаса; Борис Аркадьевич за это время не шевельнулся. Наконец послышался смешанный шум женских и мужских шагов и чей-то низкий голос – это был голос Великого музыканта, – и мы ясно увидели Ромуальда с Еленой Владимировной, поднимавшихся по улице прямо к тому месту, где стоял Борис

Аркадьевич. Я хотел сделать какое-то движение и что-то сказать, но не мог – и только покачнулся на месте. Шувалов посмотрел на меня, приподняв брови.

Все случившееся после этого произошло с удивительной медленностью. Я слышал только обрывки фраз. Я слышал, как Сверлов сказал: – Это не может и не будет...

Потом между ним и Ромуальдом встала фигура Елены Владимировны. Ромуальд сильно ударил ее по лицу – звонкий звук долетел до нас, – оттолкнул ее, – у меня потемнело в глазах, мне стало трудно дышать, но Шувалов крепко сжал мне руку; Елена Владимировна пошатнулась, и ее падение задержал столб, к которому она прислонилась. По тому, как голова ее склонилась набок, было видно, что она близка к потере сознания. Голос Великого музыканта что-то говорил: дикие, необычные звуки его показались мне невнятными и угрожающими. Теперь я видел только неподвижную широкую спину Сверлова; наверное, Ромуальд согнулся и приблизил к нему свое лицо. Голос его то повышался, то опускался. Сверлов раз или два ответил словами, которых я не разобрал.

– Тебя и эту... – вдруг явственно и с необыкновенной злобой крикнул Ромуальд. Сверлов сразу отступил назад – в первую секунду я с изумлением подумал, что он испугался, и решил, что схожу с ума, – и сейчас же после этого раздался сухой всхлипывающий звук, и Борис Аркадьевич повернулся лицом к нам. Через минуту мы все стояли у того места, где упал Великий музыкант. Он лежал головой к чугунной трубе; и беззащитная, ужасная неподвижность его тела и белый воротничок с черным в крапинках галстуком, съехавшие на сторону и обнажившие в одном месте его тонкую шею, сразу бросились мне в глаза. Нос его был сломан, кровь заливала лицо, изуродованное нечеловечески сильным ударом Сверлова. Было ясно, что Великий музыкант мертв. Как выяснилось впоследствии, смерть последовала мгновенно от того, что, падая, он ударился затылком о чугунную трубу; и размах его длинного тела был так силен, что теменная кость сразу треснула. Вдруг пошел маленький дождь, как это часто бывает зимой в Париже. Я посмотрел на часы: было без десяти минут два.

ФОНАРИ

Главный недостаток Библиотеки святой Женевьевы в Париже заключается, по-моему, в том, что там запрещено курить; будучи принужден проводить там долгие часы, я очень страдал от этого. Мне приходилось в то время сдавать экзамены в университет; на покупку дорогостоящих политических и философских книг, содержание которых мне следовало приблизительно знать, у меня не было денег – и волей-неволей я должен был идти в Библиотеку святой Женевьевы. Каждые сорок или пятьдесят минут я выходил из читальной залы во двор и закуривал папиросу. Во дворе я несколько раз встречал высокого и бледного молодого человека, чрезвычайно бедно одетого; он тоже, как и я, был посетителем библиотеки и страстным курильщиком. У него были странные, совершенно пустые секундами, глаза – глаза, привлекшие мое внимание: мне все казалось, что он близок к сердечному припадку или обмороку. Я познакомился с ним более близко через несколько дней – и нашел в нем собеседника, награжденного даром очень быстрого, почти женского понимания; и так как за всю мою жизнь мне пришлось знать только пять человек, которых я мог бы назвать собеседниками, то это знакомство сразу стало мне ценно. Я подолгу разговаривал с этим человеком, которому была свойственна ненормальная прозрачность представлений и та легкость понимания, которую я знал в редкие и быстро проходящие минуты и которые чем-то отдаленно напоминали головокружение. Рассказы его всегда носили несколько беспорядочный характер; и все-таки я слушал их с интересом, ибо нередко в том, что он говорил, я узнавал свои собственные мысли, которых, как мне казалось, я не успел высказать до него.

Теперь, когда прошло несколько лет со времени нашей встречи, эти рассказы кажутся мне иными – в них есть нечто, чего я раньше не понимал. Как это бывает с человеком, знающим иностранный язык, но не привыкшим к говору того места, куда он приехал и где говорят на этом языке, – он понимает то, что ему сказано, только через минуту или две, и до момента этого понимания его память хранит ряд бессмысленных еще звуков, – так случилось и со мной: я точно запомнил многое из рассказов моего знакомого, не поняв их до конца; и только теперь беззвучно воскресает передо мной движение слов, изменение тона и то видение городского пустынного проспекта, освещенного фонарями, которое впервые появилось передо мной в одном из первых рассказов моего друга – рассказе о фонарях.

Он говорил, что из всего числа неожиданных психических колебаний, которые нередко происходили с ним, самым удивительным ему казалось одно чувство, всего два раза в жизни посетившее его и оба раза вызвавшее глубокие изменения в нем и во всем, среди чего он жил. Это больше всего походило на внезапную болезнь воли, не вызываемую ни душевными волнениями, ни глубокими неудачами. Она появлялась без того, чтобы ей предшествовала какая-либо видимая причина, всецело овладевала им, затем на некоторое время ослабевала, потом снова охватывала его и, наконец, исчезала. Он отметил оба раза несомненное сходство этого недуга с болезнями физического порядка; в нем были те же периоды обострения и улучшения, те же кризисы – и только выздоровление проходило разно: так, в первом случае оно требовало долгого времени для восстановления сил, во втором совершалось внезапно и было радикальным – до тех пор, пока недуг не приходил вновь, неожиданно и с ужасной быстротой. Это меньше всего походило на душевное расстройство или сосредоточение всех мыслительных способностей на одной разрушительной идее, которое характерно для умственного помешательства. Все его способности оставались такими же, какими были раньше, он так же видел и замечал все, что обычно интересовало его; но воля к прак-

тической деятельности у него внезапно атрофировалась, и это прекращение ее работы тотчас же влекло за собой ряд изменений в его личной жизни. Непостижимый процесс перемещения внимания вызывал даже известное обострение его чувств, в особенности слуха и зрения; но та область, где обычно находились все вопросы, связанные с его материальным устройством, становилась для него закрытой – и в течение всего времени, пока продолжалась болезнь, он даже не вспоминал об этом, и мысль об известных внешних условиях существования приходила только тогда, когда болезнь прекращалась. Все это начиналось обычно с того, что все люди, которых он любил, и мысли о них постепенно удалялись от него – как женщины, уходящие во сне, или как исчезающие привидения. Он говорил себе: – Вот, есть на свете два или три человека, которых я больше всего люблю и вокруг которых движется моя теперешняя жизнь; что будет, если их не станет, если они почему-либо уйдут от меня? – Во всякое иное время этот уход показался бы ему непоправимым несчастьем, воспоминание о котором будет всегда преследовать его. Но тогда он отвечал себе: – Ну, что же, их просто не будет; больше ничего. – Такая примитивность чувств была ему обычно несвойственна и сама по себе могла показаться достаточно тревожной.

И вслед за этим возникали другие вопросы: зачем ему делать то, что он делает каждый день, что ему тягостно и неприятно и к чему его, в сущности, никто не обязывает?! И он переставал вставать рано утром, идти на работу и вечером возвращаться домой. Он переставал принадлежать самому себе; и за два или три, дня, уже погруженный в свое болезненное состояние, он удалялся на бесконечно далекое по времени расстояние от всего, что предшествовало его заболеванию.

В связи с этим все принимало иной характер, который тотчас же начинал казаться странным, едва болезнь проходила. Он говорил об одном незначительном, но первом по времени представлении. Он шел ночью – был дождь – по узкой и длинной парижской улице; он точно не помнил, когда начал идти по ней, она должна была

нескоро кончиться – и он шел мимо однообразных темных стен; не было никакого движения воздуха, и дым папиросы, которую он курил, медленно летел впереди него, как маленький кусочек тумана, пересеченный тусклыми каплями воды. Довольно далеко перед собой он видел все одно и то же: две высокие стены, черную ночную дорогу между ними, блестящие от дождя ровные камни мостовой – и больше ничего. Он оглянулся – не было видно ни одного человека, впереди – тоже никого. Он очень хорошо помнил свое ощущение в ту минуту: это был точно провал во времени; и улица, и дорога показались ему бесконечными, а сам он как будто бы шел где-то внизу *под временем* и очень далеко от тогдашней его жизни. Он подумал: как далеко! – и продолжал идти, все углубляясь в эту темноту, и сам со стороны видел, как появляется его фигура то на одном, то на другом углу, как она пропадает за водяной стеной, как идет, и вьется перед ней серый кусочек тумана. И когда он дошел до широкого освещенного бульвара, у него было чувство, что он вернулся из путешествия назад – и казалось странным, что мысль о путешествии могла связываться в его представлении с этим болезненным и мучительным понятием – «назад».

Он понял тогда, что значит быть увлекаемым внешней силой: он перестал принадлежать себе; и так как он не утратил способности рассуждения, то старался понять странность этого состояния, в сущности, довольно похожего на состояние лунатика. Он вспоминал рассказы своей матери о том, как в детстве она вставала лунными ночами и ходила по комнате, не сознавая, что она делает. И он думал: не передалась ли ему эта внезапная утрата чувства ориентации, но только в такой измененной форме, которая вряд ли могла дать повод для заключения о том, что здесь действует наследственность. Во всяком случае, и там, и здесь было нечто общее – эта внезапная потеря воли и подверженность внешним влияниям. – Мне казалось, что я похож на мертвую рыбу, увлекаемую течением, – говорил он.

В тот раз, когда он вторично заболел этим таинственным недугом – прошедшим, и изменившимся, сквозь

тысячи других человеческих сознаний (ему казалось, что это идет с Севера, вдали от которого он жил, но болезненную связь с которым не переставал ощущать и которого льды и снега были ему всегда необыкновенно близки), стран, кровей и времен, – он был парижским рабочим, регулярно встававшим по фабричному гудку, носившим синий костюм и начинавшим привыкать к этому оскорбительному существованию. Он поднимался рано утром, шел на завод и целый день работал у американского сверлильного станка; его точный механизм был бы ему, наверное, приятен в других обстоятельствах – если бы он не должен был ежедневно в течение долгих часов видеть это машинное, почти безупречное совершенство, в котором тщеславный и наивный взгляд теоретика-инженера нашел бы, быть может, несомненное доказательство какой-то стороны человеческого могущества.

В двенадцать часов он обедал, в шесть ужинал и потом отправлялся домой с пустыми и легкими руками; и в первые минуты после выхода с завода эта легкость удивляла его и казалась неожиданно приятной. Потом он читал, иногда писал письма – и ложился спать. Он давно перестал думать о том, что раньше учился и жил, как свободный человек, – и только то, что он продолжал говорить не простонародным языком и думать об отвлеченных вещах, – только это изредка напоминало ему о прежних временах. Он знал, что, если бы почему-либо ушел с фабрики, ему грозило бы голодное и неверное существование, и никакой случай не мог бы ему помочь; он знал это твердо, продолжал работать и даже стал к этому привыкать.

Но вот однажды утром, проснувшись, как всегда, от звонка будильника, он не встал и не пошел на работу, а поднялся на полчаса позже, чем обычно, совершил прогулку по Булонскому лесу и вернулся домой в три часа дня, успев забыть о фабрике, о пропущенном дне и о тех неизбежных неприятностях, которые это должно было повлечь за собой. Он не вернулся на завод. Он уходил утром из дому, бродил без цели весь день, возвращался к вечеру, ложился спать – и на следующее утро все начиналось сыз-

нова. Через неделю такой жизни у него не осталось денег, а еще через несколько дней он вынужден был съехать из гостиницы, так как ему было нечем заплатить за комнату. Даже это не испугало его; он оставил вещи у хозяйки и ушел. Ночь он провел у одного из товарищей и наутро внезапно вспомнил, что ему следует, в конце концов, найти работу и устроиться: дальше такая жизнь продолжаться не может. Это был конец первого припадка болезни; и необходимость работы представилась ему настолько ясной, что он стал недоумевать – зачем он бросил свое постоянное место на заводе и вел в течение двух недель такое бессмысленное существование? Найти какую-нибудь службу оказалось делом трудным; но ему удалось устроиться грузчиком в одном из предприятий, обслуживающих каналы Сены и занимающихся разгрузкой и нагрузкой больших барж с мукой, сахаром и солью. Он поселился в рабочем бараке, спал на соломенном тюфяке; вместе с ним работало человек пятнадцать: это были поляки, преимущественно познанские батраки, недавно приехавшие во Францию и не знавшие по-французски. Все были очень плохо одеты; и однажды, когда они проходили в пакгауз, куда следовало сгружать соль, директор предприятия, француз, небольшого роста, в хорошем костюме и золотом пенсне, спросил стоявшего рядом с ним служащего:

– Qu'est ce que c'est que cette bande des forçats evadés? – Ce sont les Polonais, ils travaillent très bien[1], – ответил служащий.

Вечером после работы поляки садились играть в карты и играли до полуночи, причем постоянно ссорились и нередко дрались из-за очень небольших сумм, которые, впрочем, в их представлении имели, естественно, большую ценность. Ночью он просыпался от криков.

– Отними у него нож! – кричал один. Другой стремился ударить кричавшего, но его удерживали несколько человек; а потом недоразумение выяснялось, оказывалось, что пятифранковая бумажка, в краже которой один

[1] Что это за банда беглых каторжников? – Это поляки, они очень хорошо работают (*фр.*). – *Пер. автора.*

обвинял другого, лежала где-то в углу, куда, может быть, ее положил третий, не участвовавший в ссоре, но действительно укравший ее или хотевший просто подшутить. Впрочем, всякий из них был почти лишен возможности воровать, так как количество денег каждого было всем известно.

Он прожил там недолго – до того дня, когда снова, как и в первый раз, ощутил эту чужую тоску, это чужое томление, – и ушел, увлекаемый им, оставив все. На этот раз он ушел днем; и так как денег у него вовсе не было – платили грузчикам очень мало, – то он сразу же очутился на улице. И с этого дня началось то неправдоподобное существование, которое не кончилось смертью моего знакомого только благодаря его исключительному здоровью – и еще одному обстоятельству, случившемуся в самый последний день этого периода его жизни.

Стояла зима – был конец января. Погода была особенно холодной, термометр в течение долгого времени показывал несколько градусов ниже нуля. Моему другу это понижение температуры было труднее переносить, чем морозы в России, потому что он был слишком легко одет, всегда голоден и проводил круглые сутки на улице.

Он остановился однажды на углу большого проспекта; электрические часы показывали два, поминутно звонил звонок и зажигался на перекрестке красный огонь, останавливающий движение автомобилей. Он не ел перед этим двое суток и столько же времени не спал. У него болели и слипались глаза, предметы, на которые он смотрел, вдруг окрашивались в красный цвет; его ноги, почти не останавливавшиеся около сорока часов, были пусты и холодны; и ветер, летевший над сухим и замерзшим асфальтом, проникал под его плащ, принося с собой уже не обычное ощущение холода, а особую физическую боль. Он ясно видел красную картину перед собой: автомобили с закрытыми стеклами, лошадь верхового полицейского, перебиравшую ногами, и надпись на полотняном плакате ближайшего магазина: «incroyable mais vrai»[1]. – Ну, – сказал он себе, – что же может со мной случиться

[1] «невероятно, но правда» (*фр.*).

еще? Я голоден, устал, мне негде жить, нечего делать и не о чем думать; и, конечно, все должно кончиться тем, что я упаду на улице и больше не встану. Чувствую ли я себя несчастным и понимаю ли это до конца?

Он понимал это прекрасно: но так как он успел забыть все прежние свои привычки, а постоянное вздрагивание от холода и сладкая тошнота от неудовлетворенного желания есть стали казаться ему более естественными, чем что бы то ни было, – он напрасно силился вернуть свою мысль к тому, что было прежде и что должно быть всегда. – Ну, и что же еще? – повторял он. Но не было больше ничего – только улица в красном свете. Он пошел дальше. Он много раз пересекал Париж в разных направлениях и приходил из узких и грязных улиц верхнего Монмартра и бульвара Вилетт на авеню Булонского леса с белыми особняками, густыми деревьями и мертвой зеленью винограда, вившегося по стенам домов. Потом наступала ночь, город становился пустым, и оставались только – асфальт, фонари и дома.

Он приходил на Елисейские поля и вступал в это пространство черных плоскостей и громадных световых пятен. Самым лучшим воспоминанием того времени было для него воспоминание о фонарях. Уже издали он слышал, как они шумели, и он прислушивался к этому звуку, напоминавшему гуденье телеграфных столбов в России. Никогда воображение не было так послушно ему, как в это необыкновенное время. – Я буду думать сейчас о фонарях в городском парке какого-нибудь русского города, – говорил он себе. И вот фонари Елисейских полей светят ему сквозь зеленые ветви деревьев, вырастающих из каменной, холодной ночи зимнего Парижа; течет оранжевый, зеленый и красный свет; чуть-чуть прохладно, и вдалеке, в глубине парка чувствуется бассейн; он ощущается, как темное и все же полупрозрачное пятно, и воздух над ним холоднее и тише; и если смотреть в эту светлую воду днем, то видно на дне чуть заметное движение воды и золотистый песок, похожий на тот, из которого он строил крепости в детстве, – а вечером там спокойная тьма, и сон воды, и неподвижность: так спит вода в омуте и в глубине, и – если думать об этом ночью – такова тяжелая неподвиж-

ность засыпающего океана в последний день существования Земли.

Он шел дальше, опустив голову и видя только тротуар перед собой; потом он медленно поднимал глаза, и вот появлялся сначала один фонарь, потом другой, наконец, вся бесконечная их двойная линия; она расширялась в одном месте, как река, доходя до площади Согласия, затем снова суживалась и шла вниз – далеко-далеко. Ему казалось, что шум фонарей растет и приближается, наполняясь разными звуками, и вот сейчас мимо него пролетит этот музыкальный вихрь и заблестят осыпающиеся светлые пятна на темной мостовой, точно рассыпанные им во время полета, – как листья с увядающих деревьев, падающих на землю после сильного порыва ветра.

– Пусть это будет теперь курьерский поезд и ночь, – говорил он себе, и начинал чувствовать, как что-то скрипит в вагоне, как врывается воздух в окно и светит лампа в купе, наполовину задернутая синей материей; и сквозь колеблющуюся даль темной пустоты перед окном виднеются немые и сверкающие огни большого города, из которого поезд ушел полчаса тому назад. Он засыпает, качаясь, и видит во сне маленького мальчика в синей куртке с золотыми пуговицами. Затем он просыпается – и смотрит на лежащую внизу даму: сверху видно, каким мягким стало ее тело, как неподвижна складка на ее смуглой руке; кожаный коричневый чемодан ее опутан вагонной веревочной сеткой и немного похож на особенный сорт дынь, покрытых желтыми жилками. Гудит ночной гудок паровоза, бьет воздух в лицо, и через некоторое время он едет на извозчике домой, мимо знакомых зданий и заборов, по знакомым площадям, потом он чувствует теплую воду ванны и вкус горячего мяса, которое он ест; затем он исчезает, вокруг появляется мягкость и темнота, – он спит в своей комнате, – как это было всегда и как этого никогда не будет.

– Теперь пусть это будет лес. – И фонари почти потухают, во всяком случае, он их больше не видит, он идет по лесу с ножом и выбирает ветки дуба для лука и ровные прутья кустарника для стрел. – Теперь посмотрим, что это

такое на самом деле, – говорит он себе – и видит Париж: стены, и дома, и улицы, и миллионы людей, погруженных в сон, – и ночные движения Центрального рынка, похожие на судороги гигантского и отвратительного насекомого; медленное шевеленье и вздрагиванье во тьме и неверные шаги нищих – стариков и старух, которые достигли последней степени возможного унижения и которых можно сравнить только с прокаженными.

Но вот слабеет концерт фонарей. Мой друг не мог больше идти; он должен был спать – где бы то ни было и как бы то ни было. Тогда он спускался по лестнице ко входу в метрополитен на станции Марбеф – и всегда находил там кого-нибудь. Один раз это был подросток, приехавший в Париж из провинции и не сумевший найти работу; другой раз – булочник, который забыл ключ от двери, не мог войти к себе и из невероятной скупости, свойственной только французу, предпочел провести ночь на улице, чем истратить несколько франков на комнату в гостинице. Третий раз это был старый газетчик; он принес с собой сотню газетных листов, расстелил их на каменном полу, потом спустил свои бархатные штаны, завязал штанины узлами ниже ступней это согревает ноги, наставительно заметил он, – накрыл обнажившуюся часть тела пиджаком, положил под голову свою сумку и заснул с собачьей быстротой.

У моего друга были шляпа, плащ и теплый шарф, которым он закутывал лицо и голову; шляпа заменяла ему подушку – он засыпал и просыпался через час или два оттого, что той стороне тела, которая непосредственно соприкасалась с каменным полом, становилось очень холодно.

Изредка, когда ему удавалось достать немного денег, он ночевал в гостинице; на него всегда удивленно смотрели, ибо он приходил один, без женщины, и требовал комнату на ночь.

Затем опять начинались блуждания. Все ощущения моего друга принимали особенную остроту – и сон, и питье, и еда доставляли ему сладострастное наслаждение. Он говорил, что вкус хлеба казался ему далеким и прекрасным в такой степени, какой до тех пор могли дости-

гать только отвлеченные представления, или голос женщины, или неосуществимое желание славы. Многочисленные его чувства стали прозрачными, как вода, и они так же разно звучали – то как ручей на лугу, то как шипение пены, то – и это бывало перед наступлением ночи – как гул прилива.

Затем болезнь оставила его на некоторое, довольно короткое время, и он работал в разных местах около двух месяцев – лишь изредка с тревогой думая о том, вернется она или нет.

Она вернулась. Ночью он поднялся с кровати и ушел, бросив все, – и вот опять Елисейские поля, и фонари, и тошнота от голода. Все стало по-прежнему; и прошло четыре дня, которые заполнились непереходимым воздушным расстоянием, населенным поминутно меняющимися фантастическими пейзажами, сном во время движения. На этот раз это стало еще сильнее и несомненнее, и действительность исчезла для моего друга. Это был последний период недуга, самый опасный, в котором способность жизненной ориентации окончательно потерялась. Иногда он переставал видеть то, что называется миражами; но достаточно ему было о чем-либо задуматься, как его зрительные представления приходили в необыкновенном количестве и были насыщены чувствами, совершенно подобными тем, какие вызывали бы подлинные, а не воображаемые действия: он раскаивался, огорчался и жалел о случившемся так, точно все, что он видел, было не созданием его фантазии, а рядом подлинных поступков, которые он совершал и которые были нехороши.

Прошло еще несколько времени, проведенного таким образом, – и он достиг, наконец, самой крайней точки, до которой его состояние было доведено этим непостижимым недугом. Он увидел это во сне той ночью, в которую произошел его арест. Он спал у входа в метрополитен на Елисейских полях, эта ночь была особенно холодная, было двадцать третье число февраля месяца. Ему снилось, что он совершенно гол и что громадная змея с ледяным телом обвивает его с головы до пят; кровь стынет и все медленнее и медленнее струится в его жилах: и на уровне сво-

его лица он видит глядящие на него в упор глаза змеи. В первую минуту он не заметил в них ничего особенного; но чем больше он в них смотрел, тем страшнее ему становилось, ему начинало казаться, что давно он где-то их видел и хорошо знал. Он с ужасом смотрел – и вдруг понял, что у змеи его собственные глаза, но только не теперешние, а старческие – выцветшие и печальные и словно издалека глядящие на него с тем исчезающим и странным сожалением, с каким он сам смотрел бы на труп убитого человека или окостеневающую неподвижность близкой ему женщины, у которой только что кончилась агония. Он вздохнул во сне, почувствовал боль в груди – и проснулся.

И когда, окончательно придя в себя, он поднимался по лестнице, чтобы выйти на тротуар, он все еще боялся, ему все казалось, что змея ползет за ним. Но в глубине каменной ниши спал только старый бродяга, и не было больше никого.

Шум фонарей и воздух улицы показались моему другу невыразимо приятными – точно он вышел из подземелья в открытое поле. Он дошел до Триумфальной арки и остановился возле нее; он мельком взглянул на перечисление городов, в которых была великая армия: за его спиной горел огонь над могилой неизвестного солдата, и тяжелые венки искусственных цветов лежали на каменных плитах. Он стоял и смотрел на длинную перспективу Елисейских полей, уходящую и все же остающуюся на месте, как рельсы поезда: и над ней звучали, не переставая, фонари. – Какое большое пространство, какая свобода! – сказал он себе – и почувствовал на своем плече руку. Он обернулся – перед ним стояли два полицейских. Они спросили у него документы: документы оказались в порядке. Затем они обратились к нему с вопросом – где он живет и работает. Они были чрезвычайно вежливы.

– У меня нет ни адреса, ни работы, – сказал он.

– Но у вас есть деньги?

– Нет, денег у меня нет.

Они помолчали, потом один из них сказал:

– Мы вынуждены арестовать вас.

– Очень хорошо, – ответил он. – А за что?

– У вас нет ни работы, ни адреса, ни денег.

– Это достаточная причина для ареста?

– Да. Потрудитесь следовать за нами.

Это было сказано чрезвычайно любезно – Venillez nous suivre?[1] – и он пошел с ними в ближайший комиссариат полиции, где его никто ни о чем не спросил. Его передали другому полицейскому, который ввел его в камеру и запер за ним дверь с тяжелой железной решеткой.

Вдоль стен камеры шли каменные нары на высоте половины человеческого роста, немного ниже, пожалуй.

В углу, потупившись, сидел оборванный безногий старик с костылем: он посмотрел на моего друга и спросил:

– Иностранец?

– Русский, – сказал мой друг. Старик покачал головой, потом подвинулся немного на нарах, обнаружив лиловый и короткий обрубок ноги. Лицо у него было загорелое и черное, как у всех бродяг; красные глаза его все время открывались и закрывались – по-видимому, от сильной усталости. Но спать он не мог: очевидно, этот человек страдал бессонницей. В комиссариате было тихо; но через несколько минут из-за стены он услышал очень хриплый женский голос:

– Кого еще привели?

Он сразу представил себе полную пожилую женщину, которой мог принадлежать такой голос. Старик ответил:

– Еще один, у которого нет денег.

– Есть у него папиросы? – продолжала она, обращаясь по-прежнему к старику, точно моего друга не было в камере. Старик сказал, что нет, – и тогда она проговорила несколько слов, которые он не разобрал. Через минуту полицейский, прохаживавшийся по коридору, передал ему четыре папиросы, две из которых он предложил старику. Старик взял одну, разорвал ее, положил в рот и стал жевать.

– Благодарю вас, madame, – сказал мой друг настолько громко, чтобы она могла его слышать.

– Не за что, – ответила она.

---

[1] – Не хотите ли пройти вместе с нами? (*фр.*)

Чтобы как-нибудь продолжить разговор и этим высказать признательность за присланные папиросы, он спросил ее:

– За что вас арестовали?

Она ничего не ответила. Калека укоризненно посмотрел на моего друга и сказал по-прежнему в пространство:

– Он молодой, он арестован в первый раз и ничего не понимает.

Он проговорил это, не поворачивая даже головы вправо, откуда доходил до них голос женщины, приславшей папиросы, – и его слова прозвучали так, точно он не обращался ни к кому, а просто произнес суждение над моим другом; и то, что он сказал, казалось, определяло само собой всякий неправильный поступок, который мой друг мог бы совершить. Ему показалось, что в голосе старика он услышал усталость и полное отсутствие раздражения: и какие личные чувства мог пробудить проступок моего друга у этого человека, которому было шестьдесят лет, который был калека и у которого в прошлом были десятки лет бродяжнического существования, что каждый день могло незаметно прекратиться – под мостом, на тротуаре, в канаве, на пустыре, и, прекратившись, не вызвать ни в ком ни сожаления, ни печали, ни даже воспоминаний? Мой друг еще раз внимательно посмотрел на мигающие и красные глаза старика, на почерневшую его одежду, на обнаженный обрубок его ноги, сеченный темными полосами грязи. Калека следил за его взглядом и потом, отвернувшись, сказал:

– Oui, mon yieux, c'est dur[1].

Мой друг разговорился с ним и заметил, что во всех словах старика не было никакого усилия мысли: вряд ли этот человек думал – или, во всяком случае, из темноты его сознания выходили только безличные и давно известные вещи. Мой друг говорил, что это напоминало ему тот случай, когда он впервые попал в полунищий-полурабочий поселок возле Парижа; он, не отрываясь, смотрел на маленькие дома с грязными стенами и разбитыми окнами, с плохо выстиранным бельем, свешивавшимся из комнаты

[1] – Да, старина, это тяжело (*фр.*) – *Пер. автора.*

на улицу; он с любопытством и сожалением рассматривал встречных – грубо и бедно одетых женщин, грязных детей и мужчин с тупыми и несчастными лицами; но, попав в другой такой же поселок, а потом в третий, он убедился, что смотреть больше нечего, что все одинаково и неизменно – и сколько бы он ни шел, он увидит все то же самое. Так и здесь, в разговоре со стариком, было известно с первых же слов, что он будет говорить, – и если бы он вдруг сказал, что прочел какую-нибудь книгу, мой друг, наверное, испытывал бы самое сильное изумление, на которое был способен.

Но старик только рассказал, что ему отрезало ногу на работе много лет тому назад, что служить после этого он нигде не мог и потому стал бродягой.

– В котором году вы родились? – спросил мой друг. Он удивленно поднял голову – его, по-видимому, поразило, что ему сказали «вы», – и ответил: – В 1868-м.

Да, ему было пятьдесят девять лет; и, конечно, он знал очень хорошо, какие вопросы не следует задавать арестованным женщинам. Он объяснил моему другу, что их соседка попала в комиссариат за то, что занимается проституцией, не имея специального разрешения от полиции: но что ей это необходимо, так как у нее двое детей, которых нужно кормить. Естественно, что вопрос моего друга должен был ей показаться нетактичным. Мой друг не думал, чтобы старик мог знать слово «нетактичный», – он сказал «нехороший»; но, в сущности, это было то же самое, и оттенок выражения был точно такой, какой был бы у человека, упомянувшего о такте.

Мой друг заснул через полчаса и проспал довольно долго. Проснувшись – уже на следующий день, он спросил, когда его выпустят. – Я не знаю, – сказал ему полицейский, к которому он обратился. – Вы увидите сами, я ничего не могу вам сказать.

В два часа дня моего друга вывели из камеры и посадили в полицейский автомобиль, с виду совершенно похожий на товарные автомобили, которых так много в Париже. Он был разделен на несколько узких каморок, в каждой из которых можно было держаться только в

наклонном положении – полусидя-полустоя. Автомобиль долго ехал, потом остановился, чтобы высадить женщин, которых он привез в тюрьму St. Lazare, – там слезла соседка моего друга по комиссариату: за секунду до остановки ее хриплый голос сказал: – On s'est rendu[1].

Автомобиль поехал дальше, и через двадцать минут всех привезенных вывели на широкий мощеный двор, окруженный с четырех сторон высокими стенами – так что нельзя было понять, где он находится. Мой друг определил это позже, когда очутился в просторном помещении с решетчатыми окнами, – в помещении было человек двести и все же не было тесно. На одной из стен мой друг увидел большое объявление. Он подошел ближе и прочел:

Republique Française. Liberté, Egalité, Fraternité. La prison centrale de Paris[2].

Дальше шло перечисление блюд, которые заключенные могли себе заказывать, если у них были деньги. Но денег не было почти ни у кого.

Мой друг очень неуверенно себя чувствовал: с него сняли пояс, шнурки от туфель и галстук, и платье едва держалось; ходить же он мог только очень медленно, так как туфли поминутно спадали с ног, – и за те двое суток, что он провел в тюрьме, он приобрел даже особенную, шаркающую и неверную, походку, от которой отвык только через час после того, как его выпустили на свободу.

Он провел все время в этой общей камере, которая называлась «salle d'attente»[3]. Его вызывали три раза: сначала в круглую комнату со стенами, выкрашенными белой масляной краской, где его посадили на железный табурет и сфотографировали, затем взяли отпечаток каждого пальца правой руки; руки его были выпачканы черным, и когда он спросил у полицейского, где здесь умывальник, – полицейский с удивлением и недоверчиво улыбнулся, точно хотел сказать, что шутку он понял, но не находит ее достаточно удачной. Второй раз его вызывали в камеру

---

[1] – Пришлось сдаться (*фр.*). – *Пер. автора.*

[2] Республика Франция. Свобода, Равенство, Братство. Центральная Парижская тюрьма (*фр.*).

[3] «зал ожидания» (*фр.*).

судьи. Полицейский, отводивший туда моего друга, надел ему наручники – точно он был убийцей или грабителем. Мой друг заметил ему что он не уголовный преступник; полицейский объяснил, что это правило тюрьмы и он не может поступить иначе.

Все время с ним обращались очень вежливо, никто не сказал ему «ты». Мой друг не понимал причин этого. Может быть, это объяснялось тем, что он не умел говорить на жаргоне французских рабочих, ремесленников и булочников, – а говорил на том языке, который не кажется неестественным только среди «интеллигентов». Он недостаточно хорошо знал живую французскую речь – все-таки в своей жизни он больше занимался литературой и философией, чем другими вещами, и потому, читая Флобера, никаких затруднений не испытывал, а в разговоре с молочником не всегда понимал все, так как не знал «арго».

Судья был маленьким человеком с неимоверно высоким крахмальным воротником и круглыми, птичьими глазами, с каким-то совершенно посторонним и нечеловеческим, но не злым выражением. Он спросил моего друга, как его зовут и какой он национальности. Мой друг ответил; судья порылся в бумагах, написал что-то на маленьком красном листке бумаги и сделал рукой быстрый жест, показывающий, что мой друг может уйти. Он вышел: полицейский сказал полувопросительно: – C'est joli, la liberté?[1]

Мой друг не знал, как следует понимать слова полицейского: то ли он напоминал о свободе, как о чем-то, что сию минуту было надолго утеряно, – то ли поздравлял с обретением этой свободы.

Во всяком случае, дальнейшее пребывание в salle d'attente продолжалось еще довольно долго. Два раза давали суп в жестяных кастрюлях и черный хлеб; но они были такие ужасные, что, несмотря на сильный голод, мой друг не мог их есть и отдал свою порцию вертевшемуся тут же арабу, добродушному вору с тонким голосом; он почему-то говорил на скверном французском языке с несомненным русским акцентом.

[1] – Свобода хороша? (*фр.*) – *Пер. автора.*

Мой друг видел несколько неприятных сцен – одна из которых особенно запомнилась ему. Человек, куривший папиросу, всю пропитанную слюной, бросил коротенький и мокрый окурок на грязный пол, к которому окурок сразу пристал, точно приклеился, – и люди со всех сторон кинулись поднимать этот желтый комок слюны, грязи и табака, и из-за него даже произошла небольшая драка. Окурок достался арабу, который затянулся с видимым наслаждением и сказал – тужур фюмэ, тужур плэзир[1].

В тюрьме мой друг увидел все уже не теми глазами, какими смотрел перед собой еще день тому назад. Он знал, что болезнь кончилась. Его выпустили через два дня, вернув в последнюю минуту пояс, шнурки и галстук. Он выходил с двумя такими же отпущенными, как и он: один был хилый старичок с фамилией – точно в насмешку – Lamoureux[2], другой – юноша-каменщик, Геркулес двадцати лет.

Перед ними открылась железная дверь, чей-то голос закричал: – Laissez passer les trois![3]

Мой друг очутился на набережной Сены. Было холодно, был дождливый февральский вечер, но мой друг чувствовал себя почти счастливым – так как знал, что болезнь прошла и кончилось заключение: и единственная вещь, о которой он немного жалел, было то, что теперь фонари Елисейских полей звучали для него совершенно так же, как для всех остальных людей, и не заключали в себе ничего необыкновенного.

---

[1] всегда курить, всегда удовольствие (*фр.*).

[2] Влюбленный (*фр.*).

[3] – Пропустить троих! (*фр.*) – *Пер. автора.*

ИСЧЕЗНОВЕНИЕ РИКАРДИ

Что мне спеть в этот вечер, синьора,
Что мне спеть, чтоб вам сладко спалось?
А. Блок

Уже за четверть версты до того места, где находилось здание, в котором должен был происходить концерт, улица была запружена автомобилями и полна народу: со всех сторон продолжали прибывать, выезжая из-за углов, длинные бесшумные машины, к идущим по тротуару людям прибавлялись новые, и в воздухе звучали сирены, и гудки, и свисток полицейского, и говор множества людей. У входа в театр происходила давка; и пробившиеся сквозь толпу облегченно вздыхали, попадая в просторный hall[1], где восседающие за высокой конторкой седые и безмолвные джентльмены в черных костюмах делали на предъявленных билетах небрежные росчерки синим карандашом и отмечали что-то у себя на плане театра, лежащем перед ними. Над креслами партера колебалась синеватая, глубоко уходящая мгла, потухали бесчисленные матовые лампы под потолком; и сквозь убывающий, редеющий шум сдержанной речи начинали доходить до последних мест верхних ярусов невнятно струившиеся звуки рояля, за которым сидел лысый и невероятно худой человек, делавший такие механические, такие почти невольные, казалось бы, движения, что было странно, почему в результате этих движений в темноте теперь уже окончательно умолкнувшего зала возникала точно стеклянная, сотрясающаяся постройка, прозрачная и застывающая музыкальная страна, меняясь с волшебством сновидения: она становилась все прозрачнее и прозрачнее к концу, – и когда

[1] Здесь: вестибюль (*англ.*).

лампы снова зажглись – от нее уже ничего не осталось, и казалось, что она ушла в тот момент, когда растворился в воздухе, пронизанный светом электричества, неверный и тяжелый занавес синеватой мглы над залом.

Аршинные буквы на улице многократно повторяли одно слово – Рикарди; оно было окружено маленькими строчками с мелкой печатью, которых никто не читал; оно было написано прямо и вкось, и оно же горело наверху целой системой электрических лампочек красного цвета, поддерживаемых с обратной стороны сложным сплетением проволок. Не было даже имени, стояла одна фамилия – Рикарди, и этого было достаточно, так как эту фамилию знали во всех больших городах земного шара, хотя Рикарди было всего тридцать шесть лет и первое его выступление в Париже произошло только двенадцать лет тому назад; и музыкальные критики писали тогда о молодом певце скорее сдержанно, умеренно удивляясь средним нотам его баритона и подчеркивая, что Франция слышала лучших певцов. Зато теперь, еще за месяц до его приезда, о нем были написаны многие страницы с подробным разбором всех особенностей его гения.

Его наружность знали по многочисленным портретам – и корреспонденты газет уже заранее представляли себе, как они начнут отчет о концерте с описания высокой фигуры артиста, его фрака, его точных и уверенных движений и мелькания в воздухе его белого платка, который он подносил к напудренному лицу после конца каждой арии или романса.

Но и их ожидания, и ожидания всех людей, находившихся в зале, были обмануты – потому что случилась невероятная и неслыханная вещь: Рикарди не приехал на концерт. Телефон давно уже звонил, не переставая, в его пустой квартире, уже давно стучали в дверь какие-то молодые люди, приехавшие за знаменитым певцом, – но дверь оставалась закрытой, и к телефону никто не подходил. Концерт был отменен; и толстый человек в смокинге, с мгновенно вспотевшим от волнения лицом, объявил с эстрады, что Рикарди заболел и что дирекция театра

готова вернуть стоимость билетов – и откроет для этой цели свои кассы завтра в 9 часов утра. Зал чрезвычайно быстро опустел, разъехались автомобили, погасли электрические буквы наверху, и через полчаса улица снова приняла свой обычный вечерний вид – и никто бы не подумал, что так недавно здесь, на этом месте, произошло нечто непохожее на то, что происходит каждый день.

Рикарди не оказалось в его квартире. На столе его кабинета в высокой и узкой вазе стоял белый цветок редкого растения с сильно измятыми лепестками. Больше не было ничего. Все вещи Рикарди, которые он обычно возил с собой, исчезли. Это было описано на следующий день во всех газетах, высказывались предположения, что Рикарди лишил себя жизни: один из журналистов развивал даже мысль, что все это сделано для рекламы: предполагали еще какую-нибудь особенную романтическую историю – но все эти предположения не могли быть подтверждены ничем, так как подлинная судьба Рикарди не была никому известна. Во всяком случае, даже самые близкие ему люди не знали, что с ним случилось; и если его исчезновение было добровольным, – что казалось единственно возможным, – то чем оно было вызвано – этого никто не мог объяснить: Рикарди, помимо всего, отличался прекрасным здоровьем. Правда, в последнее время на его лице появлялись иногда – но потом исчезали – маленькие розовые пятна, которые он запудривал, но доктора, к которым он обращался, объясняли это повышенной нервной деятельностью – что казалось более чем вероятным, тем более, что сколько-нибудь точного диагноза они поставить не могли, ссылаясь на явно нервный характер заболевания, делающего природу этих пятен «медицински неопределимой», как они говорили. Рикарди сам не придавал этому большого значения – вплоть до того дня, который был двумя неделями раньше его концерта – и когда с ним случилось то, что было единственной и последней причиной его безвозвратного исчезновения.

Был особенный и тревожный день середины мая, и, выйдя утром из дому, Рикарди сразу же почувствовал себя иначе, чем всегда. Это случалось с ним изредка весной; и

казалось всегда неожиданным, что природа, и ветер, и особенный запах воздуха могут действовать на него с такой же несомненной силой, с какой солнечные лучи действуют на животных с холодной кровью. Эти дни бывали чрезвычайно редки, но незабываемы – и он помнил несколько погод в Испании, России и Италии более отчетливо, чем самые важные события своей жизни. Они вызывали в нем странные и ничем не оправдываемые ощущения, которые были непоправимы и нестираемы, и знаменитый Рикарди бывал в такие дни рассеян, невнимателен и грустен.

Но эти же состояния его души давали ему на короткое время способность внезапного и печального понимания всего, что его окружало, что не было видно простым глазом, что оставалось непостижимым для всех остальных людей – и что он чувствовал в эти минуты с неповторимой созерцательной силой. И он один только знал, что именно воспоминание об этом придавало его голосу ту убедительность, которая создавала ему славу; и вечером на эстраде ему достаточно было вспомнить далекий испанский пейзаж, который он видел в один из таких дней, – чтобы сразу снова очутиться в своем воображаемом стеклянном и печальном мире, где все звуки его голоса находили такой удивительный, такой безошибочный резонанс. Он знал, что в его искусстве важна не школа, не даже его чисто музыкальные способности, – как это думали и писали все, кому приходилось говорить о Рикарди, – а важны только эти воспоминания, только то, что он увидел и постиг однажды какие-то печальные несомненности, которых не видели и не понимали другие, тянувшиеся к ним бессознательно и не понимавшие своих чувств. Это были вещи, о которых Рикарди никогда не мог бы рассказать ни на одном из известных ему языков – и которые не поддавались словесному воплощению, а существовали и звучали сами по себе и только изредка могли найти в голосе Рикарди несколько похожих, отдаленных нот, возникавших в музыке внезапно и непроизвольно, точно их появление было вызвано далеким взрывом, прозрачным столбом вдруг выросшего в тишине и неуверенности аккомпанемента какого-то поднявшегося и мгновенно упавшего чув-

Заказ № 3236

ства, обреченного на гибель и смерть уже при своем появлении и несущего в себе чье-то трагическое отражение. Рикарди знал все это своим чувством, торопливые изменения которого вызывали на поверхности его сознания иные состояния, более понятные, но не менее печальные. В такие дни Рикарди начинало казаться, что все его существование направляется чьей-то посторонней силой; и воспоминания его, которые он обычно выбирал, заставляя себя думать о том, что ему приятно, и забывать о вещах, могущих испортить его настроение, – переставали становиться послушными его воле и возникали помимо его желания, влача за собой целый ряд размышлений, относящихся к той области, о которой Рикарди избегал думать. Он знал уже, какие мысли прежде всего смутят его спокойствие.

Первой из них была мысль о наступающей старости. Рикарди был красив и молод; ему давали двадцать пять лет, хотя ему было тридцать шесть. Но он, смертельно боявшийся старости, с непонятной завистью читавший каждый год со все более и более тягостным чувством «Портрет Дориана Грея», – он знал, что переход к ней начался в нем уже несколько лет тому назад. Конечно, это было незаметно, конечно, самому Рикарди эта мысль казалась иногда нелепой. Но от постоянного и напряженного внимания его не могло укрыться то, что, когда он поднимался на второй или третий этаж, он чувствовал мгновенную и быстро проходившую слабость в ногах, что иногда вечером что-то тяжело ударяло его в бока, что, задев иногда случайно суставом пальца о край стола, он потом чувствовал тупую боль несколько дней подряд. Его начинали уже утомлять длинные прогулки пешком, он греб с бóльшим усилием, чем прежде, и та легкость его движений, которая всегда была для него чем-то столь же естественным, как искусство ходить, начинала постепенно исчезать. Рикарди думал о том, что он никогда не подвергался никаким лишениям, всегда жил в прекрасных условиях, – и, следовательно, утомление его организма не могло быть вызвано какими-либо внешними причинами. – Еще несколько лет, и я кончен, – думал Рикарди, невольно улы-

баясь тому иллюзорному, но казавшемуся явным противоречию, которое было между этими словами и действительностью.

Затем, после этого, он неизменно вспоминал давнюю историю, в которой он был виновником и триумфатором – и которая теперь пробуждала в нем позднее сожаление. История эта могла показаться значительной – как и громадное большинство случающихся с людьми событий – только тем, кто в ней непосредственно участвовал, – то есть самому Рикарди, женщине, которую звали Гильда, и молодому студенту одного провинциального французского университета; с ним Рикарди был очень дружен в эти далекие времена. Этот студент был странным и беспорядочным человеком, не знавшим, за что взяться, и переходившим с одного факультета на другой, занимавшимся то медициной, то поэзией, то археологией, то музыкой. – Он был очень способен, – думал Рикарди, – пожалуй, способнее всех, кого я знал. Что с ним случилось потом? – Рикарди этого не знал. Он помнил только смешную влюбленность этого молодого человека, – его фамилия была Грилье, – помнил цветы, которые Грилье посылал Гильде на последние деньги, – Гилда очень любила цветы, – помнил еще любимый романс Гильды, который пел Грилье:

Plaisirs d’amour ne durent qu’un moment,
Chagrins d’amour durent toute la vie[1].

– Гильда была красива и глупа, – думал Рикарди. – В сущности, разве я виноват, что она стала моей любовницей?

Он вспомнил вечер, в который это произошло. Они провели его втроем, гуляя в небольшом лесу, в окрестностях маленького французского города, где жил тогда приехавший на несколько месяцев Рикарди, – доктора послали его на юг Франции, в лесистую местность: это было после воспаления легких, от которого он чуть не умер. Тогда Рикарди не был еще знаменит. В тот вечер они были втроем: Грилье в лесу пел «Plaisirs d’amour...», и по тому,

[1] Удовольствие от любви длится лишь миг,
Страдания от любви продолжаются всю жизнь (*фр.*).

как Гильда смотрела на Рикарди, он уже знал, что она станет его любовницей, что она, во всяком случае, близка к этому больше, чем когда бы то ни было, – и это должно было произойти именно потому, что казалось таким невероятным – так как Гильда считалась невестой Грилье. Рикарди проводил до дому сначала Гильду, потом Грилье, затем – была уже глубокая ночь – вернулся к дому Гильды; она жила в маленьком особняке, окна которого выходили на улицу. Сквозь закрытые ставни был виден свет – на улице стояла неподвижная тишина; Рикарди вспомнил невысокий дом напротив особняка Гильды – с черной вывеской и золотыми буквами «Maison de couture»[1], невысокие кусты под окном Гильды и гравий ее сада, который, как казалось тогда Рикарди, гремел под его ногами. Он подошел к окну; оно тотчас же отворилось, раньше, чем он успел сказать слово. Когда он взял руку Гильды, он увидел, как задергались ее губы; и тогда, не колеблясь, он подошел к двери, открыл ее и очутился в передней Гильды, которая между тем продолжала стоять у окна, не двигаясь, так как ей было неудобно идти навстречу Рикарди и сделать самостоятельно хоть одно движение, которое могло бы выдать ее желания. Рикарди знал, что она должна была так поступить, что, если бы это было иначе, это было бы неприлично и нехорошо. Он запер дверь и закрыл ставень, стараясь не производить шума, могущего смутить или нарушить то физическое и душевное состояние Гильды, из которого ее не следовало выводить, – как опасно вдруг разбудить лунатика, подумал Рикарди.

Уже под утро он уходил от Гильды; в окне Грилье горел свет. «Plaisirs d'amour...» – с мгновенной горечью вдруг вспомнил Рикарди. Ему очень хотелось спать, он шел и повторял почти бессвязно: – Plaisirs d'amour, Гильда, plaisirs d'amour... – Она не понимала ничего, – думал Рикарди, – она ничего не понимала, – так как через два дня Грилье уже знал все, что произошло. – Рикарди догадался об этом, увидав его чужое и враждебное лицо и услышав в ответ на вопрос о здоровье судорожный смех

[1] «Ателье мод» (*фр.*).

Грилье, которого он никогда не мог забыть – и который ясно говорил о том, что Грилье его ненавидит. – Как глупо и печально, – сказал себе Рикарди, и сочетание этих слов на некоторое время удивило его и отвлекло его мысли в сторону. – Глупо и печально, разве это может быть? – подумал он. И вдруг его губы начали улыбаться – еще до того, как он понял почему, – так как это последнее воспоминание приходило откуда-то издалека – и не сразу стало ему ясно, – но затем он вспомнил: он встретил Гильду шесть лет спустя, в кафе, куда он пришел один, – и Гильда сказала ему, глядя равнодушно в его глаза, что она замужем за очень способным архитектором, у которого большие связи и знакомства, – но из дальнейшего разговора выяснилось, что ее муж был подрядчиком, а не архитектором. – А Грилье? – спросил Рикарди. – Молодой человек без состояния, – ответила Гильда, – что он мог мне дать? – Рикарди заметил, что Гильда нисколько не изменилась физически. – Ее душевная жизнь слишком бедна, – думал он, – она никогда не постареет, она, пожалуй, состарится, как лошадь, а не как человек. – А что же делает Грилье? – спросил он еще раз. Гильда сказала, что Грилье, кажется, был в Африке, что он доктор. – Но что такое докторские доходы? – сказала Гильда и удивилась, когда Рикарди засмеялся ей в лицо, не будучи в силах удержаться. Затем он подозвал гарсона, заплатил за себя и за Гильду, вынул из бумажника три стофранковых билета, дал их гарсону, прибавив: – Это вам на чай, – и ушел, оставив Гильду и гарсона в полном недоумении. – Да, plaisirs d'amour, – думал Рикарди.

Он проходил через этот тревожный воздух; он вышел уже на площадь Трокадеро, когда вдруг заметил, что кто-то идет за ним по пятам. Наконец шедший сзади человек остановил его, положив ему руку на плечо. – Что вам нужно? – спросил Рикарди, взглянув на незнакомца.

Перед ним стоял очень хорошо, пожалуй, слишком хорошо одетый молодой человек лет двадцати трех. У него было бледное лицо, длинные пальцы его рук дрожали, но серые его глаза смотрели очень спокойно и уверенно. – Вы

знаете, что вы больны? – спросил он Рикарди. – Нет, я не болен, – сказал Рикарди, – я прекрасно себя чувствую. – Вы больны, – повторил молодой человек. – Разве вы не обратили внимания на розовые пятна возле бровей, которые я вижу даже под пудрой? – Это? – сказал Рикарди. – Да, я знаю, это на нервной почве. – Нет, – твердо сказал молодой человек, – это страшная болезнь. Вы никогда не задумывались над этим? Это проказа. Вы больны проказой.

Рикарди не успел еще понять этой фразы до конца, он еще не постиг ее страшного смысла, но уже услышал внезапно возникший рядом с ним смертельный шум в воздухе, странно напоминавший ему те скользкие и всхлипывающие звуки воды, переходящие в томительный и тихий гул, с какими уходит вода из бассейна, когда внизу открывают отверстие для стока. – Проказа? – сказал он наконец. – Да, – ответил молодой человек. – Не считайте меня мистификатором. Вот моя карточка. – Рикарди рассеянно взял его карточку и прочел профессию: студент колониальной медицины. – Вы должны обратиться к лучшим профессорам, – сказал молодой человек, – вы найдете их адреса в телефонной книге. – И он повернулся и пошел прочь. Рикарди смотрел ему вслед и потом вдруг закричал: – Monsieur! – Молодой человек обернулся. Рикарди подбежал к нему и спросил: – Вы знаете мою фамилию? – Нет. – Моя фамилия Рикарди, – сказал он с отчаянием, – я Рикарди. – Тем печальнее, тем хуже, – сказал молодой человек.

Рикарди поехал домой. Он подозвал taxi, раскрыл машинальным движением дверцу автомобиля – и вдруг похолодел, вспомнив, что его прикосновение теперь смертельно и что человек, который сядет после него в этот автомобиль, может заболеть проказой. Он внимательно посмотрел на свои руки: суставы пальцев были покрыты кое-где такими же светло-розовыми пятнами – и казались немного припухшими. – Какая дикая вещь, – сказал себе Рикарди. – Впрочем, разве сумасшедший не может быть студентом колониальной медицины? Почему именно студент колониальной медицины не может сойти с ума совершенно так же, как всякий другой человек?

Он пришел в свою квартиру и разыскал тот том энциклопедического словаря, где было слово «проказа». Он раскрыл книгу и прочел: «...Хроническая болезнь, обусловленная, по мнению почти всех специалистов, специфическими бактериями и выражающаяся в развитии характерных новообразований на коже, слизистой оболочке, в нервной системе и внутренних органах – новообразований, называемых лепромами. Большинство ученых признает только две формы проказы: туберкулезную (узловатую) и анэстетическую. Та и другая формы начинаются неясно выраженными предвестниками: часто задолго до появления первых признаков больные жалуются на общее недомогание, лихорадку, ревматические боли, нередко головокружение, головные боли, невралгические боли лица и конечностей и различные болезненные явления кожи. Некоторые врачи утверждают, что наиболее характерные предвестники проказы – сухость носа, носовые кровотечения, расстройство потения – усиление или прекращение – и повышенная чувствительность кожи. При узловатой форме – на коже, обыкновенно всего раньше в области бровей, – Рикарди машинально коснулся рукой левого виска, – и на тыльной поверхности рук показываются ограниченные светло- или темно-красные пятна, то исчезающие, то возвращающиеся вновь, но затем увеличивающиеся и постепенно принимающие коричневую или даже аспидно-серую окраску». Дальше шло изложение постепенного развития болезни и объяснение тех нескольких путей, по которым может направиться проказа. Потом медицинское описание того состояния, когда проказа уже окончательно захватила человека: «Вследствие поражения гортани голос делается хриплым...» – Мой голос? – громко сказал Рикарди. – «...постепенно слабеет и, наконец, может совершенно пропасть; дыхание затрудняется и делается свистящим. Узлы часто изъязвляются, причем образуются довольно глубокие язвы; гнойное или иногда кровянистое отделение их засыхает, образуются зеленоватые или коричневые корки различной толщины; сочленения разрушаются, кости обнажаются и омертвевают; особенно поражаются суставы пальцев рук и ног. В этом перио-

де больной представляет ужасающий вид: лицо покрыто язвами, изрыто рубцами, веки выворочены, рот перекашивается, нос разрушен: зрение, обоняние, вкус и голос потеряны.

В средних веках после признания человека прокаженным его вели в церковь, покрывали черным сукном или клали на катафалк, служили панихиду, на ноги бросали лопаткой груду земли в знак того, что он умер для общества, – и отводили в лепрозорий».

Рикарди положил книгу на место. В дверь постучались – вошла женщина, готовившая ему обед. Она дала ему письмо в длинном синем конверте, который он тотчас же узнал, – и сказала, что обед на столе. Рикарди поднялся и пошел в столовую. Распечатав письмо, он прочел, что Элен будет у него вечером. – Ах, есть еще Элен, – сказал себе Рикарди.

После этой неожиданной встречи с молодым человеком на площади Трокадеро Рикарди как-то сразу забыл обо всем, что составляло его жизнь, – и только появление того или иного вещественного напоминания заставляло его опять на секунду обращаться к тому, что временно от него исчезло и что в ближайшем будущем должно было исчезнуть навсегда. – Чего же мне было бы больше всего жаль? – спросил Рикарди. – Элен? – Он сорвал с себя салфетку, с шумом отбросил стул и, покинув столовую, быстро пошел в библиотеку. У него захватило дыхание: он только через минуту успел сформулировать свою мысль, которая скользнула в его сознании, как быстро пронесшееся черное полуживотное-полуптица: – Если я болен проказой, то, значит, и Элен ею больна. – Он опять стал читать статью о проказе, от волнения не сразу понимая; он немного успокоился, прочтя, что мнения о степени заразности проказы разделяются и есть теоретики, полагающие, что эта болезнь не заразительна вовсе. – Да и это было бы заметно, – думал Рикарди. – Впрочем, обсудим все внимательно. Во-первых, может быть, я не болен проказой и это фантазия сумасшедшего; и тот факт, что его слова обладают известной логической убедительностью, еще ничего не доказывает. – Затем Рикарди стало казаться, что пятна

на его лице уменьшились, – он посмотрел в зеркало: но пятна остались такими же. Он осмотрел внимательно все свое тело, раздевшись догола; нигде на его блестящей коже не было никаких ни пятен, ни следов от пятен. – Сейчас мое тело имеет такой вид, – думал Рикарди, медленно одеваясь. – Неужели эта кожа покроется коркой и язвами, а мой голос перестанет звучать? Может быть, и сейчас он звучит плохо? – Он взял несколько нот – легко и без малейшего усилия, как всегда. – Нет, это еще не скоро случится.

После обеда он сел в кресло, взял первую попавшуюся в руки книгу и стал ее читать. Это была «La peau de chagrin»[1] Бальзака. Он читал и забывал постепенно о своей мнимой или не мнимой проказе: но он не переставал думать все о том же, и только мысли его принимали иную форму, – а под ними находилось все то же ощущение смертельной тревоги, которое он уловил в воздухе, выйдя из дому утром, и которое только усложнилось затем. Когда уже начало темнеть, Рикарди подумал об Элен – и вышел, чтобы купить в магазине все, что ему было необходимо для ужина на двоих. Элен особенно любила именно такое времяпрепровождение, – которое вначале было вынужденным, так как она не могла нигде показываться с Рикарди – и его, и ее знали все; она была женой посла, и уже после двух ее появлений с Рикарди распространился слух об их связи, хотя в то время никто из них и не думал о связи. Тогда же муж Элен сказал ей однажды за столом и как бы вскользь, но с той холодной и учтивой язвительностью, которая была ему свойственна, – в ответ на ее замечание о том, как хорошо поет Иза Кремер: – Мне казалось, что до сих пор вы предпочитали мужские голоса. – По его тону Элен поняла, что он где-то уже слышал о мнимой ее связи с Рикарди, – и хотела резко ему ответить, но потом сдержалась и пожала плечами. Больше посол не говорил о Рикарди. Элен с ним никуда не выходила; кроме того, Рикарди иногда жил месяцами в Париже, почти не выходя из дому и предварительно, до отъезда во Францию, словоохотливо сообщив журналистам, что он собира-

[1] «Шагреневая кожа» (*фр.*).

ется отдыхать во Флориде. У него было две квартиры: о второй из них узнали сравнительно недавно; но он запирался на ключ, и кто бы ни приходил к нему, его не оказывалось дома. Именно на этой квартире он встречался с Элен. Элен не могла развестись с мужем, как того хотел Рикарди: она боялась испортить его дипломатическую карьеру, от которой зависело очень многое; она примирилась с необходимостью двойного существования – и еще год тому назад сказала своему мужу в ответ на один из его вежливых намеков семейного характера, что она не хочет обманывать его, что она его не любит и никогда не станет вновь его женой. – Чего же вы хотите? – сказала она. – Les apparences sont sauvées[1] – это все, что я могла сделать, и видит Бог, как это мне дорого стоило.

Из всех женщин, которых когда-либо знал Рикарди, Элен была самой лучшей. Ей было двадцать пять лет, но во многих вещах она была наивна, как девочка; и в ней было особенное душевное целомудрие, перед которым все случайности ее незаконной связи с Рикарди как-то теряли свое нехорошее значение. Она любила Рикарди, как любят высшее существо, и считала его привязанность к ней незаслуженной наградой; она совершенно не знала ни силы своего бессознательного очарования, ни других своих умственных и нравственных качеств, которые заключались в необычно большом для женщины ее лет запасе чувств, в ее удивительном интуитивном и безошибочном понимании искусства, за которое ее особенно любил Рикарди; за все время их знакомства ему никогда не пришлось быть непонятым Элен. Когда она впервые пришла к нему на квартиру, и пила у него глинтвейн, и Рикарди ей пел старые итальянские песенки, – он даже не подумал о том, что значит, какое, в сущности, почти недвусмысленное значение имеет визит замужней женщины в квартиру холостяка: он отвез ее вечером домой, поцеловал ей руку на прощанье – и только через две недели прислал ей из Нью-Йорка письмо, в котором писал, что он любит ее и что ей достаточно отправить ему телеграмму, что она не

[1] – Сохранить внешние приличия (*фр.*).

сердится на него за это признание: он будет ей навсегда благодарен. Рикарди помнил, что он вернулся с концерта в номер гостиницы, заставленный пакетами, чемоданами и цветами, и нашел на столе телеграмму, составленную непрактическим, нетелеграфным языком, – что было тоже характерно для Элен: «Je ne me fache pas parce que je vous aime aussi Helene»[1].

Он ночью протелефонировал в пароходную контору, заказал себе каюту, тут же на столе написал чек на крупную сумму, оплачивавшую неустойку его канадского импрессарио, и, не заснув ни на одну минуту и даже не переодевшись, утром во фраке поехал на пароход и через пять дней звонил по телефону в квартиру Элен. Она пришла к нему в тот же вечер – и оставалась у него до четырех часов утра; она плакала от радости при мысли о том, что Рикарди, знаменитый Рикарди, которого она в то время не могла еще отличить в своем представлении от Рикарди-влюбленного, бросил все и поехал к ней из Нью-Йорка по первому ее слову – совсем как простой смертный: – Tout a fait comme si vous etiez comme tout le monde[2], – говорила она. Рикарди вспоминал обо всем этом, покупая в магазине икру, шампанское, холодное мясо, пирожки и тот особенный сорт индийского чая, который любила Элен. Затем он купил коробку пирожных, букет цветов, вернулся домой, накрыл стол, расставив тарелки и бокалы, и стал дожидаться Элен, которая приехала, как всегда, ровно в половине девятого вечера. Она вошла, неся в одной руке двухмесячного датского щенка, которого она купила по дороге, – это только с тобой может случиться, – сказал ей, улыбаясь, Рикарди, – в другой – завернутый в прозрачную бумагу странный белый цветок с почти квадратными лепестками, оранжевым пестиком и лиловыми тычинками. – Я принесла тебе этот цветок, – сказала Элен, – это африканский, настоящий африканский цветок, который растет в Трансваале. – Как же он попал в Париж? – спро-

[1] «Я не сержусь потому что тоже люблю вас Элен» (*фр.*).

[2] – Совсем, как если бы вы были такой же, как все (*фр.*).

сил Рикарди, снимая с нее пальто и шляпу и удивившись тому, что трансваальский цветок, который был свеж, как только что сорванное растение, мог так сохраниться за время долгого путешествия из Африки во Францию. – Какой ты смешной, – сказала Элен, – он выращен здесь в специальной оранжерее.

За ужином Элен была весела, как всегда, – и в тот вечер Рикарди было тяжело видеть это. Элен всегда была такой с Рикарди, он почти не видел ее другой и не знал, что дома она и говорила, и вела себя не так, как здесь; когда она приходила к Рикарди, она, казалось, менялась даже физически, становясь мягче и меньше, делаясь почти неузнаваемой; у нее менялся даже голос: он точно свежел и углублялся, как будто каждая минута ее пребывания с Рикарди была первой минутой ее радостного волнения. Рикарди помнил, что в начале их знакомства она показалась ему слишком сдержанной, – но это было только в день их первой встречи; и когда Рикарди увидел ее второй раз, она уже так же говорила и смеялась с теми же интонациями в голосе, которые он вспоминал, засыпая и невольно улыбаясь, – как потом, как всегда. Они сидели за ужином: вдруг потухло электричество и сделалось темно. Рикарди перестал видеть Элен, и на секунду его отделила от нее темнота, и Рикарди подумал, что очень скоро он совсем уже больше не увидит ее, как не видит сейчас, – и когда он, невольно повысив голос, сказал: – Элен! – то сам удивился изменившемуся звуку этого имени, которое зазвучало сразу как-то по-иному. – Не бойся, – ответила она, – я не исчезла в темноте. Ты думал, что меня больше нет? Я здесь. – Но Рикарди не произносил ни слова. – Что с тобой? – тревожно сказала Элен, и в эту минуту зажглось электричество, и она увидала побледневшее лицо Рикарди и его темные глаза. – Ничего, – сказал он, улыбнувшись. – Я не должен ей говорить этого, – думал он, – это было бы слишком ужасно. Возможно, даже вероятно, что она не заразилась от меня, – и зачем ей знать это? – Он решил ничего не говорить ей, но ему трудно было выполнить свое решение, не выдавая себя, и тогда он сказал Элен: – Ты помнишь, как я пел тебе итальянские песенки, когда ты

приехала ко мне в гости в первый раз? Хочешь, я буду тебе петь то, что я никогда не исполняю на эстраде? – Она ничего не ответила ему, только сжала его руку.

И здесь же, не вставая из-за стола, на котором продолжали лежать приборы и тарелки с недоеденными кусками, Рикарди, глядя на трансваальский цветок, стал петь Элен вполголоса наивные и почти забытые им мелодии, которые он пел много лет тому назад. Обладая абсолютным слухом и чудовищной, почти нечеловеческой музыкальной памятью, Рикарди знал все, что слышал в своей жизни: он помнил наизусть любую оперу, любой мотив, он пел на пяти языках, и репертуар его был необычайно обширен. – Вот, Элен, – говорил он, – я спою тебе сейчас немецкий романс: в одном месте его, обрати на это внимание, вдруг начинает как будто струиться вода; это романс о русалке.

Элен слушала его, не отрывая глаз от его лица; ей и до сих пор его искусство казалось изумительным и неисчерпаемым. Она слышала Рикарди много раз и во всякой обстановке, но запас его музыкальных богатств был, действительно, настолько неистощим, что она находила всегда новые вещи, которых он еще не исполнял. Он пел ирландские песни, похожие одновременно на разговор и на плач, и русские романсы, про которые он говорил, что в них его голос теряется, точно проходя сквозь темноту и даль, и потом опять появляется, ослабевающий и прозрачный, как звон снега в сильный мороз, он пел английские мотивы, мотивы страны Элен, которые она слышала в детстве, пел французские рифмованные строки о женщинах и о любви и итальянские, удивительные по количеству голосовых изменений, арии.

Было уже очень поздно. – Ну, Элен, я спою тебе еще одно, – сказал Рикарди, – последнее: это французский романс, который я давно люблю.

– И он запел:

Plaisirs d'amour ne durent qu'un moment,
Chagrins d'amour durent toute la vie.

Элен неподвижно сидела на своем месте: трансваальский цветок стал расширяться и увеличиваться в

ее глазах и закрыл собой изменившееся лицо Рикарди. Рикарди замолчал; и, видя, что Элен не начинает говорить, он сказал: – Элен, ведь я забыл самое главное: я спою тебе сейчас колыбельную, ты почти спишь. – Нет, – сказала Элен, – но я думаю: что я могла бы сказать после твоего пения и как? Мне сначала казалось, что я просто необразованна и не знаю нужных слов; а теперь мне кажется, что просто таких слов вообще нет. Но ведь пишут же музыкальные критики? – Они пишут глупости, Элен, – засмеявшись, ответил Рикарди, – ты гораздо лучше их понимаешь музыку. Ты хочешь, чтобы я отвез тебя домой? – Нет, – ответила Элен, – сэр Джордж (это было имя ее мужа) улетел в Лондон; не правда ли, как смешно, что он улетел, – точно злой волшебник из Андерсена? Я не хочу ехать домой. Ты мне будешь петь колыбельную, как ты обещал, – только совсем тихо. – Хорошо, – сказал Рикарди, – но только сэр Джордж не похож на волшебника: разве волшебники носят монокли?

Этой ночью Рикарди говорил Элен:

– Элен, ты чувствуешь движение времени? Смотри, я только что сказал эти слова, и их уже нет.

– Ты можешь их повторить.

– Да, Элен, но они будут другими. Ведь ушли не только слова, ушло то, что их вызвало к жизни; от него оторвался маленький кусочек, оно стало чуть-чуть меньше, почти незаметно, но этого кусочка уже нет. И то, что вызывает к жизни мои слова, все время уменьшается и делается тоньше. Элен, ты помнишь «La peau de chagrin»?

– Да, конечно: это очень печальная книга. – Элен, что бы ты сделала, если бы я умер?

– Я бы тоже умерла, – сказала Элен.

И Рикарди на несколько минут потерял сознание и дар речи – он видел перед собой в сумрачном рассвете, наступившем уже полчаса тому назад, только черные глаза Элен. Потом он, боясь сказать хотя бы одно слово, боясь, чтобы голос не изменил ему, взял руки Элен и стал петь с закрытым ртом колыбельную – и Элен заснула, как засыпают маленькие девочки, внезапно, не успев даже произнести то, что хотела. Рикарди вышел из спальни, принял холодную ванну и потом все сидел у окна, глядя

на редкие автомобили, проезжавшие перед домом, и ни о чем не думая.

Он развернул потом телефонную книгу и нашел адрес профессора Вернана, знаменитого специалиста по накожным болезням; и днем он был уже у него. Профессор осмотрел его, взглянул затем с недоверием, как показалось Рикарди, на его костюм, – и сказал:

– Я ничего не могу сделать, я не знаю, чем вы больны. Обратитесь к специалисту по колониальным болезням.

– К кому именно? – спросил Рикарди.

– В Париже есть один способный доктор колониальной медицины, – но там вам придется ждать очереди недели две. Фамилия этого доктора – Грилье, вот его адрес.

– Грилье, доктор колониальной медицины? – думал Рикарди, едучи в автомобиле. – Грилье? Может быть, это его однофамилец?

Однако, приехав по указанному адресу, Рикарди нашел запертую квартиру. Он долго звонил: наконец ему открыла горничная, которая сказала, что прием закончен, – но что если m-r хочет записаться, то господин доктор сможет его принять в первых числах июня. – Нет, это меня не устраивает, – сказал Рикарди. – Вы знаете адрес его частной квартиры? – Нет, m-r, – сказала горничная так торопливо и заученно, что Рикарди сразу понял, что она знает. Он дал ей стофранковую бумажку и сказал: – Очень жаль, что вы не знаете адреса, очень жаль. Вот вам за беспокойство, благодарю вас. – И он уже стал спускаться по лестнице, когда горничная остановила его: – М-r Грилье живет в Нейи, – сказала она, – вот его точный адрес. Но если он спросит m-r, кто ему сообщил адрес, m-r будет настолько великодушен, что не назовет меня. – Да, да, не беспокойтесь, – сказал Рикарди. – Я хотела дать еще одно указание m-r, если m-r мне разрешит: господина доктора можно наверное застать только после двенадцати часов ночи. В другое время он в городе. – Благодарю вас, – сказал Рикарди.

В одиннадцать часов вечера Рикарди вышел из дому и отправился пешком в Нейи. Он уже обдумал к тому времени все: – Если Грилье скажет мне, что я действительно болен проказой, то тогда конец. Если нет – я буду лечиться

от этой болезни, и все останется по-прежнему. Но если это действительно проказа?..

Он решил оставить доверенность на все свои деньги Элен, ликвидировать свои дела, написать Элен письмо и исчезнуть. Он только не знал – куда; но это он собирался решить позже. Он до сих пор еще не мог поверить в свою проказу: это казалось таким чудовищным и невероятным, и тот Рикарди; который был известен всему миру, настолько не мог стать прокаженным, – что он понимал эту мысль только теоретически, как понял бы ряд логических предпосылок и выводов, сущность которых была бы ему совершенно безразлична. Было уже больше двенадцати, когда он подошел к дому Грилье; и, еще не доходя несколько шагов, он услышал оттуда медленные и тихие звуки пианино, – да, ведь он занимался музыкой, – вспомнил Рикарди. Он открыл калитку железных решетчатых ворот, поднялся по трем ступенькам небольшого дома и тихо позвонил. Музыка тотчас же прекратилась – и голос Грилье спросил, кто там. – Это я, – ответил Рикарди. Грилье, конечно, не узнал его голоса, но открыл дверь, и Рикарди увидел его таким же, каким знал много лет тому назад. Он увидел курчавые волосы, худое и несколько удлиненное лицо Грилье и большие его глаза с неправильным разрезом, про которые Гильда говорила, что они похожи на венецианские окна, – и невольно это неточное и неправильное сравнение вспомнилось Рикарди потому, что он давно не думал о Грилье и ему нужно было сейчас найти что-либо такое, какую-нибудь личную и незначительную подробность прошлых времен, которая вновь воскресила бы в нем то полузабытое место в его жизни, которое занимал в ней Грилье – и в которое мысль его могла сразу вернуться, вспомнив и осветив на секунду какое-нибудь одно характерное представление. Бархатная куртка Грилье была расстегнута на груди, длинные руки были засунуты в карманы. – Что вам угодно? – спросил Грилье, не видевший, как следует, лица Рикарди, находившегося в тени. – Я – Рикарди, я пришел к вам по важному делу, Альберт, – сказал Рикарди. Грилье, не сказав ни слова, отступил, и Рикарди вошел в квартиру. – Что могло вас привести ко

мне, откуда вы узнали мой адрес? И что нужно знаменитому Рикарди от доктора колониальной медицины? – Грилье говорил насмешливо и враждебно. – Альберт, – сказал Рикарди таким измененным голосом, что Грилье поднял голову и взглянул на Рикарди с удивлением и тревогой, – мне кажется, что я болен проказой, и я пришел узнать ваш приговор. – Они находились в квадратной комнате, стены которой были обиты материей цвета grisperle[1] без каких бы то ни было узоров; посредине стоял черный лакированный стол, у одной из стен – черный же диван; прямо перед своими глазами Рикарди увидел довольно хорошую копию рембрандтовских пилигримов, принесших с собой и сюда тот далекий и слабеющий полумрак картины, о котором Рикарди в свое время, учеником консерватории, написал несколько десятков очень плохих стихотворений. – Я сейчас буду к вашим услугам, – сказал Грилье. Он вышел из комнаты, затем вернулся – на нем были белый халат и резиновые перчатки. Он поставил на стол небольшую металлическую коробку, от которой шел электрический шнур, – он вставил его в штепсель, – потом, вынув из этой коробки длинный стальной инструмент с загнутым концом и быстро взглянув на лицо Рикарди, взял его руку и приложил конец инструмента к немного опухшему суставу пальца. – Что вы чувствуете? – спросил он. – Ничего, – ответил Рикарди. Грилье осмотрел пятна возле его бровей. Рикарди с тревогой следил за его лицом. Затем Грилье, отвернувшись, сказал:

– Да, вы больны. У вас начало проказы. Не понимаю только, где вы могли заразиться.

Все вдруг стало безразлично Рикарди, все стало казаться далеким и исчезающим в холодном сумраке, как рембрандтовские пилигримы; и он точно издали видел нахмуренное лицо Грилье и блестящий ящик на столе. Потом он сел на стул и сидел, не двигаясь, несколько минут, глядя в неправильные, удивительные глаза Грилье.

– Рикарди, – вдруг сказал Грилье, и Рикарди не сразу понял, что Грилье произнес его имя. – Рикарди,

[1] жемчужно-серый (*фр.*).

Заказ № 3236

много лет тому назад вы были виновником самого большого несчастья, которое когда-либо со мной случилось. В эту минуту я мог бы торжествовать, если бы потом я не понял, что это не должно меня волновать. Я очень много думал об этом. Даже сейчас, на вашем месте, я тоже не принимал бы близко к сердцу того, что с вами случилось.

– Да, я думаю, что надо быть храбрее, – сказал Рикарди, которому вдруг, вопреки всем обстоятельствам, стало легче. – Но все-таки не забывайте, что это мой смертный приговор.

– Не все ли равно? – сказал Грилье. – Ну, еще три тысячи концертов, еще несколько сот тысяч людей, которые придут смотреть на вас и услышать в ваших песнях напоминание о своей собственной судьбе – о влюбленности и об умирании. Я слушаю вас каждый год, я знаю, что вы гениальны, я искал объяснения вашего непостижимого секрета, я был так наивен, что несколько лет посвятил изучению музыки. Я, правда, не нашел в ней объяснения; я думаю, что его вообще не может быть. – Альберт, несколько лет тому назад я видел Гильду, – сказал Рикарди; лицо Грилье осталось совершенно спокойным. – Она замужем за богатым подрядчиком, она говорит, что ей не было расчета выходить за необеспеченного молодого человека. Необеспеченный молодой человек – это вы, Альберт. Но мне рекомендовал вас как самого способного врача доктор с мировой известностью. Я надеюсь, что вы богаты.

– Я очень богат, – сказал Грилье, – наверное, почти так же, как вы. Очень возможно, что в данный момент, если бы Гильда вышла за меня замуж, это не было бы ни mesalliance[1], ни неблагоразумным шагом. Но ведь я могу не захотеть этого.

– Что вы делали все это время? – спросил Рикарди.

– Я изучал биологию, музыку, медицину. Я был в Африке, я даже лечил проказу.

– Разве она излечима?

– Не всегда. Иногда это удается.

---

[1] мезальянсом, неравным браком (*фр.*).

– Альберт, – сказал Рикарди, и голос его стал свеж и силен. – Если бы я был один на свете, я не стал бы просить вас ни о чем. Но я не один. Скажите, я могу выздороветь?

Грилье задумался.

– Да, года через три усердного лечения. Если к тому времени признаки проказы останутся, это значит, что вы навсегда будете прокаженным.

– Скажем, пять лет?

– Да, если это излечимо, то через пять лет вы будете здоровы.

– Хорошо. Я буду у вас на днях. Вы пропустите меня вне очереди?

– Да, конечно, – сказал Грилье. – Вы дадите вашу визитную карточку горничной.

Рикарди поднялся со стула; ему было не о чем больше говорить с Грилье, так как спор о значении его, Рикарди, о важности его существования для себя и для других, который было начал Грилье, – не мог его интересовать теперь, в эту минуту, – хотя в обычное время Рикарди нашел бы много слов, чтобы ответить Грилье. Он не мог также, – после стольких лет, – найти прежний свой тон, прежнюю привычную речь, которая была одинаково близка и интересна и ему, и Грилье, – и дальнейшее его пребывание у Грилье неизбежно стало бы неприятно. Он простился и ушел.

Через несколько дней он написал Элен письмо. Он писал, что уезжает на пять лет в Африку – что иначе он поступить не может: он оставил ей доверенность на распоряжение всеми своими деньгами, просил платить за его квартиру и в конце письма прибавлял:

«Я не могу тебе объяснить, почему я уезжаю: и это мне тем более тяжело, что я люблю тебя больше, чем все, что когда-либо существовало на земле. Я вернусь через пять лет, и я знаю, что ты будешь меня ждать.

Каждый год в день твоего рождения я буду присылать тебе трансваальские цветы. В тот день, когда ты их не получишь, это будет значить, что я вернулся в Париж – или что меня нет в живых».

Рикарди был у Грилье и, посоветовавшись с ним, решил уехать как можно дальше. Он выбрал Южную Африку – и маленький поселок, странное и труднопроизносимое название которого ему сказал Грилье, бывавший там каждый год. Там Рикарди должен был жить и лечиться до тех пор, пока последние следы проказы не исчезнут с его кожи – или пока не выяснится окончательно, что Рикарди никогда не сможет больше ни петь, ни давать концертов, ни даже жить в Европе. Рикарди отправил туда все свои вещи и целую неделю провел в Париже один, в смертельной тоске и ожидании.

В вечер своего концерта, уже с билетом в кармане, он пошел пешком по Парижу, прошел по той улице, где было здание театра, в котором он должен был петь, посмотрел на потушенные лампы у входных дверей, на потемневшую в умеренном свете уличных фонарей, потускневшую надпись «Рикарди» на афише, перечеркнутую широкой полосой красного карандаша, опустил голову, постоял с закрытыми глазами несколько секунд, затем остановил проезжавший автомобиль – и уехал на вокзал, с которого отходил его поезд.

НА ОСТРОВЕ

> В те дни, когда в садах лицея
> Я безмятежно расцветал...

Я учился в четырех гимназиях, в реальном училище, в кадетском корпусе и, наконец, в парижском университете, – но нигде не видел ничего, что хоть отдаленно напоминало бы то своеобразное учреждение, в которое поступил в Константинополе, в тысяча девятьсот двадцать втором году; удивительное и неповторимое время, когда одинаково возможными казались и поездка в Америку, и превращение – как в Шехерезаде – в турецкого рыбака, или солдата британской армии, или подданного голландской королевы. Все было зыбко и расплывчато, никто бы не мог сказать, что будет завтра; люди добывали средства к жизни самыми неожиданными способами. Один мой знакомый, например, не обладавший ни музыкальным образованием, ни даже слухом, хорошо зарабатывал, настраивая рояли. Это было так поразительно, что я попросил его рассказать, каким образом такая вещь могла удаваться.

– Очень просто, – сказал он, – все это чистейшая психология.

– Я до сих пор думал...

– Совершенно напрасно. Я прихожу в дом, где есть пианино, и спрашиваю, не нужно ли его настроить. Хозяйка мнется. Тогда я сажусь за рояль и играю вальс, который с величайшим трудом выучил, – и не думайте, что по нотам, так как нот я не знаю; знаю, что есть ключ скрипичный и ключ басовый, а чем они друг от друга отличаются – черт их ведает. Да, играю вальс и нахожу, что пианино необходимо настроить. Хозяйка соглашается. Я прошу всех выйти из комнаты и закрыть дверь, так как иначе работать не могу. Все удаляются. Я сажусь, выни-

маю книжку и читаю с полчаса; иногда для разнообразия нажимаю один клавиш. Потом отворяю дверь и говорю: – Пианино настроено, мадам. – Она что-то там играет и находит, что, действительно, совершенно другой звук, что я прекрасно его настроил. Затем я получаю деньги и ухожу. Вот и все.

Он учился вместе со мной, потом работал во Франции, был маляром и собирался поступать в École de langues orientales[1], он бегло говорил по-турецки, по-гречески, по-армянски и по-персидски. Умер от туберкулеза в Ницце несколько лет тому назад.

Константинопольская гимназия, в которую меня приняли, переехала через два месяца в один из городов Болгарии – я хотел написать: в небольшой провинциальный город, но в Болгарии все города небольшие и провинциальные. Это была закрытая восьмиклассная гимназия, где мы состояли на полном пансионе, который, впрочем, ввиду нерегулярного «поступления сумм», не всегда был достаточным; во всяком случае, летом из экономии мы ходили босиком. Гимназия занимала большое здание, окруженное двором и садом. Освещение было керосиновое, а отопления вовсе не было, пока мы сами не устроили глиняных печей. Учеников разных классов было, помнится, двести с чем-то, и человек пятьдесят служебного и педагогического персонала. И ученики, и персонал были не совсем обыкновенными. Большинство гимназистов в недавнем прошлом были солдатами, офицерами или матросами. В седьмом классе самому младшему ученику было семнадцать лет, самому старшему – тридцать шесть; как это проходило в официальных отчетностях – не знаю. Среди нас были кочегары, артиллеристы, матросы коммерческого, военного и даже парусного флотов, был комендант города Керчи, ставший учеником пятого класса, – учился он средне, но обнаружил большую склонность к любительским спектаклям, где неизменно играл в пьесах Островского на патетических ролях с задушевными интонациями, – были спекулянты, столяры, рабочие, офицеры разных чинов, впрочем, не старше капитана, был один

[1] Институт восточных языков (*фр.*).

ротмистр, милейший и беспечнейший человек, кончивший кадетский корпус в России в тысяча девятьсот десятом году. И вот эти люди усердно учились. Культурный уровень их был тоже очень различен; но учеников, обладающих нормальным для своего возраста запасом знаний, хотя бы по Пушкину:

Мы все учились понемногу
Чему-нибудь и как-нибудь, –

было ничтожное меньшинство. Помнится, преподаватель математики, увлекавшийся и очень любивший свой предмет, экзаменовал одного вновь поступающего юношу, – чтобы определить, в какой класс он может быть принят. Юноша стоял у доски – с угрюмым и недоверчивым видом; ему было лет восемнадцать, на нем были штаны-галифе и сапоги бутылками. Преподаватель математики стал его спрашивать:

– Вы помните квадратное уравнение?

Экзаменующийся с трудом крякнул и промолчал.

– Не помните? Ну, это неудивительно. Это ничего, мы с вами сейчас выведем первую формулу квадратного уравнения. Существуют, если вы не забыли, две формулы, но мы пока что ограничимся первой формулой простого квадратного уравнения. Ну, пишите: $x^2 + px + q = 0$.

Сапоги бутылками несколько раз тяжело переступили с места на место. Экзаменующийся не писал.

– Ну, пишите же: x^2...

Экзаменующийся не писал. Причина выяснилась довольно быстро: он не знал латинского алфавита. Это даже у нас было исключительно. Но я помню, как сокрушался один мой одноклассник, сидя над французским уроком: в трехстраничном отрывке из «Отверженных» Виктора Гюго, который он переводил, ему попалось четыреста незнакомых слов. В пятом классе был ученик, написавший совершенно анекдотическое сочинение на тему о Кавказе, которое потом долго ходило по рукам и где Кавказ был назван «жемчужиной России с очень многими искатаемыми». «Искатаемые» значило ископаемые; и, что удивительнее всего, употребляя этот сомнительный тер-

мин, ученик имел в виду минеральные богатства Кавказа, полагая, по простоте душевной, что если их добывают из-под земной поверхности, то почему же им не быть ископаемыми.

Педагогический персонал был не менее оригинален. Далеко не все были профессиональными преподавателями. Это имело свои дурные и хорошие стороны. Лучшим из них был директор гимназии, Григорий Григорьевич Мейер. Кажется, в России он был одним из преподавателей артиллерийской академии. В нем не было ничего военного или административного; но управлял он гимназией, что было особенно трудно при таком составе учащихся, при всегда стесненных материальных обстоятельствах, – так хорошо и умно, что не было ни резких мер, ни наказаний, – и все шло настолько прекрасно, насколько это вообще было возможно. Каждый гимназист пользовался такой свободой, что мог бы делать все, что захотел; но непостижимый секрет Григория Григорьевича заключался в том, что даже самые отпетые ученики ни разу не захотели воспользоваться этой свободой. Как и большинство очень дельных людей, Григорий Григорьевич не был особенно словоохотлив; но с тем большим вниманием его слушали, когда он говорил. Вместо наказаний он употреблял следующий способ воздействия: вечером после ужина он собирал всех учеников и говорил с ними о тех или иных проступках, коротко их комментируя. Здесь он бывал безжалостен: читал нам вслух любовную переписку учеников (гимназия была смешанная) или говорил, с недоумением пожимая плечами, – речь шла об «Орле», ученике седьмого класса, бывшем профессиональном борце, человеке добродушном и миролюбивом, никогда не прибегавшем к физической силе, но не всегда словесно корректном и своеобразно диком: – Господа, ну, представьте себе: вот вы кончаете гимназию и едете за границу, и Орел тоже едет; и вот – Орел в Париже. Ну, представьте себе: Орел – в Париже! – Вся гимназия начинала хохотать; думаю, что Орел чувствовал себя неважно.

В другой раз директор читал нам послание гимназиста к Людмиле Д., ученице шестого класса: «Дорогая

Милочка, вы можете мне не верить, но я нахожусь на краю напряжения...»

– Я не говорю о стиле, – разводил руками Григорий Григорьевич, – но, вообще, разве можно так писать? На краю напряжения – это совсем нехорошо.

Он преподавал физику, и у него не было неуспевающих учеников. Я был всегда плох в точных науках и особенной любви к ним не питал; но физику учил: было уж очень неловко выйти к доске и не знать, как устроен электроскоп или как идут лучи в лупе, – смотреть в умные, понимающие и снисходительные глаза Григория Григорьевича и не быть в состоянии ответить – было бы просто унизительно. Такое чувство было у всех, и к урокам физики готовились особенно усердно.

Другим преподавателем, непохожим на остальных, был Валентин Валентинович Рашевич; он заслуживал бы того, чтобы о нем написали не несколько строк, а целую книгу. Принадлежал он к той породе энциклопедически образованных людей гуманистического порядка, которые существовали в блистательном девятнадцатом столетии и которых почти не осталось в нашем веке, невежественном и убогом. Кажется, он знал все: он одинаково свободно говорил и о двигателях внутреннего сгорания, и о египетской культуре, о медицине, математике, философии и английской литературе.

Никогда не забуду его последней речи – в день выпускного акта. Он говорил о Паскале и Пастере и кончил, обращаясь к нам:

– В мире есть три рода борьбы за существование: борьба на поражение, борьба на уничтожение и борьба на примирение. Помните, что самый лучший и самый выгодный род борьбы – это борьба на примирение.

Преподавал он нам русскую литературу, читал нам классиков и объяснял, как их следовало понимать: объяснения его, при всей их замечательности, – мне не приходилось впоследствии ни слышать, ни читать ничего, что могло бы сравниться с их интуитивной безошибочностью и непогрешимым, мгновенным угадыванием самых удаленных сторон скрытого смысла: обычные критические статьи

казались беспомощным лепетом по сравнению с его объяснениями, и было смешно и жалко открывать потом учебник словесности – правда, более глупых книг, чем русские учебники словесности, не существует, – объяснения его отличались тем недостатком, что были недоступны большинству учеников; и я помню мертвенно-непонимающие лица, когда Валентин Валентинович, с волнением в голосе, повторял фразу Паскаля, ужасную по своему трагизму, почти нечеловеческому: – «C'est le silence éternel des éspaces infinies qui m'effray»[1].

Я как-то спросил его мнение о религии.

– Надо верить в Бога, – сказал он, – это, может быть, самое прекрасное, что придумали люди.

Через несколько дней после этого у нас в гимназии умерла от какой-то молниеносной болезни одна учительница, молодая женщина двадцати четырех лет. Ночью я вышел на балкон; было душно, неподвижное небо тяжело лежало над нами; в передней я увидел старика с седой бородой, отца умершей; он сидел за столом, плакал и читал Евангелие. На балконе я заметил широкую спину Валентина Валентиновича. Я на цыпочках подошел к нему. Он повернул ко мне свое лицо, освещенное медным светом луны, – и сказал: – Ну, что вы можете ответить этому старику, чем вы можете его утешить? Все сокровища мира не существуют для него, – и нет человеческих слов для его утешения. И видите, – он читает Евангелие. Чем вы замените ему эту единственную книгу?

Всем нам – и преподавателям тоже – жилось трудно; помню, мы узнали, что у Валентина Валентиновича нет денег на табак; мы собрали всем классом какую-то сумму и во время отсутствия Валентина Валентиновича поставили ему на стол в его комнате коробку с тысячью папирос.

Он помогал всем, кто к нему обращался: нужно было решить сложную задачу – шли к нему; нужен был трудный перевод – обращались к нему же. И однажды наша одно-

---

[1] – «Меня ужасает вечное безмолвие бесконечных пространств» (*фр.*).

классница, готовившаяся к экзамену и плакавшая над совершенно непонятной теплотой, – никто не мог ей объяснить, что такое теплота, – пошла к Валентину Валентиновичу – по нашему совету; было решено, что если уж он не объяснит, то, значит, это – вне человеческих возможностей, и, поговорив с ней полчаса, Валентин Валентинович заставил ее понять теплоту. Как он этого достиг – было непостижимо. Ученица выдержала экзамен. – Это на вас вдохновение нашло, – сказал ей преподаватель. – Валентин Валентинович объяснил, – ответила она.

Было бы слишком долго рассказывать о всех наших преподавателях. Я приведу лишь несколько примеров. Был такой воспитатель, генерал Орлов, ныне покойный, который решительно не знал, как с нами обращаться – то ли как с солдатами, то ли как с кадетами; штатских людей он до этого, я думаю, почти не видел. И он изобрел такую странную форму обращения: «господин молодой человек».

Каждое воскресенье утром он неизменно приходил к нам в дортуар – и заставал меня в постели.

– Господин молодой человек, – громко говорил он, – извольте вставать и отправляться в церковь.

– Да я, Василий Степанович, в Бога не верю.

– Все равно, ведь вы же, слава Богу, православный, а не басурман. Глупости. Верите – не верите, а в церковь надо идти.

Однажды он отправил таким образом на богослужение одного нашего гимназиста, еврея, на том основании, что «Бог у всех один». Преподавал он историю; и, оставляя в стороне конгрессы и торговые соглашения, особенно налегал на войны, – в противоположность второму историку, дряхлому старику Тирце, не любившему войн и предпочитавшему конгрессы. Этот Тирце сказал мне, узнав, что я выписал из Берлина несколько книг и в том числе какой-то из романов Эренбурга:

– И зачем вы такие книги читаете? Ведь это все одна компания: Грузенберг, Эренбург и так далее – ведь это же масоны.

У него была привычка говорить:

– Я вам откровенно скажу...

Фразу эту он произносил механически и говорил тогда, когда она не имела уже вовсе никакого смысла, например:

– Я вам откровенно скажу: Петр Великий умер в 1725 году.

Читал он свои исторические лекции по собственному курсу, им составленному и переписанному его рукой. Сочинения, которые ему подавали, он оценивал в четыре, – если сочинение было, мягко говоря, заимствовано из учебника Платонова, – и в три с плюсом, если из другого. Один гимназист захотел его перехитрить и скопировал свою письменную работу из собственного курса Тирце, – все, от слова до слова. Тирце поставил ему три с минусом и внизу укоризненно приписал: «Стиль слабоват», – что, впрочем, было совершенно верно. Тирце был очень стар; он, кажется, родился в тысяча восемьсот сорок пятом году и преподавал, как кто-то сказал про него, всю новую историю по личным воспоминаниям.

Не знаю, каким чудом, в силу какого эмигрантского недоразумения, к нам в воспитатели попал бывший жандармский полковник Травкин, человек почти сумасшедший и исключительно неудачливый во всем, за что ни брался. Ему поручили огород; он посадил пять мешков картофеля и в нужное время собрал только три. Тогда ему доверили скотный двор; но из шести свиней, над которыми он начальствовал, четыре скоро издохли; кажется, он гонял их на корде, чтобы они «не теряли формы». Отчаявшись найти Травкину какое-либо полезное применение, его попросили преподавать Закон Божий в приготовительном и первом классах, но однажды инспектор попал на его урок и услышал, как Травкин спрашивал своим жандармским басом восьмилетнего стриженого мальчика с испуганным лицом, – сколько километров от Вифлеема до Назарета. Мальчик не знал и получил двойку. После этого Травкина «освободили» от обязанности преподавать Закон Божий, – и так он оставался в гимназии, ничего не делая, «без руля и без ветрил», – то прохаживаясь по коридорам, то спускаясь в огород и сад и заглядывая на осиротевший скотный двор, где он недавно еще был властелином

и экспериментатором. Последнее, что ему поручили, было вымостить дорожки внутреннего двора, соединявшие два корпуса здания; он их посыпал щебнем, а сверху положил толстый слой какой-то особенно вязкой глины, сделав эти дорожки совершенно непроходимыми после дождя.

Был еще заведующий библиотекой, болезненно бережливый и аккуратный человек: книги он выдавал с величайшей неохотой, уверяя, что если их не брать, то они будут в сохранности; это было бесспорно, но книги все-таки брали. Видя, что уговоры не действуют, он решил прибегнуть к более решительным мерам: прибил на дверях надпись: «Библиотека закрыта, по случаю проверки книг», – и успокоился. Через некоторое время ему заметили, что книги все-таки нужно выдавать. Тогда он написал другое объявление: «Библиотека временно открыта», – и опять стал давать книги чуть ли не со слезами на глазах.

Был у нас священник, говоривший с сильнейшим украинским акцентом, франт и щеголь; он низко стриг волосы à la garçonne[1], носил узенькие штаны и лакированные туфли и тросточку, а рясу набрасывал на руку, как плащ или накидку. Он был удивительно красноречив, его можно было слушать часами, речь его убаюкивающе катилась, почти как колыбельная песня, до тех пор, пока он не начинал говорить явные несообразности, вроде описания успехов современной хирургии: «делали операцию пожилому пациенту и, можете себе представить, из одного носа шестьдесят три косточки вытянули»; по-видимому, в его представлении пациенты были более костистые и менее костистые – как рыбы; жил он в мечтах, окруженный воображаемыми чудесами хирургии и другими, столь же неправдоподобными вещами. Я попытался однажды вслушаться в то, что он говорит; это были плавные фразы, в которых временами появлялся частичный смысл, тотчас поглощавшийся потоком новых, ничем между собой не связанных слов.

– Как цветок тянется своими лепестками до солнца, – говорил он, – так душа человеческая до Господа Бога, и в

[1] как эмансипированная девица (*фр.*).

последнее время многие ученые. Кроме того, но не забывая, каждый ученик среднего учебного заведения может вести дневник...

Он уехал потом от нас, его сменил другой священник, озлобленный, несчастный и очень некультурный человек, вскоре умерший.

Особенно хорошо в гимназии было летом, когда можно было сколько угодно лежать в саду, есть пре красные болгарские дыни и арбузы, – кругом была болгарская тишина и зелень, все было лениво, спокойно и хорошо. Было хорошо еще то, что в те времена мы были непростительно молоды, пели «Гаудеамус», и перед нами была целая жизнь – Берлин, Вена, Париж, и все казалось легким и блистательным. Мы не знали тогда, какие страшные утраты ожидают нас; немногие увидели стены университетских аудиторий, остальных ждала бессмысленная и тяжелая жизнь иностранных рабочих.

Многие умерли, некоторые, – в том числе Орел, – сошли с ума; большинство надежд не оправдалось, – и нужда и горе оказались такой же плохой и бесплодной наукой, какой был для нас опыт гражданской войны и долгой жизни за границей.

В гимназии был балкон, с которого открывался вид на поля и деревья, лежавшие перед глазами. В солнечные летние дни, в силу странного зрительного обмана, сначала казалось, что видишь перед собой синеющее море; и гимназия тогда представлялась островом или кораблем, медленно движущимся навстречу этому синему пространству.

СЧАСТЬЕ

Андрэ Дорэн, бледный мальчик пятнадцати лет, был один в квартире своих родителей, в Sainte-Sophie, в сорока верстах от Парижа. Мачеха его была в Канне – всегда в это время года, – отец с утра уехал в Париж, предупредив, чтобы его не ждали к обеду: это значило, что он вернется ночью, разбудит Андрэ и скажет ему своим спокойным и счастливым голосом, который Андрэ так любил:

– А, ты спишь? Встань, посиди со мной немного. Мы сначала предадимся алкоголизму, потом я тебе расскажу несколько любопытнейших историй.

Он заставит Андрэ надеть пижаму и выйти в столовую, приготовит кофе, осторожно вольет в чашки несколько капель рома и расскажет Андрэ множество пустячных вещей, которые ему кажутся нелепыми и смешными; потом достанет из своего коричневого портфеля книгу в кожаном переплете, передаст ее Андрэ и прибавит:

– Эту книгу я нашел совершенно случайно. Помнишь, ты говорил о ней, тебе хотелось ее иметь? Представь себе, прохожу я по Елисейским полям, вижу, стоит пустой автомобиль и внутри – эта самая книга. Я подумал: Боже мой, ведь именно о ней мне говорил мой сын, – вот удачное совпадение. Я открыл дверцу автомобиля, достал книгу, спрятал ее в портфель и ушел незамеченным. Ты понимаешь, какая удача? Только ты, пожалуйста, никому ее не показывай. Там даже какая-то надпись есть.

И в книге будет написано ровным отцовским почерком: «À ne pas lire la nuit, s.v.p.»[1].

Анри Дорэн, отец Андрэ, все по привычке считал своего сына маленьким мальчиком и чаще всего разговаривал с ним так, точно ему было девять или десять лет. Он знал, впрочем, что Андрэ слишком развит для своих лет, он видел это по тем книгам, которые читал Андрэ, по вопро-

[1] «Не читать по ночам, пожалуйста» (*фр.*).

сам и замечаниям Андрэ, казавшимся ему необычными в устах его маленького сына, которого он так недавно еще носил на своих плечах, для которого часами был готов делать гримасы, рассказывать сказки и тратить множество усилий только для того, чтобы Андрэ рассмеялся. Но Андрэ смеялся чрезвычайно редко. Анри Дорэн все чаще думал о том, что, чем старше становится Андрэ, тем больше увеличивается его сходство с покойной матерью, первой женой, которую он никогда не мог забыть. Когда Дорэн познакомился с ней, ей было девятнадцать лет, хотя на вид ей можно было дать пятнадцать. Она всегда носила белые платья, ходила легко и бесшумно, и Дорэн говорил ей, что она похожа на один из тех дневных призраков, которые так же редки в мире, как белые дрозды. Она была очень болезненна; и хотя не жаловалась ни на что, кроме несколько повышенной чувствительности, Дорэн повез ее к известному профессору, который ему сказал, что его жене следовало бы иметь ребенка; это переродило бы весь ее организм. – Ты хотела бы иметь сына? – спросил ее Дорэн через несколько дней после этого. Она зажмурила глаза и утвердительно кивнула головой. Дорэн не знал тогда, что это будет для нее смертным приговором.

В ночь ее родов, когда другой врач, сурово глядя на него, сказал, что надо было быть сумасшедшим, чтобы надеяться на благополучный исход – ведь она совсем девочка, – Дорэн не находил себе места. С той минуты, когда ее привезли в клинику, – это было поздно вечером, – до первых часов летнего утра он шагал по небольшому пространству перед домом в Saint-Cloud, где она лежала, – он боялся войти внутрь и не мог уйти; ровно горел свет в передней за стеклянной дверью, дом был тих, все вокруг было неподвижно и тревожно, – и бесконечное ожидание его длилось до утра, когда ему сказали, что его жена умерла. Он кивнул головой, засунул руки в карманы и ушел, забыв даже спросить, жив ли ребенок; он пришел в себя только через два дня, разбуженный полицейским и приведенный в комиссариат квартала Menilmontant. Полицейский сказал, что нашел этого человека спящим на скамейке, и так как при нем не оказалось ни денег, ни даже бумаг, то он арестовал его за бродяжничество.

– Как твоя фамилия? – спросил комиссар, обращаясь к Дорэну и глядя на его испачканный, измятый костюм и лопнувшие ботинки. Только в эту минуту Дорэн понял, что его жена умерла, – и впервые заплакал.

– Ты не хочешь сказать, как твоя фамилия? – продолжал комиссар. – По-видимому, у тебя достаточно причин ее скрывать; я прекрасно это понимаю.

– Вы ничего не понимаете, – сказал Дорэн. – Моя фамилия Дорэн, я не бродяга и не преступник. Позвоните в мою парижскую, контору и вызовите управляющего.

– Помните, что если это шутка, – недоверчиво проговорил комиссар, – то я заставлю вас пожалеть о том, что вы пошутили.

Однако в контору он позвонил.

– Monsieur Dorin у вас? – закричал изумленный голос в телефоне.

– Он будет с вами говорить, – ответил комиссар и передал трубку Дорэну. Дорэн велел прислать за ним автомобиль; и через двадцать минут шофер открыл дверцу тяжелой шестиместной машины перед небритым человеком в грязной одежде, сняв шапку, поклонившись и сказав, как всегда:

– Bonjour, monsieur[1]. – Комиссар со смущенным и вместе удовлетворенным видом помахал на прощанье рукой. Приехав домой, приняв ванну, побрившись и переодевшись, Дорэн вызвал к себе экономку, которая сказала ему, что madame похоронена на Père-Lachaise и что сын находится в комнате, отведенной кормилице. Только тогда Анри Дорэн впервые увидел Андрэ. Мальчик был очень мал и весил всего три кило. – Все, что она могла, – подумал Дорэн, – все свои хрупкие силы она отдала этому ребенку – и это стоило ей жизни.

Ему казалось тогда, что все свое время он посвятит сыну; мысль о том, что он мог бы жениться вторично, не приходила ему в голову, хотя ему было всего двадцать шесть лет. Много лет он прожил, действительно думая только о сыне. Но по мере того, как Андрэ рос, Дорэн чувствовал, что бессознательная, физически ощущаемая любовь к сыну заменяется иным чувством, не менее сильным, но уже лишенным первоначальной остроты, когда

[1] – Доброе утро, месье (*фр.*).

каждое движение маленького тела Андрэ отдавалось в его сердце. И хотя он продолжал любить сына так же, казалось бы, как всегда, однако в последние годы он вновь стал доступен иным чувствам, – и заметил в первый раз за все это время, что он еще не стар, богат и, в сущности, почти счастлив. Андрэ был умным мальчиком, способным учеником и таким любителем чтения, что Дорэн, спавший чрезвычайно крепко, специально купил себе будильник, который он ставил на два часа ночи, – чтобы проснуться и идти в комнату Андрэ; он заставал сына в кровати с книгой в руках. – Ну, monsieur, – говорил он, – monsieur все читает? – Он вынимал у него книгу из рук, целовал его в лоб и уходил – и только тогда Андрэ засыпал.

Дорэн женился второй раз, когда Андрэ было четырнадцать лет. Он познакомился с Мадлен случайно в кафе, куда зашел на полчаса после завтрака. Мадлен сидела напротив; Дорэн увидел ее длинные серые глаза, показавшиеся ему в первую минуту влажными – это впечатление бывало у всех, кто взглядывал на Мадлен, – ее красные губы и белые волосы, так мелко и тщательно завитые, что они ему напомнили бороды ассирийских царей. Как только Дорэн увидел Мадлен, он почувствовал необыкновенное волнение. Он даже не понял, что причиной этого была она; ему вдруг стало казаться, что не то он забыл нечто чрезвычайно важное, не то не сделал чего-то до крайности необходимого, не то в доме случилось несчастье: не почувствовал ли себя плохо Андрэ? Мадлен сидела на своем месте, помешивая ложечкой давно остывший чай, взглядывая изредка на Дорэна и все точно не решаясь уйти. Наконец она посмотрела на свои часы, подозвала гарсона, открыла свою длинную и узкую сумку, похожую на черный кожаный конверт, – и вдруг выяснилось, что маленький бумажник с деньгами, который должен был там находиться, она забыла дома. – Боже мой, что же делать? – сказала она низким голосом. Услышав этот голос, Дорэн понял, отчего происходило его волнение. – Разрешите мне заплатить, – проговорил он после секунды молчания. – Нет, нет, monsieur, благодарю вас тысячу раз. Это так досадно. Боже, ничего глупее этого не могло случиться, – говорила она. Но, в конце концов, другого выхода из положения не оставалось. Они вышли вместе из кафе, Дорэн посадил

Мадлен рядом с собой, и – после этого в течение целого вечера и первых часов ночи его желтый «chrysler» можно было видеть в разных частях города, и в Булонском лесу, и на Версальской дороге; был июньский день, зной которого смягчался легким летним ветром; плескались в воздухе зеленые листья, остро сверкали стекла автомобиля, и желтый круг солнца скользил, покачиваясь, по черным крыльям машины.

Уже садясь рядом с Мадлен в автомобиль, Дорэн бессознательно знал, что так уйти от этой женщины он не может. Мадлен знала это еще раньше него. Она рассказала ему, что живет одна в Париже, что родители ее остались в Приморских Альпах, что ей двадцать восемь лет, что она пишет статьи об урбанизме и иногда снимается в кинематографе. Они пообедали на Больших бульварах, затем снова поехали кататься, потом Дорэн очутился у Мадлен, потом как будто бы ничего не было, затем он увидел как сквозь сон ее плечи, грудь с наивными, как ему показалось, мальчишескими сосками и ее длинные ноги и влажные глаза. Утром он, не вставая с дивана, дотянулся до телефона, стоявшего на маленьком столике, вызвал свой номер в Sainte-Sophie и сказал Андрэ, что придет часа в четыре дня. – Хорошо, папа, – спокойно ответил Андрэ. – Меня не будет дома в это время, я уйду за бабочками. – Прекрасно, значит, мы увидимся позже. – Еще через полчаса, – в сумрачном свете, проходившем сквозь закрытые ставни, – Дорэн сказал Мадлен, что просит ее быть его женой. – Вы с ума сошли, – ответила она, смеясь. – Я не шучу, – повторил Дорэн дрогнувшим голосом. Мадлен серьезно на него посмотрела, потом крепко обняла и поцеловала его и ничего не сказала.

В четыре часа дня Дорэн привез ее к себе, в Sainte-Sophie. Он обошел с ней дом и показал ей все комнаты, кроме комнаты Андрэ, по обыкновению запертой на ключ; Андрэ, уходя, никогда не оставлял дверь открытой. Они прошли в столовую; Мадлен остановилась у длинного зеркала, вделанного в стену, чтобы поправить прическу. Дорэн сзади подошел к ней и обнял ее, ее губы зашевелились, она, вздохнув от мускульного усилия и перегнувшись, обернулась к нему, чтобы поцеловать его, и в эту минуту увидела чьи-то чужие глаза: на пороге комнаты стоял худоща-

вый мальчик, который внимательно смотрел на нее и на Дорэна. Дорэн покраснел, выпустил из рук плечи Мадлен и сказал неожиданно веселым голосом:

– Андрэ, я представляю тебе твою будущую новую мать. Мадлен, это мой сын, Андрэ.

– Alors, mon petit...[1] – заговорила Мадлен, употребив по ошибке ту же интонацию голоса, с которой она только что обращалась к Дорэну; и, тотчас же заметив это, повторила уже иначе: – Mon petit, faisons la connaissance[2].

Андрэ низко поклонился, поцеловал ее руку и холодно ответил: Enchante, madame[3].

С того времени, когда Мадлен переступила порог дома Дорэнов, Андрэ почувствовал, что в счастливой и спокойной его атмосфере произошли какие-то изменения. Мадлен внесла с собой нечто новое и резко непохожее на все, что было до сих пор. Андрэ не любил Мадлен за то, что всюду, где она появлялась, где двигалась ее фигура и раздавался ее низкий голос, – неизменно воцарялся один дух, и все окружающее ее начинало иметь только определенный смысл, в центре которого была она, Мадлен. Она как бы говорила своим присутствием: то, что вы думаете, делаете или читаете, важно только до тех пор, пока меня нет; а как только есть я, то вы не можете не думать обо мне и не считать, что моя близость есть главная цель вашей жизни. Мадлен не стремилась к этому сознательно; но в ней была особенная душевная влажность, готовность каждую минуту пойти навстречу всякому движению, которое произошло бы в этом напряженном воздухе. У нее были всегда горячие руки и губы; и когда вечером она небрежно целовала Андрэ в лоб, желая ему спокойной ночи, Андрэ делалось неприятно.

Мадлен отличалась счастливейшим физическим равновесием, и в некотором смысле ее организм был так же совершенен и неутомим, как легкие орла или мускулы лучшего в мире атлета; и всякое ощущение, доставляющее

[1] – Ну, что, малыш, давай... (*фр.*)

[2] – Давай, малыш, познакомимся (*фр.*).

[3] Очень рад, мадам (*фр.*).

обыкновенному человеку легкую боль или удовольствие, соблазн которого нетрудно преодолеть, вызывало у нее точно ветер в крови. Казалось, что чувства ее похожи на длинную шпагу, которой конец, уже после того как нанесен удар, все еще дрожит, и колеблется, и точно трепещет в воздухе, как знамя на ветру, или белый край паруса над рябящимся морем, или крылья птицы, садящейся на воду. Анри Дорэн знал это так же, как Андрэ, но он думал, что все это – только для него, и ни для кого другого; ему казалось, что до встречи с ним Мадлен не знала ни себя, ни своих чувств, которые раскрылись лишь в близости к нему и вне этой близости почти не существовали. Его отношение к Андрэ ни в чем, казалось бы, не изменилось; и все же Анри Дорэн и его сын стояли теперь как бы на разных берегах вдруг разделившей их воздушной горячей реки, которую ни один, ни другой не могли бы перейти.

Анри Дорэна часто не бывало дома; он уезжал то в Париж, то на юг, где находились его фабрики. Иногда Андрэ сопровождал его; поездки с отцом были для него величайшим удовольствием. Он сидел в автомобиле и смотрел на летящее в воздухе украшение радиатора, изображавшее голову индейца с сильно откинутыми назад волосами; голова индейца неслась, покачиваясь, над ровной поверхностью асфальтовых дорог, мимо домов и деревьев, по берегу моря, по улицам провинциальных городов и по парижским бульварам; и в своем воображении Андрэ давно уже придумал название для рассказа об автомобиле: «Индеец-путешественник». Рассказа он, однако, не написал. Все поездки всегда кончались благополучно; и только однажды Андрэ вернулся из автомобильного путешествия с громадной шишкой на лбу. Случилось это потому, что, когда как-то вечером в Париже они возвращались с отцом домой, – перед этим шел дождь, и торцы мостовой, по которой они проезжали, были покрыты тонким слоем жидкой грязи, – и отец, спеша поспеть к девяти часам в Sainte-Sophie, все больше и больше ускорял ход, – на углу одной из улиц Пасси, почти пустынной в это время, Андрэ вдруг увидел маленького щенка-фокстерьера, который перебегал дорогу и находился как раз на пути автомобиля, так что свернуть было некуда; улица была узкая. Андрэ сразу стало больно дышать, он взглянул на отца и, не успев еще

сказать ни слова, понял, что отец тоже заметил щенка. Как ни быстро это произошло, Андрэ успел еще подумать: что сделает папа? – Держись, Андрэ, – сказал только Дорэн, и в ту же секунду завизжали и заскрипели тормоза, голова индейца с необычайной быстротой стала поворачиваться направо; автомобиль занесло на полном ходу. Андрэ сорвало с сиденья и бросило в угол, затем он услышал, – уже после всего, – сильный удар, и все остановилось. Андрэ поднялся с того места, куда упал, и первое, что он увидел, был щенок, успевший добежать до противоположного тротуара и помахивавший коротким обрубком хвоста. Руки отца усадили Андрэ рядом с собой, и изменившийся голос его спросил:

– Мы, кажется, живы, Андрэ?

Андрэ был готов и смеяться, и плакать.

– Ты не ушибся?

– Нет, – ответил Андрэ, – у меня только шишка на голове.

Отец ощупал его голову. – Вы сделаны из железа, молодой человек, – сказал он, – никаких повреждений нет. Теперь осмотрим автомобиль.

Но и автомобиль не пострадал, и остальная часть путешествия прошла как всегда. Разговора о причине «катастрофы» не было; и только уже недалеко от дома Андрэ спросил отца:

– Папа, а почему, собственно, фокстерьерам режут хвосты?

– Действительно, – сказал Дорэн, – почему бы? Видишь ли, может быть, они думают, что без хвоста им удобнее, хотя это очень сомнительно.

– Итак, Мадлен, – сказал Дорэн, входя вместе с Андрэ в столовую, – только личному героизму Андрэ я обязан тем, что имею удовольствие обедать сегодня дома.

– Как так?

И тогда Дорэн рассказал совершенно фантастическую историю о том, как Андрэ на полном ходу остановил автомобиль «при помощи вспомогательного воздушного тормоза и тревожного сигнала», – в то время как он сам, Дорэн, был парализован ужасом и не мог сделать ни одного движения; как толпа людей окружила Андрэ и горячо благодарила его за самоотверженный поступок и как один

муниципальный советник, случайно находившийся тут же и чья жизнь тоже, между прочим, была спасена Андрэ, тотчас предложил ему стать почетным гражданином квартала, который советник представляет вот уже двадцать лет; и как Андрэ отказался от этой почести и уехал, сопровождаемый восторженными криками населения, от которых у него опухла голова, что особенно заметно в одном месте, где образовалась шишка, которая служит доказательством того, что рассказ точно соответствует истине.

Андрэ хмурился, слушая рассказ отца; он не любил, когда Дорэн в таком тоне говорил о нем с Мадлен, – Андрэ казалось, что их отношения с отцом не должны были заключать в себе еще кого-то третьего.

Но чаще Андрэ оставался дома; он уходил в свою комнату и либо писал, либо занимался своими любимыми бабочками, либо читал книги; его особенно интересовали книги по зоологии. Только отца он иногда посвящал в свои занятия.

В один из душных летних вечеров, когда Андрэ сразу убежал после обеда, сказав Мадлен тем холодным голосом, каким он всегда говорил с ней:

– Простите меня, я спешу, – Анри Дорэн заметил в глубине сада электрический свет, идущий из середины деревьев. Это его удивило. Он пошел туда и увидел Андрэ, который стоял над полым стеклянным цилиндром, освещенным небольшой электрической лампой. В цилиндре, медленно двигаясь по стеклу, ползали две вялые бабочки с большими крыльями. Андрэ внимательно смотрел на них.

– Что ты делаешь? – спросил Дорэн.

И Андрэ объяснил отцу, что он держал у себя несколько месяцев личинки этих бабочек, которые не водятся ближе, чем за сто двадцать километров отсюда.

– Это бабочки-самки, – сказал Андрэ. – И ты увидишь, папа, – продолжал он, подняв голову и глядя на отца, – что самцы, почувствовав здесь присутствие этих самок, прилетят сюда – почти за полтораста километров.

– Ты не фантазируешь, Андрэ? – спросил Дорэн. – За сто двадцать километров? Каким образом? Я еще понимаю – километр, ну, два, ну, десять, в конце концов, – но сто двадцать? Андрэ, я боюсь, что твой опыт не удастся.

– Ты увидишь, папа, – сказал Андрэ. – Я потушу сейчас свет и буду ждать, а ты иди наверх. Я тебя позову.

Дорэн ушел. Прошло много времени, наступила уже ночь; Андрэ все не возвращался.

– С чем он там возится в саду? – спросила Мадлен.

– Интересный опыт; вот в чем он заключается. – И Дорэн рассказал это Мадлен.

– Это удивительно, – сказала Мадлен. – Какой странный мальчик, – прибавила она, улыбнувшись и подумав совсем о другом. Вдруг под окном раздался торжествующий шепот Андрэ: – Папа, они прилетели! – Дорэн и Мадлен пошли за Андрэ, невольно, как и он, ступая на цыпочках и стараясь не шуметь. Андрэ прошел вперед. – Сейчас я зажгу свет, – прошептал он и замахал рукой: – Папа, иди сюда. – Они подошли, Андрэ зажег электричество, и Дорэн и Мадлен увидели на осветившемся стекле десятки громадных бабочек, ползавших взад и вперед и взмахивавших крыльями.

– Нельзя сказать, чтобы это была очень шумная любовь, – заметила Мадлен и засмеялась. Андрэ сердито и презрительно на нее посмотрел.

Много времени Андрэ проводил один; когда отца не бывало дома, он почти не выходил из своей комнаты; изредка только он вдруг появлялся из раскрытой двери, чтобы пройти в кабинет Дорэна за какой-нибудь книгой, – и его появление бывало всегда неожиданно, так как передвигался он совершенно бесшумно; Мадлен поэтому нередко вздрагивала, увидя его. – Я вас испугал? – говорил в таких случаях Андрэ. – Извините меня, пожалуйста.

В доме довольно часто бывали гости: и один раз из-за этого у Андрэ даже вышла неприятность. Отец его в то время уехал на несколько дней; сам Андрэ ушел из дому с утра, взяв с собой сачок для ловли бабочек и небольшую банку, закрывавшуюся деревянной крышкой с просверленными в ней отверстиями для воздуха, – в эту банку Андрэ сажал тритонов и водяных жуков, которых ловил на маленьком озере, находившемся верстах в пяти от дома; Андрэ сопровождал его дог, Джек, – Андрэ смешило то, что Джек лаял на ящериц. Андрэ бродил целый день; когда он уставал, он ложился на землю и лежал, подставив лицо солнцу; закрытыми глазами он видел красные

пространства перед собой; под ним звенела земля, тихо шипела трава, движимая легким ветром, и рядом слышалось мерное дыхание Джека, – а в красных пространствах то появлялись, то исчезали крылья бабочек, и голова индейца-путешественника, и еще другие, непонятные и трудноразличаемые предметы. Андрэ поднимался и шел дальше. Уже банка его была полна тритонов, ноги были расцарапаны; он устал, начинало темнеть, и лес, в котором был Андрэ, начинал уже по-вечернему шуметь. – Теперь домой, Джек, – сказал Андрэ, – бежим. – И он вспомнил, что забыл запереть свою дверь, уходя.

Когда он подходил к дому, он увидел, что свет был во всех комнатах и над его столом горела лампа. Он быстро побежал по лестнице вверх; в коридоре никого не было, из столовой слышался голос Мадлен. Андрэ подошел к своей комнате: дверь была полуоткрыта. Он толкнул ее и увидел, что тетрадка, в которой он писал, была раскрыта, точно так же, как книга, лежавшая на столе. В его кресле сидела незнакомая дама с бледным лицом и очень красными губами. На ручке кресла полулежал молодой человек, обнимавший даму; губы его почти касались ее уха. Андрэ вошел так быстро, что молодой человек не успел переменить положение. Он посмотрел на Андрэ и сказал:

– Я не имею удовольствия вас знать, молодой человек, но в дальнейшем я вам советую стучаться, прежде чем входить. – Андрэ от бешенства не мог выговорить ни слова. Джек зарычал. Андрэ вдруг обрел дар речи. – Allez vous en[1], – тихо сказал он.

– Что? – переспросил молодой человек, поднимаясь с кресла. Рычание Джека стало захлебывающимся. Андрэ схватил его за ошейник и повторил:

– Allez vous en, vous et votre dame[2]. Это моя комната, – Андрэ невольно повысил голос, чтобы заглушить рычание собаки.

Через пять минут в комнату Андрэ постучалась Мадлен.

– Андрэ, ты должен извиниться. На что это похоже?

– Madame?.. – вопросительно сказал Андрэ.

– Ты должен извиниться.

[1] – Уходите (*фр.*).

[2] – Уйдите вы и ваша дама (*фр.*).

Андрэ пожал плечами.

– Не откажите в любезности, – проговорил он ровным голосом, точно читая книгу, – передать monsieur и madame мое сожаление по поводу того, что случилось.

И он наклонился к книге, делая вид, что читает. Мадлен повернулась и ушла. В комнате Андрэ стало тихо. Он позвонил, ему подали есть, он пообедал; после этого он лег на диван и заснул.

Он проснулся ночью, встал и подошел к окну. Белые летние облака закрывали высокую луну, воздух, был теплый и неподвижный; все вокруг было тихо. Вдруг в столовой замирающий голос Мадлен сказал:

– Это правда?

– Когда я еду к вам, – ответил мужской голос, – я чувствую, что у меня вырастают крылья.

– Крылья любви? – опять сказала Мадлен.

Наступило молчание; потом послышалось какое-то движение и бесконечно изменившийся голос, задыхающийся и торопливый:

– Ты с ума сошел?

Андрэ отошел от окна и сел в кресло. Опять что-то было слышно в столовой, но Андрэ это было безразлично. – Крылья любви, – повторил он про себя, – где я читал про крылья?

И он вспомнил, что читал про некоторые породы муравьев, у которых во время периода любви вырастают крылья, и они поднимаются в воздух и потом падают и гибнут тысячами. – И еще трутни, – думал Андрэ, – которые тоже летят за маткой; сначала отстают самые слабые, потом другие – и только один, самый лучший и самый сильный, догоняет ее. Вот они, крылья любви. Это о них говорит Мадлен. А папа?

И Андрэ лег на диван и заплакал.

Андрэ сидел у себя в комнате и писал. Он мечтал о том, что со временем он станет знаменитым писателем, вроде тех, чьи книги издает Grasset и Nouvelle Revue Française; как в черном пальто и синем костюме, с беретом на голове и с часами «Омега» на левой руке он будет про-

ходить по Латинскому кварталу и как чей-то бесцеремонный голос скажет сзади него: – Mais regardez donc c'est bien André Dorin[1].

И он, не оборачиваясь и даже с досадой ускорив шаги, пойдет дальше. Он только не представлял себе, что именно он напишет. Он никак не мог справиться ни с одним сюжетом, который он долго обдумывал; и сперва все казалось просто: сначала описание героя, потом обстановки, в которой он живет, книг, которые он читает, затем путешествие героя в Англию и странная встреча на лондонской туманной улице с желтыми фонарями, – встреча, которая определит всю его дальнейшую судьбу, – и все это будет написано на одном дыхании, так, что, начав рассказ, нельзя будет от него оторваться. Но всякий раз, когда Андрэ доходил до важных мест, все получалось так нехорошо и искусственно, что Андрэ, отчаявшись, переставал писать и начинал думать с тревогой, что из него никогда не выйдет знаменитого писателя. Он не мог сосредоточить своих усилий на одной линии повествования; как только он начинал что-нибудь описывать, ему хотелось сказать об этом все, что ему было известно, ему было жаль что-либо упустить, – создалось бы впечатление, что он ничего не знает о тех вещах, которые не упомянуты в рассказе и которые, действительно, не необходимы именно для этого рассказа, но сами по себе очень важны и интересны и знать их может только умный и наблюдательный человек. Когда Андрэ начинал описание Лондона, он неизменно переходил на свои соображения об истории Англии и излагал свои суждения о британском национальном характере, подкрепляя их примерами, взятыми из разных столетий, упоминая Гладстона, Питта, Шелли и Шекспира, – хотя никто из этих людей не имел ни малейшего отношения к его рассказу. Потом он возвращался к своему герою; но герой за это время успевал несколько измениться, невольно приобретя некоторые английские черты, и всю характеристику его надо было переделывать. Андрэ терпеливо принимался за эту работу, – но что-нибудь опять уводило его повествование далеко в сторону, и число исписанных страниц росло, и героиня все никак не могла появиться из лондонского тумана; и ее одинокая фигура, сиротливо идущая по

[1] – Смотрите, ведь это Андрэ Дорэн (*фр.*).

улице, невольно вызывала такую жалость в Андрэ, что он не на шутку огорчался, точно если бы это была действительно живая женщина, – и решал на следующий же день писать непременно о ней; но опять отвлекался, и опять ничего не получалось. Тогда Андрэ бросал работу и уходил в сад, а вечером садился писать дневник, в котором ничего не нужно было выдумывать.

В тот январский вечер, когда Андрэ был один в квартире и ждал возвращения Дорэна из Парижа, – на дворе было холодно и пустынно, по мерзлой дороге, проходившей недалеко от дома Дорэнов, никто не проезжал, вокруг стояла тишина; только изредка доносился разноголосый и быстро затихавший лай собак, и тогда Джек поднимал громадную голову и негромко рычал, – Андрэ допоздна сидел за своим столом, думал и писал дневник, в котором ему захотелось изобразить отца. Он написал очень длинное вступление и затем начал: «Анри Дорэн, мой отец, родился, чтобы быть счастливым».

После этой фразы Андрэ ничего не написал; он положил на стол ручку и задумался. Да, конечно, Дорэн был рожден счастливым человеком. Ни у кого Андрэ не слышал такого спокойного и смеющегося голоса, никому все огорчения, неудачи и обиды не представлялись такими легкоразрешимыми, как отцу. Андрэ вспомнил, как однажды, в раннем детстве, он горько плакал оттого, что сложный план проведения узкой мощеной дорожки от муравейника на опушке леса до старого корявого пня, обросшего тоненькими веточками с зелеными листьями, – весь этот план после нескольких дней работы оказался невыполнимым, так как Андрэ забыл о ручье, отделявшем муравьев от пня. Андрэ смотрел, как после дождя муравьи пробирались по грязи к берегу ручья и потом возвращались обратно, тревожно шевеля усиками. Ему казалось, что муравьям непременно нужно добраться до этого пня, – и он стал строить для них твердую дорогу, которой был бы не страшен никакой дождь. Он носил в карманах своих штанов камни и молоток, носил тяжелые ведра с песком и кое-как сделал дорогу до самого ручья. Потом он сел на землю и заплакал, – и

пришел со слезами домой. – Что с тобой, Андрэ? – спросил его отец. Андрэ рассказал, в чем дело. Отец выслушал его с серьезным лицом, кивнул головой и сказал: – Ты совершенно прав, Андрэ, мы все это устроим; после завтрака я пойду с тобой, и мы будем работать вместе.

И оказалось, что трудного ничего не было; Дорэн проложил низкий мост над ручьем, утрамбовал дорогу, и уже вдвоем с Андрэ они довели ее до пня. Следы от этой дороги оставались и до сих пор, до теперешнего времени, когда Андрэ понимал, как смешон был его детский план.

Потом Андрэ подумал о своих вечерних разговорах с отцом, которые стали происходить только в самое последнее время, когда Дорэн впервые заговорил с сыном как со взрослым. Чаще всего это был один и тот же спор; он начинался с того, что Андрэ приходил к отцу спросить его мнение о том или ином историческом событии или о книге, которую он прочитал. – Ну, хорошо, – говорил Дорэн, – скажи мне, пожалуйста, что ты думаешь по этому поводу, а я потом тебе сообщу, как я это понимаю.

И Андрэ начинал говорить; часто он высказывал то, что писал или собирался писать, иногда он касался вопроса, который все время не давал ему покоя, – вопроса о Мадлен; но он делал это в такой отдаленной форме, что отцу в голову не приходила мысль, что речь идет о его жене. Но всякий раз, когда Андрэ упоминал о любви, Дорэну делалось и стыдно, и хорошо в одно и то же время; стыдно потому, что он был женат на Мадлен, и хорошо потому, что он вспоминал о матери Андрэ. Впрочем, он сдерживался, – и только один раз посадил Андрэ к себе на колени, – точно Андрэ было восемь лет, – и сказал ему:

– Андрэ, ты знаешь, как я тебя люблю?

– Знаю, папа.

– Но ты не знаешь еще одного, – сказал он с непривычным для Андрэ волнением, – того, что ты похож на твою покойную мать.

И после этого целых два дня Анри Дорэн был молчалив и задумчив.

Но чаще всего разговоры были иными. С удивительной для мальчика ясностью Андрэ замечал и видел много печального во всем, что его окружало; и именно такие вещи обычно привлекали к себе его внимание. Все, что

было шумно, радостно и буйно, было ему неприятно. Анри Дорэн, говоря с ним как со взрослым, – это очень льстило Андрэ, и он понимал, что это ему льстило, и сердился на себя за это, но своеобразного удовольствия преодолеть не мог, – возражал ему:

– Ну вот, Андрэ, я понимаю твой взгляд. Ты говоришь, что все печально и нехорошо. Даже не входя в обсуждение этого, а просто так, фактически, если хочешь, – ведь, это неверно. Посмотри вокруг себя, – сколько ты увидишь радости. Вот Джек бежит тебе навстречу, – разве он не радуется?

– Джек – это собака, – отвечал Андрэ.

– Андрэ, Андрэ, – укоризненно говорил Дорэн, – ведь ты занимаешься зоологией, значит, ты не должен преуменьшать значение животных, ты должен знать, что в известном смысле Джек совершеннее нас с тобой.

– У Джека нет разума в человеческом смысле, – настаивал Андрэ, – а есть инстинкт. Инстинкт – это потребность питания, размножения и движения, необходимого для того, чтобы мускулы не сделались дряблыми, – вот и все. А разве у собаки может быть какое-нибудь мнение о том, что все хорошо или все плохо?

– Не знаю, не знаю, может быть, да. Вот один человек заболел и умер; его собака не отходила несколько дней от его могилы и через несколько дней там околела, хотя была, казалось бы, совершенно здорова. Какой же это инстинкт? Но оставим это. Разве ты не можешь себе представить бесконечно умного человека, который все видит и все понимает, – насколько это в человеческих возможностях, – и находит во всем одно только хорошее?

– Нет, папа, такого человека не было.

– А Франциск Ассизский, Андрэ? Ну, конечно, Андрэ, Франциск Ассизский, – и Дорэн улыбался совсем так, как он улыбался маленькому Андрэ, когда разрешал стоявшую перед мальчиком трудность, и все оказывалось просто и необыкновенно хорошо, – вот видишь? Он знал очень много и все понимал, – и был неизменно радостен; значит, это возможно, значит, это было правильно.

– А я не могу, – упрямо говорил Андрэ.

– Потому что ты многого не понимаешь. Не обижайся, Андрэ, понять теоретически – это одно, а почувство-

вать – это другое. Ты еще не знаешь очень многих чувств, мой мальчик. Вот подожди, мы поговорим с тобой через пятьдесят лет, – и Дорэн начинал шутить. – А если несчастье, папа? Ну, вот, например, катастрофа или... – Андрэ запнулся и потом с трудом сказал: – или измена любимой женщины. – Он употребил такое книжное выражение, потому что говорил об этом в первый раз с отцом.

– Ах, Андрэ, до чего ты любопытен. Ну, хорошо: катастрофа, – что такое катастрофа? Если это смерть, то все кончается; если это не чья-либо смерть, а изменение, то подумай, сколько радости тебе предстоит; ты изменишься и потом в измененном состоянии будешь снова узнавать все те наслаждения, которые ты знал раньше. Это вся жизнь сначала. Что же касается измены... видишь ли, мой мальчик, любимая женщина не может изменить.

– А если она все-таки изменяет?

– Откуда ты это знаешь?

– Мне сказали.

– Значит, это ложь.

– У меня есть неопровержимые доказательства, я видел, как ее целовали.

– Значит, были какие-то ужасные обстоятельства, заставившие ее так поступить, – обстоятельства, которых ты не знаешь и которые ее совершенно оправдывают. А если и их нет, то, значит, ты ошибся: она не любимая женщина. Но это редко, Андрэ, это исключения. Впрочем, здесь, в этой области, я даже не имею права с тобой спорить, потому что я это знаю, а ты в этом невежда. Видишь ли, Андрэ, у тебя есть один крупный недостаток для оппонента в таких вопросах.

– Какой, папа?

– А тот, – Дорэн улыбнулся с едва заметной мягкой насмешкой, – что моему умному сыну, который все знает, – только пятнадцать лет. Voila, monsieur[1]. А теперь спокойной ночи. И не надейся, пожалуйста, читать до утра; я тебе все равно помешаю. Более надоедливого отца ты не мог бы себе выбрать.

«Анри Дорэн, мой отец, родился, чтобы быть счастливым».

[1] Вот так, месье (*фр.*).

Андрэ еще раз перечел эту фразу. Было уже очень поздно. Джек спал, положив голову на лапы. – Почему папы до сих пор нет? – с внезапной тревогой подумал Андрэ.

Он заботливо постелил себе постель, аккуратно растянув простыни, поставил на ночной столик лампу с зеленым абажуром, достал с полки «Красное и черное» Стендаля, заложенное шелковой закладкой на триста двадцать восьмой странице, он даже успел, разворачивая книгу, прочесть:

«Mathilde croyait voir le bonheur. Cette vue toute puissante sur les âmes courageuses liées à un esprit superieur eut a lutter longuement contre la dignité et tous sentiments de devoir vulgaires»[1].

Отец все не возвращался. Тогда Андрэ надел пальто и вышел на дорогу; мгновенно проснувшийся Джек пошел за ним.

Андрэ долго стоял и всматривался в темноту, но ничего не было видно. Шоссе с примерзшими к земле маленькими камешками смутно белело перед глазами Андрэ, исчезая в двадцати шагах от него, точно безмолвно провалившись в пропасть. Время от времени скрипели и качались от ветра деревья, которыми была обсажена дорога; было очень холодно, пустынно, нигде не было видно огня. Джек протяжно зевал, потом настораживался, подняв уши, но ничего не появлялось из темноты. Вдруг Андрэ заметил, что уши Джека давно уже опять насторожены; тело собаки подалось вперед, точно Джек был в нерешительности – бежать или стоять на месте. Тогда Андрэ различил едва слышный издалека шум, состоящий из шуршанья шин о землю и тихого звука мотора. Андрэ знал, что в пятистах метрах от дома шоссе делало крутой поворот; по-видимому, шум от смещающихся колес и был тем неясным вначале звуком, который услышал Андрэ. Потом далеко впереди в темноте появились два огня, странно танцевавшие в воздухе – точно автомобилем управлял совершенно пьяный

[1] «Матильде казалось, что перед нею открывается счастье. Это видение, которое имеет такую безграничную власть над мужественной душой, если она еще к тому же сочетается с высоким умом, долго боролось с чувством собственного достоинства и прописного долга». (*Пер. с фр. С. Боброва и М. Богословской*).

человек, ехавший зигзагами. Тревога охватила Андрэ, он побежал навстречу этим огням; перегнав его, с лаем туда же помчался Джек. Андрэ добежал до автомобиля, распахнул дверцу и увидел, что отец сидит бледный, вцепившись в руль ослабевшей рукой в кожаной перчатке. Он не улыбнулся Андрэ, как улыбался всякий раз, когда его встречал,— и только сказал ему срывающимся голосом:

– Андрэ, я очень плохо себя чувствую, довези меня, пожалуйста, до дома.

Андрэ с трудом помог отцу пересесть дальше от руля и медленно, путая скорости и заставляя автомобиль двигаться толчками, от которых Дорэн болезненно морщился, доехал до дома. Он разбудил слугу отца Жозефа, и вдвоем они помогли Дорэну подняться наверх и уложили его в постель. Дорэн сказал Жозефу, с усилием произнося слова:

– Жозеф, вы разбýдите аптекаря и возьмете у него аспирина и хины; скажите ему, что у меня еще сильные боли ниже груди, чтобы он дал что-нибудь против этого. Сделайте это, пожалуйста, поскорее.

Андрэ с непрекращающейся тревогой следил за каждым движением отца. Ему вдруг стало казаться, что Анри Дорэн может умереть, – и когда Андрэ думал об этом, все становилось так холодно и ужасно вокруг него, что он решал умереть вместе с отцом. Анри Дорэн нашел в себе силы улыбнуться Андрэ.

– Это пустяки, Андрэ, – проговорил он. – Ты понимаешь, я, по-видимому, простудился: у меня болит голова, и я неважно себя чувствую. – Он не сказал Андрэ, что во время дороги из Парижа в Sainte-Sophie несколько раз терял сознание. – Я приму аспирин и хину, высплюсь, и завтра утром мы устроим с тобой матч бокса в десять раундов.

По тому, что отец сказал о боксе, Андрэ понял, что ему очень плохо. Но он не успел об этом как следует подумать; вошел запыхавшийся Жозеф и принес лекарства.

– Я прошу извинения у monsieur, но так как аптекарь очень спешил, он не мог найти облаток и завернул в пакеты все, что вы требовали. Это хина, это аспирин, а здесь средство против болей ниже груди; аптекарь сказал, что нужно принять полторы столовых ложки.

– Хорошо, Жозеф, можете идти.

И, обратившись к Андрэ, Дорэн сказал:

– Побудь со мной одну минуту, Андрэ.

Когда Жозеф вышел, Дорэн продолжал:

– Ну, вот, Андрэ, все в полном порядке. Я приму эти лекарства и засну. Ты тоже иди спать, я тебя очень прошу. Ну, спокойной ночи.

– Спокойной ночи, папа, – ответил Андрэ шепотом. Но когда он был уже в дверях, голос отца вдруг остановил его:

– Андрэ, ты знаешь адрес Мадлен?

– Да, папа – ответил Андрэ, вдруг поняв, почему отец спрашивает его об этом. Но чтобы не встревожить отца и не дать ему понять, что он догадался он сказал: – А почему ты спрашиваешь?

– А я забыл, – Дорэн быстро и искусственно улыбнулся, – сто восемьдесят три или сто девяносто три – номер дома?

– Сто девяносто три.

– Ну, хорошо, спасибо.

Придя в свою комнату, Андрэ решил не раздеваться и не спать. Он взял опять «Красное и черное», сел в кресло и попытался читать. Но дальше «Mathilde qui croyait voir le bonheur»[1] он не мог прочесть; он ничего не понимал. Он закрыл книгу; неожиданная дремота вдруг овладела им, и он заснул.

Он проснулся, почувствовав, что кто-то толкнул его колено. Он открыл глаза; возле него стоял Джек. Все в квартире было тихо. Андрэ поднялся и на цыпочках пошел посмотреть, спит ли отец. Войдя в комнату, он увидел, что Дорэн лежит с открытыми глазами, неподвижно смотрящими прямо перед собой. Андрэ удивило и даже обидело, что отец не поглядел в его сторону.

– Ты не спишь, папа? – спросил Андрэ. Дорэн ничего не ответил. Андрэ заглянул ему прямо в лицо; но отец продолжал смотреть своим невидящим взглядом и не сделал ни одного движения. Страшная мысль о смерти пришла в голову Андрэ: он откинул одеяло и приложил ухо к груди отца; грудь была теплая, сердце билось. Ему сразу стало так легко, точно вообще ничего не случилось. – Тебе очень плохо, папа?

---

[1] «Матильды, которая верила, что нашла счастье» (*фр.*).

Дорэн не отвечал. – Он в обмороке, – подумал Андрэ, – но почему у него открыты глаза? – Он стал брызгать водой в лицо отца. Лицо не вздрагивало и не шевелилось, глаза оставались открытыми. Андрэ стало страшно.

Уже начинало светать, когда Жозеф по телефону вызвал врача из Парижа.

Анри Дорэн хорошо помнил ту минуту, когда, приняв сначала аспирин и то, что он считал хиной, – его немного удивило, что она показалась не очень горька, – он взял столовую ложку, лежавшую на ночном столике, насыпал туда средство против болей ниже груди и сразу проглотил это, запив водой. После этого он ничего уже не видел, не понимал и не слышал; он обрел способность думать только через много часов. У него ничего не болело. – Слава Богу, все кончено, – сказал он себе и хотел приподняться, но не мог. – Какая темнота в комнате, – продолжал он думать, – а я все же очень ослабел. Должно быть, уже утро, странно, что никого нет. Надо позвать Андрэ.

Но и Андрэ он не мог позвать. И тогда вдруг он понял, что не может пошевельнуть ни рукой, ни ногой, не может ничего сказать, ничего не видит и не слышит. – Я умер? – с ужасом спросил он себя. – Нет, этого не может быть; я бы, наверное, не мог думать. Я парализован.

И он опять забылся.

Он знал, что вокруг него ходят люди, открывают и закрывают ставни, день сменяет ночь, – но он ничего не видел, не слышал и не чувствовал. Он делал невероятные усилия, чтобы поднять руку, но ничего не получалось. Наконец его правая рука слегка шевельнулась.

Это произошло на третий день после того вечера, когда он принимал лекарство. Трое суток он пролежал пластом, как живой труп; его перекладывали несколько раз, доктор делал ему впрыскивания, но тело Дорэна оставалось неподвижным. Вызванная телеграммой Андрэ, встревоженная Мадлен приехала на второй день вечером и не отходила от постели Дорэна. Андрэ нельзя было заставить уйти из комнаты: часами он просиживал на кровати отца, все повторяя – папа, папа, – точно надеясь, что его голос вызовет отца из того страшного небытия, в котором

находился Дорэн. Доктор сказал Андрэ, что его отец принял очень большое количество хины по ошибке и нельзя заранее знать, что теперь будет.

Андрэ первый увидел, что рука отца шевельнулась. Он принес ему карандаш и бумагу; но сколько он ни старался вложить карандаш в руку отца, пальцы Дорэна разжимались и ничего не выходило. Наконец к вечеру Анри Дорэн неуверенными буквами, останавливаясь и роняя карандаш, который Андрэ снова подавал ему, написал: – «Я ничего не вижу, не слышу и не чувствую».

И с этого начались улучшения. Утром следующего дня Дорэн мог уже двигать обеими руками; еще через день он уже сгибал ноги в коленях. Через трое суток, проснувшись, он услышал шаги Мадлен. Ему вспомнилось, как лицеистом самого младшего класса он забавлялся тем, что на секунду крепко зажимал уши и, когда вновь отнимал руки от головы, слышал сразу громкий шум. Так и теперь, – необычайная тишина вдруг наполнилась различными звуками и голосами – Андрэ, Мадлен, доктора, Жозефа и других людей. Потом он уже начал, – хотя и с большим трудом, – говорить. Первое, что он сказал, были слова:

– Позовите Андрэ.

– Я здесь, папа, – ответил голос Андрэ.

– Ты очень испугался, мой мальчик?

– Да, папа, – неожиданно захлебнувшись и заплакав, сказал Андрэ.

И в тот же день доктор, вызвав Мадлен, говорил с ней полчаса и кончил словами о том, что он совершенно ручается за полное восстановление здоровья Дорэна. – Но я боюсь, – прибавил он после небольшого молчания, – что он навсегда останется слепым.

И Анри Дорэн ослеп. Сначала он, как и все окружающие, думал, что зрение вернется к нему постепенно, так же, как слух и способность двигать руками и ногами; но силы его давно уже восстановились, а зрение не возвращалось. Он по-прежнему ничего не видел и только медленно и с ужасом привыкал к постоянной тьме, в которой жил.

То, что он не видел, вначале сильно мешало ему передвигаться; и ему казалось, что ему трудно ходить не потому, что он слеп, а потому, что ослабели мускулы ног. Он утратил чувство физического равновесия, он делал неверные движения, и если падал, то всегда очень неудачно, не успев защититься от падения вытянутыми вперед руками. Из него точно бы вынули какую-то пружину, делавшую раньше его тело гибким и создававшую естественное сопротивление всем внешним толчкам и столкновениям. Потом в нем выработалась другая привычка ходить и двигаться и безошибочное угадывание возникавших перед ним препятствий, которые представлялись ему как темные стены перед закрытыми глазами. Он уже не натыкался на стулья, на столы, на кресла; он легко находил дверь, – так как воздух в том месте, где находилась открытая дверь, был реже, чем воздух у стены. Прошло несколько недель, и Дорэн уже ходил по всему дому с уверенностью зрячего человека. И только тогда все начало с удивительной быстротой меняться в его представлении.

До этого Дорэн почти не думал о смысле постигшего его несчастья. Ему было очень тяжело, он знал, что все случившееся ужасно; но он считал, что отсутствие зрения есть лишь физический недостаток, очень тягостный и печальный, но больше ничего. Его по-детски радовала мысль о том, что он успел сделать в жизни все, что было необходимо, – как человек, который увидел грозовую тучу и еще до того, как началась буря, успел укрыться в надежном месте; он был обеспечен, с ним были любимый сын и жена, – чего же ему было бояться?

Но с каждым днем он замечал, что все это меняется и Андрэ и Мадлен невольно отдаляются от него. Впервые это обнаружилось в тот день, когда Мадлен вывела его на прогулку. Он неуверенно ступал по шоссе, она держала его под руку; был весенний, почти безветренный день.

– Какой ветер, Мадлен! – сказал Дорэн.

– Ты, наверное, шутишь, Анри; нет никакого ветра, настолько, что это даже удивительно, я хотела тебе сказать об этом.

– Вы все, – вдруг с непривычным для Мадлен раздражением заговорил Дорэн, – вы все, по-видимому, считаете, что если я ослеп, то это значит, что я впал в детство

или стал идиотом. Я ничего не вижу, это правда, но я чувствую сильный ветер.

– Но уверяю тебя, Анри, что это тебе только кажется.

Дорэн замолчал и не начинал более разговора. Вернувшись домой, он сел на диван и надолго задумался. Все было тихо в доме. Дорэн слышал, как звенели пружины в кресле Мадлен, как она переворачивала листы книги, которую читала; слышал, как Андрэ писал в своей комнате; и по тому, что его перо часто останавливалось и потом снова быстро начинало ходить по бумаге, Дорэн понял, что Андрэ пишет какой-то рассказ, и пишет начерно. Внизу, по шоссе, проезжали автомобили: первым проехал «бюгати», потом «испано-сюиза», затем сорокасильный «рено» и тотчас же вслед за ним «паккарт», – Дорэн безошибочно определял это по звукам моторов.

Помимо того, что осязание и слух Дорэна чрезвычайно обострились, – в чем не было ничего удивительного, – и все, окружавшее его, беспрестанно шевелилось и звучало: тьма, стоявшая перед его глазами, была полна звуков и насыщена ни на секунду не прекращавшимся движением; – помимо этого, нечто новое и невероятное стало открываться перед ним.

Мало того, что он чувствовал чье-либо присутствие в комнате; но он точно знал, спокоен или раздражен человек, находящийся рядом с ним, – радостен или печален; и все оттенки его состояния делались вдруг ясны Дорэну. От каждого человека шел точно горячий ветер; и по тому, насколько он слаб или силен, Дорэн знал, в каком состоянии находится этот человек. Однажды утром, когда он только что успел одеться и в комнату вошла Мадлен, он почувствовал ее желание до того, как она успела произнести хоть одно слово; раньше он мог это понять по выражению ее лица, или по интонации голоса, или по какому-либо движению ее тела или руки. Теперь он ничего этого не видел, и Мадлен еще не успела заговорить с ним. Но раньше, чем она произнесла свое обычное: – Bonjour, Henri[1], – он предупредил ее и сказал:

– Доброе утро, Мадлен. Значит, ты все-таки не перестала любить меня?

– Ты знаешь?

[1] – Доброе утро, Анри (*фр.*).

– Я чувствую. Только не надо плакать.

И лицо Мадлен, с мокрыми от слез щеками, очутилось у лица Дорэна.

– Анри, – говорила она испуганным шепотом, – мне страшно, когда ты ко мне прикасаешься. У тебя другие пальцы, мне кажется, что чья-то чужая рука гладит мое тело. У тебя новые руки, Анри, – сказала она с ужасом в глазах, который Дорэн услышал в ее голосе.

– Моя глупенькая, – ласково сказал он, – ты забыла, что я слепой.

Множество мелочей раздражало Дорэна. Прежде всего – невозможность читать, затем постоянная и обидная предупредительность всех окружающих, из которых один Андрэ понял, что быть чересчур внимательным к отцу и относиться к нему, как к тяжелобольному, – значит, невольно подчеркивать его ужасный недостаток. По некоторым фразам Дорэна Андрэ понял, что отец угадал и оценил эту его чуткость.

Оставаясь один, Дорэн начинал вспоминать. Раньше он редко утруждал свою память; того, что происходило с ним, было достаточно, чтобы занять все его внимание. Теперь, не привыкнув еще окончательно жить в темноте, в которой до сих пор многое оставалось для него враждебным и чуждым, он перебирал в своей памяти все свои зрительные впечатления и вспоминал всю свою жизнь.

Он вспоминал перистые облака на рассветном небе в то утро, когда умерла его первая жена, сверкание автомобильных стекол и отражение в них откинутой назад головы Мадлен, блеск моря, по берегу которого мчался его «chrysler», и бледное лицо Андрэ с синими, почти женскими глазами; вспоминал, как, подпрыгивая, катились камешки с дороги, как неслась поднятая порывом ветра бумага; как наступала ночь и в далеком пространстве, почти таком же, как теперешняя тьма, но несравненно более мягком, зажигались в воздухе, то высоко, то низко, огни; как скользил луч фонаря по темному шоссе, как из-за последнего поворота открывался весь унизанный огнями вечерний Париж, над центром которого стояло красное электрическое зарево; как сверкала вода в лесу, как отражались деревья в реке, как плыли в океане мно-

гоэтажные пароходы со светящимися иллюминаторами; как бело блестел нежный приморский песок, когда он мальчиком возвращался с купанья, – как горели маяки, далеко видные в море. Тысячи незначительных и мелких подробностей вспоминались ему: какой особенной танцующей походкой Джек подходил к сенбернару, которого они встретили в Париже, как двигались мускулы под его гладкой кожей; как сверкнул в воздухе красноватый хвост лисицы, за которой бросился Джек, когда они однажды совершали прогулку где-то в Нормандии. Потом он видел улицы Парижа, полные людей, – под струящимся и блестящим дождем; зажигающиеся зеленые и красные сигналы на углах улиц; далекое, медленное небо над головой, синеватый лед северных озер, – и желтые, удушливые облака пыли на бесчисленных дорогах Франции в тот год, когда была объявлена война и он вместе со своими товарищами ночью, на грузовике с потушенными огнями, медленно ехал на фронт. – Где они теперь? – думал Дорэн. – Мортье убит в августе шестнадцатого года. А Бернар? – Дорэн вспомнил, как Бернар говорил со своим мрачным видом: – Нет, друзья мои, я твердо знаю: меня убьют именно в тот день, когда кончится война. – Он говорил это каждый день и так надоел всем, что Мортье, не выдержав, сказал ему однажды: – Non, mais creve donc et que la guerre finisse![1] – Как странно дергался Бернар перед смертью, – продолжал думать Дорэн. – Да, когда же это было? За месяц до перемирия. Да, Бернар ошибся в сроке.

И вновь долгая счастливая жизнь представлялась ему. Вот он возвращается домой после грохота снарядов, окопов, пулеметной стрельбы; ему еще снится война, но он лежит в чистой постели с прохладными простынями и знает, что все ужасы, и смерть, и голод остались позади, а перед ним богатство, здоровье, счастье и все, о чем стоит потом пожалеть в старости.

Один раз, когда Мадлен вошла в его комнату, он услышал по ее быстрой и вместе нерешительной походке, что она хочет спросить его о чем-то таком, в чем она не вполне уверена, одобрит ли он ее или нет. Мадлен сидела

[1] – Ну так пропади пропадом и пусть кончится война! (*фр.*)

рядом с ним и говорила о хозяйственных вещах; потом она спросила:

– Анри, ты ничего не имеешь против того, чтобы я пригласила гостей?

Дорэну вдруг стало необычайно грустно. Ему вспомнилось, как в детстве его в наказание оставляли дома – все уходили, он сидел один в громадной квартире, с трудом сдерживая слезы. Но он сказал:

– Конечно, Мадлен, конечно. Только я не выйду к гостям, я останусь у себя: ты скажешь, что я уехал. Хорошо?

– Нет, нет, – протестовала Мадлен, – ты должен быть вместе с нами.

– Это невозможно, – настаивал Дорэн. – Я не буду. Но очень прошу тебя пригласить гостей, иначе ты меня обидишь.

– Я сделаю, как ты хочешь, – со вздохом сказала Мадлен.

И вечером приехали гости. Дорэн сидел у окна в шезлонге; опускающееся солнце светило в его слепое лицо, потом теплый его свет медленно скользил все ниже – и, наконец, стало темно. Дорэн не отошел от окна и остался сидеть в шезлонге. Он слышал, – окно в столовой было открыто, – как гости упоминали о нем, как спрашивали Мадлен о его здоровье, – она отвечала. Вдруг звук ее голоса поразил его; он стал внимательнее прислушиваться. Но следующая реплика Мадлен была обращена не к тому самому человеку, в разговоре с которым звучала интонация ее голоса, так поразившая Дорэна. Он ждал, пока она вновь заговорит с этим человеком. Через пять минут мужской голос спросил:

– А как поживает Андрэ?

– Благодарю вас, – ответила Мадлен, – очень хорошо. Он сегодня в Париже.

Это была опять та же интонация, в которой нельзя было ошибиться. В первую секунду Дорэну показалось, что он задохнется. Но он справился с собой; немедленно отодвинув шезлонг от окна, он перешел на диван, откинулся на подушки и больше ни разу не шевельнулся за весь вечер. Он слышал еще, – почти механически, почти невольно, – как Мадлен играла на рояле, как кто-то громко говорил о Клемансо, но теперь для него не существовало ничего,

кроме ее измененного голоса. Дорэн не мог ошибиться в значении этой перемены. То, что раньше он, может быть, приписал бы своему воображению, было теперь для него так ясно, как если бы он видел все собственными глазами. Таким голосом Мадлен говорила только с ним – и только в минуты физической близости. Как хорошо он знал именно этот голос Мадлен – с внезапной легкой хрипотой и неправильным дыханием! – А я слепой, – подумал Дорэн и бессмысленно все повторял эту фразу: – Да, а я слепой.

Поздно вечером, – но гости еще не уехали, – раскрылась внизу входная дверь и явился Андрэ, поднявшийся прямо в свою комнату. Дорэн слышал, как Андрэ подошел к окну, – потом вернулся, сделал несколько быстрых шагов по комнате и сел в кресло, но тотчас же встал и снова стал быстро ходить. Через полчаса он лег и, по-видимому, заснул, так как из его комнаты не доносилось ни звука.

До последнего времени Дорэн не задумывался над тем, хороша или плоха жизнь вообще; только в спорах с Андрэ он говорил об этом. Он говорил, что в жизни больше радости, чем печали, потому что сам испытывал чаще радость, чем печаль; а когда ему было нужно доказать справедливость своих взглядов, то, так как он не мог сказать – смотрите, я живу счастливо, и это есть доказательство верности того, что я говорю, – он прибегал к примерам, почерпнутым из всего, что он знал или читал. Но то, что жить хорошо, ему лично было ясно без всяких примеров. Он всегда огорчался, слушая Андрэ, и даже говорил о нем с Мадлен.

– Как жаль, – говорил он, – что Андрэ не пошел в меня. Он слишком болезненный мальчик, он слишком много думает и читает – это нехорошо, Мадлен, ты не находишь?

Мадлен соглашалась с ним; Андрэ всегда оставался ей чужд. Того мира постоянно движущихся мыслей, образов и открытий, в котором жил Андрэ, она не знала и не понимала; для этого она была слишком здорова и слишком женщина. Счастье Анри Дорэна не было слепым, он не походил на Мадлен; в нем было удачное соединение

духовных и физических способностей, которое давало ему возможность понимать одновременно и Андрэ, и Мадлен.

– Оба они правы, – думал Дорэн, – но, в конце концов, более всех прав я.

И вот теперь вопрос, кто более прав, встал перед ним с необыкновенной силой. Ослепнув, он лишился половины сокровищ, которыми обладал; а в тот вечер, когда у Мадлен были гости, он потерял нечто важное и очень дорогое, – остался один Андрэ. Но того чувства, которое было уничтожено этими несколькими интонациями Мадлен, ничто, казалось, не могло уже ни поправить, ни заменить, – и это было бесконечно печально.

Дорэн ничего не сказал Мадлен; но с этого дня он почувствовал, что тот воздух, который он, будучи зрячим и счастливым, так любил, воздух его квартиры, который постоянно окружал его везде, где бы он ни был, как ежеминутное воспоминание или сильный запах одних и тех же духов, – что этот воздух был насыщен тревожными и печальными вещами, о существовании которых Дорэн раньше ничего не знал.

Он слышал однажды, как внизу, во дворе, раздался сильный писк, – ему сказали, что это крыса, попавшая в западню: Дорэн представил себе ее расплющенный живот, и ему стало дурно. В другой раз тревожно кудахтала и кричала курица, которую зарезал Жозеф; Дорэн слышал взмахи ее крыльев, когда она, уже обезглавленная, пробежала несколько шагов по двору; и все это, на что раньше Дорэн не обратил бы внимания, – необычайно угнетало его теперь и делало его состояние еще более тягостным. Каждый день ему все печальнее и печальнее становилось думать о том, что наступают сумерки, – точно уходящее солнце оставляло его в еще большей тьме, чем та, в которой он находился до сих пор. Далекий звук колокола, сирена проехавшего и удалявшегося автомобиля, ветер перед грозой, звон часов и те непонятные, ночные звуки, значение которых он силился и никак не мог понять, – все это точно явилось для него новым и грустным откровением. – Значит, все, что я знал раньше, был только зрительный обман? – думал Дорэн. И ему казалось странным, что он видел глаза Мадлен, обнимал ее тело и мог не слышать, что в эту же секунду рядом с ним в воздухе то звенели,

то двигались, то ползли, то умирали все эти печальные звуки, вся эта последняя и смертельная мелодия, которая, не переставая, звучит вокруг него – и которая оправдывает все; которая настолько страшна, что по сравнению с ней и слепота, и болезнь, и измена – только случайности, и больше ничего. – А как же моя счастливая жизнь? – продолжал он думать. Его удивляло, что он не знал и не видел этого раньше. – Ведь я был не глупее других и не менее чуток, чем они; почему же то, что, не умея еще доказать, но безошибочно чувствуя, знал Андрэ, – и это же знала его мать, – почему это оставалось мне неизвестно?

И он неожиданно вспомнил свой разговор с Андрэ о катастрофе. – Да, тогда я говорил, что после катастрофы мир предстанет измененным и наполненным новыми наслаждениями. Где же они, эти новые наслаждения?

С этого времени Дорэн стал молчалив и печален; и Мадлен сказала одному из своих друзей, что Анри, по-видимому, только теперь понял весь смысл своего несчастья.

После того как Дорэн начал думать о новом своем понимании мира, он невольно стал избегать Андрэ. Его отеческая нежность не изменилась; но прекратились длинные разговоры с Андрэ, которые он вел раньше. Он бессознательно сторонился Андрэ, потому что теперь у него не было уже твердого и счастливого убеждения, что все хорошо, которое раньше он мог противопоставить всем пессимистическим рассуждениям Андрэ; он был бы принужден согласиться с сыном, что было совершенно невозможно по многим причинам. Во-первых, он был отец; во-вторых, если бы Дорэн подтвердил сыну, что тот прав, то для Андрэ исчезло бы счастье, которое он находил в постоянной и спокойной уверенности Дорэна. Получалось так, что все для Андрэ было нехорошо и печально, – но оставалось одно место, незатронутое этим и находящееся вне несчастий, огорчений и печали, – это отец. Что же стало бы с Андрэ, если бы он лишился и этого? Так думал Дорэн; а Андрэ огорчался и не понимал, почему отец избегает его.

Однажды Дорэн, одолеваемый странной сонливостью, заснул после обеда и видел сон. Ему снилась река. Бесконечно широкая, покрытая пенящимися волнами, она преграждала ему дорогу: издали виднелся ее противоположный берег в очень зеленых деревьях. – Я выздоровел, – подумал во сне Дорэн, – как ясно я вижу эту воду и деревья. Надо, однако, плыть. – Он вошел в реку; дно сразу же ушло из-под его ног, он медленно поплыл к тому берегу; сильное течение сносило его вниз. На середине реки силы стали оставлять его. Он посмотрел наверх – вверху было бесконечное небо, на нем были видны звезды, хотя все это происходило днем. – Странно, что я вижу звезды, – сказал себе Дорэн и потом подумал, что зрение вернулось к нему необычайно усиленным и что поэтому он даже днем видит звезды. Он еще плыл, но уставал все больше и больше. Он хотел обернуться, но чей-то голос сказал ему:

– Только не оборачивайся, только не оборачивайся.

– Хорошо, – ответил он, – но у меня нет больше сил. – Есть, – сказал тот же голос; и Дорэну тотчас же сделалось легче. Все же он плыл очень долго; наконец добрался до берега и сел на зеленую траву. Все вокруг него блестело от солнца. Он повернул голову и увидел чьи-то смеющиеся, необыкновенно знакомые и необыкновенно радостные глаза: – Кто это? – спросил он и проснулся. Был уже вечер. Дорэн подошел к окну; тьма, стоявшая перед ним, стала мягкой и нежной, теплый вечерний воздух окружил его. Из столовой послышался низкий голос Мадлен, сказавший Андрэ:

– Андрэ, ты не думаешь, что следовало бы разбудить папу?

И голос Андрэ ответил без обычной скрытой враждебности:

– Да, пожалуй, пора.

– Я не сплю, – сказал из своего окна Дорэн. – Как все хорошо, – успел он подумать. – Но почему? Ведь так недавно я все понимал иначе. Что же изменилось? Один только сон? Нет, этого не может быть. – И, улыбаясь слепым лицом, он пошел в столовую. За обедом он впервые стал шутить с Андрэ и смеяться – и чувствовал, как все оживает вокруг него. Засмеялся хмурый Андрэ, голос Мадлен отделился от нее и окружил Дорэна, и в нем звучали

те же интонации, что тогда, вечером, когда у Мадлен были гости; но Дорэн не вспомнил об этом.

Мадлен ушла от него под утро внезапно отяжелевшей походкой. Анри Дорэн остался один. – Что же я понял еще? – спросил он себя. – Да, я не слышал и не знал многих печальных вещей и был счастлив. А теперь, когда я их знаю, разве я менее счастлив? Нет, только надо пройти сквозь это, – думал он, почти засыпая. – Надо понять, – с усилием говорил он себе, – что все неважно: катастрофа, измена; да, Андрэ был не прав, я скажу ему об этом завтра. Важно, что я живу, думаю и делаю все, что угодно, – и вот издалека доходит до меня какое-то облако счастья, которое с детства поднимается за мной, – и оно окутывает меня и людей, которые мне близки; и против его счастливого тумана бессильно все, и все ненужно и смешно; а то, что есть, – бесконечно и радостно, и ничто не в силах отнять это у меня. Надо это сказать Андрэ, надо только не забыть это, – сказал он, сделав последнее усилие, – и заснул. Уже начинался рассвет, уже бледнели звезды; и свет, и тьма стояли, не смешиваясь и не исчезая.

ТРЕТЬЯ ЖИЗНЬ

В течение нескольких последних лет я вел нормальное и спокойное существование. В нем были – как и у всех людей на свете – разочарования, огорчения, печали и те приблизительно похожие движения души, которые обычно определяются этими словами и в которых никто не нашел бы ничего неожиданного. Изредка, правда, у меня появлялись странные мысли, трудно оправдываемые логикой: мне вдруг, например, начинало казаться, что певец, стоящий на эстраде и ожидающий того такта аккомпаниатора, при котором он начнет петь – и на певца устремлены все глаза и все ждут первых звуков его голоса, – что этот певец петь не захочет и так и будет стоять неподвижно и беззвучно, а потом просто уйдет, не сказав ни слова. Конечно, этого никогда не случалось. Или – так же неожиданно, – видя, как подметальщик улиц выпускает воду из тротуарного люка и выжимает тряпку, я думал, что вот сейчас, сию минуту, он возьмет тряпку в рот и станет ее кусать – как кусок хлеба. И когда подметальщик этого не делал, мне становилось очень досадно от того, что мое ожидание было обмануто. Но все это было настолько нелепо и ни с чем не сообразно, что каждый раз я отдавал себе отчет во всей абсурдности моих первоначальных предположений.

В остальном же все протекало более или менее нормально, и я никогда не думал о том, что могу стать жертвой какой-либо душевной болезни, тем более что здоровье мое всегда было в идеальном порядке. Я имел все основания полагать, что принадлежу к счастливой части человечества, которая не знает ни сильных душевных потрясений, ни особенных драм, ни резких изменений настроения. Я читал, писал, обедал и ходил гулять; – и все-таки что-то иногда смутно напоминало мне, что все мое времяпрепровождение похоже на душевный отдых после длительного

сумасшествия. Но ничто, казалось, не предвещало возможности возвращения тех ненормальных и ничем не оправдываемых волнений, которые я испытывал в сравнительно раннем возрасте и которые давно и, как я думал, безвозвратно прекратились. Я перестал думать о вещах чрезвычайно отвлеченных, меня стали занимать непосредственные наблюдения над предметами, простая и несложная жизнь, далекая от какого бы то ни было соприкосновения с бескорыстными и сильными волнениями; мне казались странными и удивительными все те поступки, которые не были вызваны внешне понятными причинами, – и так же, как меня более не интересовало или почти не интересовало существование лично мне не знакомых людей.

Так продолжалось до тех пор, пока в силу какой-то неизвестной причины я не стал вновь доступен прежним душевным недомоганиям и пока, наконец, не наступило то, о чем я пытаюсь рассказать и что мне кажется не сумасшествием и не болезнью, – хотя некоторые внешние признаки этого состояния носили, на первый взгляд, почти клинический характер, – а переходом в то, что я назвал бы третьей жизнью.

В ней воображаемое и действительное настолько сплетены вместе, что нет никакой возможности различить, где начинается одно и кончается другое. Идеи начала и конца вообще не характерны для этого состояния. Я видел перед собой одно лицо, раз навсегда оставшееся единственным образом; с него все начиналось бы и им все кончалось бы, если бы здесь было начало или конец: все, что происходило, все мысли и движения были только отражениями его изменений; говоря условным языком, я начал существовать только как функция этого одного видения, и лицо этой женщины казалось мне бесконечно близким и знакомым, – хотя я видел его всего один раз. Все это дало повод некоторым моим друзьям увидеть здесь род эротического помешательства – предположение, которое мне лично кажется совершенно неверным. Думая об этом, я пришел к убеждению, что повод для такого заключения им дала мысль о полном сосредоточении всех моих физических и душевных возможностей вокруг одного образа, и это казалось ненормальным именно потому, что остальные

области человеческой жизни, которым принято придавать большое значение – война, социальные преобразования, искусство, – появлялись только как фон, на котором возникал этот образ; так, думал я, как кладбищенские плиты, и памятники, и статуя командора не сохранились бы в моей памяти, если бы они не были только предварительными видениями, предшествующими появлению донны Анны. Разница заключалась в том, что образ донны Анны был уже давно подчинен и поглощен моим воображением, – в то время как образ, который я видел в действительности и в бреду, не поддавался ни изменяющей силе этого воображения, ни анализу и превосходил те возможности понимания, которые мне дала моя долгая и мучительная жизнь.

Мне кажется, что я вспоминаю теперь начало тех изменений, которые предшествовали переходу в третью жизнь.

Насколько я помню, это случилось со мной впервые зимой последнего года, в Париже, на улице, названия которой я не знал. Было, по-моему, около трех часов ночи; с вечера шел непрекращающийся ни на минуту дождь; он то усиливался, то ослабевал, и в свете фонарей медленно летели, не останавливаясь, бесчисленные капли воды. Все окна были темны и закрыты, улица проходила точно между двумя глухими стенами. Я не помню событий предыдущего вечера, не помню, почему я очутился на этой улице, которую потом я тщетно пытался найти. Я знаю только с совершенной несомненностью, что, сделав несколько шагов, я потерял сознание. Это не было ни обмороком, ни сном, ни секундным забвением; это было как бы бесконечной душевной пропастью, подобной той, которая, наверное, предшествует смерти; это не сопровождалось никакой физической болью, не оставило никаких болезненных последствий. Очнувшись, я увидел, что продолжаю идти по тротуару; но все, что окружало меня, и все свои ощущения и мысли я почувствовал с такой необычайной свежестью, с такой ледяной ясностью, с какой должен их видеть человек, внезапно исцелившийся от долгого

сумасшествия, или многоглазое существо нечеловеческого вида. Это было как бы последним зрением, не допускавшим возможности ошибки; до этого я мог неправильно видеть и понимать, мне могла мешать головная боль, могло мешать какое-либо сильное чувство, менявшее в моих глазах все предметы и придававшее им ту форму, которая была наиболее привычной. Каждое впечатление, прежде чем дойти до меня, несколько раз менялось, проходя сквозь голод – или боль, или раздражение, или запах, – и появлялось перед моим сознанием не таким, каким было вначале: оно стояло передо мной обманчивое и ошибочное, переодетое моим воображением, преображенное в тот вид, который я любил, принявшее ту окраску, которая мне нравилась больше всего, и наполненное тем смыслом и теми звуками, которые были мне дороже и ближе всякого иного смысла и всяких иных звуков. Так было всегда; и никакой мир, созданный самой могучей фантазией, не был в состоянии изменить это.

И вот это исчезло. Когда я вспоминал потом эту ночь, и улицу, и дождь, я знал, что в то время я видел себя со стороны и даже скорее издали, чем вблизи, – как видят изображение на экране или другого человека. Я видел свою фигуру – с поднятым воротником плаща, с мокрым от дождя лицом, – появляющуюся на этой улице. Руки мои были в карманах, голова была несколько наклонена вниз; я медленно проходил по улице, почти исчезая в темных пространствах, где только угадывалось мерное движение идущего человека, и вновь появляясь в зеленовато-белом, влажном свете фонарей. Вокруг не было никого; и я тревожно следил за этой длительной разлукой с собой и даже боялся чьего-либо появления, которое вдруг остановило бы своей густой, непросвечивающей тенью призрачную возможность моего возвращения в себя, – и тогда я навсегда потерял бы рассудок; это было для меня так же ясно в те минуты, как все остальное.

Все бесконечное множество того, что я видел и думал, стремительно проходило передо мной, исчезая и оставляя воспоминание падающих в пропасть тел, – и вот прошло все и бесследно исчезло. И в ту ночь, со стороны, из влажного и темного пространства я увидел так ясно,

как никогда, что все, в чем состоит моя жизнь, необычайно хрупко и ближе к небытию, чем мечта или сон; и после всего осталось только одно – то, чего я так боялся раньше и чему не хотелось верить, если случайно мне приходилось думать об этом.

Это было стремление исчезнуть: забыть обо всем, перестать заботиться о квартире, еде, деньгах; не думать и не знать, стать бродягой, потемнеть, почернеть, сделаться похожим на цвет земли, по которой я хожу, – и так медленно и незаметно исчезнуть совсем, как исчезают воспоминания и сны, – и очнуться только в последние минуты перед смертью, где-нибудь в поле, далеко от города или села. Я давно знал это медленное сладострастие исчезновения; но только в эту ночь я понял, что это единственное сильное мое желание, оставшееся мне после того, как ушли все остальные желания.

И тогда я начал приходить в себя; и последняя моя мысль, которая и теперь во мне и необычайно свежа, и холодна, как та влажная и незабываемая тьма, в которой она возникла, – это была мысль об одном, неошибающемся ожидании и сознание того, что мне суждено еще одно последнее знание, которого нет ни у кого и которое суждено только мне.

Это была возможность иного видения мира и обретение того знания, которого я искал всю мою жизнь и которое каждый раз, когда мне казалось, что я его находил, исчезало, как тень, или оказывалось не тем, которое мне было необходимо, как воздух. Но я, в сущности, никогда не обманывался, я всегда знал, что это неверно и призрачно. Я говорил себе, что если бы я нашел это знание, – я знал, что оно существует, иначе не стоило бы жить, – то с этой минуты началась бы третья жизнь – как прозрачная река, непостижимо соединенная с ослепительным светом, мягким и нежным, как самые ранние воспоминания детства. Это была бы третья жизнь: первая кончилась тогда, когда я перестал быть ребенком, вторая жизнь – это были путешествия, война, книги, университет, встречи и те слепые движения души, которые заставляли меня с непонятным вниманием читать целые часы о давно происшедшем преступлении или писать рассказы, которые потом казались

мне дикими и неестественными. Я знаю, что в неисчислимом множестве вещей и ощущений, которые предстояли мне, в целом мире неизвестного есть только один узкий вход в эту третью жизнь; и нужно было родиться с уделом единственного счастья, чтобы найти именно тот вход. Мне всегда казалось, что я заслужил это; я прошел мучительный и бесплодный путь – этой постоянной душевной тревоги, предшествовавшей только одному периоду спокойствия, этой беспощадной памяти обо всем том, в чем так трудно и больно было жить. Мне было достаточно закрыть глаза, чтобы передо мной тотчас же начали бы идти, один за другим, запахи, картины и образы, и после каждого из них не оставалось ничего, кроме зрительного воспоминания, бесплодного и пустого, как рисунок на песке или исчезающая полоса света. И лишь изредка из-за всего этого доносились далекие звуки, недоступные, недостижимые, но звучавшие только для меня и заставлявшие холодеть мое сердце. Это были звуковые тени третьей жизни, оставлявшие меня всякий раз в состоянии жажды и душевного изнеможения, – как невозможный, сверкающий мираж. Я думаю, что, если бы мне не было суждено узнать третью жизнь, я все же никогда не перестал бы надеяться: и даже смерть была бы только одной из самых страшных минут этого непрекращающегося ожидания. И с того времени, когда я вступил бы в эту жизнь, все стало бы ясно, светло и хорошо; и если бы оставались еще какие-либо сомнения, они были бы похожи на шрамы от давно заживших ран, которые остались еще от первой и второй жизни и которые были бы всего лишь бессильным напоминанием.

Я думаю, что больше половины всего моего времени я потратил на мечты, поиски и представления о том, каким должно было быть мое существование и какие наслаждения ожидали бы меня, если бы внешние обстоятельства могли складываться так, как я этого хотел. В конце концов я устал от этого так, как не устал бы, наверное, если бы все это действительно происходило со мной. Я начал с самых простых вещей – с богатства и славы. Я обдумывал

мельчайшие подробности жизни, которую я бы вел, когда бы был миллионером, сложное распределение целого дня, визитов, приемов, деловых разговоров, путешествий, причуд и всего другого, что было бы мне доступно. И всякий раз после этого передо мной вставал вопрос: а что же дальше? Может быть, слава? Но если меня будут знать даже миллионы людей и мое имя будут повторять повсюду – стану ли я от этого счастливее? – Нет, – думал я, – я только постоянно буду чувствовать себя так, точно нахожусь в толпе, – состояние, которое я всегда ненавидел. Оставалась мечта о власти над людьми; она была особенно сильна, но, в конце концов, я оставил и ее, так как частичная власть казалась мне недостаточной, а полная – слишком бесплодной, не встречающей сопротивления, не требующей счастливого напряжения всех сил, – и потому влекущей за собой холод и равнодушие.

И тогда всю силу моего воображения, все возможности моих чувств, весь опыт моей жизни я обратил на мысль о женщине. Долгие ночи я находился во власти этой мысли; долгие часы днем – в лесу, в городе, в ресторане, – я был погружен в это состояние, которого я раньше не испытывал с такой силой; это было настолько непреодолимо, что должно было найти себе какое-либо приложение; тогда я написал об этом книгу, эротическую и мечтательную, – и после которой я лишний раз убедился во всей неправильности моих представлений.

Я очень долго был чужд мысли о женщине. В том возрасте, когда впервые приходит это почти непобедимое желание, я был всецело поглощен стремлением к физическому изнеможению; это было то же желание, странным образом принявшее иную форму. Я делал десятки верст ежедневно с самой большой быстротой, какая была мне доступна, – летом на велосипеде, зимой на лыжах, – я занимался гимнастикой и достиг того, что мне предлагали поступить в цирк в качестве акробата; тело мое было всегда покрыто синяками, вечером я едва успевал сесть на диван или в кресло и тотчас засыпал таким крепким сном, что не чувствовал, как меня раздевали и переносили в мою кровать. Потом были книги, и война, и литература,

сильно занимавшая меня одно время, потом были голод и физическая работа, – и только тогда все кончилось.

Ничто и никогда не казалось мне таким кощунственным, таким неоправдываемым, как соединение далекого и прозрачно-чистого чувства к тем женщинам, которые окружали меня в детстве, – с этим черным зрением, с этой невыносимой душностью тела, которые сопровождали всякое мое движение и каждую мысль, когда я находился во власти этого желания. Ничто не могло быть более оскорбительно и печально; и я чувствовал себя так, как человек, считавший все окружающее его хорошим и чистым и которому однажды показали вдруг всю ужасную позорность этого, – как человек, которого до сих пор безжалостно обманывали в том, что он считал самым лучшим.

Я был однажды у моего товарища, которого теперь нет в живых; он умер в Африке, несколько лет тому назад. Вся его жизнь прошла в картинах, которые он рисовал. Он был единственный из всех людей, которых я знал, чья гениальность казалась мне несомненной. Странное чувство овладевало мной, когда он показывал мне свои картины: мне становилось душно, и тоскливо, и хорошо, оттого что он рисовал именно то, что всякому другому было бы недоступно, и именно так, как это было невозможно.

Он показал мне рисунок, который назывался «Искушение святого Антония». Святой Антоний сидит на узком деревянном кресле; у него высокий лоб над бледным остроконечным лицом, на нем белый халат и сандалии на сухих ногах. И вот низко над ним стоит и колеблется темное и тяжелое небо, все состоящее из разные частей бесчисленных женских тел: круглые, тучные груди с набухшими сосцами, ягодицы и соединения ног с черным, душным вихрем вьющихся волос – замирающим в смертельной чувственности, – самое тягостное видение, которое он знал.

И я видел мир таким; и от одной этой мысли я чувствовал себя навеки осужденным. – Я знал когда-то, – думал я, – такую счастливую и прекрасную жизнь: зимние сумерки, и маленькая кровать, и лицо матери, и страшные сказки, – и потом иное: честность и искренность, и северное видение снежного рыцаря, и нежная грудь с молоком, дающая жизнь новому и лучшему существованию, и все

это тлеет на черном огне, и тяжелый дым, похожий на небо святого Антония, медленно стелется над этим.

Я думал потом, после начала третьей жизни, – что все эти видения и мысли были тоже зачем-то нужны, как нужно было счастливому человеку знать сожаление и печаль, которые оттенили бы потом его счастье, как мрачные видения моей второй жизни оттенили всю сверкающую чистоту позднейшего понимания. Но тогда они привели к тому, что всякая одухотворенность моего существования стала мне казаться безвозвратно угасшей; и я только шел вслед за тем, как шла моя внешняя жизнь. Я был здоров и молод, и физическое мое состояние не позволяло мне находить занятие в ревматических болях, или легочных недомоганиях, или преждевременной усталости, или отвращении к еде. Я наметил себе приблизительную программу, которую должен был выполнить, заключавшую, прежде всего, заботы о моем образовании, но выполнял я ее медленно и неохотно; это было потому, что она влекла за собой непосредственную близость тех вещей, к которым я стал глубоко равнодушен. Все, что раньше сильно занимало меня, переставало для меня существовать. Одно время мне казалось, что я действительно схожу с ума. Точно так же, как в музыкальном мотиве, несмотря на полное отсутствие музыкального образования, я знал почти всегда заранее, какой звук последует за тем, который только что был, – так же, беря в руки книгу, я знал, не читая ее, что в ней написано. Я мог не знать фактов, которые там рассказывались, но главное, основное чувство книги, ее тон, – я знал, как мне казалось, всегда. И поэтому я не мог читать. Раньше я читал все свое свободное время; потом я едва раскрывал книгу, прочитывал несколько страниц и закрывал ее – мне было скучно и неинтересно, а главное – безразлично. И вместе с тем, мои занятия требовали от меня постоянного и усиленного чтения. Впрочем, вещи специальные мне было легче читать, и я предпочитал историю экономических доктрин самому лучшему роману. Еще легче мне было писать – это

не требовало от меня ничего, кроме небольшого напряжения памяти и некоторой усидчивости.

Очень давно, в самом начале моего пребывания в Париже, я сильно хотел литературного признания. Но в то время, когда передо мной впервые стали открываться некоторые литературные возможности, – это произошло уже после перелома и потеряло для меня какой бы то ни было интерес. Раз начавшись, это продолжалось по инерции – как и остальная часть моего существования, которая была рядом автоматических движений, лишенных душевного содержания. Судьба и интересы людей, с которыми мне приходилось встречаться, были мне чужды и безразличны; и только иногда – далекий взгляд незнакомой женщины или какое-нибудь одно ее движение на секунду пробуждали меня и точно окутывали романтическим и звучным облаком, в котором смешивались мои личные представления и желания с тем, что я слышал, читал или чувствовал раньше: летняя ночь, и итальянская мелодия, и шаги влюбленного по песку, и решетка знакомого сада, и торопливые движения почти призрачной женской фигуры в глубине деревьев. Но это длилось только секунду – и потом исчезало. Иногда ночью, возвращаясь домой после бесконечных и бессмысленных блужданий по городу, я вдруг начинал думать о том, что я еще молод, что мое тело подчиняется мне с прежней быстротой и безошибочностью, которая выработалась во мне долгими годами акробатических упражнений, падений на землю во время циркового salto и привычкой к безжалостному напряжению всех мускулов. Теперь мне это было ненужно.

Переходы из одного душевного состояния в другое – обычно совершающиеся незаметно, – были для меня очевидны; и мысли, которые в те минуты занимали меня, шли параллельно этому душевному погружению. Сначала мне рисовались непосредственные практические перспективы или необходимость того, что я должен был сделать завтра: поехать за деньгами, дописать письмо, купить билет в кинематограф. Потом поднималась какая-нибудь строчка

стихов, тотчас влекущая за собой зрительные образы, – это мог быть Рим, или Петербург, или Севилья, – затем это расплывалось в чем-то ином, где наряду с видениями снега и зелени появлялась мысль о бесплодности и бессилии всего существующего; она продолжалась недолго, затем возникал неизменный вопрос: что же дальше? – и тогда наступала новая, глубочайшая темнота, в которой все было неизвестно и не похоже на остальное. Пребывание в этом состоянии было особенно мучительно, так как требовало напряжения всех сил; ему уже предшествовала необычайная усталость, которая замедляла все, что я делал, и не соответствовала даже тому неторопливому образу жизни, который я вел. И я иногда месяцами не отвечал на важные письма, обещал прийти и почти никогда не приходил, – все по одной и той же причине: меня приводило в бешенство то, что я бывал куда-либо приглашен и не мог от этого уклониться. – Неужели нельзя, – думал я, – чтобы меня, наконец, оставили в покое, чтобы я мог, наконец, быть совершенно свободным? – Но и свобода была мне нужна только для того, чтобы ничего не делать. Я хотел спать и есть – и это странно не соответствовало всему: условиям, в которых я рос и учился, и недавнему моему интересу к отвлеченным вещам, и тому волнению, с которым еще несколько времени тому назад я читал мои любимые книги.

Эта душевная темнота наполняла меня постоянной тревогой: она мешала мне спать, она не позволяла мне оставаться в состоянии полного безразличия и спокойствия, – точно не все еще было решено в моей личной жизни, точно оставались еще какие-то нескучные возможности, точно не все еще было исчерпано. И опять, чтобы еще раз проверить себя, я возвращался к прежним мечтам и мыслям – и не находил в них ничего, кроме темной пелены – вроде густого дыма, поднимающегося над тлеющим мхом.

То, что случилось со мной тогда, случилось впервые в жизни; и все вообще до мельчайших подробностей было

так свежо и сильно, что мне тоже казалось: это – впервые в жизни. У меня было лишь одно беглое воспоминание: когда-то, давным-давно, может быть, в совсем другой жизни, я уже знал это: но меня теперь отделяла от этого бесконечная даль. Когда я потом вспоминал об этом, все начинало шуметь и кружиться вокруг меня; и вот из этого шума медленно возникало женское лицо с тяжелыми губами и особенным разрезом необычайно больших и гневных глаз. Это лицо я знал всегда, всю мою жизнь. И когда я увидел его вблизи и наяву, я начал задыхаться, все стало холодно и душно, все звуки доходили до меня заглушенными, как во сне.

Это происходило летом, на террасе кафе, в пустынном и тихом квартале Парижа, недалеко от Булонского леса. Я, не отрываясь, смотрел на женщину, сидевшую за столиком; она была одна. Я не подошел к ней в тот раз, в первый вечер третьей жизни.

Он остался в моей памяти – свежим и прохладным; впервые после такого раскаленного ожидания и душного неба святого Антония; он остался – с прохладным и высоким небом, с неподвижным спокойствием деревьев тихой и далекой улицы и с сознанием того, что все, существовавшее до сих пор, было только длительным пребыванием в чужой среде, от которого остаются лишь беглые, бледнеющие образы, – и что теперь начинается иное: поглощение всего, что я знал, освобождение от всех тяжестей и целая жизнь – впервые – на краю неизвестной страны.

С этого времени началось то двойное существование, вызванное внешними условиями, которое любой врач определил бы как сумасшествие. Я вернулся домой поздно, лег на кровать; окно было раскрыто; мне казалось, что я не спал, – и не мог совершать то ночное путешествие, такое странное и необычайно похожее на действительность, что, если бы на следующее утро я не проснулся бы в своей комнате, я бы подумал, что это было на самом деле, все, что я видел тогда, – все точно снится или не снится, – зима, и окна с тяжелыми гардинами, и земля, покрытая снегом, и

высокое дерево под окном, видимо, растущее и увеличивающееся с легким, стеклянным звоном, и вокруг, в ответ этому звуку, непрестанно расширяется земля со снежным, шуршащим шумом. То, как я вступаю в этот воздух, похоже на погружение в холодную, неземную воду, где так медленны движения рук, где призрачны и неверны берега, где в глубине, почти у самого дна, плывут тысячелетние рыбы, сонно шевеля обледеневшими плавниками. Но вот с шумом исчезает вода; становятся видны человеческие лица, и стелется легкий туман, вдруг срывающийся, как покрывало фокусника. Потом разливается яркий свет, – и я оказываюсь в городе, почти похожем на Париж; но в этом городе совсем нет детей, есть только женщины и музыканты. И, наконец, я просыпаюсь; все освещено электричеством, над городом летит шумная ночь: шумят металлическим хрустом моторы автомобилей, шуршат колеса и неумолчно идет дождь, покрывающий черным лаком блестящие мостовые. Я иду по улице в дождевом плаще – и навстречу мне идет женщина; в гремящем свете города ее лицо приближается ко мне: бледное лицо с тяжелыми губами, – и я чувствую слабость в сердце и тяжелый, холодный ветер. – У меня была когда-то такая счастливая, прозрачная жизнь, – повторяю я, – зачем вы разрушили все это? Разве вам недостаточно бесчисленного множества тех, кого вы раньше знали, – когда вы проходили со смертельным шелестом платья сквозь годы и годы, – никогда не меняясь? Вам недостаточно тех, кого вы превратили в вашу тень, – это была чья-то безжалостная и насмешливая воля, которая создавала вас, и вращающиеся пропасти в воде, и другие, такие же несправедливые, вещи? – Идите за мной, – отвечает женщина. – И вот я уже окружен со всех сторон ее голосом: он звучит справа и слева, он предшествует мне и сопровождает меня, и во сне мы идем по черным зеркалам ночного города; и невыносимо длится это путешествие. И вот она берет мою руку, и ее лицо поворачивается ко мне: ее тяжелые губы неподвижны, – и мы останавливаемся: кровь густой струей льется из моего горла, и я вижу в нестерпимом просвете берег счастливой страны и листья деревьев над блистающей водой. Кровь все медленнее и медленнее течет из горла, и я не могу

уже говорить и, умирая в красной реке, близкой и нежной, повторяю единственное слово, которое не забыл, не думая о его смысле, почти не слыша его: никогда, никогда, никогда.

Две особенности характеризовали для меня – с вечера этой встречи – то, чем третья жизнь отличалась от предыдущих. Первая из них заключалась в исчезновении той мучительной многочисленности существования, от которой я так страдал раньше. Передо мной постоянно проходило несколько одновременных серий событий; и когда что-либо случалось, я не мог почувствовать всю силу впечатления, которое это должно было произвести, так как множество неважных, но параллельных и соответствующих во времени происшествий ежесекундно расщепляло мое внимание. Бывали минуты, когда я чувствовал себя почти что машиной для запечатления происходящего; и подлинный, чувственный смысл его, от которого плакали или радовались другие, казался мне лишь одной из подробностей, и не всегда самой главной. Если мне приходилось описывать что-либо, то я заранее говорил себе, какой вывод из этого описания должен сделать слушатель или читатель, – и соответственно необходимости именно этого вывода я строил рассказ, который при желании мог построить совершенно иначе. Я мог говорить о каком-нибудь поступке и представить его трогательным и нежным, если я обращался к женщине; и об этом же я мог рассказывать как о нелепом и ненужном – если я разговаривал с мужчиной, по отношению к которому я хотел казаться большим скептиком, чем он сам. Это была ненужная работа над меняющимся материалом; но она не была следствием только дурных намерений – это было как бы моей второй природой. Ни в каких обстоятельствах, даже в самых трагических, я не испытывал всей стихийной силы ощущения. Даже во время войны, в самые страшные минуты, я ясно видел все происходящее; и, вдыхая едкий дым разорвавшегося снаряда, я не забывал жалеть о том, что у меня не так вставлен револьвер в кобуру, как нужно;

или, видя солдата, заряжающего пушку и вытирающего лоб рукавом, и глядя на его длинные волосы, я думал: конечно, это очень торжественно, и, может быть, сейчас он будет убит, но все же ему не мешало бы постричься. Я очень хорошо знал, что́ именно мне полагалось испытывать, но в действительности этого не испытывал. И вот эта одновременность созерцания разных и несовместимых вещей, совершенно непреодолимая, доводила меня до бессильного гнева – эта невозможность забыться и ощутить всего себя в одном самом сильном чувстве – не заметить, что идет дождь, не знать, который час, не думать о том, как я попаду домой.

И эта множественность существования вдруг исчезла; и – это была вторая особенность – тогда я узнал всю силу единственного ощущения, необычайного и несравнимого со всей совокупностью моих душевных знаний до сих пор. Раньше я знал печаль, и тоску, и скуку, и томление; но только потом, в минуты отчаяния, вызванного воображаемой интонацией или жестом, я узнал всю разрушительную его силу, не допускающую даже тени какой-либо другой мысли. Во время такого отчаяния все исчезало для меня, кроме этого ужасного томления, в тысячу раз более невыносимого, чем ожидание смерти. Все переставало существовать, в мире ничего не оставалось: и мои привычки и спасительные мысли о каком-то объективном понимании окружающего были мне так же недоступны, как человеку, который никогда их не знал. Все мои силы, все желания были направлены к одному; и когда все это было вдруг остановлено и разрушено, то оставалось только одно необычайное колебание, малейшее движение которого значило для меня больше, чем годы болезни, или голода, или многолетней, непрекращающейся агонии.

Холодное и свежее утро, октябрь, Париж и открытое окно моей комнаты. Я просыпаюсь с сознанием того, что должен уехать. Ушли навсегда все воспоминания, и неопределенное томление ожидания, и музыкальные соединения слов, имевшие надо мной такую непреодо-

лимую силу; исчезли снега, и море, и весь этот то гремящий и бунтующий, то безмолвный и белый мир, который я знал столько лет, – осталось только безвозвратное путешествие в далекую страну, – сквозь влажный и горячий ветер. И в следующую секунду густой воздух охватывает мое тело, я иду сквозь него: из высокой и страшной дали, остающейся позади, несутся пронзительные звуки – как женский плач, – сливающиеся со всхлипыванием мягкого ветра, окружающего меня. Это похоже на кораблекрушение: вдали догорает корабль и плачет утопающий, вокруг ночной океан, – и впереди, за пеленой влажного морского тумана, горячая земля почти недоступной страны – единственной, на которой возможна моя жизнь. Не осталось ничего, кроме этого последнего путешествия, весь мир закрыт для меня, и есть только или эта страна, или вода, медленно заливающая легкие, и глубина океанского дна, и сотни лет, удаляющие меня от моей жизни, и уже умирающая, уже тускнеющая память о том, чем я был и что перестало существовать.

И я увидел – в последний раз – песчаную и жаркую страну на крайнем юге России, и обломанный ствол небольшого дерева на опушке леса, и тихий день: светит позднее осеннее солнце, слегка шипит песок под мягким ветром. Когда, много времени спустя, я снова приехал туда с севера – там ничего не изменилось: тот же ветер, да солнце, да шипение песка. Но только обломанного ствола не было, его занесло, – и я подумал тогда, что в этом засыпанном обломке не осталось даже воспоминания о том, как плескались в воздухе листья и качались ветви и как струился в нем сок – от низа до верхушки, – как кровь в остановившейся фигуре задумавшегося человека.

Раньше меня всегда мучила мысль, что я никому не могу рассказать обо всем, мою последнюю правду; и все, что напоминает ее, я изменю – и мне ничего не останется из того, что было в действительности; ничего – кроме нестерпимого желания рассказать. Я старался представить себе человека, которому мог бы сказать об этом, – и

не находил его. Иногда это желание поднималось во мне с такой силой, что я уже почти начинал говорить, но что-то останавливало во мне душившие меня слова и признания, и я опять оставался молчаливым и задыхающимся, как раньше. Я знал, что никогда не напишу об этом – потому что все равно это останется непонятным, – и даже самому себе я не могу признаться во всем. Один раз я хотел это рассказать священнику на исповеди, – хотя я не верил ни в Бога, ни в необходимость исповеди, – но я любил этого священника. И когда шершавая парча епитрахили покрывала мою голову и раздались заглушенные слова, которые он сказал, – я вспомнил о его диалектическом и холодном уме и о романтической его любви к Богу, которая была скорее явлением искусства, чем той простой и бесконечно крепкой любовью, от которой текут из глаз соленые, человеческие слезы, – и замолчал.

И вот теперь я не колебался признаться себе во всем – до конца. Мне казалось, что когда кончатся слова, и рассказы, и чувства, то останется темное пространство впереди, наполненное непонятным и зловещим ожиданием. Но это было не так: и после всего, вместо мрака, которого я ожидал, я увидел точно ослепительное сиянье воздушной реки.

Я родился на севере, ранним ноябрьским утром. Много раз потом я представлял себе слабеющую тьму петербургской улицы, и зимний туман, и ощущение необычайной свежести, которая входила в комнату, как только открывалось окно. В ту ночь, когда я потерял себя, – и в вечер, когда я встретил незнакомую женщину на террасе кафе, – я с неожиданной силой ощутил это ледяное прикосновение. И осталось только – лицо женщины, стоящее передо мной, и вблизи, в горячем воздухе – холодное и спокойное течение, – как снежная тень, проходящая вдоль моей жизни.

ВОДОПАД

Всегда, сколько я себя помню, каждый раз, ложась спать, я представляю себе идущий поезд или пароход, вздрагивающий диван вагона или чуть покачивающуюся постель каюты. И вот закрываешь глаза и тотчас слышишь тихий гул и видишь множество вещей; слышишь фразы чьего-нибудь рассказа, видишь белый дымок паровоза в какой-то бесконечно далекой стране; и вспоминаются такие случаи или соображения, о которых потом, днем, забываешь вовсе. И точно так же, как есть и слова или поступки, возможные только вечером или ночью, так существует – в моем представлении – торопливая и почти беззвучная жизнь перед сном.

– Как вы хотите, чтобы я писал? – говорил мне один из моих товарищей. – Вы останавливаетесь перед водопадом страшной силы, превосходящей человеческое воображение; льется вода, смешанная с солнечными лучами, в воздухе стоит сверкающее облако брызг. И вы держите в руках обыкновенный чайный стакан. Конечно, вода, которую вы наберете, будет той же водой из водопада; но разве человек, которому вы потом принесете и покажете этот стакан, – разве он поймет, что такое водопад? Литература – это такая же бесплодная попытка.

И вот, засыпая, я вспоминаю этот разговор; уже все темнеет вокруг меня, уже сон начинает спускаться, как медленно летящий снег, и я отвечаю:

– Не знаю; может быть, чтобы не забыть. И с отчаянной надеждой, что кто-то и когда-нибудь – помимо слов, содержания, сюжета и всего, что, в сущности, так неважно, – вдруг поймет хотя бы что-либо из того, над чем вы мучаетесь долгую жизнь и чего вы никогда не сумеете ни изобразить, ни описать, ни рассказать.

Французский инженер, эльзасец, служивший во время войны в германской армии – в силу глупой случайности, – рассказывает, что человеком, которого он больше всего ненавидел – как и все его товарищи, – был фельдфебель его роты – негодяй, каких свет не создавал, «скотина и зверь». И этот человек, гонявший солдат с утра до вечера, придиравшийся буквально ко всему и действовавший кулаками и ругательствами, – писал чуть ли не ежедневно нежнейшие письма своей любовнице, которые он читал себе вслух перед тем, как их запечатать. «Ich werde dich immer lieben»[1] и так далее, с бесчисленными immer и niemals...[2] Для того же, чтобы письма доходили вернее и быстрее, он отправлял их через штаб полка, находившийся в трех километрах от того места, где стояла рота. И всякий раз он посылал туда француза, которого особенно не любил. «И вот под обстрелом, с письмом этого идиота, immer и niemals, рискуя каждую секунду получить пулю в спину и в бок, по вязкой грязи идешь в штаб передать письмо господина фельдфебеля. Ни во французском, ни в немецком языке не существует ругательств и проклятий, которые я бы не вспоминал в это время».

Через несколько недель француз уехал в трехдневный отпуск; и, вернувшись, застал в роте ликование.

– Что такое?

– Слава Богу, фельдфебель вчера убит.

– Все были счастливы, – говорит француз, – и я был тоже вне себя от радости; единственное, что меня немного огорчало, это что я уже не могу отомстить этому человеку.

Прошло еще некоторое время; снова подошел отпуск, на этот раз несколько более длительный. И вот француз вспомнил, попав в какой-то небольшой городок, что именно в этом городе жила любовница фельдфебеля. «Вы понимаете, адрес ее я знал наизусть, и я, наверное, скорее забыл бы свое имя, чем этот проклятый адрес». Он решил, что все-таки – и после смерти фельдфебеля – он отомстит. Он придет к его любовнице и скажет: «Я служил

[1] «Я буду всегда тебя любить...» (*нем.*)

[2] всегда... никогда... (*нем.*)

Заказ № 3236

под начальством фельдфебеля такого-то и явился сюда, чтобы вам сказать, что большего мерзавца я не видел в своей жизни. Его, к счастью, убили некоторое время тому назад; так что если вы ждете каких-либо о нем известий, то это напрасно: он убит такого-то числа». Потом он кивнул бы головой и ушел.

– Я позвонил – рассказывает он, – и ожидал увидеть полногрудую молодую девушку с синими немецкими глазами, sex-appeal[1] и так далее. Но это оказалось не так: мне открыла дверь совсем старая женщина с заплаканными глазами; за ней стоял старичок, по-видимому, ее муж. Я посмотрел по сторонам: квартирка была довольно бедная, маленькая; по стенам висели всякие немецкие вышивки: и со всех четырех сторон на меня глядели бесчисленные, неумолимые лица фельдфебеля. Он был снят во всевозможных видах, в профиль, фас, три четверти, он был необыкновенно многочисленен, и все его глаза смотрели на меня.

– Мы уже так давно не получали от Макса писем, – сказала эта женщина, по-видимому, мать его любовницы, – и мы не знаем, что с ним. Может быть, – заплакав, продолжала она, – его уже нет в живых. Вы, наверное, служили вместе с ним и приехали к нам, чтобы сообщить, что он, быть может, ранен?

И я смутился и невнятно пробормотал, что я тоже ничего не знаю о его судьбе и пришел к ним спросить, не получали ли они каких-либо известий, – и ушел с тяжелым и необъяснимым чувством.

Я помню, – как сквозь сон, – женщину со смуглым лицом, с, черными мушками, с черной вуалью; мне было лет шесть, когда я видел ее. Я знал ее по рассказам: она была женой нашего хорошего знакомого. В те времена ей было года тридцать три – тридцать четыре; она отлично рисовала, прекрасно одевалась; модели ее платьев тотчас же копировались местными красавицами; у нее был

[1] сексуально привлекательную (*англ.*).

ровный характер, особенный – «как ни у одной женщины» – голос. Я ее помнил – может быть, по особенной навязчивости детских воспоминаний – так, точно видел вчера, – молодой, богатой и красивой.

Прошло двадцать два года; и вот однажды, в Париже, я получил письмо, в котором мне писали, что она и ее муж здесь и что мне следует к ним зайти. Я пришел туда под вечер, начинало чуть-чуть темнеть, это было в августе. Меня встретил ее муж – его я помнил хорошо, и он совсем не изменился: та же прямая коренастая фигура, те же смелые и насмешливые глаза, только лицо приняло красноватый оттенок и короткие густые волосы были совершенно белые. – Я сейчас позову жену, – сказал он и вышел. Через минуту, торопливо вспомнив этот образ, который я так давно и хорошо знал, – я услышал очень тихие шаги; и повернул голову.

В комнату вошла маленькая старушка в синих очках, в мягких меховых сапожках – сгорбленная, седая и как-то особенно тихая.

И мне сразу стало трудно дышать, и в комнате как будто раздался какой-то отчаянный, пронзительный крик, хотя все было тихо. Я не мог тогда думать, помню только слова, мелькнувшие отрывочно: «безнадежный», «последний». Кажется, никогда я не испытывал большей тоски, чем в тот раз. Я был очень плохим собеседником, посидел четверть часа, попрощался и ушел – и никогда потом не мог в себе найти достаточно силы, чтобы туда вернуться, хотя этого требовала простая вежливость.

– Политические убеждения меняются с возрастом, молодой человек. Покуда человеку двадцать лет, он все стремится переделать, потому что у него здоровые мускулы и здоровая кровь и он одержим чем-то вроде центробежной силы. Когда он делается старше, он находит удовлетворение в своей работе и, кроме того, начинает ценить некоторые внешние выгоды своего положения; он еще, пожалуй, либерал, но уже не революционер. Подумайте,

ведь революция – это катастрофа, это изменение всей его жизни, которая, в сущности, неплохо устроена – квартира, дом, постоянная жена, – немного скучновато, но спокойно, мягко и всегда под рукой, – выражаясь аллегорически и без уточнений. Таким образом, он либерал, но отнюдь не революционер. А потом он делается еще старше; и как убеленный сединами старец вспоминает о том, что в возрасте двадцати лет он был настолько глуп, что писал любовные письма этой самой Зине, дочь которой разводится в третий раз, – так и нашему с вами герою все анархические разглагольствования кажутся абсурдом, хотя всего лишь тридцать лет тому назад он подписался бы под ними обеими руками. Вот когда вам будет лет сорок...

Это мне говорил уже пожилой человек, друг моего покойного дядюшки – о нем часто упоминали в нашем доме; я был у него уже за границей – он жил на собственной ферме недалеко от Константинополя.

В свое время у него была довольно бурная жизнь, была какая-то роковая женщина, которая tout bonnement[1] – как говорил дядюшка – бросила его в третьеразрядной гостинице уездного[1] города, точно это был дорожный чемодан, а не здоровенный мужчина; затем он почему-то оказался на Дальнем Востоке, но скоро вернулся в родной город и неожиданно поступил в акциз, где, однако, прослужил недолго, так как уехал в Берлин, увидав на обложке немецкого иллюстрированного журнала поразившую его фотографию знаменитой цирковой наездницы Берты, которая – в Берлине – оказалась матерью четырех детей и примерной женой своего мужа, специалиста по разрыванию цепей и подниманию тяжестей. – Ему оставалось, конечно, влюбиться в ее лошадь, – говорил дядюшка, – но тогда, к счастью, началась бурская война, и он отправился в Трансвааль, – с разбитым сердцем и неисчерпаемым запасом энергии и еще чего-то, трудно поддающегося определению и что дядюшка называл «своеобразным душевным идиотизмом».

И вот в Константинополе – это было в 1920 году, – узнав, что он недалеко живет, я пошел к нему пешком.

---

[1] попросту (*фр.*).

Ферма его находилась верстах в десяти от города, но я добрался туда только к вечеру, так как шел, в сущности, вслепую; обстоятельные объяснения турок, у которых я изредка для формальности спрашивал дорогу, ничем не могли помочь, потому что я не знал ни слова по-турецки. Уже под вечер я встретил какого-то оборванца, ведшего под уздцы чрезвычайно странное животное, нечто среднее между лошадью и верблюдом. Оборванец оказался донским казаком и подробно объяснил мне, как нужно было идти. – Что это, между прочим, за животное? – спросил я его – он иронически улыбнулся и сказал: – Это у них лошади такие, – прибавив нецензурное ругательство – «в турецкого бога».

Еще через полчаса ходьбы я услышал сильный и острый, не похожий ни на что другое, запах свиного помета. Еще две минуты – и я был на ферме. Множество свиней разного вида, пола и возраста, но совершенно одинаково грязных, ходило и лежало на довольно большом пространстве земли, которое пересекало гигантское корыто, похожее на деревянное озеро. В глубине двора стоял небольшой дом; хозяин сидел на крыльце и курил трубку; на нем был шелковый халат и сапоги с деревянными подметками. – Селям-алейкум! – закричал он издали. – Здравствуйте, – сказал я, – извините, что я по-русски. – Милости просим, – и он сделал широкий жест рукой.

У него был недурной дом с мягкими диванами, большим столом, коллекцией кавказских кинжалов и изумительно длинным ружьем, которое по диагонали доходило от нижнего до верхнего угла стены, – по-видимому, с тем расчетом, что даже без необходимости стрелять, только направив это ружье на кого-нибудь, человека можно было держать на расстоянии, делавшем бесцельными любые атаки. Впоследствии оказалось, что это было бурское ружье.

Я сказал этому человеку, что пришел к нему без всякой определенной цели – только потому, что много слышал о нем и хотел его повидать. – Так как мое пребывание в Турции носит, по-видимому, временный характер... – Позвольте, – перебил он меня, – ведь ваше имя... –

он назвал мое имя. – Да. – Черт возьми, когда я видел вас в России, вам было года три, по-моему, а потом мне о вас писал... – он назвал моего дядюшку. – Вы, кажется, подавали какие-то надежды? – Я? – сказал я, растерявшись, – нет, по-моему, вы ошибаетесь, я, кажется, не подавал. – Значит, я вас спутал с кем-то, – сказал он задумчиво. – Возможно, в этой молодежи сам черт ногу сломит... А я, как видите, занимаюсь свиноводством. – Я вижу. – Увлекательнейшая вещь, должен вам сказать. – Лучше, чем наездница Берта? – хотел я спросить, но удержался.

За ужином он говорил, глотая горячий борщ:

– Вот, например, немцы умеют делать двести блюд из картофельной шелухи, а из свинины ничего особенного не сделаешь. Что ж, поросенок под хреном, поросенок с кашей, отбивная котлета, окорок, просто свинина, вот и все.

Над столом горела керосиновая лампа, на которую летели из открытого окна какие-то крупные насекомые, вроде библейской саранчи, и столь же многочисленные. Он посмотрел на них, пробормотал: – Ничего удивительного, почти субтропический климат, в Трансваале еще хуже, – и продолжал есть. Подавала босая загорелая женщина лет тридцати, которую он называл Марусей, хотя она едва понимала несколько слов по-русски. – Гречанка, – сказал он отрывисто, – моя сотрудница.

На следующее утро из помещения, которое я в сумерках принял за хлев, но на котором была надпись мелом «garage»[1], – что казалось особенно странным, так как на ферме не было никого, кроме хозяина, Маруси и свиней, – которые, я думаю, не знают латинского алфавита, сказал я хозяину, – он выехал на небольшом дрожащем «форде», у которого как-то заскакивал клаксон, так что иногда чуть ли не целый километр мы ехали с непрекращающимся ревом, – и отвез меня в город. Заревев клаксоном в последний раз у начала одной из бесчисленных константинопольских улиц, он, сказав мне несколько прощальных слов, половины которых я не расслышал из-за клаксона,

[1] «гараж» (*фр.*).

резко повернул свой неправдоподобный автомобиль и с ревом скрылся.

И я вспомнил, как дядюшка говорил о нем, когда был в хорошем настроении:

– Он был идеалист и мечтатель. Ему, пожалуй, следовало быть влюбленным и рассеянным – это больше всего соответствовало бы его душевному строю.

Я сижу в Париже, в кафе на Монпарнасе. Против меня сидит партизан Макс, седой человек с квадратной головой.

Он командовал партизанским отрядом в Сибири, захватил груз золота и серебра, который сдал «по начальству». Потом пешком пришел в Крым, опять куда-то исчез, и много лет спустя я встретил его в Париже: он не знает ни слова по-французски, женат на француженке, у него шесть человек детей. Он работал в Германии, Греции, Австрии и Швейцарии.

Но больше всего на свете Макс любит стихи. Он не читал Блока, он не знает ни Анненского, ни Мандельштама, ни Пастернака, ни Гумилева. В те времена, когда он «следил за современной литературой», – в Олонецкую губернию не доходили эти стихи.

Но он знает «Чтец-декламатор». И когда он выпьет немного красного вина, он откидывается назад, закрывает глаза и начинает читать – почти со слезами в голосе:

К позорной казни присужденный,
Лежит в цепях венгерский граф...

ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛОРД

Я проходил однажды ранним зимним утром мимо парижских Halles[1] – в один из дней, когда бывает базар цветов. Мокрый и грязный асфальт был покрыт ровными квадратами белого, красного и желтого цветов, от которых отделялись разные запахи, смешивавшиеся с особенным вкусом сырого парижского утра. Я только что вышел из невидимого облака того кислого и дурного воздуха, который характерен для Halles, – смесь гниющей капусты с терпким и точно прилипающим к лицу запахом сырого мяса; промокших овощей, – и все это сквозь отвратительные испарения старых и мрачных домов, населенных собирателями окурков, тряпичниками, торговками, проститутками за пять франков – всеми этими существами, похожими на влажную ночную слизь; и, выходя из этого квартала, я долго не мог отделаться от навязчивого ощущения того, что мое платье прилипает к телу, что это зловоние все преследует меня, – хотя уже начинались набережные Сены и place St. Michel, где все было немного чище и лучше; над городом неподвижно стоял влажный, слепой туман, сквозь который с возрастающим и потом стихающим шумом слышались звуки проходящего трамвая, проезжающей повозки на высоких колесах, шуршанье шин автомобилей.

И в тот день, когда я проходил мимо Marché aux Fleurs[2], мне бросились в глаза бесчисленные розы, расставленные на земле. Сколько мне помнится, я никогда не видел такого количества роз. Они казались особенно неуместны мне здесь, – как они неуместны вообще где бы то ни было, кроме сада, в котором они растут, – все эти жалкие,

---

[1] Центральный рынок (*фр.*).

[2] Цветочного базара (*фр.*).

увядающие цветы в ресторанах, магазинах, или в квартирах, или в ложе мюзик-холльной пожилой красавицы, где они вянут в таком оскорбительном соседстве. Они хороши только тогда, когда сопровождают чью-нибудь смерть.

И я подумал, что уже видел однажды очень много роз; и все то, что предшествовало их появлению, вдруг сразу возникло в моей памяти – так же свежо и сильно, как этот запах цветов.

Мне было тогда восемь лет; это происходило в большом южном городе России, в высоком шестиэтажном доме, принадлежавшем другу моего отца; он стоял на окраине города, недалеко от городского парка, – улица была такая широкая и большая, застроенная особняками, ровная и светлая; громадные окна выходили в сады – и всегда на этой улице стояла особенная, несколько торжественная тишина, точно и дома, и люди питали друг к другу безмолвное уважение; потом, много лет спустя, где-то во французской провинции я видел нечто похожее. – Далеко живете, – говорили моей матери знакомые. – Уж очень здесь хорошо, – отвечала она. Это было до войны, и в те времена на той улице было, действительно, хорошо и все шло так спокойно, тихо и без труда, как если бы медленно текла широкая и светлая река, вдоль ровных берегов, – ничем не смущаемое, равномерное и точно забывшееся в самом себе движение; так проплывали целые длительные годы, без толчков, без волнений, со сказками Андерсена в тяжелом тисненом переплете, с немецкими и французскими уроками: Ein Esel war mit Salz beladen... ein Kaufmann ritt einmal... il fut une fois...[1], – с медленными и неуверенными гаммами, которые играла моя пятилетняя сестра, предварительно посаженная на взвинченный до конца табурет перед пианино; и, сидя так высоко, она изредка посматривала вокруг себя немного испуганными детскими глазами и потом снова принималась нажимать с некоторым усилием клавиши, которых было так много и все только черные и белые. Внизу был двор, непохожий

[1] Осел был нагружен солью... однажды ехал купец верхом... (*нем.*), это было однажды... (*фр.*).

на другие, посыпанный гравием, в конце двора будка и в будке громадный белый пес, которого никогда не отвязывали, и только ночью он бегал по двору с особенной длинной цепью, заканчивавшейся роликом, который катился по проволоке, протянутой на высоте человеческого роста, – как какой-то неправдоподобный живой трамвай. Он ел с рычаньем кости, которые ему приносили, – и все мы были уверены тогда, что это самая большая собака в мире.

У нас было не очень много знакомых, некоторых из них я не знал, с некоторыми разговаривал, – как, например, с m-me Berger, старой француженкой, которая лет двадцать или тридцать тому назад приехала непосредственно с rue de Provence в Париже на Епархиальную улицу этого русского города, – и это было вообще единственное и, я думаю, последнее путешествие в ее жизни. Она была маленькая, очень живая старушка, говорившая с необыкновенной быстротой, так что я с трудом понимал ее: по-русски же она знала всего несколько слов, – но это было неважно, так как из того, что она произносила, можно было разобрать только слово «хорошо»; все остальное было совершенно непонятно, а многосложных слов с меняющимися ударениями она никак не могла произнести. Она иногда спрашивала мою мать, как будет то-то, или то-то по-русски; мать говорила, особенно медленно произнося; тогда m-me Berger зажмуривала глаза и пыталась повторить слово – иногда ей это удавалось, но она тотчас же его забывала. – Боже мой, – говорила она, – но насколько же проще французский язык! И зачем такие трудности? – Много лет она преподавала французский язык, но потом вдруг неожиданно перестала учить правилам грамматики и последовательности времен своих учеников и учениц, заперлась у себя на две недели, никуда не показывалась; и в один прекрасный день на ее двери появилась белая картонная карточка, прикрепленная четырьмя кнопками под медной дощечкой с ее фамилией: «M-me Berger, leçons de français»[1], и к этому прибавилось:

[1] «Мадам Берже, уроки французского» (*фр.*).

«voyante»[1]. И она стала заниматься гаданием. Престиж ее в этой области был чрезвычайно велик, и количество посетителей таково, что уроки она вскоре прекратила вовсе. Она предсказывала богатство, любовь, огорчения, она гадала даже мне, держа в своих маленьких сухих руках мою руку, – помню, что она сказала: – A l'âgede 14 ou 15 ans tu auras une désaventure[2], – и я не знал этого слова. Предсказание ее оправдалось, впрочем, хотя и не в том виде, в котором она, наверное, его себе представляла. К нам она приходила отдохнуть, как она говорила, и побеседовать немного о литературе, к которой она питала слабость; меня она научила, как надо читать – «с чувством» – «Разбитую вазу» Сюлли-Прюдома, которую я долго помнил наизусть; я выучил ее одновременно с песней; которую в те времена пела наша кухарка с мечтательными синими глазами на огненно-рыжем лице «По диким степям Забайкалья, где золото роют в горах...» – Что же там – и степи, и горы? – спросил я ее. – Все, – ответила она.

Потом появлялся Василий Николаевич, приятель моего отца, юрист и математик, высокий человек лет сорока, смеявшийся всегда только глазами и необыкновенно чистый. Все с ног до головы было на нем поразительно чистое, начиная от белого, как сахар, воротничка и кончая сапогами, сверкавшими, как зеркало. Волосы его лежали один к одному, особенно бережно и в порядке: их было у него, по его подсчету, около трехсот – как он однажды сказал своей жене, когда она заметила ему, что он скоро совсем облысеет: – Нет, у меня осталось около трехсот волос. Потом подумал и прибавил: – Я думаю, даже несколько больше.

У них была дочь, барышня лет девятнадцати, и о семейной жизни Василия Николаевича ходили разные неправдоподобные слухи; но было очевидно, во всяком случае, что не все там было благополучно. Он был очень сдержан, всегда вежлив со своей женой, женщиной чувствительной и необыкновенно вздорной, которой вообще

---

[1] «ясновидящая» (*фр.*).

[2] – В 14–15 лет у тебя будет неприятное переживание (*фр.*).

спокойствие было совершенно чуждо – так же несвойственно, как несвойственно зрение слепому. Если она прочитывала какую-нибудь книгу – чем она не злоупотребляла, так как ее личная внутренняя жизнь, состоявшая, на первый взгляд, из совершенных пустяков, настолько ее поглощала, что ей не было времени читать, – то книга непременно оказывалась или изумительной, или потрясающей, или абсолютно отвратительной; и все было построено на превосходных степенях. У нее был прекрасный голос, но она злоупотребляла богатством его интонаций, и в одном обыкновенном разговоре ее непременно слышался и высокий и жалобный тон, и трагический полушепот со свистящими и шипящими «с» и «ш», и даже нечто, отдаленно напоминающее басовые ноты, но как-то особенно минорно звучавшие, вроде заглушенных звуков забывшего вовремя остановиться церковного органа. Самое ничтожное событие вызывало в ней целую бурю чувств, тотчас же принимавшую характер чисто звукового феномена – как говорил ее муж. Она кричала, кусала себе руки, глаза ее наливались кровью, – итак странно и беспомощно звучал сдержанный голос ее мужа рядом с ней – точно робкие звуки скрипки в гигантском духовом оркестре, – что особенно оттеняло его печальность и безнадежность. – Ну, моя дорогая, не надо, успокойся... Нет, – кричала она, – не желаю, пусть все знают! – И она начинала рвать на себе платье, и Василий Николаевич удерживал ее руки. Однажды рано утром она пришла к нам; черные грозные волосы ее были непричесанны, глаза были красные, надето на ней было что-то вроде капота; она вошла в гостиную, упала – буквально упала – в кресло и неподвижно осталась лежать, покуда ее не спросили, что с ней. Она подняла, к потолку красные глаза и сказала почти беззвучно:

– Ничего. Он умер.

– Кто?

– Лорд.

Лорд был старый, необыкновенно умный и необыкновенно ленивый пойнтер ее мужа. Уже давно его не брали на охоту, ему было около двадцати лет. Я помню его громадную неподвижную голову – он всегда лежал на

ковре, положив ее на лапы, – его полное тело с заплывшими мускулами и почти человеческие, печально-насмешливые глаза. Он уже даже не лаял, только изредка глухо рычал, не делал никаких движений, и лишь хвост его шевелился несколько раз в течение дня. Два раза в день он покидал свое место и выходил во двор, однажды я даже видел его за воротами; это было ранней весной, в сезон «собачьих свадеб»; по улице пробегала небольшая сука странной породы, что-то вроде помеси пуделя и левретки, и за ней следовало пять или шесть кобелей разных размеров, огрызавшихся друг на друга; черный громадный пес был впереди других. Лорд стоял у калитки, низко опустив голову, точно готовясь к прыжку или бегу, потом повернулся и медленно пошел к себе. – Ну, старик... – сказал ему полунасмешливо-полупочтительно Василий Николаевич, – иди спать. Это не про нас. – А в молодости Лорд был силен и неутомим, его прозвали Железный Лорд; он, по словам Василия Николаевича, был лучшей собакой, которую ему приходилось видеть за всю его жизнь; и его физические качества сочетались с необыкновенным умом и исключительной храбростью; он вцепился однажды в шею верховой лошади, которая понесла Елену Власьевну, жену Василия Николаевича, и, по ее словам, «он, конечно, жертвуя своей собственной жизнью, спас мою – и, впрочем, напрасно, – прибавляла она тотчас же, – потому что если бы бедный Железный Лорд знал, что она будет состоять из непрерывной цепи таких мучительных и бесконечных страданий, то он не совершил бы этого поступка». Несмотря на то, что Лорд был очень стар, слаб и беспомощен, несмотря на то, что отвыкшее от всякого физического усилия его тело располнело и утратило точность своих форм, несмотря на его неуверенную походку с подгибающимися лапами – все-таки при одном взгляде на него становилось понятно, почему эту собаку прозвали Железным Лордом; было нечто – так же трудноуловимое, как в любом человеке, – что все же сохранилось в нем.

В течение трех дней Железный Лорд умирал. Он ничего не ел, не пил, не двигался со своего места, только изредка судорожно вздрагивал; Василий Николаевич под-

ходил к нему и гладил его, и Лорд, уже не могший поднять голову, только следил глазами за Василием Николаевичем. И Василий Николаевич, такой аккуратный, такой неумолимо чистый, ложился на пыльный ковер в своем выглаженном костюме рядом с Лордом и разговаривал с ним, и говорил такие странные вещи, которые никак нельзя было ожидать. – Мы умираем, Железный Лорд, – говорил он. – Подожди немного, а? Не можешь? А я еще жду, Лорд, не надо умирать. Ты был так силен, Лорд. А помнишь волка в Тверской губернии? А помнишь Сибирь, Лорд? Ты мой самый старый и самый лучший товарищ, Лорд. Подожди, Лорд, не уходи.

И он проводил целые часы с собакой. В вечер, предшествующий смерти Железного Лорда, Василий Николаевич был у нас в гостях, но оставался недолго и сказал только несколько слов, остальное время молчал, неподвижно глядя в свой стакан с остывшим чаем. – Что с вами, Василий Николаевич? – Извините, мне надо уйти: Лорд умирает.

Поздно вечером, когда Василий Николаевич ушел в свой кабинет, а Елена Власьевна еще не возвращалась, Железный Лорд сделал невероятное усилие и поднялся со своего места, но тотчас же упал. Потом он медленно пополз к двери, выбрался на двор, залез в самый темный угол сарая, и рано утром, после долгих поисков, Василий Николаевич и Елена Власьевна нашли его неподвижное тело с желтыми стеклянными глазами. Железный Лорд был мертв.

Все это утро Елена Власьевна провела у нас – и говорила о Лорде, причем выходило так, что, в сущности, Лорд всю свою жизнь прожил для Елены Власьевны, а она, в свою очередь, все свободное время посвящала заботам о Лорде, – что ни в малейшей степени не соответствовало действительности. Но смерть Лорда была только поводом для еще одного монолога Елены Власьевны, кончившегося истерикой, слезами, рыданиями, в общем – очередной катастрофой, одной из катастроф, которые имели ту необыкновенную особенность, что, несмотря на многолетнюю привычку к ним всех, кто знал Елену Власьевну, они все

же производили каждый раз впечатление чего-то нового и по-иному трагического, чем то, что было до сих пор. Катастрофы же эти повторялись почти ежедневно, и кто-то даже сказал однажды Василию Николаевичу, что место в раю ему давно уже готово за длительность христианского терпения.

В сущности, казалось совершенно непонятным, какие могли быть основания для «беспрерывной цепи мучительных и бесконечных страданий» Елены Власьевны, – потому что каждый раз, когда выяснялась причина ее очередной истерики, она оказывалась таким пустяком, о котором не стоило говорить. То выяснялось, что горничная прожгла носовой платок Елены Власьевны с инициалами М.А., который, оказывается, был подарен ей двадцать лет тому назад рано умершим поэтом – само существование которого представлялось чрезвычайно сомнительным, – давшим ей этот платок и поставившим буквы М.А., чтобы это было непонятно для непосвященных и что должно было значить Mon Amour[1], – и за которого Елене Власьевне, в сущности, и следовало выйти замуж, так как он был богат, красив и даже знаменит – что представлялось уже совершенно невероятным, – и с ним Елена Власьевна, конечно, могла бы быть счастливой, так же, как и он с ней. – Но он ведь умер. – Если бы он женился на мне, он бы не умер, – говорила Елена Власьевна, и оставалось только предположить, что женитьба тайного и знаменитого поэта открыла бы ему возможность такого блистательного, такого невероятного счастья; что сама смерть отступила бы от него – или, во всяком случае, поэт сделал бы все усилия, чтобы не умереть и не лишиться этого счастья. Но в результате он все-таки умер, – и кто-то даже предположил, что, в сущности, у Василия Николаевича есть решительно все основания завидовать судьбе этого человека, с которым он охотно поменялся бы ролями, – особенно если бы все его отношение к Елене Власьевне должно было бы выразиться в подарке одного носового платка с буквами М.А. и ранней смерти, которая несомненно и окончательно огра-

[1] Моя Любовь (*фр.*).

дила бы его от созерцания бесконечной цепи страданий Елены Власьевны и вообще того блистательного счастья, о котором шла речь.

То оказывалось, что вскоре к Василию Николаевичу должна приехать на два дня его богатая тетка-путешественница и что в течение этого времени Елена Власьевна будет лишена «даже того элементарного комфорта, который она сумела себе создать», и все решительно в этой фразе было неверно с начала до конца: начиная с того, что вся громадная квартира Василия Николаевича принадлежала Елене Власьевне, а у него самого был только небольшой кабинет, остальные комнаты были – желтый будуар Елены Власьевны, голубой будуар Елены Власьевны, красный будуар и т.д.; и кончая тем, что весь этот элементарный комфорт был создан Василием Николаевичем и участие Елены Власьевны в его созидании выразилось, может быть, в четырех истериках. Приезд тетки, впрочем, был действительно обременителен, так как она была громоздкой женщиной с чемоданами – женщиной, тоже в своем роде очень русской и очень замечательной. Она родилась в Калуге, с ранних лет мечтала о путешествиях; и когда ей исполнился двадцать один год и ее отец, чрезвычайно богатый человек, отделил ей часть своих доходов, она тотчас же уложила свои вещи и уехала. С тех пор она уже не останавливалась. Изредка от нее приходили письма из Бомбея или Парижа, из Сингапура, Брюсселя, Лондона или Сан-Франциско; года через два ее отец узнал, – все из писем, – что она вышла замуж в Глазго за какого-то шотландца, бывшего пастора, «вернувшегося в мир»; но бывший пастор не вынес длительного совместного путешествия и умер однажды в Балтиморе, после чего получились два письма с траурным ободком и фотография великолепной могилы с гигантским мраморным памятником и с длинной эпитафией наполовину по-английски, наполовину по-латыни, и только внизу было приписано два слова по-русски: «спи спокойно», как насмешливое пожелание спокойной ночи в этом, уже несомненно последнем, путешествии бывшего пастора; причем, в довершение всего, местный мраморных дел мастер, ввиду недостаточного, по-видимому, зна-

комства с русским алфавитом, вместо «п» поставил «н», так что вышло «сни спокойно»; а, впрочем, может быть, он разгадал натуру русской вдовы и, разгадав ее, понял, что она никогда больше сюда не вернется и никаких претензий к нему не предъявит. И тетка поехала дальше, и вновь стали приходить письма то из самой глубины Африки с датой: «11 ноября» – и местом: «негритянский поселок», без названия, «300 километров от океанского побережья», то из Берлина, из гостиницы «Бельведер», то с Юконского озера, то из Мадрида. Примерно раз в два года приходило письмо подлиннée с цитатами преимущественно из испанских лириков и с фразой о том, что «я любила одного человека, но он оказался не тем, за кого я его принимала», потом лет через шесть опять пришло письмо с известием, что тетка вышла замуж за португальского консула в Мельбурне. Она даже прожила с мужем около трех недель, но потом снова уехала, так как собиралась провести несколько дней в «той части западной Испании, которую мы так плохо знаем, которая, однако, вдохновляла Кальдерона и куда я так давно собиралась поехать». Наконец, через двенадцать лет путешествия, она попала в Россию – по дороге в Японию – и прожила три дня в Калуге, в доме своего отца. У нее было восемнадцать чемоданов – с книгами, платьями, складными палатками, негритянскими божками, амулетами, небольшими весами, вроде тех, какие бывают в гастрономических магазинах – для меновой торговли с туземцами, не знающими употребления кредитных билетов, – объяснила она, – дипломом доктора honoris causa[1] какого-то боливийского университета, многочисленными фотографиями разнообразных развалин, камбоджийских храмов, страшно щелкавшим винчестером, револьверами крупного калибра; не хватало только нескольких скальпов – как сказал ее отец. Тетка бегло говорила на всех языках и даже по-русски; впрочем, она иногда задумывалась, ища нужного слова, и никак не могла его вспомнить; помнила прекрасно, как это будет по-испански и даже на наречии каких-то серебристых негров, о которых во всей

[1] почетного (*лат.*).

Калуге никто решительно ничего не знал, – но по-русски не могла вспомнить; правда; это случалось с ней редко, так как память у нее была изумительная.

Но биография этой женщины, при всей ее странности и неудобности, имела то несомненное достоинство, что она протекала, не задевая ничьих интересов и усложняя только собственную жизнь тетки; в то время как существование Елены Власьевны, заключавшее в себе только два события – замужество и рождение дочери, – загромождало жизнь нескольких людей и создавало вокруг себя такое количество напрасных и бесполезных чувств, которого не вызвали бы все бесчисленные путешествия тетки Василия Николаевича, на время пребывания которой Елена Власьевна демонстративно переехала в гостиницу, в чем не было решительно никакой надобности.

То у Елены Власьевны исчезал или околевал один из обитателей ее аквариума или террариума – золотая рыбка, или тритон, или ящерица; и тогда опять начинались сцены со словами о том, что жизнь маленького существа нисколько не менее ценна, чем жизнь человеческая; что даже в этом Елена Власьевна осуждена на страдания, – хотя вина в этом случае была Елены Власьевны, так как она очень мало заботилась о своих рыбах и тритонах, и если многие из них жили довольно долго, то это объяснялось только тем общим обстоятельством, что животные с холодной кровью могут продолжительное время оставаться без пищи. Слова, которыми Елена Власьевна излагала свои бесконечные переживания, всегда поражали своей торжественностью. Главное ее слово, появлявшееся в действительно бесчисленных комбинациях, было слово «страданье». – Мне было так хорошо, что я даже начала страдать от этого, – говорила она. Потом были слова – «подвиг», «жертва», «вся жизнь», «во имя любви», «во имя долга»; потом опять «страданье»; затем «чувство», «бесконечная боль»; «невыносимая боль», «мученье»; «тоска» и все производные от этих слов, все глагольные формы, все прилагательные, существительные, причастия, деепричастия и вообще все, чем богата русская грамматика.

Оставалось только непонятным и необъяснимым, почему Василий Николаевич продолжал жить вместе с Еленой Власьевной. Он был достаточно богат, чтобы обеспечить ей совершенно безбедное существование; и вместе с тем, он, не проявляя никаких признаков обожания или особенной любви к Елене Власьевне, все же оставался с ней и продолжал изо дня в день молчаливо и покорно переносить все эти нескончаемые катастрофы. Что удерживало его подле этой женщины? Правда, она была красива – особенно тогда, когда ее лицо не было обезображено ни судорожными гримасами, ни опухшими от долгого плача глазами и носом; но было очевидно, что ее красота безразлична ему. У нее бывало довольно много поклонников; но никто из них, ни один человек не мог вынести ее разговора в течение хотя бы одного часа, а она обычно говорила без умолку и все о подвигах и мучениях. В результате она оставалась одна, Василий Николаевич уходил из дому, нередко на целый день, ссылаясь на воображаемые дела, дочь большую часть года проводила у деда и бабушки, лишь изредка приезжая домой, – она была очень умной, независимой и гордой девушкой и матери своей совершенно не выносила – настолько же, насколько любила отца. И Елена Власьевна оставалась одна в пустой квартире со своими страданиями и слезами и принималась то читать – но долго она читать не могла, так как была слишком нервной, – то вызывать горничную и делать ей сцены, так же, как она их делала своему мужу; то наконец, обессилев и устав с утра на целый день, она ложилась на диван и лежала очень долго, глядя в стену или потолок. Но и у нее было что-то невысказанное. Нельзя было понять, почему какой-нибудь совершенный пустяк вызывал у нее душевное потрясение; и надо было думать, что всему этому предшествовало что-то действительно очень важное, третье, может быть, событие в ее жизни, о котором она, однако, никогда не говорила.

Были первые дни ноября, когда Василий Николаевич, придя однажды к нам и как-то неловко, необычно усмехнувшись, спросил мою мать:

– Скажите, вы хорошо считаете?

– Нет, я никогда не была сильна в математике. Но что касается, скажем, четырех правил арифметики, то я их произвожу, как все люди на свете.

– Вы можете сложить эти цифры?

И он протянул бумажку, на которой было написано:

11
124
335
14 015
29
7
3572
0
10 002
789
987

– Конечно.

Она сделала подсчет и сказала:

– Получается 29 871.

Он опять так же улыбнулся и потом сразу нахмурился:

– А у меня вышло 17 690. И я кончил математический факультет. Благодарю вас.

И он повернулся, чтобы уйти, затем задержался на минуту и прибавил:

– Я подсчитывал это, одиннадцать раз, и каждый раз результат получался другой, все было разно. – И, уже точно говоря сам с собой, сказал:

– В сущности, разве можно было в этом заблуждаться?

Потом опять остановился, точно не решался уйти, наконец, попрощался, сказал «всего хорошего» и пошел. Я открыл ему дверь: она выходила на широкую лестницу. Василий Николаевич взял мое лицо в свою большую руку, пристально посмотрел в мои глаза, так что. мне стало немного страшно, и затем произвел какой-то странный звук, похожий на икоту, – и потом стал медленно спускаться по лестнице.

– Прощай, Коля, – сказал он, спустившись на один этаж и остановившись в пролете.

– До свиданья, Василий Николаевич.

– Прощай, мой мальчик. Помнишь Железного Лорда?

– Помню, Василий Николаевич.

– Кланяйся папе; прощай.

В три часа ночи у нас в квартире раздался звонок. Мне снились в ту ночь какие-то маленькие солдаты, которые переходили через длинное поле ржи, незримые между колосьями; впереди шел барабанщик с небольшим серебряным барабаном; в стороне Железный Лорд делал стойку, тут же был необъяснимым образом видимый Закон Божий и какие-то индейцы; я не мог разобраться в этом сложном сне и проснулся и тотчас же услышал звонок. Все в доме спали; детская была ближе всего к входной двери, и я голым пошел открывать дверь. На пороге ее стояла Елена Власьевна, непривычно спокойная, в вечернем открытом платье.

– Мама спит?

– Я думаю, спит, – сказал я.

Но мать уже проснулась, вышла в переднюю и сказала:

– Что случилось, Елена Власьевна? Коля, иди спать. Ты не знаешь, что голым нельзя ходить?

– Так это же ночью.

– Ночью тоже. Иди спать.

Елена Власьевна пришла потому, что Василий Николаевич, ушедший с утра, до сих пор не возвращался. Он должен был прийти к ужину и затем отправиться в театр, но он не явился ни домой, ни в театр, и Елена Власьевна провела вечер одна, в ложе, ожидая мужа, которого не было. Она осталась у нас, прошел еще день, и только на следующее утро горничная открыла дверь высокому и необыкновенно представительному человеку в черном, наглухо застегнутом пальто и в тугих, слегка поскрипывающих перчатках. Он спросил, здесь ли находится Елена Власьевна. Моя мать вышла вместо нее. Он низко поклонился и сказал:

– Вы – Елена Власьевна Смирнова?

– Нет, Елена Власьевна нездорова.

– Вы даете мне честное слово, что вы не Елена Власьевна Смирнова?

Мать посмотрела на него с тем высокомерным недоумением в глазах, которое заставляло теряться самых развязных людей.

– Я прошу прощенья, – почтительно сказал пришедший, – но дело в том, что это имеет чрезвычайно важное значение. Иначе я не позволил бы себе задавать вам вопрос, на который вы уже соблаговолили ответить.

– Честное слово, – сказала моя мать.

Он вздохнул.

– Я учился с Василием Николаевичем в гимназии и университете – и с тех пор я его не видел и не имел удовольствия знать его жену. Да, и дело в том, что в ночь на 12 ноября Василий Николаевич бросился под поезд, возле Карповского сада. Я сделал все, что нужно, похороны будут завтра.

И на следующий день я увидел тело Василия Николаевича в гробу, все с ног до головы покрытое громадными розами – совсем как те, что стояли на парижском асфальте Halles – так недавно, когда я проходил ранним утром в этих местах. Василия Николаевича похоронили. Елена Власьевна не говорила ничего и не плакала, – и потом, уже через несколько месяцев после смерти своего мужа, она стала совсем иной – без сцен, без истерик, без катастроф – и оказалась милой и неглупой женщиной, сделавшейся еще красивее, точно расцветшей вновь, через столько лет тяжелой жизни.

И я бы никогда не узнал, что было причиной и этого неожиданного самоубийства, и той жизни, которая проходила тогда мимо нас, если бы много времени спустя совершенно случайно я не познакомился бы с содержанием обширного письма, которое оставил после себя Василий Николаевич с просьбой вскрыть через десять лет после его смерти. Это было даже не письмо, а толстый пакет аккуратно исписанных ровными буквами белых листов бумаги, где все события были изложены точным и сухим языком, с некоторыми следами привычки к чисто юридическому

стилю, но без всякого метафорически шаблонного налета, который отличает статью адвоката или политика от статьи или письма обыкновенного человека. «В силу чрезвычайно странно слагавшихся обстоятельств частного и в некотором смысле персонального порядка я был вынужден, уклонившись от первоначальных догматических побуждений...»; но такие фразы попадались редко; чаще же шла обычная человеческая речь, речь сильного и честного человека, так трудно прожившего свою жизнь.

Василий Николаевич познакомился с Еленой Власьевной, будучи студентом третьего курса; и так как никакие причины ни с той, ни с другой стороны не препятствовали браку, то он очень. скоро женился на ней и был совершенно счастлив. «Тот, кто знал мою жену в последние годы нашей супружеской или, вернее, несупружеской жизни, – писал Василий Николаевич, – тот получил о ней совершенное превратное представление». И дальше: «В день моего брака с Лелей Железному Лорду был год». Железный Лорд занимал много места в письме Василия Николаевича. Он сопровождал Василия Николаевича с женой во время их свадебного путешествия, которое происходило не за границей, среди чужих стран и чужих языков, а «в нашей прекрасной Сибири». «Мы были на Амуре и на Иртыше, в этой замечательной стране, где я хотел бы кончить свою жизнь, но только не так, не позорно и не неожиданно, как я буду вынужден кончить ее в ближайшее время». Верхом – и за лошадьми, то перегоняя их, то отставая, бежал неутомимый Лорд – они проехали несколько сот верст; спали на свежем сене, и Василий Николаевич писал, что, прожив долгую жизни, он все же не знал ничего похожего, ничего даже отдаленно напоминающего то непередаваемое чувство, которое знают немногие; всей силой любящие женщину и понимающие, что значит спать с любимой женщиной в лесу или на окраине деревни летней глубокой ночью и вблизи темно сверкающих вод громадной реки. «Железный Лорд был рядом с нами». «Этого нельзя передать, и это, наверное бывает раз в жизни» – в тот счастливый период, когда, как думал Василий Николаевич, каждый мускул человеческого тела легко подчиняется всякому движению, когда все гибко, сильно и

молодо и когда женщине двадцать лет, «когда ты знаешь, что желудок, легкие и сердце существуют только в анатомических атласах, – но ты их не чувствуешь никогда». Несмотря на некоторые чисто стилистические недостатки описаний Василия Николаевича, я сразу почувствовал ту громадную свежую силу, которой была полна его тогдашняя, такая счастливая жизнь. Сибирские реки, сибирские просторы – это было то, что еще так любил мой отец, и я знал их по его рассказам и по рассказам матери и няни, так что, читая описание этого периода жизни Василия Николаевича, я точно путешествовал с ним по родной стране, где мне были известны все могучие, возможные только в Сибири, повороты реки, легкий и точно небрежный, но неувядающий запах, смесь травы, цветов и земли; и мерный бег коня, и лай Железного Лорда, пригнувшегося к земле для следующего прыжка вслед за быстро мелькающими ногами лошади, и смеющиеся, необычайно большие глаза Елены Власьевны, и холодное густое молоко с черным хлебом, густо посыпанным солью.

Потом шло описание петербургской жизни, ресторанов, кабаре, где они бывали, затем переезд в губернский город Средней России, работа в суде и беременность Елены Власьевны, описанная до мельчайших подробностей и с такими соображениями, которые не стыдно написать, может быть, только человеку, который знает, что это прочтут только через десять лет после его смерти, – соображениями о том, когда именно и как, при каких обстоятельствах, могло произойти зачатие и когда Леля впервые почувствовала, что у нее будет ребенок. Все это было изложено в выражениях, которые представляли странную смесь вульгарности и нежности, – но нежность была так сильна и очевидна, что потом слова, вначале резавшие глаз, уже не казались оскорбительными.

Я прервал чтение на этом месте, на этик описаниях беременности, и снова задумался о том, что должно было произойти, чтобы сразу уничтожить все это и привести к «катастрофам и страданиям» и, наконец, к пустынной и холодной насыпи и сине-белым рельсам однажды ноябрьской ночью, двадцать лет спустя в год смерти Железного Лорда.

Это была поездка Василия Николаевича в Петербург. Его дочери было тогда уже два месяца; Василий Николаевич попрощался с женой и уехал на три недели. На второй день вечером, в театре, он познакомился с актрисой, игравшей главную роль в пьесе «Мечта любви», название которой всю жизнь потом казалось Василию Николаевичу жесточайшей и непоправимой иронией по отношению к его собственной судьбе. Она не была ни красива, ни грациозна, ни умна, она была только «прелестна и неотразима». «Так печально и глупо, – писал Василий Николаевич, – звучат теперь научные термины о полигамии и сексуальных аффектах, – на кой черт мне все эти объяснения и прочая ерунда; когда я исковеркал три жизни, и только в одном случае у меня есть возможность поступить так, как должен поступить порядочный человек; а в двух других это непоправимо». После театра, когда Василия Николаевича представил ей какой-то услужливый и отлично одетый альфонс из студентов, они поехали в «Самарканд» или еще куда-то, о чем Василий Николаевич писал как о вещах всем известных и на них не останавливался; я же не всегда знал, о чем шла речь, – я никогда не видел ни этих мест, ни их расцвета, так как все это происходило задолго до моего рождения. На следующий вечер Василий Николаевич опять был в театре – с тугим и колючим букетом цветов и каким-то браслетом, купленным наспех, – и поздно ночью, когда он сказал ей, в санях, «я вас люблю», – она прильнула губами к его рту, и в результате Василий Николаевич привез ее к себе и она осталась с ним до позднего и желтого петербургского утра. Так началось то, что Василий Николаевич называл «романом», каждый раз ставя это слово в кавычки, никогда не забывая этого сделать, – и если слово «роман» было без кавычек, это значило, что речь шла о Елене Власьевне. Это продолжалось полтора месяца, от Елены Власьевны вслед за письмами следовали длинные телеграммы, – и все шло так вплоть до того незабываемого дня, когда Василий Николаевич, пожелтевший и точно сразу постаревший на несколько лет, вышел из роскошной приемной доктора с непогрешимым знанием о том, чем он болен.

Была глубокая зима; он приехал к жене, но не поцеловал ее; распорядился стелить себе постель в своем кабинете, ничего не объяснил, ничего не сказал и прожил две недели, скрываясь от всех. Потом он начал выходить в столовую; но сказал жене, что он заболел каким-то душевным недугом, стал страдать чрезмерной брезгливостью и хочет; чтобы ему подавали все на отдельном приборе, и стал лечиться. Несмотря на то, что доктора уверяли его, что все кончено и нет ни болезни, ни тем более опасности заражения, он за много лет ни разу не прикоснулся ни к жене, ни к дочери. И тогда в доме стала постепенно создаваться та обстановка, которая в последние годы сделалась совершенно невыносимой. Только Железный Лорд оставался неизменным, – но день его смерти был днем окончательного решения Василия Николаевича раз навсегда покончить со всем. Только Лорд – и то если он помнил – сохранил неизменным в своем представлении то время, которое Василий Николаевич и Елена Власьевна провели в Сибири. «Это все, что осталось, – писал Василий Николаевич, – одно собачье воспоминание, и даже оно исчезло со смертью Лорда. В тот день я тоже должен был умереть». Никакая сила в мире, ничто не могло ни воскресить это громадное и сложное счастье, которое совмещало в себе – в одной только мысли – Сибирь, к которой Василий Николаевич беспрестанно, с болезненной настойчивостью возвращался, и запах сена, и тело Лели, и ее глаза, и все, что происходило тогда, – ни воскресить, ни уничтожить так, чтобы сделать это небывшим, чтобы не было причины для смертельного и непрекращающегося сожаления.

Елена Власьевна никогда не знала, почему с ее мужем произошла такая неожиданная перемена. Но она любила его так, что не могла его оставить. – Только тогда, когда ты перестанешь быть человеком и будешь трупом, – только тогда я уйду от тебя, говорила она ему. – Прости мне мои истерики и крики, прости мой невыносимый характер, прости за то, что я создала тебе такую жизнь, в которой всякий нормальный человек сойдет с ума. Но ты, – сказала она с необыкновенной силой всего своего голоса, – ты знаешь, что это не моя вина.

В такие минуты она не плакала и не кричала. «Что я мог ей сказать? Я не смел даже поцеловать ее руку», – писал Василий Николаевич.

За несколько месяцев до своего окончательного решения, раскрыв случайно почему-то попавшийся ему на глаза задачник, который Елена Власьевна купила своей дочери, когда та была во втором классе гимназии, Василий Николаевич начал перечитывать задачи. «Купец купил некоторое количество штук сукна, которое...» Он взял карандаш в руку и стал решать задачу. Ничего не получалось, ответы выходили в дробных числах, в то время как по условиям задачи это никак не должно было произойти. – Что за ерунда? – сказал себе Василий Николаевич. Был ясный день, сентябрь месяц, листья были уже почти желтые. Василий Николаевич снова принялся решать задачу – и опять не мог. Тогда он вышел из дому, стараясь не думать об этом и сказав себе, что он пойдет в парк, сядет под деревьями и тогда обсудит это странное положение. Он сел на скамейку, стал обдумывать это – и вдруг с необыкновенной, молниеносной быстротой понял. Он оглянулся вокруг – не было никого, ничто не изменилось: солнце светило сквозь еще густую листву. – Прогрессивный, – почему прогрессивный? – думал он. – Прогрессивный есть понятие положительного порядка, – вдруг сказал он по-французски. И с того дня он уже знал, как все это должно кончиться. В последнюю минуту он пришел к моей матери – это и был тот визит, когда он прощался со мной, – с отчаянной надеждой, что, может быть, он ошибается, что, может, быть, это вздорное пятизначное число под рядом цифр, которое явно не могло выражать их суммы – это он видел, просматривая в отдельности каждое слагаемое, – что это число вдруг, в силу сумасшедшего счастья, действительно есть то, что нужно, – и тогда ясно, что он страшно ошибается и что, может быть, не надо умирать.

Но число оказалось другим.

Он за несколько дней до этого в своих загородных прогулках выбрал место, где лучше всего броситься под поезд, – хотя все места одинаковы, говорил он себе. Насыпь, рельсы, человеческое тело и судьба, которая при-

мет на секунду форму паровоза, весящего десяток тысяч пудов, – и конец. Он узнал, что экспресс Петербург – Ростов проходит в одиннадцать часов вечера, – и, в сущности, все уже было известно и нечего было прибавить.

«Я не знаю, как они положат меня в гроб, – писал он, – было бы хорошо, если бы можно было скрыть, что мое тело разрезано на куски колесами поезда. Мне бы не хотелось, чтобы Леля видела меня разрезанным».

Этим кончалось его письмо. «Было бы хорошо... чтобы Леля не видела меня разрезанным». Какое зловещее значение слово «хорошо», того самого, которое умела произносить m-me Berger!

Со дня его самоубийства прошло двадцать долгих лет. Елена Власьевна вскоре после его смерти вышла замуж за человека, который был десятью годами младше ее, – она была очаровательна и неизменно спокойна, как говорили о ней все, кто ее видел. Через год после смерти мужа в длинном зеленом конверте, где красовалась на марке чудовищных размеров кокосовая пальма, она получила письмо с выражением сочувствия от путешествующей тетки Василия Николаевича. Она покачала головой и бросила его в корзину. Не знаю, вспомнила ли она в ту минуту, как в вечернем платье, чувствуя легкий холодок театрального зала на обнаженных плечах, в ноябре, всего год тому назад, она ждала прихода мужа в ложу, – и он не только не пришел в театр – но вообще больше никуда не пришел; и только разрезанное тело, на котором лежало такое количество роз затем, чтобы они закрыли страшную полосу, отделившую голову от туловища, пронесли потом медленно и торжественно – сперва в дымную и высокую церковь, потом на далекое кладбище, заставленное крестами.

А я думал; как медленно уходил Василий Николаевич из нашей квартиры; и как, остановившись в пролете, уже пройдя первый этаж своего безнадежно-безвозвратного ухода; он остановился и вспомнил Железного Лорда.

И розы на Halles со сверкающими каплями воды на лепестках, – в липком и отвратительном парижском тумане, пропитанном легким и печальным запахом гнили.

ОСВОБОЖДЕНИЕ

Deux verbes expriment toutes les formes que prennent ces deux causes de mort: Vouloir et Pouvoir... Vouloir nous brûle et Pouvoir nous détruit...

H. de Balzac. «Peau de chagrin»[1]

Алексей Степанович Семенов, инженер и состоятельнейший человек, провел полубессонную, как всегда, ночь, окончательно проснулся около одиннадцати часов утра и опять с отвращением подумал, что эти минуты пробуждения – самые скверные в его жизни. Голова была тяжелая, во рту было горько, нос был заложен, и Алексей Степанович чувствовал, как меняется вкус воздуха, когда он его глотал и потом, когда он выдыхал его уже отравленным. Глаза болели и чесались, дышать было трудно, мучила изжога, которая началась много месяцев тому назад и лишь изредка прекращалась на несколько часов.

Он отбросил одеяло, спустил с кровати жирные белые ноги с надувшимися кое-где жилами и холодными ступнями желтоватого цвета, посмотрел на волосатый живот, нависший над ляжками, провел рукой по бокам головы, где над ушами рос еще легкий пушок, встал, нащупал туфли и тотчас почувствовал знакомую тупую боль в паху. Сделав несколько движений, он стал отдуваться, как человек, выходящий из воды, потом направился в ванную.

В квартире, как всегда, было тихо. Все было чисто, все блестело – паркет, лакированный столик в передней, зеркала, вделанные в стену; ванна была такая же сверкающая, как все остальное. В передней стояли большие белые цветы, названия которых Алексей Степанович не

---

[1] Два глагола выражают все формы, в которых выступают эти две причины смерти: Хотеть и Мочь... Хотеть нас сжигает, а Мочь – разрушает...

О. де Бальзак. «Шагреневая кожа»

знал; он не любил и не различал цветов. – Излишнее усердие, – пробормотал он, проходя.

Затем начался его долгий туалет. Сначала он чистил зубы двумя щетками – одна резиновая, другая обыкновенная, – потом брился, бесконечно долго мыля щеки и морщась от прикосновения бритвы к лицу, потом, наконец, принимал ванну, после которой всякий раз начинал мерзнуть и дрожать; мохнатый халат, в который он заворачивался, быстро становился влажным и неприятно холодным. Алексей Степанович снимал его и надевал другой. Потом в халате он направился в гостиную, сел в кресло, болезненно вздохнув, протянул руку к небольшому столику и позвонил. Тотчас же вошла горничная, которая принесла кофе. Он отпил глоток и спросил:

– Какая сегодня погода?

– К сожалению, опять идет дождь, месье.

– Очень приятно, – сказал Алексей Степанович.

Это значило, что сегодня, как вчера и позавчера, он снова должен был мокнуть во время своей ежедневной прогулки, которую ему рекомендовал доктор. – Необходимо, Алексей Степанович, – говорил доктор. – А то ведь, знаете, в нашем с вами возрасте... со здоровьем шутить не следует... наше тело требует... знаете, известные, так сказать, физические требования... – Алексею Степановичу было неприятно, что доктор говорил о *нашем* возрасте – он было моложе Алексея Степановича на десять лет и отличался завидным здоровьем. Все, что говорил доктор, Алексей Степанович давно знал наизусть. Он только не мог понять, какая может быть польза от того, что он пройдет пешком, хлюпая по жидкой, холодной грязи, полчаса каждое утро; но он послушно это делал и не без некоторого злорадства замечал, что никаких улучшений от этого не происходит.

Но самым обидным было то, что Алексей Степанович ничем, в сущности, болен не был. Несколько докторов, точно сговорившись, объяснили ему, что никакой болезни в точном смысле этого слова у него нет, но что жизненные функции его организма недостаточно интенсивны; это объясняется, во-первых, ожирением, утомляющим сердце, во-вторых, возрастом и общей усталостью. Но худеть тоже было нельзя, потому что средство для худения тоже вызы-

вало ослабление сердечной деятельности. Была отмечена еще небезупречная деятельность печени и замедленная циркуляция крови, но все это в данный момент не представляло ни малейшей опасности для жизни, так же, как не представляли, например, опасности для жизни мучительнейший ишиас или ревматические боли, иногда совершенно невыносимые. – Но, несомненно, вам нужно беречься. – Беречься значило рано ложиться спать, не пить, не есть слишком много, иначе могла начаться какая-нибудь болезнь в собственном смысле слова, то есть процесс, который приводит сперва к ослаблению организма, потом к смерти. Смерти Алексей Степанович совершенно не боялся; но перспектива медленного умирания и предсмертных долгих страданий ужасала его. Со временем ему становилось, однако, все легче и легче беречься: пить ему было противно, аппетита почти не было, и ранним вечером его уже начинало клонить ко сну, хотя он знал, что если он ляжет, поддавшись этому обманчивому желанию, то спать все равно не будет.

Одевшись, он вышел на улицу. Падал мелкий зимний дождь с ветром, на avenue Булонского леса было очень мало прохожих. Мимо Алексея Степановича прошли быстрым и гибким шагом два одинаково одетых широкоплечих человека, судя по всему – атлеты, оба без шапок. Он посмотрел им вслед, сделал несколько скорых шагов, но тотчас же опять началась боль в паху и в пояснице, и он остановился и пошел медленно. Холодные брызги били ему в лицо. Подняв воротник и натянув шляпу, он дошел до входа в Булонский лес, затем повернул обратно и стал подниматься к дому. Сквозь очки, забрызганные дождем, он смутно увидел маленький синий автомобиль своего секретаря, подъехавший к дому за несколько минут до него.

Секретарь был сын его старого товарища, которого Алексей Степанович помнил еще мальчиком в коротких штанах и который теперь жил в Париже и занимался только вопросом о том, где бы достать денег на вино. За последние десять лет Алексей Степанович видел своего друга трезвым только один раз, на похоронах его дочери; да и то, непосредственно после похорон, он, отделившись от всех, зашел в кафе, и когда через десять минут догнал

Алексея Степановича, ведшего под руку его жену, он был опять пьян, как всегда. Все эти годы он жил, ничего не замечая и не понимая, в непрекращающемся пьяном дыму; он рассказывал всегда, независимо от того, слушали его или нет, о себе почему-то в третьем лице бесконечные истории, становившиеся в последнее время все менее и менее содержательными – по мере того, как тускнел его рассудок, – и состоявшие больше из междометий. – Алеша, ты помнишь?.. Едет полковник Сусликов (его фамилия была Сусликов) на коне... Не было другого такого коня, Алеша! Едет полковник Сусликов. Да... Не было такого коня! Ребята! Ты понимаешь, Алеша?.. Да ведь если все рассказать, Алеша, ты же знаешь... Ты меня знаешь, Алеша... – Но из всего его рассказа, который мог длиться целый час, было ясно только то, что Сусликов в свое время был полковником и ездил на лошади – и больше ничего. Его жена, Марья Матвеевна, которая много лет в трудные и голодные времена была любовницей Алексея Степановича, и ее сын старались держаться несколько в стороне от него, давно потеряв надежду его исправить, – и он оставался один и все продолжал самому себе свой пьяный и безумный рассказ. Он провел годы на войне, был храбрым и хорошим офицером, но, попав за границу, сразу стал пить от отчаяния; потом бросал, начинал работать, но затем снова запивал. Они жили в ужасающей, неправдоподобной бедности, и Алексей Степанович не мог им помочь, потому что сам существовал с величайшим трудом – до тех пор, пока однажды не разбогател, как в сказке или во сне. Но он не любил говорить о происхождении своего богатства, хотя в нем не было ничего нечестного. Он изобрел автоматическое приспособление для особой системы вагонных уборных, имевшее необыкновенный успех и принесшее ему миллионы. В первое время он никак не мог привыкнуть к богатству, раздал много денег, помог десяткам людей, которые потом за это называли его же идиотом, о чем он узнал совершенно достоверно от других, которые еще не успели получить от него деньги и всячески старались очернить тех, кому это лучше и раньше удалось, чем им. Тогда же семья Сусликовых стала жить очень хорошо, мальчика отдали в лучший лицей; но Алексею Степановичу постепенно становилось все неприятнее бывать в их доме, потому что, несмотря на

близкие отношения с Марьей Матвеевной, он чувствовал, как все изменилось; и причина этих изменений, которых не должно было бы происходить, заключалась в его богатстве. Эти изменения были так неожиданны и печальны, что иногда Алексей Степанович думал, что, может быть, стоило бы отказаться от богатства и не видеть этого. Он вспоминал, как однажды, всего за несколько месяцев до своего внезапного обогащения, он вошел в квартиру Сусликовых и увидел, что Марья Матвеевна тряпкой вытирала пятно на полу от разлитого стакана чая и, сделав неверное движение, упала – неловко, грузно и тяжело. Он бросился ее поднимать, она села на пол и заплакала. Он стоял на коленях рядом с ней в неудобной промежуточной позе человека, который должен кого-то поднять и не поднимает. – Алеша, – сказала она, – за что все эти мучения? За какое преступление? – У него были слезы в глазах, он молчал, и гладил ее руку, и смотрел на загрубевшую, покрасневшую от холодной воды кожу ее пальцев. Из соседней комнаты слышалось непрекращающееся бормотанье ее мужа: можно было только разобрать отдельные слова и короткие фразы: – Нет, ваше превосходительство, простите... Я не позволю... уважаю... ребята! – В доме хлеба нет, он мальчика с утра за вином в кредит посылает, – сказала, всхлипывая, Марья Матвеевна. – У Алексея Степановича было шесть франков, он отдал их ей, пожертвовав папиросами, и через полчаса, когда они пили чай, она сказала, уже успокоившись: – Ну, что ж, вот ты разбогатеешь, Алеша, тогда мы заживем. Ты нас не забудешь?

Но уже через несколько месяцев Марью Матвеевну нельзя было узнать. Изменилось выражение ее глаз, ставшее тревожно-ласковым, побелела кожа на руках, чудом исчезли морщины с лица, и еще позже Алексей Степанович совершенно случайно встретил ее на улице в обществе какого-то сомнительного субъекта средних лет, который держал ее за талию.

– Что это значит? – спросил потом Алексей Степанович. Она посмотрела На него долгим взглядом и ответила:

– Это значит, милый друг Алеша, что мне тридцать девять лет и что я хочу жить. Теперь ты понимаешь, что это значит?

– Считаешь ли ты, что это хорошо?

– Je m'en f...[1] – сказала она по-французски. – Что у меня есть? Пьяный сумасшедший и ты, которому я больше не нужна – ты приходишь раз в месяц. И есть деньги, твои деньги. И кто мне имеет право что-либо запретить? Ты знаешь, что я заплатила достаточно дорого за те удовольствия, которые могу теперь получить.

– Тебе виднее, конечно, – сказал Алексей Степанович, – я тебя не обвиняю, я, действительно, не имею права. Прости меня, пожалуйста.

Они сидели в ее квартире, тикали часы, у подножья которых лежал черный мраморный леопард, – и на деньги, которые, наверное, были заплачены за эти часы, в прежнее время семья могла бы жить два месяца. Алексей Степанович вздохнул, поцеловал руку Марьи Матвеевны и ушел.

Сын Марьи Матвеевны кончил лицей и учился в университете; он приходил иногда в гости к Алексею Степановичу, и тот удивлялся, сколько этот молодой человек хрупкого вида может съесть. Потом он решил, что Анатолий должен что-нибудь делать, помимо своих университетских занятий, и назначил его своим секретарем; но все это было только предлогом, и главное, чего хотел Алексей Степанович, было видеть Анатолия как можно чаще. Анатолий несколько раз в неделю приезжал на автомобиле, который, как решил Алексей Степанович, ему полагался по служебным обязанностям, и рассказывал о письмах, которые получались на разных языках и в которых почти всегда заключалась просьба о помощи.

Анатолий был единственным человеком, которого Алексей Степанович еще любил. Было неизвестно, чей он сын – Сусликова или Алексея Степановича. Марья Матвеевна в разные периоды жизни и в зависимости от настроения то говорила Алексею Степановичу: – Не забывай, что у тебя есть сын; – то напоминала ему: – Помни, что этот ребенок не имеет к тебе никакого отношения. – Анатолий родился в России, и теперь вспомнить и выяснить это не было никакой возможности. Но даже это было неважно. На Анатолия богатство не подействовало. Он любил книги, библиотеки и музыку и ничем другим не интересовался; был немного наивен, честен и прям. И только с Анатолием

---

[1] – Пропади оно все... (*фр.*)

Алексей Степанович еще шутил и чувствовал себя легко, избавляясь на несколько часов от того чувства непобедимого отвращения ко всему, которым была заполнена его жизнь и о котором ни он, ни доктора не говорили ни слова, хотя именно этот вопрос был самым важным и самым страшным.

Алексей Степанович поговорил с Анатолием полчаса, предложил ему остаться завтракать, шутил, и, казалось, дурное настроение, владевшее им с утра, несколько рассеялось. Но оно снова усилилось после завтрака, когда к Алексею Степановичу пришел инженер Уральский со своей очередной женой.

Инженер Уральский был человек лет сорока, пухлый и жизнерадостный, обжора и веселый собеседник. Когда он переставал шутить и говорил серьезно, становилось заметно, что он довольно образован, очень понятлив и неглуп. Он, однако, отличался излишним любвеобилием, все женился и разводился – вот уже в четвертый раз за четыре года, – и во всех его женах было нечто странное и роднившее их друг с другом, несмотря на разницу лет, цвета волос, роста и размеров, какой-то привкус дешевого и непременно иностранного полусвета, – так что со стороны было впечатление, что это все одна и та же женщина, обладающая большим, хотя и небезграничным, даром превращения. Но самым удивительным и печальным было другое – именно то, что в присутствии любимой женщины Уральский становился совершенным идиотом и добиться от него положительного ответа на какой-нибудь деловой вопрос было невозможно. Он мычал, глупо улыбался, смотрел на любимую женщину, он терял все свое остроумие и всю сообразительность, и на него было жалко и противно смотреть.

Он привел свою новую жену, чтобы познакомить ее с Алексеем Степановичем. У нее был довольно широкий зад, большие черные глаза, чудовищно лишенные какого бы то ни было человеческого выражения, очень красные губы и медно-рыжие волосы. Алексей Степанович все старался вспомнить, где он уже видел такие глаза, сделал усилие – и вспомнил, что это было в Берлинском зоологи-

ческом саду перед решеткой той нелепой разновидности антилопы, которая называется гну.

Разговор не клеился, жена Уральского к тому же не знала по-русски, и Алексей Степанович должен был пользоваться французским языком, который он ненавидел за то, что ему приходилось напрягать свое внимание и случалось помимо желания говорить вещи, которых он вовсе не думал и которые не могли бы быть сказаны, если бы тот же разговор велся по-русски. Когда Уральский уходил, Алексей Степанович не сдержался и спросил:

– И откуда вы их таких выкапываете?

За последнее время он привык к тому, что может говорить с людьми откровенно и то, чего раньше он никогда не сказал бы, теперь выходило просто и естественно; теперь на него уже не могли обидеться, потому что – Алексей Степанович это прекрасно знал – это было невыгодно. Как бы резко он ни говорил, его собеседники превращали это в шутку; и это было первое наблюдение, заставившее его задуматься над тем, не ошибался ли он всю жизнь, полагая, что известные вещи хороши, а другие плохи, приятны или неприятны, оскорбительны или неоскорбительны.

Он раскрыл газету, прочел несколько строк и отложил ее в сторону, продолжая почти невольно думать все над теми же вопросами, которые пришли ему в голову несколько лет назад и с тех пор не давали покоя. Когда он был беден, не было времени думать об отвлеченных вещах: надо было доставать деньги, ходить, просить, сидеть часами, ожидая людей, от которых зависел очередной заработок в несколько сот франков, – и на это уходило все время и вся энергия. Но потом, когда это прекратилось и когда Алексей Степанович после месяца сумбурной жизни, в которой с невиданным до тех пор разнообразием сменялись впечатления, ощущения, люди, дела, впервые остался один в своей новой квартире и когда ему решительно нечего, казалось, было желать, – он ощутил тоску и пустоту в душе; и с этого времени она уже его не покидала, так же, как многочисленные болезни, которые, в сущности, были и раньше, но к которым он за недостатком времени и денег относился невнимательно. Теперь каждое его ощущение приобретало явную ценность – и насколько раньше

было неважно, что Алексей Степанович Семенов, этот полный и плохо одетый человек, живущий в дешевой комнате, за которую, вдобавок, он неаккуратно платил, страдает от ревматизма, настолько теперь это было существенно и значительно; и каждая боль обслуживалась доктором, массажистом и владельцем аптеки, продававшим Алексею Степановичу множество дорогих и бесполезных лекарств. Раньше самому Алексею Степановичу было не особенно интересно, что и как он думает; теперь, когда у него оказалось много свободного времени, эти досуги заполнялись постоянным обдумыванием многих вещей, точно впервые представших пред ним.

Он посмотрел на портрет, висевший на стене; это был портрет дочери Сусликова, умершей несколько лет тому назад. Ее Алексей Степанович знал и помнил все двенадцать лет ее жизни; помнил ее с соской во рту, потом маленькой девочкой в белом платьице и потом в Париже, когда она возвращалась из школы с пальцами, запачканными чернилами, – как возвращались в свое время ее мать и отец и сам Алексей Степанович. Потом была длительная болезнь, и Алексей Степанович помнил это бедное худенькое тело на простынях кровати, которое переворачивали и щупали доктора, и ужасные ее глаза. Когда он подходил к ней, она всегда протягивала ему руки трогательным и доверчивым детским движением, которое каждый раз вызывало у него слезы. За время ее долгой болезни все настолько привыкли к ней, что уже почти не обращали внимания на ее стоны и тихий плач; изредка мать ей говорила быстрым и равнодушным голосом нежные слова, не вязавшиеся с этими привычными и небрежными интонациями. И только Алексей Степанович, любивший ее больше всех, был неизменно внимателен к малейшему ее движению, которое отдавалось болью во всем ее теле.

И затем, уже в последние дни болезни, ее глаза приняли тот свинцовый, непрозрачный оттенок, который Алексей Степанович знал очень хорошо и в значении которого нельзя было ошибиться. В бессильном и смертельном отчаянии, глядя в эти тускнеющие глаза, Алексей Степанович думал, что отдал бы все немногие радости своей жизни и самую жизнь за то, чтобы ее спасти; но эта его

готовность была так же бесполезна, как все остальное. И вскоре наступил день, когда глаза закрыли, положив на них монеты, – и худенькое тело после нескольких часов мучительной агонии стало неподвижным. Алексею Степановичу казалось тогда, что и он, в сущности, умер для всего, и так нелепо чудовищно и неподвижно глядели на него все привычные предметы – стол, кровать, кресло, – потерявшие свой прежний смысл, как все существующее. Алексей Степанович так никогда и не оправился от этого. После того как он увидел эту самую страшную вещь, появление которой уничтожало все и делало бессмысленным и бессодержательным все лучшее, что он знал в жизни, он понял не умом, а чем-то другим, бесконечно более верным, страшную и непреодолимую истину, о которой нельзя было рассказать и которая погружала в непрекращающуюся и смертельную печаль весь этот напрасно существующий мир. И в этом Алексею Степановичу не могло уже помочь ничто, и всесильное его богатство здесь оказывалось таким же несостоятельным и ненужным, как все остальное.

И у него не осталось никаких желаний. От еды его тошнило, читать было скучно, играть в карты неинтересно, любить было некого; и несмотря на то, что от него косвенно зависела судьба десятков людей, никто из них не был заинтересован в его личной жизни. Ему было даже не с кем говорить, и он все больше времени проводил в кресле, наедине со своими безотрадными ощущениями. Он поехал однажды к Марье Матвеевне, с которой прежде, много лет тому назад, ему было так легко и хорошо, она понимала его с полуслова, и вместе они занимались тем, что она называла лирическими путешествиями. Так они говорили обо всем – о счастье, о смерти, о богатстве, о славе и о том единственном чувстве, которое обладало неистовым и неисчерпаемым богатством ощущений и мыслей.

Он приехал к ней днем, вошел, тяжело сел в неудобное кресло.

– Ну, милый друг Алеша, рассказывай, – сказала она. – Ты помнишь, как мы с тобой говорили раньше в России и первые годы в Париже?

– Тысячу лет назад?

– Да, тысячу лет. Тогда было лучше, чем теперь. Расскажи мне, как ты живешь, я ведь тебя почти не вижу.

И Марья Матвеевна начала рассказывать. Алексей Степанович неподвижными глазами смотрел на нее. Он думал, что она станет говорить о том, что прошло, что может еще случиться, как изменилась ее жизнь и как в ней, кажется, нет места для тех вещей, которые раньше были так важны. Но ничего этого она не сказала. Она долго жаловалась Алексею Степановичу на прислугу, на дороговизну и пространно рассказывала, почему она вынуждена была отказаться от услуг русских портних и обратиться к французским.

– И ты понимаешь, что если тебе нужно даже не шикарное, а просто приличное платье après-midi[1], я уже не говорю о вечерних туалетах, то помни, что надо обращаться только к французской портнихе.

– Мне не нужно приличного платья, – сказал Алексей Степанович с изумлением, которое относилось к вопросу о платье, отчасти к мысли о том, что Марья Матвеевна говорит про такие пустяки, в то время как он ожидал совсем другого.

– Нет, ты меня не понимаешь.

– Действительно...

– Дело в том, что у них все какие-то амбиции, все они жены генералов. Какое мне дело, что в конце девятнадцатого века один из ее мужей командовал какой-то там бригадой? Какое отношение этот факт, ну, скажи на милость, Алеша, имеет к моему теперешнему платью? Что ты смотришь на меня, как баран на новые ворота? – сказала она, внезапно раздражаясь и заметив, наконец, остановившийся пристальный взгляд Алексея Степановича.

– Ты стала как-то вульгарнее, – медленно сказал он. – Но дело не в этом, я хочу другое сказать. Вот ты прожила довольно долгую жизнь, у тебя были муж, любовник, дети, у тебя умерла дочь, ты знала целые годы нужды и несчастий. И неужели теперь, со мной ты можешь говорить только о портнихах и прислуге? Неужели нет ничего интереснее?

– Нет, – ответила она. – Ты хочешь философствовать. Нет, с меня довольно, мне не двадцать лет.

[1] послеполуденное, т.е. строгое (*фр.*).

– Именно поэтому...

– Именно поэтому, – повторила она. – Именно поэтому осталось мало времени и мало возможностей.

Она поднялась и пошла к двери, потом вернулась и резким, быстрым движением, которое было характерно для нее – и Алексей Степанович тотчас узнал его, и это сразу напомнило ему множество нежных и, казалось, забытых вещей, – положила ему руки на плечи и села на его колени; у него сразу заныли ноги от ее тяжелого тела. Она ничего не сказала и только смотрела с минуту в его глаза; и он понял в этом немного испуганном и сожалительном взгляде больше того, что она могла бы сказать. Он понял, что в ее жизни все было почти так же безнадежно, как и у него, – с той разницей, что она еще хотела жить и ценила некоторые вещи, которые у него вызывали только грусть и отвращение, и что вопрос о портнихах и прислуге должен был ее интересовать, так как мешал ей думать о том, о чем не следовало думать, чтобы не плакать и не огорчаться. Но этот ее взгляд вернул только на то время, в течение которого он продолжался, возможность одинакового понимания вещей, сделал ее на эту минуту спутницей Алексея Степановича в его печальном и последнем путешествии. Но потом она тяжело и неловко соскользнула с его колен; ее юбка задралась вверх, обнажив ее полные ноги, одного вида которых в прежнее время было достаточно, чтобы Алексей Степанович не мог заснуть несколько часов, и на которые теперь он смотрел так же, как смотрел бы на всякий другой предмет – с примесью, пожалуй, некоторого, почти незаметного, сожаления, в котором при очень пристальном внимании можно было найти следы давно угасшего и бессильного желания. И тотчас же после этого, когда она вышла из комнаты, он почувствовал, что она не вернется к вещам, которые на минуту ожили в ее случайном взгляде и исчезли, на этот раз окончательно. Он вздохнул и уехал.

Он ни во что не верил. Как-то Анатолий, показывая ему русскую газету, недавно начавшую существовать и обреченную на скорое закрытие из-за недостатка средств,

говорил о статье против революции, составленной в энергичных и непримиримейших выражениях. – Вы знаете, дядя, – сказал он, – покуда есть такие люди... – Какие? – Ну, вот, убежденные... – А хочешь, я тебе докажу, что ты дурак? – Каким образом? – Вот увидишь. – Это на некоторое время развлекло его, он телефонировал, назначал свидание, разговаривал, и через неделю, когда Анатолий пришел к нему, он показал статью, напечатанную на пишущей машинке. Анатолий прочел ее. Статья была посвящена доказательству того, что вне революции и бунта невозможно ни творчество, ни искусство, ни «гордая и свободная мысль», ни перспектива существования иного, лучшего человечества. Статья была подписана тем же, знакомым Анатолию, именем.

– Как же так? – сказал Анатолий.

– Милый мой Толя, – очень просто. Это стоило мне, – он вынул записную книжку, – всего семьсот сорок шесть франков.

– Как вы это сделали?

– Много будешь знать...

Алексей Степанович не сказал Анатолию, что он вызвал по телефону автора статьи, условился о свидании; затем за завтраком в ресторане сказал, что собирается издавать левую газету и что в числе постоянных сотрудников он, конечно... сказал, что для первого номера, который должен быть особенно удачным, он собирает материал, заплатил авансом гонорар по повышенной для этого номера расценке и через несколько дней получил статью о революции и творчестве. Он знал, правда, заранее, что все будет так, как он предвидел, но все-таки не думал, что это так легко и недорого. И если до богатства он не очень любил людей вообще и не очень верил им, то теперь они вызывали у него брезгливость и отвращение. Он всегда теоретически знал, что деньги меняют человеческие отношения; но это было отвлеченное знание, из которого можно было делать отвлеченные выводы о ценности этих отношений вообще, но которое он обсуждал, как обсуждал какую-либо психологическую проблему. Теперь он имел долгий опыт, против которого нельзя было возразить. Он знал даже, что, если бы Марья Матвеевна не была уверена

в том, что он ей никогда не откажет – она заслужила это долгими самоотверженными годами своей жизни, – она была бы к нему так же мила, как все другие, и не позволила бы себе никаких резких реплик, хотя чувства ее не соответствовали бы ее поведению. Но она могла себе позволить все; слишком долго она делилась с Алексеем Степановичем скудными ее обедами, небольшими суммами денег, на которые они иногда ходили вдвоем в дешевый кинематограф, делилась с ним своими немногочисленными радостями и своим телом – всем, что у нее было. Алексей Степанович с удивлением замечал, что он не чувствовал к ней никакой благодарности и что даже ее судьба была ему, в сущности, безразлична; но он знал, что он должен быть благодарным и что он должен делать для нее все, – и он делал это с равнодушной и безразличной готовностью.

В сотый раз обдумывая и вспоминая все это, он по привычке искал разрешения этих вопросов, возможность какого-то выхода. Но выхода не было. То, что он знал раньше, давно, – бурная радость физического существования, – исчезло теперь, и все теперешнее ощущение его жизни было непрекращающейся сменой болей, недомоганий и особенного телесного отвращения, которого он не знал до сих пор. Изредка, когда с ним заговаривали о социальных реформах некоторые люди, желавшие получить от него субсидию на издание радикальной газеты, и когда он задумывался над необходимостью этих реформ, он отвечал им, что у него только одна – и очень скверная – жизнь, что до других людей ему нет дела и что если даже бросить все это, то никакие социальные реформы ничему не помогут; что, в лучшем случае, если даже будет революция, то произойдет перераспределение благ и вчерашние их обладатели попадут в положение пролетариев; но ни пролетарии, ни буржуа не станут от этого лучше или счастливее. И основные изменения будут настолько незначительны, что ради них не стоит решительно ничего предпринимать; и издавать радикальную газету меньше, чем что бы то ни было.

Но после таких разговоров он замечал, что то полубессознательное представление о мире, которое у него было раньше и которое заключало в себе почти неиссякаемое

богатство образов, раскрывавшихся по мере того, как он думал о разных вещах, стало теперь скудным и бедным; не осталось ничего, кроме десятка пессимистических убеждений, большого количества физически болезненных ощущений и чего-то очень похожего на непрекращающуюся душевную изжогу. Напрасно он убеждал себя, что мир не может быть таким, что есть любовь, самопожертвование и непостижимая красота звуков и видений; но все это было недоступно его чувству и, следовательно, не существовало.

И тогда он ощущал весь невыносимый ужас своей жизни.

Он пообедал один в громадной столовой, залитой светом, за столом, у которого можно было посадить двадцать человек; он съел несколько кусочков рыбы, отдававшей каким-то терпким и незнакомым ему запахом, три ложки очень горячего супа, немного мяса, из которого противно струился красноватый, бледно-кровяной сок, и один мандарин. Кофе и чай были ему запрещены.

Он встал из-за стола и пошел в кабинет. Комнаты были огромные, светлые и пустынные. В квартире было тихо. У него мелькнула мысль, что вот он, пожилой человек, которому ничего не нужно, живет один в очень большой квартире, а тысячи людей в том же городе спят на улицах и под мостами, Но мысль была давно знакомая, давно потерявшая свою связь с чувствами и потому представлявшая чистейшую отвлеченность.

Проходя по комнатам, он щелкал выключателем, туша повсюду электричество; и через некоторое время все погрузилось в неверный свет, доходивший от уличных фонарей. Стояла абсолютная тишина. Алексей Степанович медленно шел обратно, из кабинета в столовую, в смертельной тоске, казавшейся неотделимой от этого бледного освещения, тишины и пустынности.

Он открыл радио и услышал голос, объявлявший, что сейчас начнется передача концерта Тосканини из Opéra. Он сел в кресло, закрыл глаза и незаметно задремал; и когда он проснулся, комната была полна звуками, в незабываемом движении которых он тотчас узнал «Пасто-

ральную симфонию», уже приближающуюся к концу. Потом голос спикера объявил «Danse macabre»[1]. Алексей Степанович поморщился и выключил аппарат; но пожалел и снова включил его. Он давно и хорошо, знал эту вещь и не любил ее. И он стал слушать и с недоверием и изумлением заметил, что в понимании Тосканини она звучала совершенно иначе, открывая ему вещи, которых он никогда не знал и которые теперь, слушая в сотый раз «Danse macabre», понимал и видел впервые. И когда раздались аплодисменты, он поспешно выключил радио и, глядя прямо перед собой, подумал о бесполезном теперь гении Тосканини, замечательность которого он понимал сейчас так же отвлеченно и безучастно, как все остальное, – и, как все остальное, это было бессильно вызвать к движению хоть какую-нибудь часть его души.

Он опять принялся ходить по квартире. Далеко с улицы доносились редкие гудки автомобилей, как с моря. Он подумал об этом, потом с несколько оживившимися глазами позвонил два раза. Через минуту в кабинет постучали.

– Приготовьте автомобиль, – сказал Алексей Степанович, – я еду в Гавр через четверть часа.

Ночь была сухая и холодная. Лежа в бесшумной машине и глядя на неподвижный, как на статуе, картуз шофера над рулем, Алексей Степанович дремал и просыпался.

Лишь на рассвете, проведенный гарсоном гостиницы в очень натопленный номер, он лег в постель с неприятно холодными простынями и, пробуждаясь каждые полчаса, до полудня лежал; потом вышел на набережную, посмотрел с полчаса на холодные и длинные волны, послушал, как шипит их пена и как шум теряется в бесконечной поверхности воды, промерз, вернулся в гостиницу, опять вызвал шофера и к вечеру снова был в Париже, в своей квартире, где все оставалось так же неизменно, светло и совершенно безнадежно.

На следующий день утром Анатолий сказал ему, что получил приглашение поехать на три недели в Англию и что, если дядя ничего не имеет против этого...

---

[1] «Танец смерти» (*фр.*).

– Что же я могу иметь? – сказал Алексей Степанович. – Езжай себе на здоровье. Деньги тебе нужны?

Но Анатолий отказался от денег. В этом он тоже был не похож на других людей, которые обычно не отказывались никогда. Он тратил мало и, в противоположность своей матери, которая не могла обходиться без тысячи вещей, назначения которых она даже не знала несколько лет тому назад, но которые теперь ей были совершенно необходимы, – был очень нетребователен.

– На время моего отсутствия я пришлю вам одного товарища, который будет меня замещать, – сказал Анатолий. – Это уже устроено. Пожалуйста, ни о чем не беспокойтесь, расходы я беру на себя и об этом тоже условился.

– Что вы говорите, Анатолий Александрович? – насмешливо и вежливо сказал Алексей Степанович. – Расходы вы изволите брать на себя? Вы считаете, что вы должны прийти мне на помощь для преодоления финансовых трудностей? И давно ты такой богатый? Может быть, ты мне еще взаймы предложишь?

– Нет, я вас очень прошу...

– Иди ты к черту, – сказал Алексей Степанович. – Позволь мне самому заниматься моими делами. А когда ты едешь?

Анатолий уезжал на следующий день, и в то же утро пришел его заместитель. Это был человек лет двадцати трех – двадцати четырех, среднего роста, крепко и хорошо сложенный, и по гибкости и легкости его движений, за которыми с невольной и бессознательной завистью следил Алексей Степанович, было видно, что он очень силен и здоров. И с этой наружностью и белыми тугими волосами, гладко приглаженными на голове, не вязались большие, как у женщины, синие и голодные глаза и глубокие круги под ними. В первую минуту Алексей Степанович подумал: не наркоман ли он? Но в дальнейшем он отказался от этого предположения – настолько точны и уверенны были все движения молодого человека; все доказывало в нем идеальное физическое равновесие. – Но почему же эти идиотские глаза? – спрашивал себя Алексей Степанович. – Точно от неудовлетворенного желания?

Очень скоро Алексей Степанович убедился, что временный его секретарь довольно образован, неглуп и обла-

дает быстрым пониманием. Но, глядя в эти глаза, он не мог отделаться от впечатления, что имеет дело с человеком, вся жизнь которого есть усилие сдержать себя – усилие, всякий раз увенчивающееся успехом, как трудный и опасный цирковой номер. И ему случилось несколько раз поймать себя на том, что он испытывает нечто похожее на физическую тревогу, такую же, какую он ощущал, смотря на акробата, едва не срывающегося с трапеции, повисшей в высокой и жуткой пустоте.

Но уже через несколько дней Алексей Степанович знал, чем объясняется этот странный взгляд молодого человека, которого он с первого же дня знакомства стал про себя называть Акробатом. Он пригласил его пообедать. После обеда Акробат сказал Алексею Степановичу, что единственное и главное несчастье его жизни – это отсутствие денег.

– Денег как средства, конечно?

– Да, денег как средства.

– Для достижения чего?

– Я люблю одну женщину...

– Plus ça change, plus ça reste la même chose[1], – сказал, вздохнув, Алексей Степанович. Акробат сказал, что женщина, которую он любит, не может принадлежать ему, потому что он слишком беден и не имеет права обрекать ее на нищенское существование – в маленькой квартире, без прислуги, с кухонными и хозяйственными заботами и так далее. По словам Акробата, эта женщина была необычайно красива и необычайно умна.

– Конечно, конечно, – сказал Алексей Степанович.

– Вы в этом сомневаетесь?

– Нет, я только никогда таких вещей не видел в своей жизни, хотя я допускаю, что они могут быть. Но если я вас правильно понял, то, будь вы богаты, она жила бы с вами?

– Я думаю, что да.

– И вы хотели бы быть богатым?

– Да.

Алексей Степанович помолчал. Он хотел спросить, сколько же она требует, но не сказал этого, не желая оскорблять Акробата и подумав, что, вдобавок, это было бы слишком упрощенно.

---

[1] – Все меняется, и все остается тем же самым (*фр.*).

– Но она любит вас?

– Я думаю, да.

– И вы уверены, что, если бы у вас были деньги, все было бы хорошо?

– Мне кажется.

– И вы бы не пожалели ни о чем?

– Нет. В этом я абсолютно уверен.

Через три дня, после завтрака, Алексей Степанович сказал Акробату:

– Я хочу оказаться один раз в роли сказочного волшебника.

Синие глаза Акробата напряженно смотрели на него.

– Я рад, что могу сделать это для вас, хотя, по правде говоря, это не очень ценно, потому что мне это недорого стоит. Но я стар и несчастен. И если мои деньги могут хоть кого-нибудь сделать счастливым, это очень хорошо. Я имею все основания в этом сомневаться, – сказал он, – по-моему, деньги могут уменьшить страдания, но не способны создать что бы то ни было. У них нет творческой силы. Но это уже философия старого скептика, до которой вам нет дела. Я буду рад, если это мое убеждение – ошибка. Идите.

И когда Акробат, который настолько растерялся, что даже не поблагодарил его, уже наполовину закрыл за собой дверь, он крикнул:

– Позвоните мне завтра, в десять утра, я дам вам все указания!

Он щелчком сбросил со стола коробку спичек, на которой остановился его взгляд, и задумался о том, что богатство не имеет творческой силы, что Акробат не прав; но если предположить на минуту, что чудо возможно, то еще остается, по крайней мере, одно утешение. Теперь это последнее средство было пущено в ход; и если оно окажется столь же обманчивым и недействительным, как все, тогда останется только... Он пожал плечами, встал и начал ходить по комнате. Бедный Акробат! Он думает, что теперь в этом, может быть, действительно прекрасном теле, в мускулах и груди начнется то ответное движение, которое одно способно его сделать счастливым и которое только теперь может возникнуть и расшириться; и все это

способно создать то же богатство, которое было так бессильно в руках Алексея Степановича и которое теперь должно было приобрести магическую власть. – Но этой власти нет, – с силой сказал вслух Алексей Степанович.

Анатолий вернулся из Лондона, Акробат исчез совершенно бесследно, и жизнь Алексея Степановича продолжала идти так же, как раньше. Прошла зима, воздух стал теплее, лунными ночами Алексей Степанович глядел из окна на ряды зацветающих каштанов. По словам Анатолия, Акробат путешествовал не то в Италии, не то в Южной Америке; дни становились все длиннее. Алексей Степанович продолжал лечиться, жил в таком же одиночестве и перестал даже думать о многих вещах, потому что всякий раз, когда перед ним возникал какой-нибудь из все тех же вопросов, которые казались ему самыми важными, то отрицательный ответ был готов даже до обсуждения, точно было заранее и навсегда известно, что ошибки быть не может и что все осуждено и обречено на преждевременное исчезновение с такой же несомненностью, с какой было очевидно, что вот пройдет еще несколько дней – и от молочно-белой, воздушной реки каштановых цветов ночью не останется ничего. – Но следующим летом будут другие, – отвечал себе Алексей Степанович и тотчас повторял: – Другие. Этих же больше не будет.

Потом он переходил в иной план обсуждения и убеждал себя, что ему нет никакого дела до цветущих каштанов и что они ни в малейшей степени не могут повлиять на его жизнь и не могут ничего в ней изменить – ни к лучшему, ни к худшему.

Затем он уехал к морю, днем изнемогал от жары и пил ледяную воду, вечером, опираясь на палку, сходил к пустому и далекому берегу и глядел на волны. – Здесь бы хорошо умереть, – подумал он однажды. Это был вечер, перед наступлением которого прошел короткий и быстрый дождь. Воздух стал свежее, сильнее пахло морем. Он возвращался домой. Он медленно дошел до виллы, в которой жил, поглядел на ее открытые темные окна, вошел, щелкнул выключателем и вдруг, как в далеком сне, увидел синие, неудержимо глядящие глаза Акробата и черное дуло револьвера, направленное на его грудь.

1936

СМЕРТЬ ГОСПОДИНА БЕРНАРА

Никто из сослуживцев господина Бернара не мог бы предположить, что этот чрезвычайно почтенный и уважаемый человек способен к неожиданным поступкам; и тем более странными и непостижимыми казались неправдоподобные и фантастические обстоятельства, сопровождавшие его преждевременную кончину. – Он едва достиг того возраста, когда человек становится зрелым и живет жизнью, полной сознания своего долга перед родиной и республикой, – говорил в своей надгробной речи директор того предприятия, в котором господин Бернар прослужил двадцать три года; он имел в виду тот факт, что господину Бернару едва исполнилось пятьдесят шесть лет. Ему оставалось совсем немного времени, чтобы получить право на довольно значительную, по словам директора, пенсию; и хотя у господина Бернара не было ни жены, ни детей, ни родителей, – это был сирота, господа, – говорил в той же речи директор, – утрата была оттого не менее тягостна. И было трудно себе представить, что на том месте, где двадцать три года подряд возвышалась лысая голова господина Бернара, вдруг начнет возвышаться нечто другое, хотя и похожее по форме, но все же не то. Владелец бань на улице Акаций терял одного из самых постоянных своих клиентов, так как господин Бернар отличался почти болезненной чистоплотностью и каждую неделю принимал душ; мадам Жюли, привыкшая к господину Бернару почти как с собственному сыну, – в течение двадцати одного года после душа он отправлялся в ее дом с цветными стеклами, хотя и оставался там недолго, не ища ни развратных наслаждений, ни праздной болтовни, а являлся туда, снедаемый исключительно заботами о собственном здоровье, и, уходя, всякий раз говорил мадам Жюли со странной

улыбкой: – Здоровье прежде всего, не так ли, мадам? – и прачка, мадам Маргерит, и владелец ресторана, и вообще множество разных людей, жителей города Т., в котором это происходило, – были столь же поражены, сколь огорчены внезапной и ужасной смертью господина Бернара.

– Преклонимся перед его прахом, господа, – говорил директор, – но, преклонившись перед его прахом, оставим себе право выразить наше законное недоумение по поводу того, какими таинственными причинами был вызван этот ужасный факт, который соединил нас сейчас, в горестном благоговении, перед этой открытой могилой.

Было бы несправедливо не упомянуть о том, что лишь недостаток средств и прерванное жестокими обстоятельствами образование не позволили директору в свое время стать одним из лучших адвокатов Франции; и это знали все сограждане директора, которым его ораторский талант был очень хорошо известен, равно как и склонность к адвокатуре; и, зная это, все относились к нему так, как если бы он действительно был адвокатом, и даже обращались к нему за юридическими советами. Один раз из-за директорских потерянных возможностей произошел даже неприятный случай: в город Т. на банкет корпорации мыльных фабрикантов приехал министр торговли, произнесший за столом длинную речь и заметивший лицо директора, который смотрел на него с презрительным сожалением, в неудачных – по его мнению – местах речи пожимал плечами или иронически улыбался и вообще вел себя так, что министр, едва кончив говорить, тотчас обратился к своему соседу с вопросом, что это за дурак; и так как министр – как потом рассказывал директор – был плохо воспитан, то, произнося это слово, он даже не понизил голоса. Конечно, элементарное уважение к самому себе не позволило директору удостоить ответом человека, стоявшего, очевидно, ниже него и добившегося поста министра лишь при помощи протекции и взяток, – что было доподлинно известно всем гражданам города Т., которые были умными людьми и прекрасно разбирались в политике.

– Каковы же были те причины, – продолжал директор, – которые в их горестной и мрачной совокупности

заставили молодого, цветущего Бернара в середине своей карьеры решиться на столь ужасный и некоторым образом окончательный поступок, имеющий, я бы сказал, глубокий характер и служащий грозным предостережением для каждого француза?

Господин Бернар в это время неподвижно лежал в длинном коричневом гробу с красивыми розоватыми полосками – работы господина Дюпюи, который стоял тут же, сняв свой прекрасный цилиндр, купленный в магазине господина Симона, равным образом присутствовавшего на похоронах. Если бы гроб был открыт, то можно было бы видеть, что на господине Бернаре был его черный парадный костюм с едва заметными следами штопки на правой стороне груди, где раньше помещался верхний карманчик, в те времена, когда костюм не был еще перелицован, – так как господин Бернар, как и все граждане города Т., аккуратно перелицовывал свои костюмы, едва проносив их три или четыре года.

Единственным человеком, получившим некоторую временную и, как это должно было выясниться впоследствии, иллюзорную выгоду от смерти господина Бернара, была его квартирная хозяйка, которой он еще на днях заплатил за месяц вперед; и она тотчас же сдала его комнату иностранцу, приехавшему в город Т. для неизвестных целей и плохо говорившему по-французски. Таким образом она получила около двухсот франков чистой выгоды, так как с иностранца она, естественно, взяла дороже, чем с господина Бернара; эти деньги были большим подспорьем для бедной вдовы. Кроме того, условившись со своим новым жильцом об утреннем кофе, она выгадывала еще около десяти франков в месяц – очень густое молоко, расточительно и небрежно продаваемое местной молочной, она разбавляла водой, что давало ей ежедневную экономию почти в тридцать пять сантимов; а господин Бернар по утрам кофе не пил, сказав ей раз навсегда, что у него нет привычки есть натощак, – с чем квартирная хозяйка, несмотря на явную странность этого заявления, была вынуждена примириться. Она, однако, с тревогой спрашивала себя, долго ли проживет ее новый квартирант;

иностранцам она вообще не доверяла после опыта с одним американским студентом, с которого она брала в три раза дороже, чем с других. Американец был неизменно весел, всегда смеялся и каждый раз после поездки в Париж привозил ей подарки; однажды он вручил ей толстую и роскошную книгу «История Франции», с которой забыл стереть цену, и, посмотрев на цифру, она едва не лишилась чувств: книга стоила двести двадцать франков. Она продала потом эту книгу в местный книжный магазин за сто пятьдесят франков. Как-то утром, встав раньше обыкновенного и проделав свои ежедневные гимнастические упражнения, американец вышел в переднюю как раз в ту минуту, когда хозяйка лила воду в молоко. Но вместо того, чтобы заявить ей об отъезде и вычислить сумму, которую он мог бы недоплатить, он начал хохотать, как сумасшедший, и хлопать ее по плечу. После этого она стала относиться к иностранцам с заслуженным недоверием. Она уходила с похорон, и ее сердце было неспокойно, она боялась за будущее, ее начинали даже одолевать сомнения: кто знает, быть может, было бы лучше, если бы господин Бернар не умирал.

В общем, смерть господина Бернара взволновала решительно всех. Даже владелец книжного магазина, у которого господин Бернар за всю свою жизнь не купил ничего, был так огорчен, что его приказчик сказал ему с тем сочувствием, которое естественно в некоторых коммерческих фирмах, где отношения между владельцем и служащими становятся подобны отношениям между отцом и детьми, во всем, вплоть до вознаграждения; и служащие, например, этого магазина получали такое ничтожное жалованье, что оно могло искупаться только истинно отеческим отношением владельца, – что приказчик сказал ему:

– Не надо так огорчаться, месье. Ведь нельзя сказать, что вы потеряли клиента.

И приказчик улыбнулся, ожидая, что хозяин засмеется. Приказчик справедливо считался одним из самых остроумных людей в городе; и все настолько привыкли к этой его репутации, что каждая его реплика автоматически вызывала улыбку или смех. Но хозяин ответил:

– Кто знает? Как раз недавно мы говорили с господином Бернаром о великих писателях Франции, и он мне сказал, что хотел бы приобрести полное собрание сочинений Поля Бурже. А вы знаете, что на этом я мог бы заработать.

Но прошло несколько дней – и господин Бернар был забыт. Еще некоторое время, короткий период посмертной и напрасной славы – обстоятельства его смерти излагались на страницах газет, – еще кое-кто упоминал о господине Бернаре; скорее всех его забыли люди, встречавшиеся с ним каждый день, дольше всех о нем помнили те, которые видели его реже всего. Но, в конце концов, о нем забыли даже они.

Так исчез господин Бернар; и в городе Т. все осталось по-прежнему: утром начинали работу, в двенадцать завтракали, в семь обедали, потом говорили о разных делах и ложились спать; и два наиболее могущественных фактора в жизни этого города – экономия и работа – не могли, конечно, претерпеть никаких изменений. Вопреки тому, что писалось в некоторых статьях, город не был взбудоражен смертью господина Бернара – иначе говоря, этот ужасный факт был мужественно перенесен жителями города Т. и, если так можно сказать, лишь укрепил их в сознании их непоколебимого смысла существования, именно экономии и работы. К сожалению, иностранец, поселившийся в комнате господина Бернара и представлявший из себя хотя и трудновычисляемый, но несомненный потенциальный капитал, предназначенный для рациональной эксплуатации, прожил очень недолго и переехал в гостиницу, объявив хозяйке, что не может жить в таком примитивном месте, где нет ни центрального отопления, ни ванны, ни телефонами и заявив, что он привык существовать как цивилизованный человек, а не как дикарь и что у него на родине такое здание давно бы превратили в исторический музей. Хозяйка присчитала ему девяносто франков за то, что он, якобы, сломал одну из пружин матраца, которая, как она это знала, была сломана около трех лет тому назад господином Бернаром, отличавшимся в последние годы своей жизни крайне беспокойным сном. Однако когда в

свое время она сказала господину Бернару о поломанной пружине, он презрительно улыбнулся и ответил:

– Нет, но, я надеюсь, вы не принимаете меня за крестьянина?

– Конечно, нет, господин Бернар, но так как пружина все-таки сломана...

– Нет, – продолжал господин Бернар, – но вы, я полагаю, не считаете, что пружина может существовать вечно? Все ломается, все разрушается, мадам; и только недостаток умственного развития мешает вам понять эту мысль. Железо подвержено действию ржавчины, медь окисляется, чугун лопается, серебро чернеет; это вечные законы природы и физики, мадам, и не нам с вами их изменить, хотя бы и при помощи девяноста франков. Кстати, новый матрац стоит шестьдесят франков, а отдельная пружина около шести франков; таким образом, вы требуете с меня ровно в пятнадцать раз больше, чем следует. Я отмечаю это не в упрек вам, – продолжал господин Бернар с тем же непоколебимым спокойствием и снисхождением, – а только по любопытству, так как я вам все равно ничего не заплачу, и мне было бы жаль, если бы у вас по этому поводу могли существовать какие бы то ни было иллюзии.

И ничто, казалось, в жизни господина Бернара не предвещало той внезапной и кратковременной известности, которой он пользовался в эти дни и которая была тем более бесполезна, что, как это позволяли предполагать все решительно данные, последнее состояние господина Бернара лишало его возможности иметь вообще какую бы то ни было оценку событий. Правда, аббат Сен-Тигр, обратясь к своим прихожанам на ближайшей мессе и упомянув о безвременном, но, быть может, не безвозвратном исчезновении господина Бернара, давал понять, что существуют возможности отдаленного воскрешения, хронологическую протяженность которых он все же не решался определить, боясь впасть в ошибку, которая произошла бы вследствие того, что земное понятие о времени могло бы не совпасть с вечным счетом годов, недель и столетий, ведущимся там – аббат поднял глаза к потолку церкви; и, в общем, выходило так, что будущность господина Бернара пред-

ставлялась аббату Сен-Тигр чрезвычайно смутной и неопределенной. И таким образом оказалось, что нескольких коротких, но невозвратных минут было достаточно, чтобы не только скомпрометировать навсегда будущность господина Бернара, но и сделать бессмысленными и ненужными все двадцать три года его безупречной службы; и, несомненно, одно это обстоятельство было способно вызвать в умах сограждан господина Бернара целый ряд глубочайших сомнений и вопросов, – и если этого в действительности не случилось, то только потому, что гражданам города Т. было некогда заниматься отвлеченными проблемами, к которым, вдобавок, не был приучен их дисциплинированный и ясный ум, воспитанный на обсуждении муниципальных нужд, внешней и внутренней политики государства и, наконец, на чтении газет, будивших в них здоровые национальные чувства.

Но если бы кто-нибудь из них вступил на путь догадок о причинах необъяснимых обстоятельств, сопровождавших смерть господина Бернара, он неизбежно должен был бы сделать первый свой вывод о том, что господин Бернар, будучи коренным жителем города Т. и ничем, казалось бы, не отличаясь от своих современников, представлял из себя, именно ввиду этой своей бесспорной принадлежности к городу Т., – загадку совершенно непостижимую и в известной мере незаконную. Очень возможно, что в дальнейшем внимание этого анонимного исследователя, которое не должно было бы пренебрегать ни одним, даже самым незначительным фактом, способным пролить свет на интересующий его вопрос, было бы привлечено тем полупризрачным персонажем, о котором никто из жителей города Т. не мог дать никаких положительных сведений и сообщения о котором сводились лишь к нескольким описаниям, основанным почти исключительно на зрительном восприятии. Во всяком случае, немногим поздним и случайным прохожим приходилось иногда глубокой ночью встречать на набережных небольшой местной реки, тускло освещенных редкими фонарями, фигуру пожилой, очень накрашенной женщины, нравственность которой не могла вызвать никаких сомнений. Один из них

утверждал даже, что слышал голос этой женщины, поразивший его особенно низким своим тембром. Но, в общем, можно было только установить, что эта женщина появлялась так же неожиданно, как исчезала, и никто не знал ни ее адреса, ни имени; и казалось, что, проблуждав некоторое время вдоль медленной ночной реки, она точно проваливалась в незримую воздушную пропасть, о которой господин Бернар так же не имел представления, как все остальные граждане города Т. Третьим обстоятельством, возможно, явилось бы имеющее определенную ценность мнение мадам Жюли, которая должна была констатировать, что в течение последних двух лет господин Бернар ни разу не был у нее, и это представлялось тем более странным, что он не женился, не завел любовницы и жалованье его скорее прибавилось, чем уменьшилось, и, следовательно, не материальная невозможность являлась причиной его непонятного манкирования. Мадам Жюли, изучившая за сорок лет своей непрерывной работы характер и потребности многочисленнейших клиентов, знала, что юношеский пыл посетителей начинал несколько охладевать в возрасте господина Бернара; но от постепенного и естественного охлаждения до резкого прекращения каких бы то ни было визитов было большое расстояние, и, быть может, именно в этом таинственном и тревожном пробеле следовало искать разрешения все той же загадки. Наконец, среди книг, оставшихся после господина Бернара, были обнаружены сочинения малоизвестных и, по-видимому, иностранных авторов – Стивенсона, Томаса Харди и Штирнера, – и это заставило бы все того же анонимного и несуществующего исследователя отметить, что литературный вкус господина Бернара несколько отличался от вкуса его современников.

И все же следует признать, что ни одно из перечисленных обстоятельств не могло бы послужить объяснением загадочной и фантастической смерти господина Бернара. Можно было бы обратиться к доступному анализу каждого дня жизни господина Бернара, надеясь, что этот анализ откроет все. Но анонимный исследователь мог бы увидеть только, что господин Бернар вставал каждое утро по будильнику, который звонил ровно без

четверти семь; господин Бернар немедленно поднимался с кровати и, вытянув вперед руки, делал несколько приседаний, способствующих более усиленному кровообращению и интенсивному обмену веществ – выражение, точный смысл которого в городе Т. был понятен только двум докторам, чрезвычайно не любившим друг друга, и трем аптекарям, объединенным в наименее многочисленный синдикат города, что не мешало ему устраивать собрания, диспуты, обсуждения профессиональных программ и даже ежегодный банкет. Затем господин Бернар брился, потом умывался, мазал лицо кремом, пудрился и надевал свой темно-серый костюм, высокий, очень накрахмаленный воротничок и прекрасный черный галстук, завязанный вечным узлом на чрезвычайно удобной костяной пряжке. Почистив затем костюм щеткой и стараясь не делать быстрых и сильных движений, чтобы, с одной стороны, не вызвать сердцебиения, с другой – не повредить материи, смахнув пыль с лакированных носков своих черных ботинок, купленных господином Бернаром в позапрошлом году и оказавшихся очень прочными, он выходил на улицу ровно в двадцать минут восьмого. Трудно было бы сказать, о чем думал господин Бернар в эти минуты; он мог думать о таком количестве вещей, которое не поддается учету и в которое могли входить, наряду с соображениями чисто служебного порядка, мысли о том, например, что в силу странной игры случая множество предметов на земле имеет круглую форму – бинокли, очки, головы брахицефального типа, шары, ядра, сама земля, наконец, диск Солнца, изображения планеты Венеры и еще другие вещи, перечень которых занял бы слишком много места; и что в повторяющемся движении этих бегущих линий заключен, быть может, некоторый, непонятный на первый взгляд, но вполне законченный и совершенный смысл. Утренний воздух бывал неизменно свеж и каждый день по-новому приятен, так, как если бы в его составе происходили всякий раз какие-то чуть заметные изменения, касающиеся, скажем, процентного содержания азота или кислорода, и было удивительно, что эти незначительные колебания были доступны несовершенному человеческому восприятию; а, впрочем, может быть, все это объяснялось

лишь внутренними сотрясениями в личном самочувствии господина Бернара. Так или иначе, каждое утро воздух был по-иному вкусен и свеж; и то, что вчерашний воздух был не похож на сегодняшний, а сегодняшний будет не похож на завтрашний, эта удивительная и печальная неустойчивость могла бы навести господина Бернара на пессимистические размышления, – если бы можно было знать с уверенностью, что он думал именно об этом и именно так и что общее устройство его ума в какой-то мере походило на устройство ума анонимного исследователя.

И господин Бернар углублялся в улицу Акаций, свернув за первый угол и поздоровавшись с газетчицей; она протягивала ему «Вестник Т.», принадлежавший личному знакомому господина Бернара, почтеннейшему человеку, кавалеру ордена Почетного легиона, подпись которого всегда стояла под статьями о национальной обороне, – очень опасающемуся неожиданного нашествия со стороны некоторых иностранных держав, не внушавших ему никакого доверия, несмотря на неоднократные и миролюбивейшие заявления многочисленных министров иностранных дел. Невзирая на весьма преклонный возраст, собственник «Вестника Т.» работал чрезвычайно много и отличался завидным здоровьем, хотя и имел некоторые странности, вроде быстрых и, казалось бы, ничем не вызванных жестов правой руки, похожих на то, как если бы среди серьезного разговора он вдруг начинал ловить воображаемых мух; кроме того, он плохо слышал на левое ухо и астигматический его взгляд иногда поражал полным несоответствием своего выражения с его поступками и словами. Некоторые, слишком требовательные, читатели газеты находили, что его статьи монотонны, и это было совершенно несправедливо, так как – это знали многие, и в том числе и господин Бернар, – владелец газеты, будучи действительно искренним патриотом и противником иностранного вторжения в свою страну, статей своих вообще не писал никогда, не получив в свое время, к сожалению, необходимого образования, совершенно так же, как директор предприятия, в котором работал господин Бернар. Но, конечно, это обстоятельство, значения которого он не склонен был преувеличивать, не мешало ему иметь вполне

определенные политические убеждения и законный скептицизм по отношению к тем людям, которые называли себя пацифистами и сторонниками мирного сотрудничества с иностранными государствами, упуская из виду еще и то элементарнейшее и непреодолимое соображение, что такое сотрудничество было фактически невозможно в силу разницы языков, на которых говорили, с одной стороны, французы, с другой – иностранцы. Владелец «Вестника Т.» посвятил этой стороне вопроса специальную статью со ссылкой на историю Вавилонской башни и даже заплатил сотруднику, написавшему эту статью, полуторный гонорар за неожиданные и не входящие в его профессиональные обязанности знания в области библейских легенд, так поразительно подходящих для иллюстрации именно данного сюжета. Но в тот час, когда господин Бернар проходил по улице Акаций, направляясь на службу и положив свернутую газету в карман, собственник «Вестника Т.» еще мирно спал в своей постели возле прозрачного сосуда с ароматной водой, в котором освежались всю ночь его прекрасные челюсти, гордость местного дантиста.

В городе было тихо, солнце светило над крышами домов; господин Бернар выпивал чашку кофе с молоком, съедал две тартинки и, коротко поговорив с хозяином кафе о том, что в прошлом году в это же время еще не было так тепло, как теперь, и что, может быть, в этой рано наступившей хорошей погоде есть и своя дурная сторона, – все эти весенние недомогания, – входил, наконец, в ту дверь, за которой начинался новый служебный порядок вещей, не существовавший нигде, за исключением этого ограниченного пространства. Здесь все было привычно, знакомо и известно до последнего чернильного пятнышка. Рядом с господином Бернаром работал его ближайший сотрудник, фамилия которого была Росиньоль. Он был моложе господина Бернара на десять лет, носил черную бороду и роговые очки и был необыкновенным донжуаном; но, кроме этого, он еще отличался тем, что страдал какой-то чрезвычайно сложной болезнью желудка, представлявшей из себя нечто трудноуловимое, почти не поддающееся диагнозу и, в общем, среднее между раком, катаром, язвой и просто несварением. У него была еще

одна особенность, которой господин Бернар нигде до этого не встречал: цвет глаз Росиньоля был почти желтый, принимавший по утрам мутно-оранжевый оттенок. Увидя утром Росиньоля, господин Бернар мог безошибочно заключить, что у его сослуживца в послеобеденное время назначено свидание; Росиньоль, ссылаясь на свое расстроенное здоровье и беспрерывно предъявляя меди-. цинские удостоверения, формула которых была выработана раз навсегда, никогда не проводил на службе больше, чем полдня. Во время работы он рассказывал господину Бернару свои похождения, отличавшиеся чрезвычайным разнообразием. В числе его поклонниц были горничные, дамы, владелицы разнообразных предприятий – начиная от булочной и кончая бюро похоронных процессий, – знатные иностранки, имевшие неосторожность проездом остановиться в городе Т., и среди них в воображении всех его сослуживцев первое место занимала приезжавшая два года тому назад блистательная и, в сущности почти недоступная шведская герцогиня, говорившая по-французски с сильным северным акцентом, ни в чем не похожая на других, богатая, надменная и недостижимая блондинка, отличавшаяся высокомерным и единственным очарованием; и она была настолько замечательна, что Росиньоль не пожалел о своем романе даже после того, как выяснилось, что высокомерное очарование и уже отмеченная ранее недоступность шведской герцогини не помешали чрезвычайно грустным последствиям этой незабываемой встречи, носившим медицински-трагический характер, не имевшим, однако, ничего общего с желудочной болезнью, которая продолжала развиваться своим медленным и неуклонным путем.

Работа господина Бернара заключалась в подсчетах неуплаченных сумм и в проверке списков представителей общества в различных городах Франции. Она носила, в сущности, почти условный характер, так как изменения в общем состоянии дел бывали редки и незначительны и тотчас же отмечались; и у господина Бернара было очень много свободного времени, которое он тратил на обход сослуживцев и разговоры о разных вещах. В полдень он

шел завтракать в небольшой ресторан, где у него было свое место, своя салфетка и свои любимые блюда; только по мере того, как протекало медленное время и годы господина Бернара возрастали в непогрешимом соответствии с элементарными математическими законами, теми же самыми, которые решали судьбы неисправных должников в его служебной работе, блюда постепенно менялись, утрачивая мало-помалу острый и пряный характер, составлявший прелесть южной кухни, но вредно отзывавшийся на деликатных внутренних органах людей, вынужденных вести сидячий образ жизни. После завтрака господин Бернар читал «Вестник Т.», заключавший в себе множество интересного и нередко поучительного материала: статьи о преступлениях по страсти, потрясавших мирную жизнь самой прекрасной страны, рассуждения аббата Сен-Тигр о возможных изменениях погоды в связи с особенным расположением солнечных пятен и атмосферными пертурбациями на Ла-Манше, исторический роман-фельетон о Людовике XIV, где многочисленные королевские любовницы, одна роскошнее другой, в течение целых длинных глав лежали на диванах соответствующего стиля и нервно кусали перламутровыми зубами дорогие кружевные платки брюссельского, по всей видимости, производства; отчеты о футбольных состязаниях или матчах бокса с эффектными заголовками – «К славе через ворота команды Марселя!», или «Братья-враги», или «Горе побежденным!». Прочтя почти всю газету и оставив себе на вечер лишь очередной фельетон, написанный обычно одним из членов Французской Академии или одним из его помощников на тему о величии государственной идеи, или о налоге на животных, или о незавидной участи мелких коммерсантов, или о показательном оскудении сберегательных касс, или даже о литературе, – господин Бернар возвращался в бюро и вновь вступал в свои служебные обязанности, по-прежнему распространяя свою власть над немыми бумажными данными о неуплаченных суммах или непоступивших товарах.

Но совершенно так же, как за очередным и невыразительным письмом неисправного клиента, прислан-

ным с севера Франции и во всем похожим на любое другое письмо подобного рода, стоял где-то живой человек, находящийся, быть может, накануне непоправимого и, в сущности, печального банкротства, так – как это было бы ясно анонимному исследователю удивительной смерти господина Бернара, – так за всеми этими событиями, слишком обыкновенными и слишком незначительными, чтобы дать основания для сколько-нибудь неповерхностных суждений, – шла недоступная самому пристальному и любопытному вниманию, неизвестная, быть может, даже господину Бернару, но чрезвычайно значительная и, в конечном счете, решающая все – вторая или третья жизнь господина Бернара, в которой не было ни службы, ни «Вестника Т.», ни аббата Сен-Тигр, ни даже, возможно, города Т. и юга Франции; или если они и были, то они служили только напоминанием о неважных и легкозабываемых вещах. В том случае, если бы это было иначе и если бы непосредственно внешние события носили окончательный и безоговорочный характер, жизнь господина Бернара состояла бы в медленном накоплении небольшого капитала, постепенном уклоне к консервативным политическим концепциям, ослаблении внимания к окружающему, остывании страстей и чувств и, наконец, достижении такой степени умственной, физической и душевной несостоятельности, которая обычно давала бы право занимать высшие и ответственные должности в государстве и пользоваться всеобщим уважением сограждан. И так как у господина Бернара было не меньше данных для приближения к этому идеалу, чем у других, – о чем справедливо говорил директор в своей незабываемой надгробной речи, – и так как этого все-таки не произошло, анонимный исследователь должен был бы перенести свое внимание на иной, к сожалению, наименее доступный и наименее достоверный внутренний мир господина Бернара, в котором, однако, следовало бы предположить полное отсутствие тех положительных и неизменных принципов, которые составляют необходимую основу всякого разумного суждения. Было бы, по-видимому, ошибочно представлять себе этот внутренний мир лишь как проекцию внешнего; и, во вся-

ком случае, причинная зависимость между ними казалась бы так же недоступной обычному пониманию, столь же отличной от подлинной действительности, сколько отличны друг от друга разнородные состояния материи, сколько снег отличен от угля или пар отличен от меди.

И очень возможно, что наиболее вероятным пунктом, отправляясь от которого анонимный исследователь имел бы некоторые предположительные шансы подойти к частичному разрешению все той же загадки, должны были бы послужить четыре газетных вырезки, хранившиеся в письменном столе господина Бернара, пожелтевшая бумага которых позволяла определить их сравнительную давность. В них рассказывалась странная история мадам Б., пожилой и богатой женщины, покинувшей свою семью и приехавшей в небольшой город на юге Франции, где она умерла в странных обстоятельствах, не соответствовавших ни ее положению, ни ее возрасту и объяснявшихся только крайне предосудительным образом жизни, который, несмотря на свои преклонные годы, она вела до последних дней. Она жила в маленьком особняке, совершенно одна; увядшее свое лицо она покрывала густым слоем краски и пудры, надевала яркое платье и в таком виде поздними вечерами ходила по улицам в поисках случайных встреч. Автор статей некрологического характера описывал ее жизнь в ложноромантических тонах, которые он, по-видимому, считал стилистически необходимыми, чтобы придать известную убедительность изложению почти фантастических фактов. Претендуя, вероятно, без достаточного основания, на личное знакомство с мадам Б., автор изображал ее полной пожилой женщиной с сильно накрашенным лицом, известной всему береговому населению этого города. Ее видели, будто бы, в наскоро и небрежно выстроенных деревянных бараках с цинковой стойкой, на берегах реки, где она пила различные напитки в обществе бродяг и воров, той basse pègre[1], которая населяла эти места города, куда не ступала нога ни одного порядочного человека. Автор статей с большим

[1] шпаны (*фр.*).

прилежанием описывал душные вечера, и темное небо над черной ночной рекой, и эту женщину в ее почти сомнамбулических странствиях вдоль течения воды, начиная от выгнутого городского моста, – вниз, к тем пространствам, где река начинала сильнее пахнуть и слышнее струиться в темноте, мимо влажной травы берегов, где происходили чудовищные вещи, о которых автор статей не решался писать; он объяснял свое умолчание о них уважением к памяти мадам Б., но было позволительно предположить, что истинная причина этого умолчания заключалась в том, что он не был осведомлен о данной стороне вопроса и, возможно, сохранил некоторые остатки профессиональной честности, что представляется маловероятным, но не абсолютно невозможным.

Так прошло несколько лет; два или три раза мадам Б. показывалась в городе и даже была в театре, причем все видевшие ее могли подтвердить, что это была очень достойная и действительно пожилая женщина, без всякой краски на лице; она носила черные, совершенно закрытые платья, и никому не пришло бы в голову, что она и та, другая мадам Б., о которой потом было написано в некрологических статьях, – одно и то же лицо. Близко знавшие ее люди, именно местный доктор и ее соседка, вдова муниципального советника Парти, утверждали, что взгляды мадам Б. на текущие события и политические изменения, так же, как и на явно понижающуюся нравственность нынешних поколений, вполне соответствовали их собственным воззрениям и представляли собой законченную этическую систему, характерную для каждой хорошей француженки и которой основные принципы были – родина, семья и религия. Трудно сказать, какое начало было преобладающим в жизни мадам Б. – если предположить существование двух начал, а не остановиться окончательно на утверждениях доктора и вдовы муниципального советника Парти; потому что, в сущности, для удаления мадам Б. от своей семьи могли быть особые причины, не имеющие ничего общего с некрологическими данными и носившие хотя бы – что было бы вовсе не лишено правдоподобия – чисто материальный характер. Побуждения же,

заставившие автора статей изобразить мадам Б. именно в таком фантастическом порочном виде, могли бы свидетельствовать с несомненностью только о нездоровом литературном вкусе этого человека, но ни в какой степени не о подлинно верном описании жизни мадам Б.

Так или иначе, но однажды мадам Б. была найдена у себя в спальне задушенной, причем на покойной была надета очень розовая рубашка; и лицо мадам Б. было сильно накрашено, что, казалось, подтверждало все те слухи, которые ходили о ее образе жизни и выразителем которых явился автор газетных статей.

Но история мадам Б., не имеющая, казалось бы, большого значения, приобрела бы особенный смысл в сопоставлении с тем фактом, что в день, предшествующий смерти господина Бернара, в очень поздний час на улицах города Т. вновь появилась та пожилая и накрашенная женщина, тот полупризрачный персонаж, о котором до сих пор не было определенных сведений. Ее появление, судя по показаниям видевших ее людей, следовало отнести примерно к одиннадцати часам вечера, когда еще не все было закрыто, горели фонари и вообще вряд ли кто-нибудь, не имеющий причин скрываться, мог пройти большое расстояние без того, чтобы встретить несколько прохожих.

Первым человеком, столкнувшимся с этой женщиной, был учитель местной коммунальной школы; однако его рассказ не мог считаться вполне достоверным, так как учитель вне часов своих служебных занятий, – а иногда даже и в такие часы, – неизменно находился в состоянии, близком к опьянению, что объяснялось не обычным алкоголизмом, но причинами социально-экономического порядка: считая, что Франция идет к гибели, терзаемая либеральными и социалистическими идеями, и не будучи в силах лично ничего предпринять, чтобы предохранить свою родину от неминуемой катастрофы, учитель находил минуты искусственного забвения только в помощи этих, почти наркотических, средств. И хотя, несомненно, такое состояние должно было облегчать его социальные страдания, оно все же затемняло его сознание и в области всех других вопросов, имеющих, как в данном случае, чисто

психологический интерес; и в противоположность общественному мнению, полагавшему, что и в сознательном состоянии способности учителя были недостаточны для постижения какой бы то ни было отвлеченной проблемы, можно все же считать, что его внеалкогольные показания отличались бы большим сходством с действительностью, тем более, что для передачи своих впечатлений об этой встрече учитель не имел необходимости вдаваться в психологический анализ, что, вообще говоря, не входило ни в круг его возможностей, ни в круг его обязанностей. По словам учителя, он встретил эту женщину, возвращаясь домой, и даже спросил ее, как она поживает, на что получил лаконичный и крайне невежливый ответ, ставящий под сомнение не только его нравственность, но и способности отца семейства и гражданина, – и это было так незаслуженно и несправедливо, что учитель вошел в свою квартиру со слезами на глазах, что подтвердила впоследствии жена учителя, особа правдивая, энергичная и мужественная, но, к сожалению, почти совершенно глухая.

Вторым человеком, видевшим эту женщину, был депутат ближайшего избирательного округа, приехавший в город Т. на два дня с тем, чтобы в дальнейшем отправиться в Париж; его показания отличались точностью, но удивили всех тем, что, по его рассказу, женщина эта обратилась к нему на иностранном языке, которого он не понял. Это странное заявление могло найти себе, однако, частичное объяснение в том, что депутат большую часть жизни провел в своем департаменте, на наречии которого он привык говорить, и потому неожиданная и бегло сказанная французская фраза могла ему показаться иностранной. Будучи человеком строгой нравственности и, кроме того, не желая вводить себя в какой бы то ни было расход, депутат уклонился от всякого разговора с этой женщиной и продолжал свой путь.

Несколько позже было получено письмо от еще одной свидетельницы, подписавшейся «мадам X» и объяснившей свой анонимат соображениями фамильного порядка. «Вы понимаете, господин председатель, – писала неизвестная, – что бывают случаи, когда порядочная и ничем не

запятнанная женщина, виновная только в непреодолимом влечении сердца и не желающая разрушать свой семейный очаг хотя бы в интересах выяснения страшной тайны, имеющей общественное значение, – должна скрыть свое имя от праздных и любопытных взоров толпы». Бесспорное совершенство стиля обличало в авторе письма женщину высшего общества, и одного этого было достаточно, чтобы ее показания приобрели особенный интерес. В письме пространно рассказывалось о том, как «пожилая и чудовищно накрашенная дама» медленно проходила по улицам; говорилось о неверной походке этой дамы, «точно вышедшей из сочинений Гофмана и во всем напоминающей некоторые фантастические персонажи, характерные для туманной и мистической германской литературы», говорилось о «нездоровом блеске глаз, странно не гармонировавшем с увядшим лицом», говорилось о многих других вещах; письмо изобиловало цитатами и ссылками на всевозможных авторов, но, к сожалению, не заключало в себе почти никакого фактического материала и, несмотря на несомненную литературную ценность, совершенно до тех пор невиданную в городе Т., не сообщало, в сущности, никаких новых данных.

И наконец, на последнее место следует поставить несвязный рассказ пьяного матроса, жителя города Т., неоднократно судившегося за кражи и приехавшего в отпуск: он говорил о вовсе невероятных событиях, абсурдность которых равнялась только невозможности их изложения; лицо матроса, впрочем, было до крови исцарапано в борьбе с этой женщиной, за которой он, в отличие от всех, отказывался признать какие бы то ни было женские черты, исключая платье; и показания трех членов исполнительного комитета имевшей в ближайшем будущем образоваться политической партии, еще не определившей свою окончательную программу, – заседание которого затянулось до очень позднего часа. Из окна они увидели стремительно бегущую по улице женщину с развевающимися волосами; но, добежав до угла двух центральных улиц города, она остановилась, тотчас же бросилась обратно и скрылась через секунду в душной тьме.

И анонимному исследователю оставалось бы только подчеркнуть, что было поздно и темно; кое-где, разделенные большими и глубокими пространствами тьмы, горели редкие огни; высоко над городом пролетел аэроплан, и красный свет его хвоста был похож на раскаленную и бесконечно далекую планету, совершающую свой воздушный путь в чьем-то смертельном и последнем сне.

Таковы те факты, которые предшествовали дню смерти господина Бернара. Странная их бессвязность, представляющаяся явной в изложении, основанном на принципе последовательности, должна быть, по-видимому, рассматриваема как чистейшая материальная условность. Внешний облик всех этих вещей показался бы анонимному исследователю неубедительным и неверным; и следовало бы предположить вторую и, в данном случае, идеально-гармоническую схему внутреннего развития событий, накопления неудержимого психического волнения, непосредственное соприкосновение которого с условным, несущественным миром реальных и неизменных понятий вызвало страшное душевное потрясение, за которым оставалась смерть. Во всяком случае, самое последнее событие, даже в его описательно-фактической передаче, не было лишено печальной и фантастической убедительности; потому что утром следующего дня на набережной реки был найдет труп этой почти мифической женщины, в точности соответствующий многочисленным предварительным описаниям – яркое платье и густой слой краски на увядшей и усталой коже одутловатого лица; и только после того, как труп был раздет и краска смыта, глазам тех, кто это должен был делать, предстали мертвое тело и лицо господина Бернара.

ВОСПОМИНАНИЕ

> Очнусь ли я в другой отчизне,
> Не в этой сумрачной стране?
>
> *А. Блок*

Необъяснимым и необыкновенным событиям в жизни Василия Николаевича предшествовала, как это ни странно, самая важная вещь, случившаяся с ним за последние годы, именно счастливый брак с девушкой, в которую он был очень влюблен и которая в свою очередь тоже считала Василия Николаевича самым замечательным человеком на свете и самым лучшим мужем, о каком только можно было мечтать. Их семейное счастье находилось еще в самом первоначальном периоде, они поминутно брали друг друга за руки, почти не разлучались, и глаза их были туманны и невыразительны; то, что говорилось и делалось вокруг них, едва до них доходило, и непрекращающееся состояние этого очевидного для других одурения свидетельствовало о том, что это было самое настоящее счастье. Окружающие относились к ним либо с раздражением – есть же все-таки границы, согласитесь, что... – либо с завистью – и подумать, что и я в свое время знал... нет, это все-таки лучше всего, что может быть... – либо с умилением и тихим восторгом, как мать новобрачной, которой белая фата дочери и обряд венчания жалобно и сладко напомнили такую же торжественную обстановку ее собственного брака и первого ее романа – потому что все остальные романы, будучи иногда даже более приятными, были все-таки – в силу их повторности – лишены раз навсегда такого декоративного и церковно-хорового сопровождения. В тугом воротничке на напряженной шее, в новом и неуютном костюме Василий Николаевич делал с женой визиты, сопровождал ее к портнихе, откуда она выходила

через час и говорила сдавленным голосом: – Мой любимый, я заставила тебя ждать, – но Василию Николаевичу и ожидание было нипочем; он гулял по тротуару, немного ежась от холодного ветра и мечтая о том, что вот она выйдет, они сядут в автомобиль и поедут домой, и тогда, наконец, он скажет ей, если сумеет, как он ее любит и как вся жизнь, которая... Но с разговорами все как-то не выходило, и, вообще, было очевидно, что дело совсем не в разговорах, а в чем-то невыразимом и замечательном, для чего нет ни слов, ни объяснений, – есть, быть может, только музыка, – как однажды сказал, уже в совершенном исступлении, Василий Николаевич своей жене, которая с ним согласилась, как она соглашалась со всем решительно, что он говорил, никогда не вникая в смысл этого и чувствуя, что это неважно.

Было приятно еще и то обстоятельство, что материальные дела Василия Николаевича, в последнее время пришедшие было в некоторый упадок, вновь стали значительно лучше, благодаря неожиданным заказам, – и небольшая фабрика, хозяином которой он был, работала полным ходом. Всем казалось, – и Василию Николаевичу так же, как другим, – что он, наконец, достиг самого полного счастья, о котором может мечтать человек. Жизнь его была полна; он покупал жене цветы, которые она любила, и ему казалось, что эта черта в ней тоже удивительна и замечательна и отличает ее от других, хотя опыт должен был бы ему напомнить, что решительно все женщины любят цветы и это известно уже несколько тысяч лет, но опыт для него перестал существовать; она покупала ему галстуки, которые он находил прекрасными, хотя галстуки были обыкновенными и даже, скорее, с уклоном к неприятной яркости цвета, которой Василий Николаевич в прежние времена избегал. И наплыв чувств, в котором находились Василий Николаевич и его жена, был настолько силен, что со стороны, сквозь эту чувствительную поверхность, нельзя было – в этом периоде – даже рассмотреть как следует молодоженов и представить себе, что они за люди, – так мутны и условны были их очертания. И хотя им обоим казалось, что это лучшее время их жизни

и что, стало быть, лучшие их качества именно теперь проявлялись с самой большой силой, это было верно только в одном и чрезвычайно ограниченном смысле – в той несомненной и острой сладости ощущений, которую они чувствовали, но которая зато лишила все остальные стороны их существования какой бы то ни было содержательности. Жена Василия Николаевича, женщина южной, тяжелой и скоропортящейся красоты, была, казалось, создана для космических переживаний, – и одно это должно было бы внушить ему некоторые опасения, – но не внушило; напротив, ему самому стало казаться, что и он создан для этого. Все складывалось как нельзя лучше и удачнее; и родители его жены были милейшие люди, вдобавок с некоторыми личными средствами; и квартира, которую они сняли, оказалась чрезвычайно подходящей во всех отношениях и недорогой, и мебель была прекрасная, и так уютны глубокие диваны, и так выдержаны солидный и, вместе с тем, современный стиль кабинета Василия Николаевича и декоративно скромные полки с книгами, которых он не читал; и приятно было бережно-внимательное отношение окружающих к молодым, которые точно боялись как-нибудь задеть или потревожить это бесспорное счастье. И даже обычная мысль, неизменная во всех обстоятельствах прежней жизни Василия Николаевича, – а что будет дальше? – теперь совершенно потеряла свой тревожный характер и вообще почти исчезла, заменившись созерцанием очень светлых, хотя, в сущности, бессодержательных перспектив. Но если у Василия Николаевича было все-таки чему исчезать, то его жена, Надежда, не была обременена никаким душевным прошлым, если не считать естественной жажды замужества. Все, что не касалось этого вопроса, имело для нее всегда лишь относительное и поверхностное значение. – Теперь, Надя, когда ты знаешь, что такое жизнь... – сказала ей как-то ее мать, – и когда ты меня поймешь... – Она не ошиблась в своих ожиданиях, так как ее дочь имела о слове «жизнь» совершенно такое же представление, как она сама. Отец Надежды, – он был лет на двадцать старше своей жены, – принадлежал к числу стариков размякших, как это заметил один из прия-

телей Василия Николаевича, человек, в общем, неплохой, но с неискоренимой привычкой к уточнениям и формулам и который сказал Василию Николаевичу, что, по его мнению, существуют два способа стареть: – Одни, ты понимаешь, Вася, – говорил он, – к старости точно твердеют и ссыхаются, это все больше маленькие, худые люди холерического, так сказать, характера; другие же, наоборот, распускаются, размягчаются, это, Вася, чаще всего сангвиники, которые в свое время были очень не дураки выпить и большие ходоки по женской части. – Но и не соглашаясь вполне с этим суждением, тестя Василия Николаевича следовало отнести ко второй категории стариков. Его все умиляло, особенно счастье его дочери, он все обнимался и целовался с молодыми, очередные слезы появлялись на его глазах с красными жилками, и он говорил: – Вот, как хорошо, милые мои, вот так-то по-хорошему; вот и слава Богу. А в России что делается, читали? Народ в церковь идет, сила просто. Поняли люди, одумались, – и он шумно сморкался и все никак не мог оправиться от утешительной мысли о России и от созерцания счастья своей дочери. – Ну, вот, милые, и хорошо, честное слово. – И только однажды, в силу какого-то случайного и мгновенного возврата мысли, когда дочь вышла из комнаты, он подмигнул Василию Николаевичу и сказал: – Ну, как, молодец девочка, Вася, а? – и Василий Николаевич искательно и напряженно улыбнувшись, вспомнил фразу о стариках холерического и сангвинического характеров. Но это было мельком и всего один раз, все же остальное время старика не покидало умиленное состояние.

Теща являлась чаще всего с гастрономическими подарками – пирогами, кулебяками, пирожками, куличами, окороками, пасхами, колбасами, – кулинария вообще была ее слабым местом, и в этом она сходилась и с мужем, и с дочерью, и Василий Николаевич никогда столько не ел, как в это время, но постепенно вошел во вкус этой удивительной жизни, состоящей из обедов, объятий и сна и вообще всего этого рубенсовского великолепия, не заключавшего в себе, однако, в противоположность вдохновению великого художника, ни одной отвлеченной мысли. Так

проходили недели и месяцы неувядаемого, казалось бы, счастья. Казалось, ничто, кроме внешней катастрофы, не могло бы его нарушить, но не было ни внешних катастроф, ни даже какой бы то ни было их опасности. И нужно было редчайшее и невероятное соединение давно потерявших силу и исчезнувших вещей для того, чтобы судьба Василия Николаевича определилась и стала совершенно не похожа на ту, какой должна была бы быть.

Это началось с того, что однажды утром Василий Николаевич проснулся с сильными болями во всем теле – болели мускулы плеч, рук, ног и спины. Он помнил, что видел сон, но восстановить его не мог, как ни старался. Боли, которые прошли через два часа, были приписаны простуде и в течение нескольких дней не повторялись. Смутный сон Василия. Николаевича, однако, не исчез. Ему никак не удавалось его вспомнить, но то, что сон был, он знал твердо, и даже знал, что каким-то странным образом сон был связан с этой непонятной и быстро прекратившейся болезнью. Через два дня боли опять появились. На этот раз он запомнил из сна очень синее небо и солнце, и больше ничего; в дальнейшем исчезло и это, но теперь уже регулярно, через день, стала повторяться эта необъяснимая усталость. Жена Василия Николаевича слышала, как он стонал и кряхтел во сне. По настоянию Надежды Василий Николаевич обратился к доктору по внутренним болезням, который констатировал незначительное нарушение обмена веществ. И хотя гипотеза о нарушении обмена никак не могла объяснить состояние Василия Николаевича, – о котором доктор мог судить с еще меньшей достоверностью, чем сам больной, – доктору был уплачен гонорар, и в течение нескольких дней соблюдалась диета, решительно ничего не изменившая. В дальнейшем Василий Николаевич врача не звал и вообще не обращал внимания на утренние боли, которые, к тому же, каждый раз быстро проходили. Но первый свой сон он никак не мог ни вспомнить, ни забыть. Был май месяц, солнце светило по-летнему, и жена сказала Василию Николаевичу, что он за несколько дней загорел, и похвалила кожу его лица. Василий Николаевич, оставшись один, посмотрел в

зеркало – был светлый день, солнце освещало квартиру, шевелились от легкого ветра занавески окна, – и вдруг ему показалось, что оттуда, из страшной стеклянной глубины на него глядят чьи-то чужие, пристальные глаза на темном и знакомом, и незнакомом лице. Он невольно оглянулся по сторонам, – кругом было пусто, с улицы пожилой певец грузного сложения пел глубоким басом:

Je me sens dans tes bras si petite[1]...

И только тогда Василий Николаевич понял, что в его жизнь вошло нечто новое и что с этим нельзя не считаться.

Счастье продолжалось по-прежнему, но уже не стало той бездумности, которая была для него характерна, и появились кое-какие сомнения; они к нему не относились и его, в сущности, не задевали, это было о другом; но еще совсем недавно ничему «другому» не было доступа в эту, такую по-своему законченную, такую совершенную жизнь. Мучительно было то, что Василий Николаевич не понимал своего состояния и не мог найти даже отдаленнейшего его объяснения. Так, счастье его, как бы переключенное теперь на переменный ток, продолжалось до того дня, когда он испытал сильнейшее потрясение, еще более сильное, чем то, когда он увидел в зеркале далекие и темные глаза. Это произошло за обеденным столом.

– Я сегодня сама приготовила, Васенька, – обстоятельно сказала жена, – сама, Васенька, приготовила по маминому рецепту, можешь себе представить что? никогда не угадаешь – фасоль. Делается она так: берется фасоль... впрочем, ты не поймешь. Но вот ты попробуй.

– Мне не надо пробовать, дорогая, – сказал Василий Николаевич, – чтобы знать, что это прелестно, как все, что ты делаешь.

– Нет, я не хочу такого одобрения заранее. Я хочу, чтобы ты оценил.

Но когда она приподняла крышку блюда, на котором была фасоль, приготовленная по рецепту ее матери, и горячий ее запах распространился в столовой, она подняла глаза на Василия Николаевича – и замерла. Он побледнел,

[1] Я чувствую себя такой маленькой в твоих руках... (*фр.*)

лицо его изменилось до неузнаваемости, чужой его взгляд был неподвижно устремлен прямо перед собой. В эту секунду, в ярком свете весеннего дня, вдыхая давно знакомый запах, он вдруг явственно увидел весь свой сон, которого не мог вспомнить. Он увидел очень синее небо, горячее солнце, темные тела вокруг себя, почувствовал запах вареных бобов и запах пота и увидел себя самого: почти обнаженный, с ободранной кожей на плечах, темный, как все остальные, он сидел на теплом красноватом песке и пальцами ел бобы. Издалека доходил гнилой и влажный запах воды, всплески и чей-то монотонный крик. Сразу заныли плечи, потом заговорило несколько голосов, еще раз сверкнуло дрогнувшее в небе солнце, и потом все стало мерно шуметь и растворяться в неизвестно как надвинувшейся тьме, в которой слышались неторопливые удаляющиеся шаги. Потом они стихли, и только тогда Василий Николаевич услышал голос своей жены, которая повторяла: – Васенька, Христос с тобой, Васенька, это я, Боже мой, Вася! – Я... идти... – неверным голосом сказал Василий Николаевич и потом – он давно уже стоял, а не сидел за столом – тяжело упал на пол – то ли во сне, то ли в обмороке. Через полчаса он открыл глаза и увидел Надежду, очень обрадовавшуюся. – Вот, всё из-за фасоли, я говорила маме, – быстро сказала она, – я ей сколько раз говорила, всё у тебя новости кулинарные, всё новости, слава Богу, и так блюд достаточно, Вася любит мясо и шоколад, вот что Вася любит, а ты всё новости, и вот эта несчастная фасоль, я никогда больше, Васенька, ты можешь быть уверен...

На следующий день Василий Николаевич отправился к психиатру. Это был плотный немолодой человек с оттопыренными ушами и чрезвычайно обильной шевелюрой, начинавшейся чуть ли не сразу от бровей, отчего его лоб казался узким, и это впечатление еще усиливалось тем, что череп его был несколько сдавлен кверху. За стеклами черепаховых очков было невозможно разглядеть выражение его глаз. Едва только Василий Николаевич вошел в его кабинет, как на столе затрещал телефон. – Permettez[1], – сказал доктор, но не с вопросительной

[1] – Позвольте (*фр.*).

и извиняющейся, а с утвердительной интонацией. Чей-то быстрый голос, – Василий Николаевич слышал его измененный звук, так как телефон был совсем рядом, – что-то безостановочно говорил доктору. Потом наступила короткая пауза и доктор уверенно сказал в трубку тоном, предназначенным для категорической оценки каких-то третьих лиц:

– Сволочи.

Быстрый голос опять заговорил, по-видимому, что-то подробно излагая, и кончил вопросительной, высокой интонацией.

– Сволочи, – опять сказал доктор. Потом прибавил: – Продолжать, усиливая. До свидания.

И затем, обратившись к Василию Николаевичу, сказал:

– Я вас слушаю.

Василий Николаевич подробно рассказал все, что с ним случилось за последнее время. Доктор слушал, говоря в некоторых местах: – Да. Конечно. Несомненно. Да. – Потом, глубоко вдвинувшись в кресло, он спросил: – А в остальном, так сказать, в отправлении других функций организма, у вас все обстоит нормально?

– Насколько мне кажется, доктор...

– Как ваша фамилия?

– Кобылин.

– Нет ли у вас дурной наследственности?

– Насколько я знаю, нет:

Доктор поговорил еще некоторое время, сказал, что необходимо приступить прежде всего к анализу крови, затем вообще выяснить картину, представить себе, так сказать, как бы проекцию поражения, или, если хотите, – Василий Николаевич напряженно и внимательно слушал, – как бы некоторый снимок тех данных, совокупность которых определяет характерность тех или иных групп или признаков, которые и дают возможность если не окончательного, то, во всяком случае, имеющего известный вес суждения; и оно, в свою очередь, должно послужить базой для дальнейшего исследования предварительного анализа, который... словом, доктор был так же туманен и многословен в своих медицинских объясне-

ниях, как был ясен и лаконичен в телефонных разговорах. И как ни мало Василий Николаевич был сведущ в медицине, он увидел, что доктору его состояние представляется еще менее понятным, чем ему самому. На анализ крови Василий Николаевич не возлагал тоже никаких надежд, и, действительно, после этого анализа, не обнаружившего решительно ничего ненормального, психиатр произнес вторую длинную речь, столь же бессодержательную, как и предыдущая, но, в отличие от нее, уснащенную трудными терминами и даже несколькими цитатами, бесполезность которых была, однако, настолько очевидна, что это обескуражило Василия Николаевича и невольно смутило самого доктора.

– Да... Ну, вот что, – сказал доктор окончательным на этот раз тоном, так, точно теперь для него все стало совершенно ясно, – дело, в сущности, просто в некотором ослаблении, так сказать, контролирующих центров. Никаких иных тревожных признаков нет. Вы спрашиваете о лечении? – сказал он, хотя Василий Николаевич не спрашивал о лечении. – Оно должно заключаться в дисциплинированной жизни, в том, чтобы избегать излишеств. Мойтесь холодной водой, займитесь какой-нибудь работой – статистическими статьями, например, экономическими вопросами, даже литературой.

Вернувшись домой после второго визита к психиатру, Василий Николаевич пообедал, вечером пошел с женой в кинематограф и вообще вел себя так, словно ничего не случилось. Прошло два дня, в течение которых ничто не беспокоило Василия Николаевича. Потом прошла неделя без снов и кошмаров, и еще через некоторое время он стал во всем похож на прежнего Василия Николаевича и забыл о всяких душевных заболеваниях. В доме его продолжалась та же счастливая жизнь: утром Надежда в красном, расшитом и поминутно разлетающемся халате приносила ему кофе в кровать, он пил кофе и разговаривал с ней о совершенно незначительных, но милых вещах, – она рассказывала ему что-нибудь вроде того, что у них в России

был сад, а в саду тек ручей, а на берегах ручья рос французский салат, а в ручье водились форели и еще какие-то рыбы, кажется, вьюны, такие тупоголовые и желтовато-прозрачные. Она рассказывала о лошадях, о собаках, о ежах, которые так смешно и тяжело ходят по комнатам, о щенятах, о горничной Анюте, о кучерах, пастухах и охотниках, и из ее рассказов можно было судить о том, как жили в прежнее время ее родители, – праздно, шумно и бесполезно. Затем Василий Николаевич вставал, занимался своим туалетом и ехал к себе на фабрику, где оставался около часу, разговаривая по телефону и беседуя с директором, человеком, отлично знавшим свое дело, но страдавшим хроническими припадками печени, отчего у него было желтое лицо и странное выражение глаз, представлявшее собой смесь любезности и мучения. Тут же находилась секретарша Василия Николаевича, барышня двадцати двух лет, точно только что сошедшая со страницы журнала, приблизительно «La vie parisienne»[1], – с длиннейшими ресницами, чрезвычайно белыми волосами с таким серебряным отливом, от которого у Василия Николаевича когда-то давно, когда он не был еще женат, тревожно дрогнуло сердце, и которая говорила ему: – Dites, monsieur[2], – голосом, в котором была идеально уравновешена служебная деловитость с возможностью личных отношений. Затем он сходил вниз и кончил свой обход фабрики визитом в экспедицию, над которой начальствовал бывший полковник различных русских армий, лихой мужчина высокого роста, говоривший преимущественно неопределенными наклонениями и всем своим решительным видом соответствующий каким-нибудь героическим представлениям – баррикадам, атакам, артиллерийским дуэлям; но и здесь, в совершенно мирной экспедиционной работе, он чувствовал себя неплохо. С Василием Николаевичем он разговаривал любезно-снисходительно, как с абсолютно штатским человеком.

Затем Василий Николаевич ехал завтракать и чаще всего заставал либо тещу, либо тестя, и тогда начинался

[1] «Парижская жизнь» (*фр.*).

[2] – Говорите, месье (*фр.*).

разговор общего порядка. Тесть предпочитал сюжеты религиозные, теща – светские; но и в том и в другом случае на Василия Николаевича глядели бархатные, влажные глаза Надежды, с выражением, которое каждую минуту готово было измениться и стать таким нежным, что можно было забыть и про завтрак, и про разговор, и вообще про все на свете. После завтрака Василий Николаевич шел в кабинет, куда через полчаса приходила жена и где они продолжали тот же, много месяцев тому назад начатый и приятно затянувшийся, почти бессловесный разговор. Жена садилась Василию Николаевичу на колени, заглядывала ему в лицо, говорила междометиями и смешными домашними словами, которые знали только она и он; обсуждался вопрос, как поступить, если когда-нибудь будет ребенок, и как быть, если это – мальчик, и как быть, если это – девочка, и как воспитывать, и было решено, что предпочтительнее всего детей отправить в Англию; затем поднимался неразрешимый вопрос, как, с одной стороны – Василий Николаевич, с другой стороны – Надежда могли столько лет жить, даже не зная о существовании друг друга, и это казалось совершенно нелепым и диким, – настолько было очевидно, что они созданы для неразрывного, совместного счастья: – Ну, прямо, Вася, до смешного. – И Василий Николаевич даже не вспоминал, что разговор о том, кто для кого создан, происходил в его жизни уже несколько раз и что из этого, стало быть, следовало сделать вывод, что либо он был создан неоднократно, либо что он был создан для нескольких различных женщин. Но и в этом случае память и рассудок отказывались служить Василию Николаевичу, как для этих воспоминаний, так и для этих выводов. И если бы Василий Николаевич в этот период своей жизни обрел возможность думать, сопоставлять, сравнивать и рассуждать, он был бы глубоко несчастен, и бессознательное понимание этого удерживало его от размышлений; так было нужно, и именно так это и происходило. Совершенно в такой же степени ему были не нужны воспоминания о недавних кошмарах, и он забыл даже число и день своего последнего визита к психиатру. Главное было все то же найденное, наконец, счастье, неопределимое потому, что если бы его свести к внешним

признакам, о которых можно рассказать в нескольких словах, то убожество его казалось бы очевидным, и это не соответствовало бы истине.

Был конец мая, деревья давно распустились. В прежние времена весной Василий Николаевич обычно себя плохо чувствовал: болела голова, было неприятное ощущение во рту, как-то тянуло <под ложечкой>, и все хотелось чего-то неопределенного: то ли уехать, то ли помолодеть, то ли заснуть и не проснуться, то ли полюбить замечательную женщину в дорожном полуспортивном костюме, в маленькой шляпе, блондинку среднего роста, по-видимому, англичанку, со сверкающими зубами, синими глазами необыкновенной величины и чуть-чуть холодноватыми губами. В этом же году весна была лишена каких бы то ни было смутных чувств и желаний. Василий Николаевич уезжал с женой на автомобиле за город, в лес, где еще оставалась уходящая прохлада в легких сумерках, и однажды, на обратном пути, пошел на ярмарку: заходил к предсказательницам, смотрел на облезлых диких зверей, играл в рулетку и кончил тем, что вошел в цирк. Ему, однако, неизвестно отчего стало не по себе, когда под трескучую музыку бравурного циркового мотива вышел человек, который сразу не понравился ему своей упругой и быстрой походкой, что-то смутно ему напоминавшей. Человек этот был в белой рубашке и белых штанах, вокруг его талии шел широкий кожаный пояс. На французском языке с сильным южным акцентом он произнес несколько слов, в которых объяснил, что номер, который он будет иметь честь показать уважаемой публике, – он твердо выговаривал «р» в слове honneur[1], – чрезвычайно труден, требует многих лет практики и показывается впервые, во Франции. На противоположном конце барака установили большую доску с грубо нарисованным женским силуэтом. Музыка стихла. Человек вынул из-за пояса короткий нож, поднял его, держа черенок большим и указательным пальцами правой руки, размахнулся и с силой пустил его в доску; – и с глухим, коротким звуком нож вонзился над головой изображения, Василию Николаевичу стало очень

[1] честь (*фр.*).

неприятно, он испытал непонятное раздражение и увел свою жену в ту минуту, когда человек в белом метнул следующий нож, почти пригвоздивший правое ухо нарисованной женщины к доске.

И вот глухое и непостижимое беспокойство вновь вернулось к Василию Николаевичу. Снов не было, болей не было, усталости не было, но были смутное раздражение и тревога, похожая на предчувствие. Но Василий Николаевич напрасно искал вокруг себя что-нибудь, что могло бы дать повод к волнению; все было хорошо и безмятежно, все успокаивало его, точно всем своим существованием хотело ему показать, что нет ни предчувствия, ни страха, ни тревоги, что все уже дано и заключено в этом мире – душевный отдых, счастье, любовь, теплый воздух поздней весны, ночная глубокая тишина улицы. А тревога не прекращалась. Ночью Василий Николаевич иногда просыпался, зажигал бра над кроватью и подолгу смотрел на жену, которую никогда не будил свет, смотрел на изменившееся ее лицо, черные тугие волосы, лежавшие на подушке, на сомкнувшиеся ресницы над закрытыми глазами. Затем он снова засыпал и слышал сквозь сон чей-то низкий голос, певший песнь, слов которой он не мог разобрать. И с каждой ночью все ближе звучал знакомый мотив, все слышнее становились отдельные слова романса, с каждой ночью он точно все глубже и глубже погружался в неизвестную и темную влагу, в далекий ночной океан. Иногда ему казалось, что он слышит привычный звук моря и всхлипывающий шум волны от удара об отвесный камень. Он прожил несколько ночных недель в этом состоянии, и с каждым днем тревога становилась ближе и очевиднее – совершенно так, как если бы с ним что-то неминуемо должно было случиться.

В тот день, когда это произошло, он вернулся домой поздно, после шумного обеда у знакомых, со множеством приглашенных; и едва он разделся и закрыл глаза, как заснул глубоким сном. Через некоторое время, однако, он проснулся, и прислушался. В доме было прохладно и тихо; но прошло несколько, секунд, и знакомый голос запел ту же песнь, которую он теперь ясно слышал. Потом тихо зажурчала вода, чуть слышно плеснуло весло, красное пламя озарило холодные каменные своды, послышались

крики и удары и низкий голое, только что певший песнь, захрипел в последний раз и умолк. Он вскочил с кровати, едва одетый, с обнаженным торсом и держа в руке длинную и узкую шпагу, бросился к открытой двери и увидел перед собой толпу вооруженных людей. Они теснили его, он отбивался, вонзил и мгновенно выдернул шпагу и постепенно отходил к окну, которое квадратным воздушным пятном смутно рисовалось за его спиной. Он уже вплотную приблизился к нему, не переставая отражать удары; но толпа внезапно отступила, по коридору раздались легкие шаги, и упругой походкой в комнату вошел человек, одетый в белый шелк. Василий Николаевич ощущал холод железной балюстрады окна на спине, правая рука его, державшая шпагу, была вытянута вперед. Он уже почти сделал движение, чтобы, несмотря ни на, что направиться к двери, но в это мгновение человек с упругой походкой поднял руку, и брошенный им короткий нож с силой вонзился в обнаженную грудь Василия Николаевича над сердцем. Что-то хрустнуло, потемнело в глазах, и, медленно перевалившись через балюстраду, Василий Николаевич тяжело упал в холодную воду канала.

Поздно утром жена его, видя, что он не шевелится, стала его звать и трясти, но бледное лицо его оставалось неподвижным. Тогда она обрызгала его водой, он, наконец, открыл глаза и долго смотрел на нее, не понимая. Потом он спросил: – Они ушли? – Кто, Васенька? – Но в эту минуту он уже приближался с судорожной и непостижимой быстротой – хлопали ставни, вдали умирали голоса, журчала вода вокруг мгновенно погружающегося тела – к пониманию того, что с ним происходило в данный момент, и сказал, что это он со сна, что ему снилось, будто у них много гостей, которые должны были уйти и все не уходили. – Я прямо думала, Васенька, не в обмороке ли ты, – сказала Надежда, – такой ты был бледный и не просыпался.

Василий Николаевич хотел остаться один, но это ему удалось не так скоро. Был праздничный день, к завтраку пришли тесть и теща и еще один молодой человек, давнишний и безнадежный поклонник его жены, друг ее дет-

ства и бывший ее жених, за которого она не вышла замуж только потому, что встретила Василия Николаевича, – и это нанесло молодому человеку непоправимый удар, так как он всю жизнь чувствовал себя – и действительно был – женихом Наденьки; и теперь, когда это основное его качество оказалось упраздненным, он совершенно растерялся и всем стало очевидно, что вне системы этих представлении – жених, невеста, брак – молодой человек почти не существовал. Он вообще принадлежал к той особой породе людей, которые становятся заметны лишь в сколько-нибудь выдающихся или необычных обстоятельствах, – как тусклая страница, написанная симпатическими чернилами и которой буквы выступают только после действия огня или химического реактива; как облака на ночном небе, видные только при свете пожарного зарева. И была необходима чья-нибудь смерть или вообще большое несчастье, которое переживал бы этот человек, для того, чтобы он стал заметен, и не потому опять-таки, что он сам изменялся, но из-за того, что фон, на котором это происходило, придавал всему зловещую убедительность. Именно так было непосредственно после свадьбы Наденьки с Василием Николаевичем, когда на бывшего жениха действительно было жалко смотреть. Но по мере того, как проходило время, жених все больше тускнел и впадал в прежнюю тревожную незначительность. И несмотря на то, что Наденька очень жалела и всячески ободряла его, – ничто уже не могло ему вернуть прежнего его смысла, и его несущественная улыбка, обнажавшая игрушечные зубы, тоже никого не могла ввести в заблуждение. За столом говорилось о механическом прогрессе и сумерках культуры, что тесть объяснял упадком религиозного чувства, а теща разнузданностью современных нравов; а молодой человек сказал, что человеческие чувства так же подвержены смерти и забвению, как живые люди – что к культуре, собственно, отношения не имело, а было обращено к Надежде в виде косвенного упрека, которого она, однако, не поняла, так как в эту минуту была слишком занята едой. Таким образом, замечание о смерти чувств вообще не получило должной оценки ни с

чьей стороны – на родителей Надежды рассчитывать не приходилось, особенно на мать, которая слышала и понимала, подобно большинству людей ее возраста, только то, что она говорила сама, или то, что совершенно совпадало с ее мнением. Василий Николаевич тоже не обратил внимания на фразу о смерти чувств, – а, вместе с тем, за все время завтрака это была единственная фраза, в которую было что-то вложено, в данном случае – все несомненное отчаяние бывшего жениха, долгие ночи с прерывающимся сном, особенная, сухая жажда чувств и настоящая печаль. Но никто из присутствующих не мог бы теперь это понять. Разговор продолжался, впрочем, перейдя от тем отвлеченных к темам гастрономическим, и тут главную роль стала играть теща, знания которой в этой области были, действительно, обширны, потому что на это ушла вся ее жизнь; в то время как другие занятия носили временный характер, это было неизменно, – это и еще женские болезни.

Когда после завтрака тесть и теща начали собираться, Василий Николаевич сказал жене, что он их проводит, немного пройдется и вернется домой через час. Расставшись с ними у первой стоянки такси, он пошел в небольшой сквер, сел на скамейку и попытался обдумать и понять события последней ночи.

Василий Николаевич совершенно не привык углублять или анализировать вещи, которые с ним происходили, и с ним и не случалось ничего сложного. Или если сложность и бывала, то она была практического характера. Раньше, в крайней молодости, Василий Николаевич испытывал иногда нечто неопределимое и смутное, хотелось чего-то совершенно неизвестного и неизвестно чего. Но давно уже его желания определились, и до сих пор он бывал несчастен, когда они не осуществлялись, и счастлив, когда осуществлялись, – словом, внешне все было просто. То же, что происходило с ним теперь, не было похоже ни на одно состояние, которое он знал или о котором он когда-нибудь слышал. Но он твердо знал, что это состояние не могло быть названо сном. Он знал еще и то, уже совершенно необъяснимое обстоятельство, что после падения в канал он остался жив, что удар ножа не был смертельным.

Чем больше он думал над этим, тем больше убеждался, что это было его личное воспоминание или нечто совершенно ему тождественное. Но он не мог сделать никаких положительных выводов из всех своих размышлений, кроме исторических: было очевидно, что это происходило в Венеции, по-видимому, в эпоху братоубийственных распрей; он смутно, казалось ему, видел перед этим пожилую женщину в синем платье, вероятно, его мать; голос, который пел песнь, принадлежал, быть может, его брату, убитому в ту ночь, когда он сам падал с вонзившимся в грудь ножом из окна в канал. Он потер себе лоб и пошел, наконец, домой, решив не думать и не вспоминать более ничего. Но сделав несколько шагов, он сразу остановился, точно его задержали, и внезапно, без всякого заметного для него перехода, понял все. Он стоял посредине тротуара и думал; мимо него проехал маленький мальчик на trotinette[1], прошла толстая дама, от которой густо пахло смесью женского пота с духами жасминового оттенка, вслед за ней, молодцеватой походкой на подозрительно прямых ногах, прошел, героически покашливая, невысокий человек с седыми усами довоенного вида, мутным левым глазом – правый был красив и идеально неподвижен – и Почетным легионом в петлице, за этим человеком шел рабочий в кепке, с открытым и перекошенным ртом, на нижней губе которого был прилипший, коричнево-желтый и пропитанный слюной окурок; Василий Николаевич видел всех этих людей как сквозь сон, восстанавливая в памяти единственный разговор, который у него был однажды с неизвестным русским, с которым он говорил тогда в первый и последний раз. Разговор этот происходил в приемной врача, где им обоим пришлось ждать очень долго, и неизвестный собеседник сразу же заинтересовал Василия Николаевича своей небрежной и, вместе с тем, убедительной манерой изложения того, что он высказывал. Речь шла сначала об одном немецком художнике, изображавшем чудовищные привидения, потом перешла на темы теософские и необъяснимые, казалось бы, явления.

---

[1] самокате (*фр.*).

– К теософии я отношусь недоверчиво, – сказал собеседник Василия Николаевича; у него были серые глаза, хороший костюм, светлые волосы, что еще? кажется, ничего замечательного, – это все неудовлетворенные дамы, знаете. Увлечение, которое основано на невольном и длительном воздержании, это может быть и иной род неудовлетворенности, конечно, – цена ему небольшая. Хотя, конечно, это играет большую роль – взять хоть историю святых.

– Позвольте, – сказал Василий Николаевич, – за дам я не заступаюсь, допустим, что это так, но святые... мне кажется, что источники их вдохновения были совсем другого порядка.

– Иногда да, иногда нет. Конечно, нельзя сделать такое произвольное и абсолютное обобщение, это была бы грубейшая ошибка. Но что этот элемент нередко входил в их жизнь и что он чрезвычайно близок чувствам религиозного порядка и почти, быть может, идентичен им, на это есть множество данных. Но в том, что касается необъяснимых явлений... – он задумался.

– Кажется, большинство психических феноменов... – начал Василий Николаевич. Но неизвестный собеседник вдруг, прямо посмотрел ему в глаза и спросил:

– А знаком ли вам биологический закон о том, что филогенезис повторяет онтогенезис, другими словами, что история развития индивидуума повторяет историю его рода?

– Нет, не помню, – с сожалением сказал Василий Николаевич.

– Ведь, в конце концов, – продолжал собеседник, – сознанию доступна лишь незначительная часть мозга, как, скажем, небольшой сектор в окружности. Там – все наши знания, вся наша теперешняя память, словом, все, чем мы живем. Но в остальных, в неизвестных нам пространствах, – сказал он, понизив голос, – что в них заключено? Надо думать, воспоминания об удаленных на столетия временах, знания забытых языков и еще множество вещей, пребывающих в тысячелетней летаргии. И если бы когда-нибудь могли это узнать...

Но в это время открылась дверь докторского кабинета и неизвестный собеседник Василия Николаевича, оборвав свою речь, быстро прошел туда. Когда он вышел, наступила очередь Василия Николаевича, и они даже не попрощались друг с другом. С тех пор Василий Николаевич видел этого человека только один раз, через три года после разговора у доктора; это было на одном из парижских вокзалов, куда Василий Николаевич провожал одну даму, которая в то время была создана для него, а он для нее, почти так же, как теперь Наденька, – и собеседник Василия Николаевича уезжал в том же поезде, но Василия Николаевича не увидал.

Он, наконец, обернулся по сторонам и заметил, что давно стоит на одном месте, и медленно пошел к дому. Тогда разговор с собеседником произвел на него теоретическое впечатление. Теперь это было совсем иначе, и все эти неопасные и умозрительные вещи вдруг стали ощутительной угрозой если не его жизни, то рассудку. Он шел по парижской улице опять, как в первый раз, когда увидел в зеркале глаза, солнечным днем и, вместе с тем, отчетливо чувствовал холодную сырость каменных сводов и неподвижную воду канала внизу, и было невероятно и страшно, что это могло существовать здесь же, рядом, преодолевая непостижимым образом его теперешнюю жизнь, Наденьку и Париж. И в силу чьего умолкнувшего проклятия теперь вновь, через четыреста лет... Василий Николаевич чувствовал, как все бежит перед ним, мучительно и неудержимо, в обратном непреодолимом движении, – вплоть до той минуты, покуда не послышится вновь упругая походка и не засвистит во влажном воздухе неотразимый полет ножа.

Он не заметил, как подошел к дому. По освещенной солнцем улице проезжали редкие автомобили, на коре дерева, росшего перед его окном, застыла струя клея; под чугунной решеткой, окружавшей его подножие, быстро проползла черная жужелица; высоко в синем воздухе пролетал аэроплан. Над верхушкой одного из ближайших каштанов висел, зацепившись, детский воздушный шар красного цвета; вдоль тротуара, вливаясь в горизонталь-

ный, параллельный поверхности земли, люк, текла бурая вода небольшого ручейка; на стене противоположного дома была афиша: «Locataires, vos droits sont menacés!»[1] Томимый непреодолимой печалью, Василий Николаевич открыл ключом парадную дверь и вошел в свою квартиру, сложно пахнувшую цветами, мылом и нафталином, в который Наденька только что уложила зимние вещи. Василий Николаевич попросил, чтобы ему сделали кофе, сел на свое кресло в кабинете и решил, что, во-первых, он ничего не скажет Наденьке, во-вторых, сделает все усилия, чтобы удалить от себя навсегда это венецианское воспоминание. И, закрыв глаза, он еще раз увидел перед собой далекий город над мутными каналами, в которые уходили ступеньки домов и белые паруса в вечернем воздухе, почувствовал тяжелый запах, поднимавшийся от загнившей воды, услышал еще раз необыкновенную тишину этого города в посвежевших, ночных отражениях фонарей, вздрагивающих от легкого плеска весла или прорезанных легким журчанием гондолы.

И воспоминание удалилось. Оно не исчезло окончательно, он слышал сквозь сон шум голосов и заглушенные звуки ударов, но это едва доходило до него, он просыпался от глубокого вздоха и снова засыпал почти прежним, счастливым сном. Но через две недели опять произошло нечто неожиданное: открыв глаза, он увидел, что находится на окраине деревянного города, лютой зимой, в толпе плохо одетых людей. Старик с седой бородой и худым лицом кричал, что наступили последние времена, что всем народом нужно... – ветер относил его слова и трепал его бороду. Вдруг в толпе произошло движение; Василий Николаевич обернулся. Сопровождаемый несколькими людьми, гораздо лучше одетыми, чем другие, запинающейся, но быстрой походкой прямо к старику шел высокий человек с дергавшимся ртом. – Антихрист! – кричал старик. Страшные глаза Петра – Василий Николаевич сразу узнал его – скользнули по его лицу и отвернулись, и над ледяной долиной, начинавшейся тотчас за жалкими деревянными домами, поднялся зимний густой туман.

[1] «Жильцы, ваши права под угрозой!» (*фр.*)

Утром Василий Николаевич сказал жене, что он с удовольствием поехал бы на юг, что он чувствует себя усталым, – вся эта парижская сутолока, Наденька, ты сама знаешь, что это такое. И Наденька не только согласилась с ним, но и сказала, что она предвидела это его желание. Это была ее любимая манера – посмотреть прямо в глаза Василию Николаевичу и сказать: – Я знала, что ты это скажешь, – и это лишний раз подчеркивало то несомненное и очевидное обстоятельство, что они были созданы друг для друга, и это постоянное угадывание Наденьки Василий Николаевич не мог не считать поразительным. Было решено ехать через два дня, тем более что родители Наденьки уже неделю находились в Ницце, где у них был дом, купленный еще чуть ли не в тысяча девятьсот десятом году. Василий Николаевич никогда еще не был у них в Ницце; приехав, он был поражен тем, что ниццкий дом в точности походил на парижскую квартиру его тещи. Даже книги были те же самые, тот же Салиас, Шеллер-Михайлов, Мамин-Сибиряк, Гусев-Оренбургский, о которых старик говорил с одобрением: – Вот, батюшка, писали, не мудрили, и жизнь была такая хорошая, а теперь что? – У тещи, однако, были более передовые вкусы: в ее комнате висел портрет Брюсова с небольшой бородой, тоже, довоенного происхождения, но уже с некоторым налетом модернизма, а среди книг попадались такие названия, как «Раскрепощенная женщина» и, конечно, «Обломки крушения»; встречались вообще заглавия, состоявшие, главным образом, из двух существительных, первое в именительном, второе в родительном падеже: «Ключи счастья», «Жена министра», «Конец дневника», – или, наконец, несколько отступая от правила о двух существительных, «Из красивого прошлого». Мебель была тяжелая, со скрипом, был старинный, с надрывом и гулом, самовар и, приехавший из Парижа, попугай, современник давнишней героической жизни тестя и тещи, которого не всегда показывали посторонним, потому что он говорил иногда нехорошие слова, которым был научен однажды, под пьяную руку, лет тридцать тому назад, и неумолимая его птичья память бережно сохранила их. Попугай был куплен тестем Васи-

лия Николаевича еще до его женитьбы, жил в его доме всю жизнь, и в то время, как все вокруг него старилось, изменялось и гибло, он оставался таким же строго-зеленым, как и в первый день.

Дом был двухэтажный, стоял в глубине сада, в котором росли побуревшие пальмы, и вся улица была застроена такими же домами; Василию Николаевичу стало казаться, что он попал в почти забытый, давно остановившийся мир: здесь все осталось таким же, как тридцать или сорок лет тому назад. На следующий день Василий Николаевич с женой отправился разыскивать себе виллу, которую хотел снять на два или три месяца, и нашел недалеко от Villefranche небольшой дом с тремя светлыми комнатами, выходивший одной стороной к дороге, другой – к глубокому обрыву над морем. Он подошел к окну и увидел отвесную скалу, <подле> которой, несколько правее окна, росло высокое дерево, обвитое ползучими зелеными листьями; внизу была светло-синяя поверхность воды, сквозь которую на дне были видны темные овальные плиты камней, покрытые водорослями; налево были невысокие дома Villefranche, бухта, лодки, мачты, паруса. В тот же вечер он переехал туда.

И Наденька, и ее родители считали, что с ним происходит что-то неладное и что ему необходим душевный отдых, – и потому никто из них не расспрашивал его ни о чем, никто не возражал против его желания идти гулять, когда время близилось к обеду, только жена неизменно говорила: – Иди, Васенька, будь осторожен. – Но он знал, что днем никакая опасность ему не угрожает. Он уходил из дому, шел берегом моря, прыгая с камня на камень, потом купался, заплывая далеко, так что дома начинали казаться маленькими, и с каждым днем все больше удалялся от той жизни, которую вел еще несколько недель тому назад в Париже. Выбравшись на берег, он лежал и глядел в набегающую волну и думал о том, как бесконечно давно знает этот шум, и движение зеленовато-синей воды,

и шорох откатывающейся гальки, и накренившийся, удаляющийся парус невдалеке. С наступлением вечера он возвращался домой и издали видел фигуру Наденьки в белом платье, с черными волосами; лицо ее загорело, зубы стали казаться белее, губы краснее, она совсем стала похожа на южную красавицу; и это лицо он знал тоже давно, не в первый, конечно, раз.

Но потом наступала ночь. Воспоминание, к счастью, не возвращалось, но появились другие вещи. Василий Николаевич видел, как он идет по глинистой, вязкой дороге, в сандалиях на босу ногу, и рядом с ним, в белой одежде из грубой ткани, шагает задыхающийся старик, и крик осла раздирает воздух. Он проходил сквозь дымные города, застроенные низкими домами, мерно бежал за высокими ногами верблюда, переплывал быструю реку на тяжелом вороном жеребце – и все это в крике чужих голосов на понятном, но не родном языке. Ему ясно запомнились смуглое скуластое лицо мальчишки, прискакавшего на поджарой кобыле, ее хвост был завязан узлом и брюхо забрызгано грязью, – который кричал ему что-то, вытягивая руку перед собой и удерживая испуганную, прыгающую лошадь, – и тишина ожидания, которая стояла вокруг и в которой терялся голос всадника.

Он уже давно, почти бессознательно, отказался от мысли о ненормальности своего состояния; он чувствовал, что оно было в данное время не более ненормально, чем его дневная жизнь, и так же неизбежно. Ложась спать, он ощупывал револьвер под подушкой; и когда он закрывал глаза, тотчас возникали желтые, осенние поля забытой страны, бег речной волны вдоль обрывистого берега, слышался удаляющийся топот лошади, потом скрип мачты, – влажный широкий ветер, бивший в лицо, и тихая вода небольшой бухты, на берегу которой были видны неторопливые фигуры невысоких темных людей.

Так прошел месяц. Потом наступил ветреный день; солнце было такое же жаркое, как всегда, но с неспокойного моря тянул холодок, шла крупная волна, и тело Василия Николаевича долго качало и оттягивало, пока ему, наконец, не удалось подплыть вплотную к камени-

стому берегу; он плохо рассчитал движения, и волна ударила его раньше, чем он ожидал, он наткнулся боком на камень и почти потерял сознание, но успел ухватиться за выступ скалы – и вылез, усталый и исцарапанный, с тяжелой головой и соленым вкусом во рту. Весь вечер он плохо себя чувствовал, рано лег спать и тотчас заснул глубоким и крепким сном.

Он проснулся с сознанием, что было слишком поздно. Под окном тихо зажурчала вода, дом озарился красным пламенем, захрипел и смолк голос за стеной. Василий Николаевич вдруг вспомнил о револьвере. Когда толпа людей отступила к двери и в тишине снова раздалась знакомая легкая походка человека в белом, он стоял у окна, и едва человек в белом показался на пороге, он поднял руку и выстрелил. Но было слишком поздно; он увидел, как пошатнулась белая фигура, но нож успел уже просвистеть в воздухе, и, тяжело перевалившись за балюстраду, Василий Николаевич упал вниз.

Выстрел разбудил Наденьку, спавшую в соседней комнате; она вбежала к Василию Николаевичу, но увидела пустую кровать. Тогда, обезумев, она бросилась из дому, добежала до Villefranche, где сообщила в полицию о необъяснимом и мгновенном исчезновении мужа, и на рассвете была уже в Ницце у родителей. Никто не знал, что случилось с Василием Николаевичем, море было по-прежнему бурным, и только через три дня Наденьке сообщили, что труп ее мужа выловлен рыбаками. Она бросилась туда, сдернула простыню, едва узнала лицо, заплакала и сквозь слезы увидела на почти незнакомой уже груди широкую рану, сделанную, по-видимому, багром, которым рыбак вытаскивал из воды тело этого, в сущности, неизвестного человека.

БОМБЕЙ

В Бомбей я попал, в сущности, случайно, в результате благоприятного и неожиданного стечения обстоятельств, которое произошло со мною за много месяцев до этой поездки и повторилось два раза. Это была встреча с мистером Питерсоном, о существовании которого я ничего не знал еще за секунду до знакомства, – точно так же, как он не знал о моем существовании. В пятом часу утра, после долгих блужданий по Парижу, я вошел в большое кафе Монпарнаса, на три четверти пустое. Стоял январь, была холодная и сырая погода. За ближайшим ко мне столиком сидел человек в добротнейшем расстегнутом пальто и в костюме такого особенного коричневого оттенка, который характерен, кажется, только для английских материй. На нем были черепаховые очки; сдвинутый назад котелок наполовину обнажал крепкий череп с густыми и короткими седыми волосами; кожа лица была желтоватая. Он был дальнозорок – я заметил, что он взглянул на меня поверх очков. Глотая кофе и сбоку посматривая в его сторону, я видел, что и он несколько раз взглянул на меня. Потом он, наконец, обратился ко мне на французском языке с сильнейшим английским акцентом и спросил, не приходилось ли мне задумываться над тем, почему некоторые люди, совершенно, в сущности, похожие на других, вызывают у вас такое любопытство и такое желание заговорить, которое невозможно объяснить непосредственными рациональными причинами. Мы начали разговаривать на эту тему, и с первых же минут я убедился, что мой собеседник был простодушный и искренний человек, благожелательно настроенный ко всему окружающему и удивительно любопытный к отвлеченным проблемам и вопросам искусства. Взгляд его на эти вещи был до крайности

наивен, и разговор его представлял интерес только внешней забавностью; было очевидно, что ни на какое сколько-нибудь глубокое и оригинальное суждение он не был способен. Но в нем была такая привлекательность, такая прозрачность всех его несложных чувств, что пребывание с этим человеком было несравненно приятнее, чем интереснейший разговор. Он точно носил с собой совершенно готовое представление о хорошо устроенном доме, крепкой семье, глубоких креслах, хороших сигарах, диккенсовской душевной уютности; он, казалось, возникал в классическом пейзаже старых деревьев, которые любило несколько поколений, глубокого пруда с неподвижной поверхностью и опрокинутыми, потемневшими отражениями листьев и ветвей, опушки леса в прохладный день прозрачной шотландской осени.

Наступило позднее январское утро, мы перешли в другое кафе, уже успевшее переделаться на дневной лад – со сменившейся дамой за кассой, с новыми, только что начавшими работу гарсонами; и мы продолжали говорить о множестве разных вещей и преимущественно о вопросах искусства, в котором ему все казалось необъяснимым и замечательным; особенно – литература. Ему представлялось непостижимым, что человек может вот так просто сесть и написать целую книгу и рассказать в ней много интересного и, главное, такого, о чем, казалось, никто не знал, кроме него, мистера Питерсона, и неведомо как догадавшегося об этом автора. До самого конца, однако, я не знал ни фамилии моего собеседника, ни кто он и откуда он. Но когда я как-то сказал: – Вы, как англичанин... – он тотчас поспешно запротестовал: – Нет, нет. Я не англичанин, я шотландец. – Он уезжал из Парижа в тот же вечер и, расставаясь со мной, успел только назвать себя и сказать, что живет обычно в колониях, не прибавив, где именно, и что если мне когда-нибудь представится случай... Я поблагодарил его – и мы с ним попрощались в одиннадцатом часу утра; он записал мою фамилию и адрес и уехал в гостиницу «Крийон» – я слышал, как он сказал это слово шоферу.

Прошло несколько месяцев, наступило лето. Я жил в маленьком средиземноморском городке, в четырех километрах от Villefranche, и пошел однажды купаться довольно далеко, по другую сторону мыса; там был скалистый, каменный берег с гротами и уступами, вырытыми ежедневным прибоем; и на моем любимом месте игрой воды и случая образовалось нечто вроде естественной лестницы из трех ступеней – очень плоский камень наверху, метром ниже второй, на который уже набегали волны, и еще ниже третий, подводный, покрытый зеленовато-бурым мхом совершенно удивительной мягкости. Прозрачная вода с ясно видимым дном неизменно обманывала глаз, и в первый раз, когда я попал туда, я спрыгнул, ногами вниз, собираясь встать, как я сделал бы это на мелком месте, – но ушел глубоко под воду и дна все-таки не достал. Потом я выяснил, что там было около пяти метров глубины.

Был неподвижный и знойный день с остановившимся морем, на берегу не было никого. Я поплыл сначала вдоль берега, потом к открытому морю, я плыл, не оборачиваясь и не видя берега, и когда я повернулся, направляясь обратно, я увидел, что на моем камне сидит какой-то человек, которого я не мог как следует различить. И только когда я совсем приблизился, я узнал мистера Питерсона. Над его глазами был роговой зеленый козырек; он был в рубашке без рукавов, расстегнутой на груди, по которой вились седые волосы, в коротких штанах нежнокремового цвета. Он удивился встрече со мной так же, как я изумился его совершенно неожиданному появлению, – и искренне обрадовался. – Очень, очень рад, – повторил он несколько раз, пожимая мою мокрую руку, – как вы сюда попали? – Потом он собрался купаться, спросил меня, глубоко ли здесь, и на мой ответ сокрушенно покачал головой. За его спиной лежали два купальных халата и старинного фасона трико, доходившее ему чуть ли не до горла, – тоже плотнейшей материи с красным вышитым треугольником «вверх ногами», в котором были инициалы J.P. – Джим Питерсон. Он осторожно влез в воду, окунулся – и вдруг поплыл чрезвычайно странным способом, в котором было

смешение всех стилей и грубейшее нарушение элементарных спортивных начал, не мешавшее ему, однако, чувствовать себя в воде совершенно свободно.

Он пригласил меня завтракать в свой пансион – и после этого мы провели вместе около трех недель, ездили повсюду, были в казино Монте-Карло, где мистер Питерсон, после долгих часов ожесточенной игры с крупными ставками, выиграл в общем около двадцати франков, были в ниццких кинематографах, осматривали достопримечательности всякого рода и окончательно условились о том, что, если я когда-нибудь буду в Бомбее, где он постоянно живет, я должен буду остановиться у него. Я сказал, что это было бы прекрасно, но что я, однако, сильно сомневаюсь в том, что мне удастся в течение ближайших лет попасть в Индию. – Почему, собственно? – Мистер Питерсон, подобно многим богатым людям, был введен в заблуждение некоторыми внешними обстоятельствами моей жизни, не имевшими, в сущности, никакого основания, – в частности, тем, что в Париже я явно бездельничал и жил, как полуночник, затем – ездил на юг отдыхать и, стало быть, мог бы так же съездить и в Индию. Стараясь избежать длительных и ненужных объяснений, я дал ему понять, что в настоящий момент состояние моих дел, совершенно, впрочем, удовлетворительное, не позволяет мне все-таки совершать дорогостоящие путешествия. – Да... – задумчиво сказал Питерсон. На следующий день он сделал мне предложение, на которое я согласился, и потом, попросив его не обижаться, заметил, что он поступил, как настоящий анекдотический шотландец, решения которого не носят, так сказать, молниеносного характера, и что я ценю его деликатность, – потому что если бы он предложил что-либо другое, то я вынужден был бы отказаться, и это вызвало бы тягостную неловкость и у меня, и у него. Питерсон предложил мне отправиться в Бомбей на одном из его грузовых пароходов в качестве единственного пассажира. Мы условились, что по прибытии в Марсель, примерно в январе следующего года, капитан этого парохода, который назывался «Lady Hamilton», даст мне телеграмму в Париж о том, чтобы я выезжал.

* * *

Я почти забыл об этом за долгие месяцы, прошедшие со дня отъезда Питерсона из Ниццы, куда я его проводил. В Париже, как всегда, я жил в состоянии постоянной душевной тревоги, которая доводила меня до печального и бесплодного исступления. Дела мои, вопреки успокоительным заявлениям, которые я сделал Питерсону, шли очень плохо, я был несчастен в любви и во всех своих начинаниях – словом, продолжалось все то, к чему я за многие годы такой жизни не мог привыкнуть и с чем не мог и не хотел примириться. Мне все казалось, что это недоразумение, я старался найти объяснение очень важных и непоправимых вещей в незначительных и внешних причинах; если бы, думал я, я сказал то, а не это или поступил так, а не иначе, то все было бы хорошо. Я упорно не хотел понимать, что все было гораздо более безнадежно и что я напрасно пытаюсь создать то, что от меня не зависит. Во всяком положении я искал новую, гармоническую схему представлений; но едва только я находил ее, все опять резко менялось к худшему, и эту утомительную и бесполезную постройку приходилось начинать сначала.

Я жил в роскошной квартире одного из моих хороших знакомых, двадцатипятилетнего испанца, с одинаковой легкостью говорившего по-английски, по-французски и по-итальянски, не считая, конечно, испанского, – и замечательность которого заключалась в том, что он должен был со временем получить очень крупное наследство. Это одно соображение казалось ему достаточным, чтобы вести комфортабельную жизнь и ни в чем себе не отказывать. На основании того, что он со временем получит наследство, он пользовался большим, хотя и прерывистым, как он говорил, кредитом. Меня с ним связывало одно давнишнее дело: у моего знакомого, очень богатого человека, я взял для него однажды несколько тысяч франков. Моего друга поразило, что я не потребовал комиссии; и когда я объяснил ему, что я не ростовщик и вообще в идеальной степени не коммерсант, он покачал головой и сказал по-испански какую-то короткую фразу, которой я, конечно, не понял. Но самым неожиданным было то, что знакомый, у которого я

взял деньги – жизнерадостный и, казалось бы, совершенно счастливый холостяк сорока лет, – через несколько дней отравился и умер, и долг, таким образом, оказался ликвидированным, тем более что человек этот был одинок и не имел даже отдаленных наследников. Несколько позже, чтобы отплатить мне за эту услугу, мой друг предложил мне снять у него комнату без каких бы то ни было денежных обязательств с моей стороны. Я поселился в его квартире, неподалеку от Булонского леса, – и только тогда мог составить себе точное представление о том, как именно проходила жизнь моего друга. У него было два главных врага, это были два общества, поставлявшие газ и электричество; с ними было чрезвычайно трудно сговориться, и они, собственно, были единственными кредиторами, которым он платил. Остальным он не платил ничего или почти ничего. У него всегда было несколько параллельных процессов в суде, от присутствия на которых он никогда не уклонялся; он приходил туда, прекрасно одетый, выбритый и аккуратный, и своим убедительным голосом изъявлял желание уплатить все сполна: – До последнего сантима, господин председатель, – и даже прибавить известную сумму, чтобы вознаградить очередного кредитора за все его хлопоты. Он прибавлял, что, к сожалению, его возможности в данный момент, тяжелая болезнь, которую он перенес, и вообще стесненные обстоятельства не позволяют ему в настоящее время... Впрочем, в доказательство своей очевиднейшей доброй воли, он готов внести немедленно некоторую сумму, скажем, двадцать или тридцать франков, остальное он будет уплачивать ежемесячными взносами. К несчастью, трудные обстоятельства и тяжелая болезнь, последствия которой лишают его в значительной степени трудоспособности, не позволяют ему платить больше ста франков каждое тридцатое число. Затем он выходил из суда, брал такси и ехал кататься по Булонскому лесу, чтобы несколько рассеяться, как он говорил.

У него были две страсти, первую из которых я разделял, – спорт и женщины. Мы вместе с ним ходили на футбольные матчи и теннисные состязания, оба ежедневно занимались гимнастикой и аккуратно посещали

купальню. Он был, в общем, человек редкой привлекательности и прекрасный товарищ; но его взгляды на кредиторов отличались совершенной беспощадностью, его искренне возмущало то, что мебельный магазин, у хозяина которого много миллионов, собирается описывать его имущество из-за каких-то восемнадцати тысяч. К описи он относился, впрочем, совершенно спокойно, был описан много раз и никакого неудобства от этого не ощущал; угощал судебного пристава портвейном, сочувствовал его собачьему ремеслу и держался с ним по-приятельски. Сумма его долгов, требующих немедленной уплаты, достигала, по его подсчетам, двухсот с лишним тысяч франков.

Но настоящим несчастьем его жизни были женщины. Раз в два или три дня, утром, когда я в купальных трусиках шел принимать душ в ванную, я встречал по дороге растрепанную и заспанную женщину, обычно в пижаме, чаще всего блондинку, которая нередко спрашивала меня, что я здесь делаю. Одна из них даже сказала мне крикливым голосом, что порядочные люди в таком виде по квартире не ходят; это привело меня в дурное настроение, и я в свою очередь высказал несколько соображений по поводу ее собственной нравственности, после чего она неожиданно набросилась на меня с кулаками, и я испугался ее непритворного бешенства. Мне пришлось держать ее за руки несколько минут, в течение которых она ругала меня последними словами и кончила тем, что попыталась меня укусить; тогда я захватил обе ее кисти в левую руку, а правой уперся ей в подбородок и поддерживал ее в таком безопасном состоянии. Я уже начал не на шутку уставать, тем более что она все время дергалась и пыталась вырваться, – когда она, наконец, сказала жалобным голосом: – Пустите меня, – легла на диван, заплакала и стала сквозь всхлипыванья говорить, что она совершенно порядочная женщина и что я напрасно думаю... Я заперся в ванной и ждал час, чтобы она ушла. Мой друг в таких обстоятельствах никогда не бывал дома, он исчезал рано утром. Когда я вечером его спросил, что это была за фурия, он только зажмурился и сказал: – Ужасная женщина, не говорите о ней, это приносит несчастье. – Я ему сказал, что

произошло утром, он ответил, что она способна на худшее. Действительно, через несколько дней она стреляла в него, но, к счастью, промахнулась, несмотря на близкое расстояние, и объясняла это тем, что очень волновалась. Но и это дело было каким-то образом замято, тем более что она оказалась женой какого-то состоятельного пятидесятилетнего иллюзиониста, как его называл мой друг. – Почему иллюзиониста? – Это был вопрос терминологии; мой друг считал его иллюзионистом потому, что тот полагал, будто жена его искренне любит и чувствует к нему непреодолимое влечение и что он вообще мог бы пользоваться успехом у женщин, если бы захотел; но ему было достаточно его личной семейной жизни. – В этом, впрочем, он прав, – сказал мой друг, – действительно достаточно и даже слишком.

Другие, как мы их называли, сотрудницы, были более мирные, но все же и здесь без осложнений не обходилось; и мне неоднократно приходилось вести разговоры с людьми, «лица которых дышали отвагой», как я бы сказал, если бы у меня в те минуты появилось желание шутить, – от которого я был чрезвычайно далек. Тогда же мне пришлось сделать одно неожиданное наблюдение: чем человек был физически внушительнее, тем легче с ним было сговориться, и чем он был незначительнее, тем это было труднее. Однажды для объяснений пришел мужчина громадных размеров и редкого атлетического совершенства; но он был снисходителен и добр до крайности и уж совершенно расцвел, когда узнал, что я лично его жены никогда не имел удовольствия видеть. Мы с ним дружески разговаривали час, пили кофе и, в общем, сошлись на том, что самый лучший выход из положения – это простить. Зато явившийся через несколько дней прыщавый молодой человек с вогнутой грудью, потными руками и покатыми узкими плечиками был совершенно непримирим и угрожал даже тем, что он вышлет нас из Франции, – и пришел в бешенство, когда я рассмеялся: – Такого случая еще не было, – сказал я, – вы понимаете, какую глупость вы говорите? Я думаю, что у министра внутренних дел есть другие заботы, чем заниматься вопросом о том, почему ваша жена проводит ночь не дома, а где-то в другом месте. –

Оказалось, что я его неправильно понял; он требовал удовлетворения. – Риск вас не пугает? – Но тут-то и была моя ошибка, под словом «удовлетворение» он имел в виду материальное возмещение позора, как он сказал, и которое он минимально оценивал в пять тысяч франков. Я спросил его из бескорыстного любопытства, как распределены слагаемые этой суммы и именно в какую точно цифру он оценивает свое участие в пяти тысячах? Он опять пришел в ярость и не дал ответа. Тогда, наконец, я объяснил ему, что я во всем этом не заинтересован, но что я журналист и мне был любопытен этот разговор. Слово «журналист» почему-то произвело на него устрашающее впечатление. Он исчез и больше не появлялся, хотя его жену я видел еще раза два, по-моему; впрочем, я не мог быть в этом совершенно уверен, возможно, что я спутал ее с другой женщиной. Их всех я видел обычно только что вставшими с кровати, с измятыми лицами, на которых смешались краски, с растрепанными волосами и осовелыми, заплывшими глазами; и они все пахли, сложной смесью перегоревшего вина, несмытого пота, усталого тела и несвежего рта – в таком состоянии ни одна из них не могла бы внушить человеку никаких положительных чувств. Лучше остальных были англичанки и американки, но у них был другой недостаток: они надолго занимали ванную, и мне несколько раз приходилось из-за этого опаздывать на свидания. Я неоднократно пытался уклониться от какого бы то ни было соприкосновения с этой стороной жизни моего друга, но это было совершенно невозможно. Он был неутомим в своих сентиментальных начинаниях; и так как они были ограничены только многозначнейшим числом женщин в Париже и никакими другими факторами, то положение мое было безнадежно.

В редкие свободные дни мы жили счастливой и спокойной жизнью: играли на биллиарде, ходили в кинематограф, разговаривали о преимуществах того или иного чемпиона или держали незначительные пари об исходе того или иного матча; прислуга моего друга, обычно приходящая в те часы, когда в квартире никого не было, приглашалась на целый день и кормила нас вкусными обедами –

на прекрасной посуде, за которую два года тому назад была дана сумма, которую продавец наивно считал задатком, но которая оказалась полной стоимостью нескольких сервизов, потому что кроме нее он не получил ни копейки, несмотря на все свои старания. В один из таких дней мой друг рассказал мне, как он получит наследство: раздастся звонок, придет посыльный и вручит телеграмму. Телеграмма будет короткая: «Ваш дядя умер. Ждем ваших распоряжений. Кливер и сын». Но пока что нужно было смириться и терпеливо ждать победы какой-нибудь жестокой болезни над «железным организмом» дяди. И однажды я видел моего друга с озабоченным лицом; он показал мне на лету письмо и сказал с сожалением, что дядя прибавил в весе два кило. – Это не так печально, может быть, как вы думаете, – сказал я, стараясь его утешить, – лишние два кило означают более быстрое изнашивание сердца. – Хорошо бы, если так, – ответил он. – А между прочим, сколько лет вашему дяде? – спросил я. – Сорок два, – ответил он сокрушенно, – в этом все несчастье. – Но я достаточно хорошо знал моего друга и знал, что это нетерпеливое ожидание смерти его дядюшки нельзя было, конечно, принимать всерьез; на самом деле к дяде он прекрасно относился, тем более что тот о нем постоянно заботился и даже присылал ему деньги, на которые мой друг мог бы очень благополучно существовать – но его губил размах и то, что он сам называл женским вопросом. Вообще же он был человеком доброжелательным; и когда умер один из его главных кредиторов, почтеннейший старик, наживший состояние ростовщичеством и, по его словам, никогда не ошибавшийся в людях – до встречи с моим другом, – мы даже отправились на его похороны.

У меня создалось впечатление, что косвенным виновником внезапной смерти старика явился мой друг, потому что старик не мог пережить своего явного поражения; и одряхлевшее его сердце не выдержало этого последнего испытания. Дело заключалось в том, что на долговых обязательствах, фигурировавших потом на суде, действительно стояла подпись моего друга; но он совершенно изменил свой почерк. На всех других бумагах под-

пись была одинаковая, и только на этих обязательствах она казалась очевиднейшей и грубейшей подделкой, что было подтверждено экспертизой; мой друг, задетый, как он говорил, за живое дурным отношением к нему кредитора, не только отказался от уплаты, но еще и начал против старика процесс, обвиняя его в подделке подписи и требуя довольно крупную сумму за урон, нанесенный его доброму имени. Я не присутствовал при всем этом, но мой друг рассказывал, что на старика страшно было смотреть. А через несколько дней в вечерней газете мы прочли некролог о старике, который был кавалером нескольких орденов, человеком редкой отзывчивости и специалистом по финансовым вопросам. Мой друг уговорил меня пойти на его похороны, – и мы присутствовали при совершенно роскошном погребении. Была ранняя осень, прекрасный день и тишина на кладбище; и помню, как я почувствовал тогда весь непоправимый ужас даже этой смерти и вспомнил одну жалобную подробность – морщинистую и худую шею старика; и это воспоминание особенно оттеняло почему-то последнюю беззащитность этого человека перед неизбежным. Мой друг тоже был расстроен и даже решил, что не станет судиться с наследниками покойного, но несколько позже изменил свое решение и с прежней энергией возобновил судебное преследование.

Время приближалось к зиме, все шло по-прежнему, и я начинал чувствовать смертельную усталость от того, как я жил, хотя в моем образе жизни не было, казалось бы, ничего ужасного. Я продолжал давать уроки очень разным людям, жившим в удаленных друг от друга местах; и четыре раза в неделю я ездил по всему городу с утра до вечера, посещая своих учеников и учениц и объясняя то многочисленные прошедшие времена во французском языке, то особенности русских склонений, – и все это приносило очень незначительный доход; была только одна ученица, которая могла хорошо платить, это была тридцатипятилетняя офранцузившаяся дама, жившая на содержании какого-то рассеянного промышленника, терзаемая непонятной любовью к русской литературе и даже писавшая стихи. Я преподавал ей русских классиков, что было не

только трудно, но и явно бесполезно и кончилось тем, что о классиках речь шла далеко не всегда; я обычно рассказывал ей еврейские анекдоты, а она – свои переживания в разные периоды своей жизни. Было неловко получать за это деньги, но с литературой дело шло совсем плохо, и когда я объяснял ей книгу протопопа Аввакума, она смотрела на меня испуганными чужими глазами. Зато она неизменно оживлялась, говоря либо о переживаниях, либо о печени, которая доставляла ей бесконечное количество ощущений. Она тратила крупные деньги на докторов – по всем специальностям, начиная от дантистов и кончая специалистами по уху, горлу и носу, включая, конечно, хирургию, внутренние и женские болезни. Доктора ее то восхищали, то разочаровывали, были сначала замечательными, потом никуда не годными, и вкус ее в этом отношении был чрезвычайно неустойчив. Двоих из них я знал, они были хирурги; один был ассистентом знаменитого врача, но сам был награжден непобедимой трусливостью, не смел принять ни одного самостоятельного решения – и из-за этой-то боязни ответственности погибло несколько человек, которых легко было спасти операцией. Несмотря на это, он пользовался некоторой известностью, имел довольно большую практику и жил с комфортом в приятной квартире. Другой обладал иным, но еще более непоправимым недостатком – он был анекдотически глуп, чего больные не знали или не смели предположить; в критических обстоятельствах он быстро терялся, и если делал что-нибудь, то это могло быть только ошибкой. Первый был худенький, в пенсне, близорукий; второй был толстый, с красным лицом и неподвижными, тупыми глазами. Про первого моя ученица говорила, что он весь нервный и деликатный, про второго – что в нем чувствуется уверенность и спокойное знание. Первый, человек с интеллигентскими оборотами речи, называл меня «мой юный друг» и однажды сказал, что, как я, наверное, помню, Чехов тоже был врачом. Второй вообще говорил редко и мало, мозг его работал медленно и неправильно. Меня же приводила в бешенство мысль, что таким людям нередко вверяется жизнь их больных.

Но в те времена меня слишком многое вообще выводило из себя, потому что мне смертельно надоела жизнь, которую я вел, Париж, квартира возле Булонского леса и вообще все решительно. Женщина, которую я любил, рассказала мне с искренним вдохновением, – которого я никогда до тех пор у нее не знал, – что она встретила, наконец, человека, который так замечателен, так умен, так с полуслова ее понимает... в общем, она уезжала к нему, в Швейцарию, через несколько дней и сказала, что расстается со мной без неприятного осадка или недоброжелательности. Помню, что был особенно холодный и ветреный день, была уже глубокая зима; я долго сидел на уличной скамейке и курил, пока не продрог до костей, тогда я отправился домой и в сумерках неосвещенной квартиры нашел неизвестную блондинку, которая неожиданно чем-то заболела, у нее были рвоты, и в течение двух часов она ходила из уборной в ванную и из ванной в уборную, как печальный человеческий маятник.

Я сидел у себя в комнате в состоянии совершенного отчаяния, когда раздался звонок и мне передали телеграмму. Телеграмма была из Марселя, от капитана «Lady Hamilton»; он ждал только моего приезда, все было готово к отплытию. Было семь часов вечера; я наскоро уложил вещи в чемодан, пообедал, поехал на Лионский вокзал и успел как раз вовремя, чтобы взять билет. На следующий день я был в Марселе.

* * *

Мысль назвать грузовой пароход «Lady Hamilton» принадлежала, конечно, мистеру Питерсону и объяснялась его любовью к красоте; впоследствии, однако, он согласился со мной, что если его судно и вызывало отдаленное представление о lady Hamilton, то оно относилось, скорее, к последним годам ее жизни, когда она была толстой и пожилой женщиной, пребывавшей в бедности. – Я думаю, – медленно, как всегда, сказал Питерсон, – что вам как русскому очень свойственна склонность непременно подчеркнуть печальную сторону вопроса. В моем

воображении всегда существует прекрасный образ lady Hamilton, и я никогда не думаю о последних годах ее жизни. И это даже ошибка, – продолжал он, немного воодушевляясь, – потому что смысл вообще всего этого представления – это молодость и красота. Остальное – ненужные подробности. Вы же хотите исказить перспективу и отнять у меня это утешительное представление. – Тогда я сказал мистеру Питерсону, что, пожалуй, он прав; я давно знал, что для сохранения хороших отношений с людьми нужно воздерживаться от категорических суждений, если они идут вразрез с их убеждениями; но я почти никогда не применял этого принципа и придерживался его только в разговорах со стариками или теми, кого я любил и не хотел огорчать. К мистеру Питерсону я чувствовал симпатию и уважение, и мне было легко отказаться от необходимости обсуждать биографию lady Hamilton в последней части ее жизни; и, в конце концов, «Lady Hamilton», перевозившая разнообразные грузы, ни разу за свою жизнь не потерпела серьезной аварии, не села на мель, не налетела на рифы и вообще путешествовала так же благополучно, как ее блистательная предшественница – до известного времени; а будущего мы не знали. На этот раз «Lady Hamilton» везла сельскохозяйственные машины.

Марсель был покрыт снегом в те исключительно холодные дни января, на море были крупные волны. Виза моя была давно готова, благодаря предусмотрительности мистера Питерсона; и на следующий день, в три часа пополудни, осыпаемые мелким дождем и снегом, мы вышли в море, покинув Марсель, мерно качавшийся перед нашими глазами. Каюта, в которой я ехал, была небольшая, но довольно приятная; заботами Питерсона туда было доставлено несколько книг, выбор которых отличался неизбежной случайностью, – но среди них оказались романы и рассказы одного из любимых моих авторов, Джека Лондона; туда же, впрочем, попали курьезнейшие стихи Гюго и очень плохая книга какого-то французского писателя, фамилии которого я не запомнил, о Екатерине Великой.

Капитан «Lady Hamilton» был немолодой уже человек с выцветшими глазами, небольшой худощавый мужчина; у меня создалось впечатление, что он отличался необыкновенной сонливостью, потому что почти всякий раз, когда я хотел к нему обратиться по какому-нибудь поводу, оказывалось, что он спит, как мне неизменно отвечала мулатка с довольно красивым, но исключительно свирепым лицом, которая исполняла при капитане сложные сентиментально-хозяйственные обязанности. Она была единственной женщиной на пароходе, как я был единственным пассажиром. Повар, которого я заранее представлял себе негром, оказался малайцем. Приготовляемые им блюда отличались тем, что я никак не мог определить, из чего они состояли, но считал неуместным расспрашивать, – единственным продуктом, который я узнавал, были яйца; да еще на третий день плавания подали спаржу, которой я искренне обрадовался, не столько потому, что я ее особенно любил, сколько оттого, что, наконец, знал, с чем имел дело. Спаржа предшествовала страшнейшей буре, в которую мы попали; и в течение немногочисленных моих морских путешествий я никогда не видел ничего подобного. Началось с того, что ночью я проснулся, упав со своей койки и очутившись на полу, который поминутно уходил из-под меня. Когда я оделся и вышел наверх, хватаясь за все, что мне попадалось по дороге, сквозь густой дождь я увидел движущиеся водяные пропасти. Мне не пришлось долго смотреть на них, потому что почти тотчас же меня обдало с ног до головы водой, и я предпочел спуститься опять в каюту. Через некоторое время я заснул с мыслью о том, что проснусь утром и увижу совершенно гладкое море, но второе мое пробуждение ничем не отличалось от первого. Было уже утро, буря продолжалась с прежней силой. Я опять выбрался на палубу и увидел, что горизонт исчез, только вверху было темно-серое небо. Дождь перестал, и то, что было видно впереди и сзади парохода, не походило даже на волны, а на мгновенные смещения гигантской водяной массы, попадая в которые нос «Lady Hamilton» стремительно, точно его кто-то дергал, опускался вниз, и освобожденный на секунду винт

шумно и впустую вращался в воздухе, чтобы потом, с особенным, утопающим звуком, снова уйти вниз. Тогда же я увидел капитана с заспанным, как всегда, лицом, сохранившим прежнюю невыразительность; он крикнул мне: – Здравствуйте! – что я понял по движению его губ, потому что голоса его я не расслышал, – и исчез с неожиданной быстротой, точно провалился. Только позже он сказал, что очень удивился, увидя меня, так как думал, что я не буду в состоянии покинуть свою каюту. Но на «Lady Hamilton» морская болезнь была известна только теоретически, и капитан из вежливости предположил, что я ей подвержен.

Весь день море было неспокойно, после полудня опять пошел дождь и снова повторилось то, что было ночью и ранним утром. Мне понадобилось много часов, чтобы преодолеть одурение от этого постоянного и неравномерного раскачивания парохода, и это было тем труднее, что едва я успевал приспособиться к одному ритму этих ежесекундных катастроф, как он менялся, и нужно было искать очередную возможность приспособления. Но я, по-видимому, был единственным человеком на судне, которому буря доставила столько ощущений; все остальные, которых я видел, – прислуга, матросы, офицеры, – вели себя так, точно совершенно ничего не случилось.

Только на следующий день наступила прекрасная погода, мы были недалеко от Порт-Саида; светило солнце, бежали белые летние облака, стало значительно теплее, стало легче дышать – и даже на лице мулатки, как мне показалось, несколько смягчилось то свирепое выражение, которое сразу так поразило меня; впрочем, возможно, что я просто стал к нему постепенно привыкать. Уже появились в небе птицы, количество которых все увеличивалось; стало совсем тепло, и еще через некоторое время «Lady Hamilton» бросила якорь на рейде порт-саидской бухты. Пилот уехал на своем катере; я отправился в город – с белыми, плоскими, точно наложенными друг на друга этажами. Так как во время прибытия «Lady Hamilton» в порту не было ни одного большого пассажирского парохода, то Порт-Саид хранил свой ослепительный, солнечно-сонный вид. Времени у меня было мало, и я вернулся на

пароход, не успев ничего как следует увидеть. К тому же наступил вечер, и я ушел спать в свою каюту; непонятная дремота клонила меня. Когда я проснулся утром, мы шли уже по Суэцкому заливу; вдали были видны выжженные берега и пустынные холмы Аравии. Потом скрылись и они, и остались безоблачное небо и море с размашистой и крепкой волной. Я успел прочесть все книги и даже «Екатерину Великую»; стоял удушливый зной, только по ночам, в ярком свете огромной луны, изредка дул чуть заметный ветер. Днем, глядя с палубы воспаленными от солнца глазами, я видел мутно качающиеся пальмы на незримых берегах и первое время был близок к бреду от ослепительных отблесков солнца на воде, мерного звука винтов, ровного хода «Lady Hamilton» и от беспощадного зноя. Наконец издали стали показываться небольшие и редкие островки, камни, выступающие из воды, и утром не помню которого дня я увидел белые здания Адена. Я хотел выкупаться там и сказал об этом капитану. Он помолчал, потом спросил, не боюсь ли я. – Нет, чего же бояться? – Он опять не сразу ответил и затем сказал, что там много акул и что там никто не купается. – Я понимаю, – сказал я, – теперь и у меня нет больше никакого желания купаться.

«Lady Hamilton» должна была грузиться углем, и я с утра уехал в город, где взял извозчика, худенького туземца в грязно-белой юбке, непостижимо державшейся вокруг его бедер; он показывал мне, делая короткие жесты быстрой и сухой рукой, обозначая ломаными английскими словами, места, которые мы проезжали, – пока я не увидел, с остановившимся от неожиданности дыханием, под этим жестоким солнцем, сверкание снежного поля. Возница обернулся ко мне и коротко сказал: – Соль. – Приблизившись, я увидел бассейны с высыхающей морской водой, наполненные ослепительно-белой солью. В старом городе я осматривал водоемы с квадратами и полукругами римской кладки и видел глубочайшие колодцы, в один из них проводник бросил камень, и прошло несколько секунд, пока до моего слуха донесся тихий звук его падения в воду. На обратном пути возница с гордостью показал мне сад, – и было действительно непонятно, как в этом выжженном

городе, где годами не бывает дождя, мог существовать сад. Он состоял из чахлых деревьев серо-зеленого цвета и совершенно мертвенного вида.

Я завтракал у местного агента мистера Питерсона, довольно полного человека, которого непобедимый жир не могло растопить даже аденское солнце; я нашел его в доме с закрытыми ставнями, со сравнительной прохладой в комнатах, наполненных непрекращающимся шумом вентиляторов. Он жаловался на то, что Аден – дикое место, говорил, что он стрижется только на больших пароходах, когда они приходят в порт, ругал Индию, Африку и Афганистан; я думал, что его гнев распространяется только на жаркий пояс земного шара, но оказалось, что он захватывал умеренную полосу, Европу, и в частности Париж, где его обокрали пять лет тому назад, Лондон, где он пролежал однажды половину своего отпуска с воспалением легких, Россию, которой он не знал и к которой, как он сказал, он привык относиться с недоверием, и даже Норвегию, откуда были родом его родители. Он пил ледяные напитки в громадном количестве, обливаясь потом, очень мало ел и продолжал говорить, не останавливаясь, – о вреде цивилизации, об ужасах некультурности местного населения, о бессмысленности жестоких войн и о совершенной необходимости подчинить силой оружия целые страны, которые гибнут от незнания элементарнейших вещей, которые знает любая европейская кухарка. Он говорил все время, я едва успел сказать несколько слов; но, расставаясь, он долго жал мне руку своими мягкими и влажными пальцами и многословно объяснял, как был рад познакомиться с таким интересным собеседником. Потом я узнал, что он был прекрасным коммерсантом, хорошо вел дела и только жаловался, что лишен возможности встречаться с культурными людьми; а озлобленность его происходила оттого, что его покинула жена, уехавшая на яхте какого-то американского миллиардера, имевшего неосторожность задержаться в Адене.

Переход от Адена до Бомбея был неправдоподобно прекрасен. Помню, как в первую ночь, на палубе, я стоял, жадно глядя в небо с нестерпимо светлой луной. Воздух

был совершенно неподвижен, на громадных пространствах Индийского океана всюду застыла серебряная рябь воды, как в давно, еще в детстве, забытой игре воображения; и мы медленно двигались сквозь этот прозрачно-металлический пейзаж, сквозь непроницаемую океанскую тишину, наполнившую меня немым и восторженным исступлением, невыразимым, как все, что окружало меня. В эту же минуту я увидел мулатку. Она сидела одна, на связке канатов, мне было отчетливо видно ее медное лицо, – и тогда я понял, насколько оно было красиво, несмотря на несколько тяжелую линию рта и чуть поднятый кверху разрез глаз. От тишины у меня начало звенеть в ушах, и я ушел к себе, почти задыхаясь от непонятного и бескорыстного волнения.

Прошло уже три недели с того дня, когда «Lady Hamilton» отошла из Марселя, и было нелепо думать, что в тот день шел дождь со снегом и был холодный ветер. Все вообще, предшествовавшее отъезду, казалось в такой же степени нелепым, как неудачная выдумка чьего-то хромающего воображения. Я ощущал теперь в Индийском океане ту, казалось, безвозвратно потерянную свободу, которую я знал только много лет назад и которой у меня никогда не было в Париже; а, вместе с тем, это было лучшее чувство, которое я испытал за свою жизнь. Я ненавидел всеми силами слова «обязательство», «необходимость» и всегда был связан ими; я попробовал было жить иначе, но это кончилось голодом и тюрьмой, и мне пришлось смириться. И вот теперь я был – на некоторое время – совершенно свободен. У меня не оставалось в Париже никого, кому я должен был писать, как не оставалось никого, кто пожалел бы о моем отъезде. И в этом почти идеальном душевном одиночестве я чувствовал себя совершенно счастливым. Я думал обо всем этом в то знойное февральское утро, когда «Lady Hamilton» приближалась к Бомбею; это было на двадцать третий день нашего путешествия.

Мистер Питерсон приехал меня встретить в бесконечно длинном «изотто-фраскини»; за рулем сидел высокий индус. На его голове был белоснежный тюрбан из тонкой кисеи, много раз обмотанной, – и свободный ее конец

был расправлен ровным, крахмальным взмахом посредине головы. Рядом с ним сидел второй индус, несколько менее декоративный, но который тоже поразил бы мое внимание, если бы оно не было поглощено его более блистательным соседом. – Здравствуйте, – сказал Питерсон так, точно мы расстались вчера, – я нахожу, что начинает становиться жарко. Как прошло ваше путешествие?

Я поблагодарил его, второй индус принес мой чемодан, и мы поехали на Nepean Sea Road, где находился дом мистера Питерсона, в котором мне предстояло жить в течение моего пребывания в Бомбее. Мы ехали широкими прекрасными улицами, мимо разнообразных пыльно-зеленых пальм; потом показалась длинная стена, из-за которой поднимался тяжелый, жирный дым, распространявший в воздухе зловоние, от которого я начал задыхаться. – Что это такое? – спросил я Питерсона. Он объяснил мне, что это индусское кладбище и что дым – от сжигаемых тел. Прошло несколько секунд, я старался не дышать, зажав рот платком, то же сделал Питерсон, и только оба индуса, казалось, не заметили ничего. За поворотом дороги исчез и снова появился океан. Мы ехали уже по Nepean Sea Road, мимо роскошных домов разнообразной и причудливой архитектуры, обсаженных густыми деревьями, названия которых я не знал, за исключением тех случаев, когда это были пальмы. Свернув в одну из боковых улиц, автомобиль остановился перед неширокими створчатыми воротами, которые тотчас же открылись, и мы въехали в сад, в глубине которого был двухэтажный дом с широкими террасами и нависающей крышей. Громадный желтый дог подбежал к мистеру Питерсону, он потрепал его по голове. За первым домом стоял второй, значительно меньший, в котором жили слуги Питерсона.

Было девять часов утра, я принял ванну, позавтракал с Питерсоном, и он уехал в свое бюро, оставив меня отдыхать с дороги. Я вышел в сад; меня поразило, что почти все цветы стояли в глиняных горшках, поразили корни деревьев, свисающие вниз и начинающиеся с середины широких ноздреватых стволов. В знойном воздухе стояли непривычно густые запахи разнообразных цве-

тов – неподвижных и похожих на восковые; я узнал среди них лиловые буганвилии, которые видел на юге Франции.

Я вспомнил об океанском пляже, который мы видели, проезжая, и когда мистер Питерсон вернулся, спросил его, нельзя ли туда тотчас же отправиться. Он улыбнулся и сказал, что это невозможно, так как там бывают только туземцы. Я ему рассказал, что с купаньем мне вообще не везет, вот и в Адене... Он очень смеялся моему невежеству: кто же не знает, что в Адене нельзя купаться?

Первую ночь я спал беспокойно, вернее, все время, как мне казалось, видел сны – под шум вентилятора. Мне снился Париж, моя ученица по русской литературе, ее душная квартира в Пасси, и, проснувшись рано утром, я долго смотрел, не понимая, на кисею, окружавшую со всех сторон мою жесткую кровать, пока не вспомнил, с удивительной медлительностью, Аден, мистера Питерсона, Nepean Sea Road и то, что я в Бомбее.

Распределение времени в обычные, нечрезвычайные дни мистера Питерсона было установлено раз навсегда. Он вставал в шесть часов утра и шел на прогулку. К семи он возвращался домой, принимал ванну и, слегка закусив, ехал в бюро, откуда возвращался к завтраку, после которого спал ровно час, – и я изумлялся непогрешимости его рефлексов: он ложился, мгновенно засыпал и точно через шестьдесят минут просыпался. Потом он снова ехал в бюро, оттуда в клуб и часам к восьми приезжал домой обедать. Так было в нечрезвычайные дни, но иногда это времяпрепровождение менялось, тоже, впрочем, с такой же традиционностью; он завтракал не дома, а в клубе, или вечером у него бывали гости, или же, наконец, он бывал куда-нибудь приглашен, и в таких случаях я обычно сопровождал его. Два раза в неделю полагалось купаться, один раз в Джуху, на океанском пляже у пальмовой рощи, довольно далеко, минутах в сорока езды от Бомбея, второй раз в самом городе, в купальне. Один или иногда два раза в неделю полагалось играть в теннис, – но во всех обстоятельствах и всюду нужно было пить прохладительно-алкогольные напитки в невероятном количестве. Через всю жизнь Питерсона проходила эта традиционность во

всем решительно; так, например, во вторник вечером он неизменно предупреждал меня: – Вы помните, что сегодня придет Грин и будет рассказывать о бурской войне и об охоте? – И неизменно каждый вторник приходил Грин, толстый и веселый старик с насмешливыми глазами, – в котором погибал талантливейший писатель. Эпизоды бурской войны, – которые, я думаю, в действительности никогда не происходили, и которые Питерсон объединял под одним названием Трансваальской атаки, и которые в общих чертах были давно известны, – преображались всякий раз, но не потому, что Грин искажал их смысл; он оставался ему верен; но оттого, что при каждом новом рассказе выступали подробности, о которых раньше он просто не успел рассказать. Например, командир роты Грина, бравый ирландец Рид, всегда остававшийся ирландцем и сохранявший свою фамилию, внешность менял до неузнаваемости, как профессиональный трансформатор, точно так же, как рост и возраст, но военное его искусство было всегда несравненно, никакие изменения наружности и лет на него не действовали. Я очень любил эти рассказы: за столом, под неизменный шум вентилятора, мы сидели чаще всего втроем – мистер Питерсон с серьезным лицом, рядом с ним я, против нас высился Грин в смокинге и белоснежной рубашке, охватывавшей его высокую и плотную грудь, перед ним стоял стакан с прохладительным, и глаза его оживлялись, когда он начинал своим глубоким голосом: однажды... После бурской войны следовали рассказы об охоте – и здесь просто не могло возникнуть трудностей, которых бы Грин не преодолел. Он говорил, что все животные, даже самые кровожадные, – он это неоднократно замечал, – ощущают перед ним инстинктивный страх. – Они, наверное, боятся, что вы им расскажете про Трансваальскую атаку, – сказал Питерсон. Потом я узнал, что главной слабостью Грина были женщины, – но об этом он никогда не обмолвился ни одним словом. Когда мистер Питерсон решал почему-либо погасить повествовательное вдохновение Грина, он пользовался первой паузой, чтобы начать разговор об искусстве или схоластике и богословии, и тогда Грин сразу увядал, и громада его тихонько оседала

в кресле, хотя Питерсон говорил иногда любопытнейшие вещи и цитировал, например, то утверждение Лютера, что дьявол бесстыден до крайности и склонен показывать человеку часть тела, находящуюся ниже спины, но, с другой стороны, он чрезвычайно обидчив, и достаточно человеку поступить таким же образом, чтобы оскорбленный дьявол тотчас же ушел.

Мистер Питерсон, однако, говорил с воодушевлением только о вещах отвлеченных; в том же, что касалось обычной жизни, он отличался чрезвычайной сдержанностью, и я был вынужден всякий раз обращаться к нему за разъяснениями. Вместе с тем, я многого не знал и многому удивлялся – так здесь все было не похоже на то, что я видел до сих пор. Особенно поразило меня обилие фруктов, которые были так же неопределимы для меня, как блюда повара с «Lady Hamilton»; единственные знакомые мне издавна были бананы, – но и те оказались трех сортов, желтые, зеленые и красные, апельсины были похожи на мандарины, лимоны были сладкие, а об остальном я вообще не имел представления. В такой же степени неизвестна для меня была – и осталась – жизнь местного населения, о которой я так ничего и не узнал просто потому, что за все время моего пребывания в Бомбее мне не пришлось с ним сталкиваться. Когда я сказал об этом мистеру Питерсону, он познакомил меня с богатой семьей индусских персов, которые во всем старались быть похожими на англичан. Это мое знакомство, которое я впоследствии не культивировал, почти совпало по времени с первой охотой, в которой я принял участие вместе с Грином и Питерсоном. Мы выехали из Бомбея глубокой ночью и прибыли к месту назначения на заре. Это было почти плоское место, поросшее не очень частым кустарником и чахлыми, низкими деревьями, с лысинами красной земли то там, то здесь и которое оказалось джунглями. Охота происходила с загонщиками; мы стояли в разных местах, Грин, Питерсон и я. Наступала уже дневная, невыносимая жара. Я стоял, обливаясь потом и жадно глядя на то место, откуда, по моим расчетам, должен был появиться кабан, – охота была на кабанов. Вдруг ветки затрещали

сзади меня, и, когда я обернулся, я увидел, как небольшой бурый кабан неторопливой рысью выбежал из кустарника, остановился на секунду и стремглав бросился в сторону, увидев меня и неподвижную фигуру индуса, обязанности которого заключались в том, чтобы нести мое ружье. Я все же успел выстрелить; но удаляющийся хруст ветвей доказал мне, что я промахнулся, хотя это было почти невероятно на таком близком расстоянии.

Потом издалека донесся еще один выстрел, стрелял Грин, судя по направлению. Со стороны Питерсона послышались два выстрела один за другим; еще через несколько минут в кустах, справа от меня, раздался треск и оттуда выполз старый кабан громадных размеров, с окровавленным рылом, издававший странные звуки, как если бы он шумно втягивал в себя воздух. Меня настолько заинтересовал его вид, его вздрагивающее огромное, тело, что я стоял, опустив ружье, и не стрелял. Кабан бросился по направлению к нам, но упал и не мог подняться; он был смертельно ранен. Левая его лопатка и бок были прострелены, и казалось удивительно, что он еще жив. Я приблизился к нему вплотную и остановился перед ним. Рыло его было густо окрашено кровью, едва мерцал маленький глаз с растерянным, как мне показалось, и отчаянным выражением. Голова его вздрагивала и дергалась. Так же, как при всякой агонии, звуки, которые он издавал, становились тише и тише, было очевидно, что он при последнем издыхании. Вдруг, с совершенно непостижимой быстротой, он вскочил и прыгнул вперед; я отступил на шаг, изумляясь его живучести. Но это было последним, на что он оказался в силах; он рухнул потом на землю и затих. Мне стало почти дурно от ставшего нестерпимым зноя и сильного запаха, который исходил от кабана. Я оперся на ружье и закрыл глаза. Голос Питерсона раздался сзади меня, он спрашивал, почему я не стрелял. – Это было излишне, кабан был смертельно ранен, – сказал я. В это время явился Грин, который заметил, что питерсоновский кабан – один из самых больших, каких ему приходилось видеть. Питерсон внимательно посмотрел сначала на кабана, потом на Грина.

Мне было до глупости обидно, что я оказался неудачником и промахнулся в каких-нибудь десяти шагах. – Уверены ли вы, что вы действительно не попали? – спросил Грин. Я ответил, что так как кабан скрылся, то надо предполагать... – Это ничего не доказывает, решительно ничего, – сказал Грин. Он сделал несколько шагов в том направлении, где скрывался кабан, и повернул к нам свое сияющее лицо, совершенно мокрое от пота. – Густые следы крови, – закричал он, – я так же уверен в том, что этот кабан мертв, как в том, что я жив. – Это был крупный кабан? – спросил мистер Питерсон. – Нет, – сказал я, – средних, я думаю, размеров. – Грин все удалялся, продираясь сквозь кустарник, и, наконец, мы услышали его громовой голос: – Вот он! – Когда индусы приволокли убитого кабана, мы все подивились его невероятной силе: пуля вошла в ляжку его задней ноги и вышла под передней, пронзив все его тело, и все-таки он успел уйти на такое расстояние, что я мог думать, что не попал в него.

Зной был так силен, что на мне все было мокрое, так же, впрочем, как на моих спутниках. Я не представлял себе, что может быть так жарко; нечто, отдаленно похожее на это, я испытал только раз в моей жизни, много лет тому назад, когда приехал как-то в Тифлис и провел три дня в квартире с закрытыми ставнями, обливаясь холодной водой и стараясь делать после этого как можно меньше движений. Потом, когда я уже привык к нему, я все-таки в самые жаркие часы дня не выходил из дому. Иногда у меня начинало звенеть в ушах от жары, и тогда опять, как на «Lady Hamilton», я бывал близок к бреду. Вечера тоже были душные, лишь изредка с океана дул чуть заметный ветерок. Я видел неоднократно, как индусы выбирали на улице место в тени, ложились на тротуар и тут же засыпали. Ночью, возвращаясь домой на автомобиле, мы повсюду видели эти тела, покрытые белой материей и спящие где попало. В небольшой каменной нише, на одной из улиц, по которой мы часто проезжали, жила молодая индуска, она завешивала эту нишу красной материей, которая ей служила и стеной, и дверью, и располагалась там; если материи не было, значит, она куда-то ушла.

Затем она опять возвращалась – и я никогда не узнал, был у нее вообще какой-нибудь другой дом или нет.

Иногда, под вечер, я брал второй автомобиль мистера Питерсона, садился за руль и ехал в город без определенной цели. Я предпочел бы ходить пешком, но расстояния в Бомбее были слишком велики, города я не знал, наемный автомобиль было не всегда возможно найти, особенно в кварталах, удаленных от центра, на возвращение пешком понадобились бы целые часы, и меня не привлекала такая перспектива. Помню, что однажды я остановил автомобиль на узкой и тихой улице, в совершенно незнакомой части города, на теневой стороне, и закурил папиросу. Я просидел так несколько минут, отдыхая от жары. Вдруг до моего слуха донесся женский голос: – Роза! – Я поднял голову: в одном из окон второго этажа, высунувшись наполовину, стояла пожилая женщина с черно-седыми волосами. Через секунду из противоположного окна выглянуло молодое лицо Розы, – и начался разговор по-еврейски, который я с трудом понимал. Речь шла о каких-то коврах и мебели, которые можно было недорого купить у наследников мадам Френкель, которая умерла позавчера; пока что можно было не торопиться, но вообще не надо упускать этого случая. Но я особенно удивился, когда Роза сказала по-русски: – Но это же дешевка.

Я хотел обратиться к этим женщинам и спросить их, как они сюда попали и что они здесь делают. Но едва я произнес первые слова, обе женщины мгновенно исчезли, как в сказке, – и я так и не узнал, отчего умерла мадам Френкель и какое отношение к ней имела Роза или ее собеседница. Потом мне сказали, что эта улица состояла почти сплошь из публичных домов, и я испытал чувство неловкости и грусти. Как попали сюда русские еврейки? Я видел их до этого в Константинополе, во всех портах Черного моря, но это было, в сущности, недалеко от Одессы. Было так удивительно за много тысяч верст от России услышать эту фразу, которая должна была бы прозвучать на Пересыпи или Молдаванке, – но это же дешевка, – и я задумался на минуту об этом странствующем мире Израиля, к которому всю жизнь чувствовал непонятное влечение.

В Бомбее он был таким же, как всюду. Я познакомился там с семейством Рабиновичей, состоявшим из мужа, жены и пятилетней дочери. Жена Рабиновича, полноватая женщина лет тридцати, которая начала уже расплываться и стареть, лицо ее стало уже терять ту грустную еврейскую красоту, которая еще несколько лет назад, наверное, была исключительна, – рассказала мне, что они приехали в Бомбей буквально без копейки, но что, слава Богу, теперь все идет лучше, хотя здесь, вы знаете, такая дороговизна, такая дороговизна... Они прекрасно жили, были, казалось, счастливы и очень нежны друг с другом, но когда я как-то сказал ей вскользь: – Приятно видеть, что у вас все благополучно, – она пожала плечами, покачала головой и сказала: – Благополучно? Что значит благополучно?

И она начала жаловаться, что муж не жалеет себя: он убивает себя этой каторжной работой, конечно, хорошо, что они еще живы, но разве можно так неосмотрительно употреблять слово «благополучно»?

И потом, понизив голос, она прибавила:

– Вы же не знаете моего главного несчастья, из-за которого я ночи не сплю, меня всю выворачивает. Ведь у него же больная печень.

И через неделю сам Рабинович, наклонившись ко мне, – мы сидели рядом, – сказал:

– Ради Бога, не говорите моей жене, но вам, как мужчине, я скажу прямо: я обреченный человек. Да, я работаю, да, я занимаюсь делами, да, никто этого не знает. Но я обречен.

Он покачал головой – снизу вверх, сверху вниз.

– Жена этого не знает, иначе она сошла бы с ума. Но вам я скажу: у меня больная печень. Что? лечить? Мой дорогой друг, болезни не лечат, болезни залечивают, но потом они возникают опять, – и тогда они вас убивают. Я знаю это.

Я был у них однажды поздно вечером, мы вышли в сад. В темном небе светили громадные звезды.

– Когда я была совсем молодая, – сказала жена Рабиновича, – ты помнишь, Мирончик? – я так переживала эти звезды, я так им радовалась, как будто они были родные.

И вот они светят теперь так же, как светили раньше, но я уже этой радости не чувствую.

В Рабиновиче, как во многих евреях, которых я знал в разных странах, – но всегда под чужими небесами, как сказал Рабинович, – было удивительное соединение философа и коммерсанта. В философии он был печален, созерцателен и пассивен – в коммерции энергичен и бесконечно изобретателен. Он торговал чем угодно, заключал сделки, ездил в разные места, телефонировал, телеграфировал, спорил, обсуждал, комбинировал; и хотя значительная часть этой работы шла впустую, остального было достаточно, чтобы обеспечить ему чрезвычайно сносное существование и, помимо денег, вложенных в разные предприятия, неизменно увеличивать свой текущий счет. Но как только речь начинала идти о вещах отвлеченных, Рабинович становился безутешен.

– Ну, хорошо, чужое небо, – сказал я ему, – вы всегда употребляете это выражение. Но где-то же есть ваше небо?

Мы сидели в креслах, на террасе дома, в котором он жил. В стаканах едва слышно, умолкая, еще чуть-чуть шипела только что налитая вода из сифона. Рабинович резко повернулся в кресле и сделал отчаянный, широкий жест рукой.

– Нету, нету, – сказал он. И потом, показывая большим пальцем правой руки себе за плечо, назад, он спросил:

– Вы помните ваше Откровение святого Иоанна?

– Помню, – сказал я. – Это единственная глава в бледном, в общему Новом Завете, написанная с библейской страстностью и библейским великолепием. Но, в сущности, это скорее ваше Откровение, чем наше.

– Оставим этот вопрос пока что. Так там есть одно замечательное выражение. Это, конечно, только образ, но это прекрасно. «И ангел вострубил, и небо скрылось, свившись, как свиток». Так вот, это случилось с нашим небом. *Его нету.*

Я полагаю, что, если бы моя жизнь в Бомбее была так же судорожна и несчастна, как в Париже, я продолжал бы искать утешения в постоянном любопытстве к людям и вещам, которое занимало у меня обычно много

времени и давало повод к бесконечным размышлениям и выводам, отличавшимся исключительной хрупкостью; каждое следующее разрушало предыдущее, чтобы быть в свою очередь уничтоженным или, во всяком случае, подверженным сомнению. Но в Бомбее я был избавлен от каких бы то ни было забот или обязательств: и от тяжелого груза моих парижских знакомств, и от необходимости вообще разрешать какие-либо проблемы; и то чувство свободы, которое я с такой силой ощутил, приближаясь к Адену, продолжало оставаться, несколько ослабев оттого, что я привык к нему, но не исчезнув окончательно и сохранив свою непередаваемую прелесть. Я не избегал людей, с которыми мне приходилось встречаться, но без сожаления отказался от желания углубить отношения с ними или постараться узнать о них самое важное – то, что для них характернее всего и что их окончательно определяет. Это было тем более приятно, что никакие разочарования не ожидали меня, – потому что в предыдущих моих попытках такого рода мне чаще всего приходилось отказываться от каждого очередного опыта, настолько все было неверно и изменчиво, настолько люди, которых я хорошо знал, поступали совершенно наперекор своим свойствам, привычкам или обычным побуждениям и действовали, подчиняясь каким-то слепым и непредвиденным причинам. Это бывало почти всякий раз, когда они подвергались серьезному испытанию; а в обычной жизни они казались несложными и примитивными, и изучение их не представляло ни особенных трудностей, ни особенного интереса. И все же, несмотря на это, все эти люди чрезвычайно занимали меня. Здесь же я предпочитал иметь дело с теми, в поведении которых не могло оказаться ничего неожиданного, – хотя бы потому, что обстоятельства их существования и характер наших отношений не заключали в себе никакой, даже отдаленной возможности конфликта или обострения. Больше всего все-таки я любил общество двух стариков, Питерсона и Грина; оба были благожелательны и благодушны, оба посмеивались друг над другом, и никогда в их прозрачном юморе не было ничего, что могло бы задеть или обидеть. Я любил тишину питерсоновского дома, с беззвучными, босыми индусами, и беспре-

рывное лепетание маленького фонтана в саду, и солнечное неподвижное великолепие Nepean Sea Road. Я любил возиться с желтым догом Питерсона, который рычал и захватывал в свою пасть то мое плечо, то руку, ни разу не оставив ни малейшей царапины; я любил, наконец, сидеть в библиотеке и читать разнообразнейшие книги – потому что мистер Питерсон имел обыкновение покупать всякую книгу, о которой он слышал какой-нибудь, все равно – положительный или отрицательный, отзыв. Книг у него было несколько тысяч, и среди них я находил совершенно неожиданные вещи, вроде прекрасного французского перевода «Конька-Горбунка» или новгородских былин на английском языке в книге чудовищной толщины и добротности. Целая полка была отведена всевозможным путешественникам, среди которых выделялся неутомимый Марко Поло, потом шли авантюрные романы прошлого столетия, потом северные авторы – норвежские, шведские, датские, потом романы современных писателей без различия национальностей, но либо в английском, либо во французском переводе. Множество французских книг принадлежало в свое время жене мистера Питерсона, которая умерла пятнадцать лет тому назад. Я никогда не спрашивал мистера Питерсона о его семейной жизни, он заговорил об этом случайно – и тогда я узнал, что у него были жена и сын, умерший в Англии от дифтерита и которому теперь было бы столько же лет, сколько мне. Грин хорошо знал семью Питерсона и тоже никогда не говорил со мной об этом, хотя по поводу самого мистера Питерсона рассказывал очень много, чаще всего в его же присутствии. Им обоим, несмотря на всю разницу между ними, было свойственно одинаковое понимание некоторых вещей и одинаковая непогрешимая деликатность, которая казалась естественной для Питерсона и неожиданной для Грина, хотя я и раньше неоднократно замечал, что в самых энергичных рассказах Грина не бывало, в сущности, ничего шокирующего. Грин, между прочим, в течение последних двадцати лет вел войну со своим личным слугой, седым и чрезвычайно благовидным индусом, человеком абсолютной трезвости и порядочности. Грин обвинял его во всех грехах, говорил,

что тот его обкрадывает и уже составил целое состояние, что он напивается тайком и что если он его еще не выгнал, то только потому, что ему, Грину, жаль семью этого человека. Когда я впервые присутствовал при таком разговоре, я не имел оснований не принять все это всерьез, тем более что Грин заявил, что он держит этого человека последнюю неделю. Но после того, как Грин ушел, мистер Питерсон, покачав головой, объяснил мне, что все это совершенный вымысел, что человек этот ничего не пьет, идеально честен и, кроме того, одинок. Тогда я понял, что, если бы какое-нибудь из обвинений Грина имело хоть малейшее основание, он бы об этом не заговорил. Но он был вообще фантазер; мне он рассказал про Питерсона, что тот смертельно боится мышей, а Питерсону про меня, что я на Кавказе охотился за орлами по неприступным вершинам и после одного ужасного падения чудом остался жив, но стал прихрамывать, и это осталось на всю жизнь, как он сказал, окончательно увлекшись. Я ни слова не говорил Грину о Кавказе вообще; но его фантазия была неутомима. Он принадлежал к числу тех неиспорченных людей, у которых время не поражает буйной юношеской игры воображения. Я никогда не видел в его глазах выражения усталости, которое так свойственно людям его возраста, как только они перестают следить за собой. Иногда он бывал притворно мрачен; это значило, что он расскажет о своем слуге или заявит, что разочаровался в дружбе Питерсона, – потому что когда называют себя другом человека, то ему не подают керри, которое пахнет керосином, как это было сделано в прошлый вторник. И Грин, и Питерсон были невероятно для их возраста сохранившимися людьми. Во время утренней часовой прогулки Питерсон шел обычно размашистым, быстрым шагом, никогда не замедлявшимся, я видел неоднократно, как он, торопясь, бежал через сад; единственное, чего не хватало старикам, была та особенная упругость и гибкость движений, которая характерна либо для очень ранней молодости, либо для людей, всегда занимающихся спортом, профессионалов. Грин, кроме того, был очень силен; он брал для забавы питерсоновского дога на руки, и однажды, когда

Питерсон стоял спиной к двери, он поднял его за локти и внес в комнату, как ребенка. Грин не был толст, как это казалось, когда он был одет, я убедился в этом, увидев его на пляже и подивившись его необъятной грудной клетке и твердому телу.

И так же, как они оба сохранились физически, они сохранились душевно; оба с азартом играли в шарады, решали крестословицы и пели вдвоем французские песенки, безбожно коверкая текст и прибавляя к нему собственные варианты. Их общество производило на меня спасительное действие; и мне начинало казаться иногда, что не было ни Парижа, ни тоски, ни неудач, ни длинного ряда трагических и печальных существований, с которыми я соприкасался, ни той живой человеческой падали, с которой мне приходилось иметь дело, – а вместо этого был солнечный день раннего детства, где-то в густом саду, в России, в далекой и почти исчезнувшей волне моей памяти.

* * *

В самом начале, непосредственно после приезда в Бомбей, меня несколько удивила, мне была непривычна традиционность питерсоновского быта, необходимость переодеваться несколько раз в день, казалось странным, что вечером непременно нужно быть в смокинге, когда проще было бы надеть рубашку с короткими рукавами – настолько было жарко; но я освоился с этим с прежней, давно забытой легкостью. Я с удовольствием отказался от рациональных взглядов на одежду, и точно так же мне теперь казались естественными разговоры, в которых тщательно избегались щекотливые вопросы, сложные проблемы и уж совершенно безусловно – какое бы то ни было любопытство личного порядка. И вместо парижских ночных бесед с соотечественниками, где речь шла, во всяком случае, не о погоде, а о том – правда ли, что ваше отношение к такой-то позволяет предполагать?.. или – считаете ли вы себя способным к воровству? или – помните ли вы, что любовница Достоевского, впоследствии жена Розанова, которая... – все, что так коробило меня всегда, – вме-

сто этого были такие идеально прозрачные, проникнутые отсутствием какой-либо дурной мысли, такие безобидные слова о скачках, о жаре, о побережье Индийского океана, что я действительно задавал себе иногда вопрос: можно ли так прожить всю жизнь? Однако у каждого из моих бомбейских собеседников была своя собственная жизнь, и – как мне пришлось случайно убедиться в этом несколько раз – не менее сложная и заключающая в себе такие же темные и иногда ужасные вещи, только об этом не полагалось говорить ни при каких обстоятельствах. Это предавалось немедленному забвению и уничтожению так, будто ничего не было, – и в этом постоянном разрушительном усилии, в этом ежедневном отречении было, конечно, неизмеримо больше мужества и достоинства, чем в истерической и навязчивой исповеди. Все личные поступки были облечены почти непроницаемой тайной.

Если бы я попытался с самого же начала подойти ко всему этому с той аналитической и размашистой бесцеремонностью, которая мне была свойственна, меня бы ждали, конечно, разочарования. Но у меня не появилось даже отдаленного желания это сделать, и через некоторое время мне стало казаться, что я точно вырос в этой среде. Тогда же я подумал, что для этой легкости приспособления были некоторые основания, потому что детство мое, о котором я недаром все чаще и чаще вспоминал в Бомбее, проходило в такой же обстановке сдержанности, полного отсутствия бурных выражений чувств, в той же холодноватой прозрачности. К тому ж ни с Питерсоном, ни с Грином я не мог разговаривать, как с равными, – оба по возрасту годились мне в отцы.

Единственным человеком, который вызывал у меня первое время легкое раздражение, – но потом и оно прошло, – был молодой англичанин, служивший в бюро Питерсона, с которым мне пришлось встретиться несколько раз. Он был ярым поклонником Парижа, выписывал оттуда вечернюю газету и «La vie parisienne»[1]. Он однажды провел в Париже два дня, побывал на Монмартре, в Казино де Пари и Баль Табарэн и был ослеплен раз навсегда их гро-

[1] «Парижская жизнь» (*фр.*).

шовым великолепием. Он искренне верил тому, что писалось в газете, всем этим триумфам, роскоши, льстивым газетным анекдотам о знаменитостях, и ему казалось, что Париж – город вечного праздника, гениальных артистов и лучших в мире постановок. Я пытался объяснить ему всю печальную неверность такого представления, но это было совершенно безнадежно. Он был одушевлен стремлением к роскошной и праздной жизни, и Париж ему казался единственным в мире городом, только для этого и существующим. После первых бесплодных попыток рассеять эту иллюзию я отказался от невозможной задачи. Вне этого он был милым человеком и хорошим товарищем и, кроме того, прекрасно плавал. Он же однажды показал мне в купальне двух виртуозов по прыжкам с трамплина, это были два брата; старшему было шесть, младшему пять лет. Оба делали самые головоломные вещи и плавали, как рыбы; я неоднократно любовался ими, сидя рядом с Питерсоном, который повторял: хорошие мальчики, хорошие.

В течение некоторого времени я почти прекратил свои самостоятельные поездки по городу, предпочитая сидеть в библиотеке, в кресле, стоявшем рядом с полкой классических авторов, над которой мистер Питерсон приклеил длинную пластинку из блестящего белого картона с надписью, которая мне очень понравилась своей наивной торжественностью: «Here the dead speak to the living»[1].

Я забыл его спросить, откуда он ее взял. Но так же, как за все пребывание в Индии я с величайшим усилием мог написать только одно письмо, так же я не мог как следует сосредоточиться на том, что читал. Это объяснялось отчасти жарой, отчасти, я думаю, желанием полного душевного отдыха, который, конечно, было легче найти в чтении авантюрных романов, не требующем ни усилия мысли, ни даже напряженного внимания, и только просто по профессиональной привычке я не мог не отметить в роскошном «Графе Монте-Кристо», великолепию которого, впрочем, несколько вредила явная, хотя и непредвиденная, по-видимому, автором, глуповатость героя, – я не

[1] «Здесь мертвые говорят с живыми» (*англ.*).

мог не заметить, что старый слуга, Барруа, выпивший по ошибке яд, который для него не предназначался, и тут же умерший в страшных мучениях, через несколько страниц после этого окончательного, казалось бы, события, вновь «вошел в комнату, держа в руках поднос» так, точно ничего не случилось. У Питерсона оказались даже «Похождения Рокамболя» и вообще много книг – но преимущественно прошлого столетия – такого порядка, и я любовался той очевидной, счастливой легкостью, с которой они были написаны, все эти королевы Марго и короли Генрихи и Людовики. Но на третий или четвертый день такое чтение начинало все-таки раздражать, – тогда я принимался за путешествия или рассказы о жизни животных.

Но все же иногда, когда и это мне приедалось, я ехал в город; и однажды в начале такой прогулки встретил Рабиновича, которого не видел некоторое время. Он вышел из своего бюро на несколько минут, не помню, по какому делу. Он предложил мне отправиться вместе с ним на следующий вечер в гости к хозяйке французского пансиона, которая должна была праздновать свои именины. Я отговаривался тем, что неудобно идти, не будучи не только приглашенным, но даже знакомым. – Это пустяки, – сказал Рабинович, – я ей протелефонирую. К тому же там будут русские.

Я не имел никакого представления об этом французском пансионе. Он оказался второго или даже третьего сорта, – я успел отвыкнуть от такой обстановки. На столике в гостиной лежал целый комплект программ «Moulin Rouge» совершенно незапамятных времен, примерно девятьсот третьего – девятьсот четвертого годов. Сама хозяйка пансиона, мадам Карено, очень немолодая женщина с накрашенным лицом и немного жалобными глазами, была одета в совершенно особенного покроя платье, состоявшее из многих, не похожих друг на друга и разлетающихся слоев очень тонкой черной материи; и каблуки туфель ее меня поразили своей извилистостью и высотой. Тут же был ее муж, идеально лысый человек, незначительного вида, худощавый и желтоватый. Рядом с ним я увидел русскую чету, совершенно меня поразившую. Впро-

чем, мужа я заметил как-то на улице, недели за три до этого – и так засмотрелся на него, что едва не въехал в тротуар. Для Бомбея он был, действительно, совершенно необычен. У него был вид старого интеллигента, классический и не нарушенный никакой неканонической подробностью: седая бородка, седые усики и пенсне. Но на нем были тропический шлем, рубашка с короткими рукавами и штаны до колен; и этот, в общем, нормальный костюм на нем был нелеп до невероятности. Он представился: его звали Серафим Иванович, Серафим Иванович Васильков. Его жена была похожа на постаревшую нигилистку – со стрижеными прямыми волосами, с маленькими глазами неожиданно детского, голубого цвета. Она была в зеленом платье. На Серафиме Ивановиче в тот вечер был потертый синий костюм с узкими внизу брюками. Больше не было никого. Разговор происходил по-французски, хотя ни Серафим Иванович, ни его жена не знали этого языка; но Рабинович говорил довольно бойко, хотя и оперируя той же самой гаммой интонаций, которая ему служила для всех языков, – так что если бы слушать его речи из соседней комнаты, то можно было только безошибочно сказать, что это говорит Рабинович, но на каком языке, об этом никак нельзя было судить. Англичанин бы сказал, что это не по-английски, француз – не по-французски, русский тоже не узнал бы своего языка, и все ошиблись бы, потому что это мог быть в одинаковой степени и английский, и французский, и русский. Когда я его тут же спросил вполголоса, где он научился французскому языку, он быстро пожал плечами и сказал естественнейшим голосом: – Как где? В Одессе, – точно в Одессе было невозможно жить, не зная французского языка.

Мадам Карено обращалась чаще всего ко мне, потому что Рабинович сказал ей, что я парижанин. Она уехала из Парижа без малого тридцать лет тому назад, когда была совсем маленькой, по ее словам. Чем больше я всматривался в нее, тем больше убеждался, что в этой женщине было нечто ненормальное. Я никак не мог, однако, понять, в чем дело. Она совсем не производила дурного впечатления, наоборот, в ней была некоторая беззащит-

ная привлекательность, но что-то было не так. Я никак не мог, однако, понять, в чем дело. Наконец ее муж поднялся из-за стола и сказал, что хочет мне передать одну важную вещь. Я вышел вместе с ним в другую комнату. Он был явно смущен, череп его покраснел, он некстати посмеивался. – Вот... да... видите ли... – он все не знал, как начать. Потом вдруг, решившись, он сказал, что я, по-видимому, симпатичен его жене и что я мог бы... – Я продолжаю не понимать, – сказал я. Он тогда наклонился ко мне и сказал, что я мог бы попросить его жену выйти в голом виде. – Что? – спросил я в совершенном изумлении. Он прибавил, что это ей доставит удовольствие и что я как молодой человек... – Нет, это невероятно, – сказал я. – Я знаю, я знаю, – пробормотал он в совершенном замешательстве.

Я посмотрел еще раз на его печальное лицо; и вместо того, чтобы испытать отвращение к этому человеку, почувствовал к нему глубокую жалость. У него застыло на лице искательно-растерянное выражение. – Попросите ко мне на минуту Рабиновича.

Он облегченно вздохнул, пожал мне зачем-то руку и вышел. В гостиной в это время мадам Карено играла в карты с Васильковым. Рабинович явился с расстроенным лицом. – Слушайте, что это за история? – сказал я ему. – Я знаю, что вы мне скажете, – ответил Рабинович. – Это же несчастная женщина. У нее было двое детей, они умерли, когда были маленькие. Вы видели ее мужа? – Да, но все-таки... – Слушайте, – сказал Рабинович убедительным голосом, – что, у вас глаза заболят, что ли? Я тоже ее видел, и еще некоторые видели – ну, и что из этого? Она же больная, вы понимаете? И я вам скажу правду, что она на редкость хорошая женщина. Когда была больна моя маленькая Рахиль, вы бы видели, как она за ней ухаживала. Моя жена тоже знает эту слабость мадам Карено и знает, что я ее видел. Доставьте ей это удовольствие... – Наступила пауза. Рабинович покачал головой и потом прибавил: – Я вам больше скажу. Я вам могу дать слово, что это совершенно порядочная женщина. К тому же мы будем с вами вдвоем.

Заказ № 3236

Тогда я согласился. Мадам Карено вышла сначала абсолютно голая, в черных туфельках и с черным бантом на шее. Потом она скрылась за портьерой и через несколько секунд снова появилась, уже без банта, но вся закутанная в гигантскую красную шаль, которую она внезапно распахнула, остановившись в картинной позе. У нее было очень белое и полное, но довольно крепкое еще тело. Затем она ушла и вернулась уже в гостиную, вновь в своем многослойном платье. В первом часу ночи мы уехали.

Потом я был у мадам Карено еще несколько раз и подолгу разговаривал с ней. Она была действительно хорошей женщиной – доброй, доверчивой и в самом деле совершенно порядочной. Но мечтой всей ее жизни было стать кафешантанной дивой. Она вряд ли даже ясно представляла себе, что это такое, ее прельщала, главным образом, декоративная сторона: поклонники, кулисы, и все это как-то платонически. Когда я попытался доказать ей, что она не подходила для такой жизни, она замахала на меня руками. Что вы, что вы! Именно такую жизнь ей и следовало вести. К сожалению, обстоятельства не позволили ей это сделать. Ее муж был болен особенной формой туберкулеза и не был в состоянии работать, – не могла же она его оставить? У нее были дети, – не могла же она их оставить? В Индии она сначала была гувернанткой, потом, вот, открыла пансион, в котором останавливались случайные люди. Она мечтала о Париже, очень хотела поехать во Францию, но не на кого оставить пансион, и, кроме того, это так дорого стоит. Я уходил от нее с чувством сожаления и неловкости, точно был в чем-то виноват перед ней, – может быть, тем, что совсем недавно приехал из Парижа и через некоторое время поеду обратно.

Затем я ближе узнал и Васильковых. Марья Даниловна боготворила своего мужа и, как множество жен, считала его самым умным, самым красивым и самым лучшим в мире, – о нем вообще говорилось только в превосходной степени. Она приехала к нему в Индию из России, двумя годами позже него. Она проехала через Кавказ, Персию и Афганистан, подвергаясь лишениям и опасностям, для этого нужна была исключительная личная смелость и

сильнейшее желание добраться до Серафима Ивановича; но самым удивительным было то, что она довезла до Бомбея самовар, средних размеров обыкновенный тульский самовар. Серафим Иванович служил в каком-то бюро, я до сих пор не понимаю, как это ему удавалось делать, он почти не знал по-английски. Марья Даниловна помогала мадам Карено, – и так они жили вдвоем в Бомбее. У них не было родственников, почти не было знакомых, и уже в преклонном возрасте оба существовали в этом двойном одиночестве здесь, в городе, где все было им идеально чуждо и далеко.

Однако у Серафима Ивановича и Марьи Даниловны была одна спасительная отдушина: каждый вечер Серафим Иванович писал дневник своей жизни, затем читал написанное Марье Даниловне и аккуратно переплетал все это в большие тетради с тем, чтобы потом опубликовать. Он писал, кроме того, рассказы, повести и романы. Я несколько раз слушал его чтение и следил с невольной улыбкой за восторженным лицом Марьи Даниловны.

За многие годы литературной жизни, посещая бесчисленные собрания, я привык слушать самое разнообразное чтение. Я слышал скороговорочное бормотанье совершенно незначительных произведений, и длиннейшие отрывки из бессодержательных романов, и некоторых авторов, просто плохо владевших русским языком и писавших на полуукраинском-полуеврейском наречии; я слышал бесконечное множество разнообразных стихотворений, иногда даже со звукоподражательными эффектами, вроде завывания ветра или шума дождя, – и длинная галерея графоманов сохранилась в моей памяти. Эта незаменимая тренировка позволяла мне, в конце концов, выслушивать все, что угодно, и в то время, как мои соседи ерзали и нервничали в особенно спорных, по их мнению, местах, я оставался совершенно спокоен. А, вместе с тем, мне приходилось присутствовать на выступлениях редкой оригинальности, вроде того, когда сидевший неподалеку от меня человек простого вида во время диспута об аграрном вопросе вдруг вскочил и закричал тонким голосом: – Я не могу терпеть, когда за крестьян царапаются! – и тот-

час ушел. Я никогда не мог понять смысла, который он хотел придать этой фразе. В другой раз, на лекции одного критика, отличавшегося очень своеобразными взглядами на русскую литературу – он был независимый, смелый и глупый человек, – и, в частности, отрицавшего за Достоевским почти все достоинства, в зале раздался неумелый, но тщательный свист, и выяснилось, что свистел приличнейший человек, приват-доцент, очень немолодой мужчина с причудливо очерченной лысиной, так что издали казалось, что голова его покрыта зачем-то сероватым кружевом странного рисунка, специалист по Византии, богоискательству и тайникам души; сам он говорил вещи преимущественно возвышенные, актерски-адвокатским задушевным голосом и с надрывом, употребляя такие слова, как «юдоль», «ипостась», «искус», «прообраз».

Чтение Серафима Ивановича я слушал с чрезвычайной легкостью. Я мог заметить тогда же, что все его невольные странствия и приключения ни в какой степени не отразились на нем. Он принадлежал к первым годам столетия, к передовой русской провинции того времени и таким и остался. Писал он просто, к сожалению, чисто беллетристического дара у него, по-видимому, не было, так же, как не было разборчивости в выражениях; у него фигурировали и свинцовые облака, и злополучное майское утро, и золотые лучи солнца. Но у него была известная бойкость изложения, кроме того, он хорошо знал русский язык и мог бы, конечно, с успехом быть журналистом или редактором небольшой еженедельной газеты. К несчастью, в Бомбее русской прессы не существовало, а в остальных многочисленных газетах и журналах – в Париже, Праге, Шанхае, Риге – его произведений не печатали, потому что у него не было никаких личных знакомств или связей. Он был, однако, настолько неиспорчен, что это объяснение неуспеха не приходило ему в голову, и когда я высказал ему свои соображения, он был очень удивлен и огорчен. Он «никогда не сталкивался с газетной и литературной средой и имел о ней такие идиллические представления, что мне не хотелось ему объяснять, как обстояло дело в действительности.

Но была все-таки во всем, что он писал, непритворная и неаффектированная печаль. Он не делал из этого литературного приема или profession de foi[1], вроде профессионально скорбящих и годами рыдающих писателей, благополучно существующих на гонорары, получаемые за эти платные сокрушения, – с сочувствующими женами и плохо поддающимся лечению геморроем. Печаль Серафима Ивановича была другого порядка, природного – как русский пейзаж, – говорил он сам. Она же слышалась в его голосе, когда он, аккомпанируя на гитаре, пел стариннейшие романсы:

Забыты нежные лобзанья,
Уснула страсть, прошла любовь...

Когда я пришел к нему в третий раз, он прочел мне рассказ, который назывался «Белые призраки». В нем рассказывалось о крестьянине, который замерзал в степи, и ему все казалось, что его окружают белые, почти безлицые, полупрозрачные и клубящиеся призраки. Ему удалось добраться до ближайшего селения, но на отмороженной ноге началась гангрена. И, умирая в душной избе, он задыхался от холода, ему казалось, что он окружен снежной пустыней, в которой движутся эти клубящиеся, исчезающие призраки, и что он один, совершенно один на всем свете.

Был, как всегда, раскаленный бомбейский вечер, мерно шумел вентилятор, капли пота собирались на неподвижном, сосредоточенном лице Марьи Даниловны, которая слушала рассказ с напряженным вниманием. Рассказ, технически неудачный, был, по-видимому, очень хорош, потому что я с неожиданной силой вдруг почувствовал тогда жалость к Серафиму Ивановичу – к трогательному старенькому его лицу, седой бородке, пенсне; и я, не отрываясь, смотрел на него, с печальным и необъяснимым исступлением.

На следующий день Серафим Иванович заболел: он жаловался на резкие боли в кишечнике. Врачи, как почти всегда, не умели ни определить, ни лечить его болезнь, и со страшной быстротой, характерной для тропического

[1] изложения взглядов (*фр.*).

климата, Серафим Иванович в три дня «сгорел», как сказала Марья Даниловна. Его похоронили, неглубоко зарыв в беспощадно-жестокую и выжженую красную землю; в то утро зной был еще раскаленнее, еще невыносимее, чем всегда. К Марье Даниловне было страшно подходить, и я, подобно другим, испытал это животное чувство страха, похожее, по-видимому, на состояние собаки, ощущающей близкое присутствие смерти в еще живом человеке, – смерти, тень которой не сходила с лица Марьи Даниловны. Я видел войну, видел много умирающих, присутствовал на нескольких агониях, – но никогда не испытывал такого страха.

Когда я вернулся домой и вошел в библиотеку, то знакомая надпись «Here the dead speak to the living» еще раз напомнила мне о Серафиме Ивановиче, и я впервые подумал о том, как будет жить Марья Даниловна, у которой не осталось буквально никого и ничего на свете, ничего, кроме сознания своего смертельного одиночества. Прошел месяц, я видел ее два раза – с тем же остановившимся выражением беспощадных ее глаз, от которых я тотчас же отводил взгляд. Потом однажды утром мне позвонил Рабинович, который сказал, что Марья Даниловна ночью умерла. Я поехал к мадам Карено, которая объяснила мне, что Марья Даниловна с вечера жаловалась на недомогание, потом вошла в свою комнату, легла на кровать, лицом вниз, и больше не шевельнулась. Я вошел к ней; она лежала, положив руку под голову, и на полном сгибе ее пухлого неподвижного локтя уже появилось черное овальное пятно. Она была в затрапезном своем, запачканном платье, сшитом в Баку, у кровати стояли ее очень стоптанные, сиротливые туфли; и эта ужасная ее бедность, теперь совершенно беззащитная, произвела такое впечатление на стоявшего рядом со мной Рабиновича, что слезы, не останавливаясь, катились по его смуглому лицу.

Ее нельзя было похоронить рядом с мужем, их могилы на армяно-григорианском кладбище были отделены друг от друга еще одной, в которую опустили совершенно чужого армянина из Персии, внезапно умершего в день своего приезда в Бомбей от припадка грудной жабы и

чье случайное существование было таким непостижимым образом соединено с этими двумя смертями. – Вам еще не так, – сказал мне Рабинович, – все люди братья, – забываясь, бормотал он, – но вы еще верите в загробную жизнь, а у нас, евреев, нет даже этого утешения. – Я посмотрел вокруг – на пыльную, выжженную зелень, взглянул наверх – и слезящимися от солнца глазами увидел огромное и пустое, розово-синее небо. – Вы ошибаетесь, – сказал я, – я, к сожалению, не верю в Бога, и у меня так же нет утешения, как и у вас.

* * *

Была уже вторая половина мая, приближался период дождей. Мы зачастили последнее время в Джуху – Питерсон, Грин, я и питерсоновский дог, и купались часами. Однако далеко заплывать было опасно из-за сильных прибрежных течений; однажды в такое течение попал дог, и его отнесло далеко от нас. Но он был настолько силен и неутомим, что через сорок минут плавания вылез на берег, встряхнулся и карьером бросился к Питерсону, радостно лая. Грин рассказывал всевозможные истории об акулах. Однажды в пальмах вдруг прошумел неизвестно откуда взявшийся ветер, и на секунду стала свежо и легко дышать. Было еще несколько охот, вплоть до охоты на пантеру, куда уехали Питерсон и Грин, а я остался дома, потому что мне нездоровилось; но когда старики вернулись, то Питерсон заявил, что охота была редкой в том смысле, что в этот раз они не видели не только пантеры, но даже кролика. Так что наш юный друг, как утешающе сказал Грин, который, наверное, представлял себе, что старики выдержали кровавую схватку с хищниками, может не жалеть, что не поехал. Зато на следующий день мы отправились в зоологический сад, и я увидел великолепных тигров, совершенно чудовищных размеров, о которых в Европе я не имел представления, и черную пантеру, с бешенством бросавшуюся к прутьям клетки и потом отпрыгивавшую назад, с непостижимой, акробатической точностью переворачивая свое гибкое тело на лету и мягко падая на лапы.

Но ни зоологический сад, ни охота, ни купанье, ни библиотека, ни чудесная прозрачность питерсоновского мира не могли уже мне вернуть вновь утраченное душевное спокойствие, и нужны были бы, быть может, долгие месяцы, чтобы окончательно замерло и остановилось то волнение, которое я впервые испытал в обществе Серафима Ивановича. Я не мог не думать о его трагической и удивительной судьбе и о том, как вслед за ней, послушной и смертельной тенью, прошли последние, неудержимые дни Марьи Даниловны. От этого моя мысль переходила к другим вещам, я думал о преследующих меня воспоминаниях, о многих безвозвратно печальных вещах и о том, что всюду, куда занесет меня судьба, – так же, как сейчас в Бомбее, – в один прекрасный вечер все это безмолвно вновь возникнет передо мной, и я никогда не уйду от этого.

Время от времени по комнате проползал громадный паук, величиной с тарелку; но достаточно было попасть в него хвостиком веревочки, как он останавливался, мгновенно убитый, тотчас съеживался с непонятной быстротой и делался похожим на маленький черный плевок, вовсе не напоминавший о его гигантских размерах. В один из вечеров, когда я вышел в сад, мимо моих ног с шуршаньем промелькнуло длинное змеиное тело, я не придал этому значения; но Питерсон, которому я рассказал это на следующий день, впервые за все время взволновался и предупредил меня, что ночью очень опасно выходить в сад, особенно на неосвещенное место. Змея, которую я видел, была коброй, и когда он сказал мне это, мне стало не по себе.

Мне примелькались бесконечные индусские шествия и беззаветные их свадьбы, на которые они, как объяснил мне Питерсон, разорялись. Мы неоднократно встречали или обгоняли эти процессии: на цветной колеснице высоко в раззолоченном кресле под белым балдахином сидел маленький мальчишка с испуганным детским лицом – жених; он считался женатым уже с этого возраста и ждал потом целые годы своей зрелости, чтобы фактически вступить в брак. Меня начал раздражать непрекращающийся, преследующий меня всюду шум барабанов, похожих на овальные бочонки; и у меня начинались

приступы тошноты, когда я вспоминал ужасные запахи и невообразимую, нечеловеческую грязь туземных кварталов, где люди жили в беспросветной и зловонной нищете и куда я несколько раз с отчаянием и ужасом все же поехал на автомобиле, чтобы увидеть своими глазами этот почти дантовский и смрадный мир мир моих далеких братьев. И я уехал из Бомбея. Он медленно удалялся от меня в густой темноте незабываемого тропического вечера, окруженный звездами и небом, которое мерно двинулось назад и пропало в медлительном беге – в ту минуту, когда наступила полная ночь и когда скрылись с моих глаз последние огни исчезнувшего города.

1938

ОШИБКА

Василий Васильевич в течение целого часа ходил по квартире, заглядывая под столы и диваны, зажигал всюду электричество – в городе уже наступили медленные сумерки, – но все поиски его оставались безрезультатными. Он много раз обошел все комнаты, обшарил диваны и кресла, залезал рукой в мягкие пространства, наполненные бархатом и пылью, в которых нашел обрывки бумажек, английские булавки и пропавшего из колоды карт короля пик, но того, что он искал, не было нигде. Неутомимо он снова принимался за поиски; он собирался уже влезть на буфет, подставив к нему кресло, как вдруг неожиданно заметил, что из-под тяжелой молочно-белой вазы, стоявшей на маленьком столике, выглядывает угол его черной тетрадки. Он потянул ее к себе, столик пошатнулся, но тетрадка не сдвинулась; он дернул сильнее, и тогда, смешно накренившись набок, столик упал вместе с вазой, она звонко ударилась о паркет и разбилась на маленькие белые куски, быстро раскатившиеся по полу. Василий Васильевич стоял, затаив дыхание и прислушиваясь к тишине, особенно удивительной после звонкого грохота. Почти совсем стемнело, синий диван казался черным, смутно желтел циферблат часов, тускло сверкал диск хвостатого маятника, за окном неподвижно, как на картинке, росли темные деревья; потом, через несколько секунд, на улице зажглись фонари, и тогда бледное их сияние проникло в квартиру и осветило лежавший на полу столик, осколки белого стекла и самого Василия Васильевича с наконец найденной тетрадкой в руке; на Василии Васильевиче были длинные штаны и матросская куртка. Он стоял как зачарованный, открыв большие синие глаза и глядя на неподвижную белую россыпь на полу. Каза-

лось, что прошло очень много времени до той минуты, пока послышались неторопливые шаги, зажглось электричество, и голос с порога сказал:

– Что ты разбил, Василий Васильевич?

И только тогда Василий Васильевич заплакал, закрыв лицо руками и поняв всю непоправимость того, что он сделал.

– Но зачем же ты ее трогал?

И Василий Васильевич, всхлипывая и от отчаяния говоря невнятно, объяснил, что он искал тетрадку, в которой отец ему сегодня утром нарисовал замечательного чертика, что тетрадка оказалась под вазой, что он ее потянул, и тогда ваза случайно упала.

– Ну, хорошо, – сказала ему мать. – Теперь помоги мне собрать осколки, только смотри не порежься.

– А они острые? – спросил Василий Васильевич.

– Очень острые.

– А ваза была не острая.

– А Василий Васильевич был очень глупый мальчик.

– Неправда, – сказал Василий Васильевич.

Сначала было только кресло, с твердым и упругим сиденьем, потом мелькнуло лицо кинематографической красавицы, потом вспомнился вкус воды в купальне, потом маринованная рыба, которую вчера приготовила Наташа, затем две строки из давнего письма – «Вам я верю всегда, и безгранично, и я надеюсь, что, пока я жив, нет вещей, которые могли бы поколебать эту уверенность»; но эти строки уже имели отношение к тому, о чем совсем не следовало думать и что, в сущности, почти не существовало; надо было думать о другом, например, об итальянской выставке, об искусстве, о скульптуре; но все эти мысли не имели сейчас ни обычной убедительности, ни обычного содержания; они не уходили, но не поглощали внимания, они становились утомительными и бесплодными, как давно в гимназии заданный и обязательный урок. И это усилие – не думать о том, что почти не суще-

ствовало – напоминало физическое напряжение, доходящее уже до конца, – когда болят мускулы, и стучит в висках, и хочется остановиться и бросить все. И главное, все было напрасно и не нужно, потому что вся жизнь до сих пор была счастлива, удачна и правильна, как классическое построение отвлеченной схемы, непогрешимое в своем исполнении. Она заключала в себе – вплоть до последнего времени – длинную смену ощущений, воспоминаний, волнений, из которых каждое было продолжением того самого счастливого начала, которое затерялось во времени и осталось где-то далеко позади, может быть, в детстве, на берегу моря. Оно усложнялось, обогащалось, становилось со временем все глубже и все, казалось бы, несомненнее, – и вне этого существовал лишь внешний незначительный мир, почти нереальный и бессильный над тем, что составляло самую сущность жизни. Только лет восемь тому назад возникло и исчезло сомнение, чувство необъяснимой, случайной пустоты – точно все-таки чего-то не хватало, – но потом появился Василий Васильевич, и тогда стало несомненнее, чем когда бы то ни было, что все разрешено раз навсегда самым лучшим и самым приятным образом. Дни и недели, особенно запомнившиеся за это время, отличались свежим и сильным восприятием всего, что происходило вокруг, до мельчайших и незначительных подробностей – и сознанием того, что гибкая возможность понять как можно больше вещей и ощущений почти безгранична. И когда это останавливалось, то уже достигнутые состояния счастья были неизменны, как всё теперь в этой квартире, где тишина и сумрак. Было действительно очень тихо и сумрачно, и неподвижно, и все, казалось в эти минуты, уже вернулось к классической схеме, обогащенной еще одним днем, еще одним усилием воображения в тишине, – как вдруг, резко неожиданно, с неслыханной, отчаянной звонкостью сорвался и прокатился по квартире шум разбитого стекла.

Василий Васильевич давно уже спал, открыв наполовину рот и подвернув маленькую скрюченную руку под голову, давно ушла Наташа, кресло сменилось диваном, у изголовья которого горела лампа с зеленым абажуром; осколки стекла были собраны и выброшены, все остальное было решено и установлено; но оставалось все-таки найти во всех этих привычных и милых вещах, из которых состояла жизнь, то место, которое оказалось незащищенным, тот point de depart[1], после которого иногда вещи приобретали иное значение и теряли свою прежнюю форму. Где, когда, почему это могло случиться? В ранней юности были дурные желания, несколько нехороших поцелуев, но это объяснялось возрастом, а не испорченностью или отсутствием точного представления о том, что хорошо и что дурно. Потом была любовь и брак, и холодный взгляд матери, ненавидевшей всех счастливых людей на свете, и благословение иконой, древней, как мир, и настолько почерневшей, что нельзя уже было разобрать, который святой был на ней нарисован; чернело только едва различаемое лицо, с небольшими строгими глазами, да желтел ободок вокруг головы, но все это имело очень условное и символическое значение, и никто – ни благословлявшие, ни благословляемые – даже не смотрел на икону, которую по окончании церемонии поставили на прежнее место, заслонив ее высохшей, побуревшей от времени зеленью. Еще до этого была Россия, светлая квартира с громадными окнами, гимназия, уроки языков, – все как у людей, – с презрением говорила мать, которая всю жизнь ждала либо страшной личной трагедии, либо катастрофы и которая обычное безбедное существование считала унизительным и недостойным; всегда собиралась то в монастырь, то в революционерки и говорила мужу, что так жить нельзя и стыдно; но не пошла ни в монастырь, ни в революцию и продолжала ездить в театр и принимать знакомых, глубоко презирая эту благополучную жизнь. Она оживлялась только тогда, когда с кем-нибудь действительно происходило несчастье, кто-нибудь был при смерти; тогда,

[1] исходный пункт (*фр.*).

оставляя все, она отправлялась туда, понукая кучера, привозила докторов, тратила, не считая, деньги, заботилась о сиротах и вообще делала множество добра, которому, однако, должна была предшествовать смерть или вообще нечто настолько непоправимое, что никакие деньги и никакие заботы уже не могли ничему помочь. Она не любила свою дочь, не любила сына, не любила мужа; зато постоянно к ней приходили всевозможные просители и просительницы, иногда ужасного вида, калеки, с вывороченными веками, пьяницы, чахоточные, несчастные и жалкие люди, которым она давала деньги, одежду, о которых заботилась как о родных, – и потом, входя в столовую, где все затихали при ее появлении, говорила:

– Ну, поблагодарим Бога за то, что мы еще сегодня сыты.

И ее муж пожимал плечами, привыкнув за тридцать лет к этой ежедневной комедии.

Она ненавидела и презирала все, в чем проявлялось здоровье, счастье, богатство, любовь, – все положительные вещи вызывали с ее стороны только насмешку и вражду. Когда жених ее дочери пришел к ней, – это было уже за границей, в Берлине, но в доме не изменилось почти ничего, (и такие же бедняки по-прежнему теснились на черной лестнице, только среди них стали попадаться немцы вместе с русскими), – и сказал, что он просит руки Екатерины Максимовны, она помолчала, глядя на него с гневом, и ответила, что она очень счастлива, и это звучало такой ненавистью и издевательством, что он ушел, смутившись и почти испугавшись этого непонятного гнева. И в день свадьбы, в тугом накрахмаленном платье, она принимала поздравления, потом вызвала к себе дочь и сказала ей, что существуют известные законы природы и инстинкт размножения и plaisirs de la lune de miel[1], и что, в конце концов, случившееся хотя и грустно, но нормально; и советовала дочери все же иногда вспоминать о том, что в Берлине есть десятки тысяч людей, которые голодают.

---

[1] удовольствия медового месяца (*фр.*).

И только отец иногда говорил дочери:

– Ничего не поделаешь, Катя. Мама у нас несчастная.

И было так удивительно, что потом, живя в Париже, Катя получила от матери первое письмо:

«Милая моя Катюша, моя нежная девочка...» И все было составлено из таких ласковых выражений, которых она никогда не употребляла, все было так близко и тепло и так непостижимо и неожиданно, что Катя плакала над этим первым письмом и показала его мужу, который сказал, что он всегда был лучшего мнения о своей belle-mère[1], чем мнение всех окружающих, потому что в этой женщине несомненно много хорошего, только это неудачно выражено. И в день рождения Василия Васильевича первое лицо, которое увидела Катя, было лицо ее матери; она, впрочем, тотчас же уехала, констатировав с грустью – как сказал брат Кати, – что, к сожалению, и Катя и ее потомок совершенно здоровы и находятся вне опасности. Когда мать встретила в клинике своего сына, которого не видела несколько лет, она ему сказала: здравствуй, – почти вопросительным тоном. – Ты что, собственно, здесь делаешь? – У меня, мама, сестра рожает, – ответил он. – Да, только тебе-то здесь нечего делать, – опять сказала она и направилась в палату, из которой слышались крики ее дочери.

Потом рождение Василия Васильевича было отпраздновано, как только Катя оправилась, втроем: была Катя, ее муж и брат, пили шампанское, послали телеграмму родителям и произносили тосты в честь Василия Васильевича, который на другом конце квартиры мирно спал, туго завернутый в пеленки. Васильем Васильевичем его назвал Александр, брат Кати, который ей сказал:

– Посмотри, какой он важный, просто неловко к нему по имени обращаться. Его надо звать Василий Васильевич. – И так это и установилось, и все потом привыкли и совершенно серьезно говорили:

– А где Василий Васильевич, что Василий Васильевич?

[1] теще (*фр.*).

Василий Васильевич был маленький и толстый, вначале ползал, потом ходил по квартире и падал, молчал и смотрел на всех серьезными блестящими глазами. Больше всех любил дядю, потом маму, потом, может быть, папу, – как он сказал, когда его спросили об этом в сотый раз и когда он впервые употребил выражение «может быть».

Она принимала ванну поздно вечером, перед тем как лечь в кровать, когда пришел ее муж. Он толкнул стеклянную дверь, вошел и увидел Катю в ванне, и ей вдруг стало нестерпимо стыдно своего тела, – и она с удивлением ощутила этот жгучий и совершенно непонятный стыд, – что-то изменилось, что-то было не так, как всегда. Он сказал: – Извини меня, Катюша, пожалуйста, je suis un peu dans la lune[1], – и вышел из ванной. С краской, заливающей ей лицо, она надела купальный халат и прошла в свою спальню. Он явился туда через несколько минут, неся на подносе чай: – Тебе, наверное, хочется чаю после ванны? – Спасибо, ты мил, как всегда. – Он сел в кресло, рассказал ей о торжественном обеде, с которого вернулся; она слушала его точно издалека и с удивлением, как будто впервые, замечала, как умно он говорил о людях, как сразу понимал, что важно и что несущественно, и всегда знал, что нужно сказать и что нужно сделать. Он никогда, кажется, еще не ошибся – ни в определении, ни в поступке, – и так было всегда, и она привыкла очень верить ему во всем. Вначале она сомневалась, проверяла его чувства, подвергала его многочисленным и разнообразным испытаниям – и всегда подтверждались самые лучшие предположения, потому ли, что он действительно любил ее больше всего на свете, как он говорил, или потому, что ему помогал его чудовищный, как ей казалось, ум. Второе предположение возникло потому, что этот человек был слеп или делал вид, что был слеп, только в одном – в своем отношении к жене. Он ничему не верил – ни людям, ни идеям, ни отношениям, все было построено только на рас-

[1] Я немного не в себе (*фр.*).

чете, и Катю иногда удивляли его беспощадные суждения о людях, которые почти всегда подтверждались; он твердо знал, как нужно говорить с таким-то и как с другим, и не высказывал никаких бесполезных чувств. Он все вещи понимал сразу, и, только оставаясь с Катей вдвоем, он делался беззащитным, как Василий Васильевич, его сын, потому что был убежден, что Катя никогда не способна ни на какой дурной поступок. Он пожелал ей спокойной ночи и ушел, и она опять задумалась о том, как возможно, чтобы этот человек искренне верил в то, что она не способна ни к чему дурному. Правда, он не мог предполагать, что у Кати вдруг возникнут какие-то сомнения в раз навсегда существующих и неизменных вещах. Он понял, целуя ей руку и заглянув в ее глаза, что сегодня он не должен остаться с ней, что сегодня ей это было неприятно. Может быть, он просто устал? Нет, она почувствовала по тому, как он взял ее руку, что это было не так, и только после того, как их глаза встретились, его пальцы медленно и ласково разжались, он улыбнулся, поцеловал ей руку и ушел своей неслышной походкой.

Ее иногда он начинал раздражать именно своей безошибочностью и неуязвимостью, – точно это была идеальная мыслительная машина, а не человек. Ему, казалось, даже не нужно было делать усилий, чтобы знать, что ей доставит удовольствие, что будет неприятно, – и это могло касаться самой незначительной реплики или замечания по поводу платья, которое она впервые надевала. Иногда она начинала ему говорить резкие и несправедливые вещи, – он никогда не сердился и только улыбался – причем в его улыбке не было ни тени насмешки, которую она бы ему не простила; была только нежность – он так же улыбался Василию Васильевичу. Выходило так, что он изучил Катю до конца – с невысказанными желаниями, с непродуманными и неожиданными мыслями, с ее переменами, – изучил так же легко, как изучал любой вопрос, за который брался, и составил раз навсегда одну непогрешимую формулу, как в алгебраическом уравнении.

Да, и до последнего времени он оказывался прав во всем. Но когда однажды Катя его спросила, что нужно для того, чтобы знать человека до конца, он ответил:

– Любовная интуиция.

– А те, кого ты не любишь? Законы общего порядка?

– Законов общего порядка, кажется, нет.

– Что же есть?

– Есть то, что каждый человек представляет из себя индивидуальность, которая может походить на другую в силу случайных аналогий, но которая все-таки управляется своими собственными не законами, конечно, а различными соотношениями, характерными для этого периода времени...

– Боже, как это сложно! Но в общем, можешь ли ты его знать до конца или нет?

– Нет, конечно. Я могу предвидеть, как он поступит в точно определенных условиях, и то далеко не наверное.

– Но ты, кажется, редко ошибаешься.

– Ох, очень часто, – сказал он, улыбаясь. – Только ошибки почти никогда не бывают непоправимыми, и я стараюсь их не повторять.

– А я?

– Тебя я знаю, не думая, интуитивно, потому что тебя я люблю.

Был второй час ночи, а она не спала, все отыскивая и стараясь понять, когда и как произошла эта ошибка. До известного времени все было ясно: ее жизнь, думала она, лежа на спине в темноте, протекала в двух планах – один над другим. Один – это был ее муж, которого она любила, Василий Васильевич, брат и отец – разной силы и разного оттенка чувства, доставлявшие ей радость. Второй план, о котором она почти никогда не думала, но который подразумевался сам собой и был так же ясен, как первый, состоял в твердом знании некоторых отвлеченных положений; и это знание позволяло, например, безошибочно сказать, хорош или плох тот или иной поступок. В мире существовали болезнь, смерть, несчастья, ненависть, дурные чувства, обман, измена, но все это не касалось ни ее, ни ее близких. Это были всем известные вещи, отвлеченные понятия, никогда не почувствованное знание, как представление о стране, которой она никогда не видела. Мысль, что она может испытать когда-либо что-нибудь

подобное, ей не приходила в голову. И вот в этой системе чувств и мыслей произошло изменение. Там, где вчера было пустое и темное место, возникло нечто новое и отвратительное, – с точки зрения этих прежних ее представлений, – вдобавок не случайное и почти такое же огромное, как все, что было до сих пор, целый новый мир, не похожий ни на что испытанное прежде, тягостный, темный и непреодолимый.

Факты восстановить было легко и просто. Сначала вечер в театре с мужем, потом знакомство, – молодой человек, старше ее лет на пять, неопределенной национальности, хорошо говоривший по-русски, среднеспортивного вида и ничем не замечательный на первый взгляд. Он почему-то раздражал ее, хотя придраться было, казалось, не к чему. Потом его визит к ним, – первый, затем второй, через неделю. – У вас много свободного времени? – спросила она. – Вся жизнь, – ответил он, улыбаясь, – я недавно получил наследство. – Затем первый выход с ним, дневной сеанс кинематографа, такси, и его приблизившиеся губы, и нестерпимое желание захватить зубами этот рот, и на следующий день, блеклый, зимний свет в окне и точно возникающее на простынях свое собственное голое тело.

Она вернулась домой, мужа не было, Василий Васильевич строил башню из железных переплетов. Через десять минут позвонил телефон и голос мужа сказал, что он будет только поздно вечером и не может обедать дома. – Хорошо, – ответила она. Она пообедала вдвоем с Василием Васильевичем, затем пришел брат, рассказывавший смешные истории и просидевший до часу ночи, – и эта смертельная тоска, с которой она вернулась домой, постепенно исчезла, точно медленно смещаясь в далекой темноте, и тогда, подняв просветлевшие глаза, Катя почувствовала, что она такая же, как всегда, и что все осталось на своих местах – и все, что она любила до сих пор, она любит так же, как раньше.

Прошло три дня; раздался телефонный звонок, и необычным, изменившимся и высохшим голосом она ответила, что хорошо, она согласна – и потом было то же, что в первый раз: сначала губы и гул во всем теле, потом мед-

ленные пальцы на ее груди и ногах и, наконец, последнее, невыразимо долгое движение и сверкающие капли пота на лице и на теле, и прикосновение твердой и горячей кожи, сознание, что она задыхается и что это, может быть, самая лучшая смерть.

И затем это стало повторяться уже регулярно. Это не имело ничего общего ни с любовью, ни с привязанностью, и только случайно оказалось, что молодой человек был по отношению к Кате безупречен, скромен и нежен; кроме того, их свидания были окружены такой тайной, что, кроме них, никто не знал об этом. Если Катя не видела его в течение недели, она начинала вновь чувствовать себя так, как если бы ничего не случилось; но достаточно было ей услышать его голос, как она готова была ехать куда угодно; и с этим влечением она совершенно не могла бороться. Они никогда не выходили вместе и нигде не бывали вдвоем, он совершенно перестал бывать в доме у Кати и ее брата, Александр даже сказал как-то:

– Катюша, а куда пропал этот алкоголик?

– Какой алкоголик?

– Ну, помнишь, молодой человек, такой, брюнет, кажется, богатый наследник?

– Да, помню. Только почему он алкоголик? Ты его хорошо знаешь?

– Совершенно не знаю. Да и не нужно знать. Ты на него посмотри: всегда чистенький, аккуратный, веселый – это, милая моя, подозрительно. А потом выясняется: оказывается, алкоголик.

– Глуп ты, Саша, до ужаса.

– А я тебе говорю, что ты ничего не понимаешь в психологии. А у меня глаз безошибочный. Это недоразумение, что я архитектор: мне надо было стать ученым.

– Что ты архитектор – это действительно недоразумение.

Катя с удивлением отмечала, что со своим любовником она даже почти не разговаривала, и это было совершенно не нужно. Но с самого начала она испытывала к нему, наряду с непреодолимым влечением, нечто чрезвычайно похожее на ненависть. Он не мог не заметить этого

и даже сказал ей как-то, что, быть может, лучше было бы вообще не встречаться: если она его не любит...

– Я никогда вас не любила, – сказала она, – никогда, вы слышите, никогда. Но я не могу без вас жить.

– Это слишком сложно для меня.

– Да, – сказала она, с сожалением и с презрением, – это верно. Для тебя это слишком сложно.

У нее начал портиться характер, она стала раздражительна без причины и однажды в присутствии брата и мужа дала пощечину Василию Васильевичу, который так удивился, что даже не заплакал. Брат ее вскочил и закричал на всю квартиру:

– Дура!

Она посмотрела на него, потом на мужа – и тогда впервые увидела его холодные и совершенно чужие глаза. Не повышая голоса, он сказал:

– До сих пор я не злоупотреблял своими правами, Катя. Сейчас я вынужден это сделать. Есть вещи, которых я допустить не могу и не допущу.

– Чем ты становишься старше, тем ты больше на маму похожа, – с бешенством говорил Александр. – Прелестная наследственность.

– Я думаю, что дело не в этом, Саша, – медленно сказал муж.

Кончилось это истерикой, рыданьями и тем, что Катя легла в постель и не встала до следующего утра.

Она становилась совершенно невозможной. Она делала выговоры прислуге, постоянно озлобленно суетилась, переставляла мебель в квартире, требовала, отказывалась, покупала вещи и отсылала их обратно, вообще стала совершенно не похожа на ту спокойную женщину, которой была раньше. Муж ее уехал на месяц за границу, Василия Васильевича брат взял к себе «погостить», как он сказал, и она осталась одна. Ей казалось, что она близка к самоубийству. Казалось, что больше вынести такую жизнь невозможно.

И вот однажды он не пришел на свидание. Она просидела в маленькой квартире, которую он снял для их встреч, час, его не было. Она ушла. Она ждала телефон-

ного звонка или письма, думала, что с ним, может быть, случилась катастрофа. Но ни звонка, ни письма не было.

Прошла неделя. Она провела ее за чтением книг, которых никак не могла понять. Она начинала и бросала писать письма мужу и ждала, вопреки очевидности, разрешения вопроса о том, что произошло.

Поздно вечером, ровно через полторы недели со дня несостоявшегося свидания, незнакомый голос сказал ей по телефону, что месье такой-то очень хотел бы ее видеть. Она резко повесила трубку, но через минуту тот же голос снова вызвал ее и объяснил, что она неправильно поняла, что она ошиблась – что месье очень плохо и что если она сейчас же не приедет... – Я еду, – сказала она, – точный адрес, пожалуйста.

Через десять минут она входила в его квартиру, которой не знала. Уже по тому, что ей открыла дверь фельдшерица с очень значительным выражением лица, которое бывает у людей только в чрезвычайных и чаще всего непоправимых обстоятельствах, она поняла, что он умирает. Доктор, с рассеянным и ожесточенным выражением на небритом лице, прошел мимо нее, не заметив, казалось, ее присутствия. В большой гостиной находилось еще несколько человек; она не знала никого из них, но, взглянув на каждого, можно было догадаться обо всем совершенно безошибочно. В комнатах было душно и жарко, запах лекарств смешивался с особенным, трудноопределяемым дурным запахом. Через гостиную, навстречу Кате, прошла еще одна фельдшерица, неся под своим безукоризненно белым халатом какой-то большой предмет. Сидевший в кресле молодой человек поднял голову, взглянул на Катю, как взглянул бы на стул или стол, и опять опустил голову, охватив ее руками.

Едва только Катя вошла, у нее тотчас же началось физическое, холодное, почти невыносимое томление. Она постояла минуту в гостиной, потом зачем-то перекрестилась и вошла наконец в комнату, где лежал больной. И, только взглянув на него, она ощутила неведомый и непреодолимый ужас.

Он лежал на постели, обнаженный до пояса. Вместо торса, который она так хорошо знала, с переливающимися мускулами под смуглой, упругой кожей, она увидела туго обтянутую грудную клетку с резко выступающими костями. Руки были тоненькие, пальцы слишком большие. Она наклонилась над чужим заросшим лицом. Глазных яблок не было видно, вместо них были неподвижные, закатившиеся, еще желтоватые белки. Рот был раскрыт. Умирающий дышал необыкновенно неглубоко и часто, как собака после бега. Он был без сознания.

Она стала на колени перед его кроватью, взяла его горячую руку, он, по-видимому, не чувствовал этого. Потом, на секунду, показались его глаза, он посмотрел на Катю, не понял и прохрипел незнакомым голосом: – Кисло... кисло... – Он просит кислороду, – сказала Катя. – Да, да, – сказал из гостиной рассеянный голос доктора, по-видимому, в ответ на вопрос фельдшерицы. – Хотя это бесполезно, все равно, все равно.

К утру дыхание становилось все реже и реже, и в четыре часа, не приходя в сознание, он умер. Катя с мокрым лицом вышла из комнаты. Молодой человек, сидевший в кресле, брат покойного, плакал навзрыд, по-детски всхлипывая. И только в эту минуту то, что давно уже было, но никак не могло дойти до сознания Кати, вдруг стало необыкновенно ясно: именно, что умер тот самый человек, которого она любила, и что любила она только его.

Она вернулась домой, закурила папиросу и села писать письма. В восемь часов утра, ранним поездом, приехал муж. Он поцеловал ей руку, посмотрел на ее изменившееся лицо и сказал по-французски – он часто переходил на французский язык:

– Tu reviens de loin[1].

– Je ne reviens pas, – ответила она. – Je pars[2].

И в тот же день, подписав прошение о разводе, она уехала из дому.

---

[1] – Ты как будто вернулась издалека (*фр.*).

[2] – Я не вернулась... Я ухожу (*фр.*).

ХАНА

Прямо от вокзала начиналась широкая и небрежно застроенная улица, – мостовая, тротуары, дома, – на первый, невнимательный, взгляд, похожая на любую улицу любого другого города; но, сделав небольшое усилие памяти, я ясно вижу каждое здание, каждую вывеску, я проверял это уже несколько раз, и много лет, сквозь разные страны и чужие города, я вожу с собою этот почти идиллический и, несомненно, уже не существующий пейзаж, в котором прошли ранние годы моей жизни. Непосредственно от вокзала отъезжала конка, официально называвшаяся городской конный трамвай, – запряженная двумя разномастными лошадьми, видавшими виды, и управляемая кучером с тем особенным кирпичным цветом лица, который бывает у бродяг, кучеров, странников и хронических русских богомольцев, людей, проводящих большую часть жизни на воздухе; и на медном этом лице росли с дикой пышностью пыльные и безмерно распространяющиеся усы.

Первая улица, по которой проезжала конка, была так широка и просторна, что невольно казалось, будто она чрезвычайно длинна и, может быть, пересекает весь город; но она совершенно неожиданно и быстро кончалась, не оправдав возлагавшихся на нее ожиданий. Главным ее зданием был дом огромной гостиницы с двумя одинаковыми вывесками, на которых золотыми буквами по искрящемуся от света черному фону было написано по-русски «Гостиница Слон» и по-французски «Hôtel Slon». А на углу была вторая гостиница, вся в стеклянных дверях и окнах, но без всяких заграничных ухищрений и вывесок на иностранных языках – она называлась «Русское хлебосольство». Позже мы называли постояльцев «Слона» западниками и постояльцев «Русского хлебосольства» –

славянофилами. Здесь же на углу стоял обычно четырнадцатилетний мальчишка, Сережка, куривший в рукав по давней привычке и кричавший хриплым голосом, продавая газету: – Вот оно, вот оно, ночью работано, днем продаем, вечером даром отдаем! – Называли его Сережка Чмель, хотя фамилия его была Шмелев, но на блатном языке фамилия Шмелев выходила неубедительно, и было очевидно, что следовало произносить Чмель. Когда я проходил мимо Сережки, он протягивал мне руку, быстро говорил: – Здоров, как поживаешь, дай папироску, – произнося все невыразительной скороговоркой, и сейчас же опять начинал кричать: – Экстренный выпуск, последние новости с фронта военных действий! Экстренный выпуск! Вот оно, вот оно!

Я знал его вне газетной работы, он был отчаянный фантазер и рассказывал неправдоподобные истории, которые он где-то прочел, передавая их по-своему и играя в них неизменно героическую роль. Любимая его фраза была: «тогда я вошел в азарт...»; она обычно предшествовала решительному моменту повествования, вроде беспримерного и идеально неправдоподобного сражения с полицейскими. Когда я говорил Сережке, что все это неправда, он вскакивал с места, бросал об землю шапку и кричал исступленно: – За кого?.. за кого ты меня считаешь?.. Не веришь, да? – Потом успокаивался, улыбался и прибавлял: – Вот чудак, ну дай еще папироску. – Старшая, его сестра, которой было семнадцать лет, уже начала заниматься проституцией, брат его был в приюте для малолетних преступников, мать его, немолодая женщина, давно оставшаяся без мужа, ничего не делала, только пела высоким голосом печальные песни, – и я никогда не видал ее трезвой; в молодости она была прачкой, но потом спилась. Она была больна, кажется, водянкой, во всяком случае, ходила с трудом и во время разговора медленно поворачивала голову с огромными и выпученными, мутно-стеклянными глазами. – Мамаша у нас болезненная, – говорил Сережа, сплевывая сквозь зубы. Когда семье Сережки приходилось совсем плохо, мы помогали ему чем могли. Сережка сам был недоволен своим ремес-

лом и мечтал сделаться профессиональным вором, но ему не хватало тренировки, и при каждой очередной попытке его ловили, от чего он был в отчаянии. – Нет привычки к работе, – говорил он с сокрушением, – каждый раз засыпаюсь. – Говорят, школы такие есть, Сережа, – говорил я, – знаешь, где на карманщика учат. – Где они, эти школы? – кричал Сережка. – Я тебя как человека спрашиваю, где? Ты не знаешь? Вот и я не знаю.

Как-то зимой Сережки не оказалось на его месте, я пошел к нему; он лежал, правая его нога была закутана тряпками. – Такое мое счастье проклятое! – сказал он с грустью. Я спросил, в чем дело, он рассказал мне, что высмотрел прекрасный серебряный самовар, который кухарка одного из домов ежедневно ставила на дворе, против угара. Сережка подхватил его за ручки и побежал, но кухарка заметила, дворник тоже, и Сережке пришлось убегать; самовар был слишком тяжел для него, он был вынужден его бросить. – Обварил ногу себе, к чертям собачьим, славу Богу, что хоть так смылся. – Хорош ты был с самоваром, – сказал я. – Ух, брат, такой тяжелый, – сказал Сережка с воодушевлением, – человек на десять самовар. Вот я поправлюсь, мы пойдем, я тебе покажу. – Самовар этот я видел; он принадлежал моим знакомым, у которых я пил иногда чай, и был действительно на редкость велик, развесист и тяжел. Чтобы утешить Сережку, я ему сказал, что самовар-то, оказывается, просто медный, только для виду покрытый серебром, и цена ему небольшая: Герасим за него и двух рублей не даст.

Герасим был скупщик краденого, мрачный человек с черной бородой, одна нога его была на деревяшке. Он был герой японской войны и всегда носил на груди свои георгиевские кресты. Он был совершенно одинок, жил чрезвычайно скромно в сырой квартирке из двух крохотных комнат, не пил, не курил, все помалкивал и читал Евангелие в тяжелом кожаном переплете, был любителем церковного пения, любил говеть и поститься и знал наизусть все церковные службы. В молодости он, по его словам, все собирался к святым местам, но на войне ему оторвало ногу, а на деревяшке идти было нельзя. – А вы бы на телеге, Гера-

сим, – говорил я ему, сидя у него в гостях: я иногда приходил к нему, он угощал меня чаем. – На телеге не шутка, – отвечал Герасим, – ты пойми, это не хождение к святым местам, а езда. А в езде интереса нет. – У него был один только друг, с которым вместе он служил во время японской войны, слепой; он пел и играл на гармонике, ходил по дворам со своей собакой и зарабатывал много денег, он действительно прекрасно играл и пел. Меня поражало, что он шел, как зрячий, никогда не ошибаясь и не оступаясь, и только тогда, когда я в первый раз увидел его у Герасима, я узнал, что он совсем не был слепым. – Зачем же он так делает? – спросил я Герасима. – Какой ты непонятливый, – ответил Герасим, – чудак ты, ей-Богу. Вот мать твоя на тебя деньги в гимназию тратит, а ты такую вещь понять не можешь. Это ему для работы нужно, слепому больше денег дают. Понял теперь? – Ремесло свое Герасим знал хорошо, вещи оценивал сразу, не колеблясь, и никогда не ошибался. Но и у него было слабое место; он собирал марки и совсем плохо разбирался в них, – хотя любил это, кажется, больше всего; и Сережка, которому мы это объяснили, специализировался впоследствии на том, что приносил Герасиму марки, которые мы ему давали, и зарабатывал больше, чем на краденых вещах.

Через некоторое время, впрочем, мы стали реже встречаться с Сережкой: он переехал из вокзального квартала в другой конец города, на Староконную улицу, носившую глубоко провинциальный характер. Я ездил к нему. Путешествие длилось чуть ли не час, пока конка, наконец, не въезжала в эту улицу и катилась мимо вывесок: «Собственное молоко Анны Сметаниной», «Чулочное заведение Пузмок», «Портной Евгений Хоход». Здесь жила беднота, весенними вечерами не звучали из открытых окон рояли, не проезжали ни извозчики, ни лихачи – только слышался непрестанный кандальный звон цепей в длиннейшем здании конюшен, принадлежавших городскому конному трамваю. Сережка, впрочем, остался и там недолго и опять переехал, на этот раз недалеко от нашей гимназии и Банного переулка, где были знаменитые бани Ванифатьева, публичные дома и живая, движущаяся биржа про-

ституток; в этом квартале Сережка торговал порнографическими открытками; но он вообще был неудачником, и дела его шли по-прежнему плохо. Нас он, однако, не забывал, по-прежнему приходил к нам, и мы все вместе собирались в овраге, за стеной нашего сада – два моих товарища, гимназист и реалист, я и Сережка; он принимал участие во всех наших предприятиях, и мы были еще настолько неиспорчены, что не чувствовали никакого неравенства. Когда обсуждался вопрос о том, что нужно собрать немного денег, чтобы поехать кататься на лодке, и я задумывался над тем, как их достать, Сережка говорил неизменно:

– А ты у матери украдь.

– Зачем мне красть? – говорил я. – Она мне даст; я попрошу, она даст.

– Ну, мать у тебя чудачка, – говорил Сережка, – я бы тебе не дал.

Затем Сережка предлагал очередную месть своему заклятому врагу, владелице модной и белошвейной мастерской Екатерине Сидоровне Карповой, которая однажды, по словам Сережки, написала на него донос в полицию. Это было совершенно неверно, но Сережке это очень нравилось, – он и это, по-видимому, где-то прочел и сразу вообразил себя в роли преследуемого, а Екатерину Сидоровну – в роли врага, хотя Екатерина Сидоровна о Сережке вообще не имела понятия; но Сережка сам искренне верил в то, что она послала на него донос в полицию, и, в отместку за это воображаемое преступление, каждый раз, когда мог, писал мелом на дверях ее мастерской: «Сдесь шьют очинь плохо», – чтобы отбить заказчиков, как он говорил. – Увидят и уйдут, – говорил он мечтательно, – тогда она, стерва, почувствует, что такое доносы писать. – И <в> его фантазии уже рисовались толпы заказчиков, подходивших и подъезжавших к модной мастерской: они прочитывали надпись и медленно удалялись, хотя сама Екатерина Сидоровна, стоя на пороге, умоляла их вернуться.

Екатерина Сидоровна была – и осталась – для меня чистейшим, идеальным образцом особенного траурного великолепия. Много лет спустя я узнал ее историю: она была любовницей очень богатого и пожилого человека, хорошо жила, ездила с ним за границу; но в один прекрас-

ный день он скоропостижно скончался, не оставив завещания, – и ей, конечно, не досталось ничего. Тогда она надела траур, который потом не снимала никогда, и открыла свою мастерскую. Она была молчаливая женщина; кожа у нее была очень белая, глаза большие и черные, и когда она проходила, она, казалось, никого не замечала вокруг себя. Она считалась очень гордой, редко и мало разговаривала с соседями. Я помню отчетливо шелковое шуршание ее платья, запах ее духов и сосредоточенно-строгое ее лицо. И только один раз за все время – это было уже в семнадцатом году, – я видел это лицо оживленным и эти неподвижные глаза смеющимися. Это было тогда, когда я встретил ее далеко от дома, возле гостиницы «Метрополь»; она шла, подпрыгивая, под руку с каким-то офицером, весь торс которого был обмотан сплошными сплетениями блестящих ремней – ремень через плечо от пояса, ремень от кожаной сумки со слюдяной поверхностью, под которой виднелась разграфленная бумага, ремень от кобуры для револьвера, ремень от бинокля.

В ее мастерской работало пять или шесть девочек, с одной из них мы дружили; ей было четырнадцать лет. У нее было смешное курносое лицо, неспособное сохранять спокойствие. Ее звали Фрося. Она часто жаловалась на строгость Екатерины Сидоровны, всхлипывая и пронзительно сморкаясь в платок, который она засовывала себе за воротник. Года через два она вдруг исчезла, и мы так и не знали, что с ней стало. – Взяла расчет и ушла, – сказали нам ее подруги. Затем однажды к нам явился Сережка, который, захлебываясь от волнения и сюсюкая от все время набегающей слюны, рассказал с восторгом, что он встретил Фросю на вокзале. – В черном платье, брат, в громадной шляпе, – говорил Сережка. – Такая барыня! – Откуда же у нее все это? – Я хитрый, я все узнал, – сказал Сережка. – Все как есть узнал, – бормотал он в восторге, – от меня не утаишься. – Что же ты узнал? – И тогда Сережка сказал значительным голосом, что Фрося поступила содержанкой. Мы не верили ему, он опять бросил шапку об землю и сказал, что каждый день на вокзале мы можем ее увидеть, так как она приезжает из загородного

поселка Липовая Роща, где живет, – и мы отправились на вокзал и, действительно, встретили ее совершенно в том виде, в каком ее описал Сережка. И Фрося нам рассказала, что она, действительно, теперь содержанка. Мы были искренне рады за нее. – Кто же тебя содержит? – спросил я. – С бородой или без бороды, молодой или старый? – Пожилой уже, – сказала Фрося, – тридцать пять лет, но такой, знаешь, ласковый, добрый, ничего не отказывает, я в первые дни пирожных объелась, и живот потом так болел, думала, умру.

Мы однажды поехали к ней в гости, в Липовую Рощу, она жила в небольшом домике, в двух прилично обставленных комнатах, угощала нас вареньем и чаем с колбасой, – и Сережка на обратном пути говорил с восторгом: – Хорошо живет Фроська, видел, брат? – Потом однажды ранним осенним вечером я один, возвращаясь с длинной велосипедной прогулки, остановился у дома, где жила Фрося, и постучал в окно, из которого выглянуло и тотчас, же скрылось ее испуганное лицо. – Дай напиться, Фрося, – сказал я ей – жажда замучила. – Сейчас, сейчас, – за закрытым окном произошел короткий разговор, и потом она сказала: – Да ты зайди ко мне, что же так на улице стоять, я тебя познакомлю. – Я вошел и увидел человека в расстегнутом белом кителе. Лицо его было бритое, вид его был приятный, меня только удивило неожиданно усталое выражение его глаз. Он спросил меня, в какой гимназии я учусь, улыбнулся, сказал, что и он в свое время ее кончил. – У нас с вами есть еще один знаменитый однокашник – Мечников, – сказал он. Он был инженер, был несчастлив в семейной жизни и был, кажется, довольно состоятелен.

За домом, в котором мы жили, был сад, за садом овраг, – и туда приходили не только мы, но и наши друзья из соседних домов; мы вели организованные войны, но только одна из них была непрекращающаяся, война девочек с мальчиками, и верх почти всегда одерживали девочки, потому что, когда нас было трое или четверо, а их пятеро, они заискивали перед нами, давали нам конфеты и держались чрезвычайно дружески. Но достаточно было кому-нибудь из нас очутиться в одиночестве, как они тогда

набрасывались на него. Такая вещь поочередно случалась с каждым из нас, и однажды особенно жестоко пострадал я, они порвали мне плотную гимназическую рубашку, лицо мое было исцарапано и руки искусаны до крови. Но когда я через четверть часа после этого вернулся с товарищами, чтобы отомстить, то застал только одну из них, двенадцатилетнюю девочку Хану, которая стала нас уверять, что она одна меня защищала. И так как нас было четверо, а она одна, то ничем не рисковала; мы даже подсадили ее на забор, и только когда она была уже с другой стороны, она быстро крикнула: – Я его тоже била! Сволочи! – и побежала, что было сил; мы бросились за ней, но опоздали.

Там же, в овраге, мы начали хором петь песни, которым нас учил Сережка, – и первой из них была блатная песенка, начинавшаяся так:

Выходи ты на бан, дорогая,
Красотой фрайеров удивлять.

И тогда, в этом хоре, нас поразил самый сильный и чистый голос, – он до сих пор звенит в моей памяти, – это был голос Ханы. Хана, – мы ее называли еще Ханочкой, или Ханеле, как звала ее ее мать, – была дочерью пожилой еврейской вдовы, владелицы бакалейной лавки, в которой всегда пахло смесью мыла с таранью, но в которой продавалось все решительно, вплоть до гвоздей. Как только кто-нибудь из покупателей требовал что-либо, чего у нее не было, она говорила извиняющимся голосом: – Нет, я, к сожалению, не имею, – и тотчас обращалась к дочери: – Хана, не забудь напомнить мне об этом товаре. – Она говорила на очень своеобразном русском языке и медленно произносила слова; часто, начиная говорить по-еврейски, она сразу необыкновенно оживлялась, и речь ее лилась так быстро, что ее трудно было понять.

Помню, я как-то вошел в лавку, она только что оправилась от очередной болезни и сказала мне: – Ты знаешь, я была такая слабая, что я ходила и должна была держаться за обстановку. – Дела ее магазина шли довольно хорошо. Она не жаловалась на конкуренцию, говорила про соседей: – Им тоже жить нужно, – но у нее не было денег, потому что она отличалась болезненной щедростью,

и люди, обращавшиеся к ней за помощью, никогда не знали отказа. У нее было много детей, хотя она овдовела давно и с тех пор не выходила замуж; но раз в два года приблизительно она бывала беременна, потом рожала ребенка и вздыхала: – Вот, еще один на мою голову. – Дети у нее были разные: Хана была рыжая, младший ее брат, Соломон, отличавшийся необыкновенными способностями к математике, – в восемь лет он легко решал сложнейшие задачи, – был совершенно похож на цыганенка: у него были черные волосы и черные глаза с желтоватыми белками. Только в самых старших детях текла беспримесная еврейская кровь, но уже Хана была дочерью русского мясника, который должен был жениться на ее матери, и это расстроилось самым трагическим образом – он утонул, купаясь накануне свадьбы. Соломон был сыном итальянского шарлатана, жившего в свое время несколько месяцев – и чуть ли не в гостинице «Слон» – в этом городе и уехавшего потом в Италию.

У нее была маленькая квартира за лавочкой, наполненная вечным детским гамом; потом квартира стала казаться еще теснее, когда туда поставили небольшое красное пианино для Ханы, – и я хорошо помню запах того удивительного сладкого мяса, которое там часто готовилось и которое и мне приходилось есть несколько раз. Мать Ханы нередко разговаривала сама с собой или обращалась к детям с вопросами, на которые они никак не могли ответить: – Так как же мы сделаем, Ханеле, как ты думаешь? – Или: – Он хочет двадцать процентов, как тебе это нравится, Соломон? – И мне однажды она сказала: – Может, ты мне скажешь, чем я заплачу моих кредиторов? – Мне было тогда лет двенадцать. – Если хотите, я постараюсь вам достать деньги, – ответил я. – Что ты, что ты! – опомнившись, сказала она. Она очень любила детей и кормила их до одури сладким, которое сама ела с такой же охотой. Она была едва грамотна, и деловые бумаги вела Хана; но у нее была непогрешимая память, она никогда не ошибалась в расчетах и могла с точностью сказать, какая выручка у нее была в такой-то день, месяц тому назад. Помню еще, как она до слез смеялась, когда я

пришел к ней в кадетской форме: – Ой, какой ты военный, мне просто страшно. У тебя ружья с собой нет? Ханеле, ты его не боишься?

Хану отдали в гимназию, когда ей было десять лет. В день первого же ее выхода я догнал ее, она успела пройти несколько шагов, лицо у нее было бледное, ей было немного страшно, как она призналась. Мы пошли вместе; вдруг из-за угла донесся шаркающий и звенящий шум множества шагов. Мы остановились. – Арестанты, – сказала Хана, – настоящие, с кандалами. – И мы с минуту смотрели на этих людей в серой одежде, тяжело звякающих цепями; сострадательная толпа стояла на тротуаре.

Этот день не был ничем замечателен, он походил на все остальные; но потом я неоднократно и напряженно вспоминал и холод раннего российского утра, и арестантов в кандалах, и бледное лицо рыжей девочки. Я видел впоследствии катастрофическое отступление целой армии, безумные толпы людей в Париже в так называемые исторические дни, видел гигантские пожары в Константинополе, был свидетелем множества трагедий; и вместе с тем, по идеальной нетронутости и сохранности впечатления, ничто из всего этого не могло сравниться с незначительным утром однажды в России, много лет тому назад. Я не склонен был никогда, однако, придавать этому воспоминанию символического значения, которого оно не имело; но во мне оно было, как дома, в то время как все остальное было мне, в сущности, совершенно чуждо. Я неоднократно задумывался над этой невольной ограниченностью созерцания, над тем, что Хана впоследствии, в письмах ко мне, называла нежной узостью; и я предпочел бы отказаться от множества других, более важных, на первый взгляд, вещей, для сохранения этого несомненного недостатка.

Таково было детство Ханы.

* * *

Много лет спустя, в газете, которую Хана прислала мне из Нью-Йорка, я прочел ее другую, настоящую биографию – настоящую потому, что ее знали миллионы чита-

телей, которым никто не мог бы возразить. Биография эта была написана каким-то знаменитым, но литературно неграмотным журналистом в конфетно-умилительном стиле. Начиналась она с междометий и восклицаний – о, тише, пожалуйста! – и с того, что улица перед домом, в котором должно было произойти событие, была устлана соломой, – все это предшествовало тому историческому утру, когда должна была родиться Хана. Отец ее был бедный, но знаменитый скрипач, которого русское правительство не выпускало за границу. Мать ее была красавица и замечательная пианистка, внушавшая девочке любовь к Шуберту, Бетховену, Моцарту. Девочка ничему не хотела учиться, кроме музыки. Их дом окружал тенистый сад, в котором шумели столетние деревья, и именно под шум этих листьев, под журчание реки, которая протекала, по-видимому, в этом же саду, в музыкальном воображении девочки рождались возможности той интерпретации, которая поражает ее слушателей, но которая для нее так же естественна, как шум листьев естественен для сада. Она была единственной дочерью, была хрупкой и нежной девочкой, и доктора всегда боялись за ее здоровье; у нее не было подруг; игры других детей, иногда принимающие варварскую форму, были ей неприятны; она никогда не принимала в них участия, жила, окруженная нежной заботливостью родителей и хрустальными звуками громадного рояля, занимавшего половину их гостиной; вторая половина ее была покрыта шкурой белого медведя, которого ее отец убил в молодости на охоте. И в значительной степени тем, что она постоянно жила одна, и объяснялось возникновение того несравненного музыкального мира, который она носила с собой. В дни еврейских погромов, когда толпа ворвалась в дом Ханы, убийцы и грабители увидели рояль, за которым сидела мать Ханы – Хана пела тогда, – и эти люди, только что вспарывавшие животы беременным женщинам, невольно остановились и затем ушли, не причинив, как король в хрестоматии, никому никакого вреда. Я думаю, что это место даже и автору статьи должно было показаться несколько натянутым еще и потому, что в дни

погромов Хане было, быть может, немногим больше года. Я с трудом дочитал статью до конца, тем более что она была чрезвычайно длинна, и в этом обстоятельстве уже играл роль не столько интерес автора к сюжету, сколько вопрос о гонораре, который был по-американски значителен.

«Ты прислала мне свою биографию, – писал я потом Хане, – она даже не смешна, это самый дешевый и глупый миф, который мне пришлось читать. Какие у него были данные, чтобы писать это?»

Она отвечала мне полушутя-полусерьезно, что она поручит мне написать ее биографию.

«Я отказываюсь заранее, – отвечал я. – Я, конечно, мог бы ее написать. Знаешь, таким вкрадчивым стилем, в искренности которого ты не можешь усомниться, останавливаясь подолгу на некоторых случайных и незначительных подробностях, – которые, однако, всегда тщательно подобраны, и к ним приготовлен соответствующий контекст, носящий невольный, но неудержимо лирический характер. Но, видишь ли, Хана, мне жаль всего этого. Вот были замечательные вещи, я могу постараться их перечислить: твой голос, твои глаза, твои рыжие волосы, твои руки, – помнишь, как я учил тебя делать гимнастику, помнишь, как я держал тебя, когда ты впервые надела коньки? – и другие вещи, о которых не принято писать; и вот, вместо этого настоящего и чувственного мира – запах снега, моченых яблок, древесный дух в нашем овраге, в особенно жаркие дни, сладковатое мясо, Хана, которое готовила твоя мать, и тысячи других вещей, – вместо всего этого, что я так любил, я напишу твою стилизованную биографию, получу деньги от редактора, пересчитаю все знаки и потом прочту печально-неузнаваемую вещь, – потому что она очень меняется в печати и всегда к худшему, – и затем критические отзывы людей, которых я лично знаю и знаю наизусть, что и как они напишут. Я согласен на все эти скучные вещи, – но только не о тебе, Хана, ты понимаешь?»

* * *

В те редкие периоды времени, когда моя жизнь проходила без сильных огорчений или катастроф и когда я бывал свободен от их груза, я замечал, что по утрам я был неспособен ни к воспоминаниям, ни к созерцанию, ни к умственной работе, требующей сосредоточенности; по утрам мне хотелось петь или прыгать; я танцевал у себя в комнате, и если бы кто-нибудь из моих знакомых увидел меня в эти минуты, он, наверное, решил бы, что я сошел с ума; впрочем, если бы вообще удалось проследить, как ведет себя человек, когда он абсолютно один, то выяснилось бы, наверное, множество любопытных вещей, которые на первый взгляд показались бы неправдоподобными и невероятными. Жизнь каждого человека всегда бывает представлена в убого схематическом и ограниченном разрезе – как поведение героя романа, или актера на сцене, или, наконец, государственного человека; это создает комбинации некоторых постоянных величин, – которых не существует в человеческой природе и условность которых бывает очевидна только тогда, когда произведение явно неудачно. Я никогда не заблуждался в ограниченной возможности собственного суждения о других и о себе; я только старался сделать его более свободным и не бояться спорных и, по меньшей мере, неожиданных выводов. Итак, утром я был бы не в состоянии оценить, скажем, прекраснейшую поэму, я бы даже не мог дочитать ее до конца, – я не мог бы остановиться на длительном воспоминании, я не мог бы, наверное, написать письма, ежели бы не должен был ограничиться несколькими строчками. Зато вечером, когда я возвращался к себе, я чувствовал, как надвигается глубокая старость, необычайное душевное утомление, перегруженное сожалением, воспоминаниями о нескольких исчезнувших мирах, о нескольких давно оконченных циклах существования. Мне начинало казаться, что я живу бесконечно давно, знаю все, что мне суждено было знать, и во всем, что представляется моему вниманию, нахожу нечто, что мне уже известно. Это были не только воспоминания: я видел судьбу людей, окружав-

ших меня – через двадцать или тридцать лет, видел их постаревшие, почти неузнаваемые лица, их старческие, неуверенные движения, слышал их ослабевшие, потускневшие голоса. Если не происходило ничего необыкновенного в такие вечера и меня никто не прерывал в моем созерцательном состоянии, оно все углублялось и доводило меня почти до исступления, – от сознания невозможности что-либо изменить даже в том, в сущности, почти призрачном мире, воображаемые судьбы которого зависели, казалось бы, только от меня. Я не знал почти ничего, никаких вещей, которых власть была бы сильнее этого состояния; нужна была какая-то непреодолимая сила иного порядка, создающая другое, хотя бы и не менее разрушительное видение мира, создающая иные, менее материальные чувства. Она, конечно, существовала, я сталкивался с ней несколько раз в моей жизни, в те, в общем, очень немногочисленные часы и минуты, когда я чувствовал себя счастливым, потому что кто-то на это время вдруг снимал с меня всякую ответственность за то, что я вижу, и за то, что я понимаю. И одной из таких вещей был голос Ханы. Когда я слушал ее пение, я начинал видеть нечто бесконечное и далекое от того, что я знал вообще, – искусство, обладающее идеальной степенью безошибочного выражения самых отвлеченных, самых сверкающих, самых недоступных перспектив, которые нельзя было перевести на язык обычной речи, потому что они тотчас тускнели и исчезали. Как для всех замечательных голосов, для голоса Ханы не существовало недоступных нот или непередаваемых оттенков мелодии, как не существовало трудности в исполнении каких угодно песен, – будь это еврейские, русские, английские или итальянские, – и это создавало то обманчивое разнообразие ее дара, которое так поражало всех, кто ее слышал. Я считаю, что это было обманчивое разнообразие, потому что я всегда полагал, что каждое искусство, в его предельном выражении, сводится к постижению какой-то одной и, может быть, иллюзорной истины, за которой наверное, действительно остается только смерть, как чья-то бесшумная гигантская тень.

* * *

Я помню Хану рыжей девушкой, с которой мы читали Блока ранней осенью, в том же любимом овраге, я помню вкусный хруст снега наших последних зим в России, помню ее гимназию и уроки, коньки и лед, рояль и ноты, высокий театр, в который мы ходили, историю Тридцатилетней войны, которую они проходили в шестом классе, наступление Густава Адольфа и оперное великолепие римских легионов. Я помню также день, когда я учил Хану приемам французской борьбы, – на ней были синие штаны, мягкие туфли и блузка без рукавов, ей было тогда четырнадцать лет, – и она вдруг впилась зубами в мое правое плечо, так что я вскрикнул от боли и сказал: – Ты с ума сошла, Хана? – На двух полукругах укуса выступили капли крови. Она отрицательно покачала головой, я посмотрел на нее внимательно и вдруг впервые увидел ее темный и мутный взгляд, от которого мне сразу стало стыдно и душно, и я тотчас же ушел одеваться. Я никогда потом не возбуждал вопроса об этом, хотя плечо у меня болело неделю. Потом был однажды вечер, когда я провожал ее домой; она вдруг поцеловала меня, быстро сказав: – Это за укус, – и убежала.

В общем, это был бы, может быть, обычный роман, – с закатами солнца, с безмолвными его вечерними пожарами, с запахом травы, с трагическими и не непременно плохими стихами, в которых мы находили бы чудесное подтверждение того, что мы не сумели или не успели высказать, с размахом – на всю жизнь и ни минутой меньше, до последнего дыхания, – счастливое соединение множества вещей в одном и все-таки неповторимом чувстве. Это, в сущности, так и было, но продолжалось слишком недолго, и многое из того, что должно было произойти, произойти не успело. Хана уже тогда начинала свою карьеру, ей уже платили за ее выступления; и вскоре, незадолго до моего отъезда, она уехала со всей семьей в Польшу, и я потерял ее из виду.

Впервые я узнал о ее выступлениях, живя в Греции, – она пела тогда в Константинополе; и когда мне, наконец, удалось выбраться оттуда и я начал разыски-

вать ее, приехав одним зимним утром в этот город, мне сказали, что она уехала. Я послал ей вдогонку письмо и вскоре получил ответ, – и с этого времени началась переписка, почти не прерывавшаяся потом. Но мне никак не удавалось с ней встретиться. Я ждал ее неделями в разных городах Европы, и почему-то всегда так оказывалось, что либо я опаздывал, либо она не могла приехать, – до тех пор, пока она не уехала в Америку и не очутилась, таким образом, вне досягаемости. Я был один, то, что окружало меня, менялось чуть ли не ежедневно, оставляя после себя только зрительные воспоминания; я ничего не знал м ничему не верил, и во всем, что я видел, не было ничего, что стало бы для меня действительно близким или интересным. Некоторые из моих товарищей умерли, других я потерял из виду, иные стали не похожи на себя и приобрели какую-то постоянную и жалобную сиротливость, их совершенно изменившую. Особенно поразителен был один из них, которого я знал с детства; когда я с ним расстался, он был шестнадцатилетним хулиганом. Я помнил вечные его истории – какие-то драки в бильярдных, ножевые раны, – он обладал неукротимым характером и запальчивостью, всегда готовой перейти в бешенство; даже на меня он бросился однажды с ножом – это происходило на площадке гимнастического общества, и я не знаю, что из всего этого вышло бы, если бы его не успел поймать за руку один из старших моих товарищей, тяжеловес-гиревик, подававший большие надежды и обладавший тем, что на техническом языке называлось грифом, то есть зажимом руки, чрезвычайно похожим на мертвую хватку. И вот я снова встретился с ним за границей; это был благообразный и меланхолический молодой человек, с задумчивыми глазами и тихим голосом. Он был мнителен, чувствителен и пуглив, говорил, что на него как-то особенно действует лунный свет. Я слушал его с изумлением. – Тебя подменили, Митя, – сказал я ему. – Ну, ты сам подумай, что тебе лунный свет? – Нет, ты не говори, – ответил он, – в этом освещении есть какие-то тревожные элементы, которые... – Встряхнись, Митя, черт возьми, – сказал я с тревогой, – не задался ли ты целью доказать мне, что я сошел

с ума? – Нет, – сказал он без всякого раздражения, своим идеально тихим голосом, – но что мы знаем, в сущности, о границе между нормальным и ненормальным? Помнишь, у Эдгара По... – Я стал его трясти за плечи и кричал: – Митя, очнись! Митя, подумай, что ты говоришь: Эдгар По! Ты сойдешь с ума, ты понимаешь? Вспомни Слесарный переулок, Розку Боголюбову, которая была твоей любовницей, Борьку-мясника, который тебя ранил, ты лежал тогда в больнице, вспомни двадцать рублей, которые я тебе проиграл в американку на бильярде, Шурку Колесникова, вместе с которым ты продавал кокаин! А ты говоришь – Эдгар По! Ты сходишь с ума, Митя! – Но мне не удалось вывести его из этого состояния печального и непонятного оцепенения. Мнительность его развивалась с тревожной быстротой, он обращался к доктору потому, что у себя на голове нащупал какое-то особенно мягкое место, что, кроме того, он нечувствителен к боли; он вырывал, в доказательство, волос на своей руке и говорил: – Видите, доктор, я от этого не страдаю. – Но он еще держался некоторое время на той границе нормальности, которая была, по его словам, так трудноопределима, и только несколькими годами позже, кажется, в Берлине, был признан неизлечимым и попал в сумасшедший дом.

С другими это было менее трагично, они не сходили с ума, но тускнели и изменялись до неузнаваемости. Иногда мне начинало казаться, что я живу, окруженный призраками, в ненастоящем и до ужаса хрупком мире, в котором изредка звучит издалека голос Ханы, похожий на льющееся стекло. Хана была единственной в этой смене пустоты и миража, сохранившейся такой, какой я ее знал всегда, то есть вышедшей из той медленно удалявшейся страны наших ранних лет, из которой и началось это необратимое движение. Но по мере того, как проходило время, она постепенно превращалась в тот неуловимо фальшивый образ, который неизбежно возникает либо в постоянной мечте, либо в литературном воображении. Я отлично знал, что она не могла бесконечно оставаться такой, какой была, когда я с ней расстался, – рыжей девушкой с темными глазами. Но в моем представлении она была именно

такой. Я знал по ее письмам, что она два раза была замужем, и оба ее брака кончились трагически: первый муж застрелился, второго, сорокалетнего американца, разбил паралич; и наконец, тот, кто должен был стать ее третьим мужем, незадолго до брака исчез в обстоятельствах, совокупность которых напоминала плохой детективный роман, – что не помешало, однако, ему пропасть совершенно бесследно.

Когда я спросил ее, почему она все время выходит замуж, она ответила мне, что в ней течет только половина медленной славянской крови и что я должен был бы это знать лучше, чем кто-либо другой. И что же было делать, если мне, по ее словам, выпало на долю быть только отдаленным свидетелем событий: так сложились обстоятельства. Она сохранила в своих выражениях резвость и размашистость, характерные для целого круга людей, представителем которого оставался, конечно, Сережка Чмель. Она, в частности, спрашивала меня, что случилось с Сережкой. Мои сведения о нем были, однако, чрезвычайно отрывочны. Но, насколько я мог, я следил за его карьерой. Он долго отсутствовал в родных местах, был почему-то в Астрахани, потом в Мурманске, затем куда-то исчез еще на продолжительное время; и лишь несколько лет тому назад я прочел в случайно попавшейся мне газете одного из южных русских городов отчет о его речи. Речь была о значении культуры и не заключала в себе ничего замечательного, была похожа на любую другую речь. Это меня не удивило; при несомненном природном уме, Сережке было нетрудно овладеть нехитрым адвокатским искусством произносить десятки связанных фраз. Впрочем, в этой речи было еще одно бесспорное достоинство, она была лишена или почти лишена обычной присяжно-поверенной метафоричности. «Ты видишь, таким образом, – писал я Хане, – что Сережка нашел свое призвание. Я думаю, что он был бы плохим вором – ты помнишь все его неудачные начинания в этой области; он был бы плохим коммерсантом – помнишь, как он прогорел с торговлей порнографическими открытками, а ведь это был исключительно ходкий товар. И вот теперь он произносит речи, и это у него

получается удачнее всего. По-видимому, он был рожден оратором и общественным деятелем и, быть может, даже председателем, и, право, я предпочитаю Сережку многим другим».

Иногда, примерно раз в два или три месяца, я получал от Ханы то, что мы условились называть междустрочным письмом. Оно бывало чаще всего неопределенно-лирического содержания, в нем бывали обычно цитаты, неоконченные фразы, сожаления. Я знал, что личная ее жизнь была неудачна. «Мы знаем вместе столько одинаковых вещей, столько одинаковых ощущений!» – повторяла она. Я не видел никого, в ком так резко проявилась бы смешанная кровь, как в Хане. Она обладала еврейской непримиримой требовательностью к тем, кого она любила, она жила в еврейском чувственном мире, который поражал меня своей дикой напряженностью; но это соединялось в ней с русским далеким разгоном и с тем громадным бессознательным знанием и пониманием вещей, которое особенно характерно быть может, для зыбкого славянского гения. Одного этого было достаточно, чтобы лишить ее шансов на безусловное и бесспорное счастье. Когда она писала мне о тех требованиях, которые она хотела бы предъявить к человеку, которого она полюбила бы, это привело меня в раздражение, потому что, в силу множества причин, я не мог быть этим человеком и потому что мне этого больше всего хотелось, – и я ответил ей, что все, решительно все женщины на свете любят только самых умных, самых лучших, самых замечательных людей, разница лишь в оттенках; но счастливы бывают исключительно те из них и исключительно тогда, когда теряют способность к анализу, хотя и сохраняют иногда видимость этой способности; но это – очевиднейшая и всегда неудачная пародия на возможность мышления. «Я не буду писать тебе трактат о любви, но, хочешь, я приведу тебе пример настоящего прохладного счастья?» И, отвечая ей на очередную цитату: «Je suis dans un état qui est aussi loin de la joie que du chagrin; peut-être que c’est le bonheur»[1], – я рассказал ей об одной

[1] «Я в таком состоянии, которое так же далеко от радости, как и от печали; может быть, это и есть счастье» (*фр.*).

женщине, с которой был знаком. Она знала, что в двадцать лет надо выйти замуж, и она вышла замуж – удачно и осмотрительно; она считала, что нужно иметь ребенка, – и, действительно, благополучно родила девочку; она полагала, что следует иметь любовника, и у нее, действительно, был любовник. Она все знала заранее, по теоретическим, давно усвоенным представлениям; знала, что должна волноваться, идя на свидание, – и, действительно, немного волновалась; знала, что должна лгать мужу, – и, действительно, лгала с почти неподдельным удовольствием и так и жила в состоянии этого прохладного счастья, явившегося результатом тщательной предварительной подготовки. Она жила, в общем, так, как, скажем, пишется какая-нибудь вещь по заказу: герой сначала отправляется туда-то, затем предпринимает то-то, потом он встречает женщину, которая... и т.д. В это же время ему невольно вспоминается... и т.д. Сопоставляя эти вещи, он приходит к тому выводу, что... и т.д. Он поступает так-то и так-то – и доходит благополучно до конца произведения, сохраняя, впрочем, иногда нечто вроде судорожного правдоподобия. Совершенно так же жила эта женщина, выдумав себя раз навсегда и не отступая никогда от своего сюжета, – и она, несомненно, была счастлива. Другая – неглупая и самостоятельная дама с непогрешимым вкусом – была совершенно счастлива со своим возлюбленным, плешивым человеком с брюшком, который был старше ее на двадцать лет, был беспощадно самоуверен, необыкновенно франтоват и неправдоподобно глуп. Она, вопреки очевидности, считала его очень умным и несколько сумрачным человеком и рассказывала потихоньку, что он пишет прекрасные стихи, но не хочет их печатать. «Ты все продолжаешь, – ответила мне Хана, – рассказывать анекдоты, ты всю жизнь только и делаешь, что рассказываешь анекдоты. Я тебе писала не об этом, и ты прекрасно это знаешь». Тогда я написал ей длиннейшее письмо, в котором объяснял свое отношение к ней и говорил, что все мои письма и анекдоты – это только bonne mine au mauvais jeu[1].

---

[1] хорошая мина при плохой игре (*фр.*).

* * *

Мое отношение к Хане омрачалось еще одним личным обстоятельством, заключавшимся в той невыносимой разнице между жизнью, которую я всегда представлял себе, и жизнью, которую мне приходилось вести в действительности. С очень давних времен, почти бессознательно, но неизменно и упорно я представлял себе наступление той минуты, когда у меня начнется огромная, захватывающая все и выражающая весь смысл моего существования любовь. Все остальное могло быть только подготовкой к этому разрешению, могло быть предварительными испытаниями, могло послужить в дальнейшем материалом для сопоставлений, все это могло играть только второстепенную роль, а главное было впереди. А вместе с тем, жизнь складывалась так, что этого не получалось и не могло получиться. Но я уже не мог создать себе иного представления, это помешало мне оценить множество замечательных вещей, мимо которых я проходил, почти не видя их, не обращая на них внимания и теряя время на всю эту напрасную подготовку к тому, чего, в конце концов, не случилось. Я знал одного пожилого чиновника в маленьком русском городе, человека, обремененного службой, семьей, судебной тяжбой о грошовом наследстве, продолжавшейся много лет, жившего вообще убого, уныло и скучно. Но эта жизнь оставляла его равнодушным или почти равнодушным, потому что главное, что он больше всего любил и чьему великолепию не могла повредить никакая, даже самая неприглядная действительность, был Шекспир. В сорокалетнем возрасте он принялся учить английский язык, чтобы читать «Lady Macbet» в оригинале, он прочел чуть ли не всю громадную литературу о Шекспире, написал даже однажды статью о великом драматурге – он писал ее около месяца, делая бесконечные сноски и приводя источники своих утверждений, хотя вся статья была в полтораста строк. В его жизни была мечта – нелепая и невыразимо роскошная: сыграть когда-нибудь роль Гамлета. Он давно знал ее наизусть, по-английски и по-русски, знал всю, до последнего вздоха, до последней паузы, до последнего восклицательного знака. Он орга-

низовал небольшую любительскую труппу, в которую входили неизбежные телеграфисты и те особенные барышни, которые в России на глухих, далеких станциях, где чаще всего поезд даже не останавливается, выходят на перрон с тем, чтобы не пропустить именно этот поезд, – и они медленно шагают по песку перрона, улыбаясь и закидывая назад голову с пышными волосами, – и многим, я думаю, памятно то короткое сожаление, которое мы испытывали по трудноопределимой причине, стоя у окна вагона и глядя на этот мгновенно и навсегда улетающий смех. Итак, труппа была составлена, спектакль должен был состояться в городском театре, шли многочисленные репетиции, и это были, я думаю, единственные дни в жизни этого человека, в течение которых он знал, что такое настоящее счастье. Он знал уже давно и особенный, пыльный воздух кулис, и узкий темный проход за сценой, загроможденный желтовато-красными картонными колоннами греческой трагедии и удивительно, неправдоподобно зелеными деревьями особенно яркого цвета и какой-то чрезвычайно въедливой краски, от которой гнулись и выгибались стволы и листья весенней рощи – для очередной пьесы из жизни молодежи с передовыми идеями, протекающей преимущественно на лоне природы, – и деревянные лестницы, неровными спиралями подымающиеся наверх, и тот небольшой проход, где должна была появиться тень отца Гамлета, и запах пудры, мыла и дешевого одеколона, который тихо увядал, смешиваясь с запахом пыли, бумаги и дерева. Он знал, как он выйдет на сцену, как произнесет первые слова и как они поймут тогда, в эту незабываемую минуту, Шекспира, Вильяма Шекспира во всей его славе, и страшную трагедию датского принца. И вот, когда все уже было готово, в день спектакля, за час, может быть, до того, когда нужно было бы уже собираться в театр, перронная барышня с равнодушным лицом пришла к нему на квартиру и сказала, что ее просили передать, что спектакль отменен. От этого удара он потом никогда не мог оправиться. Он давно примирился и с тяжбой, и со службой, и с дурно пахнущей женой и ее скверным характером, и с тем, что он чиновник в маленьком провинциальном городе, – но эту вторую трагедию Гамлета он не мог

перенести. Я узнал потом, что он умер от крупозного воспаления легких несколько месяцев спустя, унеся с собой всю безмерную и бескорыстную любовь к знаменитому английскому драматургу конца шестнадцатого и начала семнадцатого столетия.

Я не мог не вспомнить этой истории в связи с теми событиями, которые были последними в истории Ханы и которых неизбежность ни в чем не могла умалить их убийственного и непоправимого значения. В течение долгого времени Хана все собиралась в Париж, и каждый раз ей что-нибудь мешало приехать: то ангажемент, от которого она не имела морального права отказаться, то семейные обстоятельства, то, наконец, что ее отпуска хватало только на путешествие в Калифорнию, то еще что-нибудь. И вот все было готово: она должна была выехать в Европу на большом пароходе, имя ее числилось в списке знаменитых пассажиров, но в последнюю минуту она заболела, и поездка была отложена еще на несколько месяцев. Я почти потерял надежду ее увидеть, как вдруг получил телеграмму, что она будет в Париже с таким-то поездом. Телеграмма была отправлена уже из Гавра и опередила поезд на очень короткое время – я даже не успел купить цветы и через двадцать минут был уже на вокзале. Я издали увидел рыжие волосы Ханы – она почему-то была без шляпы – и с трудом пробился через густую толпу. Хана протянула мне руку, которую я от неожиданности поцеловал, сказала мне по-русски, что она будет ждать меня в гостинице через два часа, и тотчас обратилась к нескольким журналистам по-английски, с заранее приготовленной, по-видимому, речью о том, как она любит Париж, – в котором, как я точно знал, она никогда не была, – сказала, что она совершила прекрасное путешествие, прибавила еще несколько официально-искренних слов о Франции и уехала на чьем-то прекрасном автомобиле.

Во всем этом не было ничего неестественного, все, в сущности, именно так и должно было происходить. На меня это, однако, произвело угнетающее впечатление, в происхождении которого я не мог отдать себе отчета. Мне стало как-то пусто; физически я испытывал чувство, очень

похожее на то, какое я испытывал в поле, в летнем поле, перед закатом солнца, – далеком, пустынном и душистом, в котором мимо меня с громом пролетал и уносился поезд. Я долго сидел на террасе кафе, бесцельно наблюдая движение людей и автомобилей; уже наступал вечер, и на улицах появлялась, пока еще только вкрапливаясь в обычную толпу, та особенная публика, которая выходит на улицы с наступлением темноты, пожилые сангвинические любители приключений, чудом оправившиеся от второго припадка апоплексии, с радостью обретающие возможность веселой жизни и забывающие, что смерть их может наступить в любую минуту, – как это было однажды на моих глазах с жизнерадостным полным господином, который сидел, плотно обняв свою спутницу в кафе, и потом, вдруг, шумно и коротко захрапев, свалился на землю, задевая в своем падении стулья и столики, и через секунду лежал в неудобной и последней позе, повернув к полу багрово-синее лицо с закушенным, как у раздавленной собаки, нечеловеческим языком; уже появились молодые люди в особенно ярких туфлях, одетые с особенным, непоправимо-хамским шиком, с тревожными и тупыми глазами, и я знал, что, несмотря на внешнее их благополучие, почти каждого из этих людей ждала, в конце концов, грустная перспектива, состоящая из смены тюрем и больниц, больниц и тюрем – до последней тюрьмы или до последней больницы; усаживались за столики, так обманчиво, как бы между прочим, пока еще немногочисленные, женщины с английскими папиросами и лакированными, в грубовато подчеркнутый цвет, ногтями и сильно пахнущие духами. Они смеялись, когда с ними заговаривали, обнажая все зубы своего, еще почти незаметно, почти неуловимо, но неудержимо оседающего рта, обличавшего физическую усталость и общую вялость мускулов на этой пока еще почти блистательной коже. Из автобусов и метро валила толпа бесчисленных служащих и рабочих, они заворачивали за угол и исчезали, унося с собой ежедневную усталость. Недалеко от кафе из открытого люка вылезали рабочие подземных каналов для нечистот, в одеждах из плотной ткани и в длинных, до пояса, сапогах; сверху, с Амстер-

дамской улицы, ревя в особенно пронзительный клаксон, летела с головокружительной быстротой и оглушительным треском красная машина «бюгати», за рулем которой сидел молодой человек с меланхолическим и невыразительным лицом; он резко свернул направо, колеса его автомобиля почти задели тротуар, подняв целый фонтан брызг из небольшого ручейка, мирно струившегося вдоль тротуарного уступчика, – и обдав им нескольких прохожих; и сопровождаемая ругательствами «бюгати», качнувшись в воздухе и сделав еще два замедленных зигзага, полным ходом умчалась по направлению к Елисейским полям. Через несколько секунд до меня донесся тот характерный звук, который бывает при сильном столкновении автомобилей. Люди начали бежать по направлению этого звука; я пошел вместе с другими, и на углу одной из улиц увидел исковерканную «бюгати», в которую въехал громадный двадцатитонный грузовик Париж–Марсель. Молодого человека не было; только из-под опрокинутой машины была видна одна, судорожно дергавшаяся, нога в почему-то лопнувшем ботинке с толстой, бело-резиновой подошвой. Затем раздались сирены полицейского автомобиля и пожарной команды – и я ушел, не дожидаясь той всегда тягостной и душной минуты, когда из-под обломков автомобиля извлекают искалеченного или убитого человека. И даже на лицах тех, кого этот молодой человек обрызгал водой и кто искренне ненавидел его каких-нибудь десять секунд тому назад, я видел, как в громадном зеркале, повторение одной и той же страдальчески-сострадательной гримасы, которая сводила и мое лицо.

И я пошел пешком по направлению к гостинице, где остановилась Хана. Я был погружен в созерцательное состояние, вспоминал всю историю моего ожидания и старался отогнать от себя два последних впечатления – катастрофу с «бюгати» и встречу Ханы на вокзале. Я начал усиленно думать о нашем с Ханой так далеко уехавшем городе, о его вечерней провинциальной тишине, о медленно бегущем к закату солнце, о мягкой пыли мостовых, о голубях в вечернем воздухе и той особенной их породе, которая летит, все время непрерывно кувыркаясь в воз-

духе, как отчаянный эквилибрист в безмерном цирке синеватого темнеющего неба, о медленной фигуре пожарного на деревянной каланче, о неторопливых гудках маленьких паровозов с длинной трубой, доносившихся с вокзала и сопровождавшихся железным лязгом сцепляемых вагонов и свистками сцепщиков, об отъездах и возвращениях, дачах и городах и о потерянном российском просторе. Я только потом заметил, что шел совершенно правильной дорогой, переходя улицы после свистка полицейского, останавливающего автомобили, и вообще вел себя, как человек, находящийся в совершенно нормальном состоянии. Но, в общем, это не должно было казаться удивительным, я жил тоже, на первый взгляд, как совершенно нормальный человек, и нужны были особенные события, чтобы доказать мне, в какой степени все мое существование было наполнено химерами, и воображением, и созерцанием того многослойного мира, который я давно и бережно хранил и считал несомненным и реальным, – хотя он был только результатом моей фантазии и никогда не мог себе найти ни оправдания, ни подтверждения.

Хана встретила меня на этот раз с бурным радушием. В первые минуты, однако, я не мог найти того тона, которым с ней следовало говорить; но я начал расспрашивать ее о семье; она рассказывала мне, как скучает ее мать в Америке, какими проектами занят ее брат, и постепенно мы перешли к разговору на темы, одинаково нас интересовавшие. Но уже и тут, в этом первом разговоре, который велся в снисходительно-воспоминательных тонах – так, точно речь шла о том времени, когда мы были душевно беднее, чем теперь, и это было неправильно, – я не мог не заметить одной, неизменно повторявшейся особенности: все это, перенесенное за тысячи верст оттуда, где оно возникло, претерпело несомненные изменения и звучало не так, как раньше. Это были легкие, незначительные изменения, вроде того, какое я констатировал, когда впервые в Париже в русском магазине увидел маринованные грибы, русские маринованные грибы, которые очень любил и которых не ел с России. Я тотчас же купил их и попробовал; да, это был, казалось бы, все тот же острый вкус, но

чего-то в них не хватало, я бы не мог сказать, чего именно. Так, в России иначе звучали слова, и та же смена медлительных русских интонаций казалась более убедительной, чем здесь, хотя это были одни и те же фразы и смысл их не потерял своей верности; слова были те же и тот же удивительный голос Ханы, звучавший, однако, точно из-за тоненькой непрозрачной стены. В первый вечер мы так ни о чем и не договорились, то есть, вернее, не успели сказать несколько главных фраз о самом главном.

На следующий день утром Хана была у меня, и была встречена с ужасом хозяйкой моей квартиры, почтеннейшей русской дамой примерно девяностых годов прошлого столетия, проникнутой непреклонным благоговением к собственному прошлому и прошлому своего мужа, совершенно износившегося, но очень достойного старика.

Несмотря на взаимное уважение друг к другу, между супругами нередко происходили споры политически-общественного характера, причем муж обнаруживал в этих вопросах некоторый либерализм и не одобрял, например, поведения Победоносцева, призывая меня в свидетели того, что это поведение дало самые неблагоприятные результаты. В первую минуту я даже не понял, о ком идет речь, – пока не вспомнил с некоторым трудом эту фамилию, похожую на героический псевдоним какого-нибудь военного корреспондента с не очень разборчивым вкусом; но я уклонился от исторических суждений, сославшись на невежество, и старичок укоризненно покачал головой. Множество последних событий хозяева этой квартиры, – где я снимал одну комнату, – просто не поняли и не увидели, и факт последней революции для них оставался несущественным и непостижимым. В этом они были единодушны; их споры могли вестись о династических вопросах, или о разночинцах в литературе, или о славянофилах, – но никак не о том, что случилось в России в 1917 году. Несмотря на страшную хронологическую пропасть, разделявшую нас, несмотря на неизбежную забавность многих их утверждений, я не мог не ценить – и в нем, и в ней – редкой душевной цельности и абсолютной моральной чистоты; ни он, ни она, я думаю, за всю их чрезвычайно долгую жизнь не совершили ни одного нечестного поступка и никому не

причинили зла. Но, попадая в их общество, я чувствовал себя приблизительно как герой фантастического романа, наш современник, чудом попадающий, скажем, в Англию семнадцатого столетия, – с той разницей, что все же мы говорили на языке одинакового корня, хотя и сильно изменившемся за последние пятьдесят лет. Хозяин квартиры настоял на том, чтобы в моей комнате повесили икону, и когда я попытался заметить ему, что этого, быть может, не следовало бы делать, так как... – я понизил голос и сказал, что у меня иногда возникают сомнения в существовании Бога: я не решился сказать ему, что я атеист, – он покачал головой и ответил, что христианство существует две тысячи лет и что мои сомнения его поколебать не могут, в чем я тотчас же с ним согласился. Затем он прибавил, что сомнения сами по себе не страшны и что они даже лучше, чем слепая вера, потому что достойнее и разумнее; мысль о том, что эти сомнения могли бы закончиться отрицательными для христианства выводами, никогда не приходила ему в голову, в этом он был совершенно неуязвим. И лишь несколько позже я понял, что и хозяева моей парижской квартиры, и любитель Шекспира были, в конце концов, моими собратьями по несчастью, – потому что, несмотря на всю внешнюю разницу между нами, я был так же далек от действительности, как они.

Это выяснилось далеко не сразу: вначале все было хорошо, хотя и не носило такого всеобъемлющего, захватывающего характера, как я предполагал. Я не мог бы ни в чем обвинить Хану, за исключением некоторых незначительных мелочей, вроде ее манеры дергать меня за рукав, когда она не была со мной согласна: она была мила, терпелива и добра ко мне, – она была так же понятлива, как и раньше, и я никогда не испытывал затруднений, объясняя ей что-либо. Но и с ее, и с моей стороны мало-помалу возникали непреодолимые вещи. Я не мог понять, почему она придавала такое преувеличенное, на мой взгляд, значение многим неважным вещам – отношению того или иного критика, или дирижера, или отзывам некоторых, явно некомпетентных людей. Ей казалось нелепым, что я иногда, ранним утром, почти на рассвете, уходил один бродить по Булонскому лесу или сонным парижским улицам

и возвращался, забрызганный грязью и полный непонятного и беспредметного, как она говорила, воодушевления. Но дело было в том, что ее приезду в Париж предшествовали годы жизни, которой я не знал и о которой имел то искусственное представление, какое она захотела во мне создать, – так что у меня получилось впечатление, что все это были забавные недоразумения, несколько неприятных ошибок и вообще почти невесомое и несущественное прошлое. Вместе с тем, было очевидно, что это не могло происходить так, как об этом рассказывала Хана, что были другие, более тяжелые, более важные вещи, du plomb dans les ailes[1], как я ей сказал однажды, говоря о результатах нашего прошлого, от которого мы не в силах избавиться, которого мы не в силах уничтожить.

У меня этого прошлого не было или почти не было. Но чем дальше, тем больше я с ужасом начинал чувствовать себя не таким, каким я привык себя считать, и для меня стало несомненно, что я должен расстаться с Ханой, если не хочу отравить ей существование. Самым грустным во всем этом было то, что это не затрагивало ни моей любви к Хане, ни моего к ней отношения. Это был мой личный недостаток, на первый взгляд даже неважный, но столь же бесспорный, как недостаток паралитика или калеки. Вернее всего это было бы сравнить с морфиноманией или привычкой к опиуму, хотя я был совершенно здоров, знал о наркотиках только теоретически и за всю свою жизнь выпил, наверное, не больше литра алкоголя. Но долгие годы бесплодной и напряженной мечтательности не прошли бесследно. Я легко мог представить себя в любой роли, в любом образе, – но с тем, чтобы он не выходил из круга моих видений, из того мира, за создание которого я так дорого заплатил. Этот мир, от соприкосновения с другим, настоящим, трещал и рассыпался, и я не мог этого перенести. В том, настоящем мире я мог безболезненно существовать, пока он был идеально далек от моей воображаемой жизни, вернее, не воображаемой, а такой, какой она должна была бы быть. До тех пор, пока это была работа в бюро или уроки, то есть нечто удален-

[1] *Здесь*: сдача позиций (*фр.*).

ное от меня и никак меня не задевавшее, я переносил это с привычным, легко преодолеваемым отвращением – как слишком затянувшийся дождь или холод. Но этому ощущению ничто не должно было соответствовать в воображаемом великолепии моей второй жизни, на нее не должно было быть никакого покушения.

Вначале, сделав это наблюдение, я просто не хотел верить себе, мне это казалось невозможным. Я стал тщательно проверять это, я вспомнил всю свою жизнь и должен был, действительно, констатировать, что никогда, ни при каких условиях, я, собственно, не жил, как следует здоровому и нормальному человеку, – я только ждал, и каждый период моей жизни был очередным пролетом ожидания. Ничто из того, что мне приходилось делать, не интересовало меня; действительность, с которой я сталкивался, могла вызывать только два чувства – насмешки или отвращения, – за исключением тех, редких, в общем, случаев, когда она походила на условно-сентиментальные построения, на то, что мне было близко, то есть на результат чьего-то тоже, в сущности, сентиментального воображения. Я знал, что чувства в их чистом виде, такие, какие мне приходилось видеть на сцене или о которых приходилось читать, почти не встречаются в обычной жизни, – так же, как какое-нибудь представление не может возникнуть, как таковое, без того, чтобы рядом с ним не появилось несколько ненужных спутников; это был закон логической невозможности, и именно против него я безмолвно протестовал всеми силами. Из всего существующего я больше остального любил детей, – потому что во многих из них, несмотря на уже значительную умственную их сложность, я наблюдал именно эти движения чистых чувств, которых не было и не могло быть у взрослых. Это было настолько очевидной невозможностью, что с этим нельзя было не примириться, – и я застраховал себя от каких бы то ни было разочарований, усвоив раз навсегда тот взгляд, что каждого нового человека следует заранее рассматривать как самое отрицательное явление; и потому я бывал искренне рад, когда этот человек оказывался в меньшей степени глуп, чем это было бы естественно, и в большей сте-

пени порядочен, чем я был вправе ожидать. Но, конечно, я никогда бы не мог допустить никакого участия этих людей в моей личной душевной жизни, и они не могли рассчитывать на какое-либо душевное движение с моей стороны. Исключений было мало, и это были люди, в которых я был абсолютно уверен и которых я давно и хорошо знал, но с которыми почти не встречался. Жить этими отрицательными принципами было, конечно, нельзя.

Все это было сложнее, чем показалось мне на первый взгляд, – прежде всего потому, что Хана почти точно соответствовала моему представлению о ней, и я решительно ни в чем не мог бы ее упрекнуть. С другой стороны, обстоятельства, в которых все это протекало, были лишены совершенно сколько-нибудь неприятного характера, – и, стало быть, единственным виновником того, что все это не вышло, был только я. У меня было лучшее, о чем я мог мечтать, – теплая кожа Ханы, ее удивительный голос и нежные руки. Это было неповторимо и замечательно, и единственным недостатком этого было то, что оно существовало в действительности. Вместе с тем, многолетняя инерция воображения не позволяла мне останавливаться, и я вынужден был продолжать свой одинокий путь, когда в этом, казалось бы, не было никакой необходимости. Воображаемая душевная роскошь, к которой я привык, чем-то отличалась от того, что было теперь, и я точно задыхался в густом воздухе этого счастья, лучше которого, однако, я ничего не мог себе представить. Возможно, что это была почти граница сумасшествия: во всяком случае, поняв это окончательно, я испытал непобедимый ужас.

* * *

В самые первые дни я чувствовал себя приблизительно так же, как человек, начинающий понимать, что он болен неизлечимой болезнью: у него все же есть еще отчаянная надежда, что, быть может, все это просто ошибка; но неумолимые признаки повторяются, и наступает, наконец, минута, когда сомневаться больше нельзя. Я уходил из дому, бродил по улицам, часами просиживал один в кафе и напряженно думал об этом неожиданном и ката-

строфическом завершении того, о чем я так долго мечтал. Я должен быть прийти к выводу, что моя несостоятельность была окончательной, и за этим уже не оставалось места ни для надежд, ни для ожидания.

И тогда я заговорил об этом с Ханой. Я рассказал ей все, о чем я думал, и мне удалось убедить ее, что ни она, ни моя любовь не изменились. – Но ты понимаешь, – сказал я, – это, по-видимому, нечто вроде душевной болезни, которую я не имею права от тебя скрывать.

Она качала головой, я сидел против нее в кресле и держал ее руки.

– Откуда это у тебя? – медленно сказала она. – Это все-таки необъяснимо.

– Я знаю, Хана, но это так.

– Что же, ты откажешься от всего?

– Я не знаю. Я знаю только, что такое, половинное, существование мне кажется унизительным. Ты понимаешь: тобой я пожертвовать не могу. Я слишком долго и слишком сильно тебя люблю.

– Со стороны можно подумать, что ты действительно сумасшедший.

Мы молчали с минуту. Потом я начал рассказывать Хане, как я ее люблю, и почему, и за что, и мне было тем легче говорить, что я был совершенно искренен. Так прошло много времени – медленных вечерних часов. Затем Хана сказала, что она уедет и что она искренне желает мне выздороветь, и прибавила, что ей не хотелось бы покидать меня.

– Ты не покинешь, ты останешься, – сказал я с воодушевлением. – И когда во мне будет достаточно сил, чтобы преодолеть твое действительное возвращение, твое действительное присутствие, я буду опять с тобой. Но только это будет в тысячу раз лучше.

Она уехала через три дня. По мере приближения отъезда мне становилось все легче и лучше, и даже сожаление перед разлукой не было таким пронзительным, каким должно было быть.

– Я вернусь! – сказала она мне, когда поезд тронулся и я шел рядом с ее окном. – Ты мне напишешь, я вернусь.

– Я напишу тебе – сказал я. – Я буду тебя ждать.

ВЕЧЕРНИЙ СПУТНИК

Это началось с небольшого недоразумения, которое произошло ночью, часа в два, в июне месяце, в Париже, лет десять тому назад. Я шел с северной окраины города домой и, дойдя до площади Трокадеро, сел на городскую скамейку, чтобы выкурить папиросу. Подходя, я увидел, что там уже сидел какой-то человек; и еще издалека можно было заметить – по опущенной голове, по особенной очевидной негибкости фигуры, – что это старик. Так и оказалось; я опустился на другой конец скамейки, вынул папиросу и закурил. Старик что-то пробормотал.

– Простите, – сказал я, – вы что-то сказали?

И тогда, неожиданно рассердившись, старик резко ответил:

– Да, я сказал, что даже ночью мне не дают покоя.

У него была круглая голова с седыми, редкими волосами, сердитые, черно-белые брови и неподвижное усатое лицо, точно сохранившее раз навсегда принятое выражение сдержанного бешенства.

– Извините, – сказал я, поднимаясь, – я не хотел вас беспокоить. – И я начал уходить. Вдруг неожиданно сильный голос, заставивший меня вздрогнуть от удивления, – настолько казалось невероятно, что он мог принадлежать этому человеку, которому на вид было лет восемьдесят, – остановил меня.

– Молодой человек!..

Я обернулся.

– Вы меня не знаете?

– Нет, monsieur.

– Действительно, не знаете? Вы не журналист? Вы можете мне дать слово, что вы не журналист?

Я ответил, что я действительно не журналист. Тогда, успокоившись, старик отрывисто сказал мне: Садитесь, –

и я опять сел на скамейку. Была теплая июньская ночь, но воздух был свеж и влажен после недавно прошедшего дождя.

– Вы не француз? – так же отрывисто спросил старик.

– Нет, русский.

– То-то вас носит нелегкая в три часа ночи.

Я сказал в свое оправдание, что возвращался домой. Старик кивнул головой. Потом, через несколько секунд, спросил, сколько мне лет? Я ответил, он посмотрел на меня и вдруг широко улыбнулся и, когда я спросил, что его рассмешило, сказал:

– Нелепость, несуразность всего. Вы знаете, что о моей смерти во всех газетах уже готовы некрологи; через полчаса после того, как я умру, вы можете об этом прочесть в любом издании.

И тогда то смутное воспоминание, которого я почти не сознавал, вдруг сразу прояснилось: уже минуту тому назад я, по-видимому, знал, что видел где-то, как нечто давно известное, эту характерную круглую голову и эти седые усы. Когда я привык к неверному свету фонарей на площади, я рассмотрел глаза моего собеседника, идеально выцветшие и имевшие такое странное выражение, которого я никогда ни у кого не замечал – что-то вроде удивительного смешения свирепости и печали.

Я ответил ему, что это профессиональная черта и что она меня всегда возмущала, – как возмутительно, хотя и естественно, отношение к смерти могильщиков и служащих бюро похоронных процессий; сказал, что иногда это мне казалось настолько отвратительным, что я находил утешение только в иронической справедливости судьбы – и этих людей будут хоронить с тем же изуверским равнодушием их же коллеги. И я рассказал старику, как, во время гражданской войны в России, умирал от тифа один из моих товарищей, и у его койки, крутя папиросу неверными пальцами, стоял мертвецки пьяный фельдшер Феофан, который рассказывал какой-то анекдот, и когда я его спросил, есть ли какая-нибудь надежда, он посмотрел на меня мутными глазами и ответил:

– Чудак ты человек. Не видишь, – кончается к чертям, – а ты спрашиваешь. Посмотри на его морду, – не видно, что ли?

А через несколько месяцев – и чуть ли не на той же койке санитарного вагона – умирал фельдшер Феофан, раненный осколками снаряда в живот. В пустых глазах его, уже принявших предсмертное свинцовое выражение, стояли слезы, он повторял: Боже мой, неужели? Боже мой, неужели? – Все, что он когда-либо знал или думал, уже умерло, уже не существовало для него в эти минуты; и он уходил от нас, унося из всего, что было, только эту одну фразу: «Боже мой, неужели»? – а до этого он думал всегда, что не верит в Бога и не боится смерти, и в жизни своей был, может быть, прав, а теперь ошибался, умирая. Но и понятие об ошибке уже не существовало в его сознании – оно было там, с той стороны, в нескольких сантиметрах от его тела, там, где стоял я, и его глаза еще видели мою зеленую рубашку с погонами, широкий кожаный пояс, темную кобуру револьвера.

Старик внимательно смотрел на меня и потом сказал, когда я кончил рассказ:

– И вы думаете, что это хорошо?

– Нет, я этого не думаю.

– И какая польза от того, что вы знаете вещи, которых вы не должны были знать? Это все та же история Лазаря: оттуда не возвращаются. Или, если хотите, – как раздавленное растение: живешь изуродованным и непохожим на окружающих. Вы любите ордена?

– Ордена? – переспросил я изумленно. – Нет, я даже никогда об этом не думал.

– Это очень плохо, – сказал старик. – Я часто замечал, что человек должен любить ордена; если они для него не представляют ценности, – это очень плохой признак, чрезвычайно плохой. Что вы делаете в Париже?

Я ему сказал, что учусь, назвал ему моих профессоров. Он рассмеялся с неожиданным и нехарактерным, по-видимому, для него добродушием и сказал, что он относит их к категории сравнительно невинных дураков. Он обещал мне когда-нибудь объяснить эту теорию. – Когда-

нибудь? – сказал я. – Но я, может быть, никогда больше вас не увижу. – Старик пожал плечами, и мне стало неловко; я понял, что этого не следовало говорить ему. Он быстро повернул голову и опять сказал отрывисто, угадав мою мысль, что смерти он не боится, и не боится действительно, не так, как фельдшер Феофан. Впрочем, может быть, в последнюю минуту... – Вы читали Фауста? – вдруг перебил он себя и сам же себе ответил: – Да, конечно, читали, русские все читают.

Я уже привык к его отрывистому, постоянно перемещающемуся разговору. Становилось немного свежее, на луну время от времени набегали тучи, вдалеке, над Монмартром, стояло тусклое, красноватое зарево. Старик поднялся со скамейки и протянул мне руку в черной нитяной перчатке.

– До свиданья, – сказал он, – я был рад с вами поговорить. Вы не можете себе представить, какое удовольствие видеть человека, который не задает вопросов и не собирается извлечь из вас никакой выгоды.

– Оценка, конечно, лестная, хотя и отрицательная, – сказал я, невольно улыбаясь, – я в свою очередь должен вас поблагодарить за внимание.

– Мы, может быть, еще встретимся, – сказал он, – я иногда гуляю ночью, а живу я рядом. И так как мои ноги прошли уже почти все расстояние, которое им было предписано судьбой, то я не иду с Монмартра в Отэй, а дохожу только до этой площадки. Всего хорошего.

Он притронулся рукой к голове и ушел. Я стоял и смотрел ему вслед – на согнутую спину, на довольно быстрые движения его почти несгибающихся ног, которые он ставил носками врозь, почти как если бы он шел на пятках. Я подождал, пока, по моим расчетам, он должен был дойти до дому, и потом направился к себе; был уже пятый час утра.

То, что я не сразу узнал его, могло быть объяснено только полной неожиданностью этой встречи, ее невероятностью. Так, однажды, зимой, на рассвете, в одном из кафе

Монпарнаса, где собираются обычно сутенеры, я увидел пожилого приличного человека, за столиком, уставленным многочисленными пепельницами и четырьмя недопитыми стаканами красного вина; он играл в карты с какой-то женщиной в черном – она сидела спиной ко мне, я не видел ее лица. Но человек этот показался мне удивительно знакомым; и только через секунду я понял, кто он; это был известный деятель, бывший русский министр, которого я привык видеть в совершенно иной, председательской обстановке. Так и тогда, я узнал моего собеседника только после того, как он сказал, что во всех газетах о нем давно готовы некрологи.

Его биография была известна всему миру, точно так же, как его прозвище, его легендарная резкость, его бешеный характер; все это непостижимым образом соединялось с громадным умом; его называли последним государственным человеком в Европе. Жизнь его была, действительно, необыкновенная, и у него было все, что может пожелать человек, – огромная, несравненная слава и почти неограниченная власть, то есть то, что он презирал и ненавидел со времени ранней своей юности. Как почти все очень умные люди, он не имел никаких иллюзий, и огромный жизненный опыт только увеличил и довел до крайних пределов то ледяное презрение к людям и то неизменное озлобление, о котором были написаны тысячи статей и десятки книг. Теперь, удалившись от всего мира, он доживал последние дни и недели своей бесконечно долгой жизни. Я вспомнил его выцветшие глаза и походку с расставленными носками; ему было около девяноста лет. Он был для меня давно прошедшим историческим событием, живой развалиной давно исчезнувшего мира, и так непостижимо, нелепо и замечательно было то, что он дышал тем же воздухом и жил в те же пустые и тревожные дни, в тридцатых годах нынешнего столетия.

Я сомневался в том, что его еще когда-нибудь увижу, но время от времени в те же поздние часы приходил туда, где встретил его в первый раз, сидел, курил и ждал; но согнутая его фигура не появлялась. Прошло около двух недель – и вот однажды ночью я опять увидел его. Он

сидел на своей скамейке, опустив голову, и медленно поднял ее, когда я подошел вплотную.

– А, это вы? – сказал он вместо приветствия. – Вы опять забыли вашу шляпу.

Я ответил, что не ношу шляпы.

– Может быть, это менее глупо, чем кажется на первый взгляд, – сказал он, – может быть, может быть. Хотя я в этом сомневаюсь, – прибавил он с внезапно повеселевшими глазами. – Садитесь, садитесь. Почему вы курите такие плохие папиросы, нет денег? Да? Это хорошо, в этом возрасте не нужны деньги.

– Я позволил бы себе...

– Да, знаю; вы думаете, что другие их глупо тратят, а вы бы тратили умно. Заблуждение.

Глаза его сузились, он засмеялся.

– Я очень рад, что вы в хорошем настроении, – сказал я.

– Со вчерашнего дня у меня нет болей, – ответил он. – Это ничего не значит, конечно, на юридическом языке это называется sursis[1]. Но я приближаюсь, молодой человек, приближаюсь. Как ваши занятия?

Я ответил ему, что готовлю историю экономических доктрин. Он пожал плечами и потом сказал с сожалением, что можно было бы найти более интересное времяпрепровождение и что глупо, когда человек, которому нужно много есть и проводить дни с любовницей, сидит в закрытом помещении и изучает никому не нужную ерунду, тем более что все экономические доктрины никуда не годятся. Он считал еще теорию физиократов наименее глупой, как он сказал. И он стал объяснять мне быстрыми, отрывистыми фразами свои взгляды на несостоятельность тех положений, которые считались основными в политической экономии, – я поразился его исключительной памяти. Громадное большинство экономистов он считал глупцами; сколько мне помнится, только о Тюрго сказал, что тот был умен. Адам Смит был, по его мнению, компилятором, Рикардо спекулянтом, Прудон – крестьянской головой, не

[1] отсрочка (*фр.*).

способной ни к какой эволюции. Потом он прервал себя и сказал:

– Сидите и думаете: вот старик разошелся.

– Нет, но ведь этим вопросам вы посвятили много времени в вашей жизни.

– К сожалению, к сожалению, – быстро сказал он. – Но это не дало никаких положительных результатов, все это прах и ерунда: человеческое общество основано на взаимном обкрадывании – и об этом ни в одном экономическом трактате ничего нет.

– Но ведь именно физиократы не проводили большого различия между ворами и коммерсантами.

– Они были правы, они были правы. Вы умеете править автомобилем?

Это было так же неожиданно, как во время первого нашего разговора вопрос о том, люблю ли я ордена. Я ответил, что умею. – Это хорошо, – коротко сказал старик.

– Вы родились в России? В каком городе?

– В Петербурге.

– Удивительная страна, она готовит сюрпризы. Я их не увижу, а вы увидите. Если будете живы. – Потом он прибавил: – Я помню последнего императора, он был незначительный человек. Но с другой стороны, править стошестидесятимиллионным народом... – Он задумался, потом сказал непереводимую фразу: n'importe qui peut s'y casser le cul[1].

Он заговорил об истории и сказал, что она есть подлог и ложь: события никогда не происходили так, как они описаны.

– Но взятие Бастилии...

– Глупости... Два сумасшедших и три дурака – и это называется историческим событием, что вы скажете?

– Мне казалось, что не взятие Бастилии, как таковое, а как начало известного исторического процесса, который...

– Ерунда. Исторический процесс чужд понятию начала и конца, как вся природа. Чистейшая условность, чистейшая, чистейшая. Понимаете?

[1] *Приблизительно*: кто угодно сломает себе шею (*фр.*).

Он поднял на меня свои бесцветные, рассердившиеся глаза.

– Они обкрадывают друг друга, они пожирают друг друга, – вот содержание всей истории. Вы говорите о факторах? – сказал он, хотя я не произнес ни слова. – Эти факторы суть подлость и идиотизм.

– Мне казалось, что...

– У вас, может быть, доброе сердце, вам не хочется думать, что мир устроен именно так, а не иначе. Кроме того, вы ничего в нем не понимаете.

Он похлопал меня по плечу и улыбнулся.

– Не то что б я вас считал глупее других, видите ли, – я этого не думаю. Но вы не понимаете – так, как дети не понимают скабрезных анекдотов. Вот в чем дело.

Все, что он говорил, казалось мне удивительным – не потому, что было непохоже на обычные вещи, а оттого, что решительно все его высказывания неизменно были отрицательными. Это казалось мне неправдоподобным; он начинал походить на злодея из дешевого романа, в котором соединены решительно все недостатки и который лишен самой маленькой, самой случайной добродетели. Но, вместе с тем, это был живой еще и умный человек, и сплошная его отрицательность казалась мне невозможной. Я сказал ему это.

– Вы дикарь, – ответил он. – Вы задаете вопросы, которых не принято задавать. Европеец бы себе никогда этого не позволил. Но я предпочитаю это.

Лицо его исказилось, он зажмурил глаза и вдруг стал тихонько сползать со скамейки. Я подхватил его под руку, почувствовав на секунду худое старческое предплечье. Тело его показалось мне неправдоподобно легким. Он тяжело дышал с минуту, в глазах его стояло отчаяние. Потом он сказал:

– Проводите меня домой и непременно приходите завтра сюда же, в это же время.

Небольшое пространство, отделявшее нас от дома, в котором он жил, мы прошли за двадцать минут; несколько раз ему становилось плохо и тело его сразу оседало; мы останавливались, ждали, пока он отдышится, и потом про-

должали идти. Последние несколько метров он прошел более уверенно.

– Благодарю вас, – сказал он у порога своей двери. – Значит, завтра мы увидимся. Если я попрошу вас об одной услуге, вы не откажете мне?

Я был очень взволнован и ответил, что я всецело в его распоряжении. Он попрощался, протянул мне дрожащую руку в своей неизменной нитяной перчатке.

На следующий день, купив вечернюю газету, я сразу увидел на первой же странице его портрет под сообщением о том, что с ним случился припадок уремии. В статье об этом было написано, что ввиду преклонного возраста больного врачи воздерживаются от каких бы то ни было высказываний.

Ночью я пришел на площадь Трокадеро, хотя было совершенно очевидно, что это не имело никакого смысла. Я знал, что он был тяжело болен, может быть при смерти, и, стало быть, не только не мог прийти сам, но вряд ли мог вспомнить о незначительном свидании и как-нибудь предупредить меня. К тому же он не знал ни моего адреса, ни даже моего имени. Я провел много часов там в те дни, и даже полицейские, изредка проходившие через площадь, стали смотреть на меня с подозрением, как мне показалось, но не беспокоили меня, по-видимому, из-за того, что я не был похож на бродягу, и к тому же никаких недоразумений за это время не случилось. Но я полагаю, что, если бы в этом квартале произошла в те времена кража, мне, вероятно, пришлось бы побывать в комиссариате и дать объяснение своего постоянного ночного присутствия на площади; и, конечно, тому, что я сказал бы, никто бы не поверил.

Я не считал бы себя обязанным к этому утомительному дежурству, если бы старик не спросил меня, могу ли я когда-нибудь оказать ему услугу. Слово «когда-нибудь» имело в его устах почти немедленный смысл; у него оставалось очень мало времени; оно измерялось днями, быть

может, неделями, стало быть, я должен был быть готов каждую минуту. Я долго ломал себе голову над тем, что ему могло понадобиться от меня и почему он думал, что я могу оказать ему эту услугу. Он не знал обо мне ничего или почти ничего, не имел представления ни о моих возможностях, ни о степени моей готовности помочь ему в чем бы то ни было. Кроме того, что ему могло быть нужно? Несмотря на то что он давно ушел от власти, имя его оставалось магическим, и ему достаточно было отдать распоряжение, чтобы все было сделано так, как он этого хотел бы. Я не сомневался в том, что ему предстоят торжественные похороны, что давно готовы траурные каймы для некрологов и что вся страна ждет только его смерти, которая не могла, казалось, не наступить в самое ближайшее время. И о чем, о какой необыкновенной вещи мог думать этот человек в самые последние, в самые страшные дни? У него не должно было оставаться, как мне казалось, ни сожаления, ни раскаяния, ни желания исправить какую-либо ошибку – у этого старика, у которого презрение к людям было доведено действительно до беспримерной, почти нечеловеческой силы.

Прошли три недели. Я знал по газетам, что в состоянии его здоровья произошло улучшение, что накануне он в первый раз встал с кровати. И вот, ночью, я увидел, как он с трудом и необыкновенно медленно шел по направлению к площади. Я побежал ему навстречу и взял его под руку.

– Спасибо, спасибо, – отрывисто, как всегда, сказал он. – Если мы успеем, мы поговорим потом. Теперь я очень тороплюсь, мне надо ее перегнать, – сказал он, остановившись.

Мы проходили мимо скамейки. Я хотел посадить его.

– Нет, нет, – сказал он. – Помните, я просил вас об услуге?

– Я могу только повторить, что я в вашем распоряжении, – точно так же, как три недели тому назад.

– Вы сказали, что вы умеете править автомобилем. Вы можете отвезти меня в Beaulieu?

– Когда? – спросил я.

Заказ № 3236

– Сейчас, – ответил он.

– Я готов, – сказал я. Я хотел его спросить, в состоянии ли он будет вынести долгие часы этого переезда, но не сказал ни слова. Мы продолжали идти, очутившись уже на одном из авеню, окружающих площадь. Старик сказал:

– Автомобиль стоит в ближайшем гараже. Я попросил вас отвезти меня, потому что не хочу, чтобы об этом путешествии кто-либо знал.

Я наклонил голову молча. Войдя в гараж, где нас встретил ночной сторож, араб, старик показал мне машину, на которой мы должны были ехать; это был прекрасный «крайслер». Я открыл дверцу, старик влез внутрь, опираясь на палку и на мою руку, я вывел машину из гаража, и через двадцать минут мы уже были на дороге Фонтенебло.

Тени деревьев летели навстречу автомобилю; мотор работал совершенно бесшумно, и, только поглядывая на счетчик, я невольно напрягал все свои мускулы, почти бессознательно готовясь к какому-то страшному толчку. Дорога, впрочем, была почти пустынна, автомобили попадались чрезвычайно редко. Впрочем, я два раза чудом, как мне показалось, избежал катастрофы. Это случилось оттого, что у меня вдруг потухли фары и я от волнения не мог их нащупать. Луна то показывалась, то скрывалась за облаками; был предрассветный час. Впереди меня шел высокий грузовик; и всякий раз, когда я приближался к нему, чтобы обогнать, перед моими глазами появлялась черная точка, происхождения которой я никак не мог объяснить; со мной никогда таких вещей не случалось. В третий раз, когда я решил пренебречь этой точкой, – стало чуть-чуть светлее, – и надавил на акселератор, теперь уже явственно перед самым стеклом я разглядел конец рельсы, который отстоял от платформы грузовика на несколько метров; я нажал на тормоз, машина плавно замедлила ход, и точка удалилась. Я обогнал грузовик и пустил машину полным ходом, стараясь наверстать потерянное, и через несколько километров едва не попал между двух двадца-

титонных фургонов, шедших один навстречу другому. Но у того из них, который направлялся в Париж, не горели передние фонари, и оба они издали были одинаково освещены тремя красными огнями; я увидел их на повороте дороги и решил, что они идут друг за другом; когда я обогнал первый из них, красные точки второго стали приближаться с невероятной быстротой, как во сне, и только тогда я понял, в чем дело. Автомобиль шел слишком быстро: если бы я резко затормозил, машина перевернулась бы, – пришлось задерживать ее, то нажимая, то отпуская тормоз; и когда я, наконец, почувствовал, что она совершенно подчиняется мне, я успел забрать вправо, и грузовик прошел мимо с тем особенным шипением и присвистыванием, которые характерны для дизелевских моторов.

Посмотрев назад, я увидел, что старик сидит с закрытыми глазами; он, по-видимому, дремал и ничего не заметил. Города и деревни, которые мы проезжали, были совершенно пустынны в эти часы. Мелькали столбы с надписями о том, что до такого-то города столько-то километров. Уже давно взошло солнце, стало жарко, я снял пиджак. В первый раз, когда я остановился, чтобы купить бензин, старик воспользовался остановкой, чтобы спросить меня, выдержу ли я безостановочное путешествие до Beaulieu.

– Я-то выдержу, – сказал я, – но не кажется ли вам, что вам это будет очень трудно?

– Не думайте обо мне, – сказал он. – Я дремлю все время: есть все равно ничего не могу.

– В таком случае, – сказал я, – мы доедем.

Но к двенадцати часам дня я с тревогой почувствовал, что мне смертельно хочется спать; к счастью, в это время на дороге было уже много автомобилей и приходилось напрягать внимание. Кроме того, я курил папиросу за папиросой и, в общем, все-таки держался. Чем дальше, однако, тем мне становилось труднее; но мы уже проехали Тулон. Я еще два раза брал бензин и, наконец, – было около восьми часов вечера, – мы проехали Ниццу и по дороге, которую я знал очень хорошо, как улицу в Париже, на которой жил, доехали до Beaulieu. Я остановил авто-

мобиль перед небольшим особняком, окруженным пальмами. Я слегка пошатывался – огненные зайчики прыгали в моих глазах. Я открыл дверцу и помог выйти старику.

– Спасибо, мой милый, – сказал он. – Идите, ложитесь спать; когда выспитесь, приходите сюда. Приходите завтра утром. Спокойной ночи. Деньги вам нужны?

– Да, у меня четыре франка в кармане.

Я вошел в первую гостиницу, пообедал, дремля, потом вошел в комнату, которую мне отвели, едва нашел в себе силы раздеться и заснул мертвым сном.

Я проснулся в девять часов утра, проспав одиннадцать часов подряд. В комнате было душно, из ближайшего сада доносился треск цикад, и, пока я не пришел в себя окончательно, на что потребовалось все-таки несколько секунд, этот звук особенно поразил меня. Потом женский голос внизу сказал, удаляясь и, по-видимому, отвечая остающемуся здесь собеседнику – je le crois bien[1], – с таким южным акцентом, в котором нельзя было ошибиться, и я сразу вспомнил это бесконечное ночное путешествие и старика, которого я вчера оставил у входа в особняк с пальмами. Одевшись, я сходил к парикмахеру, потом купил по дороге купальные трусики и полотенце. В заливчике, на берегу которого стоял Beaulieu, море было идеально спокойное, как всегда; глубоко на дне темнели камни, на прибрежных подводных островках росли альги, из которых живыми фонтанами расплывались целые стайки маленьких рыб; крохотные зеленые крабы бегали по камням, на дне, и, чтобы их увидеть, нужно было лежать на воде почти неподвижно, на животе, погрузив лицо в море и пристально глядя вниз. Меня еще раз поразили всегдашнее особенное безмолвие Beaulieu и неподвижная его красота. Здесь жили на покое, – как и по всему побережью Средиземного моря, – но здесь особенно, – очень пожилые и очень уставшие люди, которые ждали обманчиво ласко-

[1] я в это очень верю (*фр.*).

вую, южную смерть, в этой сверкающей от солнца и моря, в этой оранжерейной котловине. Эти люди жили в глубине домов, и еще в прежние времена я неоднократно видел их в Beaulieu; они всегда были слишком одеты, носили идеально ненужные галстуки, воротнички и зонтики, и жестокое южное солнце все же, по-видимому, не могло прогреть их до конца; я думал, что навстречу ему из глубины этих иссушенных тел уже поднимался тот последний холодок, против которого не было никаких лекарств. Иногда их сопровождали собаки, почти всегда хороших, хотя почти исчезнувших нынче пород, но невзрачные, с жалобными глазами и, в общем, похожие на своих хозяев. И только однажды я видел как-то рядом с высокой старухой, державшей в сухой руке ремешок, на котором она вела дряхлого пуделя, – ее молодую, по-видимому, компаньонку, которой, наверно, было двадцать два или двадцать три года; у нее было литое тело под легким платьем, тяжелые губы и голодные глаза с длинными ресницами; она прошла мимо меня – я сидел на скамейке и читал газету, – обернулась несколько раз, и через минуту я заметил, что прочел до конца статью, из которой не понял ни одного слова. Я посмотрел вслед, потом подошел ближе и увидел ту же группу – старого пуделя, оседающего на задние лапы, медленную походку старухи на несгибающихся ногах и рядом с ними загорелую спину девушки с блестящей, точно смазанной маслом, кожей и чуть-чуть покачивающей на ходу все то же великолепное тело. – Нелепо и замечательно, – сказал я вслух самому себе, не очень хорошо зная, почему это нелепо и что замечательно.

В тот день после купанья я прошел еще пешком несколько километров, дошел до Cap-Ferrat, где выпил кофе, и вернулся в Beaulieu к половине первого: было пора уже идти туда, где я оставил вчера своего спутника. Я позвонил у железных резных ворот; мне открыла молодая женщина, которая, по-видимому, была предупреждена о моем приходе, потому что ни о чем не спрашивала меня; она ввела меня в комнату, где стоял диван, два кресла и небольшой столик с пепельницей; на единственной гравюре, украшавшей стену, плыл, раздувая много-

этажные белые паруса, старинный и очень классический фрегат. Через минуту меня попросили войти, и я оказался на террасе, выходящей в небольшой сад и затянутой коричневым пологом; и в кирпичном цвете, который давали солнечные лучи, проходя сквозь этот полог и создавая неправдоподобную, картинную окраску, я увидел маленькую старушку с очень живыми глазами, на которых были, как мне показалось, следы слез. Этому, впрочем, не следовало придавать особенного значения, потому что, как я вскоре убедился, она плакала с необыкновенной легкостью и по поводу самых незначительных вещей. Но во всем – и в ее улыбке, и в ее манере говорить, и в жестах ее коротких сухеньких рук, и в интонациях ее слабого голоса – было необыкновенное очарование. Она говорила на прекрасном французском языке с чуть заметным акцентом, но настолько незначительным, что трудно было понять, каким именно.

– Это вы привезли Эрнеста? – сказала она мне. – Очень хорошо сделали, очень хорошо сделали. Он черствеет в Париже. А так как он совсем старый и характер у него всегда был ужасный, то это должно быть невыносимо; немного нашего южного солнца ему не повредит. Скажите, – она понизила голос, и на глазах ее мгновенно появились слезы, – он действительно очень плох?

Что я мог ей ответить? Я сказал, что нет, я лично этого не думаю, что, как она должна знать, врачи ничего не понимают и сами всегда бывают поражены всеми изменениями в состоянии больного, – только они скрывают это удивление, так как иначе они потеряли бы уважение пациентов. Но они не знают больше нас, мадам, в этом я твердо уверен. Кроме того, раз он мог проделать такое путешествие из Парижа в Beaulieu, стало быть, состояние его здоровья совсем не так плохо.

– Да, может быть, вы правы, – сказала она со вздохом.

В это время из соседней комнаты послышались тяжелые, шаркающие шаги, я повернул голову и увидел старика; он был в темно-сером халате, скрывавшем его необыкновенную худобу; он шел с еще большим трудом, чем обычно. Я встал и поклонился ему.

– Здравствуйте, как спали? – спросил он. – Отдохнули? Человек устает один раз в жизни, в сущности, – и от этой усталости никакой отдых не вылечивает, – а до тех пор...

– Он очень склонен к афоризмам, – сказала старушка, – почему вы не писали книг, Эрнест?

– Вы знаете, что у меня было мало времени; а кроме того, ни одна книга еще ничего не изменила в истории людей.

– Вы неисправимы, Эрнест, – сказала старушка, – а Евангелие, например?

– Не требуйте же от меня, чтобы я написал Новый Завет, – сказал старик с улыбкой.

Я внимательно смотрел на него; он очень изменился за эти сутки, лицо его смягчилось, хотя морщины обозначались на нем с той же, если не большей, беспощадной резкостью. Но в том выражении его выцветших глаз, которое так поразило меня, когда я разглядел его впервые, я не видел больше первоначальной и, вероятно, всегдашней свирепости; в них осталось только сожаление, и это было так неожиданно и непривычно и так, я бы сказал, не подходило ему, что я все ждал, не изменится ли вновь его взгляд, и всякий раз мое ожидание было обмануто. Он от этого сразу стал беззащитнее и из такого, каким его знали современники, превратился в очень старого и очень больного человека, которому осталось жить немного дней.

Мы позавтракали вместе. Старушка жаловалась мне на кухарку, которая, по ее словам, страдала исключительной забывчивостью и всегда все путала. – Хорошо еще, если она не сыпет перца в сладкое. – Это объяснялось, по мнению хозяйки, двумя причинами, – во-первых, возрастом кухарки, во-вторых, тем, что она пьет, как все женщины с севера. – Такая глупая старуха! – говорила она. – Но ведь не могу же я с ней расстаться. Подумайте, она служит у меня... – здесь она задумалась, не могла вспомнить и, наконец, позвонила два раза. На звонок вошла среднего роста женщина в черном, с резким мужским лицом.

– Христина, сколько лет вы у меня служите? – спросила старушка. Кухарка вздрогнула, как мне сначала

показалось, потом я понял, что она икнула – она, действительно, была навеселе – и ответила неожиданно высоким, хрипловатым голосом:

– Тридцать шесть лет, мадам. Это все, что вам нужно, мадам?

– Да, можете идти. Видите, месье, тридцать шесть лет.

– Вот, – сказал старик, – вот о ней бы и написать книгу.

– Что вы, Эрнест? Что же о ней написать? Она готовила и пила всю жизнь, и больше ничего.

Старик покачал головой.

– За эти тридцать шесть лет миллионы людей были убиты, миллионы искалечены, другие проехали тысячи километров, изменили всему, что они знали, забыли родной язык, целые страны исчезли с лица земли, были революции, гражданские войны, и мир готов был рассыпаться, – а Христина все это время жарила мясо, пила кальвадос, и даже имена этих стран для нее неизвестны. И теперь скажите мне, что это не нелепо?!

– Все нелепо, Эрнест, но кухарки все-таки необходимы. Она никогда не была министром, эта бедная Христина, разве ее можно за это упрекать?

– Напротив, – сказал старик с улыбкой, к которой я уже начал привыкать, – ее нужно с этим поздравить. – И через секунду добавил: – Ее и нас.

После завтрака он отвел меня в сторону и спросил, нет ли у меня спешных дел в Париже, которые бы требовали моего присутствия. Я ответил, что нет, меня никто не ждет; единственный человек, который заметит мое отсутствие, это хозяйка гостиницы, в которой я живу, – но и она не будет очень удивлена, я заплатил ей на днях, а к моим отлучкам на несколько дней она успела привыкнуть, и даже, если предположить, что она к ним не могла бы привыкнуть, то и это никакой роли не играло бы. Старик мне сказал, что он собирается выехать в Париж послезавтра и что мы могли бы поехать вместе на том же автомобиле.

– Я перед вами в долгу, – сказал он, – и вы имеете право знать некоторые вещи и понять причины моего странного поведения.

– Ну в какой степени я не хотел бы...

– Знаю, знаю. Но я чувствую себя не вправе, вы понимаете... Я вам объясню это. Куда вы идете сейчас? – вдруг перебил он себя. Я сказал, что поеду в Ниццу, что мне хотелось бы повидать своих знакомых. Мы условились, что я приведу в порядок автомобиль, который неподвижно стоял все там же, густо покрытый грязью, – и приеду за ним послезавтра утром.

Я провел эти полтора дня в беспрерывных разъездах, спеша побывать во всех местах, которые я знал и любил. Я говорил о политике в маленьком кафе того местечка, где жил летом год тому назад, безуспешно пытался ловить рыбу в зелено-коричневом гроте, за Cap-Ferrat, лазил по узким, как коридоры, улицам средневекового городка St. Paul, сидел в порту Villefpanche вечером и смотрел на американских матросов с только что пришедшего крейсера, увидав который, бойкая хозяйка какого-то незначительного магазина тотчас же обтянула свою французскую вывеску давно, по-видимому, приготовленным и специально для таких случаев заказанным куском материи с надписью «Your little shop»[1] матросы танцевали с местными красавицами, которые все прибывали в порт, а на берегу, возглавляя специальную портовую американскую полицию, стоял сорокалетний мужчина в парусиновых гетрах, не очень большого роста, но почти квадратный, с тяжелой нижней челюстью и пудовыми кулаками, несомненно видавший виды и равнодушно готовый ко всему. Оттуда я уехал в Ниццу, посмотрел кинематографическую хронику, затем побывал в Антибе, поднялся к маяку и долго глядел на неподвижное в тот безветренный вечер море и сплошную линию фонарей, освещавших длинную и извивающуюся прибрежную дорогу. И опять, как всякий раз, когда я приезжал на юг Франции, мне казалось, что я попал, наконец, на родину; и я не понимал, как может раздражать или утомлять моих знакомых этот постоян-

[1] «Лавочка для вас» (*англ.*).

ный зной, это неизменное безоблачное небо и сверкающее под солнцем море. Даже конфетная декоративность некоторых мест, слишком уже явная, нисколько не коробила меня, она оставляла меня равнодушным, как равнодушны к ней были местные жители. И, подобно обитателям Beaulieu, я тоже хотел бы умереть здесь, втягивая в бессильные – в эту минуту – легкие последние глотки этого удивительного воздуха, соединившего в себе море, солнце и зной и далекий запах раскаленных сосен.

Я возвращался в Beaulieu знакомыми дорогами. Вот вилла, на крыше которой всегда стояла фарфоровая кошечка, – в этой вилле жила богатая и очень надменная старуха, составившая себе состояние эксплуатацией публичных домов в Париже; она начала свою карьеру четырнадцатилетней девочкой на тротуарах улицы Сен-Дени и теперь кончала здесь свое долгое и преступное существование; вот вилла «Анюта» с петушками, деревянными колокольчиками, вечно неподвижным флюгером и изображением Николая Угодника на воротах; «Анюта» принадлежала бывшему гвардейскому офицеру, чрезвычайно лихому, по-видимому, человеку, гремевшему, по его словам, в Петербурге в девяностых годах прошлого столетия, – с обычным и всегда готовым арсеналом «клубничных» воспоминаний, в которых неизменно фигурировали злополучные и маловероятные ванны из шампанского; о них все-таки, я думаю, он где-то прочел – в часы либо невольного тюремного досуга, либо совершенно лютого безденежья, – потому что в нормальное время он ничего не читал, кроме Библии, как он сам говорил; и я долго недоумевал, зачем этому человеку Библия, пока однажды не заметил, что она была покрыта густой пылью, – и тогда я успокоился.

В ночном воздухе изредка раздавался постепенными звуковыми полукругами собачий лай; начинал один пес, несколько ниже отвечал другой, за поворотом третий, потом – о, я сразу узнал их голоса – часто-часто, свирепыми баритонами, залаяли два бульдога из розовой виллы, там, где дорога изгибается, подходя к морю, и где

живет человек, с золотым браслетом на правой руке, по старой привычке пудрящийся и красящий ногти и про которого мягко говорили, что он был человеком «странных нравов»; но бульдоги у него были хорошие.

Я заснул под стрекотание цикад и видел во сне владельца виллы «Анюта»; он плыл по бурному морю, и над водой торчала его голова, неподвижная, как деревянный шар, абсолютно лысая голова с грозными усами, устремленными вверх.

Я покидал юг с двойным на этот раз сожалением, потому что, помимо личной неприятности – вернуться в Париж, – судьба опять ставила меня перед необходимостью войти в ту безотрадную область, центром которой был мой спутник. Ему вновь стало хуже, он кутался в широкое пальто, хотя стояла почти тропическая жара. Его вышли провожать хозяйка и Христина. Мы уехали, я оборачивался несколько раз, и до поворота дороги все смотрел на эти две фигуры и задумался об этом настолько, что, может быть, лишь через минуту до меня дошел, наконец, тихий шелест мотора и сухое лепетанье шин по раскаленной дороге. Проехав Ниццу, я нажал на акселератор и пустил автомобиль почти полным ходом. Рука старика коснулась моего плеча, – он сидел теперь не сзади меня, как в прошлый раз, а рядом со мной.

– Можете не спешить, – сказал он, – в этом больше нет необходимости.

Я несколько замедлил ход.

– Как бы вы сказали, какой она национальности? – спросил он меня.

Я ответил, что затруднился бы это определить. Единственно, в чем я уверен, это – что она не француженка либо провела детство за границей.

– Испанка, – отрывисто сказал старик.

Мы проехали несколько сот метров. Солнце стояло высоко; влево от дороги бесконечно сверкало и морщилось море.

– Вы ломали себе голову, – сказал старик, – над тем, что все это может значить.

Он улыбнулся; я повернул голову и увидел его пустые и далекие глаза. Потом он плотнее запахнулся в пальто, сложил свои руки в нитяных черных перчатках и начал говорить.

Он объяснил, прежде всего, что обратился ко мне, потому что не хотел никого решительно посвящать в историю этой поездки – ни своего шофера, ни кого бы то ни было другого – и еще потому, что он ненавидел и презирал газеты, которые не замедлили бы узнать об этом. Мысль о том, что об этом можно попросить меня, пришла ему внезапно, именно тогда он спросил, умею ли я править автомобилем. Дальше он объяснил, в лаконических, но лестных для меня выражениях, что он чувствовал ко мне доверие и вообще считал меня совершенно порядочным человеком. Я прервал его:

– Я не могу высказываться о других ваших суждениях, я не имею на это права. Но в данном случае вы ошибаетесь, это я знаю твердо.

Он объяснил, что имел в виду только отрицательные достоинства, то есть что я не буду стараться извлечь из этого пользу, не стану просить за это деньги, – что было бы не так важно, но неприятно, – не обращусь к нему в свою очередь за протекцией. Но что, если мне доставляет удовольствие считать себя непорядочным человеком, он ничего против этого невинного желания не имеет.

– Я поехал сюда, – сказал старик и звучно проглотил слюну, – это моя предпоследняя поездка, потому что в следующий раз меня повезут уже иначе.

И я сразу представил себе траурные занавесы над дверью его дома в Париже, толпу любопытных на тротуаре, полицейские кордоны и медленное шествие вниз по Елисейским полям.

– Но для того, чтобы объяснить причину этой поездки, – сказал он, глядя прямо перед собой, – нужно вернуться на много лет назад.

И он стал рассказывать изменившимся голосом, – и я уловил в этом изменении бессознательно, быть может, упо-

требленный прием человека, произнесшего в своей жизни тысячу речей, – о том, как он познакомился и сошелся с женщиной, которую мы только что покинули. Он встретил ее на скачках, попросил, чтобы его ей представили. Она была на двадцать лет моложе его, отец ее... Впрочем, биографические подробности, как он сказал, не имеют никакого значения. Она была замужем, у нее не было детей. Она оставила мужа. Самым удивительным ему казалось то, что об этом единственном и прекрасном романе его жизни, – таком, в котором он не хотел бы изменить ни одного слова, – было нельзя рассказывать так, чтобы это мог понять другой человек. Она была единственной женщиной, которая не воспользовалась ни одной из возможностей, которые ей давало ее положение. Они не жили вместе – это было невозможно по многим причинам, – иногда они не виделись долгими месяцами, но в самые трудные минуты его жизни она неизменно была рядом с ним. Он очень давно, по его словам, знал, что он ни на кого не может положиться, что в его падении его никто не поддержит; но он знал также, что она никогда не изменит ему. Сквозь всю его жизнь проходила ее легкая тень. Она была всегда ровна, всегда ласкова и немного насмешлива и даже говорила, что не очень любит его. Но в день его очередной дуэли она неизменно оказывалась в Париже, приезжая из Испании, или Англии, или Beaulieu, которое она особенно любила.

Так проходила жизнь, и постепенно, с каждым годом, то небольшое количество мыслей, вещей и людей, в которое старик верил, становилось все меньше и меньше, – и вот уже много лет, как от него ничего не осталось.

Он был слишком умен, чтобы сказать, что положительных ценностей вообще не существует, – он только пояснил, что для него их нет. Это – как развалины; другие смотрят на них, и их воображение строит над ними громадные города, исчезнувшие во мраке времен, – а он видел только осыпающиеся камни, и больше ничего. Он не жалел ни о чем, как он сказал мне; и то, что он вскоре должен был покинуть этот смрадный ад, в котором прожил такую бесконечно долгую жизнь, должно было скорее

радовать, чем огорчать его, если бы он еще мог ощущать радость. Нет, у него не было желания что-либо переделывать или пытаться изменить в нем, как на это надеется особенная категория людей, которые являются просто невежественными сумасшедшими, вербуются из неудачников, убийц и дегенератов и которых деятельность субсидируется разжиревшими буржуями. Нет, никакого желания помочь всем этим людям у него не было. – Пусть околевают, пусть околевают, ничего лучшего они не заслуживают. – И вот, за последние полвека, за эти пятьдесят медленных лет, он знал одно чувство, которое ему не изменило, которое нашло себе такое идеальное, такое совершенное воплощение. Он замолчал; за очередным поворотом дороги блеснуло и исчезло море.

– Я не мог умереть, не попрощавшись с ней; это была моя последняя и самая важная обязанность. Теперь я один.

Мы ехали на этот раз совсем медленно, и это имело некоторый смысл – для него, потому что ему действительно не стоило торопиться, и для меня, потому что мне было жалко уезжать. Меня вдруг охватило желание вернуться в Beaulieu, поговорить с этой женщиной, попытаться понять ее и ее жизнь, и я почувствовал безумную жажду постигнуть самое главное, самое основное в этих двух существованиях – но не то, что можно рассказать в нескольких фразах, а другое, недоступное объяснению и пониманию, которое вдруг предстало бы мне в одном изумительном по ясности, в одном недолгом и ослепительном озарении. Но это было невозможно.

Старик между тем вспоминал всякие подробности о своей жизни с этой женщиной, ему было жаль расставаться с этой темой, – а он ничего не жалел обычно, – но это была единственная гармония, которую он знал, потому что во всем остальном его обступала со всех сторон та мертвая и беспощадная тишина, которая являлась его окончательным уделом. Но вдруг в этой тишине воспоминаний возникло еще нечто, для меня совершенно неожиданное.

– Я не могу вспомнить, – сказал он, – одно замечательное стихотворение, которое мы читали с ней однажды, – очень наивное и светлое; была еще хорошая

погода; это было в начале нашего знакомства. Прекрасное стихотворение, по-моему, Бодлера. Вы должны его знать. Я помню только три первых слова: Lorsque tu dormiras... и не могу вспомнить дальше.

– Я знаю это стихотворение, – сказал я, – но только оно чрезвычайно далеко от наивности. Это очень печальные и зловещие стихи.

– Напомните мне, – сказал старик.

Я закрыл глаза, сделав привычное усилие, и сейчас же увидел перед собой эту страницу. Я помнил ее наизусть.

Lorsque tu dormiras, ma belle ténébreuse,
Au fond d'un monument construit en marbre noir
Et lorsque tu n'auras pour alcôve et manoir
Qu'un caveau pluvieux et qu'une fosse creuse;
Quand la pierre, opprimant ta poitrine peureuse
Ex tes flanes qu'assouplit un charmant nonchaloir,
Empêchera ton coeur de battre et de vouloir,
Et tes pieds de courir leur course aventureuse,
Le tombeau confident de mon rêve infini
(Car le tombeau toujours compendra le poète),
Durant ces grandes nuits d'ou le somme est banni,
Te dira: «Que vous sert, courtisane impartaite,
De n'avoir pas connu ce que pleurent les morts?» –
– Et le ver rongera ta peau comme un remords[1].

– Да, вы правы, – сказал он, – почему же мне всегда казалось, что было в этом стихотворении нечто мажорное?

---

[1] Когда затихнешь ты в безмолвии суровом
Под черным мрамором, угрюмый ангел мой,
И яма темная, и тесный склеп сырой
Окажутся твоим поместьем и альковом,
И куртизанки грудь под каменным покровом
От вздохов и страстей найдет себе покой,
И уж не повлекут гадательной тропой
Тебя твои стопы вслед вожделеньям новым,
Поверенный моей негаснущей мечты,
Могила – ей одной дано понять поэта! –
Шепнет тебе в ночи: «Что выгадала ты,
Несовершенная, и чем теперь согрета,
Презрев все то, о чем тоскуют и в раю?»
– И сожаленье – червь – вопьется в плоть твою.
(*Ш. Бодлер. Посмертные угрызения. Пер. А. Эфрон*)

Он задумался и сказал, улыбнувшись:

– Да, конечно, – и это потому, что в ту минуту, когда мы его читали, мы были счастливы.

Он в первый раз за все время употребил это выражение – «мы были счастливы». Я сбоку быстро посмотрел на него: он сидел, запахнувшись в пальто, сложив свои неподвижные руки в перчатках на коленях, грузно оседая на подушки автомобиля и глядя перед собой своими ужасными, пустыми глазами.

Мы ехали обратно трое суток, останавливались много раз и приехали в Париж поздним июльским вечером. Перед тем как выйти из автомобиля, он взял мою руку, подержал ее несколько секунд и коротко меня поблагодарил; мне показалось, что он думал о другом в это время. Я отвел машину в тот же гараж, из которого ее взял, и вернулся, наконец, домой, где за это время не произошло никаких изменений. А через три дня в вечерних газетах снова было напечатано жирным шрифтом, что с моим спутником случился второй припадок. На этот раз всем было ясно, что жизнь его кончена.

Он умер на следующую ночь после жестокой агонии. Я не был на его похоронах, это казалось мне ненужным. Его смерть была настолько естественна, он так давно принадлежал прошлому, что она не могла вызвать сильных чувств, даже, я думаю, у самых близких людей. Я прочел пошлое и шаблонное описание его похорон и подумал только, что этот замечательный человек заслуживал лучшего, чем газетный отчет, написанный полуграмотным журналистом. Но это было неизбежно, это было чрезвычайно характерно для того мира, который старик так глубоко презирал всю свою жизнь. И мне бы не представилось случая вернуться к воспоминанию об этой поездке, потому что я составил себе уже окончательное представление обо всем этом: долгие годы в «смрадном аду» и легкая тень той единственной женщины, ради которой стоило поехать – за несколько, в сущности, часов до наступления неотврати-

мой агонии – на юг, чтобы проститься с ней перед смертью; я бы не вернулся ко всему этому, если бы через год после поездки не встретил Христину, кухарку мадам.

Я все же много и долго думал над жизнью этого человека, я прочел толстую книгу, которую он написал, вспомнил его необыкновенную карьеру, удивительную беспощадность его суждений и то невыносимое отсутствие каких бы то ни было иллюзий, в котором всякий другой человек должен был бы задохнуться и пустить себе пулю в лоб. Стало быть, единственным утешением его была эта «легкая тень», о которой он заговорил. Я ничего не знал об этой женщине, кроме того, что он рассказал мне; но в его рассказе она показалась мне слишком совершенной, похожей на стилизованный портрет или почти умиленное воспоминание. Было, конечно, очевидно, что она обладала несомненным и, по-видимому, почти непреодолимым, в прежние, давно прошедшие времена, очарованием; в этом легко было убедиться, поговорив с ней несколько минут. В тот единственный раз, когда я ее видел, она произвела на меня впечатление детской прозрачности, – особенного соединения некоторой наивности, ума и несомненной душевной чистоты. И в конце концов, для того, чтобы быть так любимой этим суровым и сумрачным человеком, нужна была непобедимая прелесть и необыкновенность и, может быть, еще нечто, что я не мог бы назвать иначе, чем душевной гениальностью.

И такой она осталась в моей памяти – блистательным видением тех времен, когда я имел счастье еще не существовать. Она осталась такой, несмотря на то, что год спустя в маленьком, дымном кафе Вильфранша я помогал выйти Христине, которую потом должен был довести до дому, – она была настолько пьяна, что едва держалась на ногах, – и Христина рассказала мне, прерывая свой рассказ икотой и ругательствами, о том, какая у нее скупая хозяйка, как всю жизнь она меняла любовников, как в последние годы она платила им все деньги, которые ей присылал ее бывший, почти что муж, очень знаменитый человек и министр, который умер в прошлом году. Меня Христина, конечно, не узнала; помимо всего, было

Заказ № 3236

поздно и темно, и мы шли с ней по той дороге, над Вильфраншем, где, как кажется ночью, из пропасти, над морем, растут неподвижные деревья, листья которых бегут вверх по обрыву и останавливаются там, где еще продолжается этот каменный взлет морского побережья, через секунду пропадающий в густой тьме, как все остальное.

Но рассказ Христины не произвел на меня никакого впечатления и, конечно, ничего не мог изменить, хотя я думаю, что это была правда. И если многолетняя ложь и измены испанской красавицы ни в чем не уменьшили ее очарования и привели к такому удивительному и беспримерному завершению, то, я думаю, всякая истина, сопоставленная с этим блистательным обманом, увядает и становится идеально ненужной.

ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПРОЗА

НА ФРАНЦУЗСКОЙ ЗЕМЛЕ

В этой книге нет ничего вымышленного. Все факты, которые в ней приводятся, происходили в действительности. Все лица существовали в действительности. Все, что я описываю, я либо видел собственными глазами, либо знаю со слов непосредственных участников событий или по их письменным показаниям, либо, наконец, мне это известно по официальным документам.

Ответственность за все написанное я принимаю на себя. То, что я написал, я написал без чьих бы то ни было советов или указаний. Поэтому все настоящие имена героев этой книги заменены вымышленными, кроме имен тех, которые погибли и памяти которых я ее посвящаю.

Это началось в предпоследний год немецкой оккупации Франции. Я помню, что вплоть до того дня, когда, наконец, союзные войска вошли в Париж, я жил, делая над собой бессознательные усилия, чтобы не думать все время о вещах, которые занимали меня сильнее всего и существование которых само по себе, с точки зрения немцев, было преступлением против Германии и против Европы. Вместе с тем, не думать об этом было трудно. Я много раз представлял себе то условное развитие событий, последовательность которых я знал и которые были похожи на авантюрный роман, с той трагической разницей, что каждый шаг этих многочисленных героев написанной книги был действительно сопряжен с риском мгновенной и насильственной смерти. Одна и та же картина возникала в моем воображении: человек, одетый в полуарестантскую куртку, худой, как скелет, с темным и небритым лицом, медленно идет зимой по лесам и полям Эльзаса. Он движется только ночью, днем он лежит неподвижно на мерзлой земле, где-нибудь в канаве или под кустом, и ест

сырой картофель или морковь, счищая с них землю. Он оборван, нищ и слаб; но из последних сил он продолжает идти. Мимо места, где он лежит днем, засыпая и просыпаясь от холода, проезжают немецкие грузовики, проходят патрули немецких жандармов. Ночью он поднимается и снова начинает шагать; маленькие ветки хрустят под его ногами, над его головой – темное зимнее небо, и впереди еще много таких же одиноких и холодных ночей. Проходят дни и недели; и вот, наконец, он попадает к людям, которые ему отворяют дверь. Теплый дом, горячий ужин, кровать. Он просыпается ночью; темно, тихо. В первый раз за много времени, засыпая, он позволил своему постоянному нервному напряжению некоторый отдых. Он знал, что в течение нескольких часов он может не быть настороже, не быть готовым вскочить каждую секунду и либо бежать, либо принимать неравный бой, в результате которого его ждет смерть. Поэтому, проснувшись ночью, он не сразу понял, где он. И тогда с кажущейся медлительностью он вспомнил, что он во Франции, за тысячи километров от своей родины, в стране, оккупированной немецкими войсками и где ему предстоит сложная и трудная работа: собирать бежавших советских пленных, вооружать их и организовывать отряды для партизанской войны на территории Франции. Он не знал ни слова по-французски, имел самое приблизительное представление об этой стране, но кажущаяся невозможность выполнить эту задачу для него не существовала, и в том, что он ее выполнит, он не сомневался. Этот нищий и оборванный человек, жизнь которого зависела от первого французского или немецкого жандарма, был членом Центрального Комитета Союза военнопленных во Франции. В его богатом прошлом был, в частности, огромный опыт партизанской войны в России. Он был не один. То движение советских людей, которое вскоре должно было вылиться в организованную партизанскую войну, давно уже начиналось во Франции, но ему еще не хватало строгой и гибкой точности; она появилась лишь позже, после того, как образовался ЦК Союза пленных. Но первый призыв к борьбе на французской территории был сделан уже в августе 1943 года. Он исходил от группы партизан одного из лагерей на севере Франции. «Никакие силы не в состоянии спасти фашистскую Германию от

катастрофы» – гласил его текст. Воззвание было обращено к пленным, работавшим в угольно-промышленном районе Франции, и в нем содержались, наряду с вопросами национального порядка, и фактические указания:

«Нужно понять и не забывать, что каждый килограмм угля или другой продукции, добываемой вами, полностью попадает в руки немцев. Следовательно, это только увеличивает жертвы воинов наступающей Красной Армии. Нужно работать в пользу СССР, против врага, используя для этого все возможности»;

«Поддерживайте тесную связь с французскими патриотами, которые вам окажут большую помощь. При первой возможности уходите из лагерей в партизанские отряды и вместе с французскими товарищами ведите борьбу против общего врага – фашизма».

Но и это воззвание, и инициатива группы пленных, и формирование сначала центрального, а затем лагерных и, наконец, межлагерных комитетов – все это, в сущности, было направлено только к тому, чтобы стихийное движение советских людей канализовать именно так, как это было нужно и рационально. Если бы у пленных не было этого неукротимого желания борьбы и свободы, которое заставляло их с упрямым героизмом выносить все лишения, выживать там, где другие бы умерли, побеждать там, где другие были бы побеждены, – то, конечно, никакие ЦК и никакие воззвания не могли бы ничего сделать. Организаторам партизанского движения пришлось преодолеть множество невообразимых трудностей – и их задача была бы невыполнима, если бы в их распоряжении не было высокого человеческого материала. Теперь, когда все это кончено, это может показаться менее сложным, чем было, потому что всякая последовательность событий, которую мы рассматриваем ретроспективно, невольно приобретает характер естественного развития фактов; каждый последующий вытекает из предыдущего, и нам начинает казаться, что иначе быть не могло. Это происходит, надо полагать, потому, что мы теряем из виду два основных фактора всякой деятельности такого рода – неизвестность и будущее, а не прошедшее время. Но, так или иначе, одно остается несомненным: деятельность этих людей, и в особенности немногих организаторов, стоявших во главе

советского партизанского движения, была возможна только при том условии, что каждый из них заранее и совершенно сознательно, без тени иллюзии или сомнения, согласился на мучительную смерть в каком-то неизвестном подвале гестапо. И человек, которого мое воображение мне столько раз представляло идущим по Эльзасу, был, прежде всего, как другие его товарищи по ЦК, спутником смерти, которая следовала за ним, как тень.

Я познакомился с ним в Париже. Это был невысокий человек с твердыми и умышленно невыразительными глазами. По точности и быстроте его движений было легко заметить, что вся его мускульная система представляла из себя идеально послушную машину. По тому, как он смотрел на собеседника, и из того, что он говорил, нельзя было не сделать вывода, что он знает, чего хочет и, надо полагать, добьется этого ценой любых усилий. За свою жизнь я был знаком с несколькими людьми этого типа, но ни в одном из них он не был доведен до такой выразительности. Он обладал, кроме того, даром внушать доверие; и – это казалось особенно странным при общей твердости – он вызывал к себе невольную симпатию, не делая для этого внешне заметных усилий. Ему было трудно в чем-либо отказать. Это испытали на себе все, кому приходилось с ним сталкиваться. И несмотря на незнание языка, страны, условий жизни и всей сложной обстановки оккупированной Франции, он был – как это ни казалось парадоксально – вполне на своем месте. Для этого у него были особенные данные, не имевшие ничего общего ни с теми знаниями, которые, казалось бы, были необходимы для его работы, ни с той совокупностью условий, которой он, на первый взгляд, явно не соответствовал. Если ум – по классическому определению – есть способность понимать соотношение между вещами и между людьми, то он обладал этой способностью в исключительно высокой степени. Было в нем еще нечто особенное, характерное, впрочем, не только для него, но для многих советских людей: быстрая приспособляемость к внешним условиям жизни, к внешним отличиям, нечто вроде своеобразной социальной

мимикрии. Нужен был очень опытный глаз, чтобы отличить в толпе этого человека от других. Он сразу научился с безошибочным инстинктом одеваться по-европейски. Его могло, пожалуй, выдать особенное, не европейское выражение лица или глаз, но чтобы суметь это увидеть, нужно было быть физиономистом. В обществе эмигрантов – тех, которых он не очень близко знал, – он умел держать себя с нейтральной корректностью. Он не мог нигде научиться этому искусству, это был его природный дар.

Французская подпольная организация послала «для связи» женщину, которая должна была служить ему гидом в Париже. Я никогда не мог понять, как ему удавалось сговариваться с ней: он не знал французского, она не знала русского. За исключением этой подробности, она прекрасно подходила для такой работы. Это была француженка лет тридцати пяти, полукрестьянского типа, очень некрасивая, лишенная самого отдаленного намека на женственность и которая не привлекла бы ничьего внимания – ни полиции, ни жандармов, ни гестапо. Этот тип домработницы среднего возраста был, конечно, прекрасной защитной оболочкой. Она действовала с исключительной самоотверженностью. Единственная внешняя ее особенность – ноги, ноги футболиста или гиревика. Она делала каждый день огромные концы пешком и вообще отличалась исключительной физической выносливостью. В опасных обстоятельствах она иногда проявляла несомненную находчивость. Однажды, когда они вместе с ее спутником попали в облаву в метро и жандармы проверяли бумаги у большинства выходивших людей и когда отступление было отрезано, она набросилась на него с поцелуями – и они вдвоем прошли, как влюбленные, не переставая целоваться, мимо полицейских, которые их пропустили с той сочувствующей снисходительностью, которую питают французы к таким бурным проявлениям любви. Один из наших общих знакомых говорил мне, шутя, что это было самое жестокое испытание, которое пришлось перенести Антону Васильевичу. (Его звали Антон Васильевич. Я думаю, что в других местах его могли звать иначе. Но это, конечно, было неважно.)

Я неоднократно думал о его спутнице, с которой потом мне пришлось встречаться много раз. Я видел еще

несколько женщин, делавших приблизительно такую же работу, как она. Они обыкновенно были коммунистки. Их жизнь заключалась в том, что они ежечасно ею рисковали. Я вспомнил тех шоферов в Америке, которые, как мне кто-то рассказывал, получают очень большое жалованье, и средняя длительность их жизни – шесть месяцев; они перевозят в огромных грузовиках какое-то взрывчатое вещество страшной силы – и достаточно резкого нажима на тормоз, чтобы шофер, машина и все, что в ней находится, взлетело на воздух. Любителей всегда находилось много. Работа этих женщин напоминала, пожалуй, работу американских шоферов. В риске своей жизнью есть вообще особенная, иногда неудержимая соблазнительность, почти всегда бессознательная. Те, кто это испытал, похожи на наркоманов; многие из них потом бывают отравлены навсегда. Это, может быть, какое-то таинственное проявление древнего инстинкта борьбы, одного из могущественных биологических факторов человеческого существования. У женщин это носит несколько иной характер, но выражено столь же сильно. Число людей, которые ясно и твердо знают, за что именно они готовы умереть, и знают, что это действительно стоит такой жертвы, чрезвычайно ничтожно. Эти женщины были готовы умереть за коммунизм и за Францию. Но некоторые из них не были француженками, и ни одна из них, конечно, не знала, что такое коммунизм и почему за него стоит умирать. Я думаю, что у них даже не было особенной личной ненависти к немцам в той мере, в какой немцы не являлись официальным олицетворением врага, против которого надо бороться. Это было проявление слепого и героического инстинкта – быть может, одна из последних его вспышек в странах Западной Европы. Русские – те знали, за что они борются и за что они умирают.

Антон Васильевич, в частности, знал это лучше, чем другие. На его глазах в России немецкие солдаты убивали, расстреливали, вешали и жгли население целых деревень и сел. Я представлял себе, как он смотрел на все это своими, умышленно невыразительными глазами. И если бы немцы действовали рационально, они должны были бы, конечно, оставить в покое всех этих несчастных людей,

потушить пожары, сломать виселицы, перестать стрелять и обратить свое внимание на антонов васильевичей и тех, что были с ними, – бородатых русских мужиков, выполнявших под немецким наблюдением тяжелые работы. Со стороны заживо сгоравших женщин, быстро умиравших стариков, хрупких маленьких ребятишек, со стороны всего этого населения, которое они уничтожали, им уже, конечно, не угрожала никакая опасность. Они, наверное, так же мало боялись антонов васильевичей и их товарищей. И вместе с тем, если бы чудом, на секунду, их посетило какое-то внезапное прозрение, если бы они могли понять, что их ждет, они бросили бы винтовки и пулеметы, остановили бы танки и поезда и ушли бы обратно, в Германию, со смутной надеждой, что, быть может, там они все-таки останутся живы. Но этого не произошло, и оттого, что этого не произошло, погибли миллионы немцев, тех самых, которые жгли тех самых, которые вешали, тех самых, которые расстреливали. И вот опять, из страшной глубины библейских времен, до нас доходят слова, беспощадная правильность которых проверена веками и тысячелетиями, – кто сеет ветер, тот пожинает бурю.

И начало возмездия не заставило себя ждать.

Когда Антону Васильевичу удалось бежать, он очутился вместе с двумя товарищами в глухом российском лесу. На троих был один нож. Я думаю, что теперь этому ножу было бы место в Историческом музее, он был похож на тот couteau de quarante sous[1], который держала в руке Шарлотта Корде.

С таких вещей началась партизанская война в России. Она возникла стихийно. Она не могла не возникнуть.

Ночью через дорогу, проходившую в лесу, они натянули стальной кабель, который неподвижно лежал на земле. За несколько километров от этого места показался огромный фонарь немецкого мотоциклиста. Когда немец находился в нескольких метрах от их засады, они натянули кабель так, чтобы он был на уровне передней вилки мотоциклиста; и немецкий солдат, врезавшись в него на полном ходу, был отброшен далеко оттуда. Когда Антон Васильевич рассказывал мне это, я ясно представил себе октябрьскую холодную ночь в России, недалеко от Москвы,

[1] нож за сорок су (*фр.*).

ровную дорогу и смутное ощущение непонятной и мгновенной катастрофы, которое, может быть, еще успел испытать безвестный германский мотоциклист и которое – если он успел его пережить – было его последним ощущением. На нем нашли только револьвер с патронами и несколько гранат. Этого было достаточно, чтобы атаковать штабной автомобиль блиндированной дивизии, который они взорвали, бросив под его колеса немецкую же бомбу. В дальнейшем партизанское движение в России следовало, приблизительно, закону снежного кома. Отряд Антона Васильевича, состоявший из него самого и двух его товарищей и все вооружение которого заключалось в одном ноже, насчитывал через месяц восемнадцать тысяч человек. В других местах России с той же быстротой возникали другие партизанские отряды, действовавшие оружием, отобранным у немцев.

Все это происходило осенью 1941 года, в период необъяснимого, казалось бы, поражения немцев под Москвой. Когда будет написана подробная история войны, у нас будет, наверное, иллюзия, что теперь мы точно знаем причины этого первого немецкого поражения. По словам Антона Васильевича, которого я спрашивал об этом, германское командование, привыкшее за годы непрерывных побед на европейском континенте к полной свободе маневрирования и к знаменитому принципу Blitzkrieg[1], не учло в России двух решающих факторов: огромных пространств и партизанского движения. Передовые части армии бывали иногда отделены от ближайших боевых единиц, следовавших за ними, расстоянием в двести километров, на котором, как из-под земли, вырастали партизанские отряды. Они устраивали засады на дорогах и захватывали немецкие обозы; в результате блиндированные дивизии оставались без бензина. Тот факт, что немецкое командование «не учло» этих двух факторов, представляется совершенно загадочным; любой учебник географии был достаточен, чтобы знать размеры России, и любой учебник истории содержал в себе описание роли, которую играли партизаны в наполеоновскую эпопею. Но это,

[1] молниеносной войны (*нем.*).

конечно, были не первые и не последние вещи, которых не учла Германия.

Антон Васильевич был несколько раз в плену, несколько раз в партизанском движении. Подобно сотням тысяч самых крепких людей России, он прошел все ужасы немецкого плена: голод, сон на снегу, содержание в глиняной яме, побои и все то, что описывалось много раз и что уже не производит впечатления на читателя и слушателя, так как ничье воображение не способно воспринять апокалипсическую чудовищность этих испытаний. Я видел снимки голых пленных в немецких лагерях – скелетические тела, в которых, казалось, едва-едва мерцал какой-то признак жизни. Но если, в силу случайных изменений (оттого ли, что они попали на другую работу, или потому, что их перевели в другую часть Германии или за границу), их начинали кормить немного лучше, через несколько месяцев силы возвращались к ним, и, спустя еще некоторое время, они бежали из плена. Они блуждали потом по Бельгии, Голландии, Эльзасу, северу Франции, не зная ни дорог, ни языка. Сильнее всего – элементарных доводов рассудка, инстинкта самосохранения, сильнее страха смерти – в них жило неукротимое желание мести. Никто, особенно вначале, не давал им никаких инструкций, никто не говорил и не объяснял, как они должны были поступать. Но они все действовали одинаково, так, точно это была огромная и сплоченная организация людей, планы которой были разработаны до последних подробностей. Я думаю, что Антону Васильевичу никто не поручал пробраться во Францию и там организовать партизанские отряды. Рассуждения его по этому поводу были просты: мы вели в России партизанскую войну против немцев, Франция так же враждебна Германии, как Россия, стало быть, партизанскую войну можно вести во Франции. Но, конечно, все эти рассуждения в несколько измененных обстоятельствах могли бы оказаться несостоятельными и сущность была не в них, а в той огромной центробежной силе, которую представляла из себя масса советских военнопленных.

Так же, как он, рассуждало большинство. И поэтому, когда он прибыл во Францию, он мог констатировать, что одно и то же чувство, то самое, которое поддерживало его

все время, было свойственно тысячам других его соотечественников – тем, кто составлял августовское воззвание 1943 года, кто саботировал работу в шахтах, тем, кто, не дожидаясь ни приказов, ни инструкций, бежал из лагерей во французские партизанские отряды.

Чисто фактические подробности этих побегов были неисчислимо разнообразны. От перепиливания решетки в тюрьме и обезвреживания немецкого часового до прыжков из окон второго этажа, до поддельных бумаг, до убийства – все средства были хороши, и все они оправдывались целью. В очень многих случаях эти люди были воодушевлены той самой «жаждой мести», которая со времен наивно-романтической литературы изветшала, износилась и стала звучать как шаблон, вызывавший снисходительную улыбку. Мы знали, однако, что в этих словах было заключено некогда страшное содержание, которое медленно умирало и в последнее время почти перестало существовать или, во всяком случае, выродилось. И вот теперь, во время этой войны, эти слова вновь налились кровью.

Я знаю историю тринадцатилетнего советского мальчика. В России на его глазах немецкие солдаты убили его родителей и изнасиловали двух его сестер. Его и младшего брата, ребенка восьми лет, они увезли во Францию. Здесь, когда они прибыли к месту назначения, немцы почему-то решили «ликвидировать» целую партию «рабочих-добровольцев». Их выстроили и открыли по ним огонь из пулемета. Этот мальчик чудом спасся, уполз в лес и, вернувшись на место казни через час или два, нашел трупик своего восьмилетнего брата. Какое, чье милосердие в мире, какая самая всепрощающая мудрость, какие тысячелетия христианства заключали бы в себе достаточно моральной силы, чтобы простить этих людей?!

Мальчику удалось спастись. Он попал в Париж, где скрывался в квартире приютивших его людей, в полуподвальном этаже, через окно которого он видел сапоги проходящих солдат. Он целыми днями плакал от бессильного бешенства и просил только одного – чтобы ему дали революьвер. Когда, наконец, отчаявшись вернуть его в нормальное состояние, ему дали оружие, он ушел и с тех пор последние месяцы своей несправедливо и незаслуженно короткой жизни посвятил охоте на одиноких немцев,

которых он убивал. В письме об этом он писал крупными детскими буквами, с восклицательными знаками, что он убил еще двоих, что он убьет еще, что он всегда будет их убивать. Он разбился насмерть, некоторое время спустя, спрыгнув на полном ходу с поезда, где SS обнаружили его присутствие.

Нельзя было не изумляться несокрушимому упорству этих людей. Двадцатидвухлетний Сережа, лейтенант Красной Армии, и пятеро его товарищей потратили три месяца ежедневных усилий на то, чтобы, работая в угольных копях, подробно исследовать весь лабиринт подземных ходов, найти место, где можно удобнее всего прорезать новый выход, и, наконец, закончив работу, уйти всем шестерым – по одному каждые три дня.

И когда я думаю об упорстве этих людей, я не могу не вспомнить историю лейтенанта Василия Порика. Я называю его полным именем потому, что его нет в живых: он был расстрелян немцами 22 июня 1944 года. Но этой смерти предшествовала удивительная жизнь, наполненная такой невероятной силой сопротивления и борьбы, что, думая о ней, всякий беспристрастный человек поневоле должен будет отказаться от обычных и законных взглядов на пределы человеческих возможностей, физических и моральных.

На фотографии, где он снят в своей лейтенантской форме, он похож на гимназиста последнего класса: у него юношеское лицо, короткие волосы и – что меня особенно поразило – очень добрые карие глаза. Общее впечатление – это мягкость его широкого, типично русского лица. Если бы я видел только его карточку и ничего другого не знал бы о нем, я склонен был бы предположить, что это немного ленивый русский молодой человек, который, наверное, любит рыбную ловлю, тихие летние вечера на юге России, откуда он был родом, и разговоры по душам. Может быть, это и было так – до тех испытаний, через которые он прошел. Но все остальное противоречит такому представлению с начала до конца.

Он кончил офицерскую школу, откуда вышел лейтенантом и инструктором по физкультуре. Об этой подроб-

ности нельзя забыть, потому что позже она сыграла в его жизни решающую роль: он отличался огромной физической силой и такой же выносливостью.

Его вывезли из России. Он проехал Германию и Бельгию и попал в шахты, на север Франции. Там он не терял времени. Это именно он был одним из организаторов диверсионных групп, занимавшихся систематическим саботажем, он сыпал песок в машины, он заваливал подземные проходы и сворачивал вагонетки с рельсов. Потом он бежал и вступил в партизанский отряд, где стал заместителем командира. Этот отряд жил тогда в катакомбах, на глубине сорока метров под землей – и оттуда, из небольшого отверстия в поляне, прикрытого травой, выходили по ночам вооруженные тени, которые занимались взрывами, атаками на немецкие машины и беспощадной охотой на SS. Вступая в отряд, он подписал присягу, обязательную для каждого советского партизана во Франции:

«Я, патриот Советского Союза, вступая в ряды партизан, беру на себя высокое, ответственное и почетное звание бойца партизанского фронта. Это звание я буду оправдывать с честью и достоинством патриота Советского Союза.

Подлые немецкие захватчики совершили чудовищные злодеяния в отношении моего народа. Я обязуюсь беспощадно мстить кровожадному врагу до полного его разгрома, до окончательной победы моей Советской Родины над фашистской Германией.

Вступая в ряды партизан, я обязуюсь быть честным, мужественным и дисциплинированным бойцом-партизаном, точно и беспрекословно выполнять все боевые задания, которые мне будут поручать мои руководители. Я всегда готов отдать мою жизнь за правое дело нашей борьбы и за своих товарищей по оружию.

Я совершенно ясно представляю себе трудности и лишения, которые ожидают меня на пути борьбы в тылу врага. Но я этих трудностей и лишений не боюсь и буду их преодолевать мужественно и геройски. Никакие трудности, ни даже смерть не могут остановить меня на пути борьбы против злейшего врага человечества – фашистских людоедов.

Выполняя мой долг перед Советской Родиной, я также буду честным и справедливым в отношении французского народа, на земле которого я защищаю интересы моей Родины. Я всеми силами буду поддерживать моих братьев-французов в их борьбе против нашего общего врага – немецких оккупантов.

Если я, может быть, погибну в борьбе с врагом, то считаю, что был верным сыном моего народа и погиб честно, в борьбе за правое дело великой Советской Родины».

Эту присягу он выполнил до конца. Его давно искало гестапо, ему удавалось каждый раз ускользать, до тех пор, пока однажды целый отряд SS не окружил тот дом, в котором он находился. И тогда началось неправдоподобное сражение, одного беглого описания которого достаточно, чтобы понять, почему народ, создающий таких партизан, не мог проиграть войну.

Бой продолжался три часа, до наступления темноты. Порик был один – против тридцати человек; у него было автоматическое ружье и ограниченное количество патронов. Но приблизиться к дому было невозможно. Он не промахнулся ни разу; на различных расстояниях от него лежали трупы немецких солдат, имевших неосторожность сделать несколько шагов в том направлении, где их ждала смерть. Наконец оттуда перестали стрелять: у Порика больше не было патронов. Но первый же солдат, подошедший почти вплотную к окну, был убит бутылкой, которая со страшной силой была брошена ему в лицо. И Порик продолжал бой бутылками: в доме случайно их оказалось очень много.

Становилось темно. Немцы потеряли одиннадцать человек убитыми. Когда они ворвались, наконец, в дом, там никого не оказалось, только на полу были большие пятна еще не запекшейся крови. Порик, с четырьмя тяжелыми ранами в теле, нашел в себе достаточно сил, чтобы взобраться на крышу. Он, может быть, был бы спасен, но его выдала соседка. И немцы захватили его. Теряя сознание, он кричал по-русски: – Да здравствует Советская Родина! Смерть немецким захватчикам!

Несмотря на его четыре раны, немцы пытали и допрашивали Порика в течение трех недель. Ум отказы-

вается понимать, какая невероятная сила была заключена в этом человеке...

Он лежал на своей койке, в камере смертников аррасской тюрьмы, куда его отводили после очередного допроса. На этот раз в течение целого дня его не беспокоили. Он знал, что это значило: потеряв надежду добиться от него каких бы то ни было признаний, немцы решили его расстрелять. На рассвете предыдущего дня, проснувшись, как всегда, от боли, которую ему причиняли его раны, он слышал, как проводили и расстреливали советских пленных. Это происходило недалеко от его камеры, за какой-то стеной, на дворе.

Он знал в лицо всех людей из отряда SS, он видел много раз, как они избивали русских и что они с ними делали, и запомнил тех, кто принимал участие в пытках, которые он выносил. Он знал, что его ждет, но он не мог примириться с мыслью о смерти без борьбы. И он начал готовиться к побегу.

Часовые, зная, что он тяжело ранен и почти не способен передвигаться, не заглядывали в его камеру. Тому из них, который стоял на посту в эту ночь, такая неосторожность стоила жизни.

Порик работал около суток, стараясь ржавым гвоздем, найденным на полу камеры, выковырять кирпич у окна, куда был впаян поперечный прут решетки. Наконец кирпич был вынут. Тогда он разорвал на узкие полосы одеяло и рубаху и свил из этого довольно длинный жгут. Потом он лег на койку и пролежал около часу, собираясь с силами. Раны его были липки от выступившей после всех этих усилий крови, в висках у него стучало, но он понимал все с обычной своей холодной отчетливостью и тем непостижимым спокойствием, которое отличало его всегда, в самых отчаянных положениях. Все вокруг было тихо и неподвижно – каменные стены, окружавшие тюрьму, несколько едва черневших деревьев. Он, наконец, позвал часового. Как только тот показался в двери, Порик сразу узнал его тупое и широкое лицо – это был один из солдат, которым на допросах гестапо поручались самые грязные работы. И когда он вошел в камеру, Порик всей тяжестью своего тела бросился на него прямо с койки, оттолкнувшись ногами от стены. Нетрудно пред-

положить, что, хотя он был тяжело ранен и очень ослабел от пыток и потери крови, все же, конечно, часовой не мог ему оказать сколько-нибудь длительного сопротивления. Он не успел даже крикнуть – и через минуту его труп лежал на полу. Штыком от его винтовки Порик отделил еще несколько кирпичей и вынул решетку. Затем еще одним усилием он выдернул продольный прут и согнул его так, чтобы получилось нечто вроде крючка. Он привязал к нему свою веревку, спустился вниз, потом перелез через вторую стену и, наконец, через третью. Третья стена была высотой в семь метров. Когда он спрыгнул с нее вниз – за этой стеной была свобода, – он упал, как он рассказывал, на что-то, что не было землей. И, скользя в этом темном пространстве, он судорожно уцепился пальцами за первое, что ему попалось под руку. Через минуту он понял, в чем дело.

Он упал на то место, где перед этим были расстреляны русские. Их трупы лежали у подножья стены; и то, за что он ухватился в своем падении, были окровавленные волосы на голове одного из расстрелянных.

И тогда он заплакал.

Он вернулся в свой отряд; до этого он пролежал около месяца в одном частном доме. Его скрывала у себя француженка, женщина лет тридцати, в очках. Я видел потом ее фотографию. У нее было неподвижное, ничем не замечательное лицо, но я думаю, что она и умерла бы перед немецким отрядом расстреливателей, не изменив его спокойного выражения.

Он был расстрелян 22 июня 1944 года; его арестовал отряд SS, переодетый в костюмы французских рабочих. Как сказал мне об этом старший товарищ Порика, командир его партизанского батальона, – смерти уже некуда было отступать перед ним. Но, конечно, никто из тех людей, которые его знали, не забудет никогда огромную тень этого человека. И во всем трагизме его мгновенного исчезновения есть беглый отблеск той неудержимой и неумирающей силы, которая создала его родину и остановила, как стена, в течение долгой ее истории, все волны иностранных нашествий.

Я всегда задавал себе вопрос: как эти люди могли действовать в чужой стране, о которой они ничего не знали? Мне приходилось с ними встречаться – многие из них проходили через Париж, тот самый Париж, где была Oberkommandatur[1] на площади Оперы, и множество разнообразных немецких штабов, и роскошные дома, где жили агенты гестапо, и все остальное, – и который, помимо этого, был распределительным пунктом, откуда отправлялись в разные районы Франции советские партизаны.

Один из них рассказывал мне, что их лагерь был расположен недалеко от Парижа – «на горке, в лесу», – сказал он; и вот как-то, узнав, что там есть советские, туда буквально приползла на животе русская эмигрантская девочка пятнадцати лет, которая с ними заговорила. Она приходила к ним почти каждый день, приносила им еду, расспрашивала их о том, как они жили в России, и вскоре все небольшое население этого местечка знало чуть ли не биографию каждого из них. В них принимали участие все французы, эта эмигрантская семья, старенькая швейцарка, которая жила там же. Все они подвергались риску немецких репрессий! Но через некоторое время пленных перевели на север Франции. Именно оттуда они бежали. Они завязали отношения с хозяином маленького кафе и объяснили ему, хотя никто из них не говорил по-французски, что они хотели бы написать письмо туда-то и получить оттуда ответ. Он согласился. В письме, которое они послали этой эмигрантской семье, они просили штатское платье. Его им прислали – постепенно, в несколько раз. За день до получения последней посылки дом, в котором находилось кафе, был разрушен бомбардировкой. Они все-таки ухитрились получить на почте этот последний пакет

Затем они стали готовиться к побегу. Немецкий солдат, сторοживший их, спал у входной двери. Они приучили его к тому, что ночью один из них выходил из барака: постоит на воздухе несколько минут и возвращается. Постепенно их отлучки становились все более длительными, и немец, зная, что они всегда возвращаются, перестал обращать на это внимание. В одну прекрасную ночь двое из них – их было три товарища – вышли, обошли

[1] главная комендатура (*нем.*).

барак и приблизились к своему окну, оттуда третий выбросил им штатское платье для всех. Потом он тоже вышел, они переоделись, закопали свою казенную одежду в лесу и пешком пошли в Париж. Дороги они не знали, спросить не могли. И вот, через некоторое время, выйдя из лесу, где они проводили вторую ночь своей свободы, они увидели женщину, которая шла им навстречу. Им показалось, что она не похожа на француженку, в ее лице было что-то славянское. Они заговорили с ней по-русски; на их счастье, она оказалась полькой. Она купила им билеты; все вместе они сели в поезд и проехали в Париж. Оттуда они пешком дошли до «леска и горы» – и весть об их прибытии, конечно, мгновенно распространилась среди населения. Они прожили там еще несколько недель, потом Антон Васильевич отправил их в партизанский отряд, в котором сражались до августа месяца 1944 года.

Они бежали отовсюду – из Голландии, из Бельгии, из Эльзаса, с севера Франции, с юга, из центральных департаментов. Конечно, было бы ошибочно думать, что все советские пленные до одного действовали так. Это был отбор. Среди множества пленных не могло, конечно, не быть провокаторов, шпионов, негодяев и просто слабых людей, не выдержавших страшного испытания войной. Таких немцы старались использовать. Это была тоже одна из характерных черт последних лет европейской истории: Германия в этой войне, вне своих границ, могла рассчитывать только на поддержку предателей. В силу исторического парадокса, ее ставка была сделана именно на ту европейскую «гниль», против которой, якобы, была направлена вся борьба национал-социализма. Ставки всегда бывают либо выигрышными, либо проигрышными. Но, кажется, до сих пор ни одна из них не стоила так дорого.

Среди советских людей, с которыми мне пришлось встречаться во время немецкой оккупации в Париже, попадались, конечно, самые разные типы. Но те из них, которые обнаруживали чрезвычайную гибкость приспособления и которые не были до конца непримиримы к

немцам, автоматически отпадали от всех подпольных движений. В этих людях Антон Васильевич разбирался мгновенно и безошибочно. Он как-то сказал мне:

– С эмигрантами я могу сесть в калошу, черт их там разберет. Это другие люди, с иным прошлым, с иной психологией, они знают вещи, которых не знаю я: например, Европу, иностранные языки, еще другое. Тут я могу полагаться только на интуицию. Но с нашими, советскими...

Он сделал рукой жест – беспечный и небрежный одновременно. Я посмотрел на него и еще раз подумал, что этот человек действительно должен был пройти огонь, воду и медные трубы.

Он угадал мою мысль и улыбнулся, с неожиданной доверчивостью:

– Иначе нельзя работать.

О Европе у него действительно было неверное представление, от которого он упорно не хотел отказываться, – и для этого, конечно, были глубокие причины. Теперь, после того, как я встречался и подолгу говорил обо всем со многими советскими людьми, мне кажется, я себе представляю их довольно ясно. Это, коротко говоря, было то огромное, непроходимое различие, которое отделяет психологию гражданина Союза Республик от психологии любого гражданина любого другого государства. Но до того, как подойти к вопросу о Европе, Антон Васильевич столкнулся с вопросом о русских эмигрантах. О них у него было представление столь же смутное, сколь отрицательное. И все-таки что-то тянуло его к ним. – Русские же, черт возьми, люди, – сказал он мне, объясняя ход своих мыслей по этому поводу.

Несмотря на предостережения, в которых у него не было недостатка, он вошел в. контакт с эмигрантами. И именно тут его ждали сюрпризы. Справедливость требует отметить, что первый эмигрант, с которым он познакомился, был человек исключительный. Одна из его особенностей заключалась в том, что он внушал к себе мгновенное доверие; и тому, кто с ним впервые встречался, становилось ясно, что на этого человека можно положиться, что, не зная ни его имени, ни адреса, можно спокойно вручить ему миллион чужих денег и потом прийти через год и целиком получить все это обратно; что нельзя

отделаться от впечатления, что вы знакомы с ним много лет, хотя вы его только что увидели. Было еще очевидно, что он крайне доброжелателен, что он обладает спокойным и добродушным юмором. Особенно удивительны были его огромные полудетские глаза – на лице сорокалетнего мужчины. Если бы этот человек захотел воспользоваться своей бессознательной привлекательностью для отрицательных целей, он мог бы быть крайне опасен. Но о существовании отрицательных целей и о возможности к ним стремиться он знал, я думаю, только теоретически.

Встреча Антона Васильевича с Алексеем Петровичем – этого человека звали Алексей Петрович – произошла в небольшом гастрономическом магазине, где жена Алексея Петровича считалась хозяйкой. До 1942 года она была там служащей. Но затем немцы арестовали и увезли в Германию русскую еврейку, которой принадлежал магазин, и служащая осталась одна. Это было самое удивительное коммерческое предприятие, которое мне пришлось видеть за мою жизнь. Оно отличалось, во-первых, совершенно микроскопическими размерами, которые еще подчеркивались тем, что главное место в магазине занимали непропорционально огромные русские счеты. Во-вторых, там было чрезвычайно мало продуктов, а те, которые были, отличались какой-то обидной незначительностью: уксус в баночках, хрен, соленые огурцы, картофельный салат, несколько немаринованных рыб, какие-то удивительные, довольно большие, но скелетически худые и неконсервированные сардинки. Но самыми поразительными были разговоры с покупателями. – Я бы хотела фунт соленых огурцов, – говорила пятнадцатилетняя девочка, обращаясь к хозяйке. – Уж не знаю, что вам сказать, – отвечала та. – Огурцы-то я вам могу дать, но не советую: на этот раз привезли необыкновенную дрянь. Вы лучше поищите в других магазинах, а то что же? Просто денег жаль. – У вас, кажется, есть сыр, – говорил другой покупатель. – Можно мне полфунта? Хороший сыр? – Нет, сыр очень неважный, – говорила хозяйка. – Если хотите, возьмите – другого нет. Я сама вчера взяла, половину выбросила. Но, конечно, сейчас так трудно, что и это люди покупают. Сказать, однако, что он хороший, никак не могу.

В задней комнате этого магазина часто бывало по пятнадцать человек, которые обычно обсуждали чисто технические вопросы: кому отвезти туда-то оружие, кого послать за бежавшими пленными, чтобы привезти их в Париж, и т.д. И в одинаковой степени и хозяйка магазина, и ее муж, и посетители, толпившиеся в задней комнате, бесспорно, после короткого и формального допроса, заслуживали расстрела. Но, к счастью, гестапо туда не заглядывало. А вместе с тем, там днями лежал кожаный портфель, туго набитый револьверами, там были тюки и чемоданы штатского платья для переодевания бежавших военнопленных, там стояла пишущая машинка, которую должны были доставить на квартиру, где печаталась советская подпольная газета.

Именно туда попал однажды Антон Васильевич, которому сказали, что в этой лавочке – «патриоты». Он вступил в контакт с эмиграцией через Алексея Петровича. И вот в этой среде, о которой у него было самое отрицательное представление, он нашел несколько человек, готовых спокойно идти на любой риск; им можно было доверять до конца, и они делали всю работу с совершенным бескорыстием. Антон Васильевич спросил однажды Алексея Петровича о том, что тот думает о коммунистической партии. – Если бы я тебе сказал, что я коммунист, ты бы первый мне не поверил, – ответил Алексей Петрович. – Но мы оба с тобой хорошо знаем, что в данный момент речь идет о защите нашей родины против немцев. Какая она – коммунистическая или некоммунистическая, – на обсуждение этого вопроса мы времени сейчас терять не можем.

Потом он прибавил то, что говорил и мне несколько раз: – Я не считаю себя контрреволюционером, я не помещик, не капиталист и не эксплуататор. И если мне скажут, что завтра Россия победит и меня будут судить как контрреволюционера и врага народа, то, зная это, я все равно ни на минуту не изменю своего отношения к тому, что происходит. В меру моих сил я помогаю делу защиты родины и, что бы ни случилось, буду это продолжать. Что будет потом, это неважно. И что, в конце концов, значит моя личная судьба по сравнению с той огромной опасностью, которой подвергаются двести миллионов населения моей страны?

«Что значит моя личная судьба?..» – он должен был проверить на жестоком опыте эти слова несколько месяцев спустя, когда в маленьком провинциальном городе его допрашивали в гестапо, куда его привели и где ему было предъявлено страшное обвинение в том, что он советский агент.

Он был послан из Парижа в один из юго-восточных департаментов Франции с двойным поручением: сначала провести работу среди некоторых русских элементов в указанном городке, так как там могли оказаться люди, готовые вступить в партизанские отряды; затем, выполнив первую половину миссии, приехать в ту часть, которой командовал Антон Васильевич и которая уже вела войну против немцев. Он должен был постараться спасти тех советских людей, которые под угрозой смерти или расстрела поступили в немецкую армию. Но некоторые из них были сознательными предателями; заранее знать этого было нельзя.

Вместе с ним поехал его товарищ по кличке Мишель. Это был человек совершенно другого типа, немного чудаковатый, веселый, спортсмен, специалист по физкультуре и по борьбе джиу-джитсу – небольшого роста, чрезвычайно плотный и крепко сколоченный. Ни его личное мужество, ни то, что он был прекрасным товарищем, на которого можно было рассчитывать в любом положении, никогда не подвергались никаким сомнениям. Его патриотические взгляды были просты и прозрачны: надо воевать с немцами при любых обстоятельствах, остальное неважно. Единственное, что могло бы его остановить, это страх перед опасностью, но я думаю, что об этом чувстве он имел такое же теоретическое представление, как Алексей Петрович – о возможности использовать для зла свое личное очарование.

Алексей Петрович расстался с Мишелем в маленьком городе, где была их первая остановка. Мишель – с таким же точно заданием, как у Алексея Петровича, то есть сначала пропаганда, потом путешествие в партизанский отряд, – остался здесь, а Алексей Петрович поехал дальше, в другое место, за шестьдесят километров. Позже они должны были встретиться на дороге.

Алексей Петрович приехал в тот курортный городок, который составлял первую цель его путешествия, уже в сумерки, пообедал в ресторане, адрес которого ему еще в Париже был дан организацией, и впервые за много дней спал в настоящей кровати. На следующее утро он встретился с местным агентом организации Résistance[1], сербом огромного роста, много лет проработавшим в этом районе. То чувство одиночества, которое Алексей Петрович испытал вначале, теперь исчезло – в присутствии этого спокойного единомышленника. Серб обещал Алексею Петровичу устроить на следующее утро встречу с лейтенантом немецкой армии, русским, готовым перейти в партизанский отряд и привести с собой других. Но уже в этот первый день Алексей Петрович встретил в городе несколько человек, именно тех, которые могли бы перейти в партизаны и которые произвели на него отвратительное впечатление. Большинство были пьяные, один из них предложил Алексею Петровичу купить у него велосипед, явно краденный. Они расспрашивали его, откуда он; он коротко ответил, что приехал по своим коммерческим делам из Парижа.

Встреча с лейтенантом произошла на следующее утро. Это был человек лет 40–45, по-видимому, из казаков. У него было довольно приятное лицо, но таким оно казалось только в первую минуту, потому что через некоторое время нельзя было не заметить, несмотря на приветливую улыбку, жестокие его глаза и какую-то холодную свирепость в складках около рта.

Этот человек уже знал, что Алексей Петрович – официальный представитель организации советских военнопленных; вообще осведомленность его была подозрительно велика. С начала разговора Алексей Петрович был почти убежден, что имеет дело с провокатором. Это впечатление еще усилилось после того, как лейтенант снял с груди крест и поклялся, что он никогда не предаст «священного дела родины». Он обещал Алексею Петровичу перейти в партизанский отряд и привести с собой «людей». Свидание было назначено на следующий день. Но вечером того же дня, встретив на улице Алексея Петровича, лейтенант ему объяснил, что завтра не может быть, так как боится слежки. Алексей Петрович назначил свидание на после-

[1] Движение Сопротивления (*фр.*).

завтра, твердо решив уехать за день до этого и уже не сомневаясь ни минуты в провокации.

На следующее утро Алексея Петровича остановили несколько человек, среди них – русский эмигрант-переводчик, лицо которого он хорошо помнил, так как видел его в Париже много раз. Эмигрант этот тоже знал Алексея Петровича – где он живет, что делает и т.д. Эти люди настоятельно просили Алексея Петровича зайти к ним, поговорить по важному делу. Никакие его отговорки не подействовали. Фактически он шел под их конвоем – их было четверо, они все были вооружены. Алексей Петрович держал руку за бортом пиджака; один из его спутников, словно случайно, взял его за локоть и потянул: было очевидно – он хотел убедиться, нет ли у Алексея Петровича за пазухой револьвера. Но револьвера не было.

В комнате гостиницы, за столом, на котором тотчас же появились стаканы с вином, началась беседа, вернее, расспросы о Résistance, организации, способах снестись с ней и т.д. Констатировав, что у Алексея Петровича нет оружия, ему предложили браунинг, от которого он отказался.

Он был, конечно, слишком умен, чтобы формально себя скомпрометировать, на что рассчитывали его собеседники. Он сказал, что не имеет никакого отношения к какой бы то ни было организации и что оружие ему, мирному коммерсанту, не нужно. Единственное, в чем он может им помочь, это отношения с местным населением. Алексей Петрович был в отчаянном положении и прекрасно отдавал себе в этом отчет. Его несчастие заключалось в том, что он попал на провокатора, и это исправить было невозможно. Но в остальном он не сделал ни одной ошибки.

Через полтора часа разговор был кончен, они все вместе вышли из гостиницы. Но тут его попросили на минутку зайти к лейтенанту.

Они пересекли улицу и вошли в казарму.

– Налево, пожалуйста, – сказал Алексею Петровичу переводчик.

Он повернул налево, в коридор, и в ту же секунду почувствовал, что к его затылку приставлено дуло револьвера.

– Ни слова, гад, руки вверх.

Алексея Петровича мгновенно раздели и обыскали, выворотив все карманы и распоров подкладку костюма. – Жить тебе четверть часа осталось, – сказал один из них, держа в руках наведенный на Алексея Петровича автомат. – Марш вперед, ни одного слова и не поворачивай головы ни вправо, ни влево.

Снова прикосновение револьвера к затылку.

Его провели в небольшую конюшню и втолкнули туда. Первые минуты он задыхался от резкой вони. В углу стояла деревянная койка, на ней матрац, кишащий насекомыми.

Он оставался там, в полутьме, с сознанием, что все кончено. Он шагал по конюшне все время, не останавливаясь, множество отрывочных воспоминаний проходило перед ним. Он думал о том, какой опасности подвергаются теперь его друзья в Париже; он вспоминал парижскую улицу и магазин, где его ждала жена; потом, вдруг, он подумал о далеких временах, о береге моря, о тысяче вещей, которые существовали в его сознании и которые теперь были обречены на исчезновение так же, как он, и вместе с ним.

Но прогремел засов, отворилась дверь, и шесть человек вошли для допроса. Они хотели узнать, где его автомобиль. Они выкручивали ему уши и били его ногами. В руках одного из допрашивавших был ключ от чемодана Алексея Петровича – они думали, что это от автомобиля. Они потребовали от Алексея Петровича записку для хозяйки гостиницы с просьбой выдать чемодан – и ушли.

И вот ночь – последняя ночь его жизни, как он думал тогда.

Он боялся одного, как он говорил мне потом, – потерять человеческий облик и, не выдержав пытки, вести себя не так, как он считал нужным. Он выдернул из стены ржавый гвоздь и решил вскрыть себе вены в ту минуту, когда он почувствует, что силы его оставляют. Единственное желание, которое оставалось у него в эти часы, было – умереть так, как должен умереть русский человек в таких обстоятельствах, и ему хотелось бы еще, чтобы его товарищи знали, что он умер спокойно.

Он знал, что бежать или бороться он не мог. Его здоровье не позволяло ему этого, он давно, уже лет десять, страдал от хронической болезни почек, требовавшей хирургического вмешательства, которое он все откладывал. Раньше он откладывал это, так как думал, что обойдется, теперь оттого, что было не время.

Он заговорил с часовым – глубокой ночью. – Что, отсюда дорога – только на тот свет? – Да нет, – ответил часовой, – многие выходят. Вот если по политическому или Résistance, тогда конец.

В шесть часов утра его вывели из конюшни. Он шел по городу под двумя наведенными на него автоматами. Прохожие делали вид, что они его не замечают. Затем его посадили в грузовик, около шофера, и рядом с ним сел лейтенант. В дороге лейтенант начал уверять Алексея Петровича, что он не изменник, что он ни при чем и что, рискуя своей жизнью, он теперь попросился в караул, чтобы помочь Алексею Петровичу. Его намерения были ясны: он хотел, чтобы арестованный попытался бежать, и тогда он пристрелил бы его. – Я считаю вас таким же мерзавцем, как всех остальных, – холодно сказал Алексей Петрович. Его привезли в гестапо того самого города, где он расстался с Мишелем. Его мучила мысль – как предупредить этого товарища, которому грозила такая же опасность. Но сделать он ничего не мог.

Его начали допрашивать трое немцев, один из них – с бабьим лицом и бесцветными глазами. Допросу предшествовал беглый доклад русского переводчика-эмигранта. – Я отказываюсь от услуг русского переводчика, – сказал Алексей Петрович, – и прошу дать мне переводчика-француза. – Почему? – Потому, что я имею основание считать русского переводчика провокатором.

Немецкий офицер гестапо был удивлен, но согласился. Алексей Петрович посмотрел на дверь. У двери стоял лейтенант, который его арестовал. На его руке были часы Алексея Петровича.

И тогда в первый раз за все это время Алексей Петрович подумал, что его положение, быть может, не совершенно безнадежно. Весь план защиты мгновенно стал ему ясен. Когда он сказал мне это, я еще раз подумал,

что этот мирный и спокойный человек обладал исключительной силой воли и тем хладнокровием, которое характерно только для очень мужественных людей и которое не покидает их ни при каких обстоятельствах. Через минуту вошла миловидная девушка, немка, которая и служила переводчицей. Первый вопрос был о том, знает ли арестованный, в чем он обвиняется и почему он здесь. Алексей Петрович ответил, что не чувствует за собой никакой вины; он встретил соотечественников, служащих в немецкой армии, они заманили его к себе, избили, ограбили и, чтобы избавиться от него окончательно, выдумали какую-то неправдоподобную историю и привели его в гестапо.

Немецкий офицер с недоверием смотрел на грязного и небритого человека в изорванном костюме, который жаловался, что его ограбили. – Что же у вас взяли? – Пока что, – сказал Алексей Петрович, – я вижу на руке лейтенанта мои часы. Что же касается остального, то это нужно проверить.

И тогда лейтенант сделал то, что изменило весь ход допроса. Он сорвал часы с руки, бросил их в лицо Алексея Петровича и закричал: – Бери твои часы, гад, все равно не уйдешь, пристрелим!

Немецкий офицер начал кричать на лейтенанта, назвал его вором и спросил Алексея Петровича, сколько у него было денег. – Шесть тысяч, – сказал Алексей Петрович, – из них три были зашиты в брюках.

Лейтенант вынул свой бумажник, вынул оттуда семьсот пятьдесят франков, протянул их немецкому офицеру и сказал, что это все деньги, которые были найдены на арестованном. Но когда он открыл бумажник, Алексей Петрович заметил в нем два тысячных билета, сложенных много раз и не развернутых. Он попросил их ему передать. Потом он отвернул подкладку брюк, показал место, где они были зашиты, и вложил их туда: билеты точно, по размерам, подошли к этому внутреннему карману. Факт воровства был установлен. Немецкий офицер заявил, что русский изменник-лейтенант и его товарищи обвиняются в воровстве и будут арестованы. Они пришли в бешенство, начали кричать, что Алексей Петрович выдаст их Résis-

tance, что его нельзя отпускать. Немец выгнал их из залы. Русский переводчик стал, по словам Алексея Петровича, лепетать, что он, вообще говоря, только выполняет свой долг, что он ни при чем. – Я знаю, что говорю с мерзавцем, – сказал ему Алексей Петрович, – но постарайтесь, хоть теперь, держать себя хотя бы с минимальным достоинством.

Допрос продолжался еще несколько часов. Самое трудное было убедить женоподобного гестаписта, что версия Алексея Петровича соответствует действительности. Из того, что мне рассказывал Алексей Петрович, я понял одну вещь, о которой он не говорил, но которая мне казалась несомненной. Она касалась переводчицы, не имевшей отношения к гестапо. Мне нетрудно было себе представить, что обвиняемый этот высокий и спокойный человек с детскими глазами, не мог не произвести на нее впечатления. Оттого, что она не служила в гестапо, и оттого, что ей было двадцать пять – двадцать шесть лет, и оттого, что она была женщина, она испытала по отношению к Алексею Петровичу, по-видимому, какое-то непередаваемое человеческое чувство, и я думаю, что это его спасло.

Ему было объявлено, что его дело будет рассматриваться в парижском гестапо. В ожидании этого он должен был оставаться здесь, в распоряжении местных властей.

И, наконец, он вышел оттуда. Первое, что он сделал, он разыскал гостиницу, в которой остановился Мишель, и потребовал, чтобы хозяйка передала своему постояльцу категорический приказ немедленно покинуть город.

Затем он сам, благополучно пройдя заставу, вышел на дорогу и направился в отряд. На двадцатом километре его догнал Мишель, которого, к счастью, не успели арестовать. Через день они оба прибыли в лагерь, где их встретил Антон Васильевич, которого Алексей Петрович еще несколько часов тому назад не надеялся больше увидеть – никогда и ни при каких обстоятельствах, так как имел все основания думать, что ни времени, ни обстоятельств в его жизни больше не будет.

Лагерь был расположен в лесу. Кругом деревья, овраги, мокрые листья: все эти дни шел дождь. Палатки протекали. Помимо советских партизан, там было чет-

веро эмигрантов: один из них – бывший начальник Алексея Петровича по подпольной работе в Париже, затем сам Алексей Петрович и Мишель и, наконец, четвертый, Пьер, русский, окончивший французскую офицерскую школу, начальник штаба отряда, сносившийся, в частности, с командованием FFI.

Над штабными палатками легкий ветер раздувал русские и французские флаги. Вечерами партизаны собирались вместе и пели русские песни; и это было, в общем, экстерриториальное лесное пространство, затерянное на западе пленной Европы, какой-то, почти отвлеченный, кусок российской земли во время второй отечественной войны.

– Как вы бежали? – спрашивал я каждого советского пленного, которого встречал.

Они мне отвечали в нескольких словах, равнодушно-вежливым тоном, так, точно бы я их спросил: «Хорошо ли вы выспались?» или «Как вы пообедали?». Для каждого из них побег был настолько естественным и настолько простым, не требующим никакого размышления делом, что об этом явно не стоило говорить. – Ну вот, вышел я и пошел по дороге. – Куда же вы шли? – Да я слышал, что в Савойе есть французские партизаны. Я туда и шел.

И вот он шел, с запада Франции в Савойю, не зная, конечно, ни дороги, ни языка. Шел ночью – днем лежал в лесу или в канаве.

Этот человек до Савойи не дошел, он попал в партизанский отряд недалеко от Орлеана. Но если бы этого не случилось, он, конечно, добрался бы до Савойи.

Другому, который был шофером на немецком грузовике и возил оружие и гранаты, однажды вечером летнего дня на площади маленького французского городка сказал поляк-рабочий: – Что же ты все для немцев возишь? Ехал бы к нашим партизанам. Брось машину и иди к ним. – А где они?

Поляк ему объяснил, что партизаны в 60 километрах отсюда. – Вот пойдешь прямо по дороге, пройдешь

город такой-то, а потом первая дорога направо, а потом вторая налево, а потом прямо, а потом дойдешь до перекрестка, так прямо оттуда – полем до леса, а в лесу партизаны. – Ну, нет, брат, пешком я не пойду, – сказал шофер. Он завел мотор, сел за руль – и действительно поехал так, как ему сказал поляк, сначала – первая направо, а потом – вторая налево и т.д. – и так и въехал в лес и явился в партизанский штаб с немецким грузовиком, полным гранат, пулеметов и патронов. – У нас там говорили, что в Савойе есть партизаны. Мы направились приблизительно на юг. Мы немного знали по-немецки, нам один эльзасец объяснил, как идти.

Еще одного встретил старый крестьянин-француз. Было одно слово, которое они оба понимали: «maquis». Старик вел его пешком много дней, от одной фермы к другой, и довел, наконец, до штаба партизанского отряда.

– Вы прошли несколько сот километров, – сказал я одному из них, – как вас никто не задержал? – Мы были вдвоем с товарищем, – ответил он мне, – на нас были замасленные рабочие костюмы – мы оба механики – и немецкие шапки. Эти шапки нас и спасли. Немцы нас считали своими рабочими, которые идут из одного места в другое, французские жандармы принимали за немцев и ничего у нас не спрашивали. Так мы и дошли. – Что вы делали в отряде? – спросил я одного из партизан. Он пожал плечами и ответил: – Без языка никакой особенной работы не проделаешь. Так, занимался все больше транспортом.

И только позже от его французских товарищей я узнал, что это был за транспорт. Оказывается, местность, где стояла его часть, не подходила для сбрасывания с английских аэропланов оружия. Парашюты с оружием спускались в тридцати километрах оттуда, и это расстояние было изрезано многочисленными дорогами, которые охранялись немецкими войсками и где проходили транспортные колонны немецкой армии. Он ездил туда на грузовике и оттуда привозил гранаты, пулеметы, револьверы и т.д., то обгоняя, то встречая немецкие военные грузовики на своей дороге. Если бы ему сказали, что в этом был страшный риск, он не мог бы с этим не согласиться. Но из разговоров с ним нельзя было не сделать вывода, что на

обсуждение этого вопроса, именно степени риска и т.д., он, наверное, не потерял ни одной минуты.

В то время когда через Париж шли скрещивающиеся пути небольших партизанских групп или отдельных партизан, мне как-то не приходилось думать о том, что именно отличает этих людей от других и что их побуждает действовать с таким наивным и слепым героизмом. «Защита родины» – это были слова, за которыми могло скрываться очень различное содержание, – не в том смысле, что искренность патриотических побуждений вызывала какие-нибудь сомнения, а в другом – именно в огромном богатстве оттенков этого бесконечного, всеобъемлющего понятия. Я стал думать об этом только позже, после освобождения Парижа союзными войсками. До этого, вдобавок, некоторые эпизоды, случившиеся с одним из моих приятелей, заняли мое внимание на известное время и отвлекли его от обсуждения этих вопросов. Тому, что эти эпизоды могли возникнуть, мой приятель был обязан удивительному простодушию Алексея Петровича.

Их связывали длительное знакомство, прекрасные личные отношения и общность взглядов на многие существенные вещи. Но понятие Алексея Петровича о «патриотическом долге русского человека», как он говорил, было проникнуто постоянным динамизмом, который мне казался в нем удивительным и, в сущности, почти непонятным. Это свое понятие он бессознательно и автоматически переносил на других людей. Его рассуждения по этому поводу сводились, приблизительно, к следующему: – Если обращусь к такому-то с просьбой сделать такую-то вещь, которая, несомненно, полезна для нашей общей цели, то есть борьбы против немцев, и если тот, к кому я обращаюсь, сравнительно порядочный, человек, то, конечно, он так же не может от этого отказаться, как не мог бы отказаться и я на его месте. Стало быть, спрашивать его об этом заранее – потеря времени.

И, конечно, в тот вечер, когда к Алексею Петровичу пришел мой приятель и застал там Антона Васильевича, он меньше всего мог предвидеть, что ему предложат при-

нять участие в составлении подпольной газеты, которая предназначалась для распространения среди советских пленных, находившихся в немецких лагерях. Было очевидно, что в тех условиях, в которых был поставлен этот вопрос, мой друг не мог отказаться, в частности, потому, что не считал возможным обмануть доверие человека, который ежедневно рисковал своей жизнью. Они сговорились о свидании, и на следующее утро, в назначенный час, на станции метро он увидел Антона Васильевича, который прошел мимо того места, где стоял мой приятель, не обратив на него ни малейшего внимания и явно его не заметив. Моему другу эта предосторожность казалась лишней, но он не мог не оценить того, что на профессиональном языке называется «чистотой работы»: у Антона Васильевич был такой идеально отвлеченный, такой буржуазно-деловой вид, который сделал бы честь любому актеру. Они доехали до одной из станций недалеко от Chatelet, прошли некоторое расстояние по узким улицам – мой друг следовал за Антоном Васильевичем на расстоянии двадцати шагов – и, наконец, поднялись на пятый этаж очень старого дома, где в маленькой и бедной квартирке помещалась редакция этой подпольной газеты. Квартира принадлежала трем сестрам-старушкам, до удивительности похожим одна на другую; мой друг сказал мне, что им всем, вместе взятым, было больше, чем двести пятьдесят лет – четверть тысячелетия. Быть может, они помнили еще Парижскую Коммуну, идеям которой остались верны с тех пор, и никакие события, никакие невероятные потрясения всего мира не могли поколебать их прозрачной уверенности все в тех же, теперь уже, по-видимому, навсегда установившихся убеждениях. – Я помню, – сказал мне мой приятель, – как странно звучали эти слова, которые они произносили: «пролетариат», «революция», «рабочий класс». – В этой квартире их присутствие вызывало мысль о том, что здесь, рядом с ними, живет призрак революционной вечности. Мой приятель смотрел на них, и в его памяти вставали наряду с диккенсовскими персонажами страницы предисловия к «Капиталу» и те строчки, которые он запомнил с давних времен: «история каждой общественной формации есть история классовой борьбы», «та экономическая база, над которой воз-

выпается юридическая надстройка» и т.д. Может быть, его старушки не знали ни цитат из Маркса, ни Эрфуртской программы, ни – наверное – теории прибавочной стоимости. Но атмосферу этого, давно потерявшегося во времени, начала они сохранили такой, какой она была, и пронесли ее неизменно сквозь эти десятки и десятки лет. Давно, вероятно, не осталось в живых никого, кто вместе с ними когда-то говорил о пролетариате и рабочем классе. Давно умерли и были забыты враги, против которых они когда-то вели революционную борьбу, и теперь уже никто не помнил их имен; давно исчез тот мир, в котором они начали свою жизнь, и от него ничего не осталось, а они все здесь – и только дом, этот старый и мрачный дом, не знающий солнца, был таким же, как теперь, когда они в нем поселились, и будет таким же, как теперь, когда они умрут. Потому что, к сожалению, они все-таки умрут, как умерли царь Соломон и Александр Македонский и как умерли современники старушек – Бисмарк и Тьер.

В этой квартире жил молодой человек Сергей, бывший советский студент и офицер Красной Армии, сотрудник газеты, окруженный листами бумаги, множеством карандашей и вырезками разных статей. Вместе с моим приятелем они составляли очередной номер газеты и разбирали обильный материал. В нем преобладало то, что на журнальном жаргоне называется «письма с мест». Их доставляли самыми невероятными способами – в носке, в ботинке, во рту, под шапкой. Там описывались условия жизни в немецких лагерях, там были доклады людей, которым была поручена определенная работа, обсуждались возможности побега и т.д. Сережа вел отдел «Жизнь в СССР» и аккуратно записывал военные сообщения, ежедневно слушая московское радио: аппарат радио стоял у окна. Мой товарищ узнал потом, что редакция перебралась в эту квартиру недавно, после того, как в предыдущее помещение неожиданно явилось гестапо и арестовало одного из главных сотрудников. Никто потом не узнал о его судьбе – он исчез совершенно бесследно. На этой квартире, к счастью, все прошло благополучно: счастливая звезда старушек, сквозь миллионы световых и сотни обыкновенных лет, не изменила им до конца немецкой оккупации.

Впрочем, через несколько месяцев, незадолго до десанта союзников, редакция была переведена в один из восточных районов Франции, и Сережа уехал туда, увозя с собой все, что составляло собственность и обстановку редакции и что легко помещалось в одном чемодане, то есть несколько карандашей, листы бумаги и пишущую машинку моего приятеля.

Редакцию – для ее сношения с внешним миром (потому что Сережа почти не выходил из этой квартиры) – обслуживали разные люди. Среди них было несколько женщин, которые играли в этом важную роль. Главная сотрудница, итальянка по национальности, полезная, в частности, потому, что она свободно говорила по-французски и по-русски, делала совершенно отчаянные вещи: скрывала на своей квартире сразу по несколько человек, сопровождала их во время их перемещений по Парижу и в провинции, возила оружие и вообще жила все время на той зыбкой и неверной границе, которая отделяла жизнь от смерти. Она была коммунисткой, не знаю, какой именно партии – русской, итальянской или французской. Но, как и во многих других случаях, ее коммунизм был, конечно, поверхностным оправданием такого рода деятельности, и нельзя было бы сказать, что она ежедневно рисковала быть арестованной гестапо, потому что она верила в догматическую непогрешимость «диалектического метода» или «исторического материализма». То есть, может быть и даже наверное, она в это верила, не обсуждая этого, полагая, что те, кто стоит наверху, там, в каких-то недостижимых, почти небесных московских сферах, знают лучше, чем она, где находится революционное добро и революционное зло. Но одного этого было бы недостаточно. Самое важное было то, что она чувствовала свою полезность для общего дела и знала: она не просто такая-то, а связистка, и от ее поведения зависят в каждом отдельном случае десятки человеческих жизней. И вот это сознание, я думаю, своей косвенной власти над человеческими жизнями заставляло ее проделывать ежедневные чудеса самоотвержения и храбрости, достойные самых высоких похвал. И, в конце концов, не все ли равно, почему она это делала? Не все ли равно было – в другом случае: одна жен-

щина, некрасивая, дурно пахнущая, чьей добродетели, я думаю, никогда не угрожала никакая опасность и которая кончила бы свою жизнь фабричной работницей, потерянной в анонимной толпе таких же работниц или уборщиц, что эта женщина теперь, в результате небывалого исторического катаклизма, который вызвал ее из мрачного и безысходного небытия, вела такую же страшную работу и могла сказать молодому советскому парнишке со скуластой физиономией и далекими синими глазами – товарищ, иди за мной; не все ли равно, почему она это делала? Она поступала так потому, что без этого она не имела никакого raison d'être[1] и ее существование было никому не нужно. Но в итоге этого сложного комплекса, как следствие такого героизма, проявленного для того, чтобы спасти свою жизнь от безвыходной ничтожности, выполнялись важные поручения, сформировывались партизанские отряды – и стволы еще нескольких пулеметов возникали на дорогах, по которым следовали немецкие транспортные колонны; еще несколько поездов, груженных снарядами, сходили с рельсов и взрывались. Еще несколько десятков или сотен немецких солдат, трупы которых лежали на этих дорогах или у этих насыпей, навсегда лишались возможности причинить какой-либо вред – в России, или во Франции, или вообще где бы то ни было. И по сравнению с этими значительными результатами все остальное было неважно, и менее всего были важны причины, которые заставляли людей действовать так, чтобы эти результаты оказывались возможны и достижимы.

Я подолгу разговаривал с советскими партизанами обо всем, что приходило в голову; и нельзя было не заметить той огромной, непроходимой разницы, которая существует между системой их понятий и тем, что можно было бы назвать среднеевропейскими социальными и экономическими концепциями. Они не могли понять, как кафе или магазин могут принадлежать какому-то частному человеку, как электричество или газ могут не быть собственностью государства, как вообще возможна та экономическая анархия, которая, по их мнению, была особенно характерна для Европы, и в частности для Франции. То

---

[1] смысла существования (*фр.*).

понятие собственности, на котором основана экономическая система Европы и вообще всего мира, за исключением России, им было совершенно чуждо во всех его бесчисленных проявлениях. Между русскими и европейскими понятиями всегда существовала разница и всегда были недоразумения, происходившие от того, что одна и та же фраза, составленная из одинаковых слов и абсолютно точно переведенная с любого европейского языка на русский, значила уже другое, так как содержание, вложенное в эти слова, было одним в Европе и иным в России. Так было всегда, даже в те времена, когда в России существовало то хрупкое подобие капитализма, которое так мгновенно рухнуло в 1917 году. Теперь же это расстояние стало еще больше. Мне вспоминается очень характерный пример московского комсомольца, который пробыл шесть месяцев в Париже, – кажется, за год до войны. Он был прислан сюда для усовершенствования – не помню, в какой именно области. Когда он уезжал, один мой знакомый спросил его, как ему понравилась Франция. – Ничего, – сказал комсомолец, – жаль, что свободы нет. – Мой знакомый был поражен. Как? Во Франции нет свободы? Но комсомолец упорно стоял на своем: да, во Франции нет свободы. Он, по словам моего знакомого, не сумел как следует объяснить, что, собственно, он хотел сказать. Действительно, все, что он говорил – в передаче моего знакомого, – звучало довольно сбивчиво. Все доводы о том, что в Париже можно издавать или покупать любую газету – анархическую, монархическую, коммунистическую, капиталистическую, – можно основывать любые политические партии, обвинять правительство в чем угодно, писать и печатать книги любого содержания, все это совершенно не подействовало на комсомольца. – А свободы все-таки нет!

И вот тогда, сопоставляя отрывки разных фраз комсомольца, которые мне приводил мой знакомый, я понял, в чем дело. Он говорил об экономической свободе и имел в виду тот факт, что во Франции, в этом смысле, ничего нельзя изменить. Какой-то трест продает свои товары плохого качества по высокой цене; население вынуждено их покупать, и никто этого изменить не может. В каком-то огромном предприятии, частном или полугосударствен-

ном, где работают десятки тысяч людей, царят несправедливость и эксплуатация; этого тоже изменить нельзя. Вы знаете, что такие-то коммерсанты, или фабриканты, или предприниматели вас обкрадывают – вы ничего не можете против этого сделать. Вообще это было полное неприятие и полное отрицание капиталистической системы. И то, что рассуждения комсомольца были сбивчивы, объяснялось просто разницей между его понятиями и теми европейскими понятиями, которые не могли не казаться ему чуждыми и дикими, – как обычаи какого-то совершенно неизвестного народа.

Они все выросли и воспитались в таких условиях, о которых Европа не имеет представления. Они не знают, что такое государственная монополия, потому что в России ничего вне государственной монополии не существует; они не знают, что такое стремление к личному обогащению, потому что в России этого нет; они не знают, что такое частная коммерческая деятельность или конкуренция, они не представляют себе, что какой-либо секрет производства, или новое изобретение, или усовершенствование могут храниться в тайне или – если это идет в ущерб интересам какого-то предприятия – даже просто уничтожаться, потому что в России всякое новое изобретение или усовершенствование немедленно сообщается на все заводы той промышленности, к которой оно относится, так как там нет борьбы частновладельческих интересов. Им даже не приходит в голову мысль о возможности сравнения с Европой – настолько все это им чуждо.

И в бытовых понятиях – снова такая же разница; эти наглухо закрытые квартиры, куда можно приходить только по приглашению, эти бесконечные обязательства личного порядка, эта замкнутость в других, эта неловкость – которой они часто не замечают – от того, что человек без предупреждения пришел обедать или завтракать. Им так же непонятны привязанность к вещам или книгам, ценность тех или иных предметов. Им представляется абсолютно непостижимой французская расчетливость, например, или строго выработанный ежемесячный бюджет, особенно если он оставляет еще какие-то неиспользованные возможности; они склонны это считать одним

из видов сумасшествия. Нежелание покинуть свой город или свою квартиру; когда им рассказывают о парижских безработных, которые отказываются ехать в провинцию, они пожимают плечами и говорят, что таких людей нужно было бы лечить.

У них нет быта. Личная жизнь – со всем тем, что есть в этом понятии отрицательного и положительного, ее ограниченность и узость в одних случаях, ее тяжелое очарование – в других, – у них не играет никакой роли в бытовом смысле. – Я кончил институт в Москве; оттуда меня послали во Владивосток, где я прожил четыре года. Из Владивостока меня перевели в Ташкент. – Девяносто девять процентов европейцев за всю свою жизнь не проезжают одной десятой того расстояния, которое этот молодой человек проделал за пять лет.

И вот, после таких разговоров с этими людьми, невольно начинаешь себе представлять этот огромный российский континент, в глубинах которого захлебнулось столько нашествий и пространство которого погубило несколько государств. В Париже это представление возникало у меня с меньшей живостью, чем в провинции; я случайно попал в маленький городок одного из центральных департаментов Франции и провел много времени в казарме, отведенной советским партизанам – их было около ста человек – под командой капитана Васильева. Там сильнее всего я почувствовал российскую экстерриториальность.

Во французской казарме, которая была отведена этим советским партизанам, мне бросилась в глаза прежде всего исключительная чистота. Сами партизаны, впрочем, тоже ходили в блестящих от ежедневной чистки сапогах и аккуратно пригнанных костюмах, а начальник их штаба отличался такой декоративной великолепностью, что на улице все оборачивались. Капитан Васильев – небольшой человек с очень добродушным лицом, решительным выражением глаз и взъерошенными волосами – поддерживал строжайшую дисциплину, отличавшуюся, впрочем, некоторыми удивительными для меня особенностями. Когда я сидел в его комнате, раздался стук, он сказал: – Войдите! – и вошел один из его солдат, вернув-

шийся из отпуска в город. Он взял под козырек и, вытянувшись так, что у него вот-вот, казалось, лопнут от напряжения сухожилия, докладывал о том, что он был в городе, выполнил какое-то поручение и вот прибыл в казарму, о чем и докладывает. Капитан Васильев строго его слушал и изредка говорил свирепо-решительным голосом: – Хорошо, хорошо! – Потом, когда тот кончил, он вдруг, без всякого перехода, сказал совершенно иным тоном – со стороны было впечатление, что это говорит какой-то другой человек: – Ну, садись, Саша. Хочешь стаканчик вина? – Не откажусь, Володя, за твое здоровье;

Но когда через четверть часа выяснилось, что этот солдат как-то не так поступил, как было нужно, капитан закричал: – Я вас научу, как нужно действовать!

И тот сейчас же вскочил и снова вытянулся – и стоял так, пока инцидент не был исчерпан. После этого он снова сел и заговорил ленивым голосом: – Иду это я, Володя, по городу, можешь себе представить...

У них вообще удивительные голоса, я это давно заметил. Не то чтобы они были мелодичны, но у них какая-то другая тональность, по которой их можно сразу отличить от всех. Я много раз слушал эти голоса с закрытыми глазами; они обычно бывают выразительны, и в них слышится какая-то особенная, только им свойственная звуковая смесь, смесь небрежности и размашистости, лени и решительности. И в этих голосах, и в этих движениях трудно не увидеть какие-то отблески юности человечества и, пожалуй, близости к природе. Когда не нужно действовать, этот человек будет лежать с мертвой, непонятной неподвижностью; когда это будет необходимо, он же способен передвигаться с непостижимой быстротой. На Западе такая физическая, телесная выразительность – которую я наблюдал почти в каждом советском партизане – характерна только для спортсменов. Я помню одного советского пленного, которого я видел в лагере возле Парижа, видел, как он шел сначала в один барак, потом в другой, потом проходил сквозь толпу, потом, наконец, скрылся. Я не отрываясь следил за его движениями. Это был человек лет 25–28, с немного бабьим лицом и длинным разрезом глаз, с несколько широким задом. Выражение его глаз

было ленивое и холодное. Но меня больше всего поразила его походка; он шел как-то вкось, как волк, и в каждом его движении чувствовалась удивительная физическая гармония. Казалось, он был готов ко всему: в любую секунду он мог бы скрыться с необыкновенной быстротой своим волчьим бесшумным бегом или же с такой же безошибочной стремительностью вцепиться мертвой хваткой в чье-нибудь горло. Я ничего не знаю об этом человеке: может быть, это мирный колхозник, робкий и трудолюбивый рабочий. Но впечатление, именно физическое впечатление, которое он производил, было неизгладимо.

В городе, где стояла часть капитана Васильева, все знали советских партизан, в частности, потому, что они дрались с немцами именно в этом районе. Все они были в разных французских отрядах, и некоторые из них, вроде парашютиста Коли, двадцатилетнего белокурого юноши с серыми глазами, командовали небольшими соединениями FFI, несмотря на незнание французского языка. Коля объяснял жестами, что нужно делать, в каком направлении идти, и говорил о своих подчиненных с сожалением, что они необстрелянные. Конечно, после партизанской войны в России эти молодые люди, отчаянные, но неопытные, должны были ему казаться плохими солдатами. – Стрелять-то нетрудно, – объяснял он, – а ты пойми – куда и когда, вот что.

Партизаны тоже давно и хорошо знали город, у многих из них были здесь – как бы это сказать? – постоянные знакомства, тем более трогательные, чем более они лишены были возможности сколько-нибудь обстоятельных объяснений из-за взаимного незнания языка. Одним словом, они стояли здесь так, как стояли бы гарнизоном в каком-нибудь маленьком русском городке. Они ходили в кинематограф и в театр и посещали концерты. Один из них, огромный мужчина с хриплым голосом, жаловался как-то, что пошел в театр, заплатил семьдесят пять франков и ушел в середине представления, которое ему не понравилось. – Что ж, пьеса была плохая, что ли?

Он пренебрежительно пожал своими широкими плечами и передразнил актеров: снимая шапку, кланялся, говоря с непередаваемым густороссийским акцентом «бан-

жур, мадам, банжур, мусье». – Неинтересно. – А как называется пьеса?

Этого он не знал и не придавал этому значения. – Может быть, вам было скучно, потому что вы по-французски плохо понимаете? – Да нет, – сказал он, – хорошая пьеса, она на любом языке хороша, хоть по-испански. А то видно, что пьеса просто плохая.

Я полюбопытствовал узнать все-таки, что это было. Это оказалась «Андромаха». Девушки – которых там было шесть – жаловались, что фильмы им не нравятся: – У нас фильм – он душу затрагивает, а здесь неинтересно. Все тут казалось им чуждо. Это было понятно: действительно, между жизнью в России и той жизнью, которую они видели здесь, не было никаких точек соприкосновения, не оставалось даже возможности сколько-нибудь близкого сопоставления. Японцы надевают иголку на нитку и садятся на лошадь с правой стороны – и нам это кажется непостижимым. И, в каком-то смысле, советские люди так же далеки от европейцев, как японцы.

Я несколько раз разговаривал с капитаном Васильевым. Он, в частности, говорил на хорошем русском языке, это редко среди советских людей, особенно южан. – Из каких вы мест, Владимир Владимирович? – Оказалось, что он из Калининской области.

Он рассказывал о плене, об ужасном голоде, который там царил, о том, как люди ежедневно умирали сотнями в лагере, о длинных переходах пешком, на которых немцы пристреливали всех, кто от слабости не мог поспевать за другими и начинал отставать. После таких рассказов становилась понятна страшная, нечеловеческая ненависть советских людей к немцам, которая признавала – по отношению к ним – только одно слово и только одну участь: смерть. – Были мы в лагере, в Австрии, – рассказывал Владимир Владимирович, – гоняли нас на работы, землю копать – за два километра приблизительно. И вот заметил я там – репа растет. Поздно вечером я выбрался, пошел на это поле, добрался до первой репы и стал тянуть. Она, проклятая, прочно сидит, не вытащишь, да и сил было мало, ослабел от голода. Но решил все равно: умру, а вытащу. И вдруг вижу: стоит надо мной человек с палкой и замах-

нулся, чтобы ударить. Но мне уже было все равно. Я так думал: достать репу или умереть. Палка опустилась со свистом один раз, потом другой – но не по мне. И вот чувствую, что репа поддается. Это был австрийский крестьянин – они так репу из земли вынимают, палками. Он меня-то, оказывается, пожалел, дал мне репу вытащить, потом ушел и ни слова не сказал.

Я представил себе этот поздний вечер в Австрии, и Владимира Владимировича, который был готов умереть за репу, и то, сколько было людей, доведенных до такого состояния. И вот, через некоторое время, эти люди оказались на свободе, в оккупированных немцами странах, и сражались с оружием в руках. Немцы поняли тогда, что им не ждать жалости от этих людей, которых и сами они не жалели. Эти люди так неискоренимо и яростно ненавидели немцев, что уничтожение немецких солдат и офицеров представлялось им единственной целью жизни. Может быть, именно поэтому я никогда не слышал, чтобы кто-то из них гордился своими военными подвигами. Нет, им казалось, каждому из них, что сделал он слишком мало. – Мы найдем их на дне морском, – повторял Владимир Владимирович. – На другом конце света, под землей, у черта, у дьявола. Всюду найдем. Им от нас не уйти.

И следом переходил к более мирным воспоминаниям о том далеком времени, когда работал учителем где-то под Калинином и в свободное время ловил рыбу. – Удили рыбу, Владимир Владимирович? Нет, он не удил, он предпочитал бить ее острогой. – Скользишь ночью на лодке, вода черным-черная, а на носу лодки факел горит. Рыбка-то, небось, и думает: какого черта ночью солнце светит? Владимир Владимирович прикрывал глаза, вглядываясь в памятное прошлое. Вот он стоит возле факела на носу с острогой в руке, и стоит подняться рыбе на поверхность, как он р-раз ее острогой. И все выходило хорошо и благополучно – до тех пор, пока однажды, в особенно беззвездную летнюю ночь, он не увидел на поверхности воды крылатого дьявола. – Кого это, Владимир Владимирович? – Крылатого дьявола, – сказал он, – таким он мне показался.

И он рассказал, что в нескольких метрах от лодки, в дрожащем свете факела по черной поверхности реки, он

видел, как то появлялись, то скрывались птичья голова и распростертые крылья. – Вынырнет и исчезнет, вынырнет и исчезнет, – сказал он. – У меня даже дух захватило.

Владимир Владимирович вспомнил, как в детстве ему рассказывали о чертях и водяных. – Но я решил – дьявол, не дьявол, все равно я его на острогу. И когда он совсем приблизился к этому непонятному речному дьяволу, то бросил в него острогу. И после долгой возни он вытащил его на поверхность. – Что же это оказалось? – Огромная щука, – сказал Владимир Владимирович.

И он объяснил, что в спину щуке вцепился когтями небольшой степной орел. Огромная рыба, нырнув в глубину, увлекла за собой птицу, и орел захлебнулся и умер под водой. Но когти его вонзились так глубоко в щуку, что она не могла от него избавиться – и так они и плыли вдвоем по ночной русской реке этим загадочным крылатым и черным дьяволом до тех пор, пока острога Владимира Владимировича не положила конец их удивительному путешествию.

Вся казарма жила по расписанию, установленному Владимиром Владимировичем. В определенные дни полагалось, что от шести до восьми часов вечера должна происходить спевка хора. В хоре участвовали почти все, – и действительно, от шести до восьми все пели; в пять минут девятого в казарме воцарялось безмолвие. В тот день, когда Владимир Владимирович рассказывал мне о своей рыбной ловле, я присутствовал вечером на этой спевке. Пели они, как вообще поют русские, и несмотря на то, что во всем хоре было только три-четыре хороших голоса, все получалось, в общем, неплохо. Кроме того, два неразлучных приятеля – один из них был регентом хора – спели, по указанию Владимира Владимировича, две песенки. Первую они пели дуэтом – это была блатная советская песенка, излагавшая параллельные биографии двух советских бандитов. В тексте так и было сказано: «Мы не троцкисты, мы не фашисты, мы советские бандиты». Один начинал куплет – другой его заканчивал. Они пели с таким голосовым и мимическим искусством, что этот номер, конечно, мог бы войти в программу любого мюзик-холла. Потом один из них спел нечто вроде советской серенады, обра-

щенной к Софье Николаевне; серенады, характерной необыкновенным богатством оттенков и вообще представляющей собой несомненный сценический шедевр, по крайней мере, в исполнении этого «приятеля».

Потом были танцы. Тот самый громадный мужчина, которому не понравилась «Андромаха» и у которого были медвежьи движения, танцевал не хуже любого профессионала. Его партнершей была советская девушка; у той просто был несомненный и исключительный природный дар. По ритмической точности движений, по мгновенно схваченной выразительности и чистоте каждого па это было нечто исключительное. – Где вы этому научились? – спросил я. – У нас в городе просто так танцевала, – сказала она. Я полюбопытствовал – в каком городе. Оказалось, где-то на Волыни, в далекой и глухой провинции.

Но самые неожиданные впечатления – и самые сильные – были еще впереди. На следующий день, когда я сидел в отделении девушек и расспрашивал их, откуда они, как они попали во Францию, как они бежали из плена, одна из них, Мария, собралась рассказывать о том, как немцы сожгли их село и как ее увезли в Германию. Я много раз слышал такие рассказы, всегда похожие один на другой, как все рассказы о войне. Восприятие слушателя обычно скоро притупляется от таких вещей, и все эти рассказы не производят того впечатления, на которое можно было бы рассчитывать. Огромное большинство людей могут рассказывать самые трагические, самые страшные или самые интересные вещи так, что их чрезвычайно скучно слушать и, помимо чисто человеческого сочувствия, они не вызывают никаких других эмоций. Самые потрясающие факты можно изложить так, что от них ничего не останется. Все, кто слышал рассказы об эпизодах войны, например, хорошо знают это. В таких случаях мне обыкновенно становилось жалко того, кто рассказывал, потому что эти страшные события, потрясшие его на всю жизнь, в его изложении получались бледны и неубедительны и не вызывали того исступленного сочувствия, которое должны были бы вызвать. Я приготовился с этим, давно мне знакомым, чувством сожаления, симпатии и неловкости слушать то, что будет говорить Мария.

Но с первых же звуков ее удивительного голоса я забыл обо всем, что происходило вокруг меня. Это было нечто похожее на трагическое волшебство – голосовое и фонетическое одновременно. Таким голосом, конечно, можно было рассказывать все, что угодно, и все было бы интересно. Я закрывал время от времени глаза, чтобы яснее слышать эти необыкновенные и медлительные смещения интонаций, этот печальный звуковой поток, струившийся в темноте. Кроме этого, весь рассказ Марии, построенный с искусством столь же бессознательным, сколь непогрешимым, основывался на том, что она описывала не то, что происходило; вернее, на этом она почти не останавливалась, – а некоторые особенно запомнившиеся ей подробности. Ни разу в моей жизни я не сталкивался с таким поразительным, с таким совершенным искусством. Она была из Минской области и говорила на не очень правильном русском языке; но это не имело никакого значения. Рассказ ее, я думаю, мог вызвать слезы у самого бесчувственного человека. Я никогда не взялся бы его передать; думаю, что даже стенографическая запись его не могла бы дать о нем нужного представления. Я запомнил из него лишь несколько фраз.

Она рассказывала, как немцы сожгли их село и она успела убежать со своим маленьким братом. Через три дня, ведя его за руку, она вернулась туда, чтобы еще раз увидеть место, где она родилась и выросла. – Пришли мы с братишкой моим вдвоем туда, – говорила она, – все пусто, страшно и черно, стоят одни обгорелые стены, и кругом такая мертвая тишина: только летний ветер дует и несет запах последнего дыма. Вот и кончилась наша жизнь. Столько лет строили, думали, любили – ив три дня нет ничего, кроме пожарища. Подошла я к месту, где наш дом стоял, и почему-то у меня в руке оказался кусок мела. И, сама не знаю зачем, я написала поперек черного языка, который оставил на стене огонь, эти слова: «Все было родное и знакомое, стало чужое и неузнаваемое». Зачем я это написала, сама до сих пор не знаю. Потом вижу, собака бежит, я ее знала, соседская. Собаки тоже тогда поразбежались, как люди, и есть им было нечего. Бежит она, и вижу, что-то в зубах держит, а подойти боится, успела одичать. Только приблизилась я и увидела, что она полтру-

пика детского в зубах несет. Нашла, наверное, половину съела, а половину бежит закапывать: голод был у людей, голод был у собак.

Где она могла научиться своему необыкновенному искусству, эта простая деревенская девушка, кто ей объяснил, как нужно рассказывать? Это был огромный, природный дар, и, конечно, лучшему актеру оставалось бы только преклониться перед ней. Я помню ее интонацию, от которой, действительно, начиналась физическая боль в сердце, когда она рассказывала, как уводили на ее глазах ее школьную подругу, еврейку, на расстрел – за то, что она еврейка, – как они стояли вдвоем с подругой и как эта девушка крикнула: – Прощайте, девочки! – Это «Прощайте, девочки!» до сих пор звенит в моих ушах, и я уверен, что никогда и нигде не забуду этого звука. Потом она сказала: – Ну, что же вы хотите? Этого им простить нельзя. – И от этих слов я почувствовал холод по спине, от страшной, шекспировской силы ее выражения. Я ушел оттуда в тот вечер совершенно разбитый; и, шагая ночью по пустынным улицам французского города, я впервые ощутил, что с ее рассказом на меня как будто обрушилась огромная тяжесть всех этих тысяч и тысяч непоправимых человеческих трагедий, жертвой которых стала моя родина. И я видел с такой ясностью, как никогда до тех пор, эти сожженные города и деревни, эти десятки тысяч русских трупов, этих голодных псов, питающихся мертвыми телами, и ту неизмеримую тень возмездия, которая в грохоте танков и орудий, в пыли, в пожаре и в снегу – так неудержимо движется на Германию.

В том же городе я узнал еще об одном эпизоде партизанской войны. Человек, который был его героем и который упорно молчал всякий раз, когда речь заходила о его личном и непосредственном участии в войне, отличался, как и большинство организаторов этого движения, непоколебимым упорством. Он был русский, давно живущий во Франции – со времен прибытия русского экспедиционного корпуса в прошлую войну. В 1939 году он поступил добровольцем во французскую армию, был взят в плен 17 июня

1940 года; бежал 6 ноября этого же года и, вернувшись во Францию, немедленно начал организацию террористических групп. С 1942 года он стал заниматься обычными партизанскими операциями, требующими тщательной подготовки и сопровождающимися невероятным риском. Он портил электрические установки для токов высокого напряжения и трансформаторы плотины; взрывы следовали за взрывами, и в это же время его группа устраивала засады и атаковала немцев на дорогах. Все это происходило в чрезвычайно важном для немцев районе, где находилась огромная электрическая станция, которая обслуживала железнодорожные линии, идущие к Парижу и на юго-запад, одновременно с фабриками, выполнявшими немецкие заказы.

В июне 1944 года он командовал отрядом в 245 человек, из которых 27 были советские партизаны. Советские пленные работали на плотине, занятой немцами. Он находился с ними в постоянном контакте и благодаря этому получал множество полезных сведений. Они предупреждали его о всех перемещениях немцев, об ожидаемом прибытии военного снаряжения или подкреплений. И всякий раз, когда предупреждение прибывало вовремя, партизаны атаковали немцев на дорогах.

Но для того, чтобы сноситься с советскими пленными, снабжать их пищей и получать от них необходимые сведения, он организовал с ними связь не совсем обыкновенным образом. Madame S., француженка, о которой он отзывался в самых лестных выражениях, отправлялась каждый день в лес, находившийся рядом с лагерем, – с большой корзиной, нагруженной едой для советских, – чтобы собирать хворост. Она передавала пленным провизию и получала от них подробную корреспонденцию. Но однажды немцы проследили за советским пленным, вошедшим в лес. К счастью, madame S. успела спрятать провизию, и когда немцы подошли к ней, они увидели женщину, мирно собиравшую хворост. Под дулом немецкого ружья она заявила, что ходит в лес именно для этого. Я полагаю, она отличалась исключительным самообладанием, потому что говорила совершенно спокойным тоном, как женщина, которая явно ни при чем, и это было настолько убедительно, что немцы ее не тронули.

Начальник партизанского отряда, знавший заранее о дне высадки союзного десанта, предупредил советских пленных, что им пора бежать. Но их охраняли так, что это удалось сделать только двоим из них. Остальные были вынуждены эвакуироваться вместе с немцами.

Он присутствовал при их отъезде и заметил, что все советские находились в хвосте транспортной колонны Он успел предупредить и партизан своего района, и этих советских пленных. Я не знаю, как и когда ему удалось это сделать. Партизанам он передал, что в хвосте колонны находятся советские пленные. Пленным он передал, что они должны бежать, как только немцев атакуют. Это было сделано с исключительной точностью: немцы были разбиты, и все пленные бежали. Они тотчас же вступили в его отряд.

«Что касается меня, – писал он мне, – я ограничился тем, что выполнял мой долг перед моей Родиной и человечеством». И дальше: «С возраста восемнадцати лет я принимал участие в борьбе за свободу». Этим исчерпывались его сообщения о себе лично. Конечно, он выполнил свой долг, конечно, он был патриотом. Но если бы количество людей, так понимающих свой долг и готовых его так выполнить по отношению к родине и человечеству, было бы больше – мы бы избежали, я думаю, 39-го года и всего, что последовало за этим; и, может быть, вообще история человечества уже давно была бы менее безжалостна и менее трагична.

И только в последний день, когда моя книга была кончена, я получил от него письмо, в котором есть новые данные. Я знал о них раньше, но мне рассказывали это те, кто только слышал о капитане Александре. Я не мог об этом писать, так как, хотя я и не сомневался в их достоверности, все же у меня не было сведений из первоисточника. Теперь они подтверждены.

Вернувшись во Францию, после побега из германского плена, Александр стал служащим Société électrique du barrage[1]. Будучи начальником résistance[2] района, он

[1] электрической компании (*фр.*).

[2] *Здесь*: партизан-подпольщиков (*фр.*).

выполнял множество поручений. Цель их сводилась главным образом к тому, чтобы помешать немцам пользоваться теми возможностями электрического снабжения, которые им давала эта огромная станция. «Единственное средство для достижения этого, – писал он мне, – было взрывать цементные столбы, по которым проходит ток высокого напряжения». Это, конечно, было сопряжено со смертельным риском – но он взрывал их каждый раз, когда, представлялась возможность.

Кстати, нужно было бы условиться о значении некоторых слов, и в частности, слова «возможность». Возможность была только для того, чей расчет не принимал во внимание опасность смерти. Для другого человека эта возможность не существовала. В этом не было ни романтики, ни декоративного героизма – ничего, кроме спокойного учета тех или иных технических трудностей или соображений. Единственный фактор, которым можно пренебречь, это смерть на первом, или на третьем, или на последнем шагу. Цементные столбы взрывались – и служащий электрического общества не переставал возмущаться вслух тем, как плохо они охраняются и как трудно работать в таких условиях. Наверное, немцы чувствовали себя виноватыми перед этим честным работником.

Но лучшее, что он сделал, это был взрыв главного трансформатора, охранявшегося днем и ночью немецкими часовыми и окруженного предохранительными проволочными заграждениями, по которым проходил электрический ток. Немцы были совершенно уверены, что трансформатору не угрожает никакая опасность. И они сохранили эту уверенность до того момента, пока трансформатор не взлетел в воздух.

Как ему удалось пробраться сквозь эти проволочные заграждения и обмануть бдительность немецких часовых? Он теоретически признавал потом, что его жизнь была в опасности. Но он меньше всего был склонен ее преувеличивать. «Я, конечно, был готов умереть, – писал он, – но, как видите, я жив».

Тем, что он жив, он обязан счастливой случайности. Я знал еще одного человека, тоже из русского экспедиционного корпуса. Его кличка была Проспер. Он был ближайшим сотрудником Антона Васильевича, и на

нем лежала обязанность первого контакта с бежавшими советскими пленными, и он был готов принять на себя опасность немецкой провокации. Это он был руководителем группы партизан, уехавших на фронт в багажном вагоне перегруженного поезда, о котором я упоминал. Его погубило то же самое отсутствие чувства страха, которое сделало возможным взрыв трансформатора. Но тут, к несчастью, не оказалось этой случайности, и я боюсь, что никогда не услышу больше голоса Проспера, который мог бы сказать: «Как видите, я жив». Я никогда не разговаривал с ними об отличии советского режима от политических режимов Европы, но косвенные вопросы этого рода не могли, конечно, не возникать. И тогда я убедился в самом главном, самом для них характерном в этом смысле: они не чувствуют, так сказать, контуров режима, они не представляют себе ничего другого. Те вопросы, которые кажутся естественными в Европе – правовые, социальные, экономические, – в их представлении не возникают: то, в чем они живут, настолько непреложно и естественно, что иначе быть не может, и простая возможность обсуждения этого им кажется совершенно праздной. Вне этого они не могли бы вообразить, как будет идти существование. Они, чаще всего, избавлены от забот о насущном хлебе, от вопроса о личном обеспечении; они получают жалованье, потом будут получать пенсию, и всюду, в любой области, на страже их личных интересов стоит вездесущее, всеобъемлющее, всезнающее государство, к авторитету которого они питают безграничное, без тени сомнения, доверие. Они знают, что где бы они ни находились – под землей, под водой, на Северном полюсе, на арктической льдине, – им помогут, их поддержат, о них позаботятся.

Получается парадоксальная вещь: советский строй, со всей его сложной совокупностью производственных усовершенствований, новейших машин, рационализаций, со всем огромным аппаратом пропаганды, информации и т.д., со всей отчетливой видимостью экономического модернизма, оказывается, в сущности, – в социальном разрезе, – чем-то напоминающим семейно-патриархальную систему, стремление к которой так характерно для русской истории вообще. «Вы наши отцы, мы ваши дети». Надо полагать, что это не результат какой-то временной политической целесо-

образности, что это нечто более постоянное и соответствующее тому очень условному понятию, которое называется национальным духом или особенностью русского народа вообще. Во всяком случае, эта беспримерная война доказала, что такому аспекту русской государственности свойственна та страшная центробежная сила, которая предопределила исход небывалого столкновения народов.

Если бы мы обладали каким-то идеальным чувствительным аппаратом, отмечающим те малодоступные или почти недоступные анализу народные движения, о которых мы обычно имеем самое приблизительное и чаще всего неточное представление и которые, вместе с тем, и являются основными факторами, обуславливающими тот или иной ход истории, – мы бы знали тогда, как возникло и как развивалось то единство коллективной мысли и коллективного желания, которое выразилось во всеобщей поддержке советских партизан французским населением. Сколько безвестных крестьян, сколько молодых людей, солдат и офицеров отдавали все или делали все, чтобы спасти от немцев советского партизана? Их непосредственный личный интерес вовсе не требовал от них этого. Но они это делали, рискуя всем. Я помню капитана Пьера, командовавшего целым военным округом, и его встречу в парижском ресторане с Антоном Васильевичем, вместе с которым они воевали в maquis. Эти люди, не понимавшие один – французского, другой – русского языка, были связаны теснейшей дружбой, и, конечно, каждый из них ответил бы собственной головой за другого. Они не могли быть политическими единомышленниками – хотя бы потому, что были лишены возможности об этом разговаривать, – они были, казалось бы, очень далеки друг от друга: один – французский офицер, родом из Эльзаса, другой – советский человек, родом с Украины. Если бы не было этого стечения тысяч невероятных обстоятельств, то каждый из них просто был бы не способен представить себе возможность существования другого – вот такого капитана Пьера или вот такого Антона Васильевича. Но это было проявлением того темного и стихийно неудержимого движения,

которое, на какой-то период времени, оказалось одним и тем же у всех народов Европы и в котором России принадлежит, я думаю, самая значительная роль.

Разговор этих людей друг с другом мог бы дать материал для неисчислимого количества анекдотов. Как это ни кажется странно на первый взгляд, лучше всего выходили из положения эльзасцы, потому что большинство русских немного знало немецкий язык; однажды я присутствовал при одном таком разговоре двух соратников по партизанской войне – советского и эльзасца. Впервые за много времени я ощутил невольное и неудержимое сочувствие к языку Гете, Шиллера и Рильке. Правда, тени этих людей мало, я полагаю, волновали случайных собеседников, – и слава Богу: если бы это было иначе, я думаю, у Германии были бы шансы выиграть войну.

Еще одно, что всегда представляется изумительным любому европейцу, это то, как советские солдаты могли вынести те нечеловеческие испытания, которые выпали на их долю и которых, конечно, не выдержал бы никакой другой народ, кроме, пожалуй, представителей желтой расы. Их физическая сопротивляемость совершенно исключительна; но это, конечно, характерно уже не только для советских людей, а для русских вообще; в этом они продолжают традиции своих предков. Они переплывали зимой Нарву, на которой был взломан лед; они дрались в лютой российской стуже сутками, они зимние месяцы проводили в лесах; и они же выносили все ужасы немецкого плена и, освободившись, снова появлялись с автоматами в руках на дорогах Франции, по которым следовали немецкие транспортные колонны. Это были те же самые люди, которые год тому назад, в немецком лагере, казались обреченными на смерть от голода, побоев и истощения. В морозные зимние дни в Париже они ходили без шинелей, а на дворе было десять градусов ниже нуля. Для человека, который бывал в Сталинградской области, например, и мог себе представить, что такое Сталинградская битва и как ее можно выдержать, ответ на этот вопрос найден заранее. На голой и плоской равнине дуют летом нестерпимо горячие ветры с песком; зимой эти ветры становятся ледяными, и против них нет никакой защиты. Вся южная равнинная Россия, вся Таврия, часть Украины, плоские

безлесные места с редкими колодцами, зимой превращаются в ледяной ад; летом же от сухого и убийственного зноя звенит в ушах и наливаются кровью глаза.

Среди моих старых товарищей по России был один русский крестьянин, Даниил, который потом попал за границу и долго жил в Париже. Меня в нем всегда поражало одно качество – это его необыкновенная способность ориентироваться и непогрешимое чувство направления. Я помню, как однажды, в очень темную и бурную ночь ранней осени, мы должны были пересечь большой лес, тянувшийся на шесть километров – в том месте, где мы его проходили. Там были какие-то поминутно пропадающие тропинки, овраги, заросшие кустарником, рвы, ямы и сплошная апокалипсическая тьма. Он шел вперед неспешно и уверенно и говорил мне время от времени, что надо держать левее или правее. Я его спросил, знает ли он этот лес и если нет, то почему он думает, что нужно именно правее или левее. Этого он не мог мне объяснить, но ему это казалось очевидно; лес он не знал, он был там в первый раз. Мы вышли, наконец, в поле, и потом, когда нам предстояло возвращаться, я спросил его, как теперь быть, куда идти. – А той же дорогой, – сказал он. Он сказал «той же дорогой», так, точно это было ровное шоссе или прямая аллея. Я посмотрел перед собой и увидел прежнюю густую мглу и темную листву бесчисленных деревьев. – Ну, идем, – сказал Даниил. Я последовал за ним. В одном месте, когда он круто свернул вправо и я его хотел остановить, он сказал: – Как же, не узнаете? Тут вот этот самый сломанный пень, а сейчас будет овраг, который посередине мельче, а там – тропинка, а потом все прямо. – Как он мог заметить и запомнить в этой мгле сломанный пень, откуда он знал, что посередине овраг мельче? Он сказал, что услышал, как закричала какая-то птица, и по звуку было ясно – там, где она кричала, овраг был глубже, а это было слева, метрах в пятидесяти от нас. Я пожал плечами и перестал его расспрашивать; и приблизительно через два часа мы вышли с ним точно в том месте, откуда вошли в лес. Тут ошибиться было нельзя, потому что это был тот мост через небольшую речку, с которого мы начали наше путешествие. Много лет спустя Даниил попал в Париж и жил в рабочем пригороде, возле завода Рено. Не зная ни

звука по-французски, не имея представления о городе, – он повсюду ходил пешком, боясь спутаться в метро, – он разыскал в одном из центральных кварталов какое-то увеселительное заведение, о котором рассказывал чудеса; в его описании это выходило похоже на магометанский рай, каким его представляют себе люди, не очень обремененные точным знанием восточных религий. Он ходил туда и обратно, не умея прочесть названия ни одной улицы, и шел так же безошибочно, как тогда, много лет назад, в российском лесу.

Я часто вспоминал Даниила, думая о советских партизанах, и в частности об Антоне Васильевиче. Он тоже был человеком приблизительно такого же типа, но только, конечно, его разнообразные способности в Париже подвергались очень серьезному испытанию. Я часто встречался с ним; он обычно ходил с портфелем, тяжело нагруженным крупнокалиберными револьверами и патронами, и его столь же упорно, сколь безрезультатно преследовало гестапо. Он постепенно сокращал число тех квартир, где он бывал и где он вел свою работу, предупреждал своих агентов об опасности, которая им угрожала, и они меняли адреса, – каждый раз очередной немецкий обыск не давал никаких результатов. Но все-таки мест, где он мог скрываться, становилось все меньше и меньше. То, что он так постоянно дразнил немецкую полицию, – иногда даже в тех случаях, когда это не было необходимо, – могло с часу на час привести к его аресту, и это было бы катастрофой не только для него, но прежде всего для организации. Наконец наступили последние дни его пребывания в Париже; гестапо знало, что он попытается скрыться. На всех вокзалах, на всех выходах из города были даны описание его наружности и все его приметы, точно так же, как перечисление документов, которые могли найти на нем. Антон Васильевич все не уезжал. Были летние, незабываемые для всех, кто жил в Париже, дни 1944 года. Он приходил к моим знакомым неторопливой походкой, садился в кресло и начинал рассказывать что-нибудь незначительное.

И когда, наконец, агенты немецкой полиции обнаружили его личную квартиру и пришли туда с обыском, они не нашли ни Антона Васильевича, ни кого бы то ни было из его сотрудников и ни одной сколько-нибудь интересной

бумаги, кроме нескольких старых газет. В тот час, когда они были там и производили этот бесполезный обыск, он находился в поезде, в сотне километров от Парижа, куда он попал, обманув бдительность и надежды гестапо.

Нельзя не отметить, однако, что и гестапо, и обыкновенная немецкая полиция должны были выполнять работу, которая была им явно не по силам. Было невозможно следить за четырьмя миллионами парижан; кроме того, когда немецкая полиция возлагала часть работы на своих французских коллег, она неизменно наталкивалась на постоянный и почти неприкрытый саботаж. И все-таки количество трагических положений, при которых участь людей висела на волоске, было неисчислимо. Так было, в частности, с тем Сережей, который работал в редакции подпольной советской газеты. Его привезли в Париж после того, как он, при помощи организации Антона Васильевича, бежал из немецкого лагеря на севере Франции. Он приехал на парижский вокзал без единого документа в кармане, с чемоданом, в котором было оружие, прикрытое сверху бельем. На вокзале член организации передал Сережу – как сдают живой груз – Алексею Петровичу и его жене, которые повезли его к себе на квартиру, где он должен был провести некоторое время, пока ему не сделают фальшивые бумаги и не найдут другого, более подходящего жилья. Они поехали в метро втроем; и на станции, где они должны были выходить, попали в облаву – немецкая полиция проверяла документы и содержание чемоданов, портфелей и свертков. Чемодан Сережи нес Алексей Петрович, у которого документы были в порядке; и когда его остановили, его жена, воспользовавшись минутной задержкой, взяла под руку Сережу и быстро прошла с ним вперед. Алексея Петровича, который не знал, что в чемодане оружие – Сережа не успел ему сказать об этом, – попросили открыть чемодан. Он доверчиво поднял его крышку, и немец-полицейский, бросив быстрый взгляд, сказал небрежно: – А, это белье, – и пропустил Алексея Петровича, который через несколько минут догнал свою жену и Сережу. Если бы полицейский коснулся этого белья, оно скользнуло бы по металлу, и он бы увидел, что в чемодане лежали револьверы и патроны. Но он не сделал

одного этого движения – и то, что он случайно его не сделал, спасло от смерти троих человек.

В Париж однажды пришли, – пешком, с севера Франции – три советские девушки, бежавшие из немецкого лагеря. Кто-то им сказал, что здесь есть русские и что им здесь, наверное, помогут. Этого было для них достаточно; они отправились в Париж. К счастью, им передали адрес русской дамы, «которая патриотка». После долгого странствия, с остановками на фермах, они добрались сюда, нашли эту даму, и все кончилось благополучно. Одна из этих девушек, Наташа, жила несколько месяцев у моих знакомых, на квартире.

Французские организации не могли давать приют всем скрывающимся от немцев советским людям; кроме того, многие члены этих организаций, активные résistance или коммунисты, либо преследовались немцами, либо были под подозрением сами и нередко должны были скрываться. Советских людей прятали у себя русские эмигранты, и они же собирали для них штатское платье. Я видел одного советского лейтенанта, в сравнительно приличном костюме, но в совершенно изорванных башмаках, какие в Париже носят только нищие: ему не могли сразу найти обуви, у него был особенно большой размер. Он ходил в таком виде некоторое время по Парижу, и, непонятным образом, никто не обратил внимания на это ненормальное несоответствие костюма и тех кожаных лохмотьев, которые были у него на ногах. Первый полицейский должен был бы арестовать его; но его никто не задержал – потом у него, наконец, появились приличные ботинки.

Вообще, было удивительно, как их не арестовывали, этих советских людей, бежавших из плена. У огромного большинства из них были неевропейские лица, даже не столько лица, сколько выражения лиц и глаз. Их нельзя было не заметить. Но парижская полиция их упорно не замечала, как до Парижа, на дорогах, ведущих к столице, их так же упорно не замечали французские жандармы.

Как-то под предводительством одного из ближайших сотрудников Антона Васильевича уезжала в провинцию небольшая группа советских партизан; их было восемь человек. Все они шли по двое, по трое вслед за этим агентом

по направлению к вокзалу. На улице, по которой они проходили, толпились солдаты немецкой дивизии, уходившей на фронт. Все вокруг было запружено немцами – и сквозь эту толпу шли люди, которые неделю тому назад бежали из немецкого плена и теперь отправлялись вести против германской армии партизанскую войну. Достать места в поезде было почти невозможно; в этот период времени в Париже для того, чтобы иметь право купить билет, нужно было предварительно стоять с пяти часов утра в тысячной очереди за входными бюллетенями. У предводителя советской группы партизан не было, конечно, ни бюллетеней, ни, тем более, билетов. И все-таки советские партизаны уехали первыми. Это было сделано просто; предводитель сказал несколько слов одному железнодорожному служащему, тот передал другому, другой передал третьему – и через четверть часа советские партизаны ехали в багажном вагоне на фронт. Это было результатом мгновенного заговора между людьми, которые до сих пор никогда не видели друг друга, но которые в этом вопросе мыслили и чувствовали одинаково. Французские полицейские, французские жандармы, французские железнодорожные служащие, советские пленные и русский эмигрант – руководитель и агент партизанской организации – все думали и ощущали одно и то же. И я не мог удержаться от мысли о том, что здесь, на этой территории, были только одни люди, осужденные на безысходное одиночество и трагическую отчужденность от всего остального европейского мира, – и это были немцы.

В огромном и безмерно сложном сочетании равных понятий, которые условно объединяются под названием народ, страна или даже государство, нет, надо полагать, – в этом основном, что нам кажется национальной сущностью народа, – безвозвратно исчезающих вещей. И, в частности, исторического прошлого ни вычеркнуть, ни уничтожить нельзя. Завоеватели Сибири или Кавказа были, конечно, прямыми предками тех советских людей, которые снаряжали арктические экспедиции или устраивали оросительные системы в Туркестане, точно так же,

как солдаты императорских армий Екатерины или Павла были предками теперешних солдат Красной Армии. Это подчеркивалось много раз. Но никогда, кажется, в истории России не было периода, в котором таким явным образом все народные силы, все ресурсы, вся воля страны были бы направлены на защиту национального бытия, на борьбу за существование, за жизнь этого огромного государства. Всё: экономическая и политическая структура страны, быт ее граждан, ее социальное устройство, ее чудовищная индустрия, ее административные методы, ее пропаганда, – всё это как будто было создано гигантской народной волей к жизни. Теперь, в конце войны, становится очевидна та истина, что человечество в предвоенные годы культурного двадцатого столетия существовало, не подозревая этого, под угрозой древнего и первобытного закона: уничтожить или быть уничтоженным, разрушить или быть разрушенным, убить или быть убитым. И страшный цикл того биологического закона – или биологического безумия, – который предрешает и обуславливает войну, неудержимо приближался к самому патриотическому своему моменту. Россия это поняла и почувствовала раньше иных, может быть, потому, что ее восприятие было более обостренным, чем у других народов, так как опасность угрожала больше всего ей. На этот раз очевиднее, чем всегда, стало ясно, что видимость первых событий не соответствовала подлинному смыслу конфликта, потому что в начале войны Россию связывал с Германией договор о ненападении.

И вот оказалось, что, с непоколебимым упорством и терпением, с неизменной последовательностью, Россия воспитала несколько поколений людей, которые были созданы для того, чтобы защитить и спасти свою родину. Никакие другие люди не могли бы их заменить, никакое другое государство не могло бы так выдержать испытание, которое выпало на долю России. И если бы страна находилась в таком состоянии, в каком она находилась летом 1914 года, – вопрос о Восточном фронте очень скоро перестал бы существовать. Но эти люди были непобедимы. И в ходе войны произошло то, что уже несколько раз повторялось на протяжении истории: вся военная тактика, вся стратегия, блестяще, казалось бы, доказавшая

свою неотразимость, была бессильна против героического противника, сумевшего создать прекрасное вооружение и лучших солдат. Когда немецкие аэропланы «Штука», обстреливавшие войска на бреющем полете и настолько, по мнению немцев, страшные, что кабинки их пилотов даже не были блиндированы, – когда эти аппараты, действовавшие с таким успехом против плохо вооруженных и плохо организованных бельгийских и французских армий 1940 года, произвели свою первую атаку на советскую пехоту, то огромное большинство их было срезано сильнейшим пулеметным и ружейным огнем, и вся эта блестящая тактика, до сих пор считавшаяся неопровержимой, должна была быть совершенно пересмотрена.

Соответственно и упорно тренируя людей, их можно научить очень многому. Их можно научить спокойно стоять под артиллерийским или аэропланным обстрелом, из них можно сделать парашютистов. В войне, которой мы были свидетелями, тренировка играла не меньшую роль, чем героизм, и большинство побед было обусловлено необходимым соединением этих двух качеств. Мы видели, что значит соответствующая тренировка; мы видели, как англичане и американцы, сброшенные ночью с аэропланов и вооруженные гранатами и легкими пулеметами, отбивали атаки немецких блиндированных дивизий. Мы видели, как действовали французские парашютисты в Бретани или в Голландии. Мы видели, как русские солдаты – под страшным огнем немцев – переплывали во всем походном снаряжении огромные реки и устанавливали на крутых, казалось бы неприступных, берегах предмостные укрепления.

В 1943 году весь последний класс одной из десятилеток в маленьком городе Сибири выразил желание вступить в Красную Армию. В первой просьбе было отказано – они были слишком молоды. Тогда они написали второе обращение чуть ли не к Ворошилову, на которое последовал положительный ответ. Они были приняты в армию и все стали парашютистами. Их сбросили потом в тыл немецкого расположения для партизанской войны. Один

из них, Вася, попал во Францию. Я с ним встретился через несколько месяцев после того, как все военные действия здесь кончились; он явно томился и скучал. Ему не хватало оружия, леса, засад, атак и опасности. Он все-таки не расставался со своим револьвером; я думаю, что он втайне надеялся на какое-нибудь ночное нападение пятой колонны или что-нибудь в этом роде, словом, на столь же счастливое, сколь внезапное стечение обстоятельств, при которых, наконец, его бесполезный теперь револьвер мог бы сыграть известную роль. Но ни нападения, ни стечения обстоятельств не происходило и Вася смертельно скучал. Он находил некоторое – частичное и неполное – утешение в алкоголе. Вдвоем с приятелем они заходили в кафе и заказывали: два больших пустых стакана и десять рюмок коньяку. Потом они аккуратно переливали, содержимое пяти рюмок в стакан, затем чокались и выпивали, неизменно поражая французов, которые никак не могли привыкнуть к этому зрелищу. Затем они – в зависимости от денег, которыми располагали, – возобновляли это еще раз или еще два раза и оба, грустные, уходили. И только один раз Вася оживился и казался совершенно счастливым. Это когда сообщили, что на территорию департамента, где он жил, немцы сбросили парашютистов. Но немецкие парашютисты частью были переловлены, частью бесследно исчезли до того, как Вася успел в этом принять какое бы то ни было участие, и он снова впал в свою прежнюю грусть. Я думаю, что на фронте, в условиях партизанской войны, он был, наверное, совершенно незаменим.

И таких людей в России были десятки и сотни тысяч – с той разницей, что им было некогда ни грустить, ни пить коньяк, потому что они, не переставая, вели войну против немцев. И, конечно, более беспощадных и опасных врагов, награжденных, вдобавок, нечеловеческой выносливостью, звериным терпением, хитростью и пониманием партизанской обстановки, германская армия не могла себе представить. Если бы немцы умели читать в человеческих взглядах, то в глазах этих людей они давно бы прочли свой смертный приговор. Но они печатали вздорные сообщения о «коммунистических бандах», и когда спохватились, было слишком поздно.

Всякий расчет общего порядка на возможность или длительность сопротивления, на успех той или иной тактики, на моральное действие того или иного оружия оказывается правильным только в том случае, если он имеет в виду среднюю, или ниже средней, цифру. Если эта цифра бывает выше, расчет оказывается неверным. Именно это случилось с немцами. Кто-то давно сказал, что страна побеждена, когда она считает себя побежденной. Если это не так, то борьба продолжается. Наполеоновские войска не могли победить Испанию начала девятнадцатого столетия. Их триумфальный марш по Европе напоминал немецкие победы 1940 и 1941 годов. Но как только они столкнулись со страной, которая ни при каких обстоятельствах, и, несмотря на казавшийся проигрыш кампании, не признавала себя побежденной, – их армии были обречены на поражение.

Мы не знаем, какими законами определяется и направляется существование огромных человеческих масс, которые называются народами или государствами. Мы знаем только, что понятие о народе есть не арифметическая сумма людей, его составляющих – и, стало быть, совокупность их индивидуальных достоинств, недостатков и особенностей, – а нечто, по природе своей, совершенно другое. В каждом народе есть герои и трусы, но никакой их точный учет не может нам дать заранее готового представления о том, как этот народ будет сражаться. Каждый отдельный человек – до того, как он попадет на войну, – не знает, что он представляет из себя как солдат. Иногда люди, считавшиеся трусами, оказываются героями, иногда герои оказываются трусами. Все, кто был на войне, знают это.

Итак, народ не есть арифметическое целое, составленное путем сложения всех его подданных; бесспорность этой истины до сих пор казалась и кажется несомненной. Но еще никогда, за весь период истории, который нам известен, не существовало такой государственной системы, как в современной России, где бы у всех граждан на огромное количество наиболее важных вопросов, особенно вопросов политических, было бы одно и то же, всегда идеально одинаковое мнение. Все то, что создает искусственные различия между людьми или подчеркивает их естествен-

ные различия, в России не существует. Политическое и социальное воспитание граждан совершенно одинаково в Туркестане или в Ленинградской области, на Мурманском побережье или на Каспийском море. Московский профессор и узбекский пастух читают одну и ту же передовую статью, в которой излагаются одни и те же положения. Это продолжается десятки лет, и потому, в смысле политической монолитности, на земном шаре нет ни одной страны, которая могла бы сравниться с Россией. Может быть, в некоторых отношениях такая государственная система бесконечно удалена от той идеальной системы, которую миллионы людей представляют себе по-разному в разных концах мира. Но для достижения общими национальными силами общих национальных целей – в данном случае для спасения своей родины от неминуемой, казалось бы, гибели – человечество не знает более могущественного средства.

Людей, имевших, как все европейцы, недостаточное представление о государственном устройстве России и о политическом воспитании ее граждан, неизменно поражало, каким образом советские военнопленные так легко и быстро становились партизанами на чужой земле и как они могли с успехом вести эту войну с немцами. Но непогрешимая, в смысле инструкций и организации, советская система, вывезенная из России и которую каждый военнопленный всюду нес с собой, где бы он ни находился (как человек всюду везет с собой, скажем, знание иностранных языков или технические сведения, которыми он располагает), – эта система действовала во Франции в силу тех же принципов, в силу которых она действовала в России, и с такой же безошибочностью. Конечно, во Франции они нашли всемерную поддержку со стороны французской Résistance. Ее помощь была совершенно необходима, и ценность этой помощи была незаменима. Но если бы советские военнопленные не захотели подчиниться инструкциям, никакая организация не могла бы их заставить идти в партизанские отряды.

История советского партизанского движения во Франции, в нескольких словах, такова. С первых дней прибытия советских военнопленных в лагерях возникли боевые группы, положившие начало всей организованной борьбе. Это происходило на севере страны, в департаментах Нор и Па-де-Кале. Вначале деятельность партизан преследовала, главным образом, цели саботажа. Некоторые отдельные люди и некоторые группы вступали, после побега, в ряды французской Résistance.

В ноябре 1943 года, после того как давно уже шла спорадическая борьба против немцев на французской территории, был образован Центральный Комитет Союза военнопленных во Франции, который с момента своего возникновения руководил всем советским партизанским движением. Он состоял из трех человек; позже были кооптированы еще двое. Один из них, Порик, был расстрелян, другой сошел со сцены по обстоятельствам, которых я не знаю. Через полтора месяца ЦК организовал двадцать лагерных комитетов. К этому времени во Франции было свыше двадцати пяти крупных лагерей, насчитывавших в общем около двадцати пяти тысяч советских людей, из которых половина были военнопленные.

Задачи лагерных комитетов были сформулированы совершенно точно. Вот некоторые, наиболее важные параграфы их программы:

«Лагерный комитет организует вокруг себя боевой актив на каждой шахте и предприятии, в цехе и в бараке. Боевой актив должен расти с каждым днем за счет советских патриотов, ведущих борьбу с фашизмом.

Лагерный комитет ведет самую активную работу по срыву мероприятий немецких властей и организует акты саботажа на производстве.

Комитет организует уход из лагеря товарищей, которые должны уйти по требованию, а также тех, кому угрожает серьезная опасность.

Комитет должен проявлять особую заботу в отношении организации товарищеской помощи среди людей лагеря, обратив особое внимание на материальную и моральную поддержку больным и заключенным в карцере...

Вся работа лагерного комитета должна сводиться к подготовке советских патриотов к открытой борьбе против

фашистских поработителей. Если обстоятельства потребуют, лагерный комитет должен стать организатором восстания и вооруженной борьбы совместно с французским народом».

Но уже задолго до официального возникновения ЦК и лагерных комитетов борьба советских партизан приняла настолько значительный характер, что летом 1943 года в департаменте Па-де-Кале количество советских партизан и численность французских отрядов были одинаковы. В сущности, формальное образование ЦК, члены которого всегда фактически возглавляли Сопротивление, только санкционировало существующее положение и придало ему ту схематическую стройность, которая до сих пор не носила официального характера. В момент всеобщего восстания во Франции члены комитета приняли командование всеми вооруженными советскими силами на французской территории, разделенными на три группы: север, восток и департамент Кот-д'Ор. Это было 11 июля 1944 года, и это был последний эпизод борьбы на французской территории.

Но, конечно, борьба не ограничивалась только этим, а принимала самые разнообразные формы. Существовали лагеря, не имевшие постоянной связи с ЦК; существовали партизаны, даже не знавшие о его существовании, как это было, например, в центральных департаментах Франции. О, если бы они состояли в постоянных отношениях с ним и получали бы от него подробные инструкции, им не пришлось бы ничего менять в своем поведении. В июле 1944 года было тридцать пять крупных отрядов, находившихся в подчинении ЦК. Но десятки других, более мелких отрядов или групп действовали так же, как те, которые руководились из Парижа и из северных департаментов.

Они начали с саботажа и кончили вооруженной борьбой.

В докладе о работе ЦК было написано:

«Находясь в крупнейшем угольном бассейне оккупированной Франции, мы делали все, чтобы срывать добычу угля и подрывать военно-экономическую базу врага. На каждой шахте, где только были советские люди, действовали диверсионные группы, которые выводили из строя машины, заваливали штреки, портили воздушное и элек-

трическое хозяйство. В результате массовых актов саботажа и диверсий, которые мы организовали, немцы недополучили десятки тысяч тонн угля.

Защищая интересы нашей родины в глубоком тылу врага, мы так же были честными и справедливыми и в отношении французского народа, мы действовали сообща с нашими братьями по оружию – французскими партизанами, оказывая друг другу помощь, и во многих случаях учили французских товарищей, как нужно громить фашистов».

Нельзя забывать, в каких условиях происходил этот саботаж: десяти-двенадцатичасовой рабочий день, бесконечные избиения за малейшую провинность, карцер; больных пристреливали; людей обливали холодной водой до потери сознания. Французам, рискнувшим что-либо передать советским пленным, угрожал немедленный расстрел.

И все-таки они саботировали. Они перерезáли резиновые кабели и останавливали работу, они сыпали песок в машины, в сложные моторы они бросали щебень, и, несмотря на самые жестокие наказания, производительность шахт неизменно снижалась. И одновременно с этим усиливались действия партизанских отрядов.

Эти люди проделали огромную вредительскую работу. Только в северных департаментах результаты их деятельности были такими: девятнадцать воинских железнодорожных составов было пущено под откос – это были поезда с войсками и военными грузами; было взорвано семь электрических линий высокого напряжения, уничтожено пятьдесят телеграфно-телефонных линий, взорвано два моста, уничтожено множество паровозов, сотни вагонов и приведено в негодность огромное количество военного материала; в столкновениях с мелкими партизанскими группами было убито и ранено около четырехсот немецких солдат, офицеров, членов гестапо и их агентов; взятых в плен и сданных потом союзным войскам было двести двадцать девять человек.

Они сумели организовать всё. Они фабриковали фальшивые бумаги, они ухитрялись передавать во все лагеря ежедневные сводки Советского Информбюро; каждый советский пленный был на учете и мог получить приказ в любую минуту.

Руководитель партизанского движения северных департаментов рассказывал мне подробно, как они действовали. Именно тогда я узнал, что нужно развинтить рельсу на протяжении двадцати двух метров – только такая длина обеспечивала успех предприятия, только тогда можно было быть уверенным, что поезд сойдет с рельсов. Они отправлялись в ночную экспедицию группой в пять-шесть человек. Железнодорожная линия охранялась патрулями, проходившими каждые пять-шесть минут. При их приближении вся группа пряталась под насыпь или в канаву. Как только умолкали шаги патрульных, партизаны снова принимались за работу. Рельса должна была быть развинчена и сдвинута так, чтобы это не бросалось в глаза. – А если бы патруль вас увидел? – Мы были вооружены, – ответил он, – а кроме того, когда идешь на такую работу, надо быть готовым ко всему. Мы были готовы. – И потом они смотрели с расстояния нескольких десятков метров, как огромный паровоз сходил с рельсов, увлекая за собой поезд, и как состав начинал пылать. Тогда они возвращались к себе.

Весь этот отряд, насчитывавший тогда около тридцати человек, жил в катакомбах, на глубине сорока метров под землей. Это были давно забытые и засыпанные катакомбы: последние надписи на стенах, которые они там нашли, были сделаны около ста лет тому назад. Оттуда был только один выход. Они месяц жили в темноте, пламя светильников слабо мерцало и тухло, приток кислорода был ничтожен. Глиняные стены катакомб были постоянно влажны. Они узнавали о том, день или ночь, по перемещению несчетного количества летучих мышей – единственных живых существ в этих подземельях. Мыши улетали – значит, наступала ночь. Они возвращались – значит, начинался день. Через некоторое время немцы узнали, что в катакомбах русские партизаны. Но когда они пришли туда, то нашли только надпись: «Фашистский агент нас выдал. Мы уходим из этой пещеры. Но мы будем мстить».

И партизаны продолжали мстить. К тем убыткам, которые они причинили немцам в департаменте Нор, прибавились другие, когда движение охватило восток и Кот-д'Ор: еще сорок шесть воинских поездов, еще тысяча

вагонов, еще пятьдесят семь паровозов, еще один мост, еще сорок телеграфных и телефонных линий; еще три тысячи немецких солдат и офицеров были убиты в столкновениях с советскими партизанами.

Порик был расстрелян, но его товарищи остались живы. Один из них, Семенов, организовал тринадцать железнодорожных крушений и налет на лагерь Beaumont, где разоружил и посадил в тюрьму весь отряд бельгийских SS, охранявший лагерь. Он был арестован и бежал. Его опять поймали, уже в другом месте, и он провел четыре месяца в заключении, подвергаясь пыткам и допросам. Немцы не только не добились от него никаких разоблачений, но даже не узнали, что он русский – он выдавал себя за поляка, давно живущего во Франции. Он действительно свободно владел польским и французским языками. В тюрьме он симулировал слабоумие; это не прекратило ни пыток, ни допросов, но все же сбило с толку немецких следователей. Он был освобожден из тюрьмы после прихода союзных войск.

Руководитель советского партизанского движения на севере Франции, человек, первым начавший борьбу против немцев, инициатор взрывов, покушений, ночных атак, командир того отряда, который жил в пещере, упорно уклонялся от рассказов о самом себе. – Главное – товарищи, – сказал он мне. – Когда имеешь дело с такими людьми, командовать не трудно.

Но о партизанской тактике он говорил с воодушевлением. – Мы должны были пересмотреть все принципы партизанских действий, – говорил он. – Здесь, во Франции, не было ни лесов, ни больших пространств, где могли бы действовать крупные отряды. А действовать было необходимо; мы применились к новым условиям. Имея в виду густоту шпионской сети, мы заменили крупные отряды небольшими группами. Мы стали шить сапоги на мягкой подошве – когда наш отряд шел ночью, нас не было слышно. Если нет лесов, можно партизанствовать в полях, изрытых канавами, в поселках или в городах, как мы это и делали. Единственное непременное условие – поддержка населения. В этом смысле мы чувствовали себя так, как если бы были на родине. 11 июля 1944 года, когда члены ЦК взяли на себя командование вооруженными отрядами

партизан для открытой войны с немцами, мой собеседник находился в Париже. Он тотчас же отправился на север, и так как поезда не ходили, то он поехал туда на немецком автомобиле, сказав, что он рабочий и возвращается после отпуска в свой район. После его приезда началась настоящая война, и один из его отрядов, «Свобода», взял с боем город Бар-ле-Дюк. Война бушевала всюду.

В это же время в департаменте Кот-д'Ор отряд Антона Васильевича «Максим Горький», расположенный в Шатильонском лесу, вел упорные бои с немцами и брал Шатильон-сюр-Сэн, в котором захватил около 500 пленных во главе с немецким полковником. Все это происходило в полном согласии с французскими отрядами FFI.

Мой собеседник всегда и неизменно подчеркивал это сотрудничество с французами. В своем докладе он писал: «Борьба советских патриотов не имела бы успеха, если бы нас, советских людей, не поддерживало местное население. Мы чувствовали все время братскую помощь французского народа. Этого мы никогда не забудем и будем вечно благодарны французским товарищам по борьбе».

В те дни, когда шли упорные бои на нормандском побережье, советский партизанский Париж был пуст. Люди, которых мы привыкли так часто видеть, эти неуловимые клиенты гестапо, просто партизаны, организаторы движения, агенты, то появляющиеся внезапно, то так же внезапно исчезающие, – все они уехали. Исчезла, наконец, такая знакомая фигура Антона Васильевича – после крепкого рукопожатия, – и в течение долгих недель ни о нем, ни о его товарищах ничего не было известно. Я знал, что Антон Васильевич действовал со своим отрядом в департаменте Кот-д'Ор, но никакой связи с ним, конечно, быть не могло. Последним уехал Алексей Петрович, который, как это выяснилось только позже, чудом освободившись из гестапо, добрался до отряда Антона Васильевича.

А в отряде все шло так, точно он давно существовал как отдельная советская единица, с той разницей, что вместо российских просторов, российских лесов и полей были леса и поля Франции – западного театра военных

действий – против все той же, одинаковой всюду, германской армии. Так же тянулись дороги, так же чуть слышно шумела трава под летним ветром, так же над палаткой штаба отряда трепетал на ветру советский флаг. В штабе отряда печатались приказы о зачислении такого-то на все виды довольствия, о расписании занятий, о времени подъема, учения и отдыха, – эти приказы печатались на русской пишущей машинке; переводились на русский язык предписания французского командования, распределялись различные функции – снабжение провизией, стирка белья и т.д.

В своем докладе начальнику штаба FFI Антон Васильевич сообщал вкратце, как организовался его отряд:

«До конца июня 1944 года многочисленные группы бежавших русских пленных вели работу, либо будучи включены в отряды французских партизан, либо сформировав сами небольшие отряды, и приняли значительное участие в общем деле, заслужив, таким образом, похвалы их французских товарищей.

Организовавшийся в это время Центральный Комитет русских пленных развернулся и посвятил, всю свою деятельность тому, чтобы защищать и направлять уже освобожденных пленных и организовывать новые побеги.

В июне 1944 года этот Комитет поручил мне объединить всех моих соотечественников в одну часть с русскими офицерами во главе ее. Как только ядро ее было сформировано, представители других национальностей обратились ко мне с просьбой сгруппировать их вокруг меня. Находясь под моим командованием, все эти элементы состояли в подчинении их собственных офицеров.

Благодаря материалу, взятому у врага, и благодаря дружескому содействию главного штаба Aignay-le-Duc и, в частности, капитанов Пьера и Габриеля и лейтенанта Берто, через короткое время я мог располагать всем необходимым, то есть экипировкой и оружием, чтобы привести моих людей в боевую готовность.

Как только формировка моего отряда была закончена, я предоставил себя в распоряжение капитана Пьера; согласно его указаниям, мои люди образовали заграждения на следующих дорогах...»

Дальше шло описание всех географических и технических подробностей. За этим следовал отчет о боях, которые вел отряд.

Этого капитана Пьера, который вначале был для меня только отвлеченным и официальным персонажем и имя которого я знал по частым упоминаниям в приказах Антона Васильевича, я видел потом в Париже. Антон Васильевич, который был крайне скуп на положительные характеристики людей и еще скупее – на похвалы, не находил слов, чтобы описать капитана Пьера. По-видимому, он был человеком исключительной храбрости («Только слишком мягок», – как-то сказал Антон Васильевич), и ему, в частности, отряд советских партизан был обязан полной и безоговорочной поддержкой.

Меня поразила его наружность: он был исключительно красив. У него были белокурые волосы, далекие голубые глаза и лицо девичьей нежности. Он был любитель литературы – глядя на него, нельзя было не подумать об этом. Но на его поясе висел огромный револьвер, и он умел им пользоваться в нужных случаях не хуже любого другого командира с самой героической наружностью. Он был очень молод – и когда он не следил за собой, его лицо неизменно принимало печальное выражение. Из его высказываний было легко составить себе представление о его взглядах вообще: эта война, повлекшая за собой миллионы жертв, может оказаться, в сущности, напрасной, и, может быть, все, что будет после победы, будет так же тускло и несправедливо, как то, что было до войны. И когда я слушал его – в парижском ресторане, за столом, уставленным стаканами с вином, – мне вдруг стало его жаль; было нетрудно предположить, что никогда, во всем, что ему еще придется увидать, он не найдет соответствия своим безнадежно-идиллическим представлениям и напрасному их лиризму. В нем была та смесь личной храбрости и честности с неудержимой притягательностью безысходно отрицательных и мрачных видений, которая характерна для некоторых аспектов европейской культуры и которая всегда не лишена какого-то печального великолепия.

Он был французским интеллигентом; и помимо чисто национальной вражды к Германии, помимо чисто патриотических побуждений, заставивших его взяться за оружие, к этому были другие причины, морально-культурного порядка. Такие люди, как он, задыхались в той атмосфере обязательного и коллективного идиотизма, который был непременной особенностью немецкой оккупации во всех странах. Невозможно было не задыхаться от этого – тем более что от пропаганды нельзя было уйти. Все, что было в европейской печати низменного и продажного, – все эти журналисты-неудачники, люди с уголовным прошлым, фанатики и сумасшедшие, шулера, торговцы наркотиками, страдающие манией грошового и призрачного величия, – все они были на службе у немецкой пропаганды и повторяли с восторженным и лакейским энтузиазмом ее идеи, проникнутые мрачным прусским идиотизмом. Нельзя было не ощущать ежедневно унизительность этого положения, когда какой-нибудь бывший сутенер произносил по радио речи, в которых учил французское население патриотизму, чести и европейской солидарности. Невозможно было выносить, помимо всего, оскорбительную и малограмотную высокопарность этих статей. И с этим, конечно, нельзя было примириться.

Капитан Пьер при всем желании не мог бы объяснить этого Антону Васильевичу; но это было неважно. Кратковременное совместное пребывание в партизанском отряде их связало крепче, чем они были бы связаны при любых других обстоятельствах, даже если бы они говорили на одном языке и любили бы одни и те же вещи.

Но и в отряде Антона Васильевича не обошлось без литературы. Он назывался «Русский отряд “Максим Горький”». Я не знаю, почему автор «Моих университетов» был выбран как духовный шеф, если так можно сказать, этого партизанского отряда. Вспоминая все, что он написал, я не нашел в этом ничего, что могло бы оправдать его такую, именно такую, посмертную роль. Но, надо полагать, что мы по-разному понимали его и мы видели мир разными глазами, и, вероятно, Антон Васильевич, за которым до тех пор я никогда не наблюдал особенной склонности к литературе, имел какие-то собственные основания для того, чтобы так назвать свой отряд. Для него они были

очевидны, потому что, когда я его спросил об этом, он мне ответил, что Горький – правильный и хороший писатель. Я задумался о неожиданной судьбе этого литературного псевдонима и о кажущейся неправдоподобности того, что через много лет после смерти Горького, в одном из французских департаментов, на пятый год гигантской войны, некие люди разных национальностей – русские, поляки, французы, испанцы – будут объединены под этим названием; и в их представлении потом эти два слова, «Максим Горький», будут вызывать не литературные описания, не те или иные ассоциации из его книг, а нечто совершенно другое: лагерь, лес, дороги, немцы, пулеметы и бои.

Немецкое командование знало, что дороги небезопасны, что в стране действуют партизаны. Но оно было лишено возможности вести разведывательные операции и не могло поэтому знать, где произойдет очередная атака. Несмотря на усиленную охрану транспортов, немцы почти всегда терпели поражение.

Одна из засад отряда «Максим Горький», первая его операция, была на дороге № 454. Партизаны лежали в лесу, на земле, за пулеметами. Несколько часов все было тихо – изредка проезжали крестьянские подводы или проходили люди. Потом, после длительного и напряженного ожидания, они увидели, наконец, немецкую транспортную колонну. На грузовиках, на подножках автомобилей стояли солдаты с ружьями наперевес. Они ехали уже много километров все в той же обманчивой тишине, которая каждую секунду могла прерваться. Еще один поворот дороги, еще одно широкое поле, еще несколько белых столбов, еще несколько долгих минут, и постоянно ровный шум мотора, врывающийся в эти безмолвные поля и рощи и замирающий в них. Еще один поворот.

И вдруг неизвестно откуда – отчаянный грохот нескольких пулеметов, падающие на всем ходу тела и беспорядочный крик. Первые машины начали поворачивать обратно, последние еще не успели остановиться; и над всем этим беспорядком, в летнем жарком воздухе, невысоко от земли, два разных, одновременных и несмешивающихся

шума: треск и грохот близких пулеметов и внезапно захлебывающийся свист пуль. Немцы отвечали, стреляя в лес, но боя, в сущности, не было. Капитан, командовавший колонной, сразу свалился на дно грузовика с разбитым плечом, кровь медленно и густо окрашивала зеленое сукно его тужурки. Правая рука его помощника, лейтенанта, была прострелена, его адъютант был ранен. Некоторые грузовики остановились; немцы быстро погрузились в уцелевшие машины и на полном ходу уехали назад. Надо было полагать, что по этой дороге они больше не проедут.

На следующий день в штаб Антона Васильевича сообщили, что город Saint-Seine только что эвакуирован немцами. Небольшая группа партизан была послана, чтобы забрать материал, оставленный немецкими войсками. Когда, по расчетам Антона Васильевича, они должны были уже въехать в город, оттуда послышалась ожесточенная стрельба.

Это оказалось результатом двойной неосведомленности. Партизаны не ожидали, что в городе еще могут оказаться немцы; те, в свою очередь полагали, что в этом районе нет партизан вообще. Небольшой интендантский отряд, оставшийся в городе, увидев вооруженных людей – их было пять человек, – открыл по ним огонь. Партизаны приняли бой. Именно эта стрельба была слышна в лагере. Тогда в город было послано подкрепление. Немцы, солдаты регулярной части, не сдавались; рвались гранаты, ни на минуту не стихал огонь. Но после часового боя все было кончено, и ни одному из них не удалось, спастись. В приказе об этом столкновении после перечисления захваченного материала, стоят следующие слова:

«С нашей стороны двое из лучших товарищей пали храбрецами, с оружием в руках. Это:

Константинов Михаил (русский)

и

Ренэ (француз)».

В приказе эти слова помещены именно в таком непривычном для глаза порядке. И когда я читал, то вдруг в этом печатном тексте перед моими глазами возник как будто бы маленький кусочек кладбища с этими могильными надписями и этими объяснительными скобками,

определяющими национальность: Константинов Михаил (русский), Ренэ (француз). Это невольно вызывает мысль о героизме и абсурде и еще о том, что, в силу исторической и географической случайности, во французской земле, в глубинах прекрасной Франции лежит столько тысяч иностранных трупов, целая армия мертвецов всех экспедиционных корпусов – англичан, американцев, русских, новозеландцев, поляков – всех тех людей, которые умирали за то, чтобы мир стал лучше, и смерть которых, наконец, может быть, не окажется напрасной.

Все это кончилось 9 сентября 1944 года, когда произошла последняя, самая длительная и упорная операция – взятие города Шатильон; долгий бой в лесах из-за каждого дерева и каждого холмика. Он отличался особенной беспощадностью – никакие регулярные войска не дрались бы лучше, чем партизаны. Это объяснялось, кроме всего прочего, и тем, что и Антон Васильевич, и его товарищи знали до конца, что такое партизанская война, они помнили это еще по России – и применяли теперь свой незаменимый и гибельный для противника опыт.

«Немцы сдавались в течение всего дня; бежавшие преследовались нашими партизанами, и окружающие леса были совершенно очищены. Лейтенант, полковник, многие офицеры и чины гестапо были убиты, ранены или взяты в плен нашими войсками. Была захвачена очень значительная доля оружия и экипировки всякого рода».

Так произошла личная встреча Антона Васильевича с «чинами гестапо», та самая встреча, которой они так тщетно искали в Париже и от которой до сих пор он так упорно уклонялся. Он стоял, заложив руки в карманы штанов, в своей партизанской форме, к нему подводили пленных, он кивал головой и говорил по-русски: – Хорошо, хорошо, – и смотрел мимо них своими, как всегда, невыразительными глазами. Этих людей видел также Алексей Петрович. Теперь они перестали быть опасными; длительный кошмар этого кровавого идиотизма подходил к концу.

Отряд «Максим Горький» – в числе отличившихся, наряду с преобладанием русских фамилий, стоят и другие имена: Соважо Морис, Феликс, Паскуаль, Саренсо, Кабелло-Галистео – Барселона, Париж, Мадрид, Россия – и раздавленный немецкий орел.

Русская эмигрантская организация, с которой, в частности, столкнулся Антон Васильевич, состояла из людей, полагавших, что первейший их долг – борьба против врагов России. Она возникла в июле 1943 года, и большинство ее инициаторов одновременно состояло в рядах французской Résistance. По мере расширения этой организации в нее вступали самые разные люди, вплоть до бывших белых офицеров. Некоторые из них дрались в советских партизанских отрядах против немцев. Их официальные задачи не могли быть, конечно, иными, чем те, что стояли перед ЦК СВП. Это были: помощь советским военнопленным и организация их побегов, саботажи на производстве, пропаганда против поездок в Германию, вооруженное сопротивление немцам, посылка переводчиков в советские партизанские отряды.

Некоторые из эмигрантов действовали с совершенным бесстрашием, которое мог бы отрицать только очень пристрастный человек. Я знал многих из них; женщины принимали в этой работе не меньшее участие, чем мужчины. Они часто служили гидами для советских, и мне неоднократно приходилось наблюдать, как по парижской улице шла эмигрантская дама и вслед за ней пять или шесть советских пленных, в костюмах с чужого плеча и с тем непередаваемым советским видом, по которому их тотчас же можно было отличить от всех. Достаточно было, чтобы их остановил агент гестапо, и им и их гиду угрожали бы самые жестокие наказания – от страшных немецких лагерей до расстрела.

Были эмигранты, служившие у немцев, пользовавшиеся относительным их доверием и состоявшие одновременно в русской патриотической организации. Они были чрезвычайно полезны для общего дела, но им постоянно угрожал самый большой риск, и многие из них, к сожалению, погибли.

Они были самыми разными по происхождению: офицеры, моряки, люди, принадлежавшие к русской аристократии. Они прожили десятки лет вне родины, о которой имели теперь самое приблизительное представление; но оказалось, что национальное чувство было в них сильнее всего, и ради него они были готовы жертвовать собой, не ожидая от этого ни награды, ни даже призна-

тельности. Между ними и советскими людьми не было ничего общего – кроме этого, самого сильного ощущения: и те и другие родились и выросли в России. И вот за то, что, казалось, должно было представляться эмигрантам как какой-то исторический мираж, за это непередаваемое и неумирающее видение своей родины они тоже шли на риск Бухенвальда или расстрела.

Они все сходились на том, что нужно бороться против немцев – и в этом не могло быть и не было разногласия. Но оттенки их аргументации носили, иногда довольно неожиданный характер. Один из таких людей доказывал при мне, что долг, бороться за советскую власть фигурирует в. тексте присяги, которую приносили в свое время офицеры царской армии. – Это мне кажется удивительным, – сказал я, – особенно если вспомнить, что тогда советской власти не существовало. – Все равно, – упрямо сказал он. – Об этом фактического упоминания нет, но это вытекает само собой из текста. – И он объяснил, что в присяге дается обязательство защищать «до последней капли крови» свою родину от врагов внешних и внутренних. Германия же не может рассматриваться иначе как внешний враг. Другой власти, кроме советской, в России нет, она ведет войну против немцев – стало быть, надо защищать родину и советскую власть.

Эти ссылки на присягу царского офицера звучали, конечно, неожиданно, – но им нельзя было отказать в известной диалектической убедительности. И такие рассуждения сразу теряли свой анекдотический характер, как только воображение возвращалось к тому, что они влекли за собой: неизвестность, ежедневную опасность и, в конце этой исторической логики, быть может, – смерть.

Нельзя забыть эти последние годы немецкой оккупации во Франции, эту внешнюю монументальную несокрушимость немецкого военно-гражданского аппарата, этих часовых, этих офицеров, эти грузовики, эту, на первый взгляд, безупречную организацию. И вместе с тем, мы знали, что со всех сторон на немцев направлены миллионы враждебных взглядов, и вся эта мнимая несокруши-

мость может рухнуть в несколько дней, и опять повторится то, что уже было много раз в истории, когда великолепные армии превращались, как по волшебству, в жалкий сброд пленных и оборванцев. Так это и произошло, но зрелище, которого мы были свидетелями, стоило слишком много человеческих жизней.

Мне вспоминается рассказ пожилого человека, одного из моих соотечественников, жившего в 1918 году на Украине, занятой немцами. Он и один из его друзей проходили мимо немецкого поста. – Посмотрите на этого часового, – сказал один из них, – посмотрите, какая выдержка, какое оружие, какая дисциплина. Нет, эта нация непобедима. Этот солдат умрет с оружием в руках, но он останется всегда, до смерти, таким же героическим гренадером.

И по необъяснимой случайности – в Германии была революция – на следующий день после этого разговора тот же самый, солдат в незастегнутом мундире, надетом на грязную рубаху, пришел к моему знакомому и предложил ему продать по сходной цене свою шинель, каску и винтовку, так как война была кончена и он уходил назад, к себе в Германию.

«Эта нация непобедима». Летом 1939 года мои друзья-поляки, муж и жена, проезжали через Германию в Польшу. В вагоне напротив них сидел пожилой немец в целлулоидовом воротничке, богатый гамбургский подрядчик, ехавший в Польшу навестить свою дочь, у которой недавно родился ребенок. Он ежеминутно восхищался Германией, ее государственным устройством, мудростью Гитлера, справедливостью германских законов. Немецкие граждане имели право вывозить за границу не больше шести марок. Приближаясь к Польше, старик стал волноваться. Таможенному офицеру он заявил, что он с собой везет не шесть марок, а больше. Он начал рыться во всех своих карманах, всюду находил деньги и набрал, наконец, около одиннадцати марок. Жалобным голосом он просил офицера оставить ему всю эту сумму. – Вы понимаете, я приезжаю ночью в чужую страну, в незнакомый город, мне нужно хотя бы на номер в гостинице...

Над ним все посмеивались, и, наконец, ему разрешили вывезти его одиннадцать марок. – Эта нация непобедима, – сказал мой друг своей жене. – Ты видишь, какая удивительная дисциплина у всех граждан, у любого немца, в том числе и этого старика. Ты видишь, ему в голову не придет мысль скрыть от контроля хотя бы самую незначительную сумму денег.

Поезд шел уже по польской территории. Старик обратился к моему другу: – Скажите, пожалуйста, где еще будут спрашивать, сколько у меня денег? – Больше не будут спрашивать. – Как, нигде, никто? – Нигде и никто.

Тогда он вздохнул с облегчением. – А разве у вас есть еще деньги? – спросил мой друг. – Еще? – сказал старик. – Я думаю. Что же, вы полагаете, я еду к дочери, она в трудном положении, а я буду оставлять все свои деньги этим мерзавцам? Вот, – он выдвинул чемодан, – у меня здесь сорок тысяч марок, которые я ей везу.

Мне всегда казалась неразрешимой эта немецкая загадка, но ее нельзя не констатировать: вчерашний германский офицер, добросовестно расстреливавший французских заложников, завтра, после поражения Германии, будет с таким же усердием делать то, что ему прикажут победители – подметать улицы или чистить сапоги, без всякого видимого ущерба для своего самолюбия. А через двадцать лет его сын будет бомбардировать незащищенные города мирных стран и гражданское население до тех пор, пока Германия не будет снова побеждена, и тогда он опять будет чистить сапоги или подметать улицы, как его отец.

Но в моменты вооруженного столкновения огромных человеческих масс, в разгар борьбы на поражение или на уничтожение все вопросы оценки, суждения и морали перестают существовать и уступают место другим, разрушительным силам. Народ, у которого в такие периоды продолжали бы преобладать возможности сколько-нибудь беспристрастного суждения, такой народ – и, особенно, его армия – был бы обречен заранее. Возможности суждения медленно возвращаются только после того, как война выиграна, – и это еще одно свидетельство инстинкта самосохранения или национальной жажды бессмертия, словом, выражение одного из основных законов, управляющих

человечеством, – в той мере, в какой постижение этих законов нам доступно.

Даже в странах, где в нормальное время безраздельно или почти безраздельно властвует принцип частной инициативы и индивидуалистического начала, а в такие моменты все личное отходит на второй план, всякая индивидуальность начинает действовать только для коллектива. Достаточно вспомнить упрямый героизм целой страны – почти беззащитную Англию в 1940 году и летчиков, которые поднимались со своих аэродромов, зная наверное, что они идут на бой с врагом, преимущество которого колебалось от 6 до 10 против одного. Достаточно вспомнить дивизии генерала Мак-Арчера на Филиппинах, месяцами ведущие заранее проигранную кампанию, – и станет понятно, что простейшее беспристрастное отношение к обстановке должно было бы с неумолимой логикой доказать этим людям бессмысленность всякого сопротивления и необходимость сдаться. Но ни англичане, ни американцы не сдались и не думали ни о каком беспристрастном суждении – и они выиграли войну.

В поведении русских партизан во Франции тоже, прежде всего, поражает эта абсолютная одинаковость их поступков и побуждений – вплоть до того, что рассказы самых разных советских людей совершенно похожи один на другой – так, как если бы их повторял с некоторыми бытовыми вариантами один и тот же человек, какой-то собирательный советский военнопленный, бежавший из немецкого лагеря. Они действовали так, точно очень давно, еще в России, они предвидели все, что с ними произойдет, – все обстоятельства их плена, условия или возможность побега и участие в партизанской войне на французской территории. Было вне человеческих возможностей предвидеть одну сотую тех бесчисленных обстоятельств, в которых все происходило. И вместе с тем, они поступали так, как поступали бы люди, руководствовавшиеся подробно разработанным планом. И их поведение во всех случаях было совершенно одинаково.

Один из моих знакомых, почтенный человек, всегда игравший известную роль в парижской эмиграции, навещал время от времени тюрьму Santé – с тем, чтобы помогать

русским заключенным, которые туда попадали и которые чаще всего были лишены какой бы то ни было юридической защиты. Придя туда осенью 1944 года, он узнал, что там есть русский заключенный, посаженный за «попытку воровства» и не знающий ни слова по-французски. Он вызвал его; это оказался молодой широкоплечий человек с открытым лицом. – За что вас посадили? – Не знаю. – Как не знаете?

Но заключенный продолжал утверждать, что он этого не знает, и рассказал, при каких обстоятельствах произошел арест. Он был советский, они приехали в Париж с товарищем на велосипедах и должны были отправиться в казарму. Так как было поздно и темно, то они решили переночевать в гостинице и утром начать поиски казармы. Он пошел в гостиницу, а товарищ остался внизу, у витрины кафе. Когда он спустился, того не было. У кафе стоял велосипед. Он стал присматриваться – не их ли это велосипед. Тогда к нему подошел жандарм, надел на него наручники и отвел в комиссариат. Там его допросили и отправили в тюрьму. Трудно себе представить, как происходил допрос; арестованный не понимал по-французски, в комиссариате, конечно, никто не знал по-русски – в этом смысле познания и арестованного, и арестовавших были совершенно одинаковы. В тюрьме он сидел уже месяц, никто об этом не знал и никто им не занимался. – А где вы были до Парижа?

Он назвал большой город на Уазе. – Что вы там делали? – Был партизаном. – Вас кто-нибудь там знает?

Он ответил, что его знают все.

Мой знакомый написал письмо мэру этого города, прося его сообщить, если возможно, какие-либо сведения о русском, Смирнове, который утверждает, что был партизаном. С обратной почтой пришел ответ – я привожу его дословно:

«В ответ на ваше письмо от десятого числа этого месяца по поводу Смирнова, русского заключенного в тюрьме Santé, и его товарищей я могу вам сообщить следующие сведения, которые я собрал о них. Начальник FFI Роберт Таро, служащий в данное время в качестве лейтенанта в Бовэ, заявил мне, что он знает Смирнова как

человека положительного, храброго и честного. Он был в партизанском отряде вместе с г-ном Андрэ, муниципальным советником города и директором предприятия Порнэ, который подтвердил заявление г-на Таро и сообщил, что Смирнов и его товарищи участвовали в боях и убили или вывели из строя около пятнадцати немцев.

Что касается нас, муниципалитета, мы приняли их самым сердечным образом, и они произвели на нас прекрасное впечатление. Мы обещали им всяческую поддержку, на тот случай, например, если бы они захотели получить работу на предприятиях нашего района. Вот номера продовольственных карточек, которые мы им выдали: (следуют номера). Я прилагаю петицию об освобождении, подписанную товарищами, которые были вместе с ними. Прошу вас верить...» и т.д.

Смирнов, между тем, в ожидании ответа мэра, писал моему знакомому из Santé:

«Виктор Александрович, я никогда в жизни не воровал, и вот, видите, в настоящее время я в тюрьме и обвиняюсь за воровство, про которое я даже не мечтал, моя судьба такая, и от судьбы далеко не уйдешь».

Его, к счастью, удалось освободить – и тогда он подробно рассказал, как он действовал.

Его прибытию во Францию предшествовал долгий плен. Он бежал в первый раз, его поймали и посадили в Кенигсбергскую тюрьму, где он пробыл шесть месяцев. Затем его выпустили и отправили на работы. Он немедленно бежал второй раз. Его снова поймали, и он опять попал в тюрьму, тоже на шесть месяцев. В феврале 1944 года его привезли во Францию. 27 марта он бежал.

Он и три его товарища построили себе хижину в лесу, недалеко от реки, и как только почувствовали себя в сравнительной безопасности, по собственной инициативе, вне связи с кем бы то ни было, начали партизанскую войну против немцев. Стояли холода, им нечего было есть, нечем было укрываться; входить в контакт с местным населением они первое время боялись. Над ними было чужое небо, вокруг них – незнакомые, чужие леса; за тысячи километров отсюда, где-то в страшной дали, существовал русский фронт и шли бои; союзные армии были

сосредоточены на британском побережье, но поблизости не было никого, кроме вездесущих оккупационных войск; Но все это не помешало им действовать. Еще до побега, работая на крупной железнодорожной станции, они выливали бензин из бидонов и пробивали дыры в цистернах; из-за их небрежности драгоценное смазочное масло вытекало из сосудов, в которых находилось, и лилось на землю. Но это был всего только саботаж.

Смирнов рассказывал, что их больше всего стесняло отсутствие огнестрельного оружия: его нужно было достать любой ценой. И вот, вчетвером, они атаковали ночью немецкий патруль. Он не рассказал подробностей этой атаки четырех безоружных пленных на вооруженный патруль. Это было ночью, в лесу, и после отчаянной борьбы им удалось захватить автоматическое ружье и девяносто патронов к нему. Дальнейшее было просто: засады, нападения на немецкие отдельные автомобили и, наконец, на транспортные колонны. Немцы никак не могли предполагать, что все эти «покушения» совершаются отрядом из четырех человек. Лес был окружен, выходить к дорогам стало опасно. Они ушли глубже в лес, и всякий немец, который имел несчастье зайти на отдаленные тропинки, обратно не возвращался. Иногда это были одинокие солдаты, иногда небольшие патрули; один раз три немецких велосипедиста во главе с капитаном бесследно исчезли в лесу, и много дней спустя в небольшом рву были, наконец, найдены их трупы, наполовину засыпанные листьями. Несколько позже советские партизаны вошли в связь с французской Résistance и в дальнейшем воевали уже под командой тех людей, которые потом дали такой отзыв о Смирнове, сидевшем в тюрьме Santé по обвинению в попытке кражи. Характерно, что этот человек, столько раз бежавший, атаковавший голыми руками немецкий патруль, не оказал ни малейшего сопротивления французскому жандарму, который надел на него наручники и которого он, конечно, мог бы убить раньше, чем тот понял бы, в чем дело. Но он считал, что все это происходит в освобожденной и союзной стране, что это, конечно, недоразумение и что жандарм просто дурак, в чем, я думаю, он, может быть, был недалек от истины.

У тех из них, которые решали бежать во что бы то ни стало, было непостижимое упорство, и один из партизан северного района Франции, молодой человек, которому в начале войны не было двадцати двух лет и история которого была мне известна во всех подробностях, казался мне особенно неукротимым даже среди своих советских товарищей. Его часть была окружена, орудия были взорваны, солдаты должны были в индивидуальном порядке переходить через фронт, чтобы попасть к своим. Федя – его звали Федя – пробрался, как другие, был задержан на переправе через Днепр и отправлен по этапу в Кировоград. Из Кировограда он бежал – первый побег. Его поймали и отправили в Новомосковск, где из лагеря в 24 000 человек осталось в живых меньше 6000. Он бежал оттуда – второй побег, был арестован через несколько дней и отправлен в гестапо в городе Мерефе, где его пытали три недели и избивали палками – «чуть Богу душу не отдал», – писал он потом в письме к своим родителям. Затем его перевезли в харьковскую тюрьму и оттуда эвакуировали на юг. Он разобрал пол вагона и на ходу выпрыгнул из поезда – третий побег.

Он упорно стремился добраться до передовых линий Красной Армии, и ему так же упорно не везло. Его арестовали, голого, в ту минуту, когда он собрался переплывать Днепр. На этот раз его повезли через Польшу и Германию. Он был уже за Варшавой, которая осталась позади, в семидесяти километрах. Он выломал решетку вагонного окна и ночью, на всем ходу, выпрыгнул из поезда – четвертый побег. Я представил себе с особенной ясностью стук вагонных колес, мглу, летящую навстречу поезду, и тень этого неутомимого человека, мелькнувшую в темноте, и шум щебня на насыпи.

На этот раз ему удалось добраться до Винницкой области. Но староста деревни, в которой он нашел временный приют, предложил ему выбор: либо он выдаст его гестапо, либо Федя поедет в Германию на работы. Федя провел несколько бессонных ночей, обдумывая свое решение. В конце концов он согласился на второй выход. К тому времени его план был готов: «Работать в глубоком тылу неприятеля».

«Уже настал 1943 год, – писал он своим родителям. – Почти полтора года я скитаюсь по чужим краям, далеко от вас и родного дома».

Это было написано с севера Франции, куда он попал и где он тотчас же вступил в партизанский отряд – после своего пятого побега.

Надо только представить себе эти пять побегов из немецкого плена. Каждый побег, конечно, был сопряжен с неимоверными трудностями и со страшным риском. Большинство людей вообще не бежит из заключения; у некоторых, наиболее крепких из них, хватает душевной силы на один побег. У Феди этой силы хватило на пять. И серию его побегов – опять, как почти всегда, – остановила только смерть.

«Я – в подполье, бежал из лагеря, – кончал он свое письмо. – Если это письмо дойдет до вас, а меня не будет, не грустите. У вас есть еще два орла, думаю, что они на фронте. Из кратера войны меня судьба загнала далеко в чужие края. Увижу ли родину или нет? Весной сделаю отчаянную попытку – или свобода, или смерть».

О какой попытке думал этот неудержимый человек? Может быть, он хотел пробраться из Франции в Россию, сквозь сотни немецких дивизий оккупированной Европы и Восточного фронта? Или: Ла-Манш, Англия, Африка, Персия и – Кавказ? Но нам так же не суждено было это узнать, как ему не суждено было осуществить эту попытку: он был убит в столкновении с немцами возле Дуэ, на той французской, земле, где для него была предназначена далекая и безвестная могила.

Центральный Комитет партизанской организации был лишен, конечно, возможности контролировать все русское партизанское движение во Франции. Трудность сообщения, с одной стороны, невозможность полного учета всех бежавших военнопленных – с другой, создали такую обстановку, при которой юг Франции, например, действовал вне какой-либо связи с Парижем. В некоторых других департаментах Франции образовались самостоятельные отряды советских партизан, и люди, стоявшие во главе

их, иногда даже не знали о существовании центральной организации. Многие бежавшие пленные вступали просто в отряды французской Résistance. Но это не имело особенного значения, потому что, независимо от того, как это происходило – в индивидуальном порядке, в связи с центром или без связи с ним, – все эти люди действовали совершенно одинаково, точно повинуясь подробным инструкциям, которых им никто не давал. Это было стихийное движение, столь же общее, столь же не знающее исключений, как движение русских народных масс в 1812 году.

В этих партизанских отрядах иногда бывали советские девушки или женщины. Они редко участвовали в боях; в их обязанности входили, чаще всего, хозяйственные занятия. Одну из них, Наташу, я знал очень хорошо.

Я с ней встречался только в Париже, но Алексей Петрович, который был вместе с ней в партизанском отряде, говорил мне, что там она была совершенно другой. Там был лес – деревья, густая трава, – и там она чувствовала себя как рыба в воде. К Парижу она так до конца и не могла привыкнуть. Такое тяготение к природе среди русских, особенно тех, кто рос в деревне, как Наташа, очень частое явление. Она была родом из Смоленской губернии. Когда она рассказывала мне о своем детстве, о летних днях в центральной России, о ранней осени, о том, как шумит трава или рожь, как издали чувствуется влажное движение реки или неподвижная свежесть пруда, – я вспомнил эти бесчисленные оттенки и переливы запахов земли, сена, травы, деревьев, медленного дыма над кострами, вспомнил, как пахнут птичьи гнезда с теплыми птенцами, вспомнил, как в холодеющей и нежной синеве неба высоко, не шевеля крыльями, парит орел и как летят гуси. Я вспомнил, как однажды, лежа на берегу пруда, я увидел в неподвижной его воде отражение единственного белого облачка и рядом с ним, в страшной небесной глубине, пролетающих журавлей. Я слушал, как она рассказывала о таких вещах, которых я был лишен столько лет, и мне казалось, что я вновь вижу перед собой этот давно исчезнувший, огромный и неповторимый мир моего детства.

Это был мир постепенных переходов от лета к осени, от осени к зиме от зимы к весне, мир тех чувств, медленную прелесть которых я начал забывать, мир далеких горизонтов, бесчисленных деревьев и огромных лесов, воздушных волн сгибающейся под ветром травы; это мир, вне которого всякое представление о России остается теоретическим и неправильным.

В Париже Наташа съеживалась, ей было не по себе. Иногда она ложилась на диван лицом вниз и лежала так, не двигаясь. – Что с вами? Вы нездоровы? – Ой, домой хочется!

И у нее были слезы в голосе.

Потом она спрашивала меня: – Почему, Георгий Иванович? Я этого не понимаю. – И я отвечал ей, стараясь вложить в свой ответ столько мягкости, сколько мог: – Дура потому что.

Она знала бесчисленное множество советских песенок – о партизанах, о танкистах, о пограничниках, о каких-то «знакомых силуэтах» – и пела их без всякой заботы о каких бы то ни было голосовых эффектах, как поют, опять-таки в поле или в лесу, когда вас никто не слушает.

Она была необыкновенно впечатлительна и доверчива, как ребенок. За исключением нескольких вещей, которые она твердо знала и где она не поступилась бы ничем, ее можно было убедить в чем угодно. В ней тоже был – как и во всех советских партизанах – постоянный запас центробежной силы, которая требовала выхода. Всякий вид деятельности ее захватывал целиком, и она не представляла себе жизни вне чего-то «ударного»: партизанская война, строительство, план, ликвидация, кампания и т.д. Ей было все равно – арктическая экспедиция или назначение в субтропики, Архангельск или Эривань. Но в Париже не было ничего похожего на это, и оттого она здесь томилась.

В партизанском отряде ее обязанности заключались в починке порванного обмундирования, в стирке белья; кроме того, она была связной между разными фермами, откуда шло «интендантское снабжение», и штабом отряда. В свободное время она бродила вместе с Алексеем Петровичем по окрестностям и разговаривала с ним о самых разных вещах.

Он рассказывал мне, что однажды, пройдя через густой лес, где, судя по всему, давно никто не бывал, они вышли к небольшому холму – на нем стояла полуразрушенная, забытая церковь. Она находилась очень далеко от всякого жилья, и, наверное, десятки лет здесь никто не был. Низкие каменные скамьи вокруг нее давно покрылись глубоким слоем густого мха; дорога к ней настолько заросла цепкой травой, что ее почти нельзя было заметить. Маленький колокол, зеленый и бурый от времени, висел среди каменных обломков. Она была похожа на развалины какой-то исчезнувшей культуры, затерянные в глухом пространстве. На могильных плитах были имена людей, погибших во время французской революции.

– Было нечто странное в этом соединении, – сказал Алексей Петрович. – В нескольких километрах отсюда стоял лагерь советского партизанского отряда «Максим Горький» с пулеметами, автоматическими ружьями и планом ближайших действий против германской армии – словом, 1944 год. А здесь...

А здесь было давно остановившееся время, конец восемнадцатого столетия, умолкнувший колокол и наполовину рухнувшая церковь.

Алексей Петрович долго стоял перед церковью – и не мог, конечно, не думать о многих вещах, которые на этот раз не были связаны с непосредственной действительностью. Но на Наташу вид церкви не произвел никакого впечатления. Это было потому, как сказал мне Алексей Петрович, что Наташе было двадцать лет, что о церквах вообще она имела только теоретическое и небрежное представление, и еще потому, что этот мир – медленное движение времени, развалины, забвение и смерть – был ей, к счастью, еще непонятен и чужд.

В лагере и вообще всюду, где она бывала, ее любили все: крестьяне на фермах, партизаны, Алексей Петрович и его товарищи. Она относилась к людям вообще хорошо, но особенно ценила Алексея Петровича, и его друзей, и того начальника штаба отряда, русского эмигранта Сержа, который отличался таким исключительным и беспечным бесстрашием. – Говорят, Сережа, – сказал ему Антон Васильевич, – тут где-то, километрах отсюда в пятидесяти, – он

назвал место, – есть какой-то русский отряд, готовый перейти к нам. Хорошо б туда съездить, посмотреть, как там это все. Правда, через немецкое расположение надо пробираться. – Можно съездить, почему же, – сказал Серж.

До этого он никогда не правил автомобилем, но теоретически предполагал, что это не должно быть очень трудно. Он сел за руль грузовика, помахал на прощание рукой, уехал – и вернулся через три дня, с несколькими десятками вооруженных людей, тотчас вступивших в отряд.

После того как партизанская кампания во Франции кончилась, Наташа вернулась в Париж, где я с ней познакомился ближе.

Ей был двадцать один год, у нее было полное, крепкое тело, с той крестьянской тяжеловатостью, которая характерна, кажется, вообще для теперешнего поколения русских женщин: такими были почти все советские девушки, которых я видел здесь или в кинематографических хрониках. Во всяком случае, это тип большинства. Наташа была такой же, у нее были крупные черты лица и огромные глаза очень чистого, очень глубокого оттенка. Она окончила десятилетку, очень много читала и знала – в частности, русских классиков. Она знала даже иностранную литературу: Бальзака, Шекспира, Сервантеса, Гюго, Байрона, Диккенса. Ее воображение, когда она давала ему волю, было, наполнено стихами. В общем, это был тот же мир, который был характерен для девушек ее возраста двадцать или тридцать лет тому назад в России; и все-таки это было не то, что раньше. В ней не было, пожалуй, того движения идей, той свободы сравнительного суждения, которая существовала раньше. И весь этот мир, к которому она чувствовала тяготение, представлялся ей фрагментарным и полным противоречий, носящих запрещенный характер, которого она инстинктивно боялась. Но, как большинство советских людей, ее тянуло к «культуре», и она с жадностью впитывала в себя все, что она узнавала здесь и о чем, конечно, она могла иметь только очень приблизительное представление в том маленьком городке России, где она жила до того, как немцы увезли ее за границу. Ни насильственная работа в Германии,

ни унизительное положение пленной, ни все испытания, через которые ей пришлось пройти, не могли, однако, нарушить той моральной чистоты, которой она отличалась и о которой так безошибочно свидетельствовало выражение ее глаз. Она говорила быстро и смешно, проглатывая половину букв, и я думаю, что иностранцу, даже хорошо знающему русский язык, было бы чрезвычайно трудно ее понять. Больше всего на свете она любила свою мать, о которой все время вспоминала, Россию, российскую весну, и это было самое главное, а Шекспир, Диккенс и Сервантес были только чудесными иностранными гостями в этих российских пространствах, вне которых всякий отрывок ее жизни ей казался только каким-то не в меру затянувшимся и случайным эпизодом.

Надо полагать, что в нормальных условиях огромное большинство людей вообще не знает очень сильных чувств. У русских, к тому же, развитие всякого чувства отличается некоторой медлительностью, как у всех северных людей. Нужны необыкновенные, нечеловеческие потрясения, чтобы стала возможна та страшная ненависть, которую приходилось наблюдать у всех без исключения советских партизан. В одних случаях это была ненависть спокойная и расчетливая, как у Антона Васильевича. Она не заставила бы его совершить необдуманный поступок – особенно если такой поступок мог повредить общему делу. Но чем спокойнее она была, тем она была страшнее. У других она носила бурную и неукротимую форму. Ее, конечно, не существовало в русском народе до войны. У советских солдат, которые были в немецком плену, она совершенно понятна и законна. Один из моих знакомых, французский офицер, проведший в Германии два года, рассказывал мне вещи, которых он был свидетелем и которые, по его словам, он запомнил на всю жизнь. Когда в бараке русских пленных началась эпидемия тифа, немцы просто закрыли доступ к нему и запретили оттуда выходить кому бы то ни было. Умерших сволакивали к выходу каждый день и потом бросали в огромную яму, которую заливали известью. Когда эпидемия кончилась, немцы разделили

оставшихся в живых русских на две категории: тех, кто еще представлял из себя какую-то потенциальную рабочую силу, и других, безнадежных. Немцы считали, что эпидемия кончилась, когда из бараков перестали выносить трупы, – значит, люди больше не умирали. Само собой разумеется, что ни о каких медицинских мерах, и даже о медицинском любопытстве, не было речи. Небезнадежных кормили супом, в котором было небольшое количество овощей. Безнадежных кормили только жидкостью от супа. Этот офицер видел, как весенним днем безнадежные ползали по земле и ели траву; ходить они не могли. Они не имели права приближаться к проволочным заграждениям, отделявшим их от французов, ближе чем на два метра. Он видел однажды, как русский пленный потянулся за особенно сочным пучком травы, росшим в нескольких сантиметрах от проволоки. Немецкий часовой спокойно застрелил его. Все его товарищи были свидетелями этого. Очень может быть, что некоторые из них потом попали на работы во Францию и, бежав, стали партизанами. Какой немецкий офицер или солдат имел бы право рассчитывать со стороны этих людей на что-нибудь, кроме смерти?

Есть люди, которые в своей жизни совершают дурные вещи, люди, на которых нельзя ни положиться, ни рассчитывать, которые забудут вас, когда это будет нужно, и вспомнят о вас только тогда, когда это им необходимо. Они живут так, повинуясь бессознательному эгоизму, им чужды бескорыстные поступки; они не хотят ни умирать за свою родину, ни рисковать жизнью или даже собственными интересами ради самой возвышенной идеи. Их друзья и знакомые хорошо знают им цену. И вот довольно часто бывает, что эти люди вызывают к себе, несмотря ни на что, бессознательную симпатию – может быть, потому, что в них есть какое-то необъяснимое, животное очарование. Я знал женщин, отличительной чертой которых была неверность; их жизнь состояла в том, что они меняли любовников, уходили и почти никогда не возвращались. Но во всех этих женщинах была несомненная и теплая прелесть, и, в общем, их незаслуженно и постоянно любили

все. История жизни каждого плохого человека или каждой такой женщины, то есть хронологическая последовательность дурных поступков, несдержанных обещаний, измен и мелкого отступничества, – не дала бы нужного представления о том, какими они были на самом деле. Потому что, несмотря на все их очевиднейшие недостатки, эти люди создавали вокруг себя какое-то движение положительных человеческих чувств – и этого нельзя забыть.

И есть другие, которых, в общем, надо отнести к категории положительных. Они способны на подвиги, на самопожертвование, даже на героизм, и те мелкие, внешние недостатки, которые могут быть им свойственны, конечно, уступают их несомненным и крупным достоинствам.

И вот, очень часто, этих людей не любят, по отношению к ним бывают несправедливы, их не ценят. Их заслуги признаются теоретически, так как отрицать их невозможно, – но они тщетно стали бы ожидать благодарности или хотя бы признательности.

Я не мог не возвращаться к этим соображениям всякий раз, когда я думал об одной из женщин, принимавших самое деятельное участие в советском партизанском движении здесь. Она была француженкой, ее звали Моника. Она отличалась неутомимостью, готовностью выполнять любые, самые опасные поручения, для нее не существовало невозможных вещей. Перечисление того, что она сделала, могло бы занять целую книгу; заслуги ее были исключительны точно так же, как ее искусство найтись во всякой обстановке и суметь все устроить в любых условиях. Личная ее храбрость была столь же несомненна – и это знали все.

Но я не видел ни одного человека, который был бы по отношению к ней справедлив. От нее отворачивались, с ней разговаривали только тогда, когда это было абсолютно необходимо, и только по делу. Те партизаны, с которыми я говорил о ней, ее презирали – совершенно незаслуженно. Когда я спрашивал их «за что?» – они отвечали мне невразумительно, вроде того, что она, как они выражались, «барахольщица». У нее, действительно, была эта черта скупости и непонятной жадности; она ничего не выбрасывала, возила или таскала за собой множество ненужного скарба и поступала так в партизанском отряде, где вообще

люди не дорожили ничем и где поэтому ее скупость была действительно особенно неуместна. Ей был свойственен вдобавок необъяснимо начальственный тон, которым она разговаривала со всеми, – начальственный и снисходительный и тем более странный, что у нее для этого не было никаких оснований, и партизаны обычно просто посылали ее к дьяволу или пожимали плечами. Все знали, что без нее трудно обойтись, – хотя многие это оспаривали. Когда нужно было что-нибудь сделать, ее с радостью посылали, чтобы отвязаться от нее. Одним словом, всем, что она делала и что заслуживало бы всеобщего уважения и признательности, она добивалась лишь того, чтобы ее кое-как терпели.

Я не знаю, замечала ли она это или нет. Она сама была преисполнена сознания собственных заслуг, она, кроме того, была постоянно снедаема жадностью и этой смешной своей скупостью. У нее не оставалось времени что-либо заметить или над чем бы то ни было задуматься. И вот вся эта героическая эпопея, в которой были, несомненно, романтизм, и презрение к смерти, и великолепная человеческая гордость, – и она приняла деятельнейшее участие в этой эпопее, – все это вянет и тускнеет, как только возникает представление о ней. Я не знаю, за что судьба так жестоко наказала ее; потому что не могло быть большего наказания, чем этот печальный и неизменный дар делать все, к чему она прикасалась, неинтересным и, прожив удивительный период времени, полный самоотвержения и подвигов, не вызвать у всех, кто видел это, ничего, кроме скуки и пренебрежения.

Я говорил о ней с Алексеем Петровичем, одним из самых благожелательных людей, которых я знал; он никогда резко не отзывался о людях и всегда старался находить для их дурных поступков всяческие извинения. – Очень хорошая работница, – сказал он, – очень самоотверженная и вообще достойная. Потом он сделал незначительное движение плечами, точно поежился, и прибавил: – Но тоска с ней смертная.

Мне хотелось довести это до конца. Оставался один человек, которого мне никак не удавалось встретить, Серж, начальник штаба отряда. Мне вообще нужно было поговорить с ним, я видел его много раз, но он всегда торо-

пился и я не успевал его спросить о чем бы то ни было. То, что я знал о нем, я знал со слов других.

И вот однажды я все-таки поймал его. Я объяснил ему, что я хотел от него, и потом задал традиционный вопрос: – Что вы думаете о Монике? Вы были с ней в отряде, жили в одной палатке, вы должны о ней иметь совершенно определенное представление.

Он поморщился и сказал тем неуверенным тоном, который я хорошо знал, потому что он неизменно появлялся у всех без исключения людей, когда они говорили о заслугах Моники, – что она себя вела недурно. Было заметно, что этот положительный отзыв о ней стоил ему большого усилия. – В общем, черт с ней, – прибавил он, – не стоит об этом говорить.

Я начал его расспрашивать о его партизанской деятельности, и он рассказал мне вот что. По образованию он был, кажется, инженер. Он воспитывался во Франции, кончил здесь офицерскую школу и участвовал в войне 1939—1940-го года в рядах французской армии. Затем начались годы немецкой оккупации, и он, естественно, оказался в Résistance. По внешности он был немного похож на капитана Пьера, который, кстати, был его близким другом. Та же мягкость, тот же несколько застенчивый вид, та же несомненная душевная привлекательность.

Он говорил, что работа в парижской Résistance его не удовлетворяла. К тому же он чувствовал себя неуютно, как он сказал. И он объяснил, что его всегда тяготило сознание своей беззащитности. – Арестуют, поведут в гестапо, будут мучить и потом расстреляют – и ничего сделать нельзя. Я готов умереть, – сказал он, – это не страшно. Но я хочу умереть, защищаясь, с оружием в руках и в бою. А вот гибнуть так, в каком-нибудь подвале, – нет, это не по мне.

Его сестра, работавшая в русском патриотическом движении, познакомила его с Антоном Васильевичем, который предложил ему ехать в отряд. – Пожалуйста, – сказал Серж, – хоть завтра.

Свидание с другими партизанами, которые одновременно с ним ехали к maquis, было назначено на шесть часов утра, возле одного из мостов через Сену. Подходя туда, Серж увидел знакомую высокую фигуру. Это был Алексей Петрович. Они знали друг друга чуть ли не двад-

цать лет, но очень давно не виделись – и встретились именно при таких неожиданных обстоятельствах: и тот и другой ехали в отряд Антона Васильевича. Серж наотрез отказался от агитационной миссии, похожей на ту, в которой чуть не погиб Алексей Петрович. – Этого я делать не умею, – сказал он. – Дайте мне отряд, дайте мне людей, задание, все, что угодно. Но это – никак.

И тогда Антон Васильевич предложил ему поездку за партизанами, о которой я уже слышал. Серж отправился туда вместе с одним из поляков, который хорошо знал, как туда проехать, и был в связи со всеми агентами Résistance по всей дороге. К несчастью, этот человек переживал в те дни какую-то любовную драму. До Дижона они доехали благополучно, но, кажется, именно в Дижоне жила та женщина, по отношению к которой спутник Сержа испытывал такие сильные и несвоевременные чувства. – Этот болван, – спокойно сказал мне Серж, – настолько обалдел, что ухитрился в Дижоне потерять все свои бумаги, и мы застряли, в этом городе на четыре дня.

Были какие-то праздники, по случаю которых гестапо устроило целый ряд облав. Ночью Сержа все время будили и переводили из одного дома в другой, в зависимости от того, к какому кварталу приближались обыски. Все это ему смертельно надоело. – Ну, брат, – сказал он поляку, – ты тут доставай бумаги, а я уж один как-нибудь доеду. И он продолжал путешествие без своего спутника. Когда он доехал до назначенного пункта – небольшая ферма где-то у черта на куличках, как он это определил, – за ним явилась связная на велосипеде, и они вместе отправились в штаб польского партизанского отряда, в состав которого входили советские патриоты. Они ехали по ухабам, то вверх, то вниз, и, наконец, добрались до великолепного замка в лесу. Когда они к нему подъезжали, навстречу им ринулись какие-то люди, вооруженные донельзя и обвешанные гранатами. Это оказались, советские партизаны. В замке Сержу был устроен прием, поразивший его – как и сам замок – своим великолепием. В роскошном зале сидели декоративные партизанские офицеры, курившие сигары гигантских размеров и редкого достоинства.

Заказ № 3236

На следующий день, разместившись в четырех автомобилях, где нельзя было повернуться от людей, оружия и гранат, партизаны во главе с Сержем двинулись в путь. Не хватало одного шофера, и именно тогда Серж сел за руль – чего до сих пор ему не приходилось делать – и благополучно провел автомобиль через два департамента. Польские офицеры с сигарами всячески отговаривали Сержа от автомобильного переезда, подчеркивая опасность этого, и советовали идти с людьми пешком. Но по приблизительным расчетам выходило, что на такой переход потребуется минимум месяц. В понятии «риск», вообще говоря, Серж, я думаю, плохо разбирался или, вернее, как-то не мог найти в себе усиленного интереса к подробному обсуждению этого рода вопросов. Он рассуждал приблизительно так: – Если нас атакуют, мы же, черт возьми, не маленькие, мы прекрасно вооружены и примем бой, а там посмотрим, что из этого выйдет. Уклоняться же от этого во что бы то ни стало, может быть, и очень благоразумно, но зачем тогда вообще воевать? Над автомобилями развевались трехцветные французские флаги, из окон смотрели дула пулеметов. И таким образом, сдавленные со всех сторон, обложенные оружием и гранатами, с выставленными наружу пулеметами, эти четыре автомобиля неслись полным ходом по оккупированным департаментам Франции. – Проехать было несложно, – сказал Серж, – но только, конечно, проселочными дорогами.

Когда они подъезжали к одной деревне, какая-то женщина отчаянно замахала им руками, давая понять, что здесь немцы. Но они с разгону, не сбавляя хода, въехали туда и помчались дальше. На главной улице, действительно, стоял отряд немцев. Все произошло так быстро, что, как сказал Серж, «ни немцы ничего не успели сообразить, ни мы». Так и проехали без единого выстрела.

В другой раз их опять задержала женщина – так же, как первая. Но в данном случае об опасности не было речи. Она просто плакала от счастья, увидев на автомобилях трехцветные флаги, и хотела непременно выразить свои чувства французским партизанам. – И хотя среди нас не было ни одного француза, – сказал Серж, – я считал, что мы не имеем права лишать ее этого удовольствия.

И они благополучно прибыли в отряд.

Серж рассказывал, что maquis очень неохотно отдавали своих советских партизан Антону Васильевичу. – Почему? – Отчаянный народ, – сказал Серж. – В принципе люди делают так: когда начинается стрельба, они сначала занимают защитную позицию, потом выясняют, в чем дело, а потом уже все начинается. А эти, как только стрельба, стремглав несутся туда.

Один французский полковник совершенно категорически отказался вернуть своих двух советских партизан, и никакие уговоры на него не подействовали. Он объяснил Сержу, что это невозможно, и в доказательство привел следующий случай.

Он находился с группой из десяти человек в небольшом городке, когда ему сообщили, что туда приехали два больших немецких грузовика, на каждом из которых было двадцать вооруженных солдат. Он приказал своим людям разойтись и скрыться, чтобы не погибнуть даром в неравном и бессмысленном сражении. Но двое советских партизан смотрели на этот вопрос совершенно иначе. Оба они были здорово навеселе и жестами всячески успокаивали полковника. – Они, по-видимому, хотели дать мне понять, что опасность сильно преувеличена, – сказал полковник.

И эти сумасшедшие люди вдвоем завязали бой против сорока немцев на грузовиках. Они действовали исключительно гранатами; выскакивали из-за углов с диким криком, после которого слышались отчаянная стрельба и взрывы, и находили время, пользуясь короткими паузами, еще глотнуть коньяку. Они перебегали с места на место, прятались, снова бросали гранаты и измотали немцев так, что те, потеряв какое-то количество людей ранеными и убитыми, уехали из города. – Я никогда не представлял себе, что такие вещи возможны, – сказал полковник. – И вы хотите, чтобы я вам отдал этих людей? Даже и не думайте об этом! – Это было удивительное время, – сказал Серж.

Однажды он вышел из леса, прошел некоторое расстояние и наткнулся на лагерь английских парашютистов. – Тоже серьезный народ, – сказал он. – Они жили тут так, точно это было совершенно нормально и как будто это

происходило на мирной британской территории. Но самое удивительное – это то, что они умудрились спустить на парашютах «джипы», на которых спокойно разъезжали. – Вы помните приказ Антона Васильевича, – сказал я, – где сообщается об убитых в бою партизанах – французе Ренэ и русском Михаиле? Вы не знаете, как это произошло? – Знаю, – ответил он. – Мы вели бой против немецкой машины. Ренэ и я стреляли из ручных пулеметов по немцам, те стреляли по нам. С нами был еще один партизан, испанец. Вдруг Ренэ поднялся, бросил пулемет, подошел к стене и остановился. Он стоял так неподвижно, во весь рост. Я сказал испанцу: – Он, наверное, ранен, отнеси его в гараж. (Бой был возле гаража.)

Сам Серж стрелял без перерыва. И когда испанец подошел к Ренэ, который продолжал стоять, не двигаясь, и хотел ему помочь, Ренэ, не сгибаясь, во весь размах своего тела, рухнул на землю: он был мертв. – Михаил был убит с другой стороны, – сказал Серж, – он подходил к автомобилю с гранатой, но не успел ее бросить, потому что пуля попала ему в голову.

Он сидел против меня в мирной парижской квартире; на нем были открытая рубашка и серый летний пиджак. Иногда он оборачивался по сторонам и смотрел вокруг своими мягкими карими глазами. В нем не было ничего ни воинственного, ни героического. В этом смысле именно теперь он был похож на двух своих товарищей по партизанской войне – на капитана Пьера и на Алексея Петровича. Они втроем представляли бы из себя совершенно идиллическое соединение, бесконечно удаленное от всякого представления о войне. Если бы другие люди были похожи на них, то мир, надо думать, никогда бы не нарушался. Они были благожелательны, мягки и уступчивы. Эту категорию людей национал-социалисты презирали: их мягкость они считали бы признаком слабости, их уступчивость – признаком трусости. Более грубой ошибки нельзя было совершить, потому что события показали, что ни один из них не боялся ни риска, ни ответственности, ни смерти и ни один из них не уклонился бы от борьбы самой страшной, самой неравной, самой безнадежной. И в нужную минуту эти идеалисты оказались рядом с

советскими партизанами во время последней схватки на французской земле. Победа над ними значила бы, что побеждены последние остатки свободы, разума и культуры; и она оказалась так же невозможна, так же неосуществима, как и иллюзия тех малограмотных преступников, которые правили Германией, – по поводу всеобщего торжества национал-социализма.

Я не знаю, будет ли когда-нибудь написана история советского партизанского движения во Франции. Для этого были бы необходимы предварительные данные, многочисленные показания участников этой войны, подробные описания боев и т.д. – может быть, тогда стала бы ясна вся последовательность развития событий.

Я никогда не ставил себе цели сколько-нибудь исторического порядка. Но обстоятельства сложились так, что мне пришлось быть в непосредственном соприкосновении с организаторами этого движения, пришлось встретиться с очень многими рядовыми его участниками – как во время немецкой оккупации Парижа, так и после отступления германской армии с французской территории.

Эти люди, в особенных и в исключительно трудных условиях, защищали, ценой жизни, свою родину. Это, конечно, был их долг. Но они были пленными, и никто не мог бы предъявить к ним таких далеко идущих требований. До того как попасть в плен, они были солдатами и дрались на фронте. Если бы они таким образом выполняли свой долг, в этом не было бы ничего удивительного: миллионы людей всех национальностей поступали так же. Но то, что их отличает от других, это их героическое упорство. Нужна исключительная душевная сила, чтобы, будучи пленным, не признать себя побежденным. Но для того, чтобы преодолеть голод, пытки, каторжный труд в нечеловеческих условиях и чтобы, преодолев все это, еще сохранить ту неукротимую энергию, которую проявили советские партизаны, и вновь взяться за оружие, – для этого нужна какая-то особенная, какая-то постоянная непобедимость.

И с другой стороны, для того, чтобы, сталкиваясь с этими людьми, зная, какую страшную жизнь они вели, зная, через что они прошли и в каких условиях они продолжали борьбу, не испытать по отношению к ним невольного чувства благодарности, нужно обладать той мертвой бесстрастностью, которой я не могу в себе найти.

Сами о себе они не напишут и даже не расскажут. Кроме того, всякому их выступлению такого рода – если бы оно произошло – другие люди, не бывшие свидетелями этого, могут теоретически приписать характер личной заинтересованности. Это было бы в высокой степени несправедливо, но с возможностью такой несправедливости, иногда почти невольной, нельзя не считаться.

Я не советский гражданин и не коммунист – и мне не угрожает никакая критика личного порядка. И я пользуюсь этим, чтобы подчеркнуть еще раз, это торжество героизма над насилием, воли над действительностью, настоящей непобедимости над мнимой победой и – я надеюсь – благодарности над забвением.

Партизан нельзя сравнивать с регулярными войсками. Они прошли через медленную смерть германского плена, через все невообразимые человеческие унижения; громадное большинство людей может понять это только отдаленно-теоретически. Они были обречены – и вот, в силу необыкновенной случайности, они спаслись от неминуемой гибели, и в их руках появилось оружие. Они сражались за свою родину в чудовищно неравном бою; и если бы они были совершенно неумолимы, я думаю, никто не имел бы права упрекнуть их в этом.

Много лет тому назад в России один офицер убил другого шестью выстрелами из револьвера (это было во время гражданской войны). Когда председатель суда спросил его, почему он это сделал, он ответил: – Этот человек и двое его товарищей ворвались в мой дом, связали меня, застрелили на моих глазах мою мать, и он изнасиловал при мне сначала мою сестру, потом мою жену в присутствии моего шестилетнего сына. Мне было бы стыдно смо-

треть вам в глаза, если бы я не убил его. И я хотел вас спросить: могли бы вы на моем месте поступить иначе?

Его присудили к условному наказанию – и через полчаса он был свободен.

Сколько тысяч таких историй могли бы рассказать советские партизаны? Они гибли в немецких лагерях от голода и побоев, они умирали в тюрьмах гестапо, все усилия немецкого народа были направлены к тому, чтобы их уничтожить. Но эту силу победить было нельзя. Ни танки, ни гранаты, ни бомбы, ни голод, ни плен не могли сломить этих людей. Они возникали всюду как страшное напоминание о смерти, и вот, во тьме европейских ночей, раздались их выстрелы, загремели сходящие с рельсов поезда, взлетели на воздух мосты и там, где они проходили, оставались немецкие трупы. До чего должна была дойти Германия, чтобы рука тринадцатилетнего мальчика, восьмилетний брат которого был расстрелян, чтобы эти детские пальцы нажимали гашетку револьвера, направленного в немецкого солдата?

За тысячи верст от своей родины, в чужой стране они продолжали борьбу. Они продолжали бы ее на Аляске или на Огненной Земле, в Клондайке или в Тибете до тех пор, пока жизнь не покинула бы их. Это было крайнее выражение того справедливого гнева, который сильнее, чем любые стратегические сопоставления, численность армий и вооружения, предопределил поражение Германии.

Не все советские пленные, конечно, стали партизанами; только лучшие из них. Они сохранили до конца свою дисциплину, и это не могло быть иначе, потому что всякое нарушение этой дисциплины, как всякий неправильно рассчитанный шаг, грозило им смертельной опасностью. Их идеи и их интересы – одновременно – диктовали им примерное поведение по отношению к населению, так как без его поддержки партизанская война была бы невозможна. Кроме того, они воевали за общее дело, против общего врага, подвергаясь тому же риску, что и французы, и отсюда возникла та их связь с Résistance и населением, которая прочнее любых других человеческих отношений. Об этом знают все, для кого «боевой товарищ» не есть

только теоретическое представление, а личный опыт, который ничем нельзя заменить.

Я думаю, что до сих пор в истории бесчисленных войн, которые вело человечество, не было такого убедительного примера какой-то априорной непобедимости, как тот, что мы могли наблюдать здесь, во Франции, и который выразился в существовании советского партизанского движения на этой иностранной территории. Упорную силу его не могли задержать ни тысячи километров, отделявшие его от тех мест, где оно возникло, ни годы жестокого плена, ни кажущаяся на первый взгляд бесспорной материальная невозможность борьбы. И вот, на какой-то короткий период, над этими людьми оказались бессильны пространство, и время, и неотступная, ежедневная угроза смерти.

Война в Европе кончена. Серия страшных событий, начавшаяся 2 сентября 1939 года, дошла до своего формального конца и на наших глазах уже становится историей. И то, чего мы были свидетелями, в ближайшее время приобретет призрачную неподвижность, характерную для всякого представления о прошлом. Пройдет еще несколько лет, и все начнет медленно забываться. Может быть, мы бессильны против неизбежности забвения. Но я считаю, что мы не имеем на это права. И я думаю также, что страна, за которую они умирали в чужих, европейских пространствах, окруженные со всех сторон вражескими войсками, в таком страшном русском одиночестве, что эта страна тоже не должна и не может забыть их далекого и смертельного героизма.

Париж. 19 мая 1945 г.

Комментарии

Во второй том Собрания сочинений включена проза, созданная в предвоенный и военный периоды. Она печатается по прижизненным изданиям: роман «Ночные дороги» по книге, вышедшей в издательстве им. Чехова в 1952 г., рассказы – по журнальным и газетным публикациям. Исключение – документальная повесть «На французской земле» (1946); впервые опубликованная в Париже на французском языке, здесь она публикуется по оригиналу на русском языке, найденному Л. Диенешем в Архиве Газданова в Гарвардском университете.

Комментаторы тома: Л. Диенеш, Ст. Никоненко, Л. Сыроватко.

НОЧНЫЕ ДОРОГИ

Впервые – Современные записки. 1939. № 69; 1940. № 70 (под заглавием «Ночная дорога»). В связи с началом военных действий во Франции публикация прекратилась, роман закончен во время войны; в конце рукописи указана дата: «11 августа 1941, Париж». Отдельное издание: *Газданов Г.* Ночные дороги. Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1952. Печатается по этому изданию.

Впервые в России – Лит. Осетия. 1988. № 71 (в сокращ.); *Газданов Г.* Вечер у Клэр: Романы и рассказы / Сост., вступ. ст., коммент. Ст. Никоненко. М.: Современник, 1990.

Архив Газданова. Рукопись датирована: «Paris, 1941 August 11». Тетрадь 9. В журнальном варианте роману предпослан эпиграф: «И вспоминая эти годы, я нахожу в них начала недугов, терзающих меня, и причины раннего ужасного моего увядания. *Бабель*».

Неоконченная публикация в журнале отличается от полного отдельного издания: в журнальном варианте многие диалоги даются по-французски и, как пишет Газданов А. Хадарцевой 9 декабря 1964 г. «на языке парижского дна»; лишь в редких случаях в сносках их сопровождают переводы. В отдельном издании все диалоги даны на русском. Газданов перевел их по просьбе издательства, которое просто ликвидировало французский текст и заменило его русским (см. письма А. Хадарцевой в т. 5).

Кроме того, издатели сделали свои вставки в сноски.

Роман автобиографичен, у всех персонажей были прототипы в реальной жизни. Лишь под влиянием жены Газданов дал им другие

имена, многие из них весьма прозрачно напоминают подлинные. Так, известный клошар Сократ в книге получил имя Платон, а знаменитая проститутка Жанна Бальди у Газданова названа Жанной Ральди.

На начало журнальной публикации откликнулся лишь Г. Адамович (Последние новости. 1939. 29 сент.), но поскольку был напечатан только первый русский фрагмент, никаких выводов критик не делал.

В русскоязычной прессе появились рецензии В. Арсеньева (А.В. Поремский) в «Гранях» (1952. № 16) и А. Слизского в «Возрождении» (1953. № 29).

Оба рецензента упрекали автора в интересе к «отбросам» ночного Парижа и равнодушии к судьбам героев. «Отказать автору нельзя ни в находчивости, ни в наблюдательности, – писал А. Слизской, – портретные зарисовки проституток, алкоголиков, сутенеров, наркоманов и развратников удачны, остры и точны. Удивляет нечто другое: Газданов с пристальным, холодным и брезгливым вниманием наблюдает этот своеобразный мир, но ни сострадания, ни сочувствия к своим героям не может, вернее, не хочет вызвать в душе читателя». Критика явно не почувствовала гуманизм произведения, в котором ярко и зримо показана взаимосвязь человеческого характера, социальных обстоятельств и судьбы.

С. 8. *Passy и Auteuil* – в отдельном издании книги дана сноска: «Названия аристократических кварталов Парижа», явно принадлежащая издателям.

С. 12. *...читал им шиллеровскую «Перчатку»...* – В основе баллады Фридриха Шиллера (1759–1805) «Перчатка» (1797) – исторический анекдот о рыцаре Делорже, который по вызову своей дамы, уронившей перчатку на арену, где были тигры и львы, принес перчатку и бросил ей в лицо. На русский язык баллада переведена В. Жуковским.

С. 18. *...имел архаические, но очень твердые убеждения государственного порядка, все должно было основываться... на трех принципах: религия, семейный очаг, король.* – Несколько измененная формула французского абсолютизма: «La foi, le roi, la loi» (Вера, Король, Закон) – подобная русской «Православие, Самодержавие, Народность».

С. 19. *...сравнивал Гамлета с Пуанкаре и Вертера с тогдашним министром финансов...* – *Гамлет* – герой одноименной трагедии У. Шекспира (1601); Раймон *Пуанкаре* (1860–1934) – президент Франции в 1913–1920 гг., премьер-министр в 1922–1924, 1926–1929 гг.; *Вертер* – герой романа И.В. Гёте «Страдания молодого Вертера» (1774), покончивший самоубийством в юном возрасте.

С. 20. *...приблизившись вплотную к пятидесятилетнему человеку с Почетным легионом...* – *Почетный легион* был учрежден в мае 1802 г. Задуманный как «народное дворянство» (в Уставе говорилось о долге служения Республике, защите лозунгов революции – «Свобода, Равенство, Братство»), он, однако, стал орденом элитарной организации, что было заложено в его иерархической структуре (состоял из пятнадцати когорт, в каждой – семь высших офицеров, двадцать

майоров). Первые награждения орденом Почетного легиона состоялись при Империи.

С. 20. *...проходили два полицейских, — как тень отца Гамлета, — сказал я Платону.* — Ирония этого «перевернутого» сравнения в том, что в 1-й сцене 1-го акта «Гамлета» появление призрака наблюдают два стражника — Марцелл и Бернар.

...он говорил о Тулуз-Лотреке и Жераре де Нервале, и я сразу представил себе ужасную смерть Нерваля... — *Тулуз-Лотрек* Анри де (1864—1901) — французский график и живописец, изображавший быт парижской богемы. *Нерваль* Жерар де (наст. фам. Лабрюни; 1808—1855) — французский поэт-романтик. Последние его годы были омрачены нуждой и психическим недугом. Кончил жизнь самоубийством.

С. 29. *...Ménilmontant...* — В отдельном издании следует принадлежащая издателям сноска: «Кварталы Парижа, населенные беднотой».

С. 32. *Анненский* Иннокентий Федорович (1856—1909) — поэт, переводчик, критик; в 1896—1905 гг. — директор Николаевской гимназии в Царском Селе. Знаток и ценитель классики. С присущими ему широтой интересов и безупречным вкусом ценил новую европейскую культуру — живопись прерафаэлитов, импрессионистов, скульптуру Родена, музыку Вагнера, поэзию и прозу французских символистов, «парнасцев» и «проклятых» (особенно Бодлера, Верлена, Леконта де Лилля, Малларме). В его поэзии — необычайно тонкой, изобилующей откликами, ассоциациями чувствуется, по выражению А.А. Блока, «человеческая душа, убитая непосильной тоской, дикая, одинокая и скрытная». О.Э. Мандельштам, Н.С. Гумилев, А.А. Ахматова, Г.В. Иванов, Г.В. Адамович, Б.Л. Пастернак признавали Анненского своим учителем.

С. 35. — *Ты помнишь книгу Уэллса... «Остров доктора Моро»?* — В фантастическом романе Герберта Джорджа Уэллса (1866—1946) «Остров доктора Моро» (1896) аллегорически, на примере ученого, очеловечивающего зверей при помощи хирургических операций, представлена история цивилизации как процесс необходимый, но чудовищно жестокий.

С. 37. *Мой миленький дружок...* — Старушка поет дуэт Лизы и Полины из оперы «Пиковая дама» (1890) Петра Ильича Чайковского (1840—1893), что создает любимую Газдановым «параллельную ситуацию»: в опере графиня перед появлением Германна поет арию XVIII в., времени ее молодости; это пение и портрет юной красавицы, которой она некогда была, вызывают у Германна мысли, близкие к раздумьям повествователя.

С. 46. *Он восхищался «Орленком» и «Дамой с камелиями», был недалек от того, чтобы сравнивать Оффенбаха с Шубертом...* — См. коммент. к рассказу «Обществу восьмерки пик». Т. 1, с. 843.

С. 46. *«Дама с камелиями»* (1848, пост. 1852) — нашумевшая пьеса Александра Дюма-сына (1824—1895). Прототип героини — знаменитая парижская куртизанка Мари Дюплесси, чья красота и ум привлекали многих выдающихся людей; увлечение ею пережил и сам драматург. Успеху пьесы способствовало то, что она была создана «по

горячим следам» (Мари Дюплесси умерла в 1847 г. от туберкулеза), а цензура долго не разрешала постановку, объявив пьесу безнравственной, бросающей вызов моральным устоям общества. Присутствовавший на премьере Джузеппе Верди написал на сюжет пьесы «Травиату» (1853); в отличие от драмы опера провалилась; но Дюма предугадал судьбу своего произведения: «Через пятьдесят лет никто и не вспомнил бы о моей "Даме с камелиями", но Верди обессмертил ее».

С. 46 *Оффенбах* Жак (1819–1880) – французский композитор и дирижер, руководитель основанного им театра «Буфф-Паризьен» (1855–1861), один из основоположников классической оперетты.

Шуберт Франц (1797–1828) – австрийский композитор, создатель романтических песен-романсов (около 600 на стихи Ф. Шиллера, И.В. Гёте, Г. Гейне и др.), 9 лирико-романтических симфоний и др.

С. 56. *Декарт* Рене – см. коммент. на с. 706.

С. 61. *Halles.* – В отдельном издании явно принадлежащая издателям сноска: «Центральный рынок».

Пер-Лашез. – В отдельном издании комментарий в скобках: знаменитое французское кладбище, – явно вписанный издателями.

С. 66. *...признаки начинающегося безумия, как в книгах Огюста Конта или Штирнера...* – Огюст *Конт* (1798–1857) и Макс *Штирнер* (1806–1856) средством установления социальной гармонии предполагали: Конт – культ абстрактного человека как высшего существа, который заменит культ Бога; Штирнер – культ «я», эгоиста, получающего в «собственность» мир и руководствующегося принципом «нет ничего выше меня». См. коммент. к «Вечеру у Клэр» (т. 1, с. 817) и рассказу «Общество восьмерки пик». Т. 1, с. 844.

С. 67. *Этого человека много лет тому назад знала вся Россия...* – Имеется в виду Александр Федорович Керенский (1881–1970) – глава Временного правительства в России с конца июля 1917 г. до Октябрьской революции. В 1918 г. эмигрировал во Францию, с 1940 г. жил в США.

С. 68. *...народный гнев после реформ Петра...* – Многие реформы Петра I, например, реорганизация войска, уничтожение патриаршества, установление подушной подати, вызывали сопротивление народных масс и даже широкие народные выступления (Астраханское восстание в 1705–1706 г., восстание Кондратия Булавина на Дону в 1707–1708 г.).

...упрямое безумие русских раскольников... – Церковная реформа патриарха Никона в середине XVII в., предпринятая с целью централизации церкви, вызвала решительный протест со стороны ревнителей православия. После церковного собора 1666–1667 гг., принявшего решение предать анафеме противников реформы и подвергнуть их репрессиям, движение раскольников стало носить массовый характер; приверженцы старой веры бежали в глухие места Севера, Сибири, Поволжья и создавали там общины.

С. 72. *Представьте себе, что на вашем месте был бы, например, святой Франциск. Думаете ли вы, что он дал бы мне только пятьдесят сантимов? – Святой Франциск* (1181–1226), основатель религиозного «братства» близ Ассизи (Италия), ордена миноритов (впоследствии

ордена францисканцев) не имел никакого имущества, кроме надетого на нем рубища; собранную пищу раздавал, оставляя себе только те куски, которые не брали даже нищие. Известен рассказ из его юности, когда сын зажиточного горожанина Пьетро Бернардоне, будущий Франциск, оставил свой товар – бархат и тонкое кружево – и бросился вдогонку за нищим, которому не успел подать милостыню, обслуживая покупателя.

С. 81. *...Алиса должна была прочесть: «Liaisons dangereuses», Боккаччио, Флобера.* – Рекомендованные Алисе произведения классики, «большой литературы», должны были, по мнению Ральди, научить ее «стилю»: высокая культура сочеталась в них с «безнравственностью». Репутация «безнравственного» произведения закрепилась за «Декамероном», «Фьяметтой», «Фьезоланскими нимфами» Боккаччо; однажды, в порыве покаяния, автор едва не сжег рукописи, уступив лишь настояниям Петрарки не делать этого. Флобер подвергался суду по обвинению в «аморализме» после публикации «Мадам Бовари» (правда, был оправдан). Эпистолярный роман «Опасные связи» (1782) Шодерло де Лакло (1741–1803) критика и общественное мнение сочли «неприличным, почти порнографическим» и (не без оснований) «учебником обольщения»; автора бойкотировали, и он чуть не погубил свою военную карьеру.

С. 90. – *...какие слова приписывал Сократу ваш блистательный предшественник? «Вся жизнь философа есть длительная подготовка к смерти...»*

– Сократ говорил не об этом... Если вы не забыли «Федона»...

Диалог *«Федон»* (387–383 до н.э.) – заключительная часть триптиха древнегреческого философа Платона (428 или 427–348 или 347 до н.э.), посвященного осуждению и смерти Сократа (две первые части – «Апология Сократа» и «Критон»). Действие диалога происходит в 399 г. до н.э.: это – повествование основателя элидской философской школы Федона о последних часах учителя, его беседе с близкими и его смерти. Основной тезис диалога – «Те, кто подлинно предан философии, заняты на самом деле только одним – умиранием и смертью... нелепо... негодовать на то, в чем так долго и с таким рвением упражнялся!» (64а); «...умерших ждет некое будущее, и... оно... неизмеримо лучше для добрых, чем для дурных» (63с; здесь и далее – перев. С.П. Маркиша). Вывод диалога: душа несовместима со смертью тела – когда тело умирает, душа «отступает» от него.

Горькая ирония упоминания «Федона» «тезкой» его автора в том, что собственная надвигающаяся смерть Платона «противоположна» доказательствам бессмертия души: душа героя Газданова умирает прежде тела, оказываясь еще более бренной, и теряет способность не только к «припоминанию» идей, философствованию, но и к простой памяти о некогда познанном при жизни.

С. 91. *Rue de Temple.* – В отдельном издании дана сноска «Часть еврейского квартала в Париже», явно принадлежит издателям.

С. 95. *...сумбурные легенды, почерпнутые им... из Талмуда...* – *Талмуд* (от *древнеевр.* «ламейд»– изучение) – один из первых памятников еврейской литературы (IV в. до н.э. – V в. н.э.). Содержит

толкование Библии и наиболее авторитетных неканонических книг, записи правовых и религиозных норм (248 повелений и 365 запретов), легенды, предания, притчи (так называемая агада), изложение иудейской ангелологии и демонологии. Второй по значению после Библии источник иудейского вероучения, регламентирующий жизнь еврейских общин – уже не единого государства, а диаспоры. Толкование Талмуда – право только раввина, судьи по вопросам религиозной и семейной жизни еврейской общины.

С. 101 *...вел рассказ обычно в прошедшем совершенном. – Прошедшее совершенное* (passé composé) обозначает любое завершенное действие в прошлом, предшествующее настоящему. Употребляется в основном в устной речи. Упоминание прошедшего совершенного указывает на языковую неискушенность Васильева.

С. 102. *...об одном из помощников Савинкова... – Савинков* Борис Викторович (1879–1925) – политический деятель, писатель (лит. псевд. В. Ропшин), «генерал от террора». Член партии эсеров с 1903 г. Организатор убийств министра внутренних дел В.К. Плеве (1904), великого князя Сергея Александровича, московского генерал-губернатора (1905), покушения на московского генерал-губернатора Ф.В. Дубасова (1906), взрыва дачи П.А. Столыпина на Аптекарском острове и других «громких» дел. После Февральской революции – комиссар 7-й армии от Временного правительства, затем – управляющий военным министерством. После прихода к власти большевиков – на нелегальном положении. Эмигрировав, кочевал по Европе, вербовал сторонников для своего «Народного союза защиты Родины и Свободы» (штаб-квартира организации – в Париже, Варшаве). «Выманенный» провокатором в Советскую Россию, арестован в 1924 г. 7 мая 1925 г., по официальной версии, покончил, самоубийством. По другим источникам, Савинкова сбросили в пролет тюремной лестницы после того, как он подал прошение об освобождении. Его литературное наследие – «Воспоминания террориста», роман «Конь бледный» (1908), «То, чего не было» (1912), книга очерков «Франция во время войны» (1916), повесть «Конь вороной» (изд. 1924), «Книга стихов» (посм. изд. 1931). Он страстно разоблачал насилие, опустошающее воздействие террора на террориста, давшее критикам основание «разделить Ропшина и Савинкова».

С. 105. *...он приводил всевозможные рассуждения и цитаты из Ницше...*– Для философии зрелого Фридриха *Ницше* (1844–1900) характерно представление о мире как о множестве борющихся друг с другом «перспектив», исходящих из центров силы. «Всеобщих и необходимых», абсолютных истин не существует, они – лишь «предрассудки», позволяющие одной воле влиять на другую волю, подчинять ее себе. Но личность, обладающая потенциалом для создания новых, более совершенных форм жизни (сверхчеловек), не должна подавлять себя во имя таких абстракций. Основные произведения Ницше – «Человеческое, слишком человеческое» (1878), «Так говорил Заратустра» (1883–1885), «По ту сторону добра и зла» (1886), «Антихристианин» (1888).

С. 105. *...украли какого-то русского генерала.* — Имеется в виду похищение Александра Павловича Кутепова (1882—1930), во время Гражданской войны — командира Добровольческого корпуса, одного из организаторов эвакуации Новороссийска, в начале 1920-х гг. — организатора «Союза национальных террористов», с 1928 г. — председателя «Русского общевоинского союза». В январе 1930 г. он бесследно исчез из Парижа, где жил с 1923 г. Публикации последних лет подтверждают причастность ГПУ к этому похищению.

С. 122. *...пел знаменитую арию из «Фауста».* — По-видимому, имеются в виду «Куплеты Мефистофеля» («На земле / Весь род людской...») из 1-го действия оперы Шарля Гуно (1818—1893) *«Фауст»* (1859).

С. 123. *Я встречал... бродяг... которые копили деньги.* — Сюжет о «нищем-миллионере» — один из «бродячих сюжетов» мировой литературы; он встречается у Мольера, Пушкина, Достоевского, Конан-Дойля, Андре Вюрмсера и др.

...прозвище его было почему-то «Тюрбиго»... — Возможно, от tourbe *(фр., арго)* — сброд, подонки; *bigot (фр., арго)* — ханжа, святоша.

С. 125. *Пасси* — район в Париже, где жило много русских эмигрантов.

...русская судебная реформа... — Речь идет о Судебной реформе 1864 г., отменившей сословные суды, отделившей суд от органов законодательной и исполнительной власти; были введены суд присяжных, выборный мировой суд, адвокатура, законодательно закреплена независимость и несменяемость судей. Сохранялись особые суды (духовные, военные и др.), занимавшиеся делами о политических и религиозных преступлениях, преступлениях против порядка управления и т.д. Судебно-административная реформа 1889 г. передавала функции выборных мировых судей земским начальникам, а губернаторы и командующие войсками получали право изымать дела из общих судов для их рассмотрения на судах военных.

...суждения о Тевтонском ордене, после Тевтонского ордена — славянофилы и русская историософия, затем — Аттила, его роль, его культурный уровень, и потом, наконец, современная английская литература... — Тевтонский орден — католический духовно-рыцарский орден, возник в Палестине в конце XII в. (признан самостоятельным в 1198 г.). Переселился в Европу, в область Хелмно (Польша), по договору 1226 г. великого магистра Германа фон Зальца (1210—1239) с князем Конрадом Мазовецким; слившись с Орденом меченосцев, начал Крестовые походы в прусские и балтийские земли. Захватив к концу XIV в. территорию между устьями рек Висла и Неман, Восточное Поморье с Гданьском, Жемайтию, Эстляндию, остров Готланд, орден преградил выход к морю Польше, Литве и русским княжествам и стал настоящей угрозой для этих государств. После поражения в битве при Грюнвальде (1410) и в Тринадцатилетней войне (1454—1466) орден признал себя вассалом Польши и возвратил ей выход на Балтику. В 1525 г., при великом магистре Альбрехте Гогенцоллерне секуляризованные земли ордена превращены в герцогство Пруссия. В 1809 г. орден официально

закрыт; восстановлен в Австрии в 1834 г., формально существует и поныне.

Аттила (ум. 455) – предводитель гуннов с 433 г., возглавил опустошительные походы в Восточную Римскую империю, Галлию, Северную Италию.

С. 125. *Славянофилы* – представители философского течения в русской мысли XIX в., обосновывали необходимость особого (по сравнению с западноевропейским) пути России. Особенностями русской культуры считали православие, идеал соборности и смирения, иррациональный, чуждый логической схематизации, опирающийся на «целостное знание», характер. Славянофильство не было единым и монолитным; каждый из его крупных представителей – Киреевский, Хомяков, Аксаковы – яркая индивидуальность; расхождения между ними довольно значительны.

Русская историософия. – По мнению многих историков философии, «русская мысль сплошь историософична», озабоченная вопросами «о «смысле» истории, конце истории и т.д.» (*Зеньковский В.В.* История русской философии. Т. 1), что связывается с православием, свойственными русской ментальности эсхатологическими ожиданиями.

Современная английская литература. – Характеризуется в период между двумя войнами прежде всего модернистскими экспериментами в поэзии и жанре романа; возникает литература «потока сознания», впервые в прозе Дороти Ричардсон (1873–1957). Эту технику письма развивают ирландец Джеймс Джойс (1882–1941) в романе «Улисс» (1922), Вирджиния Вулф (1882–1941). «Интеллектуальный» роман создает Олдос Хаксли (1894–1963); психологическая, сближающаяся с фрейдистской, трактовка характеров свойственна Дэвиду Герберту Лоуренсу (1885–1930), автору нашумевших «Флейты Аарона» (1922) и «Любовника леди Чаттерли» (1928, в сокращ. опубл.1932, полностью – в 1961).

С. 126. *...категорические императивы...* – понятие, выражающее нравственный закон в этике немецкого философа Иммануила Канта (1724–1804); сформулирован в его работе «Критика практического разума» (1788). Категорический императив предписывает каждому действовать так, чтобы правило, в соответствии с которым он действует, могло стать принципом всеобщего законодательства.

С. 128. *...агонию Мопассана, когда он поедал свои испражнения.* – 1 января 1892 г., после посещения матери на вилле близ Канн, Ги де Мопассаном (1850–1893) овладел первый приступ безумия, и по возвращении домой он нанес себе глубокую ножевую рану, пытаясь перерезать горло. 7 января 1892 г. писателя привезли в Париж, в психиатрическую лечебницу; после нескольких приступов буйства он тяжело бредит и, не приходя в сознание, в «растительном» состоянии умирает 6 июля 1893 г.

...о причинах военных поражений России в девятнадцатом столетии... – Наиболее значительные войны, которые вела Россия в XIX в., – наполеоновские (1805, 1806–1807, 1812–1814), русско-персидские (1804–1813, 1826–1828), русско-турецкие (1806–1812,

1828–1829, 1877–1878), Крымская война (1853–1856); в 1860-х гг. закончилось присоединение Северного Кавказа (масштабные военные действия на Кавказе начались еще во времена Екатерины II). Проиграны были наполеоновские кампании 1805 и 1806–1807 гг. и Крымская война.

С. 128. *...шестого века до Рождества Христова...* — Этот век — легендарный исток античной философии, время «семи мудрецов» — Фалеса, Анаксимандра, Анаксимена, Гераклита, Демокрита, Пифагора, Анаксагора.

С. 129. *...общих рассуждений о мальтузианстве...* — *Мальтузианство* — социологическая доктрина, названная по имени английского экономиста, англиканского священника Томаса Роберта Мальтуса (1766–1834), автора «Опыта закона о народонаселении...» (1798). Считал, что причина перенаселения и недостатка средств к существованию коренится не социальной жизни, а в ее биологических законах; голод, болезни, войны — позитивные факторы, они сокращают население.

...это так же бессмысленно, как советовать ему читать Аристотеля. — *Аристотель* Стагирит (384–322 до н. э.) — древнегреческий философ и ученый-энциклопедист, основатель перипатетической школы, основоположник формальной логики, создатель силлогистики. В основе его метафизики — учение об основных принципах бытия: возможности и осуществлении, форме и материи, действующей причине и цели. Основные сочинения Аристотеля — логический свод «Органон», «Метафизика», «Физика», «О возникновении животных», «О душе», «Этика», «Политика», «Риторика», «Поэтика».

...поразил «Доктор Джекил и мистер Гайд»... — «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда» (1886) — философско-психологический роман Роберта Льюиса Стивенсона (1850–1894), сюжет которого основан на частом у романтиков и неоромантиков мотиве двойничества, «раздвоения личности». Добропорядочный доктор Джекил и мистер Хайд, проявляющий преступные наклонности, оказываются одним и тем же лицом; между ними начинается борьба: каждый стремится «вытеснить» противника.

С. 137. *...высокий мужской голос... пел по-итальянски арию «La force del destino».* — Вероятно, имеется в виду ария Дона Карлоса из 3-го действия оперы Джузеппе Верди (1813–1901) «Сила судьбы» (1862). В 1920-е гг. она была записана в исполнении Маттиа Баттистини (1859–1928).

С. 138. *Это было «Утро» Грига.* — *Григ* Эдвард Хагеруп (1843–1907) — композитор, пианист, дирижер, основоположник норвежской музыкальной школы. Оригинальная по мелодиям, ритму, гармонии, его музыка основывалась на народных мотивах. Большинство его произведений (к ним принадлежит и «Утро») создано в камерных жанрах (фортепианные «сюжетные» пьесы, сонаты, квартеты, трио, романсы), в форме сюиты.

С. 139. *...как шагреневая кожа, не тронутая ни одним желанием...* — В романе-притче Оноре де Бальзака (1799–1850) «Шагреневая кожа» (1831) герой — Рафаэль получает в подарок от

старого антиквара талисман – кусок шагреневой кожи, на которой – таинственными письменами – написано: «...соразмеряй желания со своей жизнью. Она – здесь. При каждом желании я буду убывать, как твои дни».

С. 148. ...*«Orientales» Гюго...* – «Восточные мотивы» (1829) – поэтический сборник Виктора Гюго. Стилизация «под восток» в нем довольно поверхностна – исчерпывается предваряющими стихотворения цитатами из персидских поэтов (Саади, Гафиза) и экзотикой («газельи очи», «гурия», тюркские имена и т.п.).

С. 149. *Эдмонд Дантес* – герой Александра Дюма, мститель, неправедно осужденный и возвращающийся в мир в образе графа Монте-Кристо, чтобы покарать своих обидчиков.

С. 155. ...*Шла «Arlésienne»*. – *«Арлезианка»* (1872) – пьеса французского писателя Альфонса Доде (1840–1897).

С. 160. ... *это, кажется, из Рильке, о чувстве.* – Возможно, речь идет о заключительных страницах романа «Записки Мальте Лауридса Бригге» (1910), где повествователь, умирая, размышляет о пути «блудного сына» к любви, о любящих и любимых.

С. 165. ...*о гибельном влиянии Декарта...* – *Декарт* Рене (1596–1650) – французский математик, физик, физиолог и философ, родоначальник философии рационализма, картезианства, признававший дуализм души и тела, абсолютизировавший роль рацио, самодостоверность сознания человека. Персонажу Газданова – Платону чужд его «абстрактно-геометрический», «высушивающий» тип мышления.

Франсуа Виллон (Вийон) (наст. имя Франсуа де Монкорбье; 1431 – после 1463) – французский поэт с легендарной судьбой. Он учился в университете, но не закончил его: совершив в пьяной драке убийство, вынужден был скрываться и вести беспорядочную жизнь, не брезгуя мелкими кражами, ремеслом сутенера; его не раз привлекали к суду, обвиняли в уголовных преступлениях, от казни его спасло заступничество Карла Орлеанского. В «Большом Завещании» он поведал о себе и о жизни обитателей «дна». В его поэзии сочетались народная карнавальная традиция, риторическая «ученость», традиция куртуазной поэзии, мощное лирическое начало («Спор Вийона с его душой», «Баллада поэтического состязания в Блуа», «Баллада истин наизнанку» и др.). Точное время, место, обстоятельства кончины поэта неизвестны.

Он с пренебрежением говорил о Гюго и Флобере, о Монтене и Ламартине, о Ларошфуко и Вольтере... Единственные, кого он признавал, были Стендаль, Бальзак и Бодлер... – Перечисляются писатели, традиционно считающиеся не только классиками французской литературы, но и выразителями «галльского духа» в общемировой культуре.

Гюго Виктор Мари (1802–1885) – французский поэт, драматург, романист, публицист, теоретик искусства, чье «Предисловие к “Кромвелю”» стало манифестом французского романтизма: «Нет ни правил, ни образцов...» Стилю Гюго присущи гиперболизм, сгущение красок, «лавина» метафор, эпитетов, обстоятельность, отсутствие подтекста.

Флобер Гюстав (1821–1880). – Сравнительно небольшое наследие писателя – четыре романа, один из которых не окончен, три философские повести и мистерия, представляют собою образцы совершенства стиля. Имя Флобера стало символом писательского труда: все его произведения имеют не менее трех-пяти редакций.

Монтень Мишель (1533–1592) – французский философ-гуманист; его «Опыты» (1572–1592; изд. 1580, доп. 1588, 1595), «искренняя книга», «содержание которой – я сам» – положила начало европейской эссеистике.

Ламартин Альфонс Мари Луи (1790–1869) – французский поэт, публицист, политический деятель, автор мистико-философских сочинений о судьбах человечества (Время, Вечность, Слава).

Ларошфуко Франсуа де (1613–1680) – французский военачальник, политический деятель, автор «Мемуаров» (1662, полное изд. 1817) и «Размышлений, или Моральных изречений и максим» (1665). Посвятивший жизнь движению Фронды, не участвовал в бурных литературных спорах своего времени и не считал писательство своим главным делом. Тем не менее его «Мемуары», не рассчитанные на публикацию, написанные для близких друзей, – яркий образец этого жанра. Его «Максимы» – в оценке современников – «самая прекрасная и полезная философия на свете, квинтэссенция мудрости старых и новых философов» (аноним). Вместе с тем, Ларошфуко нередко обвиняли в «цинизме», «мрачности», «пессимизме».

Вольтер (наст. имя Мари-Франсуа Аруэ; 1694–1778), имевший репутацию «самого остроумного человека Франции», в свое время считался «третьим трагическим поэтом» (после Корнеля и Расина); автор 52 пьес в различных жанрах. Создатель первой национальной эпопеи «Генриада» (1728), посвященной Генриху IV. Однако мировую известность автору принесли распространявшиеся в списках и в печати по всей Европе его философские, исторические и публицистические работы, в основном анонимные или под одним из 137 псевдонимов. В творчестве Вольтера «кристаллизуется» жанр аллегорической философской повести. В России с «вольтерьянцев» начинается история богоборчества и атеизма.

Стендаль (наст. имя Анри Бейль; 1783–1842) – романист, эссеист, историк искусства и литературы, мемуарист. Оказал влияние на Бальзака, Достоевского, Толстого и др. По мнению Стендаля, писатель – «историк и политик», «философски» исследует жизнь, его повествование – «зеркало, с которым бредешь по большой дороге, и оно отражает то лазурь небосвода, то грязные лужи и ухабы». В искусстве важна «правда, горькая правда». В центре зрелых романов Стендаля – юноша-«чужак», ищущий свое «место под солнцем». Талантливый, благородный, тонко чувствующий, он, как правило, погибает, так как не может стать полным циником.

Бальзак Оноре де (1799–1850) – автор масштабного цикла произведений разных жанров «Человеческая комедия», неоднократно сопоставляемого по гениальности и сложной, многоуровневой структуре с «Божественной комедией» Данте.

Бодлер – см. коммент. к роману «История одного путешествия». Т. 1, с. 821.

С. 166. ...уже *немолодые и чрезвычайно занятые люди, Иван Петрович и Иван Николаевич... Иван Петрович... вскользь сказал, что считает Гоголя хорошим писателем.* – Упоминание Гоголя одним из «парных», все время ссорящихся героев не случайно – тем самым автор обращает внимание читателя на их «гоголевские» имена и – шире – на соотносимость с гоголевскими персонажами – Иваном Ивановичем и Иваном Никифоровичем, волей обстоятельств оказавшимися в Париже.

С. 193. – *Бедный Прудон! – Прудон* Пьер Жозеф (1809–1865) – французский политический деятель, философ, социолог, экономист; механически понимая учение Гегеля, рассматривал историю общества как борьбу идей, сочетающих в себе «положительную» и «отрицательную» стороны; такова и идея собственности: крупная собственность – «кража», мелкая – гарант «справедливого обмена» между товаропроизводителями основой благосостояния. Основные труды – «Что такое собственность?» (1840), «Философия нищеты» (1846).

– Карпо был, в сущности, довольно жалкий человек. Паскаль был просто больной... что значит... весь этот бред об Иисусе Христе? и что значит эта фраза... – мы умрем в одиночестве? А стул на краю бездны, который он видел? А это глупейшее «вечное безмолвие бесконечных пространств»?.. – Карпо Жан-Батист (1827–1875) – французский скульптор и живописец, создавший монументально-декоративные композиции (рельефы «Флора» (1866) для павильона в саду Тюильри, «Танец» (1869) для Гранд-Опера, группа «Четыре части света» (1869–1872) для фонтана в Люксембургском саду). Известен и скульптурными портретами – жизнерадостными и динамичными; часто изображал народные типы. Влияние Карпо испытал Роден.

Паскаль Блез (1623–1662) – французский математик, физик, философ. В 1654 г. в чудесном спасении от смерти увидел знамение (экипаж, в котором он ехал с друзьями, лошади понесли в реку, но постромки оборвались, и карета удержалась на берегу), оставил занятия наукой, покинул свет, удалился в деревню и посвятил свою жизнь «делам милосердия, чтению Св. Писания и Отцов Церкви» (*Долгов С.* Очерк жизни Паскаля // *Паскаль Б.* Мысли / Пер. с фр. О. Хомы. М.: REFL-book, 1994. Последующие цитаты из Паскаля даются по этому изданию. – *Коммент.)* «Мысли» – его основное (незаконченное) философское сочинение, над которым он работал в 1656–1662 гг. – глубоко интимное, эмоциональное и вместе с тем бескомпромиссное, логичное рассуждение о Боге, природе человека и его месте во Вселенной. Конец жизни Паскаля омрачен обострением мучившей его с детства болезни – «смеси колик, непрерывных головных и зубных болей, обмороков». В русской философской культуре сложилось отношение к Паскалю, разделяемое Газдановым и лучше всего выраженное Львом Шестовым в «Апофеозе беспочвенности»: «Как нельзя сомневаться в том, что Паскаль за всю свою жизнь не провел ни одного дня без мучительных болей и почти не знал сна... так нельзя сомневаться, что вместо твердой почвы под ногами, которую ощущают все люди, он чувствовал, что стоит над пропастью, что опереться не на что... Об этом, и только об этом рассказывают нам все

его “Мысли”». На отношение Газданова к творчеству Паскаля повлиял и Бодлер, связывавший с его именем одно из ключевых понятий своей философии – бездну («Да, бездна есть во всем: в деяниях, в словах... / И темной пропастью была душа Паскаля». – «Бездна»; пер. В. Шора).

С. 193. *...бред об Иисусе Христе?* – Здесь и далее – ссылки на «Мысли» Паскаля. В фундаментальном издании, подготовленном французским философом Леоном Брюнсвиком и др. (в котором фигурируют 924 из немногим более 1000 известных на сегодня фрагментов), Иисусу Христу посвящены статьи XV–XVII, XX, XXI и особенно взволнованная, пронзительная, превращающаяся то в диалог со Спасителем, то в бессвязную молитву, то в настоящее стихотворение в прозе статья XXIII – «Размышления о Тайне Христовой».

... – мы умрем в одиночестве... – неточная цитата из фрагмента 211: «До чего мы нелепы с нашим желанием найти опору в себе подобных! Такие же ничтожные, такие же бессильные, как мы, они нам не помогут: в смертный свой час человек один. Значит, и жить ему надобно так, словно он один на свете. Но станет ли он тогда строить себе роскошные палаты и т.д.? Нет, он сразу углубится в поиски истины. А не сделает этого, – что ж, значит, людское мнение для него дороже истины» (пер. Э. Линецкой).

...стул на краю бездны... – О бездне повествуют многие фрагменты. Ближе всего по смыслу к цитате, приводимой Платоном, фрагмент 488: «Невозможно, чтобы Бог всегда был целью, не являясь при этом и принципом. Люди, поднимая свой взгляд вверх, опираются на песчаный фундамент. Однако настанет момент, когда земля расступится и они рухнут в бездну, глядя в небеса» (пер. О. Хомы).

...«вечное безмолвие бесконечных пространств»... – Размышления о «незначительности занимаемого мной пространства, незаметно исчезающего в глазах моих среди необъятных пространств, невидимых ни мне, ни другим» (фрагмент 205; пер. С. Долгова) – частый мотив Паскаля. Платон цитирует фрагмент 206: «Меня ужасает вечное безмолвие этих пространств» (пер. Э. Линецкой).

С. 198. *...как мы пели, когда кончали гимназию, как это? да, nos habebit humus... и еще – nemini parcetur.* – Цитата из средневекового студенческого гимна «Gaudeamus», его 1–3 строфы, в соответствии с традицией времени, содержат, напоминание о бренности всего сущего, быстротечности жизни и неизбежности смерти: «нас поглотит прах», «никто не избегнет».

С. 200. *...но если нет Бога, государства, науки и так далее, то это значит, что сумасшедших тоже нет.* – Полемическая по отношению к источнику аллюзия на «Если Бога нет, то какой же я генерал!» (Достоевский). В художественном мире Достоевского «разомкнутое» перечисление после упоминания имени Божьего («государства, науки и так далее») невозможно.

«Придите ко мне все труждающиеся...» – Слова Иисуса (Мф. 2, 28).

РАССКАЗЫ

Мэтр Рай (с. 217). Впервые – Числа. 1931. Вып. 5. Печатается по этой публикации.

Впервые в России – Сельская молодежь. 1995. № 5 / Публ. Ст. Никоненко.

С. 232. *«Утро туманное, утро седое...»* – начальная строка стихотворения И.С. Тургенева «В дороге» (1843), ставшего популярным в середине XIX в. романсом (наиболее известным на музыку А.М. Абазы).

Великий музыкант (с. 233). Впервые – Воля России. 1931. № 3/4, 5/6. Печатается по этой публикации.

Впервые в России – Дружба народов. 1994. № 6 / Публ. и послесл. С. Федякина.

В конце мая 1930 г. газета «Последние новости» поместила объявление о вечере Газданова, на котором он должен был читать отрывок из нового романа «Алексей Шувалов», озаглавленный «Великий музыкант», а также рассказ «Гавайские гитары» и др. Роман закончен не был.

Архив Газданова. Тетради 1, 2.

С. 241. *...показывала мне одну из книг Кокто в редком издании...* – Жан *Кокто* (1889–1963) – французский писатель, театральный деятель, художник, кинорежиссер, сценарист. В конце 1920-х гг. пользовались успехом его романы «Самозванец Тома» (1923) и «Трудные дети» (1928).

...классические пейзажи Греции, где умирал Байрон... цветущие долины Богемии. – Английский поэт Дж. *Байрон* участвовал в национально-освободительной борьбе Греции в 1823–1824 гг. и умер, заболев лихорадкой, вблизи Миссалонги.

Богемия – название Чехии в 1526–1918 гг.

С. 250. *...американскому финансисту, скоропостижно умершему в обстоятельствах, несколько похожих на те, в которых умер генерал Скобелев... – Скобелев* – см. коммент. к рассказу «Повесть о трех неудачах». Т. 1, с. 837.

26 июля 1882 г. М.Д. Скобелев посетил в Москве И.С. Аксакова и в 11 вечера от него поехал в гостиницу, где в ресторане заказал отдельный кабинет, пригласив туда двух «дам легкого поведения». Около полуночи оттуда донеслись «стоны и возня», выбежавшие женщины звали на помощь, утверждая, что «генералу дурно». Приехавший несколько часов спустя Аксаков застал Скобелева уже мертвым. Незадолго до того в Петербурге и Париже Скобелев выступил с речами о русской политике на Балканах и объединении славян, в речах содержались антигерманские выпады. Он стал активным политиком (ходили слухи о том, что, возможно, он взойдет на болгарский престол). Женщины, бывшие с ним в последние часы, оказались немками. Все это породило версию о политическом убийстве. Однако

доктора Ольшевский и Гейфельдер считали его смерть естественным результатом «рассеянного образа жизни» и заявляли, что не раз предостерегали генерала, который со времени контузии, полученной в Русско-турецкой войне, был склонен к аневризму, о «возможности безвременной кончины», если он не сменит образ жизни.

С. 260. *...поднялся из-за стола и вышел вон, потрясая рукой в воздухе – как Silvain в Comedie Française...* – *Silvain* (Сильвен) – один из актеров-сосьетеров (амплуа – трагические роли) в *Комеди Франсез* – старейшем во Франции и Европе театре, созданном в 1680 г. В XX в. его стиль воспринимался как нормативный для французской сцены.

С. 265. *...его звали Борис Аркадьевич. – Хорошее у вас отчество, идиллическое, – сказал я ему как-то.* – Буквальное значение имени Аркадий – «выходец из Аркадии» *(греч.)*, горной области в центральной части Пелопоннеса, изображаемой поэтами античности и позднее (особенно в пасторалях XVI–XVIII вв.) как идиллическая, райская страна.

С. 269. *...играет на скачках и ездит в Longchamps и Auteuil...* – Лоншан и Отэй – районы Парижа, где находятся известные ипподромы.

С. 271. *...Вы все-таки погибаете с некоторым великолепием, в вас есть что-то карфагенское.* – Карфаген, главный соперник Рима, быстро оправился после поражения во Второй Пунической войне. Обеспокоенный этим сенат принял решение о разрушении города. Была объявлена война; желая избежать ее, карфагеняне пошли на уступки (выдали Риму заложников из лучших семей, все оружие и корабли), но после требования покинуть город и поселиться вдали от моря, заперли ворота, готовые к сопротивлению. Храмы превратились в оружейные мастерские, металлические изделия были переплавлены в мечи и копья; по легенде, карфагенянки остриглись и отдали свои волосы для канатов, использовавшихся в военных машинах. Даже после взятия городских стен римляне несли огромные потери, сражаясь за каждый дом, и лишь на седьмой день дошли до крепости (для чего им пришлось поджечь все захваченные улицы). Только тогда оставшиеся в живых во главе с последним полководцем Карфагена, Гардубалом, сдались. Жена Гардубала, чтоб избежать позора, убила детей и бросилась в пламя; ее примеру последовало несколько женщин. Остатки города были разрушены, а место, на котором он стоял, вспахано.

С. 274. *...poor Yorik!* – Восклицание Гамлета («Poor Yorick») о королевском шуте Йорике в трагедии У. Шекспира «Гамлет» (акт 5, сц. 1).

С. 275. *...в вечер концерта Шаляпина...* – Федор Иванович *Шаляпин* (1873–1938), эмигрировавший весной 1922 г. (не вернулся из зарубежных гастролей), с середины 1920-х гг. несколько лет с огромным успехом выступал на сценах Парижа.

С. 277. *После «Пророка» Шаляпин пел «Двух гренадеров»...* – речь идет об исполнении Шаляпиным романсов: Н.А. Римского-Корсакова *«Пророк»* (1899), написанного на слова стихотворения А.С. Пушкина, и Р. Шумана «Два гренадера» – на слова баллады

Г. Гейне «Гренадеры» (1817), в России наиболее известен ее перевод М.Л. Михайловым (1840).

С. 277. *...И встанет к тебе Император...* – Газданов неточно приводит кульминационные слова романса, которые звучат так:

Тут выйдет к тебе, Император,
Из гроба твой мертвый солдат!

С. 279. *...как голова Иоанна на блюде Саломеи...* – *Иоанн* Креститель не раз обличал правителя Галилеи Ирода Антипу, женившегося – в нарушение иудейских законов – на Иродиаде, супруге своего брата, при жизни последнего. «Ирод, взяв Иоанна, связал его и посадил в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего... И хотел убить его, но боялся народа, потому что его почитали за пророка. Во время же празднования дня рождения Ирода дочь Иродиады плясала перед собранием и угодила Ироду, посему он с клятвою обещал ей дать, чего она ни попросит. Она же, по наущению матери своей, сказала: дай мне здесь на блюде голову Иоанна Крестителя... И принесли голову его на блюде и дали девице, а она отнесла матери своей» (Мф. 14, 3–11; также: Мк. 6, 21–29).

Фонари (с. 284). Впервые – Новая газета (Париж). 1931. № 3. 1 апр. Печатается по этой публикации.

Архив Газданова. Тетрадь 1.

Впервые в России – Осетия XX век. Прилож. к журн. «Дарьял». Владикавказ. 1996. Вып. 1. С. 187–199; *Газданов Г.* Собр. соч.: В 3 т. М.: Согласие. 1996. Т. 3. С. 237–253.

Исчезновение Рикарди (с. 254). Впервые – Современные записки (Париж). 1931. № 45. Печатается по этой публикации.

Впервые в России – *Газданов Г.* Собр. соч.: В 3 т. М.: Согласие. 1996. С. 254–274.

Архив Газданова. Рукопись датирована: «22.X.1930». Сохранилась и рукопись «Возвращение», датированная «12.XII.1932», где главный герой тоже Рикарди.

Этот первый из рассказов Газданова, опубликованных в журнале «Современные записки», вызвал противоречивые отзывы в прессе.

В отличие от Ю. Сазоновой (Последние новости. 1931. 5 марта. См. «Современники о Газданове», т. 5), Ал. Новик (Воля России. 1931. № 3/4), находит в рассказе не живое воспроизведение жизни, а решение творческих задач посредством определенных литературных средств: «"Исчезновение Рикарди" Гайто Газданова – вещь, написанная с той последовательной и продуманной литературностью, которая отрывает материал повествования от реальной жизни и создает в нем свои внутренние отношения и взаимодействия. Слишком очевиден в рассказе схематизм сюжета, чтобы можно было упрекнуть в нем автора. Рассказ Газданова написан не в подражание действительности, и действительность нужна рассказу лишь для того, чтобы придать некоторую наглядную стройность его углубленной взволнованности,

творческому, неясному и пронзительному ощущению самых трудных и вечных вопросов жизни. Именно таким, каким он представлялся в рассказе – холодным, условным и призрачным, – должен быть мир, противопоставленный сознанию гибели. “Исчезновение Рикарди” – не лучшее произведение Газданова: “Водяная тюрьма” – рассказ значительно более сильный. Только с этой точки зрения – по праву требования от молодого писателя непрерывного роста – можно считать “Исчезновение Рикарди” некоторой неудачей. Объективно же – это очень цельная и интересная вещь, имеющая гораздо большее внутреннее напряжение, чем это может показаться при невнимательном чтении. Бесполезно передавать ее содержание, потому что не им, а надсюжетной повышенностью, осторожностью и прозрачностью тона создается основное впечатление от рассказа».

Эпиграф – последние две строки пятого стихотворения А.А. Блока из цикла «Флоренция» (1909).

С. 313. *...как хорошо поет Иза Кремер...* – *Иза* Яковлевна *Кремер* (1890–1956) – русская певица (лирическое сопрано). Училась в Италии, пела в Одесской опере, а с 1915 г. – на эстраде. За границей – с 1919 г., выступала в Европе, США, снималась в кино. Умерла в Аргентине.

На острове (с. 325). Впервые – Последние новости (Париж). 1932. 3 апр. Печатается по этой публикации.

Впервые в России – Смена. 1994. № 8 / Вступ. ст. и публ. Ст. Никоненко.

Рассказ почти документально воспроизводит эпизоды обучения Газданова в Шуменской русской гимназии в Болгарии. Все персонажи – реально существовавшие люди, Газданов лишь изменил их имена.

Эпиграф – из «Евгения Онегина» А.С. Пушкина – гл. 8, I.

С. 327. *Мы все учились понемногу...* – «Евгений Онегин», гл. 1, V.

– *Вы помните квадратное уравнение?*– Речь идет об одном из наиболее простых уравнений в алгебре.

«Отверженные» (1862) – один из наиболее известных романов Виктора Гюго.

С. 329. *...как устроен электроскоп...* – Этот прибор для обнаружения электризации физических тел состоит из металлического стержня с привешенными к нему двумя тонкими пластинками (бумажными, металлическими или алюминиевыми), которые при заряжении взаимно отталкиваются.

Он говорил о Паскале и Пастере...– О *Паскале* см. коммент. к роману «Ночные дороги», с. 708.

Луи *Пастер* (1822–1895) – французский ученый, основоположник современной микробиологии и иммунологии. См. коммент. к роману «Пробуждение», с. 462; т. 2.

С. 330. *...повторял фразу Паскаля, ужасную по своему трагизму, почти нечеловеческому:*

— «C'est le silence éternel des éspaces infinies qui m'éffray».— Фрагмент из «Мыслей» Паскаля (206 – по нумерации Л. Брюнсвика).

С. 331. *...я выписал из Берлина несколько книг и в том числе какой-то из романов Эренбурга...* – В начале 1920-х гг. Илья Григорьевич *Эренбург* (1891–1967) опубликовал романы «Необычайные похождения Хулио Хуренито и его учеников» (1922), «Трест Д.Е.» (1923), «Любовь Жанны Ней» (1924), «Рвач» (1925). В эмиграции отношение к ним неоднозначно: при явном интересе ощущалась «исходившая от них непревзойденная ложь и сладкая тошнота» (Дон-Аминадо. Поезд на третьем пути).

С. 332. *...сочинение было... заимствовано из учебника Платонова...* – Сергей Федорович *Платонов* (1860–1933) – историк, специалист по истории России конца XVI – начала XVII в., профессор Петербургского университета (с 1899 г.), академик (с 1920 г.). Октябрьскую революцию не принял. Речь идет, видимо, об его «Лекциях по русской истории», выдержавших до 1917 г. десять изданий.

...сколько километров от Вифлеема до Назарета. – Между Назаретом и Вифлеемом около 13 километров. *Вифлеем* – город в Иудее, где родился Давид (Лк. 2, 4–11), погребена Рахиль (Быт. 35, 16) и развертывается история Руфи (Руфь); Мессия должен был родиться в Вифлееме, «городе Давидовом». *Назарет* – город в Галилее, самой нищей и презираемой провинции Израиля (ср. поговорку, упоминаемую в Новом Завете: «Из Назарета может ли быть что доброе?»), в нем жила семья Иосифа. Рождение Христа в Вифлееме объясняется в Евангелиях тем, что его семья должна была явиться на перепись в Вифлеем, так как принадлежала к роду Давидову: таким образом, исполнились пророчества о рождении Мессии.

...«без руля и без ветрил»... – Эти слова из поэмы М.Ю. Лермонтова «Демон» (ч. 1, XXV) стали поговоркой после 1875 г., когда была написана опера А.Г. Рубинштейна «Демон». Монолог Демона вошел в одну из наиболее ее ярких арий – «Романс Демона» во 2-м акте. Одним из лучших его исполнителей был Ф.И. Шаляпин.

С. 334. *...пели «Гаудеамус»...* – *«Гаудеамус» (лат.* – будем радоваться) – название (по первому слову) возникшего в Средние века студенческого гимна. См. также коммент. к с. 198.

Счастье (с. 335). Впервые – Современные записки. 1932. № 49. Печатается по этой публикации.

Впервые в СССР – Родник (Рига). 1989. № 2 / Подгот. текста, публ. и предисл. Ф. Хадоновой.

В обзоре «Современные записки» (Книга XLIX, 1932 – Часть литературная)» Николай Андреев (Воля России. 1932. № 4/6. С. 185) писал: «Лишь относительно удачно “Счастье” Гайто Газданова. Прекрасно начатый, отличный во многих своих частях, обнаруживающий глубину и силу авторского дыхания, как всегда у Газданова, полный психологического своеобразия, рассказ этот оказался растянутым, лишенным единства, перегруженным проблематикой, риторикой. Газданов отказался на этот раз от непрерывного повествования, столь удающейся ему плавной неторопливости рассказа. Он, однако, не

перешел и к какой-либо конструктивности. Удар получился чересчур ослабленным».

Еще один недостаток обнаруживает Г. Адамович (Последние новости. 1932. 2 июня): «Г. Газданов пишет о французах. Это очень способный беллетрист, по блеску и какой-то постоянной удачливости письма стоящий рядом с Сириным или непосредственно после него. Его рассказ "Счастье" местами очарователен. Но... налет "эсперантизма" все-таки чувствуется. Андрэ Дорэн, его отец, Мадлен – все они чуть-чуть тронуты той схематичностью, которую никаким искусством скрыть нельзя. Характерно, между прочим, что в диалог Газданов то и дело вводит французские фразы. Зачем? – казалось бы. Ведь его герои французы, они только по-французски и говорят, следовательно, все их беседы даны как переведенные».

С. 347. *...излагал свои суждения о британском национальном характере... упоминая Гладстона, Питта, Шелли... – Гладстон* Уильям Юарт (1809–1898) – лидер либеральной партии, премьер-министр Великобритании в 1868–1874, 1880–1885, 1886, 1892–1894 гг. При нем в 1882 г. Британия оккупировала Египет. *Питт* – династия английских политических деятелей, наиболее влиятельная в XVIII – начале XIX в. Скорее всего, имеется в виду Уильям Питт Младший (1759–1806), премьер-министр (в 1783–1801 и 1804–1806 гг.). При нем принят «Акт об унии» (вступил в силу 1 января 1801 г.), упразднявший ирландский парламент. Гладстон и Питт своей позицией, направленной на усиление колониальной и торговой гегемонии Англии, наиболее ярко воплощали девиз британской дипломатии: «Англия – превыше всего!»

Шелли Перси Биш (1792–1822) – английский поэт-романтик, тонкий мастер медитативной лирики.

С. 350. *– А Франциск Ассизский, Андрэ?* – Подобный диалог происходит в романе «Призрак Александра Вольфа», где в роли Андрэ выступает Вольф, а в роли отца Андрэ – повествователь.

С. 361. *...кто-то громко говорил о Клемансо...* – См. коммент. к рассказу «Вечерний спутник», с. 726.

Третья жизнь (с. 367). Впервые – Современные записки. 1932. № 50. Печатается по этому изданию.

Впервые в России (полностью) – Лит. Россия. 1991. 4 окт. № 40. С. 13–15 / Публ.С. Кабалоти.

Архив Газданова. Тетрадь 3 – в ней две рукописи с одинаковыми заглавиями: «Третья жизнь» (обе – без даты). Первая, очень короткая (3 страницы), содержит эпиграф из А.С. Пушкина («Дар напрасный, дар случайный...», 1928):

Кто меня враждебной властью
Из ничтожества воззвал?

Другие тексты в тетради датированы январем-мартом 1932 г. Очевидно, эта датировка относится и к тетради в целом.

Рассказ приоткрывает «окно» в напряженную психологическую жизнь писателя. Эмоциональная неуравновешенность, умственные потрясения, грань близкого безумия, душевная болезнь – постоянные его темы («Возвращение Будды», «Пробуждение», фрагменты в «Вечере у Клэр» и др.). Этот небольшой рассказ – своего рода портрет художника, переходящего границу между «просто человеком» и поэтом; загадочный женский образ, возникающий в воображении героя, – это Муза или символ притягательной силы искусства, творчества.

С. 369. *...все, что окружало меня, и все свои ощущения и мысли я почувствовал с такой необычайной свежестью, с такой ледяной ясностью, с какой должен их видеть человек, внезапно исцелившийся от долгого сумасшествия, или многоглазое существо нечеловеческого вида. Это было как бы последним зрением...* – В мусульманской мифологии и ряде христианских апокрифов тело Азраила (Израила), ангела смерти, изображено состоящим из глаз и языков, соответствующих числу живущих. Умирающий получает перед смертью иное, особое зрение; если по какой-либо причине ему удается избегнуть смерти, оно остается с ним навсегда.

С. 374. *Святой Антоний.* – См. коммент. к роману «Вечер у Клэр». Т. 1, с. 808.

С. 383. *И когда шершавая парча епитрахили покрывала мою голову и раздались заглушенные слова...* – *Епитрахиль* – часть облачения священника, надеваемая на шею под ризу; это широкая лента, спускающаяся по центру одежд донизу. В «Новой Скрижали, или Объяснении о церкви, о литургии и о всех службах и утварях церкви» архиепископа нижегородского Вениамина (1738–1811), наиболее авторитетном толковании церковной службы в дореволюционное время, о символическом значении епитрахили говорится следующее: «Епитрахиль означает совершительную и свыше сходящую благодать Св. Духа... подобно тому, как Сам Христос на Своих раменах нес крест на страдание, так поступает и иерей, удостоившись совершить таинство страданий Его. Без епитрахили иерею нельзя совершать ни одной службы». Возложение епитрахили на голову кающегося (что означает возвращение исповедавшемуся милости Божией) и одновременное чтение разрешительной молитвы – самый важный момент таинства исповеди, отпущение грехов.

Водопад (с. 384). Впервые – Встречи (Париж). 1934. № 1. Печатается по этой публикации.

Впервые в России – Столица. 1994. № 21. С. 60–63.

С. 388. *...началась бурская война, и он отправился в Трансвааль...* – Речь идет об Англо-бурской войне 1899–1902 гг., в результате которой бурские республики Трансвааль и Оранжевая были присоединены к владениям Великобритании.

С. 390. *...летели... какие-то крупные насекомые, вроде библейской саранчи, и столь же многочисленные.* – *Саранча* в Библии, как правило, – Божья кара; восьмая казнь египетская (Исх. 10, 4–15), страш-

ное проявление Божьего гнева (Втор. 28, 38–42; 3 Цар. 8,37; 2 Пар. 6, 28). Но особенно ужасна саранча, посылаемая на землю в преддверии Страшного Суда (Откр. 9, 3–11), выходящая из «кладязя бездны» после того, как «вострубил пятый Ангел».

С. 391. *...Но он знает «Чтец-декламатор».* – *«Чтец-декламатор»* – альманах, издававшийся в Киеве до Первой мировой войны.

К позорной казни присужденный... – Неточное цитирование начальных стихов баллады Морица Гартмана (1821–1872), переведенной М.Л. Михайловым (1859) и популярной в России в 1860–1870-х гг. У Михайлова:

Позорной казни обреченный,
Лежит в цепях венгерский граф.

Газданов не раз цитирует эту балладу, и всегда иронически.

Железный Лорд (с. 392). Впервые – Современные записки. 1934. № 54. Печатается по этой публикации.

Впервые в России – Другие берега. 1994. № 4/5 / Публ. Л. Диенеша.

Архив Газданова. Рукопись рассказа датирована: «17.XI.1932».

Этот рассказ основан на воспоминаниях автора о трагической семейной жизни его соседей в провинциальном городе на юге России в годы, предшествующие Первой мировой войне (по устным воспоминаниям вдовы Г. Газданова, Фаины Дмитриевны в беседе с Л. Диенешем).

О рассказе с похвалой отозвался Г. Адамович: «Прост и хорош рассказ Газданова "Железный Лорд"... Каждое слово светится, пахнет, звенит, и если автор мимоходом расскажет о ночевке в Сибири, на берегу большой реки, то сделает это так, что читатель чувствует какую-то почти физическую свежесть, будто река и темное лесное приволье где-то тут, поблизости, рядом» (Последние новости. 1934. 15 февр.).

С. 395. *...как надо читать – «с чувством» – «Разбитую вазу» Сюлли-Прюдома...* – *Сюлли-Прюдом* Франсуа Арман (1839–1907) – французский поэт, член литературного объединения «Парнас», лауреат Нобелевской премии (1901). Упоминается его знаменитое в свое время стихотворение – о сложных, интимных переживаниях лирического героя, оно вошло в первый, принесший поэту известность сборник «Стансы и стихотворения» (1865).

«По диким степям Забайкалья, где золото роют в горах...» – Первые две строки известной в Сибири с 1880-х гг. песни, популярной и ныне. Ее авторство приписывалось поэту Ивану Кузьмичу Кондратьеву (ум. 1904) без достаточных оснований. Сейчас считается, что автор песни не установлен.

С. 401. *...письмо подлиннée с цитатами преимущественно из испанских лириков...* – Вероятно, имеется в виду «золотой век» испанской поэзии – Возрождение и эпоха барокко; среди его представите-

лей – Хорхе Манрике (1440–1478), Гарсиласо де ла Вега (1503–1536), Сан Хуан де ла Крус (1542–1591), Луис де Гонгора (1561–1627), Лопе де Вега (1562–1635), Хуана Инес де Ла Крус (1651–1695). Начиная с творчества Хорхе Манрике, автора знаменитых «Стансов на смерть отца» (1476), сквозной темой испанской лирики становится тема бренности и иллюзорности человеческой жизни, борения души с испепеляющими ее страстями.

С. 401. ...*«той части западной Испании, которую мы так плохо знаем, которая, однако, вдохновляла Кальдерона...»* – Имеется в виду северо-западная провинция Испании Галисия, в которой происходит действие многих пьес испанского драматурга эпохи барокко Педро *Кальдерона* де ла Барки (1600–1681).

С. 409. ...*научные термины о полигамии и сексуальных аффектах... – Полигамия* – многобрачие; термин взят из биологии – так называются отношения между полами, когда один самец в период размножения оплодотворяет нескольких самок. *Сексуальные аффекты* – по теории Фрейда, состояния, когда «влечение Я» (способствующее самосохранению) подавляется влечением сексуальным (способствующим сохранению вида, иногда в ущерб самосохранению).

Освобождение (с. 413). Впервые – Современные записки. 1936. № 60. Печатается по этой публикации.

Впервые в России – Согласие. 1993. № 7.

Г. Адамович (Последние новости. 1936. 12 марта) критиковал автора за «беллетристическую элегантность» и «техническое остроумие», что, по его мнению, для Газданова важнее, чем описание глубины человеческого отчаяния перед лицом смерти (как у Л. Толстого в «Смерти Ивана Ильича»).

Рассказ служит, по сути, великолепной иллюстрацией эпиграфа из «Шагреневой кожи» Бальзака: на протяжении жизни желания и действия человека приводят к его саморазрушению, и перед лицом смерти он приходит к мысли о бесполезности богатства, любви и счастья, поскольку жизнь бесцельна из-за присутствия в ней смерти.

В. Ходасевич в обзоре «Книги и люди. Современные записки» (Возрождение. 1936. № 3935) заметил: «“Мораль” заключается в двух положениях, из которых одно (не в деньгах счастье) составляет прописную истину, а второе (деньги не обладают творческой силой) неверно даже по Марксу. В общем, очень изящный и умело использованный словесный материал затрачен автором впустую. Газданов сумел нарисовать героя, но не знал, что с ним делать, и насильно прицепил к изображению кое-как сделанный конец».

С. 427. ...*сейчас начнется передача концерта Тосканини из Opéra... он тотчас узнал «Пасторальную симфонию»... Потом голос спикера объявил «Danse macabre».* – Итальянский дирижер Артуро *Тосканини* (1867–1957) не раз приезжал на гастроли в Париж с Нью-Йоркским филармоническим оркестром.

«Пасторальная симфония» – Шестая симфония (1808) Людвига ван Бетховена (1770–1827), наиболее созвучная духу немецкого романтизма с его культом природы.

Спикер (*англ.*) – *здесь:* диктор, ведущий радиопрограммы.

«Danse macabre» («Пляска смерти») – симфоническая поэма (1874) французского композитора Камиля Сен-Санса (1835–1921).

Смерть господина Бернара (с. 730). Впервые – Современные записки. 1936. № 62. Печатается по этой публикации.

Впервые в России – Сельская молодежь. 1990. № 7 / Подгот. текста, публ. и предисл. Ф. Хадоновой.

Архив Газданова. Тетрадь 3. В рукописи рассказ называется «Господин Бернар».

«Рассказ восхитительно написан, как, впрочем, всегда пишет Газданов, с необычайной изобразительной меткостью, с какой-то вкрадчивой, бесшумной, гипнотизирующей эластичностью ритма. Но, как всегда у Газданова, вся эта словесная прелесть кажется скорее растраченной попусту, нежели служащей замыслу: в “Смерти господина Бернара” замысла нет», – отмечал Г. Адамович (Последние новости. 1936. 10 дек.).

С. 437. *...полное собрание сочинений Поля Бурже. – Бурже* – см. коммент. к «Рассказам о свободном времени». Т. 1, с. 841. Собрание сочинений Бурже в 34 томах вышло в Париже в 1920–1928 гг.

С. 440. *...сочинения малоизвестных и, по-видимому, иностранных авторов – Стивенсона, Томаса Харди и Штирнера...* – Ирония автора направлена против уклада жизни провинциального «филистерского» городка; круг чтения господина Бернара включает в себя то, что совершенно нехарактерно для интересов его земляков, – это и мрачные мотивы тем двойничества, «порченой» крови древних родов, тайной психологии преступлений в произведениях англичанина Роберта Льюиса *Стивенсона* (1850–1894), и «романтических истории и фантазии» (по авторскому определению) другого англичанина, *Томаса Харди* (1840–1928), и бунтарский эгоизм немецкого философа Макса *Штирнера* (1806–1856), само название основного труда которого – «Единственный и его мир», или, в другом переводе, «Единственный и его собственность» (1845) – по отношению к бунту Бернара звучит пародийно. Обыгрывается характерное для провинции недоверие к «иностранцам», «посторонним».

С. 443. *...со ссылкой на историю Вавилонской башни...* – Потомки Ноя, подстрекаемые «хамовым племенем», опасавшимся рассеяния и рабства – обещанной кары за грех отца (Быт. 9, 25–26), начали строить город в долине Сеннаарской с башней, которая должна была стать центром для всех племен (Быт. 11). Это сооружение не было достроено, так как Бог «смешал языки» строителей и они перестали понимать друг друга. Город получил имя Вавилон (что значит «смешение»). По мнению немецкого ученого Г. Гункеля, предание о Вавилонской башне имеет историческую основу – речь идет о многоэтажном храме Мардука в Вавилоне, увенчанном башней.

С. 451. *...дамы, «точно вышедшей из сочинений Гофмана...»* – В новеллах и сказках Э.Т.А. Гофмана действует целый сонм демонических уродов – карлики, горбуны, гомункулусы, ведьмы.

Воспоминание (с. 453). Впервые – Современные записки. 1937. № 64. Печатается по этой публикации.

Впервые в России – Владикавказ. Альм. 1992. № 1 / Публ. С. Кабалоти.

Архив Газданова. Тетрадь 6.

«Небольшой рассказ Г. Газданова “Воспоминание”, писал Г. Адамович представляет собой необычное соединение банально-искусственного, шаблонно-модернистического замысла с редким даром писать и описывать, со способностью находить слова, будто светящиеся или пахнущие, то сухие, то влажные, в каком-то бесшумном, эластическом сцеплении друг за другом следующие...» (Последние новости. 1937. 7 окт.).

Тема анамнеза возникает в прозе Газданова неоднократно. Хотя здесь она представлена достаточно серьезно, рассказ все же является и весьма тонкой пародией на теософские теории.

Эпиграф – начальные строки второй строфы третьего стихотворения цикла «Венеция» (1909) А.А. Блока.

С. 456. *...всего этого рубенсовского великолепия, не заключавшего в себе, однако, в противоположность вдохновению великого художника, ни одной отвлеченной мысли.* – Вероятно, Газданов имеет в виду откровенную, «великолепную», «изобильную» чувственность, телесность творчества фламандского художника Петера Пауля Рубенса (1577–1640).

С. 469. *...на темы теософские...* – *Теософия* – религиозно-философское учение о возможности «непосредственного постижения» Бога с помощью мистической интуиции и откровения, доступных избранному кругу «посвященных» лиц. Теософы признают перевоплощение душ; цель созданного в 1875 г. в Нью-Йорке по инициативе Е. Блаватской Теософического общества – развитие «сверхчувственных сил человека», пробуждение в нем памяти о прошлых воплощениях.

С. 470. *...филогенезис повторяет онтогенезис...* – *Филогенез* – историческое развитие органического мира, его типов, классов, отрядов, семейств, родов и видов (эволюционный процесс). *Онтогенез* – индивидуальное развитие животного или растительного организма от момента зарождения до конца его жизни. Согласно биогенетическому закону, в течение индивидуального развития каждое живое существо повторяет основные этапы развития всего ряда предковых форм.

С. 473. *Даже книги были те же самые, тот же Салиас, Шеллер-Михайлов, Мамин-Сибиряк, Гусев-Оренбургский...* – Эти писатели к началу XX в. уже утратили популярность и воспринимались как анахронизм.

Салиас – литературное имя графа Евгения Андреевича Салиаса-де-Турнемир (1840–1908), сына писательницы Е. Тур, собрание его сочинений включало 33 тома. В исторических произведениях он следовал принципам В. Скотта – «реконструировал» прошлое, с помощью многочисленных деталей придавал ему историческую

достоверность, изображал реальных деятелей истории на фоне авантюрного сюжета.

Шеллер-Михайлов Александр Константинович (наст. фам. Шеллер; 1838—1900) — писатель и журналист, редактор нескольких журналов. Его герои — разночинцы, просветители народа, как правило, противопоставлены дворянам.

Мамин-Сибиряк Дмитрий Наркисович (наст. фам. Мамин; 1852—1912) — прозаик, рисующий быт Урала. Основной мотив его произведений — власть денег, разлагающая нравственные устои личности, семейные и дружеские отношения.

Гусев-Оренбургский Сергей Иванович (наст. фам. Гусев; 1867—1963) — прозаик. Имел репутацию «лучшего бытописателя сельского духовенства». В позднем творчестве ему свойствен глубокий, обобщающий взгляд на действительность сквозь призму христианской философии. Критика отмечала правдивость и искренность его произведений, но упрекала в сентиментальности шаблонности. В 1921 г. выехал в Харбин, оттуда — в США, умер в Нью-Йорке.

С. 473. *...в ее комнате висел портрет Брюсова... с некоторым налетом модернизма, а среди книг попадались такие названия, как «Раскрепощенная женщина» и, конечно, «Обломки крушения»... «Ключи счастья», «Жена министра», «Конец дневника»... «Из красивого прошлого».* — Возможно, речь идет о копии или репродукции портрета (1905) поэта, драматурга, прозаика, литературного критика, одного из основоположников русского символизма Валерия Яковлевича *Брюсова*; это последняя работа Михаила Александровича Врубеля (1856—1910): Брюсов ездил позировать в психиатрическую клинику, где Врубель провел последние годы жизни. После многочисленных переделок портрет так и остался незавершенным — «с отрезанной частью головы, без надлежащего фона, с бессвязными штрихами вместо задней картины: свадьбы Псиши и Амура» (*Брюсов В.* Из моей жизни: Автобиографическая и мемуарная проза. М.: Терра, 1994. С. 24), что многие позднее воспринимали как сознательный «прием».

«Ключи счастья» (1909—1913) — роман Анастасии Алексеевны Вербицкой (1861—1928), экранизированный в 1913 г.

«Жена министра» — один из самых известных романов Надежды Александровны Лаппо-Данилевской (1874—1951), с 1912 по 1918 г. выдержавший семь изданий.

«Обломки крушения» — вероятно, ее же роман «Крушение», входивший в тетралогию «Развал» (1921—1922).

Бомбей (с. 477). — Впервые — Русские записки. 1938. № 6. Печатается по этой публикации.

Впервые в России — *Газданов Г.* Призрак Александра Вольфа. Бомбей (Серия «Бестселлер». Прилож. к журналу «Кто и как?») / Вступ. ст. и публ. Ст. Никоненко. М., 1991; Огонек. 1991. № 43 (с сокращ.) / Подгот. текста, публ. и предисл. Ф. Хадоновой.

Архив Газданова. Рукопись датирована: «15.1V.1938».

На первую публикацию откликнулись Ходасевич и Адамович. Оба отклика свидетельствовали о том, что ренцензенты по-прежнему

не могли постигнуть тайну магической прозы Газданова. Они восхищаются частностями, но «новая проза» Газданова им не близка. «Мне не раз уже приходилось указывать, – пишет Ходасевич, – что в рассказах Г. Газданова мастерское письмо облекает слабый замысел, банальную фабулу и шаткую архитектуру. На сей раз он попытался избегнуть опасности, прямо идя ей навстречу. В его “Бомбее” фабулы вовсе нет – бесфабульные рассказы Чехова рядом с “Бомбеем” могут показаться чуть ли не авантюризмом. Построение сведено к отсутствию всякого построения – дан просто рассказ о том, как герой живет в Париже, едет в Бомбей и уезжает оттуда. Попутно он встречает разных других людей, не играющих роли ни в его судьбе, ни в судьбе друг друга. Несомненно, попытка Газданова использовать, так сказать, противный ветер, превратив свой органический недостаток в литературный прием, находчива и остроумна. Однако в конце концов она ни к чему не приводит. Остается все то же: чудесно написанный рассказ о том, чего не стоило рассказывать. У Чехова фабула заменена, лучше сказать – вытеснена, очень напряженным, внутренним лиризмом, составляющим суть вещи. У Газданова этого лиризма нет и, следовательно, нет никакой сути» (*Ходасевич В.* Книги и люди. «Русские записки», апрель-июль // Возрождение. 1938. 22 июля. С. 9).

Г. Адамович в своем обзоре уделяет Газданову больше внимания: «Гайто Газданов, автор напечатанного в июньской книжке “Русских записок” рассказа “Бомбей”, дебютировал в нашей литературе лет десять тому назад и сразу обратил на себя внимание. После появления “Вечера у Клэр” его единодушно зачислили в разряд самых несомненных, самых бесспорных наших “надежд”. Как это ни странно, Газданов пребывает в разряде этом до сих пор: нет ни малейшего основания его оттуда исключить, но чего-то и не хватает для того, чтобы признать надежду вполне оправдавшейся.

Случай довольно редкий! Каждый раз, когда приходится читать новую вещь Газданова, переживаешь в сжатом виде то же самое, что относится к его литературной биографии в целом... Первое впечатление: как талантливо! Немного найдется сейчас русских писателей, не только среди молодых, но и среди старших, которые наделены были бы такой свежестью восприятия, такой способностью чувствовать и отражать в слове краски, запахи и звуки, всю «влажную живую ткань бытия». Первые страницы у Газданова неизменно вызывают восхищение, – вовсе не того порядка, как, например, при чтении Сирина, с его безошибочно рассчитанной механикой и холодным блеском, а, скорее, напоминающие Бунина, к которому, по манере писать, Газданов вообще близок. Как талантливо! Читаешь дальше, – и мало-помалу возникает чувство, переходящее в убеждение, что у автора нет темы, что он с одинаковым искусством описывает все попадающее ему под руку, что он обречен остаться наблюдателем происходящего на поверхности, не имея доступа в глубь жизни. Надолго ли обречен? Предсказания всегда опрометчивы...

“Бомбей” – вещь чрезвычайно типичная для Газданова. Начинается она описанием встречи рассказчика с пожилым шотландцем Питерсоном в большом монпарнасском кафе. Случайная беседа

соседей по столику приводит к дружбе, изменяющей всю жизнь одного из них. Однако перед тем, как рассказать о путешествии своего героя в Индию, Газданов обстоятельно осведомляет нас о его жизни в Париже, в квартире молодого испанца, который охарактеризован так ярко, будто ему предстоит играть в повествовании главную роль. В действительности, это – лицо эпизодическое, или, впрочем, эпизодично у Газданова решительно все. Принцип его творчества полностью противоположен тому, который провозглашен был Чеховым, – правда, только для драмы: ружья – повсюду, а которое из них выстрелит, предвидеть никак нельзя... Не обходится, разумеется, и без картин тропической природы. Больше всего, однако, уделено внимания приятелям и знакомым Питерсона, причем и тут Газданов нередко оказывается на уровне самых высоких требований, которые можно предъявить писательскому мастерству. Супруги Рабиновичи, обрисованные мимоходом, двумя-тремя штрихами, или другая чета, Серафим Иванович с Марией Даниловной, – будто наши давние знакомые...

Чтение увлекательное, но вместе с тем и удивляющее... Внутренних причин для прекращения повествования нет, а ведет его Газданов с таким заразительным удовольствием, что всякий готов читать и дальше, сколько угодно... Странный случай!» (*Адамович Г.* Русские записки. Часть литературная // Последние новости. 1938. 23 июня).

С. 487. *...многочисленные прошедшие времена во французском языке...* – Во французском языке девять прошедших времен, больше, чем настоящих и будущих, вместе взятых.

С. 502. *Было так удивительно за много тысяч верст от России услышать эту фразу, которая должна была бы прозвучать на Пересыпи или Молдаванке... – Пересыпь* и *Молдаванка* – название районов Одессы, где жили главным образом бедняки, в большинстве своем евреи.

С. 504. *– Вы помните... Откровение святого Иоанна?* – Имеется в виду Апокалипсис, или Откровение Иоанна Богослова, последняя книга Нового Завета, авторство которой приписывают одному из учеников Христа евангелисту Иоанну. В этой книге много пророчеств и темных двусмысленных мест, что сближает ее с книгами Ветхого Завета.

«И ангел вострубил, и небо скрылось, свившись, как свиток». – Неточная цитата из Откровения Иоанна; первая ее часть («И ангел вострубил») несколько раз повторяется в главе восьмой, тогда как вторая часть («и небо скрылось, свившись, как свиток») содержится в главе 6, ст. 14, где речь идет не об одном из ангелов, а об Агнце, снявшем шестую печать с запечатанной книги.

С. 506. *...прекрасного французского перевода «Конька-Горбунка»... – «Конек-Горбунок»* (1834, полн. изд. 1856) – стихотворная сказка Петра Павловича Ершова (1815–1869). С начала 1870-х гг. переводилась на многие европейские языки.

...неутомимый Марко Поло... – итальянский путешественник (1254–1324), в 1271–1275 гг. совершил путешествие в Китай, где про-

жил 17 лет; в 1292–1295 гг. морем вернулся в Италию. В написанной с его слов «Книге» (1298) поведал о странах Азии, в которых побывал.

С. 508. *...помните ли вы, что любовница Достоевского, впоследствии жена Розанова...* – Имеется в виду Аполлинария Прокофьевна Суслова (1840–1916), вышедшая замуж за В.В. *Розанова* (1856–1919).

С. 511. *...старый слуга, Барруа, выпивший по ошибке яд... и тут же умерший в страшных мучениях, через несколько страниц после этого окончательного, казалось бы, события, вновь «вошел в комнату, держа в руках поднос» так, точно ничего не случилось.* – Неувязки такого рода в романах Александра Дюма, и в частности в упоминаемом знаменитом «Графе Монте-Кристо» (1845–1846), объясняются тем, что писатель не всегда помнил детали судеб своих многочисленных персонажей.

«Похождения Рокамболя» – многотомный приключенческий роман французского писателя Пьера Алексиса виконта де Понсон дю-Террайля (1829–1871).

...в гостиной лежал целый комплект программ «Moulin Rouge»... – *«Moulin Rouge»* – одно из самых известных кабаре в Париже, существующее более ста лет.

Ошибка (с. 522). Впервые – Современные записки. 1938. № 67. Печатается по этой публикации.

Впервые в России – *Газданов Г.* Вечер у Клэр: Романы и рассказы / Сост., вступ. ст. и коммент. Ст. Никоненко. М.: Современник, 1990.

Архив Газданова. Тетрадь 3. Ранний черновик в тетради 1932 г. озаглавлен сперва «Измена», затем – «Ошибка».

Г. Адамович писал об этом рассказе: «Стиль у Газданова... подкупает особой, лишь этому писателю свойственной, почти физической свежестью. В противоположность Сирину, слог которого вызывает в воображении какие-то электрические ассоциации, у Газданова фраза как бы влажна в составе своем. “Солнце пахнет травами”, – писал когда-то Бальмонт. У Газданова слово пахнет дождем, туманом, напоминает ветку, полную росы. Это очаровательное свойство газдановской манеры писать, и притом свойство неподражаемое: никто, по крайней мере, из его сверстников не сумел эту его особенность перенять» (Последние новости. 1938. 10 нояб.).

Хана (с. 536). Впервые – Русские записки. 1938. № 11. Печатается по этой публикации.

Впервые в России – Семья и школа. 1994. № 1 / Публ. Ст. Никоненко.

Архив Газданова. Тетрадь 6. Рукопись датирована: «Июль 1938».

С. 538. *...любил говеть и поститься...* – *Говение* – обычай православной церкви в одну из седмиц многодневного поста (преимущественно Великого), перед исповедью и причащением, воздерживаться даже от простой пищи. *Пощение,* вместе с запретом на пищу или некоторые ее виды, включает ряд других предписаний: запрет совершения таинства брака, увеселений, усиление молитвы (осо-

бенно — за других), благотворительность, обязательное перечитывание всех Евангелий, выполнение особых обетов и др.

С. 542. — *У нас с вами есть еще один знаменитый однокашник — Мечников...* — Илья Ильич *Мечников* (1845—1916) — биолог и патолог, лауреат Нобелевской премии (1908). Сообщение о том, что он однокашник героя, четко обозначает место действия рассказа: Мечников закончил с золотой медалью 2-ю харьковскую гимназию.

С. 545. *Я видел впоследствии катастрофическое отступление целой армии, безумные толпы людей в Париже в так называемые исторические дни...* — Имеется в виду отступление армии Врангеля, свидетелем и участником которого был рассказчик; *исторические дни в Париже,* вероятно, — события 1936 г., когда толпы людей на улицах ликовали по поводу победы Народного фронта и создания правительства Народного фронта.

С. 562. *...не одобрял, например, поведения Победоносцева...* — Константин Петрович *Победоносцев* (1827—1907) — крупный государственный деятель России конца XIX — начала XX в., член Государственного совета, обер-прокурор Священного синода, воспитатель наследника престола (будущего Александра III). Придерживался консервативных взглядов, противился реформам, считая отмену, «старых учреждений» началом хаоса. Отношение к нему было двойственным: «...одни его ненавидели и проклинали, другие славословили... одни в нем видели ангела-спасителя России, другие — ее злого гения... (из некролога Б. Глинского в «Историческом вестнике»).

Вечерний спутник (с. 568). Впервые — Русские записки. 1939. № 16. Перепечатано при жизни автора — Мосты. 1959. № 3. Печатается по этой публикации.

Впервые в России — *Газданов Г.* Вечер у Клэр: Романы и рассказы / Сост., вступ. ст. и коммент. Ст. Никоненко. М.: Современник, 1990.

Архив Газданова. Тетрадь 6.

«Рассказ Гайто Газданова, — пишет Г. Адамович, — производит двойственное впечатление: в нем прельщает “как”, но смущает “что”. Газданов — очень талантливый человек, это известно давно, незачем снова расточать ему комплименты, относящиеся к слогу, к стилю, к остроте зрения, свежести восприятия. Но какая странная фантазия пришла на этот раз ему в голову!

...Заметим, что и площадь Трокадеро выбрана не случайно: знаменитый государственный деятель, имя которого сразу приходит при чтении “Вечернего спутника” в голову, жил и скончался на соседней с Трокадеро улице, так что версия, будто по ночам он тут отдыхал, сидя на скамейке, допустима. Дальше, однако, начинается безудержный разлив воображения... Дама из Болье, правда, называет его Эрнестом, и формально автор, значит, свободен от упреков в добавлении новых эпизодов к биографии всем известного лица. Он пишет об Эрнесте, а не о Жорже. Но уловка никого не обманет.

Рассказ оригинален и интересен сам по себе, как все, что пишет Газданов. Непонятно только, зачем понадобилось автору под-

черкивать в нем полноту портретного сходства... Сначала принимаешь рассказ за "быль", а затем, убеждаясь в невероятности фабулы, удивляешься причудам мысли, его создавшей» (Последние новости. 1939. 27 апр.).

«Всем известное лицо» – это Жорж Клемансо (1841–1929), премьер-министр Франции в 1906–1909, 1917–1920 гг. Газданов действительно придал своему герою черты портретного сходства с ним.

С. 570. *Это все та же история Лазаря: оттуда не возвращаются.* – Воскрешение Лазаря (Ин. 11) – последнее чудо Христа перед взятием под стражу; после известия об этом чуде фарисеи «с этого дня положили убить Его» (Ин. 11, 53); «если оставим Его так, то все уверуют в Него» (Ин. 11, 48). Рассказ о воскрешении Лазаря в Евангелии наиболее трагичен по сравнению с другими воскрешениями – дочери Иаира (Мф. 9, 18–26; Мк. 5, 22–43; Лк. 8, 41–56) и сына вдовы (Лк. 7, 11–17); детали выявляют масштаб совершенного Христом, резкость границ между жизнью и смертью (камень на пещере с телом, четырехдневный срок после смерти, сама сцена появления воскресшего: «...Он воззвал громким голосом: Лазарь! иди вон. И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, и лице его обвязано было платком» (Ин. 11, 43–44). Дальнейшая судьба Лазаря, в Священном Писании не рассматривавшаяся, всегда интересовала людей искусства. Согласно некоторым апокрифам, Лазарь был вскоре убит фарисеями, опасавшимися его свидетельств о Христе. Л. Андреев («Елеазар», 1906) создает образ Лазаря как «живого мертвеца», безразличного ко всему вокруг и даже внешне остающегося выходцем из могилы. Согласно «каноническому» средневековому преданию, Лазарь прожил после воскрешения тридцать лет святой жизни и был первым епископом города Китиона (остров Кипр).

С. 571. *Впрочем, может быть, в последнюю минуту... – Вы читали «Фауста»?..* – Ссылка на *«Фауста»* значима в контексте рассказа, открывая тему «двойственности», творческой силы самообмана (см. также коммент. к с. 166).

Фауст заключает с Мефистофелем договор:

...Когда воскликну я: «Мгновенье,
Прекрасно ты, продлись, постой!» –
Тогда готовь мне цепь плененья,
Земля, разверзнись подо мной!

(Сцена 4. Кабинет Фауста.
Здесь и далее пер. Н. Холодковского).

В сцене 5-й старый, потерявший зрение Фауст-созидатель, принимает звон лопат лемуров, роющих ему могилу, за строительство рва, который позволит отвоевать необходимую ему землю для «края обширного, нового, подобного раю» у моря, и, казалось, постигнув «конечный вывод мудрости земной», восклицает:

...мгновенье!
Прекрасно ты, продлись, постой!...
Я высший миг теперь вкушаю свой –

и в это мгновение, во исполнение договора, умирает. Мефистофель резонерствует над его телом:

Нигде, ни в чем он счастьем не владел,
Влюблялся лишь в свое воображенье;
Последнее он удержать хотел,
Бедняк, пустое, жалкое мгновенье!

Но Фаусту, над которым он торжествует победу в земной жизни, открывается рай.

С. 573–574. *Он считал еще теорию физиократов наименее глупой... только о Тюрго сказал, что тот был умен. Адам Смит был, по его мнению, компилятором, Рикардо – спекулянтом, Прудон – крестьянской головой, не способной ни к какой эволюции.*

– ...именно физиократы не проводили большого различия между ворами и коммерсантами.

Термин «физиократы» используется в широком смысле – экономисты, считавшие источником богатства сферу производства (в отличие от меркантилистов, считавших главной сферу обращения денег, накопления золотого и серебряного запаса, обеспечивающего денежную массу). Это дает возможность причислить к ним не только французского экономиста, философа-просветителя, государственного деятеля А.Р.Ж. *Тюрго* (1727–1781), осуществившего реформы в духе учения физиократов (свобода торговли зерном и др.), но и английских экономистов *Адама Смита* (1723–1790) и *Давида Рикардо* (1772– 1823), который был родом из семьи биржевого маклера и в молодости занимался коммерцией, игрой на бирже (видимо, поэтому он назван *«спекулянтом»*), а также французского социалиста, теоретика анархизма Пьера Жозефа *Прудона*, происходившего из крестьянской семьи (вероятно, поэтому, он – *«крестьянская голова»*).

Физиократы считали основой благосостояния общества «чистый продукт» – излишек продукта сверх затрат, вложенных в производство. Единственная отрасль, способная производить «чистый продукт», на их взгляд – это земледелие: промышленность – лишь «мнимое» производство, «бесплодный» труд, так как не добывает новое вещество, а лишь перерабатывает добытое. Таким образом, единственное идеальное («естественное», близкое законам природы) общество – земледельческое.

С. 574. *...человеческое общество основано на взаимном обкрадывании... – «Кражей»* назвал крупную собственность Прудон, отстаивавший идею справедливого обмена между производителями товара («Что такое собственность?», 1840). См. о нем также коммент. к роману «Ночные дороги», с. 708.

– Но взятие Бастилии...

– Глупости... Два сумасшедших и три дурака...

Вероятно, имеются в виду вожди революции 1789 г. (до второго триумвирата) Марат («Друг народа») и Робеспьер («Неподкупный»), известные своим фанатизмом, а также Дантон, Бриссо и Демулен, бывшие соратниками первых и окончившие жизнь на гильотине.

С. 580. *...на прибрежных подводных островках росли альги...* – *Альга* (от *лат.* alga) – морская трава, водоросли.

С. 591. *...и сейчас же увидел перед собой эту страницу. Я помнил ее наизусть.* – Сонет Бодлера «Последние угрызения», стилизованный в духе поэзии XVI в., впервые опубликован в 1855 г. В «Цветах зла», под номером XXXIII, входит в раздел «Сплин и идеал».

С. 594. *...всякая истина, сопоставленная с этим блистательным обманом, увядает и становится идеально ненужной.* – Аллюзия на стихотворение «Герой» (1830) А.С. Пушкина, эпиграфом к которому послужил вопрос Пилата Христу: «Что есть истина?»:

Тьмы низких истин мне дороже
Нас возвышающий обман...

ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПРОЗА

На французской земле. Впервые – на фр. яз.: Je m'engage á défendre. Paris: Défense de la France. Ombres et Lumières, 1946.

Впервые на рус. яз. – Согласие. 1995. № 30 / Вступ. ст., подгот. текста и публ. Л. Диенеша. Печатается по этой публикации.

Архив Газданова. Ед. хр. 37, 38. Рукопись датирована: «19 мая 1945 г.»

Это документальное повествование, появившееся впервые на французском языке, долго практически не было известно русским читателям, хотя его высоко оценили в русской зарубежной печати: *Бахрах А.* Партизаны во Франции // Русские новости. 1946. № 78. 8 нояб.; *Слоним М.* Литературные заметки (Русский сборник) // Новоселье. 1947. № 31/32; Товарищ Марк [А.П. Покотилов]. Эпизод из жизни советского партизанского отряда имени Максима Горького / Вестник русских добровольцев, партизан и участников Сопротивления во Франции. 1947. № 2.

А. Бахрах, в частности, писал: «Новая книга Газданова – одна из тех редких книг, где автор никак не отождествляет себя с “героем” (в обоих смыслах). Случилось ему находиться (о своей работе он умалчивает) если не в боевом центре событий, то все же в их непосредственной близости: в одной из явочных квартир – одном из подпольных “штабов”. Выступает он живым свидетелем виденного и слышанного, и показания его даются им с таким целомудрием, что его бережное и внимательное отношение к описываемым событиям и к произносимым им словам резко выделяет его небольшую по объему работу и создает вокруг нее такую разреженную атмосферу, что совокупность происшествий, в ней описанных, не вызывает сомнений у читателя и, несмотря на фрагментарность, воссоздает целостную картину подлинной эпопеи– героической и даже в какой-то мере сказочной.

...Нет нужды перечислять отдельные эпизоды этого кровавого эпоса. Жутко восстанавливать в деталях кровавый синодик. Да Газданов и не пишет истории советского партизанского движения во Франции. Он не ставит себе исторических задач. Он подготавливает почву для будущего историка, воскрешая психологическую

подкладку этого движения. Талантливо и убедительно восстанавливает он тот климат, в котором «героизм торжествовал над насилием, воля над реальностями, внутренняя непобедимость над внешними победами»... страна, ради которой эти безымянные люди гибли в европейских пространствах, окруженные со всех сторон вражескими полчищами в своем безмерном одиночестве, – эта страна не может и не должна забыть далекий героизм тех, кто отдал за нее свои жизни на иностранной земле. Маленькая книга Газданова – первый камень этому памятнику».

Первые читатели книги полагали, что Газданов написал ее по-французски. Лишь в 1975 г. Ласло Диенеш обнаружил русский оригинал в архиве писателя, хранящемся в Гарвардском университете. В рукописи не хватало одной страницы, ее текст восстановлен в переводе с французского.

Основа книги – личный опыт писателя, находившегося в Париже в период немецкой оккупации, и сведения, полученные от друзей, знакомых, соратников по Сопротивлению.

Участие в Движении Сопротивления началось для Газданова так. Однажды его знакомый – А.А. Покотилов пригласил к себе Газданова с женой, Фаиной Дмитриевной Ламзаки, и представил их участникам Сопротивления – советским военнопленным, бежавшим из заключения, – Николаю и Павлу. На вопрос, хотят ли они помогать партизанам, Газдановы ответили утвердительно. Так, Газданов стал редактором информационного бюллетеня подполья, Фаина Дмитриевна – связной.

В этом документальном повествовании, написанном, как и большинство произведений писателя, от первого лица, в ряде случаев, когда речь идет о конкретных событиях, участником которых Газданову довелось быть, он скрывается за образом «моего приятеля».

Книга Газданова, возможно, – первое литературное свидетельство участия советских партизан в Движении Сопротивления в Европе.

С. 597. *Это началось в предпоследний год немецкой оккупации Франции.* – Имеется в виду 1943 г.

3 сентября 1939 г. Франция объявила войну Германии (в связи с вторжением последней в Польшу), однако никаких реальных действий не предприняла. Период с сентября 1939 г. по июнь 1940 г. получил название «странной войны». Гитлеровские войска, в свою очередь, развернули наступление, и в июне 1940 г., оставив Париж, французское правительство приняло условия капитуляции, выдвинутые фашистской Германией. В соответствии с условиями Компьенского перемирия от 22 июня 1940 г., гитлеровские войска оккупировали две трети территории Франции. Неоккупированная зона находилась в ведении французского коллаборационистского правительства во главе с маршалом А. Петеном.

С первых же дней оккупации стало действовать Движение Сопротивления (в основном – саботаж, забастовки, демонстрации, затем возникли партизанские отряды).

11 ноября 1942 г. немецкие и итальянские войска начали оккупацию неоккупированной зоны Франции.

В 1943 г. Движение Сопротивления активизировалось (этому способствовали победы Красной Армии), постепенно перерастая в народное восстание. К 25 августа 1944 г., когда войска антигитлеровской коалиции вступили в Париж, он почти полностью был освобожден самими французами. К концу 1944 г. Франция была освобождена окончательно. При этом важнейшую роль сыграли Движение Сопротивления, Французские внутренние силы и действия партизанских отрядов.

С. 598. *...огромный опыт партизанской войны в России.* — Борьба советских людей в тылу врага была исключительно важна для разгрома немецко-фашистских войск и началась с первых же дней Великой Отечественной войны на оккупированных территориях. Партизанское движение приняло огромный размах, в нем участвовало более миллиона человек. Стратегическое руководство партизанскими отрядами и соединениями осуществлялось Ставкой через Центральный штаб партизанского движения. Партизаны освобождали села и даже целые районы. Многие руководители и участники партизанского движения стали широко известны (С.А. Ковпак, Д.Н. Медведев, А.Н. Сабуров, А.Ф. Федоров и др.).

С. 603. *...кто сеет ветер, тот пожинает бурю.* — Имеются в виду слова из библейской книги пророка Осии (8, 7): «Так как они сеяли ветер, то и пожнут бурю...»

С. 604. *...блиндированной дивизии... — Блиндированная* — хорошо укрепленная, защищенная от огня противника при помощи разнообразных средств — бревен, мешков с песком, стальных листов и т.п.

...любой учебник истории содержал в себе описание роли, которую играли партизаны в наполеоновскую эпопею. — В период Отечественной войны 1812 г. важную роль в разгроме армии Наполеона сыграли боевые действия отрядов русской армии (Д.В. Давыдова, И.С. Дорохова, А.Н. Сеславина и др.) и крестьянских партизанских отрядов (Г.М. Курина, В. Кожиной, Е.В. Четвертакова и др.) в тылу наполеоновских войск.

С. 607. *...я не могу не вспомнить историю лейтенанта Василия Порика... он был расстрелян немцами 22 июня 1944 года. — Порик Василий* Васильевич (1920 — 22 июля 1944) — лейтенант Советской Армии, Герой Советского Союза (звание присвоено посмертно 21 июля 1964 г.); в июле 1941 г. попал в окружение, затем в плен и отправлен во Францию на работы в угольных шахтах; в июле 1943 г., бежав из Бомонского лагеря, создал партизанский отряд; с 1944 г. — член ЦК Союза советских военнопленных. Во время одного из сражений ранен, снова оказался в плену; совершил побег из тюрьмы Сен-Никез. Его отряд попал в засаду, и Порик был расстрелян 22 июля 1944 г. (согласно советским источникам, которые расходятся с данными Газданова на 1 месяц). Имя Василия Порика как героя Французского Сопротивления увековечено на мемориальной доске французской крепости Аррас.

С. 624. *...начальник штаба отряда, сносившийся... с командованием FFI.* — Forces Françaises de l'Intérieur — Французские внутренние войска *(фр.).*

С. 625. *...слово, которое они оба понимали: «maquis».* — *Макú* — по-французски это лесные заросли, чаща; так называли и французских партизан (их отряды возникли в 1943 г.), поскольку они скрывались главным образом в густых зарослях кустарника — на юге Франции и в горах.

С. 627. *Быть может, они помнили еще Парижскую Коммуну...* — т.е. первое правительство рабочего класса, существовавшее в Париже с 18 марта по 28 мая 1871 г. Поражение бонапартистского режима во Франко-прусской войне 1870—1871 гг., антинациональная политика Третьей республики привели к восстанию парижского пролетариата, вскоре подавленному правительственными войсками при поддержке прусских интервентов.

«Капитал» — главный труд Карла Маркса (1818—1883), содержащий анализ экономических законов капитализма и показывающий его неизбежную историческую гибель. Том 1-й, подготовленный к печати самим Марксом, вышел в 1867 г.; 2-й и 3-й тома изданы Ф. Энгельсом после смерти Маркса: 2-й — в 1885 г., 3-й — в 1894 г.; полное издание 4-го тома вышло лишь в 1955—1961 гг. в СССР.

«...история каждой общественной формации есть история классовой борьбы»...— Не совсем точная цитата из «Манифеста Коммунистической партии» (1848) Маркса и Энгельса, начало его первой главы таково: «История всех до сих пор существовавших обществ была историей борьбы классов» (*Маркс К., Энгельс Ф.* Сочинения. Т. 4. М.: Госполитиздат, 1955. С. 424).

«...та экономическая база, над которой возвышается юридическая надстройка...» — Неточный фрагмент высказывания К. Маркса в Предисловии к «К критике политической экономии» (1859): «Совокупность этих производственных отношений составляет экономическую структуру общества, реальный базис, на котором возвышается юридическая и политическая надстройка и которому соответствуют определенные формы общественного сознания» (*Маркс К., Энгельс Ф.* Сочинения. Т. 13. М.: Госполитиздат, 1959. С. 6—7).

Судя по подбору цитат, Газданов пользовался в качестве источника «Кратким курсом истории ВКП(б)» (1939), разделом «О диалектическом и историческом материализме».

С. 628. *...не знали ни цитат из Маркса, ни Эрфуртской программы, ни — наверное — теории прибавочной стоимости. — Эрфуртская программа* — программа социал-демократической партии Германии, принятая в октябре 1891 г. на партийном съезде в г. Эрфурте; решающее влияние на теорию оказал Ф. Энгельс.

Теория прибавочной стоимости — Согласно Марксу, прибавочная стоимость — это та часть стоимости производимых на капиталистических предприятиях товаров, которая создается трудом наемных рабочих сверх стоимости их рабочей силы и безвозмездно присваивается капиталистом.

С. 628. *...к сожалению, они все-таки умрут, как умерли царь Соломон и Александр Македонский и как умерли современники старушек — Бисмарк и Тьер. — Соломон* — царь Израильско-Иудейского царства в 965—928 гг. до н.э., сын Давида. Согласно библейской традиции, именующей его мудрым, считается автором библейских книг Екклезиаста, Притчей Соломоновых, Песни Песней.

Александр Македонский (356—323 до н.э.) — царь Македонии с 336 г. до н.э., крупнейший полководец древности, победил персов в нескольких битвах, подчинил царство Ахменидов, вторгся в Среднюю Азию, завоевал земли до реки Инд. Создал крупнейшую мировую монархию, после его смерти она распалась.

Бисмарк Отто фон Шёнхаузен (1815—1898) — немецкий полководец, князь, 1-й рейхсканцлер Германской империи в 1871—1890 гг.; осуществил объединение Германии.

Тьер Адольф (1797—1877) — французский государственный деятель, историк, в 1871—1873 гг. — президент Франции; жестоко подавил Парижскую Коммуну. Автор «Истории Французской революции».

С. 636. *Это оказалась «Андромаха».* — Речь, идет о трагедии Ж. Расина (1667) В основе ее сюжета — вариант античного мифа о троянской царевне Андромахе как безутешной вдове Гектора (сына троянского царя Приама) и самоотверженной матери его малолетнего сына.

С. 637. *...сражались с оружием в руках.* — Отсюда и до слов «И все выходило хорошо и благополучно...» текст в русском оригинале отсутствует (утеряна страница рукописи). Текст, как отмечалось, восстановлен путем обратного перевода с французского издания (1946).

С. 641. *...со времен прибытия русского экспедиционного корпуса в прошлую войну.* — Имеется в виду участие русских солдат и офицеров на французском театре военных действий в Первой мировой войне 1914—1918 гг.

С. 652. *Завоеватели Сибири или Кавказа были, конечно, прямыми предками тех советских людей, которые снаряжали арктические экспедиции или устраивали оросительные системы в Туркестане, точно так же, как солдаты императорских армий Екатерины или Павла были предками теперешних солдат Красной Армии.* — Газданов отмечает преемственность и традицию в русской политике, в частности, завоевание Сибири и Кавказа сопровождалось привнесением в эти регионы современных достижений цивилизации: там строились города, дороги, школы, развивалась промышленность и т.д. Соответственно в советское время арктические экспедиции помогали освоению Севера, просвещению народов Севера, а Средняя Азия из средневековой отсталой провинции превратилась в регион с развитым сельским хозяйством, возникло много новых городов и промышленных производств.

Екатерина II Алексеевна (1729—1796) — российская императрица с 1762 г., при которой владения России значительно расширились и выдвинулось много выдающихся полководцев: А.В. Суворов, П.А. Румянцев, Г.А. Потемкин и др.

Павел I (1754–1801), российский император с 1796 г., в 1798–1799 гг. участвовал в коалиции против Франции; в 1799 г. Суворов блестяще провел Итальянский и Швейцарский походы и разбил французские войска, подтвердив славу русского оружия.

С. 656. *Наполеоновские войска не могли победить Испанию начала девятнадцатого столетия.* – После успешных походов, завоевав большую часть Европы, Наполеон I (1769–1821) вторгся в Испанию, где в 1808 г. его брат Жозеф Бонапарт (1768–1844) был провозглашен императором, однако сопротивление испанцев вынудило его в 1812 г. бежать.

С. 674. *Достаточно вспомнить дивизии генерала Мак-Арчера на Филиппинах...* – Имеется в виду американский генерал Дуглас Макартур (1880–1964), во время Второй мировой войны командующий вооруженными силами на Дальнем Востоке (1941–1942) и верховный командующий союзными войсками в юго-западной части Тихого океана (1942–1951), где в 1942–1945 гг. шли ожесточенные бои с японцами.

СОДЕРЖАНИЕ

Газданов, Гайто

Собрание сочинений: В 5 т. Т. 2. Роман. Рассказы. Документальная проза / Гайто Газданов; под. общ. ред. Т.Н. Красавченко; состав., подгот текста, Л. Диенеша, Т.Н. Красавченко, С.С. Никоненко и др. – М.: Эллис Лак, 2009. – 736 с.

ISBN 978-5-902152-71-2
ISBN 978-5-902152-73-6 (Т. 2)

Во второй том наиболее полного в настоящее время Собрания сочинений писателя Русского зарубежья Гайто Газданова (1903–1971), ныне уже признанного классика отечественной литературы, вошли роман «Ночные дороги», рассказы и документальная проза «На французской земле», о советских партизанских отрядах, действовавших на территории Франции совместно с Движением Сопротивления. Произведения написаны в 1929–1945 гг.

ББК 84 (2 Рос–Рус)6–4

Гайто Газданов

**СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ПЯТИ ТОМАХ**

Том второй
Роман. Рассказы
Документальная проза

Корректор *Е.И. Коротаева*
Верстка – *А.Б. Метелкин*

Издательство «Эллис Лак 2000»
123242, Москва, Красная Пресня, д. 6/2, к. 16

Тел. (495) 605-37-97. Факс (495) 605-89-47
E-mail: ellisluck@mail.ru
http://www.ellisiuck.ru

Подписано в печать 15.07.09
Формат 84x108 $^{1}/_{32}$. Печ. л. 23
Тираж 3000 экз. Заказ № 3236

ISBN 978-5-902152-73-6



Отпечатано в полном соответствии с качеством предоставленных диапозитивов
в ГУП РМ «Республиканская типография «Красный Октябрь»
430000, Мордовия, г. Саранск, ул. Советская, 55а